Г. И. УСПЕНСКИЙ

Г. И. УСПЕНСКИЙ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 7

КОЙ ПРО ЧТО

ПИСЬМА С ДОРОГИ

ЖИВЫЕ ЦИФРЫ

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК

МИМОХОДОМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Издание осуществляется
под общей редакцией
В. П. ДРУЗИНА

*Подготовка текста
и примечания*
Н. В. АЛЕКСЕЕВОЙ

КОЙ ПРО ЧТО

1. ПОСЛЕДНЕЕ СРЕДСТВО

В новом, пахнувшем краской вагоне третьего класса было жарко натоплено; публики было мало, места для всех много, всем просторно и свободно; на двух лавках с полным комфортом расположился кондуктор: он пил чай, закусывал и в то же время составлял какие-то ведомости; несколько солдат в углу, сняв шинели и оставаясь в одних рубахах и фуфайках, играли в карты; какой-то доброволец из мещан занялся топкой печки и «накаливал» ее без всякого снисхождения.

— Так, так! — хвалили его. — Держи тепло-то ровней, оно что теплее, то лучше!

И доброволец, весь красный от жару, усердствовал из всех сил; поминутно он гремел чугунной заслонкой и швырял в огненную и трескучую пасть печки маленькие сосновые поленцы.

Какой-то молоденький приказчик, какой-то молодой солдат, еще какой-то купеческого образа и подобия человек и простой мужик, примостившись у двери, отворенной в то отделение, где топилась печь и откуда шло тепло, занимались чтением газеты и разговорами. Читал молодой рослый солдат в новой красной фуфайке.

Читал он «листок», начиная с первой строчки, и, повидимому, не желал прекратить чтения, не дочитав газеты до последней строки; начав передовицей о замыслах Англии против России, он без передышки после точки, заканчивавщей передовицу, и не меняя интонации, стал путаться языком в придворных известиях, потом в городских происшествиях, потом в иностранных новостях

и, наконец, достиг судебной хроники. Слушатели очень внимательно следили за чтением и не столько за смыслом прочитанного, которого и действительно было не особенно много в листке, сколько за трудной работой, обнаруживавшейся в лице и губах не раз вспотевшего чтеца. Наконец он добрался и до конца судебной хроники, в которой очень кратко пересказан был один из многочисленных в последнее время земельных процессов и который по обыкновению сопровождается действием холодного оружия; чтец замолк, повертел в руках газету и сказал:

— Теперича — все! Пошли объявления... Надо горло прочистить, папиросочки покурить!

Чтец закурил папиросу, поразмялся. Поразмялись, поотдохнули и слушатели. Начался разговор.

— Это что же, любезный, — спросил солдата слушатель-мужичок, — что же это считается холодное оружие? И горячее, стало быть, есть какое?

— А как же! — плутливо проговорил смешливый молодой приказчик. — И горячие есть! В законе прямо сказано: «дать ему, подлецу, двадцать горячих!..» Вот это самое и есть горячее оружие...

— Нет! — снисходительно улыбаясь и поплевывая от крепкого табаку папироски, авторитетно сказал солдат, — розги это не могут обозначать. Оружием называется ружье, и ежели, например, прикладом, то по закону оно считается холодное; а ежели зарядить и пулей или дробью плюнуть, следовательно до крови, то оружие будет считаться горячее. Потому, что ты прикладом должен его дуть плашмя, и он должен существовать опосле того в живом виде, ну а коль скоро горячим способом, так, пожалуй, и богу душу отдашь!

— А ежели саблей цапнуть? — опять вмешался мужик. — Она ведь до крови может, а горячего в ней ничего нет?

— Ну, сабля — это не пехотное дело, там другая команда. А пехотный закон — прикладом!

Разрешив трудный вопрос и дав молодому приказчику богатую тему для подтрунивания над мужиком, перед которым теперь открылся огромнейший выбор по части холодного и горячего, — солдат вновь было взялся за чтение, но в это время из средины вагона поднялся какой-то благообразный и сухонький старичок в опрятнень-

ком мерлушечьем тулупчике, с опрятненькой козлиной бородкой и, подойдя к собеседникам, каким-то монашеским голосом спросил:

— Это кого тут.. прикладом-то. в повиновение?

— Да тут мужичонки заартачились в одном месте... Ну, вынуждены были холодненьким пугнуть...

— И полегчало?

— Должно быть что поочувствовались.

— И все поняли?

— Говорят — «виноваты!»

— Ну, так!..

Старичок улыбнулся тонкой, хитрой улыбкой и, повернувшись, пошел к своему месту.

Старичок этот, один из излюбленных теперешних типов деревни — тип кулака с обличьем, так сказать, «религиозно-нравственным» — сидел все время в темном уголке вагона, в том месте, где скамейки прислонены не к окну, а к глухой стене; сидел он в соседстве с таким же благообразненьким соседом той же хитрой породы, с таким же постно-хитрым лицом и в таком же опрятненьком мерлушечьем тулупчике. Оба они были несомненно большие деревенские воротилы, но из тихеньких, из «примерных» и вполне безукоризненных. Сидя друг против друга, они скромненько, с молитвой и крестными знамениями ели какую-то булочку с икрой. И в то же время они неумолчно, хоть и совершенно беззвучно, вели беседу, а ведя беседу о своих делах, отлично, до последнего звука отчетливо слышали и видели все, что делается и говорится кругом. Бывают такие счастливые натуры: молча обделывают практические дела, «молча говорят», все видят, все слышат, знают всю подноготную и во всех отношениях неуязвимы.

— Ишь ты вон! — беззвучно сказал старичок, садясь опять на свое место против своего собеседника, — уж и холодным прикладом стали припугивать! Оно давно бы пора за ум-то взяться, чем дозволять мутить без толку...

— Мутят, мутят, а пользы-то никакой нет!

— То-то и есть, что пользы нет! Знаешь ведь, чай, Ивана-то Мироныча Блинникова?

— Блинникова-то? Их ведь много, Блинниковых-то.

— Ну, Ивана-то Мироныча? Ну, а ежели не знаешь, так я тебе скажу: человек первеющий, вышел

в люди из самой грязной грязи, привезен в Петербург был десяти годов, прямо в кабак. Побоев что вытерпел на своем веку, числа этим побоям нету! И постепенно, только единственно что с божию помощию и трудами своими, наконец достиг теперича до большой чести... И от Красного креста медаль, и патенты за пчелу, и благодарность: рыбу подносил высокой особе, двух огромнеющих судаков. Попечителем числится в двадцати местах, почетным мировым судьей третье трехлетие выбирают. Четырнадцать озер арендует рыбных в разных местах. одним словом сказать — почтен и награжден за все его терпение! Так что ж они, прости господи, сказать, дьяволята, с ним сделали?

— Мужичишки-то?

— Да! мужичишки-то! Ведь чуть было под топор голову-то ему не подвели! Без всякого зазрения совести прямо так-таки его и приспособили в каторжную работу, ни за что, ни про что!

— Да как же так?

— Да вот так, что способов-то им, дьяволятам (согрешил я, грешный!), не было других, чтобы искоренить его, так и надумали сослать его в каторгу. И чуть было не сослали! Изволишь ли видеть, какая тут вышла история. Я тебе прямо скажу, действительно, ежели так сказать по правде, по совести — что мне таить? — так точно, что мужичонки эти в большой бедности существовали. Чего уж? Надо говорить правду. Опричь этих трех деревень, как Муравлино, Чохово да Ямкино, кажется, по всей нашей округе поискать, так не найдешь, то есть насчет бедности. Коротко сказать — только по зимам и видят божий свет. Как замерзнут лядины, болота, ну, глядишь, и вылезают муравлинцы из своих трущоб, — кое с сеном, кое с дровами, само собой, крадеными. Да и видом-то совсем они к нонешнему народу не подходят: на голове треух, на ногах лапти, одежа домотканная, так какие-то лесовики, прости господи! Кабы не зима, не мороз, да не снег, так им бы и вовсе пропадать надо, и говорить-то по человечьи, поди, разучились бы совсем: кругом болото, топь, ни проходу, ни проезду. Так вот какое их было житье. Три-то деревеньки кое-как обселились на сухих местишках, ну, землишка кой-какая есть, самая малость. Рыбы иной раз в половодье с реки на-

носит в ихние болота, ну вот они летом и питаются, ловят налимов по ямкам. Бедность, одно слово! Как вышло освобождение, так помещик-то совсем забросил усадьбу да лет пятнадцать и глаз не показывал... Заложил, должно быть, в банк — кто его знает! Ну вот, покуда не было хозяина-то, мужичонки-то кое-как справлялись: лесок господский чистили исправно, избенки переправили, зимой нарубят барского леса, натащат к станции видимо-невидимо! Рубь серебром сажень березовых дров, полено — эво какое! — ни в одну печку не лезет... Да и земелька-то господская пустовала. Ну, они и земелькой не брезговали, все разодрали, распахали, покосы тоже все — и свои и господские — под одно подвели. Ну, кое-как жили, потому что хозяина не было — говорят даже, что он и из России-то ушел... Так и жили. Только годов с восемь тому назад, хвать-похвать, по зимнему пути въезжает в Муравлино барыня и объявляет: «Я новая хозяйка и заведу новые порядки». Подрядила мужиков на зиму лес возить, дом строить. А должно быть, были у барыни деньжонки-то. Пришла весна, пришли копачи, дорогу от усадьбы до шоссе повели, застукали топоры, живо поспел дом, скотник, все как должно. Наконец того, и агроном препожаловал. Препожаловал агроном, обошел все обворованное, всех виноватых записал, штрафы установил, везде поставил сторожей, караульщиков с ружьями, сам тоже с ружьем — бьет пулей на три тысячи шагов навылет, — одним словом, началась совсем другая песня. Притиснул мужиков к стене, так что не повернуться — живи, где хочешь! Озлились муравлинцы, озверели.. Потерпели годик кое-как, а потом и стали действовать на свой образец... Окончательно сказать, постепенно, помаленьку так подсидели господ, то есть барыню с агрономом, что не стало им житья: ни выйти, ни пройти, ни проехать: жгут, воруют, да и убить грозятся.

«Ну опосле этого и барыня и агроном махнули на все рукой — «пес, мол, с вами!» — заперли дом и уехали. И опять никого не было долго, опять мужичонки повеселели, приворовывать стали и уж было за новый дом принялись — растаскивать по бревнушку, по гвоздику начали, да вдруг опять барыня оказалась — это уж в самое последнее время. Прикатила, созвала народ. «Так и так, говорит, ребята. Открылся, говорит, теперь от царя

крестьянский банк, и дают из него мужикам деньги в долг, лет бытто бы на сорок, покупайте, говорит, ребята, всю мою землю, со всеми постройками, поделите промежду себя, а расплачиваться будете полегоньку. Чем вам мое добро воровать, чем мне с вами по судам таскаться, лучше же кончим дело без греха, полюбовно. И у меня все что-нибудь останется на прожиток, и вам будет хорошо...» Ну, конечно, мужичонки темные, покуда еще им вдолбишь в башку-то, в чем дело... Сначала, конечно, не иначе думали, что подвох: «Как, мол, это так деньги раздают дарма? Это, должно, ребята, кабала, сказывают, и впрямь антихрист народился, ходит и деньги в руки сует, а потом и слопает всех начисто...» А барыне-то, верно, уж деньжонки-то крепко понадобились, поэтому она им всяческим манером старалась внушить, что обману нет.. «Вот там-то, говорит, мужики купили десять тысяч десятин, да господский дом, да угодьев сколько, а платят-то с души самые пустяки. И там вот покупают, и здесь...» Всякими способами орудовала и наконец того и разлакомила!

«А что, робя, поди и в самом деле совсем нашего брата хотят вызволить?» Галдели, галдели, судачили, судачили, наконец того... выбрали депутата солдата Гаврилу —«поезжай в город, разузнай!» Поехал тот, разыскал банк, и точно, видит, толкутся мужики, покупки делают. «Землю укупаете?» — «Землю», мол. «Много ли?» — «А вот столько и столько...» — «А платить как?» — «А платить так-то, по стольку-то с души...» Ничего! Все хорошо, честно, благородно. Мужичонки крестятся, благодарим бога, «ничего, мол, хорошо!» Ну, только разобравши дело, видит солдат, что для муравлинцев оно, пожалуй, и не подойдет. Барыня, изволишь видеть, запросила за свое имение двадцать четыре тысячи, а банк и дал бы, да, вишь, по закону нужно, чтобы третью часть сами мужики внесли, ну а где уж муравлинцам! У них не то что восьми тысяч, а и восьми кнутов на все на три деревни не найдется. Откуда им взять? если их всех-то продать начисто, и то этаких денег не соберешь, потому что житье их действительно голодное... И знает все это Гаврюшка, депутат-то, до тонкости знает, что не справиться им с залогом никакими судьбами, а за живое-то его уж забрало! Мужичина грубый, карахтерный, упорный...

«Как, мол, так, другим можно, а нам нет? Освобождали, мол, всех поголовно, что бедного, что богатого ровно, а тут, когда к окончанию дело подходит, — на, поди! в розницу пошли... чай, бороды-то у мужиков, которым покупать позволяется, такие же, как и у муравлинцев, так, стало быть, все и должны быть на одной линии. Нет, это, мол, не так, не ладно!» Засело это ему в голову, вернулся он домой, объявил сходке, что точно, мол, можно покупать, да вот задержка в чем, в залоге, восемь тысяч требуют. «Ну, только, говорит, ребята, тут должна быть неправда, потому освобождали всех под одно, так и оканчивать этаким же манером следует... Как же, мол, так? мы бедны, так и пропадать? Нешто мы не крестьяне, как прочие? Нет, говорит, тут есть какая-то кляуза, надобно мне в корне дело разузнать; собирайте с души, сколько в силах, давайте мне, пойду в Питер, достучусь до высших мест, а что пропадать нам не приходится. Такого закону нет!» Раззадорил мужиков, собрал деньги — марш в Питер! Барыня было звала, звала мужиков повыспросить — никто к ней не пошел, ждут Гаврюшку... А ей-то, должно быть, уж с ножом к горлу пришло — надо развязаться с землей, гроша завалящего нет. Видит она, что с мужиками толку нет, залогу им не собрать, подумала, подумала, махнула рукой, да и сладила с Иваном Мироновичем... Да и Иван-то Мироныч отказывался — на что ему? Только уж истинно из-за одной жалости взял, и взял-то с рассрочкой, на восемь лет, только чтобы сейчас за год вперед... «Взял я, — говорил мне Иван-то Мироныч, — эту землю единственно из-за сена да из-за лесу; думаю, говорит, лес весь сведу дочиста, а всю землю под клевер, а больше я в таких местах не хозяин...» Ну, хорошо. Барыня, покончивши дело, уехала; Иван Мироныч учредил в доме контору, пошла разделка лесу, все как должно. В самый развал объявляется в деревне Гаврило из Петербурга. Пришел он, друг любезный, злей злова чорта. И в Питере опять увидал он мужиков, которые землю укупают, и опять же узнал, что без залогу невозможно, обозлился, а домой пришел — на-ко! уж и земля чужая стала, и помещик новый сидит... «Как, мол, это может быть?» Втемяшилось ему это в башку — только и зудит, что это неправильно. «Как так? другие прочие крестьяне поправляются, а мы, тоже

крестьяне, в разорение должны войдтить? Нет, нельзя этого!» Задолбил мужикам, что купец через кляузу землей овладел, подбил их опять его в Питер послать хлопотать. «Уж я, говорит, разыщу закон в полном смысле! А ежели, говорит, узнаю, что дело кляузное, так и мы кляузу пустим. В Питере, бает, научат». Собрали мужичонки еще ему сотнягу, пошел! А в Питере, сам знаешь, не посмеет же мужик в самом деле в высшие места доходить. Ведь он робок, неуч, а главное, что не знает, где искать указчика: ну и идет в кабак, в трактир, в темные какие-нибудь места. «Нет ли, мол, человечка, дело у нас, так и так .» Ну, там где-нибудь в кабаке, в притоне, и выищется человечек. Толкался, толкался Гаврилко по кабакам и наскочил на человечка.. «Какое такое дело у вас? я могу!» — «Явите божескую милость, так и так...» И расскажи все. Подумал, подумал человечек и говорит: «По закону, говорит, ничего сделать невозможно, все правильно. Сколько, говорит, ни хлопочите, ничего не будет, а кляузным, говорит, способом можно!» Вот Гаврилко-то и говорит: «Да нам хоть кляузным, лишь бы с голоду не помереть! Явите божескую милость!» Стал его просить, молить, вот человечек и говорит: «Надобно, говорит, составить приговор от всего общества, что купец Блинников состоит в подпольных сицилистах».

— Ай-яй-яй! .. — прошипел, разинув рот, собеседник рассказчика.

— Да-а-а-а! Внушил им, канальям, такую мысль, а Гаврилко-то обрадовался, понял и решил: «Пиши, говорит, купца в полную каторгу, все одно!»

— Ай-яй-яй!

— Да-а-а-а! Тот им и настрочи! Так, мол, и так: «Были мы сего числа на сходке, такие-то домохозяева, и подошел к нам купец Блинников, и стал издеваться над нашей бедностью, и говорил: «Не так еще мы вас прижмем, не будет за вас, мужиков, заступников, потому я, говорит, сицилист...» Ну и все такое. Страсти господни — чего написали!

И рассказчик опять пошептался с слушателем.

— Ай-яй-яй! .. — тянул слушатель, не закрывая рта.

— Да! Вот какую механику подвели! «И ежели, говорит, будут спрашивать, показывайте все поголовно

одно и то же, чтобы слово в слово...» Взял сорок целковых, всучил Гаврюшке бумагу и «прощай!»

— Н-да! — покачивая головой, шептал слушатель. — Ш-шту-учка!

— Такая штучка вышла, друг мой приятный, так это слов нет высказать! Вот Гаврилко-то обхапил эту самую кляузную бумагу, прибежал в Муравлино, собрал народ — «так и так, говорит, ребята, нету других способов! Последнее средство! А то, говорит, нас купчишко задушит и искоренит всех до единова». Мекали, мекали, шушукались, шушукались да, благословясь, и двинули штучку в Питер, в самые высшие места! Переписал им дьячок, все они двести восемьдесят домохозяев руку приложили, пакет запечатали — айда!.. И притихли! Проходит время, долго ли, коротко ли — не упомню, сижу я, как на грех случилось, у Ивана Мироныча на новом его месте в конторе, пьем чай, балакаем — слышим: «Динь-дили-линь! Динь-дили-линь!» — с одной стороны, с другой, с третьей... Хвать, три тройки подкатило: становой, исправник и полковник из Петербурга.. Входит становой с исправником, лица на них нет, а закадычные приятели — и я-то коротко знаком с ними, а уж про Ивана Мироныча и говорить нечего: можно так сказать, что он и исправника и станового сам своим молоком выпоил с колыбели матери, вот какие были закадычные! Вошли в горницу — лица нету! «Что такое?» — спрашивает их Иван-то Мироныч. А они только языком лопочут: «ла-ла-ла...», зубы стучат, а настоящих слов нет! Тут объявился полковник: «Вы, — говорит Ивану Мироновичу, — Блинников?» — «Я-с, так точно!» — «На вас поступил донос, по случаю, что вы. .» И объявил ему все полностью! Как сказал он эти слова — веришь ли? — Иван-то Мироныч как стоял, так и грохнулся на брюхо, и только и слов его было: «Вашескабродие!» — и больше ничего не может сказать, а бьет его всего об пол руками и ногами, больше ничего!

— Ай-ай-ай-ай!.. — согнувшись и в ужасе размахивая головой из стороны в сторону, шептал собеседник во время рассказа.

— Упал, братец ты мой, Иван-то Миронович наземь, а полковник тую же минуту велел сход созвать и спросил: «Есть ли, мол, лошади?» Это чтобы Иван-то Мироныча сформировать по закону... Ну, братец мой, собрал

сход, вышел полковник, исправник, становой; Ивана Мироныча вывели под руки два молодца — начинается допрос... «Вы посылали бумагу?» — «Мы-с». — «Все?» Все поголовно. Ну что тут делать? Начали перебирать по одному. «Ты что скажешь?» И так все двести восемьдесят человек... Иван-то Мироныч ни глазам, ни ушам не верит, только трясется, заливается слезами и еле-еле бормочет: «Где же бог-то?» Становой, исправник видят, что все это механика, потому Иван Мироныч первеющий человек, попробовали было приструнить мужиков — нет! все как один! говорят: «Сам видел, сам слышал так и так!» И как есть все двести восемьдесят человек — один в один, слово в слово! Что тут делать? И полковник-то видит, что дело не чистое, а ничего не может помочь, самому отвечать надо! Вышло так, что по закону надобно бы сей же момент сажать Ивана Мироныча на тележку, да и с богом! Думали, думали, гадали, гадали, еле-еле упросили полковника оставить Ивана Мироныча под надзор исправника да позволить съездить в город похлопотать, а сами, то есть исправник со становым, тем временем надумали отобрать общественный приговор об Иван Мироныче во всех местах. А ведь у Иван-то Мироныча в двадцати деревнях заведения, и везде ему вот какой адрес дадут, что лучше требовать нельзя. Кой-как да кое-как выхлопотали эту отсрочку, посадили Ивана Мироныча на телегу, двух урядников с ним по бокам. «Айда в губернию, а мы тут будем орудовать». Поехали. Ни жив, ни мертв сидит Иван-то Миронович, главное — слов нет никаких в оправдание! И сил-то совсем не стало: «Даже ходить, говорит, не мог, всё урядники водили». И тут он мыкался и бился об земь во всех местах. Почитай, недели две только ползком жил на свете. Сам-то, говорит, и ногами-то разучился двигать. Дозволили ждать ответа в губернии под строгим караулом. Так тут Иван Мироныч цельных две недели жил; пал в ноги губернатору, слезами обливался, покуда, наконец, дождался — выпустили, потому что к тому времени исправник со становым уж все адреса и одобрения от двадцати обществ оборудовали и препроводили куда надо...

— Ай-ай-ай! — мог только прошептать собеседник, покачиваясь из стороны в сторону. — Видишь ли ты, какую хитрость выхитрили! — прибавил он и вздохнул.

И еще кто-то вздохнул в ответ ему.

— Тоже пить-есть надо! — пробормотал этот «кто-то» и опять вздохнул.

Ни рассказчик, ни собеседник рассказчика не отвечали ему, только оглянулись.

— Ну что ж Иван-то Мироныч? — спросил после небольшого молчания собеседник. — Ведь он должен всех этих ахаверников суду предать? Как же так можно? Ведь они ложную клятву давали, этого невозможно допустить!

— То-то вот, братец ты мой! — с некоторым негодованием в голосе проговорил рассказчик. — Добер Иван-то Мироныч. На его бы месте — как с ними надо поступить-то? Становой и исправник прямо было взялись поднять это дело до суда... Да Иван-то Мироныч не захотел... Простил! Упросил потушить дело... Я было говорил ему: «Что ты, Иван Мироныч, мужикам потакаешь? Ведь житья не будет?» — «Нет, говорит, Савелий Кузьмич, нельзя им не потакать! Расчету нет! Жевать им, говорит, нечего, и ежели я их буду нажимать, так и мне придется плохо — лучше я буду поступать по-божьи! Проучили, говорит, меня довольно. Надо и бога вспомнить!» И уделал так, что мужики у него прощения попросили, а он им шесть ведер вина на мировую выставил, лес стали рубить исполу, половину дров ему, половину мужикам, а землю и сенокосы тоже мужикам отдал в аренду... «Место, говорит, очень голодное, пусть же будет вроде дачи, а не то что хозяйством заниматься. Слава богу и за то, что процент свой получу, а уж зачем, мол, по-собачьи грызться!» Ну теперь, кажись, все у них тихо.

— Ишь ты вон! — весело сказал мужик-слушатель, — как по-божьи-то вышло складно!.. Оно по-божьи-то завсегда хорошо выходит!

— А все земелька! — не отвечая мужику, проговорил собеседник рассказчика, купец.

— Земелька-то земелька, да подлостей-то не делай! — ответил ему рассказчик.

2. РАЗВЕСЕЛИЛ ГОСПОД

I

Часа в два зимней ночи в один из петербургских ресторанов вошли три господина и заняли отдельный кабинет. Было уже так поздно, что в ресторане начали убавлять освещение, прислуга была полусонная, вялая, утомленная, да и сами посетители, занявшие кабинет, не выказывали особенной оживленности.

Посетители были действительно люди утомленные: утомил их и современный петербургский день со всеми своими призрачными интересами, утомила их, или, вернее, двоих из них (потому что третий был еще очень молодой человек), и вся пережитая жизнь. Двоим из посетителей было лет по сорок с чем-нибудь. Один из них был присяжный хроникер одной газеты, неизвестный публике и подписывающийся *игреком,* другой был земцем. Когда-то они были товарищами и молодыми людьми, потом надолго разошлись дорогами: одного затиранила газетная работа, другой ушел в земскую деятельность. И вот теперь на днях они встретились полуседые, утомленные, разочарованные, измаявшиеся и, кажется, измаявшиеся без толку, понапрасну. Земец уехал в Петербург «освежиться», потолковать, узнать — «что же наконец?» — и вообще «нет ли чего новенького», так как там у них, на дне земской жизни, адская тоска, суета бессмысленная, мракобесие, хищничество и вообще «нечем дышать».

Каково же было его удивление, когда, приехав в Петербург и повидавшись с старыми знакомыми, а в том числе и с хроникером, он узнал, что и здесь, в Питере,

у них ровно ничего нет, что и здесь тоже маются, тоже отсутствие живой жизненной струи, влачение изо дня в день, шаблонная литература и т. д. Хроникер, встретившись со старым товарищем, тоже ожидал услышать от него что-нибудь «освежающее»: ведь он человек земский, не измучен газетным суесловием, ведь он там у «корней» жизни, да, у жизни, а не у чернильницы; но увы!.. как мы видели, земец ничем его не порадовал, а, напротив, дохнул на него холодом утомленной и опустошенной души, точно так же, как холодом откликнулась и душа хроникера. Встретились они с лихорадочной радостью, с распростертыми объятиями, но едва ли не сию же минуту почувствовали, что в них обоих нет материала, которым бы можно было наполнить их широко раскрывшиеся сердца. И уже после десяти минут не столько оживленного, сколько громкого разговора приятели почувствовали потребность уйти куда-нибудь из комнаты, в которой они встретились, и действительно ушли завтракать, хотя ни тот, ни другой не имели в этом никакой надобности.

И так пошло дальше: завтракая, обедая, ужиная и изредка только отрываясь по каким-нибудь ничтожным делам, чтобы непременно сойтись за завтраком, за обедом, за ужином, приятели стали проводить время, помалчивая за едой, вздыхая, бранясь, возмущаясь, опять вздыхая, оживляясь еле-еле при самых юношеских воспоминаниях и вздыхая опять, как только разговор доходил до настоящего дня, то есть упирался в тупой угол. Они не утратили веры в то, во что они верили, и надеялись на то же, на что надеялись и в старину, но и вера и надежда их была уже утомлена, бесформенна и не доставляла никакого удовольствия. Таким образом они проводили уже несколько дней, возвращаясь по домам часа в три-четыре ночи и тяжелыми шагами «с одышкой» поднимаясь по высоким петербургским лестницам.

Что касается до молодого человека, пришедшего вместе с земцем и хроникером, то хотя он и не разочаровался еще ни в чем, хотя он был свеж и молод, но осовевшее поколение «реформенных людей», к которому принадлежали земец и хроникер и среди которого вообще современным молодым людям приходится находить «указателей пути» и руководителей, это осовевшее поко-

ление успело уже повлиять на него довольно снотворно и сумбурно. Осовевшее поколение не давало ему никакого прямого ответа на вопрос — что делать? Одни говорят: «иди пахать, трудами рук своих живи», но сами не идут; другие говорят: «вовсе не нужно пахать — учись, наука — вот главное»; третьи говорят, что «в организации современного общества нет никакого порока, она такая, как быть должно, становись на любое место, делай, что придется, — но береги душу и питайся растительною пищею». Третьи настоятельно доказывают необходимость не противиться злу, а четвертые так же хорошо убеждают в необходимости противления. А в то же время молодая вдова Елена Андреевна, с которой он познакомился на студенческом вечеру, гипнотизирует его своим бюстом и советует поступить в оперу; а в то же время курсистки зовут на вечеринку; а в то же время земец тащит к Палкину; а в то же время, провожая с вечеринки m-me Булкину, он получает приглашение непременно прийти поговорить об одном серьезном деле. И наконец — статистика. Статистикой необходимо заняться серьезно, это самый подходящий, нейтральный и благородный труд.

Вот примерно и притом в самых общих чертах те разнородные влияния современной среды, среди которых молодому человеку приходится искать ответа на вопрос — что делать?

«Уйду!» — думал он совершенно искренно, возвращаясь домой, по примеру земца и хроникера, в четыре часа утра.

«Уйду!» — думал он, отыскивая в темной каморке спички.

«Надо удрать!» — думал он, засыпая.

Но наутро все-таки нужно было поговорить с m-me Булкиной, и он торопливо одевался и шел к ней, но на дороге попадался земец, который звал завтракать. «А m-me Булкина?» — «M-me Булкина может также приехать завтракать с нами». — «Отлично!» Завтрак с m-me Булкиной, хроникером и земцем, продолжающийся часа четыре-пять, наполнен, разумеется, все тем же несопротивлением злу, сопротивлением злу, «серьезным делом», сокрушением настоящей минуты «во всех смыслах», вздохом, смехом, опять вздохом, и наконец:

— Не взять ли нам тройку?

— Превосходно!

И вот острова, какой-то «Помпей».

Вот так и идет. Только было «засел» за статистику — вспоминается бюст, задумал поговорить о «серьезном деле» — хвать, очутился в «Помпее» или на вечеринке и уже поет во всю мочь «Дубинушку», и т. д. А к четырем часам утра, проводив домой m-me Чижову (которая пригласила непременно зайти на этих днях — она имеет что-то сказать) и возвращаясь домой, он опять-таки думает:

«Удеру! Нет, надо удрать!» — и не всегда попадает в ту дверь, куда надо.

Итак, все три посетителя были люди действительно утомленные; хроникер и земец — безрезультатностью прожитого; юноша — отсутствием определенной и ясной перспективы, а все вместе — сутолокой настоящего дня, надоедливым, тусклым, сумрачным, неоживленным никаким ясным живым течением — безвременьем.

II

Заняв отдельный кабинет, посетители некоторое время совершенно недоумевали — зачем собственно они здесь очутились? Они только что были у знакомых, где вдоволь наскучались, вдоволь наелись и выпили, и вот какая-то нелегкая занесла их опять в какую-то скверную клетку скучать, есть и пить. Никому в сущности ровно ничего не хотелось; следовало бы идти спать, но как же так закончить день? День-то ведь целый прошел, а как будто ничего существенного из него не вышло; как-то было слишком тягостно и скучно оставить его без конца. И вот надо было как-нибудь кончить.

— Что же, — сказал земец, — надо позвонить!

— Да, — промычал хроникер, развалившись на диване и дремля. — Позвоните кто-нибудь!

— Да звонок-то около тебя... Протяни руку!

— Ах, да!

Хроникер протянул руку над спинкой дивана, поискал звонка и, найдя его, подавил пуговку.

Явился сонный, вялый, утомленный лакей. На всей его измученной фигуре как бы тяготело целое столетие

закусочных и питейных преданий того заведения, в котором он служил и столетний юбилей которого только что праздновался. Лицо его выражало огромное утомление, и казалось, что он утомлен именно этим бесконечным, сто лет не прерывающимся служением образованному российскому обществу, которое даже и есть-то путем не хочет и от которого никакого толку не выходит. Появление слуги подействовало на посетителей еще более удручающим образом. Он молчаливо ожидал их приказаний, но никому из них ничего не приходило в голову.

— Что ж, — сказал, стараясь быть бодрым, земец. — Есть, что ли, будем?

— Я уж, право, не знаю! — полусонно пробормотал хроникер.

— А вы, Харитонов?

— Мне все равно!

— То есть что же это — все равно? Будете есть или нет?..

— Так чего ж? Пожалуй... Ну, буду!

— Дай карточку!

Лакей подал книжку прейскуранта кушаньям и винам, и долго она ходила по рукам без всякого результата. Земец, перелистывая ее из страницы в страницу, перечитывая из строчки в строчку, расстегнул свой жилет, думая, что желудок, почувствовав некоторую свободу, сам потребует какого-нибудь кушанья, но желудок безмолвствовал и ровно ничего не хотел...

— Ну, я потом! — сказал, наконец, земец, передавая книжку хроникеру.

Но и тот решительно не знал, что ему нужно, и, пересмотрев книжку, положил ее на стол и сказал:

— Чорт его знает... Не знаю!

— Вы, Харитонов?

— Пожалуй, съем бифштекс.

— Вот желудок! Бифштекс?

Харитонов только захохотал.

— О, молодость! Ну так как же мы-то? Ведь нельзя так, уж поздно!

— Ей-богу, мне все равно!

— Чорт знает что такое! Дай-ка карточку-то!..

Лакей, все время терпеливо ожидавший приказания и переминавшийся с ноги на ногу, вероятно сжалился

над беспомощным положением «господ»; он вежливо наклонился к земцу и с заботливостью старой няньки в голосе проговорил:

— А то не угодно ли наваги-с? Только что привезена-с...

— А в самом деле!.. Я давно не ел наваги, — радостно воскликнул земец. — Отлично, давай наваги!

— Фрит-с? — спросил лакей с тою же заботливостью в голосе.

— Чего?

— Я докладываю, как прикажете, жареную или же?..

— Конечно, жареную! Почему же, однако, ты говоришь фрит, а не просто — жареная, мол, навага?

Слова эти земец проговорил без всякой надобности и единственно только потому, что повеселел; повеселел же он, во-первых, оттого, что захотел наваги, а во-вторых, потому, что на него произвела весьма приятное впечатление тонкая черта заботливой внимательности старой крепостной няньки к балованному барчуку, которая звучала в голосе и видна была в глазах и манере лакея, позаботившегося вывести барина из затруднительного положения. Барчуки, хоть и реформенные, хоть и земцы, а любят, очень любят и до сих пор эту заботливость о себе преданной прислуги и весело чувствуют себя в положении балованных ребят.

— Просто бы сказал жареное, по-нашему, по-русски, — продолжал баловаться и болтать что придет в голову сорокалетний балованный барчук, — а то фрит какой-то? Отчего фрит? Почему фрит?

— А потому фрит называется, — улыбаясь тою же заботливой улыбкою, заговорил лакей, — что фрит есть слово повсеместное. Ведь на свете всякого народу много — немцы, французы, армяне, персианцы — мало ли? У всякого свое название всему... Теперича, положим, существует название жамбон. Кажется, что такое? Ежели разобрать, больше ничего 〈как〉 оказывается ветчина, очень просто! Ну, а как ежели всякий бы иностранец по-своему спрашивал, тогда ничего невозможно разобрать... Вот поэтому самому и устанавливается для повсеместного смысла одно название — фрит, например, омлет или, так сказать, беф, шатобриан, кюлот!..

Скучающим гражданам с каждым словом этого монолога становилось почему-то легче и веселее. Вероятно даже, что причиною этого была совершенно неожиданная тема разговора, тема, решительно не имевшая ничего общего с теми современными, до крайности утомительными темами, которые уже до невозможности надоели нашим скучающим и из которых они, однако же, никаким образом не могли выбраться. Скучающие граждане наши, исчерпав в течение утомительного дня все эти утомительные темы разговора и убедившись, что безрезультатность их необходимо завершить чем-нибудь решительным, вроде ужина, когда и есть-то даже не хочется, — были приятно удивлены, что, помимо утомительных тем, казалось бы исчерпывающих решительно все вопросы жизни до самого корня, существуют еще какие-то темы непредвиденные и достойные размышления.

— Да, — балуясь, серьезно произнес земец. — Так вот, брат, какая штука фрит! Ну, а кюлот что такое?

— Просто сказать — говядина.

— Да! Но какая... как она? какое место?

Лакей как будто затруднялся ответом.

— То есть... как сказать? мясо!..

— Ну да, мясо, но какой сорт? Ну вот антрекот один сорт, а кюлот?

Лакей потупился, и на его лице легла какая-то жалобная черта.

— Этого, извините, — робко проговорил он, — этого всего нам разобрать невозможно!

— Так как же ты можешь служить?

— Как служить? Названия знаем, а так, чтобы вникать в это, нам невозможно! Нам, дай господи, только не забыть названия да до кухни добежать, не перепутать; иной раз подаешь троим, четверым, в двух кабинетах — дай бог только это упомнить. А чтобы так до тонкости знать, это даже и сил наших не хватит.

— Будто?

— Поверьте! Помилуйте, одного бефу двадцать пять сортов, соуса и с томатом и с финзербом или, теперича, вина, ликеры? Ну, вина еще так-сяк — нумера... А ликеры, например? цвет один, а вкус разный; один говорит: «жинжеру», а другой бенедиктину требует. Помилуйте,

от одних ликеров — покуда запомнишь, какие у какой бутылки бочка, — и то голова кругом пойдет! Мы иной раз в шестом часу гостей провожаем, а в девять опять на ногах... Как можно нам знать все! Слава тебе господи, что хоть прейскурант-то вызудил без ошибки, извольте-ка посмотреть книжку-то, а ведь ее надо всю насквозь знать!

Начав разговор как самый ординарный трактирный лакей, продолжая его в простодушном и шутливом тоне заботливой няньки, при последних словах этот шаблонный человек неожиданно для всех вдруг предстал пред скучающими господами во образе самого кроткого добродушного деревенского мужика, работника, каторжного работника, в поте лица своего зарабатывающего хлеб. Кто-то нарядил его во фрак, научил его держаться по-лакейски, заставил выражать всей своей фигурой удовольствие при виде кушающих и пьющих господ, заставил «затвердить» сотни каких-то слов, неведомо что означающих, словом, замаскировал и скрыл его подлинную человеческую суть, — и вот эта-то суть, горькое, каторжное существование простого рабочего человека, недосыпающего и недоедающего, вдруг зазвучало в его монологе о ликерах и финзербах так ясно и так жалобно, что скучающие посетители не осмелились продолжать шутки.

— Конечно, — продолжал лакей, уж не как лакей, а как каторжный работник, — конечно, кто знает, например, иностранный язык и досуг у него есть, так это очень легко затвердить, а нашему брату, мужику, очень это трудно! Я отродясь не знаю, каков-таков и досуг-то есть на свете.. Десяти годов меня в Петербург представили из деревни-то... У нас в Ярославской губернии народ все отхожий — то в Москву, по трактирной части, то по фабричной. У меня отец на фабрике помер, остались мать, две сестры маленькие да я по десятому году. Мать-то на фабрику пошла, а меня в Питер увезли. Нас, ярославских ребят, как телят, в Питер возят. Такие есть мужики — наберет мальчишек штук десяток, на свой счет представит их в Питер ли, в Москву ли и раздает по трактирам, по кабакам. Конечно, на этом и наживает с хозяев. Там меня десяти годов на Сенную, в самый черный трактир определили. День и ночь торговали, извоз-

чицкий. Два года стоял за стойкой, посуду мыл. А что побоев! Все по голове, все по затылку, с оплеухой! Так сколько я претерпел, покудова господь меня сподобил с Сенной-то из вертепа достигнуть до ресторана! Конечно, добрые люди помогли, научили всему.

— Да чему же тут учить?

— Помилуйте, как чему? Теперича на свадьбах официантом приглашают, все надо знать — оршад, лимонад, весь порядок... Да тут страсть господня! Опять как подать, как обойтись... Облей-ка соусом-то гостя — ну, и вон! Как можно! Тут ни дня, ни ночи покою нет. Главное, спишь кое-как, совсем по нашей должности сна мало... Так тут, при такой жизни, где уж нам доходить до всего — дай господи только памятью не сбиться! Я этот самый прейскурант-то месяца три по ночам зудил, с огарком, покудова вошел в память. Только бы, господь дал, не перепутать. А кроме того, надо с гостем обойтиться уметь, услужить ему; а иной буйный на то и в трактир идет, чтобы наскандальничать... Иной раз не дожарят или пережарят — а ругают-то нашего брата. Бывает, который сердитый гость, так прямо тарелкой в рыло норовит: ему нипочем, например, в сердцах за лацкан дернуть, оторвать или соусом каким облить... А ведь фрак-то мало-мало девять целковых! Нет, наша должность трудная! Конечно, из-за доходов бьемся, а то бы нечто можно на такую жизнь согласиться?..

— Ну а какая бы для тебя жизнь была лучше, по твоему вкусу?

Утомленное, труженическое лицо лакея вдруг засияло.

— Лучше деревенской жизни на свете нет! — по-детски радостно сказал он... — Это самое и есть моя великолепная мечта — жить в деревне своим хозяйством. Как можно! Места какие у нас! Выйдешь утром, воздух — аромат один, кругом на пятнадцать верст видно, двадцать деревень в хорошую погоду насчитать можно... И, господи помилуй, как хорошо! Годика два еще помаюсь, а там и к своему месту... Помилуйте — какое сравнение? своя скотина, свои огороды, родня, сестры, жена, маменька, все по душе, никто над тобой не командует, не понукает, — как можно сравнить! Я только вот из-за деревни все и бьюсь, всеми правдами и неправдами.

— И неправдами даже?

— Вполне верно-с! Ежели жить нашему брату, бедному человеку, по правде, так нам никогда невозможно выбраться на белый свет... Истинным богом! Я уж и сам думал — как жить без обману? Однако вижу — никак нельзя! Да вот, например, женился я, так прямо доложу, с обманом! Вполне сделал подделку...

— Подделку?

— Да как же! Подделал себя под богача — ну и выдали! Моя жена, вот как сказать, ежели сравнить, так больше нету слова как одно — теплынь! То есть ежели бы нас с ней выгнать в пустое неприступное место, в пустыню, и без копейки денег — то с ней пропасть невозможно, сейчас с ней станет и тепло, и весело, и то есть превосходно! Кажется, из трех лучинок она уют тебе сделает — вот какой человек! Вот как познакомился я с ней на вечеринке в деревне, за кадрилью (конечно, я, само собой, во фраке, и она все одно как барыня, сс шлейфом, все как должно)... познакомился я с ней, понравились мы друг дружке с первого разу, я говорю: «Как, мол, Маша, насчет закона?» Она мне и отвечает: «Не отдаст, говорит, родитель, потому у тебя ничего нет, а наше семейство — богатые мужики». А точно — богатые мужичищи, старого завета, дом серьезный... «Как же, говорю, быть нам?» — «Думай, говорит, — еще год подожду, ни за кого не пойду, а больше мне ждать не дадут, силом выдадут...» (Конечно, виду не подает, веером орудует.) Что тут делать? Не с ножом же идти денег добывать, не такой у меня характер. Только воротился я в Петербург, тоскую, мучаюсь, не знаю, как быть, а швейцар у нас в ресторане расспросил меня, в чем дело, да и присоветовал: «Эко, говорит, беда! да ты вот как: накупи старых лотерейных билетов да разных объявлений — вот тебе и деньги! Ведь они, мужичье темное, не разберут». Что же вы думаете? Пошел я по табачным. «Нет ли старых билетов?» — «Как не быть!» И накупил я постепенно на три целковых — штук двести этого хламу — с орлами, с разными разводами, и все двести тысяч, дом, серебряный самовар, сервиз — страсть, что богатства!.. А швейцар, дай бог ему здоровья, говорит: «Погодь-ко, говорит, малый, поищу я тебе еще одну штуку. Служил я, говорит, в одной банкирской конторе,

так выпускала она объявления, очень под деньги подходящие». Порылся в сундуке и вытащил эку пачку этих объявлений — как есть выигрышные билеты! Все в кругах, в звездах, разными красками, и все опять же двести тысяч, семьдесят пять тысяч, пятьсот, сто... Эдакими цифрами — за версту увидишь. «На-ко, говорит, парнюга, поправляйся на здоровье! Дай бог час!» Такой душевенный человек швейцар-то, гвардеец — дай бог ему здоровья! Ну вот набрал я себе таким манером капиталов, купил бумажник самый просторный, набил его так, чтобы видно было и чтоб под деньги подходило, — и в деревню! Цельный год я капиталы-то эти наживал. Приехал в деревню — повидал Марью, секрета ей не открываю — думаю, как бы она не осердилась на обман, помолился богу, пошел к родителям... Опять же вечеринка была. Вот я сижу рядом с отцом-то, держу себя небрежно, вроде барина, ничего не говорю, а так выну бумажник, достану оттуда папиросу, а бумажником так действую, чтобы миллионы-то мои ему в нос ударили. Упорный старичишка, а на деньги жаден! Вот он глазом-то и стал вцепляться в бумажник... Заметил это я, пришел в другой раз, переложил хламье-то настоящими бумажками (было у меня денег рублей с пятьдесят, то есть настоящих денег), перемешал я их с хламьем — пошел. Опять же вынул папиросу, да нарочно и оброни бумажник-то, миллионы-то и рассыпались по полу. Старичишка раззарился — подбирать: хватает обеими руками, видит настоящие-то деньги, а хламье-то ему тоже деньгами показались... Вижу я — разгорелись у него глазища... И раз, и два, и три я его этак-то раззадорил, а затем и говорю: «Так и так!.. Хочу, мол, жениться на Маше, дом буду строить, лавку открывать... деньги есть...» Тут старичишка-то и раскис. «Согласен!» Да пятьсот рублей я с него и счистил в приданое, окромя всего прочего!..

Это было сказано так детски-радостно, что истинно по-детски обрадовались даже и скучающие господа посетители.

— Да на эти деньги и дом купил и корову; маменьку, сестер, жену поселил — положил, одним словом, начало хозяйству, а потом пошел к тестю-то, упал ему в ноги, повинился... Ну уж и было! Что и рассказывать! Да и

наплевать! Теперь помирились, как увидел он мои труды и заботы. Ну, а уж Маша, так уж так меня за это оценила — лучше невозможно! Как поженились, я и говорю: «Ну, говорю, Машутка, надо тебе говорить всю правду»... И рассказал; думаю — заругается, обманщиком сочтет, а она подумала, подумала: «Ну, говорит, Миша, эдакого умника я еще от роду не видывала, как ты это умно меня выхватил! Вот так уж умник!» Гладит мне голову, нахвалиться не в состоянии... И швейцар тоже радехонек!.. Как узнал, рассказал я ему, так чуть мы оба со смеху не умерли! Напился в этот день и меня напоил (в первый раз в жизни я выпил) на свои деньги... «Давай-ко мне, говорит, миллионы-то, я еще кому-нибудь поспособствую!» Ну, я ему и вручил все свое состояние... Так вот как! А не обмани я? Маменька бы совсем от трудов измаялась, а сестры тоже не миновали бы фабрики, а теперь все слава богу, сами себе хозяева, живут дружно! Ведь по-людски жить-то хочется. И я теперь кажинную малость — все в дом, все в дом. Наберешь десятку — в деревню! попалась трешна — туда ее! Одних фраков своих я туда переслал шестнадцать штук.

Эти слова невольно заставили слушателей, что называется, покатиться со смеху.

— Шестнадцать фраков? — разразился земец настоящим барским смехом. — В деревню? Да зачем же они там нужны?

— В деревне-то? Да помилуйте, в деревне всякая малость нужна, только что она там является в большом преображении... В Петербурге, положим, фрак требуется мужчине, ну хоть бы нам, прислуге, или же господам, а в деревне он у нас весьма превосходно преображается для баб.

— Фрак-то?

— Фрак-с! Да вы извольте взять во внимание: сукно, хоть и вытерто, а ведь оно плотное, перелицевать его, так оно все одно как новое. У меня случались фраки очень добротной материи; я один фрак с покойника купил, так ему и сейчас износу нет.

— Как с покойника?

— Служащий тут в клубе помер, ну, жена и положила его во фраке, а фрак-то дареный, с графского пле-

ча. Положила, да и стала жалеть — женщина бедная — говорит: «Ежели бы продать да худенький купить — все бы мне что-нибудь осталось!» Вот я и обменял; пять рублей придал да свой и отдал, а тот-то снял, вычистил, значит, выветрил, спиртом проспиртовал да года три превосходно щеголял, а теперь он в деревне уже второй год действует.

— Но как же бабы-то, как бабы-то во фраках у вас ходят — ты вот что скажи?

— Да вы и следу-то не найдете от фрака-то, как он там у нас преображается. И каков таков фрак был — и то вспомнить даже невозможно! А не то что во фраке ходить бабам. У меня там теперь жена да две сестры, девицы. Одну хочу замуж выдавать, мужика в дом возьмем. Театриче хозяйство у них молочное — четыре коровы, теляты. Телят поим, продаем; вот фраки-то мои и пригодились им по хозяйству; теперь в зимнее время надо встать ночью, подоить, попоить, покормить — вот мои бабенки и переладили себе из моих фраков подходящие костюмы вроде дипломатов: лацкана эдаким вот манером отворочены (он показал на своем фраке, как именно) — и, стало быть, груди тепло, а тут, в этих местах, стало быть, фалды отрезаны от трех фраков, по шести фалдов на юбку вышло — пришиты дружка к дружке в складку, ну и, конечно, на вате — ан оно и тепло! Да года на три, на четыре хватит... А продать его татарину? рубь серебром, больше не дадут. А которые остались без фалдов, и те тоже подработаны под кофты, одну маменьке на заячьем меху уделали — зябка стала, старушка! вот ей и потеплей, в кофте-то. И — боже мой! В деревне? Да в деревне всякая малость, все она по-нашему, по-мужицкому, преображается.

— Но это великолепно! — захохотал на всю комнату окончательно развеселившийся земец.

— Да как же не великолепно? — развеселившись еще более, чем земец, и весь сияя, продолжал лакей. — Даже очень великолепно! Теперь вот, почитай, хозяйство все налажено, сестру замуж выдам, можно, пожалуй, и земельки попросить. А сам, ежели господь даст терпенья, промаячу еще годика два, да и туда же, под собственный кров... Уж и отдохну же на вольном воздухе ото всех моих мытарств! И будем жить с Машей честно,

благородно, своим трудом. А уж места какие! Господи боже мой!

— Но это просто великолепно! — гоготал земец.

Да и вся компания тоже развеселилась.

— Так прикажете наваги? — вспомнив свои обязанности, сказал лакей, снова возвращаясь к своей должности и манере.

— Наваги? Фрит? Давай, давай!.. Просто превосходно! даже есть захотелось... Давай наваги!

— Да и мне даже что-то есть хочется, — проговорил хроникер. — Принеси-ка мне... как его? кюлот этот!

— Слушаю-с!..

Лакей ушел, а все недавно скучавшее общество принялось шумно разговаривать на всевозможные животрепещущие темы. Стали говорить и спорить о народе, об интеллигенции, о России и Европе. «Там, там живая струна!» — орал земец... «Там живое желание жить, да, жить! да непременно на *белом* свете, а не на *черном*, не в черную ночь! да непременно «честно, благородно!» Именно — *«благородно»*, на всей *своей воле*... по-крестьянски... Да! там, там! а мы? мы? мы? мы?»

Словом, те самые темы, которые только что казались совершенно исчерпанными и ничего, кроме утомления и бесплодной тоски, не возбуждали, — вновь оказались неисчерпаемыми, вновь оживили и привычку бесконечно долго разговаривать и бесконечно долго есть.

— Человек!.. — поминутно раздавалось из шумного кабинета; приятели ели, пили, пили и ели и долго не чувствовали ни малейшей потребности уходить из кабинета.

III

Часу в шестом утра все они, пошатываясь и придерживаясь за перила темных лестниц, тяжелыми стопами пробирались к своим квартирам, и каждый из них думал, что не все пропало, что *«там что-то* есть живое» и что «вообще нужно *уезжать»* поскорей отсюда.

— Вот это самое! честно, благородно! Оно самое и есть! — скидывая в темноте своей каморки шубу вместе с сюртуком и сапоги вместе с калошами, бормотал и охмелевший юноша Харитонов. — Оно! Вся суть! Честно,

благородно! Н-да! И удеру! Удирать надо! вот главное! Удирать! Только вот к m-me Чижовой... поеду — и фють! Эй, любезные! — гаркнул он среди всеобщей тишины и мертвого сна меблированных комнат, вообразив себя на ухарской тройке.

Но, опомнившись и осмотревшись, потихоньку улегся в кровать, вздохнул и, еще раз сказав себе:

«И удеру!» — мирно смежил усталые вежды.

Так вот и еще страничка о «земельке»! Одна мысль о ней сразу оживила и осияла забитую тяжким трактирным трудом душу лакея, преобразив его в настоящего человека, да и у господ возбудила... аппетит.

3. ДОБРЫЕ ЛЮДИ

I

Человек доброй души, швейцар, помогший Михайле словом и делом выбраться из ничтожества на белый свет, то есть жениться и устроить собственное свое хозяйство, совершенно неожиданно пробудил во мне воспоминания о бесчисленном множестве добрых душ, добрых людей, которых мне постоянно приходилось встречать и в городской и в деревенской среде. «Отчего это, — подумалось мне, — я так мало касался людей такого сорта и отчего, напротив, всевозможного рода хищники и живорезы так много поглощали моего внимания?» И, припомнив, как было дело, я убедился, что к этому не было никакой возможности, потому что добрые люди, как бы много ни приходилось встречать их в жизни, были явления единичные, своеобразные, люди, проявлявшие свою доброту на свой образец, в своем уголке, в своем частном кругу, тогда как хищники, живорезы, были и есть люди известного общественного течения, люди, олицетворяющие собою известный порядок вещей, ненавистники всякого иного порядка, с которым они и борются всеми возможными средствами и ни пред чем не останавливаясь.

Какой-нибудь добродушнейший вдовый мужичок, вроде известного в наших местах «Митеньки», надумает «сам по себе», что надобно, мол, бедным помогать, и начнет творить добро в своем уголке. Митенька, например, чтобы «творить добро», ухитрился сделаться лекарем, стал лечить петербургских купчих из Ямской молитвами и травами и сумел прослыть за великого искусника и целителя, а когда достиг большой популярности

и стал зарабатывать множество денег, то, возвращаясь в деревню, принялся творить добрые дела, помогал бедным, вдовам, сиротам, разорившемуся мужику и т. д. В «своих местах» его помнят, и помнят главным образом те, кому он помог, поддержал. Но уже одно то, что этот «Митенька» был зарезан своим работником, и притом с целью грабежа, доказывает, как широка была волна хищничества и наживы и как почти бесследно, словно капли в море, исчезали в ее бурном потоке эти одинокие фигурки добрых людей и их маленьких добрых дел. Не до них было в то время. Если же теперь эти одинокие фигурки и их одинокие, не имевшие никакого общественного значения добрые дела и начинают возникать в памяти, то единственно только потому, что уж слишком надоело и измучило обилие всевозможных дел и людей живорезного направления.

II

Еду я раз как-то, лет шесть тому назад, с одной из станций узкоколейной дороги, направляясь на дачу, нанятую на лето моим приятелем. Проехав несколько верст по шоссе (не знаю, земское оно или еще аракчеевское), я должен был свернуть в сторону, в лес.

До поворота оставалось не более нескольких десятков саженей, как вдруг из лесочка, в который нам именно и следовало повернуть, с треском вылетела телега и загородила нам дорогу. В телеге были ящики с пивом, а на облучке ее качался из стороны в сторону и едва мог сидеть совершенно пьяный мужик без шапки. Не успела выскочить из лесу телега, как за ней, с плясом, с гармонией, с песнями и присвистами, выступила огромная толпа мужиков и баб, молодых и старых, и среди этой веселой и сильно подгулявшей толпы с трудом двигался до невозможности развинченный, дребезжащий, весь исковерканный и изломанный тарантас. В этом тарантасе сидел какой-то человек, худенький, кривобокий, изможденный, крепко пьяный, в расстегнутом пиджаке и жилете. Две молодые здоровые бабы с гармониями сидели у него в ногах, свесив свои ноги на подножки тарантаса, и горланили песни, в то время как кривобокий человек, из всех сил надсаживая свою разбитую грудь и стараясь

перекричать галдевшую толпу, махал своим картузом и почти кричал:

— Милочки мои! Поклонники вы мои! Не забуду я вас до гробовой доски! Други! Ангелы мои!..

— Филипыч! — галдели мужики и бабы. — Ты отец наш! Ты наш покровитель!.. Бог тебя не оставит!.. Эй, шевелись, с пивом-то, потчуй!

— Откупоривай живей! На перекрестке поздравим Филипыча!

— Ангельчики мои! Милочки мои! Отрада моя единственная! — продолжал надсаждаться Филипыч, весь бледный, пьяный, возбужденный, со слезами на глазах.

Среди этого галдения в толпе, растащившей пивные ящики, хлопали бутылки кабацкого шипучего пива, разогретого летним послеобеденным солнцем; откупоривали его кто гвоздем, кто кнутом, протыкая пробку, кто хлопал горлышком бутылки об колесо, причем мужики и бабы резали себе руки, а иногда и губы до крови, и все это, мокрое, пьяное, еще шумнее принималось галдеть, лезло к Филипычу целоваться, вопияло: «Отец! Благодетель! Ты наш помещик! Мы твои подданные, поклонники!»

— Подымай его на уру! На уру бери! Берись, ребята!

Толпа сгрудилась у тарантаса, что дало нам возможность потихонечку объехать его, и в то время, как мы поворачивали в лесок, Филипыч летал над толпой как перо, махал руками, плакал и выкрикивал:

— Ангелы! Поклонники!.. Купидоны!

— Ура-а-а!..

— Вали на вокзал! Вали, ребята, до вагону провожать! трогай все!..

— Ура-а-а!

— Убьют они его! — оглядываясь на летавшего Филипыча, сказал мой возница, и мы въехали в лесок.

— Что это такое? — спросил я извозчика.

— А уж, право, не знаю... Да вот мы увспросим... Бабушка!.. Э-эй, старушка! — окликнул он какую-то старушку, направлявшуюся по той же дороге, по которой ехали и мы.

Сгорбленная старуха с палочкой в руках остановилась, закашлялась. Извозчик приостановил лошадь.

— Что это у вас за помещик объявился? — спросил извозчик.

Старушка долго кашляла, закрывая рот рукою, наконец проговорила:

— Да ты посади-ко меня в телегу-то, подвези старуху, я тебе все расскажу.

— Садить, что ли? — спросил ямщик.

— Конечно, подвезем!

— Ну садись, бабка, полезай!

С трудом взобралась старушка на телегу и уселась посередке, прямо на сене.

— Ты не больно прытко поезжай-то, — сказала она ямщику. — У меня кости старые, по камню-то всеё разобьешь...

— Ну, ладно!

Поехали шажком.

— А это, — начала старуха, — мы провожали нашего отца-благодетеля, покровителя нашего, Артамона Филипыча! Вот каков наш помещик!.. Кажинный год об эту пору он к нам в гости приезжает, ну вот мы его и чтим. Кабы не он, вовеки бы мы свету не видали, так бы и запропали в своей трущобе, как медведи...

— Да что ж он, каким таким родом вызволил вас?

— А вот видишь дорогу-то? Ведь теперь мы с тобой едем все одно что по московскому тракту, каменная ведь у нас дорога-то теперича, а что было? А было невылазное болото... Только по зимам и свет видели... Ну вот эту самую дорогу Артамон-то Филипыч нам и пожертвовал... Вот он кто — Артамонушка-то!..

Дорога действительно была новая; по бокам шли две широкие и глубокие канавы, на средине был плотно накатан прутняк, а поверх его была насыпана, повидимому недавно, довольно узенькая полоска щебенки...

— Да кто он сам-то?

— А сам-то он портной петербургский. В Ямской у него свое заведение. Вот он кто будет!

— Каким же родом он к вам-то попал?

— То-то вот господь его нам послал!.. А таким родом вышло это дело. Мой-то старший сын теперь старостой в должности состоит, а годов с пять тому назад проживал он в Питере в дворниках... Вот и случись ему служить в том самом доме, где у Артамонушки это заведение находится. О самую об эту пору Артамонушко-то женился, взял за себя сироту; мой сын-то, Андриян, гово-

рит — «первая, говорит, была красавица, что умная, что добрая, что красивая, одно слово, не нарадоваться». Прожили они год душа в душу, а на другой-то год она возьми да и помри; и неведомо с чего! И похворала-то всего, говорит Андриян-то, всего, говорит, с полсуток и богу душу отдала. Вот Артамонушко-то и затосковал. Стал пить, стал убиваться, и так, что даже заведение свое едва-едва не перевел. И стал он в этаком-то расстройстве ходить к моему Андрияну в дворницкую... Полюбился ли ему мой Андриян или уж так, тоска-то ему оченно велика была, только зачал он, Филипыч-то, кажинный день к Андрияну захаживать. «Посижу хоть у тебя на людях, а то одному-то смерть в доме... Сходи-кось за пивом и за вином...» Вот Андриян сходит, принесет, они и сидят — пьют, а Филипыч-то на свою участь жалуется — сирота, вишь, он круглая, на веку горя напримался, а теперь вот один-одинехонек... Ни родни, ничего нет у него! И пошла у них с Андрияном дружба закадычная... То он у Андрияна в дворницкой, то Андриян у него в горнице. Под конец так стало, что Андриян-то совсем почитай что у Филипыча поселился: и днюют, и ночуют, и пьют, и едят — все увместях с Филипычем... Видит мой Андриянушко, что человек-то очень уж сердцем добер, а тоски-то своей смертной избыть не может — и стал говорить ему: «Эх, мол, Артамонушка! И чего ты убиваешься? Воротить ты ее, жену-то любимую, не воротишь, на другой тебе жениться совесть не дозволяет, чего уж убиваться понапрасну-то? Поглядел бы ты, говорит, на наше горе деревенское, мужицкое; посмотрел бы, как мы-то горько бьемся, так тогда твоя-то беда с маково бы зерно показалась...» И стал ему за беседою-то про наше про крестьянское житье рассказывать; и про голодовки, и про хворь, и про труды каторжные, про зимы трескучие, про болоты, чащобу непроходимую... И дороги-то от нас нету, окроме как зимой, а ведь у нас в летнюю пору что господ проезжает — иной продал бы яичек, ягодок, грибков, а нам, горемычным, и вылазу нет, особливо как дождик хлынет... Или взять сено — по весне ему хорошая цена, и летом оно в цене, а лежит оно у нас зря, ежели зимой не продадим, потому вылазу нету... А как его зимой продать, когда зимой-то из-под всех местов, которые к Питеру ближе, по зимнему-то

пути его натащат... Рассказывал, рассказывал ему так-то про наше горькое горе, вот Филипыча-то и взяло за сердце... Разжалобился он, поплакал, да и говорит Андрияну: «Вот что, Андриян. Не буду я себе искать утехи в новой жене, потому что старой мне невозможно забыть, а будет у меня две отрады — надгробная, говорит, могила да твоя деревня. Буду я, говорит, для вас благодетелем, а вы меня, сироту, почитайте и после смерти моей должны поминать; а лягу я в могилу рядом с милой моей супругой. А что я выработаю по портновской части и какой есть у меня достаток, то все предоставлю вам, как ваш полный благодетель. Поедем, говорит, в твою деревню, давай я вам дорогу сделаю, вылезайте на белый свет, почитайте меня, сироту!» Ну вот и приехали они с Андрияном-то. Сейчас собрали сход, поставил Филипыч угощение, поклонился мирянам: «Любите, говорит, меня, сироту, милые мои други, а я вас не покину. На руки денег не просите, у меня таких денег нет, а по силе, по мочи для всей деревни буду стараться!» Ну, погуляли, попили, песен поиграли ему, повеличали, опять угостил. Вот и вынул двести рублей: «Ладьте, ребята, дорогу! Теперь больше у меня нету, а выработаю, через год опять дам!» И с тех пор, как по часам, у него пошло: как первый раз приехал на Ольгу (жену-то его Ольгой звали), так каждый год в это число и объявляется. С приезду он нам ставит угощение, а потом мы ему трое суток усердствуем — вот он какой Филипыч-то! На первый-то год канавы прокопали, на второй хворосту натаскали, мостики уделали, а потом и камень купил... Да окромя этого две тысячи саженей малых канав прокопал, гривеничных, и где было болото — там теперича пашня у нас... Вот каков наш помещик, благодетель! — кабы не он, так нам бы и свету-то божьего не видать, так комары нас бы и слопали до костей...

— Да, — сказал извозчик. — Человек на редкость! Этаких божьих людей поискать! Ишь ведь как его господь-то умудрил!..

— Уж человек — чего говорить! — сказала старушка. — Восьмой десяток живу на свете, а, кажется, и во сне такой добряга не снился... Да хворый! Ишь ведь какой хлипкой! Проживет ли долго-то? Теперь уж непременно с ним на машине что-нибудь недоброе случится.

Пьяных-то не пущают, бьют... Кажинный раз его этак-то калечат, пьяного-то... А что — добер, так и слов нет, как и похвалить-то его!

Да, добрый, хороший человек этот портной Артамонушко!

III

А вот и еще тоже несомненно добрый и несомненно хороший человечек вспоминается мне. Слово «человечек» характеризует в одинаковой степени как размеры его доброты, теряющиеся в широком просторе суровых деревенских порядков и отношений, так и подлинные размеры самой фигуры Ивана Николаича. Иван Николаич — крестьянин Вологодской губернии, по ремеслу плотник. Аккуратно, в первых числах апреля, маленькая фигурка этого доброго человечка появляется в наших местах. Маленький, плохо кормленный и много битый с детства, Иван Николаевич покрывает все свои физические изъяны и недостатки необыкновенною добротою своих глаз, необыкновенною ласковостью, ободрительною приятностью разговора, ласковым, одобряющим словом. Неприятных, неласковых, грубых слов или таких речей, от которых собеседнику Ивана Николаевича стало бы скучно, трудно или неприятно вообще, — никогда не произносили уста Ивана Николаевича...

— Вот господь привел свидеться!— радостно начинает он свою речь, появляясь в наших местах, и в течение всего времяпребывания, вплоть до 1 ноября, вы не слышите от него иных речей, как, примерно, такие: «Не беспокойся. Не тужи. Все будет сделано! А что ежели материалу нет — найдем! хватит, уж не сомневайся! Иван Николаев не такой человек! Все будет сделано, только сам-то справляйся, не запускай своих делов! не расстраивайся!»

А когда на Кузьму-Демьяна он уходит от нас, то ласковые речи его желают нам, деревенским обывателям, которых он обстроил или, по его выражению, «объютил», — жить да поживать «на здоровье», «в добрый час», «на много лет».

И как приход, так и житье Ивана Николаевича в течение лета, вплоть до ухода, — все это пробуждает в нас, деревенских жителях, заугрюмевших за зиму в своих су-

ровых нуждах и печалях, самые ласковые, хорошие мысли и самые веселые надежды. Да! Иван Николаевич тем именно и дорог, что в его плотницкой работе главную роль играет не один только заработок, не одно только исполнение заказа; есть в его *работе* еще особенная, только ему свойственная черта — это умение дать вам почувствовать удовольствие *жить* на белом свете, которое он вносит в свой разговор о заказе, в свою работу и в способ ее исполнения...

Огромный запас врожденного благородства и самой подлинной доброты и внимательности к людям, с которыми Ивану Николаевичу приходится сталкиваться в жизни, — вот единственный его жизненный ресурс, основание всего его жизненного успеха и даже цель собственного его существования. Необычайная доброта и деликатность не покидали его в самых ужаснейших условиях деревенской жизни; худенький, маленький, слабый на вид, он с детских лет знал горе, но безропотно нес бремя непосильных по его молодым годам трудов. Эта необыкновенная, врожденная деликатность, вероятно, была в нем так несокрушима и так сильно и благотворно действовала на окружающих, что выручила его в самую критическую минуту жизни, когда однажды ни ему, ни жене, ни семье буквально нечего было есть. Грубый, жадный деревенский кулак, мироед и ростовщик, сам, своей волей, без всякой просьбы со стороны Ивана Николаевича, пришел к нему и дал сто рублей без всяких процентов, сказав только: «Поправляйся!» И Иван Николаевич стал поправляться с этих денег. Такое необыкновенное дело могло случиться именно только благодаря необыкновенным размерам доброты и порядочности, свойственных натуре Ивана Николаевича, доброты, которая устыдила и размягчила душу грубого кулака. В то же время этот эпизод в его жизни, когда он едва не сгинул от нужды и когда вдруг, нежданно-негаданно, его выручил и воскресил к жизни самый «худой» человек деревни, человек, которого многие проклинали и в котором, однакож, оказалась капля доброты, имел на Ивана Николаевича неизгладимое влияние, запечатлев все его деяния, все отношения с людьми, всю его работу *непременным стремлением* внести в них доброту — добрую цель объютить, облегчить, развеселить человека.

Появляясь в наших местах в первых числах апреля и уходя на Кузьму-Демьяна, Иван Николаевич сумеет обыкновенно переделать в течение этого времени множество дел. Но при общем обороте работ на сумму не менее шести-семи тысяч рублей он редко уносит с собою заработок более чем в полтораста рублей. И если рассчитать, что заработок этот образуется только потому, что в артели его есть родной сын, которому он не платит ничего, то окажется, что сам-то Иван Николаевич почти ничего не зарабатывал в течение семи месяцев, а только был сыт. Но Иван Николаевич, уходя, всегда был ужасно счастлив, всегда сиял, всегда был провожаем самыми искренними словами благодарности и при строгой умеренности своих желаний был вполне доволен этим ничтожным заработком, который дает ему возможность только перезимовать зиму. Но во сто раз больше заработка был он доволен тем, что все им довольны, что всем он сделал добро, всех объютил, успокоил, развеселил и приободрил жить на белом свете, то есть сделал то главное дело, которое главным и важным считала его благородная душа.

«Объютить человека» — вот основная потребность его души и вот та точка зрения, с которой он смотрел на все свои заказы.

— Погляди-кось, Иван Миколаич, мою хибарку-то... Того и гляди, братец мой, завалится, народ передавит!

Говорит это Ивану Николаевичу самый беднейший мужик деревни. Он захудал, ослабел, народил кучу детей и не видит никакого выхода из своего убийственного положения. Ребят не во что одеть. Целую зиму, например, не может выйти на улицу мальчик лет девяти — не в чем; этот бедный ребенок... не может на салазках покататься, ни в школу пойти, потому что буквально нечего надеть. Весной, когда начало все таять, щебетать, журчать и когда девятилетний мальчик, всю зиму маявшийся на полухолодной печи, со слезами стал просить «мамыньку» дать ему подышать на воздухе, так мать должна была завернуть исхудалого ребенка в свое старое платьишко и вынесла его, девятилетнего, на руках на воздух — ни чулок нет, ни сапог — ничего!..

Сообразно с такой нищетой в пище, в одежде и домишко захудалого бедняка тоже пришел в совершеннейший упадок. От сырых окон, от невысыхающих от грязи

и сырости полов весь пол прогнил, весь фасад избы накренился вперед и под давлением огромной старой крыши так и пятится лбом в землю.

Поглядит Иван Николаевич на все это нищенство, но поглядит не как «благодетель» и не как человек, презирающий бедняка, а все с тою же ласковостью в глазах и в обращении, которая никогда и ни в чем его не покидает.

— А материалу никакого не будет на поправку? — спросит Иван Николаевич ласково.

— Не будет, Иван Миколаевич! Никакого материалу не будет!

— Так мы в таком случае и без материалу оборудуем, объютим!

— Яви божескую милость, Иван Миколаевич, я тебе заслужу!

— Объютим! Ничего! Вот дай мне сообразить, посчитать, я тебе тогда все помаленьку выправлю... Не тужи, все обладится по-хорошему! А деньжонок — тоже поди недохватка?

— Ничего, даже ни боже мой, нету денег! Перед истинным богом, вот нисколько нету!

— И это не препятствует! А мы и так обоюдным, тихим манером обделаем. Только вот соображусь... Все будет хорошо! Все по-хорошему обладим!

Если бы Иван Николаевич работал из-за барыша, то ему ни в каком случае не следовало бы брать на себя таких работ, как «объютить бедняка без материала и без денег», но, напротив, он именно постоянно и брал такие работы, потому что ему было весело, приятно и *важно* вызволить, оправить, возродить к жизни именно погибающего, несчастного, захудалого человека...

Вслед за бедняком другой крестьянин тоже обращается к Ивану Николаевичу с просьбой: он недавно женился и хочет отойти от братьев, бабы ссорятся, и хочется ему построиться, а денег у него мало.

— А сколько у тебя денег-то?

— Да всего рублей под сотню есть. Только и денег всего!

Подумает, подумает Иван Николаевич и скажет:

— Надобно тебя объютить! Маловато деньжонок-то, что делать, да ведь не дожидаться же, пока ты тысячи наживешь!..

И берет работу, и объютит и беднягу и того, у кого только сто рублей денег.

Таким образом, всякий раз, когда Иван Николаевич, придя к нам, наберет себе всевозможной работы — у купцов, у помещиков, у богатых и у бедных мужиков, — первейшая его забота состоит в том, чтобы обдумать, с кого сколько взять и как это взятое распределить так, чтобы *хватило всем.*

Вечером, сидя в кабаке, где он обыкновенно нанимает квартиру с едой (сам он не пьет ни капли), Иван Николаевич составляет, положим, смету на постройку больших амбаров для купца Семипалова. Он считает самым добросовестным образом; но, думая о купце, не забывает и беднягу, у которого дом повалился и которого он обещал объютить, и вот он к счету в пятьсот рублей приписывает «десятку» на беднягу.

— Что десятка купцу! — говорит он и смело пишет пятьсот десять рублей. А продолжая обдумывать этот подряд во всей подробности, он не забывает и того мужика, v которого денег только сто рублей.

— Вот эти бревна, и этот тес, и этот камень мне, стало быть, Михайло перевозит... Столько-то возов, столько-то ден, стало быть, Михайле в его постройку придет столько-то денег...

Иван Николаевич мог бы взять любого поденщика, но он помнит Михайлу, у которого нехватает на постройку, думает о нем, знает, что не дожидаться же ему, пока он наживет тысячу рублей, — и вот в своей работе дает заработок и своему заказчику.

Купец Семипалов послал Ивана Николаевича на пристань купить лесу. Иван Николаевич *заодно, за одну поездку* покупает и задвижки для дома того мужика, у которого нехватает, прикупает обрезки, которые тут на пристани продают задешево, помня, что беднягу-мужика надо вызволить, что ему самому негде купить, что за один приезд на пристань и за одни и те же деньги он сразу делает то, что нужно бы было делать потом особо и особо тратить деньги. Везут в вагоне лес купцу Семипалову — и Иван Николаевич сюда же, в вагон, прикидывает и те обрезки, которые нужны для бедняги... Обрезки он купил на свой счет и истратил пять рублей — эти пять рублей сам же бедняга выработает у него:

лошади у него нет, телеги нет, возкой заниматься нельзя — копай канавы под столбы, вот тебе заступ в руки...

Непрестанно руководствуясь заботой о необходимости объютить того или другого человека, не имеющего к этому средств, Иван Николаевич не бросит даром ни единого гвоздя, ни единого обрезка бревна или доски, не подумавши о том — не пригодится ли этот обрезок или кусок железа где-нибудь в его практике? При его постройках не остается ненужного, лишнего или никуда не годного, у него все идет в дело — остатки драни, совершенно ненужные купцу, очень нужны бедняку, и они появляются на крыше бедняка; эти обрубки, из которых можно, пожалуй, напилить полсажени дров, в доме Михайлы пойдут на подоконники и т. д. Он не благодетель, не благотворитель, не филантроп — он просто добрый человек, думающий о чужой нужде, радующийся, что может вызволить человека, и в самом деле вызволяющий его всегда.

Вот отчего как появление Ивана Николаевича в наших местах, так и его уход всегда доставляют нам, деревенским его знакомым, истинное удовольствие и радость: к нам является человек, который непременно сделает всем нам что-нибудь хорошее, обрадует нас, — и мы весело и любовно встречаем его; а когда он уходит, то хорошее, которое мы ожидали от него, всегда уже сделано, видно нам: Михайло живет в новом доме, дом бедняка выправился и стал похож на дом, купец Семипалов доволен, доволен и помещик Колпаков. Со всех сторон к Ивану Николаевичу несутся благодарности, самые искренние, а сам Иван Николаевич на все стороны расточает поцелуи, объятия и ласковые слова — «дай бог на много лет», «дай бог в добрый час», «на здоровье» и т. д.

И вполне довольный тем, что никому худа не сделал, а, напротив, сделал только добро, довольный тем, что не покривил душой, что делал так, как велит совесть, Иван Николаевич после семимесячных трудов весело уезжает на дровнях с своим сыном в Вологодскую гобернию, домой.

4. НА БАБЬЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Кстати, расскажу здесь один очень трогательный эпизод из жизни этого самого Ивана Николаевича. Возвращаясь однажды со станции, куда летом вместо прогулки ходил за письмами и газетами, встретил я Ивана Николаевича, и мы пошли вместе.

Шли мы, разговаривали кой о чем и видим — в канаве около шоссе что-то как будто шевельнулось. Иван Николаевич первый ускорил шаг, подошел к тому месту, где шевельнулось, и стоит. Подошел и я.

— Ведь человек лежит, — сказал он. — И никак уже померши?

В траве, которою заросла канава, действительно лежал человек. Он упал на кучу щебенки, и она так подпирала его в поясницу, что лохматая, мокрая голова его круто опрокинулась назад, а скомканная борода торчала вверх, посконная рубаха была на нем расстегнута, изорвана; ноги босы.

— Эко напился-то, — сказал Иван Николаевич, уже соскочивший в канаву, и, сбросив с плеч мешок с какими-то инструментами, принялся за исследование бездыханного человека. Он низко наклонил ухо к его лицу, послушал, потом припал ухом к груди и сказал тревожно:

— И дыхания-то нету нисколько!.. Разит винищем, а дыхания нету!

Кстати сказать: таких бездыханных пьяниц нередко встречаешь в таких местах, но, не имея возможности помочь, проходишь обыкновенно мимо. Обыкновенно посмотришь на этот полутруп и идешь мимо... Каюсь, что,

будь я один, и на этот раз бездыханный человек так бы и остался в канаве. Но сердце Ивана Николаевича было чувствительнее моего; я стремился домой поскорее взяться за газеты; он же хотя тоже спешил по делу, однако бросил его, остановился и самым внимательным образом отнесся к чужому человеку.

— Ах ты, братец ты мой! — говорил он, суетясь около бездыханного тела.

Он с огромными усилиями приподнял это тело, подхватил его под плечи, тряс его, кричал: «Эй, любезный, очнись!», но ничего не действовало, и Иван Николаевич должен был опустить пьяного на прежнее место, пододвинув ему под голову камень.

— Что тут делать? — сказал он в раздумье и взялся было за мешок с инструментами, чтобы продолжать путь, но опять его жалостливое сердце не пустило его. Он опять проворно сбросил мешок и армяк и оживленно сказал:

— Нету! так оставить нельзя! ему надыть дыхание уделать!

И вот как он «уделал». Сначала он всячески старался разжать мертво-пьяному рот; он тянул его за бороду, но зубы пьяного были крепко сжаты, стиснуты предсмертной судорогой. Тогда Иван Николаевич запустил палец за щеку своего пациента, нащупал там место, где нехватало двух зубов, и, выскочив из канавы, сломал у ивового куста толстую палку, немножко заострил топором конец и, запустив этот острый конец между зубов, стал вбивать его ладонью дальше, точно так же, как вбивают гвоздь в стену...

— Она, расклепка-то, разожмет зубье-то!.. — весь мокрый от хлопот и волнения говорил Иван Николаевич, загоняя свой клин «между зубьев». Операция была жестокая, но в конце концов стиснутые зубы были разжаты, и вскоре послышалось хрипение.

— Эво! Эво! — радостно воскликнул Иван Николаевич, заслышав дыхание, и тотчас снял шапку и перекрестился.

Покуда происходило все это, подошел народ, помог Ивану Николаевичу растрясти полумертвого человека, затем окликнули нескольких «порожняков», возвращавшихся со станции и с полей по домам, спрашивая: «не

ваш ли?» Наконец очнувшийся человек был общими усилиями уложен в телегу какого-то крестьянина, который его признал и отправил его восвояси.

А мы с Иваном Николаевичем пошли своей дорогой.

— Отдох! Ну, слава тебе господи! — не раз повторял он. — Эко ведь наглотался винища. Ну, слава тебе господи!

— Однако, — сказал я, — какой ты добрый человек! Не случись тебя, ведь человек-то бы помер!

— И помер бы! Нешто кто беспокоится? А я про себя прямо тебе скажу: сердце у меня жалостливое!

Иван Николаевич сказал это так просто и чистосердечно, что еще больше понравился мне.

— Я человек добрый! — продолжал он. — О своем у меня сердце не так болит, как о чужом... Я, братец мой, не покину человека в нужде. Это мне господь бог дал! И что ж? Я не обижаюсь! Бога гневить нечего! Живу на свете, никому обиды не делаю.

Искренно сочувствовал я Ивану Николаевичу и не находил слов для похвалы его поступку, который стал казаться мне положительно подвигом среди вообще обычного невнимания к чужой нужде. Похвалы мои пришлись Ивану Николаевичу по сердцу, он и сам поддерживал их, простодушно говоря — «да, брат, совесть у меня чистая», «вот какое у меня сердце — за первый сорт!» Но среди моих и своих собственных похвал Иван Николаевич как-то вдруг задумался и вздохнул.

— Вот, — сказал он, — хвалишь ты меня!.. Это точно, действительно добер я!.. А есть у меня на душе такой камень — ввек не изжить!.. Вот этими самыми руками избил, истиранил неповинного человека! Вот как я добер! А добер ведь — перед богом! А так вышло, что едва на смерть не убил человека. И за что? Ни за что, окромя что — человек золотой, цены ему нету! Вот как иной раз оборачивается на свете!

— Как же так? — сказал я. — Это что-то непонятно.

— А вот послухай, как дело-то было. Остался я сиротой после матери одиннадцати годов. И семья наша была такая: слепой дед на печи, отец да трое ребят, мальчики. Одному год, другому три, а самый-то старший я. Вот и думай, как тут жить? И вышло так, братец ты мой, что пришлось мне на бабьем положении жить: не хотят девки-

то за отца моего идтить. И вот я прямо и стал на бабье дело: и стряпать, и за скотиной, и за ребенком, и шить, и чулки вязать — все у меня стало происходить по-бабьему. Вот откуда у меня жалостливое сердце-то началось. Бывало бьешься, бьешься с годовалым-то братишкой — и соску ему, и сказку, и песню — все надо! И вымыть надо, и обуть, и причесать, и укачать, и накормить, и напоить, и выстирать. А там птица, скотина — все я да я. И тут узнал я бабье горе, вот как узнал! И таким родом до четырнадцатого году я один на бабьем положении хозяйствовал: ну, друг ты мой, как ни бейся, а бабы не миновать... Дело-то бабье справлено, а безделья-то бабьего нехватает... ан оно и скучно!.. И надумай родитель жениться, благо случай подошел; вдова на деревне оказалась, и тоже с тремя ребятами. Эта, друг ты мой, без мужика совсем измаялась; тут уж и бабье дело надо править, и мужичье, и грудью кормить, и ночью дрова воровать — все самой... Измаялась баба, пошла за моего отца. Да и отец тоже намучился, махнул рукой на то, что трое ребят у Аграфены (ее Аграфеной звали), — взял ее. И выросла наша семья — девять душ; и все мелкота, да окромя мелкоты и дед слепой на печи, тоже не лучше малого ребенка. И все есть просят; сам не возьмет, всякому дай, в рот положи, обуй, умой, одень. И так я бабью часть чувствовал и сердцем страдал, что с первого дня стали мы с Аграфеной не то брат с сестрой, а как сестра с сестрой — вполне родные сестры; хлопоты у нас одни, заботы одни и мысли одинаковые, бабьи. Я понимаю, что ей надо, она понимает, и даже без разговору, что мне; как есть — как две сестрицы. Ну, истинным богом — ни боже мой! Ведь бабий разговор особенный, с непривычки не разберешь — чего стрекочут? А мы с Аграфеной все до тонкости понимаем. И как видит она, что я жалостлив, что я ночью к своему братишке встану покачать, так и сйного ребенка не кину, и крепко она меня полюбила, а как полюбила-то, и в моих хлопотах по бабьей части подсоблять стала и за моими братишками, как за своими, ходит, а за это я ее полюбил. И стали у нас одни мысли и одни заботы, и разговоры у нас с ней свои.. Иной вместе песни запоем, иной поцелуемся — и перед богом — ни, ни! И в уме не было... А точно, что водой не разлей!.. И пошла про нас молва!.. И стал на меня родитель, цар-

ство ему небесное, серым волком глаза пялить.. Что меня Аграфена похвалит, али я ее похвалю, али пошутим с нею — то глазищи у него злей да злей... А пошел мне уж шестнадцатый год, и парень я был в полном виде. Бывало, ночью стану собираться в лес за дровами, Аграфена беспременно не спит, снаряжает меня, в тепло оденет, крестит и... поцелуемся, а глянешь на полати — оттуда два глаза как уголья горят... И что дальше, то больше! Вступил ему грех в сердце — разгорается с каждым днем в полымя! Стал нас караулить, подглядывать.. Иной раз на речке или на гумне — стираем, работаем — охватит мне Аграфена голову: «Ох ты, золото, говорит, мое! Как бы без тебя на свете-то жила?» Хвать, а родитель тут и есть! И ровно бы бес в него вселился. Не принимает никаких резонов, а главная причина — не может понимать нашего бабьего разговора... «Чего шепчетесь?» А чего нам шептаться? Иное что по-бабьи-то нашепчешь — по-мужицки-то и в неделю не перескажешь... Никакой веры не дает! До того стало доходить, что дед слепой говорит мне: «Иван! А отец-то хочет тебя ядом извести!» И стал меня родитель обижать, поколачивать, за волосья например, а это Аграфене — смерть. Ревмя ревет, заступается. У нее душа добрая, не хуже моей, почитай, будет!. А Аграфенины слезы пуще его разбирают — все больше да больше сатанеть стал. Ходит по людям, говорит: «Так и так! Иван эво что с мачехой-то!..» И по народу пошло... Слышат: «Бил Ваньку-то». — «Аграфена ревмя ревела».— «Опять бил... поймал...» А потом Аграфену стал бить. Ну я тоже стал заступаться — и еще хуже стало! Что тут делать? Священник даже исповеди не дал! «Твоего греха, говорит, невозможно простить, а надобно в суд. Этакой страсти никто не запомнит, что ты с Грунькой творишь!..» Что мне тут делать?.. Весь народ от меня отступился, стали мы с Аграфеной как проклятые... И она и я глаз не осушаем, а от этого еще больше в народе подтверждения! Не стало нам житья в доме! Все стало вразброд, все к худу... А родитель пьет и буянит...

«Как мне правду доказать? Как мне всех успокоить, очиститься пред родителем, пред народом, пред батюшкой — священником? Думал, думал, пошел к отцу Сергию, нашему священнику, говорю: «Так и так! Явите

божескую милость, освободите мою душу: ни в чем не повинен! Не толь что... а и в мыслях этого дела не было!» И как было надо по моим смыслам дело рассказать, все я батюшке описал... Не может он понять этого, то есть бабьего моего положения, мыслей-то моих бабьих, дружества-то моего бабьего не постигает! Ну, однакоже, глядя на мои рыдания, подумал и говорит: «Вот как я присоветую: пускай ты и Аграфена пред родителем твоим, предо мной и пред народом поклянетесь пред крестом и евангелием, что этого не было... А клятву, говорит, я напишу на бумаге». — «Батюшка, говорю, какую угодно клятву наложите! Чтоб нас гром разразил, чтобы на месте помереть, чтобы глаза вытекли, чтобы заживо черви съели, что только угодно, все готовы!..» Ну, отец Сергий говорит: «Ладно! Первоначально надобно, говорит, отца твоего урезонить...» И дай бог ему царство небесное, не поленился сам к родителю пойти. Долго ли, коротко ли он его уговаривал, этого не помню, не в себе я был, и рассудок у меня помрачился... Окончательно скажу, призывает меня отец Сергий: «Хорошо, говорит, назначается быть клятве в воскресенье. Как отойдет обедня, то я с крестом и евангелием приду в дом к родителю твоему, и народ будет допущен, и вы с Аграфеной пред всеми нами принесете клятву. Видно будет — правду ли, неправду ли скажете!» Пал я ему в ноги, поблагодарил, объявил Аграфене: «Смотри, говорю, сестричка, не робей! Наше дело чистое, нам бояться нечего!» Наконец приходит воскресенье, отстояли мы с Аграфеной заутреню и обедню (всю субботу не пивши, не евши были — батюшка приказал), идем всем миром в дом. Впереди причт, потом батюшка со крестом и евангелием, родитель мой, мы с Аграфеной ровно колодники, а кругом — и на заду и по бокам — вся деревня! И бабы, и мужики, и дети — сметы нету народу. Изба полным-полнехонька! Под окном — тьма тьмущая! В сенцах — битком набито!..

«Положил батюшка крест и евангелие, помолились все; сел мой родитель как раз против евангелия и креста на лавке, а батюшка сбоку стал. Таково мне было, друг ты мой, жутко да ознобно, и не знаю с чего. Гляжу на родителя — сидит, глаз с меня не спускает, прямо так вот и вонзился в меня... Охолодел я и замер весь, однакоже пересилился, думаю — дело мое правое, что мне робеть. Гос-

подь мне поможет. «Ну, Иван, — говорит батюшка, — перекрестись, и говори за мной чистосердечно, и гляди, говорит, прямо родителю твоему в глаза». А в руках у него бумага; перекрестился он и стал вычитывать... И вот тебе мое слово: ежели бы я отца родного убил и кровь его пил, и то бы те его слова ужаснули бы меня и всякого крещеного человека. Будь ты хоть какой злодей, и то бы пал и повинился! И невозможно пересказать этого!.. Даже дыхание у меня все сдавило, но чувствую я, что мне нельзя плошать, собрал все свое сердце в комок, прямо вонзился отцу в глаза и с твердою совестью каждое слово повторил... А родитель не сморгнет: белый весь, дрожит, глаза красные, так и впился. И который был в горнице, в сенях и на улице народ — точно помер! Долго ли, коротко ли... уж не упомню... только слышу: «Ну, целуй крест и евангелие!» Приложился я, ударило меня жаром всего, глянул я на народ, вижу — как будто хорошо! Веруют в меня, даже батюшка Сергий как будто подобрел... «Ну, думаю, Аграфена, крепись!..» А на ней лица нету. Подбодрить ее, знак дать, чтоб не робела, — сейчас по-кривому растолкуют... Тут я только уставил на нее глаза не хуже моего родителя — а родитель все такой же сидит, пронзительный. «Ну, — сказал батюшка, — иди ты, Аграфена!» Шевельнулся народ, и бабы зашушукали... Вышла Аграфена — ни жива ни мертва... Зло меня взяло... Гляжу на нее ястребом, а отец мой злым коршуном. Помолилась, поклонилась. «Ну, Аграфена, клянись за мной...» И стал опять же батюшка вычитывать... Что ж ты, братец ты мой? Ведь с третьего слова сбилась! Затряслась! залилась! завыла! Загалдел народ, разорвало у меня сердце, выскочил я да за волосы ее... «Ах ты, подлая! Осрамила ты меня, проклятая!..» Да, боже мой, что! И уж что было! И как и когда кончилось — ничего не помню! Весь в крови и в безумии бегу, бегу, братец ты мой, из деревни, и неведомо куда... Ох, батюшки, господи милостивый! Что такое бывает на свете? И не вздумаешь, не сгадаешь! А каков камень-то я на душу навалил!

— Что же потом-то было с вами?

— Ушел я! Ушел на заработок... Вот когда я по плотницкой-то части пошел! Не мог жить в доме! Нет моих сил! Едва родную-то мою, сестрицу-то, ведь не убил!

Слегла хворая, горюшко-бедная! И уж жалости во мне не стало, не чувствую ничего, так и ушел! Вот ведь как на свете-то случается!..

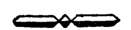
— Где же теперь эта Аграфена? Жива?

— Да у меня же,— весело сказал Иван Николаевич,— друг ты мой сердечный, век доживает! У меня в дому! Помер родитель-то, царство ему небесное, — очувствовался, поверил, что не виновата... Ведь этому лет двадцать пять, а поди и побольше было... Теперь уж братишки-то мои поделились, а Аграфена ни к кому не пошла жить, век доживать, даже к детям не пошла, только ко мне! «Возьми меня к себе, солнце ты мое золотое!» — вот ведь что и посейчас у ней обо мне! Старая-старенькая, сидит на печке, смерти ждет, умаялась, горькая. А вернусь я с заработков после Кузьмы-Демьяна: «Золотой ты мой!.. Дай-ко мне поглядеть-то на тебя, солнышко красное!» Вот ведь как!..

Мокрые были глаза у Ивана Николаевича.

— Нет, Иван Николаевич, все-таки ты добрая душа! — сказал я ему на прощанье.

— Благодарим покорно! Точно, что худова не люблю... А ведь эво какой грех вышел!



5. УРОЖАЙ

I

...После долгого, почти четырехмесячного отсутствия из места моего «жительства», часу в третьем темной и свежей августовской ночи, я вновь очутился на платформе «нашей» железнодорожной станции... и недоумевал: по крайней мере минут пять прошло с той минуты, как остановился поезд, и я вышел из вагона, а мой саквояж и так называемые «ремни» были еще в моих руках, то есть вопреки многолетнему опыту никто еще из местных мужиков не вырвал из моих рук этого саквояжа и этих ремней, никто из них меня не теребил ни за рукав, ни за полу, таща к своей телеге, никто не умолял, до земли кланяясь, чтобы я прокатился с ним, так как он уже второй день без работы.

В течение по крайней мере десяти лет я привык, подъезжая к нашей станции, чувствовать необходимость возбуждать в себе некоторую искусственную храбрость и даже искусственное ожесточение; я знал, что едва я выйду из вагона, как «мужики» меня «разорвут», расхватают вещи, разнесут их по разным повозкам, так что потом надобно и самому ругаться с мужиками и видеть, как мужики ругаются из-за пассажира. Искусственное ожесточение необходимо было на то, чтобы «отбиться» от мужиков, а для этого прежде всего необходимо было крепко «вцепиться» в свои вещи и сразу ринуться из вагона сквозь толпу к тому из мужиков, с которым порешишь ехать. Всему этому научила многолетняя практика; все это я проделал и в настоящий мой приезд на станцию, то есть заблаговременно прибодрился, вцепился

в вещи и готов был ринуться грудью сквозь рвущую на части и орущую толпу, но вместо того вот уже пять минут, как я, «вцепившись» в вещи, хожу по платформе, а меня не только никто не рвет на части, не теребит, не тащит, но, напротив, я сам жду не дождусь, чтобы кто-нибудь пришел, освободил меня от моих вещей, которые мне оттянули руки, взял бы их от меня и отвез бы домой.

— Что же это такое? — в недоумении вопрошал я сам себя, положительно не зная, чем объяснить себе такое необыкновенное явление.

— Позови-ка, пожалуйста, извозчика! — сказал я сторожу, оставшемуся на платформе, после того как поезд ушел.

— Да извозчиков нету, вашскобродие! — отвечал он.

— Отчего же нету?

— Да не видать что-то... И так публика жалуется... Сказывают так, что урожай господь дал — ну вот, им и неохота!

— Это верно! — подтвердил, подойдя к нам, какой-то сельский купец с подушкой подмышкой, также оставшийся без лошадей. — Урожай господь дал ужаственный! Сказывают, на два года хлеба хватит... Старожилы не запомнят эдакого урожая...

— Так нельзя ли сбегать, попросить кого-нибудь «из одолжения?»

— Ну нет, — сказал купец. — Навряд теперь кто поедет. Теперь, когда господь их так помиловал, погляди-кось, какого храпу они задают! Его пушкой теперь не прошибешь. Окромя как у лавочника, у Кузьмы Демьяныча, ежели честью попросить, пожалуй что навряд кто согласится. Он теперь, мужик-то, за сто рублей не проснется!

Решили послать сторожа к Кузьме Демьянычу.

— Да! — промолвил купец, испустив глубокий, облегчающий душу вздох. — Слава тебе, господи!.. Такая благодать господня на наших мужичонков свалилась, и непривидано!.. Такую поправку господь ниспослал — во сне никому не снилось... А мужикам хорошо — и всем будет поприятней!

Слушая эти слова, я чувствовал, что какая-то давнишняя, прочно улежавшаяся тягота, вдруг свалилась

с моей души, привычной быть стиснутой и придавленной. Что-то свежее, теплое расширило мою грудь, облегчило и сердце и мысль, и вообще все и во мне и вокруг меня как-то осветлело, и все от этого неожиданного слова — «урожай»!

«Неужели в самом деле «хватит» на два года?» — радостно думал я, но непривычная к светлым фантазиям мысль не смела еще представить себе всех тех последствий «божьей благодати», которая посетила наши вечно полуголодные места.

И в то же время я ясно сознавал, что нельзя иначе назвать то, что неожиданно посетило наши полуголодные места, как именно «божья благодать». Что это такое «урожай»? Что такое «хватит на два года хлеба»? Это значит, что в каждой семье и в отношениях одних семей к другим, а затем и в отношениях общественных окажется возможность «жить и поступать по совести».

Здесь, вот в этой семье, ребят больше, чем можно прокормить, а труда и не сосчитать как много сравнительно с тем, что дает скупая земля, — и у человека на душе тьма, тоска за ребят, злоба на бабу, которая родит без всякого смысла и расчета, злоба на соседа, которому не пришлось отдать занятого в срок и который, однако, на основании своего права, также может быть злым, может жаловаться, мучить, может довести до мысли о мести, то есть до явной неправды, до желания сорвать злость «за все это» на бабе, на ребенке, или залить горе в кабаке... Это — когда не родило, когда земля поскупилась вознаградить тяжкие праведные труды; но все это зло, и вся эта тоска, и вся эта неправда, все прахом рассыплется теперь оттого, что господь уродил хлеба на два года: жена вовсе невиновна, что много нарожала, — всем, слава богу, хватит; с соседом, у которого было занято, никакой ссоры и кляузы не выйдет — все будет отдано «с удовольствием», в срок, час в час, по честности: «слава богу — *есть!»* Судейской кляузе места теперь нет, не придерется и старшина: все в порядке, все отдано, заплачено, без ссоры, без понукания, без выдумки о том, чтобы как-нибудь изловчиться не заплатить или избежать наказания: все хорошо, у всех на душе спокойно, чисто, невиновато, не скребет, не точит, не ест... И в себе и в людях все осветлело, все думается и делается

по-настоящему, то есть с свободным духом, не запутанною совестью.

Истинно «божия благодать»!

Но опять-таки скажу, нехватало моей фантазии представить себе всю массу благообразнейших явлений, которые эта божья благодать произведет в народной жизни и в народной совести; нехватало потому, что в наших по крайней мере местах урожай, да еще такой, который дает хлеба на два года, — явление положительно незапамятное. Старожилы действительно не запомнят ничего подобного, да и я, хоть и не могу считать себя старожилом здешних мест, все-таки утвердительно могу сказать, что по крайней мере в течение десяти лет моего пребывания в здешних «лядинах» я ничего подобного не могу припомнить и ни на каких перспективах, проистекающих из «божьей благодати», моя мысль не имела случая упражняться.

Напротив, весь строй народной жизни (разумеется, непосредственно отражающийся и на жизни культурных и правящих классов) на моих глазах в течение десяти лет был непрерывно изъязвлен отсутствием божьей благодати и гибельно действовал на душу напряженной, неласковой, неправдивой сущностью явлений окружающей жизни. «Нехватает» быть любящим отцом семейства, «нехватает» быть исправным кредитором, «нехватает» быть исправным плательщиком — и все эти совершенно простые «нехватки» устранялись на моих глазах всегда каким-либо насильственным путем: в семье — семейной ссорой, бранью, причем ребята заснут с *испугу*, забыв про голод, из-за которого и вышла брань; в соседских отношениях — кляузой, сплетней про куму Аксинью, с которой, мол, ты и т. д., вместо аккуратной отдачи долга; в недоимке — драньем в волостном правлении, как известно, также заменяющим урожай, и затем в кабаке, как месте забвения всей этой лжи.

А господа, которые вращаются вокруг народа, разве и они не ощущают в глубине своей совести, что самые строжайшие их поступки и самые гуманнейшие распоряжения в сущности только заменяют собою «нехватку» самую элементарную и что ни в распоряжениях их, ни в мероприятиях не было бы никакой надобности, если бы господь послал урожай? Пошли господь урожай — и не

надобно изобретать нераскупоривающихся бутылок как меры против уничтожения пьянства, потому что не из-за чего будет драться с семьей, кляузничать с соседом и вообще незачем будет отягчать свою совесть, а везде все будет сделано как следует. Пошли господь урожай — и судебному приставу не будет никакой надобности производить опись имущества «с сопротивлением», и становой пристав не получит от разъяренной бабы удара палкой по голове, и господину прокурору не будет надобности произносить громокипящую речь, исполненную неправды, и адвокату не надобно будет форсить своим гуманством, да и в остроге не будет сидеть лишний якобы преступник. Как-никак, а у всех этих господ: и у того, кто изобретает нераскупориваемую бутылку, и у того, кто вызывает сопротивление и буйство бабы, и у того, кто сажает виноватого в острог, — у всех у них напряженно, нехорошо на душе: все ведь они знают, что корень дела — *нехватка* только, больше ничего; знают они это по совести, а вот поди же! принуждены почему-то ломать и кривить ею, коверкать ее, как принужден кривить и коверкать ее мужик, бьющий бабу с голоду, подводящий кляузу против соседа, засуживающий своего соседа неправедным судом.

Положительно все десять лет моей деревенской жизни в неразрывной связи с жизнью культурных классов были исполнены непрерывно ощущаемою тягостною фальшью — всеобщим стремлением истинную и простую нужду и истинную причину, источник живой жизни, всегда, к сожалению, тощий и скудный, то есть самую простую, всем понятную, видимую и осязаемую «нехватку» затмить, запутать в каком-либо фальшивом мероприятии — все равно, драка это, или пьянство мужика, или опись с «сопротивлением», или выдумка бутылки. А в глубине совести всех этих людей, желающих затмить «нехватку» всевозможными мероприятиями, — тоска, холод и тяжкая пустота. Скучно и среди городских людей, воротившихся из деревни после описи «с сопротивлением» и играющих в винт, скучно и среди мужиков, дерущих друг друга в волости, кляузничающих друг на друга, дерущихся с своими детьми и бабами и, наконец, пьющих сивуху, чтобы заглушить тоску и непра́вду совести.

«Так вот этой-то тоски и неправды и не будет теперь и следа!» — думалось мне, когда я, поджидая посланного за лошадьми, сидел на чугунной лавочке, поставленной на платформе, и с каждой минутой все ясней и ясней представлялось, какое огромное значение имеет «нехватка» во всем строе народной жизни и особенно в настоящий ее момент.

II

Немало и даже очень, очень немало найдется в настоящее время и во всех классах культурного общества людей, которые, подобно Пушкину в недавно напечатанном его старом стихотворении, с полной искренностью скажут себе:

> На свете счастья нет, а есть покой и воля.
> Давно *завидная* мечтается мне доля:
> Давно, *усталый раб, замыслил я побег*
> *В обитель* дальнюю *трудов и чистых дел.*[1]

И немало есть образованных и культурных людей, уже не только замышляющих побег, а уже бежавших, «вырвавшихся» и пробующих жить вольно, тяжелой трудовой жизнью, оберегая «покой и волю» своей души; много на Руси и в настоящее время такого народа, но все-таки это капля в море сравнительно с тем чисто народным, крестьянским движением, которое имеет в основании все ту же цель — жить чисто и чувствовать свою душу не в клещах лжи — и которое поистине *гудит* теперь на Руси.

Что значит это непрерывающееся переселенческое движение в Сибирь, на юг, кругом света на дальний восток, как не поиски «обители трудов и чистых дел», необходимых для «покоя и воли» собственной совести? А эти огромнейшие, миллионные толпы рабочих, наводняющих весь русский юг, весь Кавказ, — что это, как не выражение глубочайшей потребности помощью заработка собственных рук и собственного хребта выбраться из мучительно-фальшивых условий жизни, созданных «нехваткой», и освободить свою совесть от ненужного зла, обяза-

---

[1] «Русский архив», № 9.

тельного там, где «нехватка» не считается просто «нехваткой», а затирается тяжеловесными, режущими душу мероприятиями, от которых человек только «усталый раб»?

Ничего подобного ни в качественном, ни в количественном отношении не переживал наш народ в течение всего крепостного периода. *Двадцать три тысячи* пришлых из внутренних губерний рабочих нанято в селении Каховке (Херсонской губернии) *в течение одного дня!*[1] А таких рынков для найма рабочих в настоящее время по всему югу России и Кавказу множество. Но и помимо таких бойких пунктов, куда стекаются рабочие десятками тысяч, нет ни одной мало-мальски порядочной станицы, посада, уездного города, где бы в базарные дни на торжище не толпились сотни и тысячи рабочего люда. Если принять в расчет, что руками этого пришлого народа обрабатывается такая огромная территория, как весь русский юг, то есть территория, лежащая к югу от линии, идущей с устьев Дуная на Киев, Харьков и оканчивающейся примерно у Астрахани, — а главное, если принять в расчет, что помимо той массы рук, которая обрабатывает всю эту округу, едва ли меньшее количество рук остаются незанятыми, не находящими работы, то, мне кажется, и без точных статистических данных можно видеть, какую массу народа выбрасывает на чужбину из «своих мест» «нехватка» в самом необходимом.

Не менее замечательно это народное шатание и в качественном, то есть в нравственном смысле. Если никогда в течение всего крепостного периода по Руси взад и вперед, с одного конца на другой, не шаталось таких народных масс, то в то же время никогда человеку из народа не приходилось так много переживать, передумывать и «узнавать», что творится на белом свете, как это вышло теперь с не находящими покоя и воли народными массами. Крепостной мужик, прикованный к своему месту помещичьей властью, во веки веков и понятия бы не имел о том, с чем приходится сталкиваться сорванному от своих мест мужику. Хозяйство, барщина, бурмистр — вот с чем и с кем он имел дело всю жизнь, от рождения до смерти, и притом целыми поколениями. Убеги он, его поймают и опять приведут на старое место.

---

[1] «Севастопольский листок».

Теперь бегуна от «нехватки» не тянут силком на старое хозяйство, предоставляют ему полную свободу, и, пользуясь этой свободой, чего только не знает он «про белый свет» — в особенности про современную русскую жизнь!

Толпы эти идут от «нехватки» за заработком — цель, кажется, вполне определенная; но всесильный *случай,* тяготеющий над крестьянином во всех путях его жизни, поминутно сбивает его с прямого пути, ставит в неожиданные непредвиденные положения и обогащает его мысль познанием таких явлений в современных порядках жизни, о которых ему бы и во сне не приснилось. Попробуйте-ка пропутешествовать из Курской губернии в Сибирь или вокруг Индии во Владивосток и потом, увидав, что там ничего подходящего нет, воротиться назад (а недавно было публиковано в газетах о возвращении из Сибири пяти тысяч переселенцев) — и вы можете сами представить, какой огромный запас «знаний» по всем отраслям русской действительности должен принести с собой этот путешественник. Если мы, проехав в вагоне тысячи полторы верст, можем накопить томик большею частью не совсем приятных впечатлений, что же принесет с собой этот путешественник, этот пешеход, промолотивший своими стопами тысячи верст, где христовым именем, где работой, где голодом, — словом, человек, видевший жизнь в самом *подлинном виде?* Мы ведь, например, хоть бы с начальством только компанию водим в часы досуга, по бульвару под музыку гуляем, в винт играем, — словом, видим его, когда оно «отдыхает от трудов»; а ведь путешественник-то, о котором идет речь, видит его на деле, видит, за что ему «царь жалованье платит»... А не путешествуй он — и во веки бы веков ничего он этого не узнал...

Точно такой же огромный материал для «самообразования», поистине незаменимый никакими из существующих по части уяснений русской жизни книг и других литературных произведений, всевластный случай дает и миллионным массам рабочего люда, идущего только на заработки. Двадцать три тысячи рабочих, о которых я говорил выше, могли бы совсем остаться без работы, то есть частью помереть, частью разбрестись неведомо куда, если бы господь не послал в одном из уголков Херсонской губернии дождя. Пока не было дождя, они

никому не были нужны; но вот где-то господь послал тучу, туча хлынула на землю, и отовсюду слетелись хозяева, а по телеграфной проволоке застучало: «Одесса. Рансом и Симс. Пришлите пять молотилок, четыре косилки». Через два часа (дождь все идет) телеграф стучит: «семь молотилок и восемь косилок» и еще через час: «десять молотилок, десять косилок» и т. д.

А все бог!

Не дал бы бог дождя — и оставались бы двадцать три тысячи человек «не пимши, не емши», стали бы помирать, разбрелись бы кой-куда... Оно легко сказать: «кой-куда», а на деле эти слова имеют широкое образовательное значение для народа. Попробуйте поночевать под стогом в экономии — выгонят дубиной или собаками затравят; а приди в город да улягся, повидимому в пустом месте, положим хоть в сквере у памятника, изображающего какого-то человека из чугуна, — так заберут в часть, продержут ночь, потом хоть и выпустят, но куда? На ночлег — денег нет, а лечь так в пустом месте, где стоит чугунный человек, невозможно! Много-много можно узнать о «добрых людях» и «о порядках», которые они сделали, если господь не пошлет где-нибудь дождичка!

В нынешнем году мне пришлось довольно-таки насмотреться на это «самообразование». В некоторых местах Северного Кавказа в настоящем году[1] самый полный неурожай, а народу нахлынуло туда из внутренних губерний видимо-невидимо, и огромное большинство нахлынувших остались без всякой работы, потому что и та, которая еще могла бы быть, разобрана местным казачьим населением, как известно в прошлом году пострадавшим от неурожая и оставшимся без скота по случаю бескормицы. В газетах были публикованы сведения прямо об умерших с голоду пришлых рабочих. Но и оставшиеся в живых, проевшие свою одежду и даже косу, произвели на меня впечатление не менее поучительное, чем та «наука», которая и им далась в опыте «шатания» по русской земле за куском хлеба. В общем *наука* эта (чего-чего не пришлось им перевидеть и пережить) оставила в толпах, разбредающихся «кой-куда», не светлые впечатления: злой язык, злая насмешка,

---

[1] 1886.

нахрап, грубость и явное желание при первой возможности «дать сдачи» — вот результаты той «науки», которую волны народные, хлещущие из конца в конец России и отхлынывающие опять в ее глубину, вынесли из подлинного, ничем не прикрашенного знакомства *решительно со всеми сторонами* современной нашей действительности.

Маленького внимания к положению этих шатающихся по России масс достаточно для того, чтобы ясно убедиться в невозможности для них в огромном количестве случаев вынести из опыта жизни «среди добрых людей» что-нибудь мало-мальски теплое и светлое: какая масса молчаливых страданий таится в этой толпе и какое повсюдное, хоть может быть невольное, невнимание к человеку, очутившемуся в нужде и на чужой стороне!

III

В какое-то из первых чисел июля, часа в четыре вечера, сел я в Керчи на частный пароход, отправлявшийся по портам Азовского моря в Ростов. В первом и втором классах публики было чрезвычайно мало — один-два человека, но зато «чернонародия» должно было сесть на пароход «до Бердянска» видимо-невидимо. Вся пристань буквально была завалена народом — косарями; все они были люди буквально рваные: грубого холста рубахи и штаны, онучи, лапти, шапки всевозможных сортов — и картузы (с козырьками и без козырьков), и фуражки, и соломенные шляпы, не было только дамских головных уборов. Но «дамы» были в этой чернонародной толпе: они тоже шли за хлебом, за работой, но, повидимому, не скучали. Около такой работницы всегда кружок, смех, водочка и песня. Эти «вольные бабы-работницы», несмотря на поденный труд, умеющие возбуждать нескончаемое полуночное веселье в толпе поклонников, также измаивающихся на каторжном труде, — этот тип показался мне весьма любопытным.

— Чего же мы ждем? — спросил я кого-то из служащих, когда уже миновал час, назначенный для отхода парохода.

— Да вот только трюм под народ уберут, сейчас и тронемся.

Посмотрел я в этот трюм — там точно ничего не было, то есть он был почти совершенно пуст. На нескольких кусках керченского камня, составлявших весь его груз, матросы настилали доски, но настилали кое-как, торопясь и, повидимому, не зная хорошенько, что собственно из ихней работы должно выйти.

— Ну да ладно! будет! Давай звонок! Садись, ребята! — скомандовало какое-то начальство, а когда толпа «косаков» зашевелилась, подобрала свои мешки и косы и тронулась к сходням, переброшенным с пристани на пароход, это же самое начальство прибавило:

— Не вдруг! Не разом! Иди помаленьку, не толпись — всем место будет! Не напирай! не напирай!

И вот, как саранча, серой вереницей потянулись с пристани рабочие...

— Полезай по лестнице — вот, вот по этой, полегоньку! Косы-то клади в одно место, оно просторней будет! Потеснись пока, потом рассортуем... нельзя сразу!

Повинуясь этим указаниям начальства, народ покорно, хотя и не без острот и шуток, лез в темный трюм, точно в колодезь, и лез до тех пор, пока трюм не был набит народом буквально битком...

— Тут местов нету! — стали доноситься голоса из погреба.

— Ничего! потеснись, ребята! потеснись пока что! Сейчас оно рассортуется — всем место будет!

И в темный погреб протискивалось еще десятка два косарей, но протискивалось уже с великим трудом.

— Да говорят тебе — нету местов! — уже довольно грубо стало слышаться из погреба. — Задохнуться, что ли, людям-то?

— Сейчас, сейчас! — ответствовало начальство. — Не шуми, друг любезный, сейчас все будет! Ну — иди сюда, по бортам, поровней садись...

— Да чего садиться? Мы и постоим.

— Садись, садись рядком пока что; вот тронемся, так оно само собой рассортуется, всем будет место...

Через несколько мгновений палуба была буквально битком набита народом — ни пройти, ни шагу ступить из рубки не было возможности.

«Что же это они делают?» — не без страха перед чем-то, не обещающим ничего хорошего, мелькнуло было

у меня в голове, но не успел я уяснить себе, чего я собственно испугался, как начальство крикнуло:

— Давай третий!

И затем что-то гробовым голосом забурчало в медную трубу, проникавшую в машинное отделение. Пароход тронулся — и мы вышли в море.

— Что это как его на бок накренивает? — стали поговаривать пассажиры.

— Ребятки! — бегая в толпе, бормотал торопливо тот самый начальник, который распоряжался посадкой. — Поди-кось на тот борт человек десять... А то дюже на этот навалились... Ничего! Оно сейчас умнется!

Но не десять, а сорок, пятьдесят человек уж сами, без всякого приказания, перебежали на другой борт, и пароход, выпрямившись на одну, две минуты, снова накренился уж на другой борт.

— Господин! Эй! — послышалось из трюма, — докуда ж вы нас тут томить будете?

— А тебе что ж, в первом классе хочется ехать? — уж сердясь, заговорило начальство, — ты за три-то гривенника в первом классе хочешь ехать?

— Так, стало быть, так тут торчмя и стоять всю дорогу?

— Здесь и дыхать-то нечем! — послышались другие голоса... — Ишь как от машины-то нажаривает!

— Чего его слухать! вылезай на свет!

И из трюма началось шествие.

— Пошел назад! — закричал капитан. — Назад пошел!..

— Да вот, как же! — отвечал ему первый мужик, появившийся из колодезя. — Так я тебя и послухал... Полезай сам!

— Молчать, каналья! Назад! — орал капитан каким-то звериным голосом, но его никто не слушал, и из трюма лезли и лезли вспотевшие, распарившиеся фигуры...

И с пароходом стали твориться чистые чудеса: его сразу почти положило на правый бок, так что левое колесо вертелось и брызгало на воздухе. Трюм опустел, и вся тяжесть сосредоточилась на палубе. Эта живая тяжесть, ругаясь, толпясь, толкая друг друга, стала метаться из угла в угол; упавший на бок пароход в то же

время начинал утопать и носом, капитан орал, перегоняя народ на корму, и народ, бросаясь на корму, переваливал пароход как-то винтообразно на другой бок. Все это орало, ругалось самыми бесчеловечными словами; в буфете летели рюмки, стаканы, варенье из банок лилось по полу, а по варенью полз кусок сыру, как по маслу.

Чем объясните вы, как ни полнейшим презрением пароходного начальства к простому рабочему человеку, прием этого живого груза на пароход, который не имеет возможности поместить его? Очевидно, начальство вполне было уверено, что этот живой груз «перетерпит», сидя и жарясь в трюме, что он «испужается моря», что пожалеет гривенника, отданного за проезд, что это стадо, которое можно облаять и оно послушается. Но на этот раз начальство ошиблось, и не успело оно еще и хорошенько разойтись, как толпа загудела:

— Назад, дьяволы! потопить хотите, мошенники! Назад! Поворачивай назад! Ребята, отымай у него колесо-то — долой его, подлеца!..

Какой-то черный мужик как ураган вырвался из толпы и, весь бледный, дрожащий, ринулся по направлению к капитану...

Но пароход уже повернул назад и, то ложась на бок, то глубоко наклоняясь вертикально, шел назад к Керчи.

— Погоди, дьявол! — ревел капитан; но то, что ревела толпа, того описать невозможно.

— Да ведь ежели бы утонуть, так и капитан бы утоп! — осмелился возразить кто-то на эти неистовые ругательства.

— Как же! — ревели ему в ответ ожесточенные и озлобленные люди. — Как же, потонут они, подлецы!

— Так он тебе и потонул!

— Ему нашего брата погубить охота. У них штраховка... Он получит, дьявол...

— Потонут они, каины!

И полнейшая уверенность в том, что начальство осталось бы здорово и невредимо после того, как потонул бы народ, слышалась в почти до истерики озлобленных голосах взбешенных, негодующих людей.

Из Керчи заметили, что с пароходом случилось что-то неладное, и когда, кувыркаясь, пароход подходил обратно к пристани, она вся была усеяна народом. Оже-

сточенная толпа прямо всей массой хлынула в контору за деньгами.

— Целые сутки пропали, анафемы! — ревели они. — Ближе завтрева нету парохода... Чего день-то стоит? Кто будет платить? Пойдем к начальнику... Ребята! Взыскивай с душегубцев!

Не знаю, чем кончилась эта история, но через несколько дней в газетах появилось известие о кровавой драке, происшедшей в Бердянске *между местными и пришлыми рабочими.* Думаю, что среди этих последних были и мои керченские попутчики. Если представите вы себе ту крайнюю нужду, которая заставила их без всякой прибыли проколесить по сожженным полям Северного Кавказа, заставила потом перебраться на последние копейки с кавказского берега на крымский, да и здесь на первых порах, благодаря пароходному начальству, протомила целые лишние сутки, а может быть и более, — то можете понять, до какой степени они были объяты жаждой какого-нибудь заработка в то время, когда, наконец, очутились в Бердянске. Они сразу уронили цены до ничтожества; местные рабочие (пришлых в этих местах почти не бывало), получавшие порядочные цены, ожесточились — и вот произошло кровавое побоище из-за куска хлеба, побоище, так сказать, между родными братьями, рабочими людьми...

Вот что иной раз выходит из-за нехватки-то! Но то ли еще бывает!

IV

Сел я, также нынешним летом, на одной из станций Владикавказской железной дороги в вагон третьего класса. Кроме меня, в вагоне был какой-то бравый казак — чина я его не знаю, но знаю, что не рядовой. В вагоне, где мы поместились, была на двери надпись: «Отделение для дам». Посадил нас сюда обер-кондуктор, объявив, что это отделение будет пусто, потому что, ежели придут дамы, то стоит им только внушить, что вагон этот первый от локомотива и что в случае какой катастрофы он разлетится вдребезги первым, — так дамы сейчас и убегут. Казаку очень понравилось это сообщение, и он при помощи его выпроводил очень многих пред-

ставительниц прекрасного пола. Показался было какой-то священник, но и его казак так напугал, что и тот предпочел уйти от греха в другой вагон. Наконец мы остались вдвоем, и «казачина», громким хохотом празднуя свою победу, растянулся во всю казацкую мочь сразу на двух лавках.

Но победа была непродолжительна: как раз перед самым отходом поезда в наше дамское отделение все с теми же косами, мешками, тяжеловеснейшими узлами, в которых, повидимому, не могло быть ничего, кроме булыжника, ввалилось трое взрослых рабочих и один подросток, мальчик лет тринадцати.

— Вы бы в задний вагон шли! — сказал им проходивший через вагон обер-кондуктор. — Здесь отделение для чистой публики... Идите в задний вагон... А то наплюете, нагрязните... Чего вам тут?

Но мужики нимало не урезонились этими речами. Слушая их, они спокойно занимали своими мешками по два, по три места, притом один из них тем же самым, обычным теперь для шатающегося рабочего люда, тоном спокойно сказал:

— Ну, брат, ноне, пожалуй, чистого-то народу полного-то вагона и не наберешь. Пущай же и с черного вам барыш достается. Деньги-то, брат, одни... Садись, ребята! ничего!

Кондуктор ушел, махнувши рукою; рабочие, бывшие немного под хмельком, разместились без всякого стеснения и, уложив косы на верхние полочки, принялись разговаривать, есть и, к сожалению, сорить.

У окна, на скамейке «для одного», приснащивался подросток, пришедший с взрослыми рабочими. Он поставил свой мешок под окном и тотчас улегся, ногами на сиденье, головой на мешок; лежал он спиной к публике и, повидимому, спал. Казак дремал, я читал что-то.

— Что это с мальчонком-то делается? — послышался чей-то голос около меня.

Из соседнего отделения вышел старый, толстый, в опрятном шерстяном пиджаке, купец и, кивая на мальчика, говорил:

— Плачет чего-то парнишка! Я глядел, глядел, — так его и треплет, горемыку.

Мальчонку точно трепало. Уткнувшись лицом в мешок

и лежа, повидимому, неподвижно, он по временам весь содрогался; очевидно, сильные приступы рыданий точно трясли и ломали его спину...

— Эй! Малый! Парень! Кто тебе что сделал? Чего убиваешься-то? — говорил купец, осторожно касаясь его плеча. — Встань, подыми голову-то! Да сядь, сядь; скажи — кто тебе, что...

Постепенно он стал пошевеливать мальчонку за плечо, потом приподнял ему голову и кое-как, наконец, добился того, что мальчик сел. Около мальчика и купца собрались зрители.

— Чего ревешь-то? Ты скажи, с чего такого? Али тебя кто?

Но мальчик не мог произнести слова: грудь его так и ходила ходуном вниз и вверх, все лицо было залито слезами, и истерическая икота заставляла его сидеть с открытым ртом.

— Ах ты, братец ты мой! — сказал купец и замолчал. И все поняли, что надо помолчать, погодить...

— Эка, братец ты мой, какое дело-то! — еще раз повторил купец, когда мальчик стал утирать рукавом нос, очевидно немного приходя в себя. — С чего ж ты так?.. а?

— За... ду... ши. лась!.. — всхлипывая, прошептал он, и слезы вдруг опять залили его лицо...

— Ах ты, братец ты мой!.. Задушилась! Да кто задушился-то?

Мгновенно безграничное горе скорчило, съежило все его лицо, залило горючими слезами, и, широко раскрыв истерически искривленный рот, он взвыл не своим голосом:

— Ма-мы-нька задушила-а-ась... а-а-а-а-а!

Он ударил себя ладонями по мокрому лицу и грохнулся лицом на мешок.

Спина его тряслась и трепетала, а из мешка, куда уходили его рыдания, слышались вопли как бы зарытого в землю человека.

Минута, когда ему пришлось выговорить ужасные слова: «мамынька задушилась», была поистине потрясающая, навеки неизгладимая во всем организме этого несчастного существа: безграничная любовь, безграничная утрата, безграничное одиночество и безграничный ужас пред теми ужасами, которые сию минуту терзают

его несчастную мать в геенне огненной, где она кричит от огня и железа, растрепанная, окровавленная, с веревкой на шее — мертвая «мамынька», — все это сразу, в одно мгновение охватило его сердце, разорвало его, растерзало, и вырвало раздирающий душу вопль.

Положительно все обомлели и только качали головами...

— Поди-ко вот, как бывает-то!

— Ишь ты! ай-ай-ай...

— Эка бедняге что довелось!..

Так шептали зрители, не отходя от рыдавшего мальчика и не смея приставать к нему с расспросами.

— Эй ты, любезный! — наконец сказал купец, обращаясь к одному из мужиков. — Ваш, что ль, мальчик-от?

— С нами едет.

— Что ж это такое с ним? Куда он едет-то?

— Заместо отца едет... Отец-то остался... по случаю, что грех этот вышел... Ну а задатки-то взяты... вот малый и должен идти заместо отца...

— Да как же это вышло? Из-за чего? Ты иди сюда, расскажи...

Все мы вышли в другое отделение вагона.

— Да господь ее знает, как у них вышло... Надо так сказать, что доняло их бедностью... Годов пять их все сухменью донимало, наконец того, пришлось бросать хатенку да идти в люди за хлебом.. Мамка-то евонная в станице нанялась, дочка в город ушла, вроде, должно быть, в горничные, ну а отец-то с парнишкой тоже в работе, в пастухах наймались... Должно быть, с дочкой-то что-то неладно в городу-то вышло... Прожила она там года два, а наконец того, перед самым этим временем, как греху-то быть, прибегла она, братец ты мой, как полоумная, в станицу, к матери-то, прибегла и вся, братец мой, не в себе: «Убила я, говорит, убила, убила... в острог меня возьмут... батюшки, спасите, помогите!.. Убила, убила...»

— Что ж она, в самом деле убила кого-нибудь?

— Бог ее знает!.. Нам это неизвестно... А должно быть, что-нибудь в городу-то с ней стряслось... Нонче в городу-то какой народ? Она девка молодая... Нонче ведь на этот счет — без всякой совести...

— Чего уж! — в одно слово подтвердило множество голосов.

— Ну вот она, может, и в самом деле родила, да как-нибудь и того... Ведь и нечаянно бывает... А может, и от болезни тоже случается... А как она прибежала к матке-то, матка-то тоже на работе измаявши, наболело у ней сердце-то, как она ужаснулась, что с дочкой-то такой грех, да и рассудок-то у нее помутился, ну вот она с горя-то и наложила на себя руки... Что поделаешь? Бедность! Нужда!

— Ну а отец-то как узнал?

— Да они как раз с мальчишкой домой воротились к матери... Пришли, а она — эво как!.. Мальчонко-то очумел было... Вот ведь какие дела бывают! Теперь отец-то и ума не приложит, как быть... Дочку в больницу сдали, а матка еще в сарае качается... Она, значит, как раз перед тем часом и покончилась, как мужу-то придти... Мужа-то, должно, страшно стало, что дочь пропала... вот она, горькая, и окончилась... Вот они какие дела-то бывают! Нужда-матушка! Теперича мальчонка-то сам не свой — а иди, работай! задаток дан.. Хошь бы мать-то закопал, ну, все приятней, ноне доктора разрешают, а то только глянул, миляга, на эдакую страсть господню — и проститься-то не пришлось, начальства нету, доктора не приезжали... Вот какое дело!

Впечатлительный купец не оставил мальчонку. Он опять подошел к нему, низко нагнулся к его голове и долго шопотом говорил с ним, всячески стараясь успокоить.

— На, на, возьми — ничего! возьми! Это ты, как только, господи благослови, увидишь храм... да ты слушай, что говорю-то! Чего ревешь-то? не воротишь! А ты о душе похлопочи, об материнной... бери деньги-то... бери да слушай... Как чуть храм — сейчас ты... частицу... Как мать-то звали... а? Марфа? Ну и надпись сделай — Марфы, рабы божия... Чуешь, что ль? Вот оно и отпадет от нее грех-то... Я тебе верно говорю! это уж без сомнения! Ну только, как у тебя какая копейка, сейчас в храм... Ну, ничего! Богу молись всячески... Он, батюшка, облегчит... Помаленьку выправишь... Ничего!.. Чего убиваться-то?.. Уж чего уж?..

Не помню, как мы расстались, и не знаю, где этот маленький страдалец, но знаю, что где-то он живет, живет из-за харчей, молча исполняет, что прикажут, и что никому неведомо, какая страшная драма гнетет душу этого незаметного существа...

Вот она какая иногда бывает «нехватка»! Вообще же разнообразнейшие явления народной жизни, имеющие исходным пунктом «нехватку», — явления, многочисленность и разнообразие которых я даже не могу очертить и слегка (такое это многосложное дело), в конце концов, кажется, уже выработали на Руси одно не весьма отрадное жизненное явление, о котором позволю себе сказать два слова.

Я не знаю, что такое Ашинов, о котором пишут в газетах, не знаю, какие у него планы, какие цели, откуда он взялся и куда стремится. Полагаю, что биографические подробности о нем вовсе не интересны; склонен думать, что ничего в действительности даже нет, что существует только легенда, и легенда не об Ашинове (бог с ним), а об атамане казацкой *вольницы*. Пусть не существует в действительности ничего подобного, но то-то и замечательно, что откуда-то родилась легенда, откуда-то выплыло слово «вольница». И это-то слово (если бы даже оно было только *слово*), не слышное на Руси со времен Степана Тимофеевича, раз оно родилось на божий свет опять, невольно заставляет вас чуять, что «недохватка» в насущнейших народных нуждах, осложненная горчайшим опытом жизни, приобретаемым народом в поисках хлеба, и, главное, разбрасывающая народные массы по лицу Русской земли, как ветер разбрасывает мякину, не может не иметь результатов, и результатов весьма неожиданных.

V

Тяжкие мысли и тяжкие воспоминания, начинавшие темными тучами налегать на меня, к величайшему моему счастью были мигом рассеяны появлением сторожа, который ходил за лошадьми...

— Сейчас подают! — сказал он запыхавшись, — насилу добудился.

Этот сторож, впервые известивший меня о нежданной радости, которую «господь послал» в наши вечно полуголодные места, и дал мне возможность хоть немножечко осветлеть душой, — вновь направил мои мысли от «мрака к свету», вновь заставил радостно думать о том, как урожай развеселит наши места и людей наших мест.

Меня он уже развеселил: разве не весело, что вот на этой платформе нет полуголодной толпы, рвущей «на части» проезжающего, от которого даст бог заработать два двугривенных! Какие фигуры тут толпились, рвали проезжающего, клянчили или так мерзли «без работы» по целым ночам, корчась от холода в жениной куцавейке, — а теперь всей этой рвани нет и следа! Урожай, так сказать, как корова языком, слизнул ее с платформы. Уж и храпят же теперь эти назябшиеся люди! за сто рублей не добудиться!

Скоро послышались бубенчики, сторож взял мои вещи — и опять урожай развеселил меня. На козлах тележки сидел не работник Кузьмы Демьяныча, а сам Кузьма Демьяныч, лавочник и, несомненно, будущий церковный староста и «попечитель».

— Кузьма Демьяныч! — воскликнул я. — Что же это означает?

— Ха-ха-ха! — засмеялся Кузьма Демьяныч. — Уж что делать. Пришлось старину вспомнить... запрягать-то лет пятнадцать не запрягал — думаю, нельзя суседа бросать на плацформе...

— Да что же вы сами-то?

— Да народу-то нисколько нету! Народ-то разбежавши... Такой урожай господь дал — все ко дворам шаркнули... У меня пятнадцать лет один здешний же мужик Федор жил, совсем было к нашему дому присоединился. и тут как с хлебом-то пошло, как пошло — смотрю, чернеет мой малый, пучит его нелегкая, что ни скажешь — косит глазищами. . Догадала меня нелегкая пикнуть ему: «Что-то, Федя, будто бы нонишнего числа ты не вполне опрятно потомпаковый самовар вычистил?» Так слов-то еще я моих не досказал, как рванет он себя за фартук из-под шеи — раз! об пол его! затем пинжак тем же манером — рраз! только пуговицы по полу разлетелись, и в окончание с одной и с другой ноги сапоги через всю комнату пустил: «Подавай расчет! Стану я

твои самовары чистить! Обо мне дома коса плачет! Давай расчет!» Так и убег. Вот теперь и пришлось на старости лет самому запрягать... Дугу-то забыл как установить — вот какое дело!.. Ха-ха-ха! Извольте садиться! Уж уважил нас создатель — на редкость!

Поехали. Но поехали весьма тихим шагом. Кузьма Демьяныч поминутно бил лошадь кнутом, чмокал и дергал вожжами; но лошадь не бежала, а как-то гордо шла, хотя и не забывала вильнуть хвостом всякий раз, когда Демьяныч вытягивал ее кнутом.

— И скотина-то вся умаявши! — говорил Кузьма Демьяныч, как по камню колотя по неподвижной лошади кнутом... — У меня тут арендована земля, так и посейчас с поля не убрались, а всю животину измаял... Она пойдет, разойдется — а только что действительно притомивши... Такую господь послал комиссию... Народу нет, работы выше головы, а тут еще хлопоты — бабушка окончила жизнь — то есть в самый разгар. Я и сам-то с ног сбился... И окончательно сказать — от грибов скончалась. Уж оно ведь всегда одно к одному... Пошло на урожай, так уж во всех направлениях. Ну и грибов высыпало — видимо-невидимо. Вот бабушка-то и слегла... Я и спрашиваю: «Не от грибов ли, мол, бабынька? Скажите чистосердечно — сейчас доктор будет». А ведь они, старики-то, характерные, упорные, кремневые... Заперлась, стиснулась, только цедит сквозь зубы: «Не твое дело, не смей!» Ну а впоследствии и оказалось на мое, то есть в полном смысле этого слова — единственно от грибов... Накушалась... Чисто и я-то смаялся, с ног сбился совсем...

Лошадь как будто бы действительно прибавила шагу...

— Ну да и то сказать, пожила старушка на своем веку. . — досказывал Кузьма Демьяныч свою речь... — Ох, и крутенька была покойница! Ну да уж, видно, так надо... Господь-то, видно, недаром урожай-то послал... Он ведь знает!

— Это вы насчет грибов-то?

— Насчет грибов-с! Ха-ха-ха! Оно, конечно, грех — господи, прости мое согрешение, — а что крутенька была покойница!.. Конечно, жалеешь... да теперь и досугу-то как-то нехватает... Ишь вон сколько хлеба-то нанесло нам!

Кузьма Демьяныч показал кнутом в поле. Было уже совсем светло, и сквозь низко лежавший на полях туман виднелись тесные и чистые ряды суслонов; при взгляде на эту картину получалось то же самое живое ощущение, которое охватывает путника при виде многолюдного города, издалека виднеющегося своими миниатюрными зданиями, но уже манящего теплом живой жизни, которою дышало это живое место.

Жилым местом казались и поля, и веяло от них живым теплом живой жизни...

Лошадь окончательно разошлась. Селезенка квакала в ней, как утка в болоте, и скоро мы весело распростились с Кузьмой Демьяновичем.

Крепко и, казалось, непробудно заснул я после долгой и утомительной дороги, но «урожай» не пожалел меня и разбудил.

Разбудила меня паровая мельница, находящаяся как раз против моего дома. В обыкновенное время мельница эта едва могла существовать; сделанная на два постава, она и одним-то работала много-много до конца января, и то с промежутками в день, в два и больше. Немец, устроивший эту мельницу, горевал, плакался и, чтобы поправить свои дела, строил всевозможные проекты: то думал превратить ее в маслобойню, то в лесопилку, то просто хотел скупать дрова, хлеб и т. д. Вероятно, и немец бы прогорел со всеми своими проектами, если бы господь не послал ему урожая. Посмотрите, как все изменилось... Паровик так и стреляет, как из берданки, дым валит из обеих труб, мучная пыль лезет из всех щелей; сам мельник Карл Иваныч, его работники Карлы и Францы, всегда до невозможности грязная кухарка, толстомордая отвратительная собака-бульдог — все теперь побелело, все в муке; все мужики, все бабы, которые возятся со своими мешками, все это также белое; глядишь на них, и кажется, что это статуи разбежались из скульптурного отделения Эрмитажа и шляются в наших местах.

Из моего окна все это торжество было ясно видно; весь двор запружен телегами с мешками; мешки на веревках поминутно поднимаются в верхний этаж мельницы, где какие-то эрмитажные статуи подхватывают их и исчезают. Народ, ожидающий очереди, лежит, спит,

сидит целою вереницею вокруг частокола, огораживающего мельницу...

Гляжу — идет знакомый мужик, Иван Федорович, один из самых несимпатичных мне мужиков, человек, с которым мне всегда трудно говорить, потому что от него нельзя было добиться искреннего слова. Идет он ко мне, но на этот раз я чувствую, что разговор наш может быть и искренен и прост.

Пришел, помолился, поздоровался.

Одного взгляда на него было достаточно для того, чтобы во мне исчезла малейшая тень неприязненности к нему: он, видимо, был истощен до невозможности; кулацкая, обыкновенно разбухшая от трактирных чаев и магарычей, физиономия его опала, очеловечилась неподдельным утомлением, и оживленные, вытрезвленные чрезмерным трудом глаза совершенно потеряли ту муть и темную ложь, которые в прежнее время так неприятно отталкивали меня от него.

Он наработался, устал, осветлел и утих.

— Что, Иван Федорович, — спросил я, — устали?

— Уж и не говорите!.. — действительно едва шевеля утомленной головой, прошептал он... — Уж и не говорите!.. Ведь эку господь послал нам благодать-то!.. Совсем силов ничего не осталось!

Худой, точно больной, уселся он; в огромную худую руку взял папироску, сразу сжег ее, втянув в ослабевшую грудь огромное количество дыма, закашлялся, откашлялся и повел разговор. Разговор состоял, конечно, только в хвале бога за урожай, за то, что можно справиться, стать на ноги, что можно отдышаться и так далее.

— Нет, — сказал Иван Федорович, как-то неожиданно прерывая разговоры о том благополучии, которое принесет урожай собственно ему и семье: — вот теперича и Петру Сергеичу уж действительно следует подсобить!

Петр Сергеевич был барин, сосед той деревни, из которой был Иван Федорович, — и мысль *подсобить барину*, неожиданно возникшая в таком мужике, как Иван, поистине поразила меня.

Сколько я знаю Ивана Федорыча, он постоянно был лютым врагом барина вообще и в особенности барина, живущего поблизости от мужиков. Он не различал хоро-

шего барина от худого, злого от доброго, не жадного от жадного; все они были для него равны — враги, которых надо всеми способами истощить, одурачить, разорить, извести и сжить с лица земли. Добрый барин даже всегда казался ему более удобным для самого наглого одурачивания. Многочисленная семья Ивана Федорова была семья алчная, жадная, ненасытная; постоянная недохватка, зависть к разживающимся кулакам, ненависть к господам, у которых в «портмонете» всегда деньги откуда-то берутся, все это убедило его быть вполне безжалостным ко всякому барину: на охоту ли господа приедут, или появится какой-нибудь охотник заниматься сельским хозяйством — Иван Федорович непременно около барина, непременно завоюет его доверие и непременно безжалостно оберет его, истощит, оставит в конце концов в дураках.

Петр Сергеевич, о котором теперь заговорил Иван Федорович, был барин из самых добрых; он по принципу — жить в народе, с народом и по-народному — переехал в деревню, занялся хозяйством, стараясь с крестьянами жить в самых дружеских, товарищеских отношениях. «Сообща» — вот как желал бы он жить и трудиться. «Давайте сообща делать дорогу... Давайте сообща заведем школу.. Давайте сообща наймем копачей, осушим болото и т. д.» И никогда ничего не выходило из этих попыток, не выходило не потому, чтобы они были невыгодны крестьянам — напротив, дорога, например, им была нужна, — но потому, что не дорога была для них главным делом, а только стремление искоренить барина. Пусть он побьется с дорогой, пусть его возы с сеном завязнут в болоте; пусть у *него* земля лежит даром — небось поживет, поживет впустую, потратит сам свои деньги и на дорогу и на канаву, разорится, уедет... а как уедет — тут и хозяйствуй в лесу, руби, продавай дрова и т. д. Иван Федорович был из самых главных воротил мира, настраивая его именно в этом тоне, и вот теперь этот самый Иван Федорович, который уже давно ожесточил против себя доброго Петра Сергеевича, вдруг заговорил такие речи!

— Надобно! Давно надобно подсобить Петру Сергеевичу! И ему будет хорошо, и нам будет лучше не надо.

— Давно-давно вам надо дорогу!

— Да как же! Помилуйте! Да как без дороги-то?

— Вот об этом и речь была!

— Да как же без дороги-то? Что же, мне нешто лучше, ежели я скотину замучаю?

— Об этом давно говорено!

— И справедливо! Что же мне мучить скотину, когда мне много лучше, ежели она в силе?

— Да об этом сто раз...

Не слушая меня, Иван Федорович, лютый враг всяких «сообща», теперь, напротив, неудержимо развивал те самые товарищеские, «суседские» взгляды, веру в которые он же сам, главным образом, и подорвал в Петре Сергеевиче. Теперь, когда недохватки нет, когда она не грозит ему целых два года, вдруг проснулась в нем просто мысль человеческая, проснулся простой, не угнетаемый ни жадностью, ни злобой, ни нуждой, здравый смысл; потеплело холодное сердце, и само собой родилось душевное желание жить с людьми по-людски, по-хорошему, по-товарищески, жить так, чтобы между людьми не было зла... Своими глазами я видел это перерождение злого человека в доброго; жалел я, что мы все, стоящие над мужиком, в общем делаем, кажется, совсем обратное тому, что сделал урожай случайно и всего-то на два года, но все-таки не скучно было у меня на душе в этот первый день урожая.

Мельница гудела и день и ночь. До бела света девки так визжали свои песни, как будто бы их живыми зарывали в землю или жгли раскаленным железом. Пьяные мужики сваливались с возов в канавы не иначе, как в обществе мешка с новой мукой, и храпели там, уткнувшись уже не в грязь лицом, а в муку, в хлеб... И то хорошо!..

Словом, первый день урожая много доставил удовольствия, а что будет дальше, о том расскажу своевременно.

6. ПЕТЬКИНА КАРЬЕРА

В этот же приезд в деревню были у меня неожиданности и не только по случаю «урожая».

Вот, например, Петька — маленький нищий мальчонка — также весьма удивил меня неожиданной переменой в его жизни.

Смотрел я на Петьку и дивился — на нем новый картуз в сорок копеек, каляная ситцевая рубашка, а сапоги, хотя и отцовские, но посмотрите и полюбуйтесь, с какою необыкновенною развязностью отставляет он ногу в этом неуклюжем отцовском сапоге, полюбуйтесь, с какою ловкостью фабричного щелкает он семечки, как небрежно, фатовски выплевывает направо и налево скорлупу!

Право, Петька решительно неузнаваем с тех пор, как я видел его в последний раз, то есть года полтора тому назад.

Главное, что меня заинтересовало в Петьке, это не картуз и не каляная рубашка, а именно подъем духа, нравственное перерождение, которых я никак не мог объяснить себе! «Какая сила переродила забитого, загнанного, пришибленного Петьку и вдохнула в него душу живую?» — спрашивал я себя и, не находя ответа, обратился за разрешением вопроса к одному из крестьянских мальчиков, игравших в «рюхи» посреди лужайки, в то время когда я и Петька были посторонними зрителями этой игры.

— Федя! — сказал я. — Какой наш Петька-то стал!

— А ты как думал? Он, Петька-то, теперь деньги зарабатывает!

— Каким образом?

— Спички делает! Он теперь, Петька-то, фабричный стал! Ишь форсит! Свои деньги у него! Ишь семечек-то сколько! То и дело по карманам шарит, точно миллионщик.

Петька покосился в нашу сторону, поглядел на нас, и поглядел так, как будто хотел сказать: «а мне наплевать», и, изогнувшись набок, запустил руку глубоко в карман, а затем, поплевывая шелуху, продолжал забавлять себя зрелищем игры своих сверстников.

«Наконец! — подумалось мне. — Наконец и бедный Петька выбрался на свою дорогу! Нашел путь к своей, Петькиной, карьере!»

Он теперь, очевидно, навеки фабричный, машинный человек! Да и чем бы он был, бедняга, если бы не пришел какой-то шведский человек и не подобрал этих Петек, этих лишних людей крестьянства?

Скучно, страшно, холодно в захудалом дворянском доме, в захудалой дворянской семье, но в захудалой крестьянской семье страшно и холодно до ужаса! Какая угнетающая душу и мысль тоска и пустота, а главное, бессмыслица веет от этого хлама, который там и сям валяется на разоренном дворе! Что такое означают эти старые оглобли, эти два сломанных колеса, эта бочка, рассохшаяся и развалившаяся? Зачем этот пустой хлев, эти ворота на одной петле, эти пустые кадки, шайки с признаками корма и следами капусты? В доме нет *силы,* нет тепла, цели в труде, и весь этот хлам ужасает своею бессмыслицею, тяжеловесностью, топорностью, а главное — полнейшею невозможностью найти в своем сознании какую-нибудь связь бездушного хлама с удручающим испугом пред жизнью, пред белым днем, пред каждым живым человеком.

Петькин двор и Петькина семья были, на моей памяти, именно такими захудалыми. Не было в доме *силы на крестьянство;* были у Петьки и отец и мать, но не задалась их совместная жизнь. Не было в Петькином отце силы и страсти поднять «крестьянство». Его худое, долговязое, бессильное тело не было согрето необходимым для крестьянства запасом огня, горячей страстью преодолеть, совладать с огромнейшим делом; он был какой-то простывший, а главное, сам отлично знал, что в нем нет

силы, тепла, и был поэтому злой, недовольный всегда; он знал, что жена его, женщина двужильная, огненная, неоцененная для кипучей работы, должна с ним только измаяться, исчахнуть, «избиться» без толку, разорваться на части, ничего не сделав путного... И он едва ли не со дня своей женитьбы «чуял» всем существом своим, что из совместной жизни их ничего «не выйдет». Да не только чуял, он знал это твердо и с сердцем глядел, как огневая сила его бабы тратится в пустых амбарах, гремит в пустых горшках и бочках... «Не выйдет!» Этого не забывал он ни на минуту и, голодный, «пахнувший» водкой, был постоянно злобен и тогда, когда его баба рожала, и тогда, когда она хоронила, и тогда, когда радовалась теленку и когда металась как полоумная в минуты полнейшей нищеты. Он не бил бабы даже в пьяном виде, но постоянно носил с собою холодное отчаяние, холодное презрение ко всевозможным усилиям своей бабы оживить холодный и пустой дом. Страшно было смотреть на эту рослую, черноволосую, когда-то красивую женщину; она, очевидно, действительно потеряла возможность понимать свое существование; глаза ее широко раскрыты, волосы растрепаны, грудь ее расстегнута, и в таком виде она мечется и по дому и по деревне, выпрашивая пучок луку и таская на обеих руках по ребенку! Всегда она босиком, и даже не в ситцевой юбке «по-нонишнему», а в матерниной домотканной паневе, точно явилась с того света; и эту-то огневую бабу непрестанно «ополоумливал», так сказать, ее долговязый, холодный муж, замерзший внутренно для всякой надежды жить по-крестьянски. А если нет в крестьянском доме силы и огня для того, чтобы был в ходу весь механизм крестьянской жизни, — что же там остается? Обездушено и обессмыслено все до последнего котенка. Все не имеет смысла, и жизнь ужасна непроглядным ужасом бессмыслицы...

Петькин отец плотничал, но всегда случалось как-то так, что работа ему выпадала в самое неподходящее время. Всякую «настоящую» работу обыкновенно успевают переделать за лето плотники пришлые, люди, знающие свое дело. Петькину отцу всегда доставалось то, что не успели переделать плотники заправские, то есть мелочи и пустяки: вставить в окно косяк, исправить крышу, починить погреб. И всегда эта недоделанная работа доделы-

валась в самое неблагоприятное время, осенью, в холод, в мороз, в дождь и ветер. Сердитый осенний ветер и сердитый Петькин отец, оба, как на грех, всегда встречались вместе на ничтожном осеннем заработке; мороз точно нарочно сковывает и без того бессильные руки Петькина отца, и Петькин отец со злобой кое-как тяпает топором по дереву, ругая это дерево самыми отборными словами, а в ответ на эти ругательства ветер вырывает из-под бессильного топора и самое бревно. «Чорт! — слышится на такой работе, — дьявол тебя возьми». «Ишь чорт!» — говорит мужик, нанявший Петькина отца, глядя на его нескладную работу. «Ишь лысый чорт! — ворчит Петькин отец, косясь на мужика-заказчика, — за полтинник тебе столярную работу подавай!» И сделавши работу скверно, обруганный хозяином и обругавший хозяина в свою очередь, Петькин отец с бранью пьет в кабаке косушку, с бранью идет домой и в холодной избе, сам весь холодный и голодный, сердито дышит холодной сивухой, ругаясь на всех и вся и лежа на холодной печи.

На такой именно нескладной и скверной работе Петькина отца увидела впервые Петьку наша учительница. Гуляла она с детьми в холодный морозный день и смотрела, как Петькин отец ругается на какое-то дерево, которое не поддается тупому топору, и как он с сердцем плюет на топор, который не рубит. Тут же стоял и смотрел на работу своего отца и Петька. Он был одет в лохмотья, лицо у него было зеленое, тощее и сердитое.

Два дня работал у нас Петькин отец, и Петька постоянно толкался около него, щепки подбирал. Но и после того, как Петькин отец, по обыкновению сделав работу скверно, «разругался» и ушел, Петька продолжал являться на то место, где работал отец и где валялись щепки. Жалко было смотреть на него, маленького, рваного, озяблого, а главное, сердитого, «несимпатичного».

— Послушай, мальчик! — сказала ему однажды учительница через отворенную форточку. — Холодно тебе?

— Не! — ответил Петька сердито и не сразу, а помолчав.

— Как «не»? Видишь, как ты плохо одет... Что, мать-то любит тебя?

Сердито отпихнулся Петька в правый бок и сердито сказал:

— Не!

— А отец?

И в левую сторону Петька пихнул себя сердито и еще сердитее сказал:

— Н-не!

— А ты кого любишь?

Петька только нос утер рваным рукавом.

— Стало быть, тебя никто не любит?

Ничего не отвечал Петька.

— Хочешь, я тебя буду любить?

Петька молчал.

— В гости ко мне будешь ходить? а? хочешь? Рассказывать тебе буду... а? Гостинцев дам?

Много всяких благ насулила учительница Петьке и в конце концов достигла цели.

— Н-ну, — начал Петька неприветливым и суровым голосом, неохотно и медленно поворачивая голову к форточке, — н-ну... люби... когда хошь!

«Когда хошь» в устах Петьки было то же самое, что в устах его отца было: «чорт!», «дьявол!» — слова, которыми он, вслух или про себя, всегда заканчивал как начало неудачной работы, так и ее всегда неудачное окончание.

И с этого дня Петька стал ходить к нам в гости вместе с другими деревенскими мальчиками, но между ним, захудалым потомком захудалого крестьянского рода, и другими, настоящими крестьянскими ребятишками, являвшимися «погостить» прямо с работы, с мельницы, из лесу, с сенокоса, — была неизмеримая разница.

Настоящий крестьянский ребенок не застенчив и не робок; он входит «к господам» без всякого подобострастия или зависти, а так же свободно, просто и единственно только с любопытством пытливого человека, с каким он входит в лес, удивляясь, наблюдая и изучая все останавливающее его внимание; в комнатах господ, с картинами, цветами, книгами, он так же чувствует себя только наблюдателем любопытного, как и тогда, когда он, засучивши штанишки, идет в речку, не зная, глубоко там или мелко, но идет все дальше и дальше, хватая по дороге какую-то рыбку, вытаскивая из-под подошвы рака и рассматривая его со всевозможным вниманием. Точно так же независимо, свободно и просто, повинуясь единственно

любопытству, ведут себя настоящие крестьяне-дети и в гостях у господ. Рассматривают книжки, делают откровенные замечания о картинках, словом, «любопытствуют». Не так вел себя и не то ощущал на душе Петька, появляясь у нас в гостях. Он, как и отец его, чувствовал себя как бы выходцем из пустого места, не от дома, не от дела, а именно из пустого, холодного места; и он картинки рассматривал, но в душе у него ощущалось только отцовское отчаяние. «Не надо!» — говорило его зеленое, истощенное, неприветливое лицо... «Смотри не смотри, — казалось, постоянно думал он, — а толку никакого нет и не будет!» И гостинцы он ел, как и все, но эти «все» обогащались новым ощущением вкуса: «скусно, скусней земляники!», Петька же съедал без всяких обобщений и умозаключений, а так, зря, без толку и удовольствия. Ходил он к нам часто, но постоянно был недоволен, постоянно у него было мрачное лицо, постоянно он смотрел как-то наискось в землю и, видимо, был одновременно и сердит, и огорчен, и чувствовал в душе отчаяние и злость.

Приготовлялись делать елку. Куча ребятишек клеила коробочки, вырезывала звезды. Суета между ребятами шла самая оживленная. Петька также присутствовал среди ребят, присаживался к ним то там, то сям, медленно переходил с одного места на другое, тяжело стуча по полу своими неуклюжими сапогами, но не слышно было, чтобы кто-нибудь позвал его, крикнул: «Петька, иди! Подсоби!» Нет, никто в нем не нуждался. Петька был одинок. Как он пришел, что делал и как ушел, никто не видел, не заметил, и вообще никто не обратил на него внимания.

Но когда все разошлись, оказалось, что исчезли десять рублей, лежавшие где-то на столе. Сразу подумали почему-то на Петьку. Особенно тщательно исследовала дело прислуга, не желавшая, чтобы на ней лежала тень подозрения. Общий голос и подробные расследования прислуги окончательно убедили всех, что деньги украл Петька.

Ни сам Петька, никто из Петькиной семьи не протестовал громко против этого обвинения. Только Петькин отец как будто еще больше ожесточился, при встрече перестал кланяться и, проходя мимо нашего дома (увы! в *новом* картузе), смотрел на него ожесточенными глазами. Сам

Петька скрылся и долго не выходил на улицу. Где-нибудь на задворках он одиноко копался в разном мусоре и сердился на нас.

Прошел год, совершенно забыли о Петьке. Вдруг совсем неожиданно, как раз перед елкой, является растерзанная Петькина мать. Эта теперь больная, но когда-то могучая женщина прибежала по обыкновению вся запыхавшись, с «ополоумевшими» глазами, с раскрывшейся грудью, в распахнутом домотканном бабьем армяке, с рваными рукавами и подолом, изорванным до бахромы. Она прибежала в первый раз, неведомо зачем, и потребовала хозяйку.

— На, возьми моего петуна! — с каким-то отчаянием в голосе и во всей манере сказала она, выхватив из-под армяка тощего старого петуха. — На! Бери! Бери, сделай милость!

— За что? Зачем?

— А помнишь, ономнясь-то? Петька-то мой? .. А ты думаешь, много нам из вашей десятки-то досталось? Родная! Всю ночь в ту пору мой-то злодей пил да ел. Пироги велел печь ночью-то... рыбы принес... Всю ночь ел да винище жрал, пока не повалился, как пес... Шапку купил, рубаху... Еле у пьяного-то трешну на ребятишек вытащила... На! бери, бери, сделай такую милость! Петун хороший... На! на! прости нас!..

И она, вместе с петухом, повалилась в ноги.

— Приголубь моего Петьку-то! Пущай опять ходит!.. Матушка, не оставь!

Петуха возвратили Петькиной матери, а Петьку потребовали сейчас же в гости.

— Иди, Петинька! Иди, мой соколик! — звала его обрадованная мать, выбежав сломя голову на улицу.

Там, на морозе, Петька дожидал матери. Но долго упрашивала она его, даже замахнулась кулаком, Петька упрямился, так что в конце концов мать все-таки притащила его за рукав.

— На! Не гони его! Пущай поглядит!..

Петька вошел в комнату, не раздеваясь, остановился у двери, долго стоял — и ушел опять же так, что его не заметили... Теперь уже ничто не радовало его. На душе его лежало тяжелое бремя — «вор!», и это окончательно отталкивало его от всех.

С тех пор он не приходил к нам. Всякий раз, когда на дворе собирались играть дети, и Петька также выходил из своей хибарки.

— Мальчики, позовите Петьку, что ж он один там!

Мальчики зовут его:

— Петька! Иди! Чего стал!

Но Петька сделает несколько шагов — и станет... Игра продолжается, а Петька все стоит на одном месте, смотрит издали.

Не компания ему крестьянские дети! Нет у него с ними ничего общего! от всего он оторван и одинок!

И вот теперь одинокий, отторгнутый от всякой связи с белым светом, Петька воскрес! Он не в стороне от ребят, а тут, с ними, и хоть не играет, но наблюдает за игрой, и наблюдает не только без огорчения, без обиды, но, напротив, поза у него такая, что заставляет подозревать в нем даже смелость насмешки. Вот ведь как!

Каким же образом не воздать славу шведскому человеку, спичечному фабриканту, который воскресил Петьку?

— Федя! — позвал я опять знакомого мальчика. — Скажи, пожалуйста, что же Петька на фабрике делает?

— Коробки клеит.

— Почем же ему платят? Ну что, например, стоит одна коробка?

Федя подумал и сказал:

— Да одна-то она ничего не стоит.

— Как так?

— Да и вовсе ничего...

— Ну а десять коробок?

И опять подумал Федя, посчитал в «уме» и сказал:

— Они и десять ничего не стоят.

— Да как же так? Вот я сделал десять коробок — сколько я получу?

— Ничего тебе не дадут...

— Ну это вздор!

— Ничего не дадут! Тебе копейку дадут, ежели двадцать пять сделаешь. Четыре копейки сотня. Тут одна девчонка четыреста штук в день одолевает — вот проворная! Ну а Петька не может... Копеек на восемь в сутки — ну, так...

Федя засмеялся.

— А ты говоришь, чего стоит коробка? Да она ничего не стоит... Вот какой есть товар!

«Восемь копеек в сутки, — подумалось мне, — это, конечно, маловато, но что же иное могло ожидать в деревне оторванного от деревни Петьку, крестьянина, лишенного сил и дарования быть крестьянином? На что и кому он нужен, сердитый, бессильный? Нет! Восемь копеек своевременно пришли к нему на выручку и вывели его на неизбежный для Петьки путь».

Восемь копеек — это только начало Петькиной карьеры. Зайдите-ка к шведскому человеку, открывшему спичечную фабрику, месяца этак через два после того, как Петька научился добывать по восьми копеек в день, и вы услышите от него, что он уже вынужден сбавить плату с четырех копеек на две.

Почему? Да потому, что Петьки навострились выделывать не по четыреста штук в день, а по полторы, по две тысячи. Такой день дорог для фабриканта, и он убавляет плату до двух копеек. И не думайте, пожалуйста, чтобы Петька подчинился этому мероприятию, нет, — «пусть две копейки дают, — говорит он себе, — я буду делать не две, а четыре тысячи в день!..» И будет делать четыре, и будет делать восемь, когда будут платить копейку!

Послушайте-ка, что говорит матка-то Петькина:

— Соколик ты мой! Ведь ты наш кормилец, кабы не ты — что бы мы стали? Золотые твои рученьки! Сохрани тебя царица небесная!.. За тобой, за родименьким, я и свет-то увидела.

— Дай, Петька, отцу-то пятак! — жалобно, хоть и с отцовским правом поступать с детьми грубо, говорит Петьке его отец. — Авось и моего в твое брюхо как-никак попадало...

— На, бери пятак! — говорит Петька.

Зная все это, разве в силах Петька, под какими бы ни было давлениями, отстать от своей работы?

Нет, это только начало! Умаявши в деревне шведского человека, Петька переберется в Питер и там начнет маять добрых людей. В деревне он начал превращаться в машинного человека, здесь уж он прилип к машине на веки веков: дни и ночи, месяцы и годы он не отходит от машины — тут в ней все его существование, тут слезы и радости мамыньки, тут тятькино счастье, тут, словом,

вся Петькина жизнь, все содержание жизни, и здесь напряжение сил Петьки дойдет до высшей степени. Это напряжение пробьется сквозь всевозможные преграды: в деревне шведский человек только сбавлял плату, здесь же, в столице, изобретено уж множество других средств для подавления Петькиной жажды существования. Штрафы, начеты, перевод с задельной платы на поденную, с поденной — на задельную. И все-таки Петька преодолеет и удивит своею живучестью!

Понявши, в чем заключается его единственное спасение, он не будет жалеть никаких администраций, напротив, будет постоянно ставить их в затруднительнейшее положение. Ему нельзя жалеть администраций. Почитайте-ко, что пишет из деревни «мамынька». Разве можно ему себя жалеть? И Петька, не жалея себя, не жалеет и администраций. Не жалеет он ни участков, которые приемлют его по праздникам в пьяном виде, не жалеет он городовых, которые уж и без того руки обломали с этим народом. Надо бы его остановить в драке, свалить, связать, взвалить на извозчика и пхнуть в темную. Не жалеет он докторов, больниц, которым нет отдыху от этих измученных, худосочных, не то пьяных, не то чахоточных, израненных дракой, машиной, хозяйской выучкой... Вообще Петька сумеет намучить за мамыньку пропасть интеллигентного народа. Но, несмотря на эти муки и его надоедливую жизнь, можно совершенно понять те горючие слезы, которые польются из глаз Петькиной матери, когда, наконец, придет бумага, где будет сказано, что Петька перестал надоедать и с экстренным поездом железной дороги отвезен на Преображенку.

— И где же ты, солнышко мое золотое? И кто же теперь меня, старую, вспомнит, приютит! Дитятко мое...

Я, посторонний зритель Петькиной карьеры, весьма вероятно, не заплачу, но на прощанье с Петькой, припомнив всю его карьеру и все его добрые дела на пользу общества (спички, папиросы и т. д.), не могу не сказать:

— Спасибо, Петька! Царство тебе небесное! Поработал ты на всех нас до последней капли крови. Спи, бедняга!

7. «НЕДОСУГ»

I

...Поезд по обыкновению остановился около станции в три часа ночи; приезжие устали, иззябли и спешили по домам, забегая в буфет выпить водки, чтобы согреться, забегая в почтовое отделение, чтобы получить письма и газеты, в то время как артельщики таскают вещи, получают по квитанциям багаж. Вообще всегда в этот час на нашей станции идет торопливая ходьба, торопливый разговор, торопливая еда, шум, ходьба, суматоха...

— Всем вам, господа, жертвую по двести тысяч! — громко, во всеуслышание послышалось откуда-то сквозь шум и гам толкающейся толпы. Я было повернул голову в ту сторону, откуда эти слова послышались, но надо было пить водку «поскорей» и спешить... И вся публика, так же как я занятая своими суетливыми делами, хотела было обратить внимание на этот возглас, но за недосугом как-то не успела этого сделать...

— Что такое? — спрашивал иной, поднимая голову, но так как вместо ответа артельщик сует ему в руки багаж, то надобно сосредоточивать свое внимание на багаже, а тем временем уже и забылось то, на что хотел он обратить внимание.

Торопливо выпив водки и закусив, и я также хотел было спросить у кого-нибудь: «что такое?» и «кто это говорит?», но внимание мое было привлечено уж другим разговором.

— Тащите вы его, дурака, отсюда! — кричал буфетчик. — Федор! Скажи жандарму, чтобы взяли его... Говорено было не пускать.

— Так ведь ломится силом!..

Торопливый шум сильного и дружного натиска в дверях вновь побудил меня задать вопрос о том, что такое происходит, но едва я произнес:

— Скажите, пожалуйста...

Как ко мне впопыхах подбежал извозчик и проговорил:

— Пожалуйте садиться!.. Поспешать надо... мне еще одного барина в Тифин везть... уж сделайте милость...

Надо было «бежать» к саням... На бегу к повозке я миновал толпу служителей, жандармов, окруживших какого-то мужика, тщедушного (лампа слегка осветила его лицо), без шапки. Что он говорил, поясняя свои слова быстрыми нервными жестами, — не было слышно, а остановиться было некогда.

— Волоки, волоки его домой! — говорил кто-то тоном человека, привыкшего распоряжаться... — Ладно! присылай двести-то тысяч!

И вслед за мной, когда я осторожно спускался с обледенелых ступеней платформы, шумно гремя саблями и торопливо и громко стуча ногами, поспешно прошла толпа жандармов и сторожей, все с той же (теперь уже неясной от темноты) фигурой мужичонки посредине, и, сбежав со ступеней платформы, скрылась во тьме зимней ночи.

— Поволокли! — сказал ямщик, влезая на козла саней, — должно быть, запрут где-нибудь в казарме...

— Да кто это такой и что такое? — спросил я, наконец, когда кончились все хлопоты, и сани тронулись в путь.

— Да помешан тут один мужичонко... Всем, говорит, по двести тысяч рублей дам... Помните, я вам года три тому назад маляра рекомендовал?

Не помня чужих хлопот и забот за своими хлопотами, я, как и все грешные, свои-то хлопоты помню хорошо и при словах ямщика весьма отчетливо вспомнил, что три года тому назад действительно надобно было оклеивать комнаты в деревенском доме и я искал маляра. Вспомнил я комнаты, которые нужно было оклеивать, вспомнил даже и обои, и рисунок на обоях, и цену, а маляра не вспомнил...

— Нет, — сказал я,— этого мужика у меня не было... кажется, не он оклеивал!..

— Да и есть не он... У вас тогда другие перебили... он только сторговался, а другие взяли работу-то!

Теперь я вспомнил и это обстоятельство. Точно, сначала пришел плюгавый мужичонко и наобещал с три короба — юлил, вертелся, бормотал... А потом пришли еще два маляра, старик и молодой сын, раскритиковали мужичонку в пух и прах, отрекомендовали себя с самой лучшей стороны («даже у купца Чистоплюева отделывали к свадьбе залу с панелью!»), взяли меньшую цену и даже, помнится, во все время работы, стоя на табуретах, шаркая руками по стенам и махая кистью по потолку, только и разговаривали, что о мужичонке...

— Ему бы только задаток взять, а там его и с собаками не найдешь... Он вот у курлянца взялся, так одного глянцу перервал на пять целковых — а потолку было всего саженей на шесть квадрату... Как можно! С неумелыми руками за это дело браться нельзя... А в наших местах народ какой? Понадобилась ему копейка, так он не то что за маляра себя выдаст, а за архиерея провозгласить не постыдится... Избаловался народишко начисто!

Все это я вспомнил, а так как время езды было праздное, то я и спросил ямщика от нечего делать:

— Отчего же это с ним?

— Да бог его знает... Нам недосуг дознаваться... Видно, уж так богу угодно... Я его путем-то и не знал... Только что иной раз подойдет, попросит работы — ну и рекомендуешь господам... а так чтобы касаться... И с своим-то делом еле-еле управишься...

— На чем же он помешался-то?

— На богатстве, вишь... Всем, говорит, по двести тысяч дам... Храм выстрою... попам пожертвую, вечное чтобы поминовение, кажному мужику справлю хозяйство... В буфет ломится, требует дорогого кушанья...

— Давно ли это с ним?

— А бог его знает!.. Недосужно нам мешаться в чужие дела... своего много...

— Да ведь он ваш?

— Наш-то наш... Да ведь у нас много всякого народу...

В это время сани круто повернули на старое московское шоссе; сильный ветер мерзлым колючим снегом уда-

рил прямо в лицо и мне и ямщику; ямщик замолчал и закрылся рукавицей; я закрылся шубой, высоко подняв воротник. Оба мы замолчали, молча доехали домой, совершенно забыв маляра, и, проснувшись утром, я (да и ямщик также) уже совершенно не помнили вчерашнего дня... Настал новый день, новые хлопоты, новый недосуг...

II

Недосуг за недосугом, забота за заботой — и чем дальше, тем больше, и тем меньше возможности останавливать внимание не на личных только хлопотах... Сидел я так-то однажды дома и пробовал «заняться чтением». Давно уже, лет пять назад, надо было «проштудировать» одно серьезное сочинение в пяти больших томах, да все недосуг... «То то, то другое». Так и на этот раз: проснувшись утром, я твердо решил весь день посвятить чтению «серьезного сочинения»; проворно встал, взял и отточил нож столовый (костяной ножик остался в городе), чтобы сначала разрезать для удобства чтения *все томы,* и тотчас бы принялся за дело, если бы не чувствовал, что меня беспокоит какая-то «малость». Только бы, казалось, устранить эту малость, и тогда можно приняться за дело серьезно и основательно... Но по обилию всяких домашних малостей я не скоро бы догадался, которая из них препятствует мне приступить к серьезному занятию, если бы на выручку мне не явилась старуха кухарка.

— Что ж, будем мыть полы-то?.. Там женщина пришла, просит работы...

— Мыть, мыть! — радостно завопил я, увидав с полнейшею ясностью, что мытье полов и есть именно та «малость», которую необходимо устранить, чтобы, наконец, основательно сосредоточиться на чтении серьезного сочинения в пяти томах. Ввиду этого я просил старуху кухарку как можно скорее приступить к мытью, а пока решил повременить разрезывать томы и побыть так, без дела, пока кончится вся эта возня.

Скоро явилась баба и принялась за работу, и работа была до такой степени артистическая, что решительно нельзя было ею не любоваться. Женщина была красивая,

ловкая, хотя уже, видимо, потерпевшая и поголодавшая на своем веку; но, несмотря на лохмотья, в которые она была одета, на грязную работу, которую делала, во всех ее движениях, даже в манере нести грязное ведро сказывалось ее природное изящество и вместе с тем замечательное искусство труда. Стоит ей налить воды на грязные доски крыльца и провести по мокрой грязной доске грязною тряпкой, как доска эта делалась белее снега. Достаточно было мельком видеть эту работу, эту женщину и ее манеру, чтобы деревенский, опытный в деревенских талантах глаз оценил неоцененные качества такой бабы.

Работа была кончена чрезвычайно быстро. Баба ушла, получив расчет. Следовало бы немедленно взять «серьезное сочинение», столовый нож и приступить к серьезному занятию; но я, прежде чем сделать все это, почему-то счел нужным предварительно поговорить со старухой кухаркой.

— Кто такая эта женщина?

— Да это тут одна вдова...

— Здешняя?

— Знамо, здешняя... Муж-от у нее помер недавно в больнице, в сумасшедшем доме. Помешался на деньгах — всем, говорит, по двести тысяч награды дам... А недавно и кончился в больнице. Ну вот она и бьется теперь... Чай, помнишь, как дом-от вздумал обоем обивать, так маляр к тебе напрашивался?.. Годов пять, что ли, никак будет?

(Старуха жила у меня с незапамятных времен).

И вот опять, чрез пять лет, всплыла в воспоминаниях моих тщедушная фигура маляра, всплыла случайно, как обыкновенно всплывают в нашей памяти, памяти людей, поглощенных *своим недосугом,* тысячи случайностей чужой жизни, случайностей, никогда почти не уясняемых, а остающихся в виде каких-то обрывков чужой жизни, затемняемой мелочами того же личного недосуга. Как только старуха вспомнила о том времени, когда я вздумал «обоем обивать» свой дом, так я опять вспомнил и обои, и цветы на обоях, и цену, вспомнил и тщедушного маляра, который извивался передо мною, чтобы получить работу, вспомнил и тех двух маляров, которые эту работу перехватили у него.

— Да, да, — сказал я кухарке, — помню, это тогда он пришел первым... а потом пришли другие?..

— Ну-ну!.. Это тогда его родной отец со своим сыном работу от его отбил...

— Как родной отец?

— И-и! Такой зверь дикий, да хуже еще!..

— Как же это? Я и не знал, что его отец.

— Иде ж тебе знать! И мы-то здесь уж завсегда живем, и то, почитай, не знаем... Он, покойник-то, от первой жены его сын-то... Покуда жива была мать, то есть первая жена, и отец это не такой был зверище... А уж мать-то как его любила, баловала, нянчилась!.. Нежный был ребенок, чувствительный. И отец-то в ту пору другой был — все, бывало, с сынишком на работу свою малярную ходит, обучил его своему мастерству рано... Ну, а как умерла мать, отец и задумал жениться на другой и взял тоже из нашей деревни девку... Только не дай бог какая ведьма!.. Пока своих детей не было, еще и так и сяк терпела пасынка, а как свои-то пошли — и стала его сживать со свету, а отец и вовсе этой бабе подвергся: что она скажет, так тому и быть... Гнали, гнали малого, искореняли, искореняли его — принужден был уйти от них куда глаза глядят... Бывало, слезами плачет, обливается... По крестьянству не умеет, а малярное дело отец отбивает; но пока не женился, все кое-как на одного-то хватало... А как оженили — так уж тут стало ему хоть разорваться... Жена-то у него бойкая, работящая, а ему не поспеть по крестьянству-то за ней!.. Вот он стал рвать себя на части — бегает, просит работы, ночей не спит, а родной-то отец его, как волк зубами, раз да раз за самое свежее мясо, оторвет да оторвет себе, да еще осрамит сына-то родного!..

— Да, он его тогда очень бранил! — вспомнилось мне, и я сказал об этом старухе.

— У-у! такой тиранище стал, не приведи бог, а сама-то поди какая печь огненная... Ей бы только своим детям все досталось; а кто помешает — так и проглотит без разговору... Вот он от бедности-то, должно быть, и помутился... Денег, вишь, у него тьма-тьмущая.

— Так это родной отец так с ним поступал?

— А то как же? от этого-то он и огорчился рано в своей жизни... Легко ли дело — родной отец не щадит

свое чадо!.. Ведь человеку без пристанища страшно жить... Родительское слово — чего оно стоит! А тут на-ко что!.. А ведь он нежный-пренежный был, чувствительный!.. Рабенок у него родился от Авдотьи, так не надышется!.. Бегает, работы ищет, а мальчонка Андрюшка на руках... Вот и с рабенком тоже господь его не помиловал! Тут-то вот, с рабенком-то, как вышло нехорошее дело, тут-то, должно быть, он в первый раз и крянул...

— А что такое с ребенком было?

— Да задавили его, друг ты мой, на отцовских глазах!.. Жили они на квартире у ямщика... Есть тут у нас один разбойник-ямщик, Буфетов называется...

— Как же, знаю Буфетова!

— Ну вот этот разбойник и задавил малого... Пьянствовать любит, жену колотит, забил ее чуть не до смерти, — вот он в пьяном-то виде разогнал однова тройку, вкатил в ворота и переехал мальчишку как есть на глазах у отца... Как стоял он, Егор (его Егором звали), и видит это — так и упал мертвым... Оморок его тогда расшиб — долго отливали водой, пока очнулся. И вот с тех пор, как похоронил мальчика, так что-то стало с ним нескладно... Мутность какая-то в глазах стала... И в разговоре иной раз непонятно что-то разговаривал... Ну вот потом и захворал, дальше да больше...

— Так вот оно что!.. — сообразив всю эту драму, невольно воскликнул я, начиная чувствовать к этому делу не одно только равнодушное любопытство, как к обыкновенному деревенскому слуху, не имеющему ни начала, ни конца, ни значения.

— Да, — сказала огорченная старуха, — вот какое дело. Вот оно, сиротство-то, до чего доводит. И есть же такие злодеи родители...

Хотел было я спросить:

— Ну а жена-то его как же теперь?

Но в это время пришли сказать, что мужик привез дрова. Надо было пойти, сложить, смерить, расплатиться. Так прошло часа два, а потом настал вечер, подали самовар; приниматься за «серьезное сочинение» было уже не резон — целый день, как видите, все хлопоты и недосуг.. Надобно отложить до завтра...

С этою мыслью я лег спать, заснул и проснулся, имея в перспективе новые заботы, среди которых нет случая вспомнить про маляра. Кухарка тоже не вспомнила — и у нее тоже недосуг...

И маляр исчез из наших воспоминаний без следа...

III

А время идет своим чередом и идет так, что нам, деревенским жителям, вовсе незаметно, как год уходит за годом, словно тает, не оставляя о прошлом никаких воспоминаний и сосредоточивая внимание деревенского жителя только на заботах настоящего дня. Сегодня мы не знаем, что будет завтра, а завтра не будет того, что сегодня, — вчерашний день нынешнему не указчик. У меня вот вчера еще не было одной лишней заботы, а сегодня есть: стали куры ходить в клубнику и ягоды клевать, и такое меня «взяло зло» на кур, что я даже и не подозревал. Обыкновенно куры у меня ходили на полной свободе, но пришло мне на мысль развести клубнику (сосед-мужик предложил усов клубничных). «Польстился» я на эти усы, посадил, а теперь и сам не рад — кур развелось множество, и все с цыплятами, и клубнику господь уродил богатейшую — вот и не смыкай глаз всю ночь, потому что чуть солнышко взошло, уж наседки с цыплятами пробираются к клубничным грядам... И что мне клубника? А ведь не утерпишь, выскочишь в чем есть, и ведь какую войну затеешь с курами-то! Террор, сущий террор! Ожесточишься на бессмысленно мечущуюся наседку, на старуху кухарку, которая не смотрит, а жалованье получает, — взволнуешься негодованием на народное невежество, неблагодарность и вообще дойдешь до самого настоящего раздражения. И ведь не дорога мне клубника-то — вот вы о чем подумайте, — а такая уж привычка к своим заботам, все берет за сердце и беспокоит.

Так и идет жизнь: не знаю, зачем «польстился» на клубнику и нажил беспокойство с курами; беспокоился, беспокоился с курами, пришел к мысли — огородить огород частым тыном — новая забота, опять беспокойство: тын по самому малому расчету должен обойтись в тридцать рублей, чего и куры-то вместе с клубникой не стоят,

а между тем обо всем этом надо думать и беспокоиться. Скрепя сердце, однакож, пришлось решиться делать тын. Не бросать же кур и гряды зря. Если бросать, так должно бросить и все прочее, из чего вырастает наше ежедневное деревенское беспокойство: и капусту, и лук, и сено, и свинью, — да все! все вздор и дрянь; а бросишь, так и живи в безвоздушном пространстве... Да тогда зачем и жить-то в деревне?

Одно горе изживешь — другое едет навстречу. Порешил я делать этот тын и немного успокоился. Думаю, недолго куры мне напортят на грядках, потому что Иван Кузьмин, наш однодеревенец, мой должник на целых восемь рублей, «беспременно» обещал привезти для тына прутняку и кольев. Помню, даже сам просил меня никому другому не отдавать: «Мы с Андрюшкой духом оборудуем!..» — «Когда же?» говорю... «Вот одна минута... опослезавтра беспременно». Послезавтра бог дал хорошую погоду — не приехал Иван, а я хоть поволновался, но должен был извинить: надо пользоваться погодой — сенокос... «То то, то другое» — и неделя прошла; вспомнил я о тыне — опять рассердился и на кур, и на клубнику, и на Ивана: все волнует и выводит из терпения... Сто раз я костил этого Ивана самыми неприступными словами и не щадя обрушивал их и на кур, и на клубнику, и на старуху кухарку! Наконец, под угрозою не ждать и отдать работу другому, Иван «забожился мне всеми святыми», что завтрашнего числа «беспременно все оборудуем»... Знаю давно я эти «беспременно», «завтрашнего числа», знаю я, что значат эти слова в устах мужика, который задолжал восемь рублей и должен их отрабатывать... Хоть Иван и из порядочных, а все меня беспокоило — ну-ка опять надует... Обещал он приехать «утресь» к седьмому часу, а я, тревожимый заботой ожидания, проснулся уже и вышел в сад в шесть часов и беспокойно ожидал семи часов. Пробило семь — нет Ивана... Пробило двенадцать — нет Ивана... Три часа — нет!.. Словом, передать это состояние невозможно! Скажу одно, что к шести часам я положительно был вне себя, и не знаю, до каких размеров достигло бы мое нервное расстройство, если бы в семь часов Иван, наконец, не подъехал к моим воротам, сидя на огромном возу прутняка.

Его виновный вид, потное, запыхавшееся лицо — все вместе ясно доказывающее сознание им своей виновности и старание загладить проступок — значительно успокоили меня; я перестал волноваться и чувствовал только сильную физическую слабость...

Я сидел на крыльце, и когда воз с прутняком въехал на двор, Иван подошел ко мне и, сняв шапку, извинился.

— Уж вы извините, сделайте милость... Я бы и радостью рад, да ведь что поделаешь? Выбрали в волостные судьи и проморили до третьего часу... Уж я потом, не емши, в лес-то поехал...

Я совершенно смягчился, сказав: «Ну ладно! Отдохни!» — и дал ему папиросу.

Иван присел на крыльцо.

— Отчего же так долго-то? — спросил я.

— Да делов накопивши за лето много!

— У них делов много! — иронически сказала старуха кухарка, также отдыхавшая на кухонном крыльце неподалеку от меня. — Не покладаючи рук мужиков дерут!.. Судьи праведные!..

— Дерем, кто заслуживает! А кого и милуем!.. Тоже все надо обдумать, обсудить...

— А нонича-то кого судили? — спросила старуха.

— Много было всякого... Главная причина — Авдотья час замаяла... Сама взбунтовала дело, жалобу подала, а на суд не пришла... Посылали за ней почитай раз десять — не пойду да не пойду, а потом пришла тут женщина и говорит: «Что вы ее дожидаетесь? Она собрала свои хоботы в узел, да и ушла на вокзал!..» Пожалуй, и в самом деле уехала...

— Это какая же Авдотья-то? — спросила опять старуха.

— Али не знаешь, Авдотья-маляриха, вдова?

— Малярова, Егорова вдова? Как не знать Авдотью! Ономнясь она у нас, года никак с два тому быть, полы мыла, — прибавила старуха, обращаясь уже ко мне... — Помнишь, чай? Баба такая складная?

Тут я вспомнил и бабу, вспомнил и плюгавенького маляра, вспомнил и то время, когда дом «обоем сбивал», и как пришли два других маляра и отбили у плюгавенького работу; вспомнил и то, что эти два маляра были отец плюгавенького и его сын от второй жены — злой

бабы; вспомнил, что плюгавенький очень был несчастен, очень чувствителен и что от бедности он тронулся, что мальчика у него раздавили, что в обморок он упал и что теперь он уж в могиле...

Вспомнив все это, я уже не мог быть не любопытным и спросил мужика:

— Так что ж, Авдотью, что ли, судили?

— Какое Авдотью — сама суд завела!.. Пожаловалась на одного мужика... Так, забулдыга, разбойник... Напился, вишь, пьян да и давай срамить Авдотью. «Я, говорит, тебя перед всем светом осрамлю... Я вижу, что ты на вокзале дружка завела, так я тебя произведу...» И стал орать при всем честном народе, да и на вокзале стал рассказывать: «Я, говорит, с Авдотьей и при муже-то жил как с женой... Она должна понимать, отчего муж-от исчах... И смеет она мне делать измену? Я, говорит, и жену-то вогнал в гроб из-за нее, а ежели она посмеет мне слово пикнуть, так я и не то объявлю...» И уж так поливал ее со всех концов — слухать-то и то тошно... Ну она, Авдотья-то, выла, выла, да и подала в суд: посоветовали подать...

— Ах, разбойник, разбойник! Да кто он, этот разбойник-то?..

— Да Буфетов, извозчик...

— Это что мальчика-то ее раздавил?

— Ну вот он самый! Такая злая татарская порода! Буфетов — он мальчика-то и раздавил...

Старушка кухарка была так поражена рассказом, что, приложив обе сложенные ладонями руки к щеке, медленно качала головой и охала...

— А как неспроста он и мальчика-то раздавил? — с ужасом сказала она.

— От него все станется!.. Это уж такая ихняя татарская порода... Он два раза господ проезжающих в лесу грабить принимался, только что револверы были — бог спас. Разбойник!.. Они ссыльные из Касимова... Барин сослал в старые годы его деда. Татарин сущий.

— И станется от него, подлеца... Знал ведь он, как отец его лелеял!.. «На ж, мол, тебе... подохни с горя!..» Ведь он нежный был, Егор-то, как ребенок...

— Ну тоже — нарочно задавить!.. — с сомнением проговорил Иван. — Это ведь тоже... А может, они

вместях с Авдотьей... Мужик он дерзкий, баба она была молодая, Егор-то жидок... Бог ее знает!

— Ну уж Авдотью ты не порочь! Уж Авдотью я вот как знаю!.. — вступилась с сильным раздражением в голосе старуха. — Ты Авдотьи не тронь!

— Чего мне трогать? Мне чего тут? А что в вашей сестре тоже хорошая тьма в совести... Иная — поглядеть на нее — овца бессловесная, а как разберешь, ан и видишь, что там у нее ад с дьяволами гнездится!

— Уж это про Авдотью не говори! Она сама мне еще при муже сказывала: «Пристает, говорит, ко мне разбойник, проходу не дает... А муж покою не знает...» А чтобы что...

— Н-ну, тоже... Знаем мы вашу сестру... видим!.. Поди, вон, погляди на вокзале...

— И глядеть-то мне там нечего. Не такая Авдотья, не такая!..

— Кому тут разбирать! Однакож вот жалобу-то подала, а сама не пришла...

— А он пришел? — спросил я.

— Он-то был...

— И что ж он?

— Он все свое... «Я, говорит, верно говорю, что с ней при муже жил... Муж-то не мог со мной совладать, я б его убил с одного щелчка... Он, муж-от, всю жизнь меня трясся... Пускай-кось она придет, посмеет пикнуть, так я ей такое слово объявлю — на месте ляжет, потому Сибири мало... Пускай-кось глаза покажет!..» А она вот не пришла. Узнал он, что она с узлом куда-то скрылась: «На-айду, говорит, никому не отдам, не уйдет!.. Упирается за меня замуж идти, хочет на вокзале с одним человеком помутить — ничего! Не дозволю!..»

— Куда же она девалась?

— Бог ее знает... Сказывали — ушла, а так чтобы толком разузнать — недосужно.

— Разбойник! Разбойник! — шептала и вздыхала кухарка.

Теперь уж была мне совершенно ясна вся драма, вся биография маляра Егора, все его горе, его сиротство, беззащитность, вражда отца, иссушающая душу ревность, ужас смерти ребенка и бедность, бедность... Теперь я уже знал, отчего он тронулся, отчего у него оказались огром-

ные богатства — только с ними он мог бы выбраться из своего ужасного положения, приобрести внимание и дружество людей, достаток, привет и покой в семье и удовлетворить свои нежные чувства к жене и мальчику... Сообразив все это, я хотя и знал, что измучившийся Егор давным-давно лежит в могиле, что он уже закончил свою биографию, не мог, однакож, не заключить и моих воспоминаний о погибшем на наших глазах человеке — и, ни к кому из собеседников не обращаясь, во всеуслышание проговорил:

— Так вот оно отчего!..

И этим изречением, кажется, навсегда закончилась история маляра.

— Что ж, — докурив папиросу, сказал Иван, — извольте показывать линию, где гнать тын. Уж сегодня где же? Только линию укажите, а уж мы завтра чем свет с сынишком...

Пошли намечать линию, ходили взад и вперед, толковали, мерили, говорили и о тыне, и о клубнике, и о курах; наконец все сообразили и разошлись... Заснул я с мыслью о том, как бы Иван завтра не проманкировал, — а назавтра были уже новые заботы, новые недосуги...

IV

Так вот и идет наша деревенская недосужная жизнь... А то, что таится в глубине душевной жизни этих одинаковых по недосугу людей, то доходит до нас кой-когда и кой-как. Прилетит весть или слух, намекающий на драму, толкнется в сердце и улетит, как муха, на мгновение присевшая вам на руку или на лоб. Да и столичный житель также не в лучшем положении относительно внимания к душевной драме своих соседей; хорошо дойдет драма до суда — ну тогда и он может закончить ее также совершенно определенным замечанием: «Так вот оно отчего...» А много ли таких-то драм? Зато каждый день газеты приносят их целыми ворохами: убился, отравили, убили и т. д., а «причины неизвестны» — и тысячи таких людей трагически исчезают вокруг столичного жителя ежедневно и буквально без всякого следа в его сердце. Каково качество столичного недосуга сравнительно

с деревенским, судить не берусь, но в нашем деревенском недосуге, по причине малолюдства и относительной близости жителей друг к другу, иногда хоть и из пятого в десятое, хоть и с перерывами в несколько лет, — лоскутки драмы, долетающие до вашего слуха со стороны, сами собой складываются в определенную картину, позволяющую видеть причины и следствия и с уверенностью произнести слова: «Так вот *оно* отчего!» Но увы! эта ясная картина всегда складывается поздно, всегда в то время, когда уже все кончилось и когда можно только устыдиться своего невнимания к ближнему и чрезмерному вниманию к курам, тыну и клубнике.

— Тебе бы надобно было тогда Егора-то поддержать... Не слухал бы отца-то... Много ты выторговал? А может, человек-то оправился бы, не пропал...

Это мне старуха кухарка как-то сказала на днях, услышав что-то про Авдотью (с солдатами что-то; недосуг было расспрашивать). И сам я знаю, что не надо бы было верить злому старику, поддержать Егора — да ведь что поделаешь? «То то, то другое!» Даже «серьезным сочинением» не было возможности заняться до сих пор.

8. ПОСЛЕ УРОЖАЯ

I

...Часа в четыре начинавшего уже темнеть осеннего дня выехали мы — я и мой спутник, возница-крестьянин,— из нашей деревни и, свернув с шоссе, медленно поплелись лесом по направлению к одной глухой деревеньке, лежащей от нас верстах в двадцати на неведомой речке, в неведомых лесах. Поездка в эту деревеньку происходила без всякой существенной цели; она была изобретена моим приятелем-возницей просто только для того, чтобы дать мне возможность дня два без скуки и без дела «побыть» в деревне и таким образом хоть немного поочувствоваться после томительных дней петербургской осенней жизни.

Иногда действительно петербургская жизнь способна удручать своих невольных обитателей минутами убийственной тоски.

Полсуток весь Петербург молча решает участь всех русских дебрей и всего в них живущего; другие полсуток он отдыхает от своей работы. Будучи каплей в бумажном океане, петербуржец делает то дело, какое ему дадут; точно так же, то есть «как дадут», он и отдыхает. Хорошо, если вечер даст ему Рубинштейна; ну тогда он волей-неволей полетает несколько часов и под небесами и в земных ощущениях помучается до поту, а не дадут Рубинштейна, надо принять и Фельдмана, волей-неволей надо украсть у соседа по театру бумажник, отнести его во второй ярус, словом, надо отдыхать так, как прикажут афиши и дирекции театров. Не будучи самим собой ни в деле, ни в отдыхе, петербуржец только к концу

дня получает возможность поступать вполне самостоятельно. Происходит это обыкновенно уже в ресторане, после спектакля, и здесь петербуржец может предъявить действительно собственные свои желания; он может «сам», не слушая ничьих приказаний, без всякого принуждения выбрать себе котлету, или бифштекс, или рыбу, курицу — словом, что только его *душе* угодно. Однако дальше отбивной котлеты, кажется, и в этом отношении дело не пошло. Ждет, ждет лакей, представляет барину полную свободу действий, а твердо знает, что в конце концов ничего, кроме отбивной котлеты, не получится. Но ведь надо и барину подумать о чем-нибудь без помехи. Вот без помехи-то барин и думает только над прейскурантом...

Постоянно, беспрерывно исполнять чьи-то приказания как в труде, в заработке, так и в отдыхе и развлечении — такая жизнь иногда может привести в отчаяние человека, желающего хотя по временам ощущать себя «самим собой», иметь «свои мысли», а не те, которые приказывают иметь газеты, совершать свои самостоятельные поступки, а не те, которые обязывает совершать заработок, — и вот является желание отдохнуть... А где можно лучше всего ощутить себя самого, как не в деревне? Здесь я *сам* вижу, что в ворота вошла чужая собака; я *сам* знаю, что она чужая, потому что она белоухая, не наша; и вот я *сам,* не слушаясь никакой передовой статьи и не ожидая решения какой бы то ни было комиссии, иду на двор, выгоняю собаку, запираю ворота. Эти вполне свободные, самостоятельные поступки возбуждают во мне вполне самостоятельную мысль о том, что в раскрытые ворота могут входить не только чужие белоухие собаки, но и свиньи и прочий скот; моя ничем не стесняемая мысль свободно приводит меня в кухню, где я, не боясь никакой цензуры, говорю вполне самостоятельно и независимо: «Иван! ты бы запер ворота, а то свиньи могут...» Что могут? Да я вот не хочу об этом думать, и никто не вправе требовать от меня решительного ответа — что именно могут сделать свиньи? Тогда как на сеансе Фельдмана я — хочешь не хочешь — а должен либо украсть чужой портсигар, либо кого-нибудь приколоть; а на концерте Рубинштейна я изволь летать в облаках, да из облаков-то он меня швырнет в океан, а потом, мокрого,

потащит в замок Тамары — и я не смей пикнуть! То ли дело в деревне! Здесь, в деревне, я имею о том, что вижу, собственное свое мнение, тогда как в Петербурге я должен постоянно проникаться чужими мнениями и интересами. Почему это в восемь часов утра я должен узнать, что в Цетинью привезли ящик с магазинными ружьями, а Патти напела себе тысяч двести денег? Все это, неволю и волю (самостоятельно выгнать со двора белоухую собаку), ощущаешь только в деревне.

Вот такое-то желание ощутить самого себя побудило меня после полутора осенних месяцев прошлого года, проведенных в Петербурге, заглянуть дня на два в деревню. Мой старый приятель-крестьянин, хорошо знавший настроение моего духа в момент таких неожиданных приездов в пустой, нетопленный дом, и на этот раз понял, что ему надо делать; нужно было как-нибудь промаячить два деревенских дня, о чем-нибудь поговорить, куда-нибудь пойти или поехать. И придумал он поехать в глухую соседнюю деревню: там по случаю урожая в первый раз было что-то вроде ярмарки, там, должно быть, идут теперь свадьбы, также по случаю урожая... И самому мне вспомнился тот крестьянин, свалившийся с лошади в пьяном виде, но свалившийся не в грязь лицом, а в рассыпавшуюся из мешка новую муку, которого я видел полтора месяца тому назад, как явление, свидетельствовавшее об урожае, редком госте наших мест. И вот при содействии приятеля-крестьянина и собственных моих воспоминаний об урожае выработалась само собою как бы некоторая цель и дело: поехать в деревню Гололобово и посмотреть, как там отозвался урожай, нет ли свадьб, какая была ярмарка? Словом, явилось некоторое основание для того, чтобы испечь пирог, захватить разной провизии, уложить все это в телегу, потом запрячь в эту телегу лошадь и тронуться в путь.

II

На дворе темь непроглядная, а в избе одного из гололобовских крестьян жарко и душно. Жарко главным образом от самовара, занятого хозяевами у старосты; самовар огромный, клокочущий, бьющий паром не только

в потолок, который уже и запотел, а и по сторонам, угрожая погасить маленькую керосиновую лампочку, прикрепленную к стене. Так как на столе, кроме самовара, есть и водка, и колбаса, и пиво, то, разумеется, есть и «компания»: во-первых, сам хозяин избы, молодой еще парень, только что разделившийся с братом, и его жена, молодая, красивая, но бедно одетая, тихо, но непрестанно озабоченная нуждой женщина; у них двое детей. Девочка четырех лет смотрела на нас с печи, а другого ребенка — мальчика сама мать кормила, стоя около люльки, привешенной к потолку и закрытой ситцевыми занавесками. Изба, в которой мы сидим, весьма недавно сколоченная по бревнышку, не осела, не умялась и была еще сыровата; окна мокнут, и от печки попахивает сыростью, недостатки в хозяйстве видны с первого взгляда; шкафчик, приготовленный для посуды, пуст, в печи никакого варева, кроме картофеля, нет, как объявила нам сконфуженная хозяйка, и видно было, что это обстоятельство сильно ее волновало, видно было, что она «рвалась» выбиться из лап нужды, — мысль об этом непрестанно виднелась на ее озабоченном лбу и в ее озабоченных глазах. Но и то возможное почти в пустом доме благообразие, чистота, опрятность говорили, что эта энергическая работница добьется-таки когда-нибудь уюта в своем уголке, оживит эти пустые стены, голые доски, этот пустой чердак над новыми сенями и полухолодную, полусырую печку.

Кроме хозяина, также как будто стыдившегося своей бедности и недостачи «во всем», кроме меня и моего компаньона — возницы, были в числе «компании» еще два каких-то мужика: один широкоплечий, с широкой бородой и веселым выражением лица, человек лет сорока пяти; другой — старый человек, уже хилый и ослабелый, живший, как оказалось, со своей старухой «из милости» где придется. Прежде был он пастухом, а теперь плетет лапти и проживает в бане у широкоплечего мужика. Во все время нашего разговора он или молчал, опустив голову, и как будто ничего не слышал, или также молча улыбался и будто внимательно прислушивался.

Из сведений, добытых моим возницей по нашем приезде в Гололобово, оказалось, что завтра, в воскресенье, в доме одного зажиточного крестьянина будут «смотрины»

и что, следовательно, завтрашний день будет очень любопытен. В ожидании его мы, «компания», сидели за самоваром и вели случайный разговор, который незаметно склонился к воспоминаниям о недавней ярмарке, впервые бывшей в Гололобове, и, увы, воспоминания эти оказались далеко не веселыми. Неожиданные, непредвиденные случайности, внесенные ярмаркой в глухой уголок трудной и трудовой жизни, много наделали в ней изъянов и большой бедой разразились, между прочим, над хозяевами дома, в котором мы заседали с «компанией» и пили чай. Не вдруг выяснилось, что в доме этом — тяжкое горе.

— Какая это ярмарка! — пренебрежительно отвечал мне на расспросы о ярмарке широкоплечий и бородатый собеседник. — Званье одно, что ярмарка... Да и то сказать, ведь впервой... В старые годы никогда в наши места никто не заезживал... Ну, а по нынешнему времени понаехало в наши места много курлянца, да опять урожай бог дал, ну вот кой-какие купчишки и толкнулись... По началу-то она и на ярмарку не похожа... Нашему брату, мужику, она даже нисколько не пользительна. Привели пять калек-лошадей, только и всего; разве только вот бабам нашим хлопот наделала... На целый год будет им разговору...

У люльки, где стояла около ребенка жена хозяина, послышался вздох, и этот вздох почему-то заставил нашего хозяина оглянуться на жену. Оглянувшись, он как будто покраснел, сконфузился и, вероятно чтобы замять этот конфуз, принужденно весело сказал:

— Да уж им, бабам, хватит разговору надолго!..

И поспешно припал губами к блюдечку.

— Будем вас помнить! — чуть-чуть послышалось у люльки, но компания пропустила эти слова мимо ушей и усиленно занялась чаепитием.

— Нет, ведь, ей-богу, с этими бабами, — развязным тоном заговорил широкоплечий, — ей-ей, с ними смеху не оберешься! У меня баба трое суток сама не своя: деньденьской взад-вперед мимо красных товаров мычется, а купить ничего не купила. Я говорю: «Чего ты мучаешься?» — «Аршин ситцу купить!» — «Так возьми да купи и опомнись хоть немного». — «Как, говорит, купить; что ни смотрю, все не по вкусу, а который и по вкусу, так, гово-

рит, не по годам... И хорош, говорит, ситчик видела, цветочками и крестиками, да больно весел, а с черным букетом взять тоже что-то неохота, будто еще на свете пожить хочется... Вот и не знаю!» — «Да как же быть-то? говорю. Как же мы с тобою разберемся? Ведь ты окончательно с ног сбилась? Чего тебе аршин-то? Есть что разбирать, взяла да и купила?..» — «Нет, говорит, надо чтоб под лицо подошло, да по вкусу вышло, да чтоб не дорого!» Вот ведь какие неугомонные! Я было сам попробовал с ей пойти, походил, походил, плюнул! На купца жалко смотреть, как они, бабы, его теребят... Роют, роют. «Да вам что нужно-то?» — спросит купец. А баба ему: «Может, меня чем товар приманит... Посмотрю на товар, может, и захочу чего!» Вот какие безбожные: перероет все, с купца три пота сойдет от устали, а она взяла да и пошла домой, по вкусу ей не вышло!.. На всех-то баб, пожалуй что за всю ярмарку, пять аршин ситцу куплено, а разговору!..

Широкоплечий махнул рукой и молча налил себе чашку чаю.

— И какие продувные эти бабы! — продолжал он, проворно выхлебав первое блюдечко чаю. — У меня баба уж почитай что в преклонные годы входит, а все о ситцах беспокоится! И что же выдумала? Сама по лавкам мается, покою не найдет, оторваться не может, а меня послала свои холсты продавать... Обмотала всего, обвешала, например, как чучелу какую, — «поди, говорит, по лавкам, продай мои холсты, покричи»... И так она меня оплела разговором, умаслила, урезонила, опутался я истинно наподобие какого дурака и пошел ведь, ей-богу пошел!.. Сама толчется, ищет аршин подешевле, а мне все покрикивает: «Как можно подороже! Не продавай зря; как можно чтоб больше денег с купцов бери!» Ночью — ей-ей, сам слышал! — стала на коленки перед образом: «Господи, говорит, боже милостивый! угодники мои праведные! божия матерь! помолитеся перед господом, чтобы холсты мои подороже бы всех! дороже чтобы хоть на один грош, а чтобы дороже бы, божия моя матерь, сотвори для меня, рабе!» Ну — едва не лопнул я со смеху! а ведь уж у самоё дочери невесты. Поди вот, искорени из нее! А как я не вытерпел дураком-то по базару шляться, да сбухал холсты-то первому встречному,

так что мне было! Узнала, распытала, почем прочие свои холсты продали, и вызнала так, что я грош на каждый аршин убытку взял, так она как малый ребенок ревела... «Злодей ты! говорит: кровопивец!» Эво как!..

При этих словах хозяин, лицо которого как-то вдруг засияло веселой, хотя попрежнему сконфуженной, улыбкой, обернулся опять к своей жене; она давно уже перестала кормить ребенка и сидела за люлькой молча, повидимому пристально вслушиваясь в речи широкоплечего. Хозяин, оглянувшись на жену, как будто бы шутливо спрашивал ее своим взглядом:

«Что, небось смешно? А сама-то разве не так же колобродишь?..»

Жена поняла этот взгляд, но отвечала на него не вдруг. Она несколько секунд молча и серьезно смотрела прямо в глаза мужа и потом медленно, негромко проговорила:

— Погляжу я, послушаю вас, поди, какие вы умные над бабами насмехаться!

Сказала она эти слова не весело и не укоризненно, а тяжко, озабоченно, хотя и сдержанно.

— Вам вон, мужикам, невмоготу час какой ни на есть с нашими бабьими холстами походить, пособить нам, бабам... Лень вам один только час об нас похлопотать, а как же мы-то над холстом-то трудимся? Целый год ведь над ним бьемся! За одну-то зиму, пока прядем, все ногти огрызем до мяса! Как же вы, умные-то мужики, нас-то не пожалеете?

— Ну, — сказал небрежно широкоплечий, — есть чего из-за гроша хлопотать. Диви бы что, а то грош! Велик из него прок...

— Вот какой ты умный! Что ни скажешь, только бы тебя слушать и радоваться... Да грош-то иной раз меня из какой беды вызволит? Знаете ли вы, умники этакие?

— Не знаю уж, каким это родом грошом человека вызволить из беды можно? Нищие вот всю жизнь гроши собирают, а не видать, чтобы богатели. Может, грош какой особенный будет...

— Грош-то будет простой, да надобно цену ему знать! На грош-то я вот иголку куплю... видишь ты? А иголка-то, знаешь ли, что для нашей сестры значит? Мне надо

и себя, и мужика обшить, ребятишек, этого ведь вы ничего во внимание не берете... А как гроша-то у меня нет да остаюсь я без иголки, ну-ко посмотри, сколько лохмотья-то в доме накопится? Хуже нищего будешь! А где я возьму иголку-то, если у меня гроша-то своего нету? Ведь надо в люди идти? должна я поклониться, попросить? хорошо, как дадут, уважут... Зачем же я кланяться людям буду? Легко ли это по дворам побираться, у людей просить? Да мне легче померереть, по моему харахтеру, чем просить у людей! Иная даст тебе иголку, да душу потом вымотает... То тем, то другим, а покуда не отдашь, да не поблагодаришь, чуть не в ножки поклонишься, так все и живешь, как подверженная... Вот что мне значит иголка! А с своим-то грошом я сама хозяйка, никому не кланяюсь, никого не прошу, не шляюсь по людям, никого надо мной нет, вот тебе и грош!.. Ох вы, умные, премудрые!

Никогда ни грош, ни иголка не имели в моих глазах того необычайного значения, которое придала им речь хозяйки. Какая масса затруднений наваливается на крестьянскую женщину из-за одного только гроша, на который можно купить иголку, необходимую в семье постоянно! И оказывается, что бывают моменты, когда *невозможно* купить иголку, нет гроша, нужно идти в люди, просить, кланяться!.. Озабоченный тон, которым говорила хозяйка об этой иголке, несомненно доказывал, что жизнь ее исполнена неведомых нам всем трудностей, оскорблений, обид, затруднений, которых мы не понимаем, но которые жестоко угнетают ее как человека и как женщину. Нервное волнение, которое во время речи об иголке овладевало этой женщиной все больше и больше, сразу выяснило мне весь ее нравственный тип — тип женщины, поглощенной исключительно обороной собственного ума, семьи и своей личности от малейшей возможности подчинения кому-нибудь и чему-нибудь. Такая женщина, твердо, непоколебимо верящая в себя и свои силы, не задумается убежать куда глаза глядят из семьи свекора, если только почувствует чье-либо малейшее посягательство на ее волю, труд или личность. Она одна сумеет ухватить во время своего бегства и всех своих детей, сколько бы их ни было, и все свое добро, все свое до нитки, не побоится уйти прямо в поле, не побоится взять

на себя какой бы то ни было каторжный труд, лишь бы всегда чувствовать себя самостоятельной, не кланяться, *«не идти в люди»*. Такие женщины, как это я много раз замечал, большею частью выбирают себе самых покорных мужей, хотя бы такой муж и был беден; богатый ее подчинит, бедного и слабого подчинит она; ее энергия так иногда взвинчивает этого покорного мужа, что он, разиня и ротозей, под влиянием ее лихорадочной, неустанной работы, в стремлении быть самостоятельной, «не идти в люди» — начинает творить чудеса. Не переставая быть робким и послушным, он, однако, под влиянием неумолимых стремлений жены к определенной цели, сам, как обезумевший, не задумывается лезть на рожон: ворует лес для постройки, берет задатки и не отрабатывает, словом — мечется куда глаза глядят и знает только одно, что за ним стоит неумолимо повелительное желание жены и что «ее не унять!» Иногда невозможно не удивляться той массе забот, труда, которые добровольно взваливает на себя женщина такого типа; буквально без копейки, приютившись где-нибудь в углу, она работает из-за каждой картофелины, яйца, в то же время нянчит ребят, таскает их всех с собою на речку, на работу; тут же забавляет их, ухитряется достать гостинцы, найти возможность сказать сказку, развеселить, и в то же время сама не пьет, не ест. Не муж ей нужен, а ей нужна неприкосновенность ее и семьи, и мужа своего она сама гонит на работу. Вот именно такого-то типа и была наша хозяйка. Ее монолог об игле и глубокая обида, слышавшаяся в нем, говорили о каком-то ужасном страдании, которое ей как будто бы только что причинили.

Широкоплечий мужик, вероятно, знал ее характер и хоть не совсем удачно, а старался ее успокоить и попасть ей в тон.

— Вот это ты действительно верно говоришь, Сергеевна! — сказал он. — Уж ваша сестра ежели тебе доверила иголку, то пожалуй что добром это дело не обойдется... Вы мастера друг дружку есть поедом!.. Ведь и ты тоже, попроси-кось у тебя иголку-то...

— И не дам! Ни за что не дам, коли мне она самой дорога! Где я тут возьму? Мне за двадцать верст идти за ней, а ребята с кем останутся?.. И не отдам! И не подходи ты ко мне и не проси!

Говоря это, она сильно взволновалась, отошла от люльки, села на лавку поближе к нам и, обращаясь уже прямо ко мне, с краской в лице сказала:

— А вы вот лучше что: вы изволите-ко спросить наших умников-то, много ли они грошей-то за наши холсты принесли с ярманки? Грош! А рубли-то куда наши бабьи девали?.. Спросите-кось у них, у умников!

— И не беспокойся! — делая рукою широкий успокоительный жест, произнес широкоплечий гость. — Я своей бабе ту ж минуту все до копейки предоставил! «Ежели, думаю, с ней поднялось такое рыдание из-за того, что я грош упустил, так что же будет, коли она узнает, что и всех-то денег нет!» Подумал, подумал, прямо, господи благослови, тихим манером сгреб из кладовухи полушубок, завалил его кабатчику и отдал ей. «Вот тебе все твои три рубля двадцать!» И даже еще потом и по грошу своих надбавил: «На! Перестань! Бог с тобой!» А то бы, пожалуй, и грех какой вышел... Я с своей бабой, слава богу, уладил дело по-хорошему!..

— Ты-то уладил, а моего-то подбил? Мои-то где тридцать аршин?..

Баба говорила тихо, но, видимо, была вне себя.

— Я тебе говорил: «отдам!» — с резкостью в голосе сказал ей муж, быстро обернувшись.

Теперь было совершенно понятно, почему он все время конфузился и умильно поглядывал на жену; очевидно, он был пред ней сильно виноват.

— Чего ты? — продолжал он тихо, но серьезно. — Не велика беда погодить-то!.. Авось Миколай-то Иваныч не за горами? Приедет, даст вперед, не беспокойся, кажется и так знаю...

Баба ничего не отвечала, но, обращаясь к широкоплечему, еще раз и с настойчивостью проговорила:

— Нет, ты расскажи все как должно! расскажи, как вы нашу сестру мучаете! Говори все по правде, а я потом про мое горе расскажу... Меня одна моя Машутка-то за день, пока мы с ней отца-то ждали, мученски измучила: цельный день от окошка не отходила... «Скоро тятька кренделей принесет!» И все в окно глядит, нейдет ли тятька... «Много мне кренделей принесет!.. Мамушка, а мамушка? Много ведь мне тятька принесет кренделей?» — Много, много, мол... — «Ну, я мальчику, говорит, один

крендель дам, тебе, мамушка, дам, много дам, тятьке дам, себе много возьму, больше всех, эво сколько возьму!» Ждали, ждали... Видим, идет тятька: «Мамушка, тятька идет! Кренделей мне много несет...», а он пришел — и нет ничего! ни денег, ни холстов, ни кренделей! «Тятька, ты принес мне кренделей-то? Много?» Каково тебе было?

Эти слова относились уж к мужу.

— А ты чего ее подстроила? Знала ведь от людей, что со мной несчастье вышло?

— Знала!

— Так ты чего нарочно-то мучила Машутку? Нешто я сам не чувствую?

Горе и обида слышались в суровом голосе мужа.

— А мне каково?

— Тебе говорено: «отдам!»

— Ну, — перебил начинавших волноваться мужа и жену широкоплечий гость, — все обладится, авось бог даст! Тут вины нашей нету... Поди-кось, поспроси, мало ли народу попало ему в лапы? Не мы одни...

— Да в чем дело-то? — спросил мой возница. — Кто это вас так обидел?

— Да больше ничего, проигрались мы в вертушку... Жадность нас, дураков, затмила!.. Вот главная причина. Полакомили нас деньгами — мы и раззявили пасти... Тоже ведь хочется получше-то... Ей вон иголку надо, а нашего брата и посейчас под розги кой за что кладут...

— Жадность наша! — тихо сказал хозяин. — На деньги-то глянул, как на пятак-то серебром рубль может выскочить, — ну и затмился... Один мальчишко тоже по жадности купил себе киселя на пятак. А кисельник-то говорит: «Ох, не съешь!» — «Съем!» — «Ну ладно!» А старик-то знает, что не съест. Ел, ел — не идет! И денег жалко, и киселя жалко; а старик-кисельник взял да и подшути: «Нет, говорит, ешь все, а то урядника позову!» Мальчишко-то испугался, ел, ел, видит, что невмогота, убежал! «Держи, держи!» Догнал его кисельник, а мальчишко-то ему в ноги: «Прости, не буду!» Ну, кисельник оттрепал его за виски, отдал ему две копейки сдачи и говорит: «Не жадничай!» Вот и нас бы так, дураков, надо...

— Да как же так вышло-то? — спросил возница.

Широкоплечий гость долго и хитросплетенно объяснял устройство вертушки, инструмента, весьма похожего на рулетку. Объяснение это значительно утомило и умаяло его, и он с большими усилиями добрался, наконец, до рассказа собственно о происшествии:

— Вот вертушешник-то и говорит: «Играйте по пятачку, а мне две копейки пошлины с человека... Пожалуйте, говорит, молодцы!» Положили мы по пятачку, дал оборот — проиграли... Давай еще — и опять проиграли... Н-ну, тут нас, сволочов, уж извините, и затянуло!.. Образумились — ни у меня, ни у него (широкоплечий показал на хозяина) ни гроша не осталось! Ничего! даже пряника не на что купить бабам... Пошли прочь, то есть чисто как в беспамятстве.

— А мы-то с Машуткой ждем не дождемся! — вся сосредоточившись в своем горе, вся взволнованная, как бы про себя жалобно проговорила хозяйка. — Как же, посудите сами, всего в доме надо, каждая копейка нужна, хозяйство только-только собирается... Машутка-то пуще всего меня маяла: «Вот тятька идет, идет, гостинца несет...» А мне самой-то сколько заботы! Ничего нету! Думаю, ярманка, всего надо... все куплю; хвать, и баба соседка прибежала — «так и так», говорит. Так у меня сердце и оборвалось... Приходит мой-то: «Что ж, говорю, купил крендельков?» — «Забыл! говорит: завтра!» Завтра-завтра, так и нету ничего!

— Да будет тебе! Ведь говорят тебе, отдам! Укупишь всего... Я и сам-то еле жив был, как пришел домой...

Сильное страдание слышалось в его голосе; но жена не слушала его, не отвечала мужу и глубоко вздохнула...

Широкоплечий мужик опять попытался было успокоить измученную женщину и беззаботным тоном сказал:

— И-и! Что убиваться? велики там деньги! Погоди-ко, у меня будут, так ты думаешь я тебе не дам? Сколько угодно! Чего ты? Не мы одни. Послушай-ко, как дедушку-то пристукнуло? Поспроси-кось его, чего с ним исделали?.. А уж он ведь не тебе чета, ему почитай пора в гроб, стар, а и его на последние два целковых нагрели... Дедушко! — обратился он к старику, сидевшему молча на лавке. — Посмеши нас, развесели, расскажи, как тебя, старого, обработали. А ты, Анна Сергеевна,

послухай да перестань выть-то!.. Эко беда какая — три-то целковых!

— Да ведь я из-за трех-то целковых целый год билась! — вдруг со всей энергией горя и печали торопливо проговорила хозяйка. — Подумай-ка ты, кабы три-то целковых мне не надобны были, стала бы я ночи-то сидеть за станом? Аршин-то — он гривенник стоит, а подумал ли ты, сколько за ним труда-то? Ведь я каждую ниточку обдумала, на что мне ее применить, что себе в дом принесть... Кабы я о своем доме за каждой ниткой не думала...

Впечатление этих мученических признаний было так удручающе, что вся компания наша невольно чувствовала себя глубоко виноватой пред этой труженицей. Все слушали молча; сам муж хозяйки не только не нашелся что ей возразить, но как-то весь натужился, напряг все свои силы, чтобы перетерпеть эту тяжелую минуту. На наше общее счастье, первый опомнился от удручающего впечатления все время молчавший старик. Вероятно, горе его было гораздо больше горя Анны, потому что он, слушая ее, стал улыбаться старческой, беззубой улыбкой и, наконец, заговорил:

— Вот так-то и меня, старого дурака, оболванили на старости лет... Этто продал я лаптей на рубль на восемь гривен... С Рождества я над ними копался; иду домой и думаю: надобно моей старухе калач купить; сколько она, бедная, мне одной лучины нащепала, пока работал, а иной раз сидит и лучину сама мне держит, светит... Глаза-то уж у меня плохи, высоко воткнуть не вижу, так моя старуха сама сидит да светит... Думаю: «Надо ей калач купить!» Вот иду к калачам-то, а навстречу мне малый молодой; несет на ремне через плечо коробок открытый, а в коробке всякие вещи лежат. «Не угодно ли, говорит, поиграть на счастье? билет стоит три копейки — и всегда что-нибудь выиграешь, а не понравится — прибавь две и опять играй...» А на грех как раз перед моими глазами один наш же знакомый мужик кошелек выиграл кожаный и никак не меньше как пятьдесят копеек... «Ах, думаю, ежели бы мне кошелек-то! Деньги у меня есть, положил бы я их в кошелек, и было бы у меня на душе повеселей, все я вроде как хозяин...» Взял билет, выходит кольцо. «Зачем, говорю, мне, давай

другой...» Взял другой — выходит булавка! И это не надо! Взял третий — попалась цепочка: опять не по мне! Да и пошел... Стал у меня в голове кошелек — хоть что хошь!.. Брал, брал, брал, глаз с кошелька не спускаю, хвать — и денег у меня ни копейки не осталось, и в руках у меня карандаш! Ударило меня, братцы мои, в слезу! «Не угодно ли еще попытать счастья?» — «Нет, говорю, не надо, довольно!» Пошел и сам не знаю, куда иду... Иду, иду, ничего не вижу, не помню... вдруг вспомню — матушки мои! Так в волосы себе и вцеплюсь... Что скажу старухе? Сидит она, сирота моя, ждет, думает — подарю ей калач, поправимся... Что делать! Боже мой милостивый! Мучился, мучился, сел на пень, забрался в лес, думаю: «Ничего не поделаешь! Надо опять работать. Приду, мол, домой, скажу старухе все чистосердечно и сяду работать дни и ночи, все ворочу!» И будто полегчало... Пошел опять, и опять меня всего мраком отуманило... Зло во мне закипело ключом... Так бы и разорвал на части кого! Побежал я почесь бегом, точно кого догоняю, а дыхание так меня и разрывает! Вдруг мне вступило в ум, что как я пошел на ярманку — попался мне на пороге наш кот... И причудилось мне, что это от кота мне... Озверел я на кота, повернул с дороги прямо домой, думаю, так его и разорву на части... Бегу, бегу, вижу уж и деревня наша показалась, и опять меня ударило в голову, образумился я... «Нет! думаю, грех мне кота бить! жиловой кот не сделает мне греха, из чего ему мне зла желать? Нету! Живи, друг любезный...» И пришел еле жив домой... Сидит на пороге кот, и старуха меня ждет... «Что, Савельич, купил мне калачика?..» Сел я на порог и замолчал. Поглядела она на меня и тоже замолчала. Поняла, старая! И промолчали мы с ней этак-то до вечера: она так сидит вот в уголке, молчит, а я у двери сижу, мыслей никаких не имею... Подошел вечер: «Что ж, говорю, Матвеевна, посвети мне!..» Зажгла она лучину, села около меня, а я опять за лапоть...

— А карандаш-то куда девал? — улыбаясь и, должно быть, что-нибудь зная про участь карандаша, спросил широкоплечий.

— А с карандашом, ничего, не очень плохо вышло!.. — с легкой улыбкой проговорил старик. — С каран-

дашом вышло по-хорошему! Думал, думал я — куда мне карандаш? что мне с ним делать? Подарить какому-нибудь мальчишке жалко, все деньги ведь, продать — не покупают... Со старухой посоветоваться — совестно, да и что она поймет? Вот я и вспомни, что когда идешь на исповедь к святому причастию, так дьякон в книжку записывает имена, и за это ему деньги дают. Думаю: «Не возьмет ли он с нас со старухой вместо денег-то карандаш?» Подумав, пошел к нему. «Так и так, говорю, когда о посту будут исповедовать, не возьмете ли вот эту штучку за труды, а то денег у нас со старухой не будет?» Ну дьякон усмехнулся, говорит: «хорошо!» Так вот с карандашом-то хошь надумал я по-хорошему.

— Стало быть, теперь карандаш-то у дьякона?

— Ну это еще погодит! А как он его испишет да забудет? Карандаш у меня сохраняется в целости.

— Ловко ты, брат, с карандашом надумал! — сказал широкоплечий. — А ты вот чему подивись: уж, кажется, ты стар, а и тебя потянуло на уловку! И тебе захотелось, старому, какой-нибудь ловкий оборот сделать... Вот наш грех-то в чем!

— А господь-то и наказал, — сказал старик, — всех до единого наказал!

— Да ведь как эта самая подлость нас проняла всех! Как бы ты думал (широкоплечий обратился к моему вознице), Иван-то Мироныч ведь, кажется, тебе известный человек?

— Что ж? Человек ничего!

— Пошел он шапку покупать, и спрашивают с него шесть гривен, а у него двугривенный денег-то... Поглядел он шапки, померил, хорошо бы, а денег-то нет... Ну, стало быть, и идти надо домой... А он, однако, не идет. Стоял, стоял, смотрел, смотрел — не может отойти от шапки! Народу столпивши было довольно... Вот он постоял, постоял, да шапку-то под полу, и пошел... И пошел прямо зря, в поле.. Идет да идет и сам не знает, что с ним делается... А бабенка какая-то увидала это дело и скажи хозяину: «Так и так!» Хозяин говорит: «Где он?» — «А вон идет!» Бросился хозяин, догнал его, остановил: «Давай шапку!» — «На!» — «Ты зачем украл?» — «Я так взял... там у тебя много!» — «Ну, — говорит хозяин, — судиться я с тобой не буду, а вот как поступлю». Взял

этот самый картуз, свернул его в трубку, да самой этой трубкой-то козырьком — и ну Ивана-то Миронова в морду тыкать: «Я судиться с тобой, говорит, не буду, а ты подержи передо мной твою морду, так я тебе сделаю на память!» И сделал ему всю морду подобно как кисель, всю в кровь... Изуродовал и говорит: «Ну теперь ступай и помни, а шапку получи на память!» Так что ж Иван-то Миронов? Жаловаться, что ли, пошел? И не подумал. А идет по улице с разбитым лицом, а как встретится с кем, так и скажет: «Никогда не бери даром шапок! Я взял да и закаялся... Не велено брать шапок даром... Не берите, ребята!» Точно ополоумел... «От роду, говорит, этого со мною не было... А тут и сам не знаю, как... Не берите, ребята, чужого!» И вся рожа разбита... Да и сейчас, пожалуй, не очувствовался; как вором стал — не может понять!

— Глухо у вас! все вам в диковинку! — сказал мой возница.

— То-то, друг любезный, и мы так думаем, что с непривычки это... Кажется, ведь имеем понятие... бог не обидел, а тут словно одурь какая тебя возьмет... И сам не знаешь: что такое?

Такое объяснение неожиданных бед, свалившихся на головы мирных обывателей Гололобова во время ярмарки, весьма ободрило и хозяина, который все время находился в неловком и напряженном положении...

— Истинно так, одурь! — сказал он, ободрившись...— Я как, значит, проигрался да пришел домой, так точно проснулся... Глянул на Машутку, на Анну — точно у меня камень с памяти-то свалился, вспомнил все и даже охолодел. Скука меня такая одолела, силов нет! Говорю Анне: «Что молчишь-то, хоть слово скажи, все мне легче будет!» — «Чего ж говорить, надо опять за пряжу садиться...» И стала собирать... Ну, мочи моей нет! «Анна, говорю: хошь самовар, Христа ради, достань где-нибудь, поставь, чаю напьемся, может что...» — «Нет, говорит, не до того мне! Поди сам проси, я опять за пряжу сяду». Истомило меня всего, точно вот колесом переехало... Не вытерпел, ушел по деревне. «Дайте, братцы, хоть сколько-нибудь денег». Хожу, кланяюсь из двора во двор — в ноги, кажется, готов пасть... Кое-как в трех местах насилу-насилу двадцать пять копеек

вымолил... Принес Анне: «На, говорю, купи крендельков, освободи мою душу!..» Ну и я ей благодарен! Уважила!

— Уважила? У тебя баба, брат, первый сорт!.. — сказал мой возница.

Эта похвала оживила и хозяйку.

— Так уважила! лучше не надо! Чисто с праздником сделала! И как искусно! Дал я ей двадцать пять копеек, думаю, хоть кренделей купит ребятишкам, все хоть что-нибудь... А она что же? На двадцать-то пять копеек эво сколько принесла! Гляжу, идет с ярманки, целая в руках охапка! «Всего, говорит, купила!»

— Это на четвертак-то? всего? — с изумлением воскликнула почти вся наша компания.

— Да! — весело сказала Анна. — На четвертак я купила всего, а он с рублям ничего не смыслит... Я-то вот каждую копеечку знаю — куда ее деть... Пошла, да рассудила, да раздумала хорошенько — ан и четвертак сколько мне службы-то сослужил!.. И мыла я взяла на две копейки, надо ребятишкам головенки помыть... И тесемок, и иголок...

— То есть, боже мой, сколько! — в восхищении говорил муж.

— И булавок взяла, и крендельков...

— Эво!

— И ковшик деревянный...

— Ишь!

— И синьки, и табаку ему же, дураку, взяла...

— То есть удивление!

— И горшочек купила... И поплавок в лампадку.

— Н-ну, ей-богу же, на редкость!..

— И зайчика Машутке, и всего еще много...

— Да будет, будет, будет! — почти кричал широкоплечий, — и так довольно!

— А кабы все-то деньги целы были, так и не то бы стало.

— И так она меня развеселила, то есть точно я из мертвых опять живым стал! Сам побег за самоваром, выпросил, заварил, и Машутка повеселела... и то есть... окончательно сказать, вполне она меня оправила!

— То-то ты с радости-то и убежал потом с Егоркой в кабак! — опять омрачаясь, сказала хозяйка.

— И, ей-богу, с радости! .. Чего? Ей-ей, рад! .. А то бы, кажется, совсем пропасть...

— Нет, брат, с твоей бабой не пропадешь! — решительным тоном проговорил широкоплечий, и все мы почувствовали, что пора уже кончать нашу беседу.

В ожидании утра и интересного зрелища «смотрин» надобно было как-нибудь скоротать ночь. Холодновато, неловко было лежать на жесткой лавке; воздух был тяжелый и душный, во сне плакали дети и громко храпели взрослые. Сон был не сон, а тяжелое забытье. Но и оно продолжалось недолго. На дворе стояла еще темная ночь, а Анна уже встала, налила чуть-чуть, с величайшей экономией, керосину, зажгла огонь в маленькой лампочке, и под ее босой ногой проворно застучала прялка, а в проворных руках запело веретено... Совершенно пробужденный, посмотрел я на ее лицо: в нем выражалась непреклонная воля и железная решимость опять, сызнова, «по ниточке» восстановить свои хозяйственные мечты и добиться их осуществления.

Я смотрел на Анну и думал: в былое время, если бы мне случайно пришлось в темную ночную пору миновать избу, где жила Анна, я, завидев тусклый, едва мерцающий огонек лампы, рад бы был тому, что огонек светит и что, стало быть, там живые люди, но не знал бы, какие печали и заботы этот огонек освещает. Теперь я уже знаю, что означает этот тусклый огонек, мерцающий в тусклом окне в темную осеннюю ночь, и не проеду мимо, не подумав о человеке, «по ниточке» созидающем свою независимость.

III

Впечатления следующего дня были много привлекательнее этих невеселых воспоминаний о ярмарке и горьких трудовых минут крестьянской «недостачи», тяжкого, неуспешного труда, о котором вчера шел такой долгий разговор. Все было хорошо и весело в утро следующего дня: и день был светлый, сухой, тихий и теплый, и деревенский житель, «по малости» принарядившийся

по-праздничному и поставленный праздником в необходимость отдыхать, не работать, глядел веселей и приветливей. Главное же удовольствие и для нас с возницей, и для всей вообще деревни заключалось в даровом зрелище «смотрин» женихом невесты, обещавших в недалеком будущем складный, прочный, счастливый брак, прочное, складное крестьянское хозяйство молодой, крепкой, сильной и веселой пары. Никто не завидовал этому во всех отношениях завидному браку, но все искренно были довольны тем, что на свете могут быть такие складные дела и такая, по всем видимостям, складная, без сучка и задоринки, жизнь.

Жених был из соседней деревни, молодой рослый парень, единственный сын у отца, женатого второй раз и не имевшего других детей; отец жениха, кроме крестьянства, имел случай лет пять находиться при какой-то частной работе, служил «надсмотрщиком» при каких-то казенных постройках, и денег у него «хоть сколько». Деньгами этими он распорядился по-крестьянски — завел хороший скот, хороший дом, и всего у него было много. Невеста принадлежала также к хорошему крестьянскому дому, во главе которого стояла еще древняя «бабушка», бесконтрольная власть, которой добровольно подчинялись два родных брата с семействами, сумевшие ужиться в одном доме, хотя и на двух разных половинах, разделенных большими широкими сенями с крыльцом на улицу. Благосостоянию братьев тоже помогли какие-то посторонние заработки, давшие возможность хорошо и прочно поставить хозяйство, за которое они и держались. В обеих семьях, как у жениха, так и у невесты, был одинаковый уровень благосостояния; никто ни над кем не первенствовал, не имел перевеса, ни с какой из сторон не видно было подчинения из-за нужды; невесту не сбывали с рук и не принимали как работницу, как молодую силу, на плечи которой ляжет тяжесть работы на стариков: она и ее жених, будущий муж, сходились прямо на новое самостоятельное прочное хозяйство, и деревенскому человеку, любителю хозяйственного достатка, было любо посмотреть на эту молодую пару.

Мы возвращались с возницей с прогулки за деревню вместе с несколькими стариками, молодыми женщинами и старухами, также возвращавшимися из ближнего села

от ранней обедни, когда нас обогнала новая телега, запряженная парой; в телеге сидели два крестьянина: молодой, рослый парень в новом картузе и новом ваточном казакине, расстегнутом на груди, и опрятно одетый, бодрый, с быстрыми глазами старичок; ленты, привязанные к дуге, свидетельствовали, что это именно и есть жених с отцом; а, за этой телегой, немного отставая от них, ехала другая — в ней сидели две старухи, и прохожие бабы не преминули объяснить нам, что это едет мачеха жениха и Палагея, сестра женихова отца, тетка жениха, старая девица. Поезд быстро проехал мимо, и это заставило нас елико возможно ускорить наши шаги.

Забежав на минуту к нашим хозяевам, чтобы узнать, где будут смотрины и как туда пройти, мы застали и наших хозяев, приготовляющихся также идти смотреть; даже Анна не вытерпела, приоделась, насколько это было возможно сделать при помощи трехкопеечных тесемочек, упросила побыть с ребятами какую-то старуху и торопила всех нас идти. Мы и пошли все вместе.

В доме невесты и около дома стояло уже множество народа — мужиков, баб, молодых ребят и девушек. Пробившись через толпу, наполнявшую сени, мы пробрались в большую горницу, также почти битком наполненную народом. Свободным оставалось место только у стола, накрытого белой скатертью.

— Поживее, поживее, девки! — говорил отец невесты, приодевшийся и причесавшийся мужик.

— Сейчас, сейчас приготовимся! — слышались девичьи голоса из-за перегородки. Там шел туалет.

— Нечего копаться! Поспешать надо!

— Сейчас, тятенька! — ответил звонкий девичий голос.

Тятенька, повидимому, не испытывал никакого волнения и, поторопив «девок», вышел на крыльцо, потом опять воротился, присел на лавку.

— Что, Михеич, — обратился он к кому-то в толпе. — Не видать их? Поди-ка, погляди с крыльца. Ждать-то неохота...

— А вот я погляжу...

Михеич сбегал на крыльцо, поглядел, сказал, что не видать, а что, надо быть, скоро будут.

— Ну? всё, что ли, там у вас? — опять сказал отец за перегородку.

— Всё! Сейчас!

— Иди, садись на свое место — того и гляди придут.

Из-за перегородки появилась невеста — среднего роста, с живыми, простодушными, добрыми, но немного робкими глазами. Она без всякой излишней скромности и конфуза, твердою, спокойною поступью сделала несколько шагов к лавке и спокойно села, прямо смотря на публику, которая ей была давно знакома. На ней была шерстяная красного цвета с какими-то зелеными цветами юбка, голубая кофта с стеклянными пуговицами и большой брошкой у горла; на волосах лежала широкая розовая лента, завязанная бантом сзади.

— Ты того, — сказал ей отец, не стесняясь публикой, — половчей ему покажись!..

Невеста встала, расправила свою юбку, поправила что-то на голове и села, спрашивая отца взглядом: «Так ли?»

— Ну, ладно! Ничего!

— Не ударь, Марфа Александровна, перед Кобылинскими в грязь лицом! — проговорил кто-то из зрителей.

— Очень я их боюсь! — покраснела и весело сказала невеста.

— Идут! — вдруг воскликнул какой-то мальчишка, вбежав сломя голову в горницу.

Толпа раздалась, дала дорогу отцу жениха, его женестарухе и, наконец, самому жениху. Как только раздалось слово «идут!», из-за перегородки вышли мать невесты, родственницы ее и множество девушек-подруг, которые помогали невесте наряжаться. Все вошедшие помолились на образа, и родители поздоровались.

— Ну? — сказал отец жениха сыну.— Чего ж, Серега?

Серега тряхнул волосами и сделал шаг по направлению к невесте, а она уже встала с лавки и поклонилась ему, пока он к ней подходил.

— Здравствуйте, Марфа Александровна! — сказал жених, протягивая ей руку.

— Здравствуйте, Сергей Иванович! — просто и ласково взглянув на жениха, так же просто и весело сказала она и даже руку жениха потрясла. — Садитеся!

— Садись, садись, господа гости! — говорил хозяин. — Уж вас не знаю как звать, — обратился он к мачехе жениха, — подвигайтесь к окошку-то, поближе!

Все уселись среди всеобщего молчания. Сел и жених. Для него была приготовлена небольшая скамейка, которую ему пододвинул отец невесты, сказав:

— Садись, Сергей Иваныч, поближе к невесте-то. Погляди!

Сергей Иванович сел на скамейку прямо против невесты и прямо глянул ей в глаза, что сделала и она; эта минута была в высшей степени любопытна: они взглянули друг на друга молча, среди всеобщего молчания, и эта минута пристального молчаливого взгляда быстро, мгновенно перешла у них в сильное волнение, также мгновенное; между женихом и невестой произошло что-то таинственное, мгновение какого-то бурного, но скрытого волнения; не спуская глаз друг с друга, они как-то вспыхнули, зарделись, даже, кажется, вспотели сразу; что-то в них бурлило, билось в груди, в висках и вдруг, перекипев, сразу успокоилось, улеглось, уравновесилось... Точно что-то постороннее, чуждое каждому из них, переливалось между ними, входило в каждого из них, и как вода, влитая в вино, не сразу смешивается с ним и принимает не похожий ни на воду, ни на вино цвет, — так и с ними было такое непонятное, незнакомое им смешение новых ощущений, которое, повторяю, продолжалось одно мгновение (все молчали как мертвые) и почти сразу прекратилось.

Жених и невеста точно проснулись. Она поправила опять платье и стала смотреть на мать, на отца, и жених также повернул голову к отцу.

— Как тебе, тятенька? — сказал он просто и громко.

— Уж гляди ты! Тебе жить-то!

— Маменька! — с такой же простотой и спокойствием обратился жених к мачехе. — На ваш взгляд как?..

— Смотри сам хорошенько!.. Для меня что ж? для меня всяко ладно!

Жених взглянул еще раз на невесту. Та была совершенно спокойна, смотрела на подруг и улыбалась им, не глядя на жениха, точно уж теперь самое трудное для нее кончилось, и она была совершенно покойна и уверена.

— Для меня хороша! Много доволен вами, Марфа Александровна!

Невеста поклонилась.

— В самый раз, Сергунька! В самый раз она тебе! — послышалось в толпе.

Зашушукала толпа, начались пересуды, но все было прилично и осторожно.

— Давай бог! — сказал отец невесты. — Однако, Сергей Иваныч, не торопись... Надо честь честью. Уж ты испробуй ее, как порядок требует, я не хочу как-нибудь...

— Маменька! — сказал Сергей. — Как вы? Укажите порядок, какой следовает...

Старуха подумала и сказала:

— А ну, Марфа Александровна, надо бы тебе прялку взять да работу показать.

Прялка оказалась уже совершенно снаряженной и стояла за перегородкой; девицы мгновенно притащили ее, поставили пред Марфой Александровной, и она сразу превратилась в ловкую работницу; ловко подобрав юбку и обнаружив новый крепкий ботинок, она так ловко помочила о губы пальцы, так искусно засучила нитку, застучала прялкой, что все залюбовались. Некоторая натянутость, обязательная в таком необычном собрании, совсем исчезла в ней; вся ее фигура, лицо, руки, все тело приняли непринужденную, но деловую манеру и посадку.

— Благодарим покорно, Марфа Александровна. Будет, довольно — видим! — сказал жених конфузливо.

— Не останешься без рубахи! Не беспокойся!.. — говорили в толпе и мужские и женские голоса.

— И напрядет, и соткет!..

— Нечему ее учить — видишь, все и так знает!..

— Благодарим, Марфа Александровна!

— Будя! Будя!.. Ладно! — весело улыбаясь, говорил отец жениха.

Марфа Александровна так же ловко, непринужденно оставила прялку, оправилась и села опять.

— Глядите, глядите, гости дорогие! — опять заговорил отец невесты. — Я не хочу, чтобы как-нибудь... Сергей Иваныч! досматривай во всех правилах!

— Маменька! — сказал Сергей уже робко, — попытайте Марфу-то Александровну, как что... следует?

Старуха помолчала, подумала и сказала:

— Уж я и забыла никак порядки-то!

Тут вступилась мать невесты, все время глубоко тронутая, ослабевшая и взволновавшаяся, и сказала:

— По нашему порядку надо попытать, не хрома ли, мол? Попытайте, гости дорогие, все опробуйте!

— Уж и не знаю... — нерешительно сказала старуха.

— Сама, сама опробуй! — сказал отец жениха.

— Ну, Марфуша, — кротко сказала мать, — пройдись, прогуляйся...

— Марфа Александровна! — послышалось в толпе зрителей. — Покажи им, какая ты хромая, — пропляши!

Марфа Александровна, при общем смехе и сама смеясь, чинно, мелкими шажками прошла взад и вперед мимо жениха...

— Ишь, форсит! — шепнула Анна, стоявшая около меня и все время пристально, не спуская глаз, следившая за каждым малейшим движением жениха и невесты. — Форсунья!

Действительно, это путешествие было самое смешное дело в течение всех смотрин, и Марфа Александровна не могла не быть неловкой в таком выдуманном опыте.

— Будет, будет! — сконфузившись, говорил жених. — Видим, Марфа Александровна.

— Будя! — говорил и отец жениха. — Довольно!

— Уж так водится! — сказала, развеселившись, мать невесты. — Ну, садись, Марфуша... видели... все слава богу!

Отец невесты все время не садился; он постоянно отирал пот с своего лба красным платком, стараясь без всякой утайки чего-либо показать свою дочь перед женихом, родными и публикой. Едва дочь его после прогулки по комнате села на лавку, как он опять начал:

— Ну, дорогие гости, тапереча никак по порядку следует и по сундукам поглядеть?

— Пожалуйте, гости дорогие! — ласково заговорила мать невесты. — Сергей Иванович, Иван Афанасич, матушка Марья Андреевна — пожалуйте в кладовую!

— Точно что белье надо поглядеть! — сказала мачеха жениха.

— Пожалуйте, пожалуйте! — говорила мать, зажигая свечку, которая до сих пор стояла приготовленная на окне. — Не солгу, скажу: есть что посмотреть!

Сергей и его отец не хотели было идти, но отец невесты и мать ее уговорили их идти непременно.

— Нет уж вы честь честью! Извольте уж, чтоб всё!

И мы потом ваше хозяйство и двор и всё так же осмотрим. Наше дите в обиду не дадим, и вы не давайте. Пожалуйте!

Покуда ходили смотреть белье, публика вела громкие разговоры:

— Жених больно хорош!

— И свекор-то, братцы, не стар...

— Ну и Марфа — золото!.. Уж тепло будет от нее настоящее!

— То-то свекор-то не стар! — сказал кто-то таинственно.

— Н-ну! ты! морда! — возразили некоторые из женщин. — Очумел? что говоришь-то?

— Ты, дурак, чего хаешь?

Этот разговор был прерван появлением из кладовой Сергея, его отца и отца невесты. Женщины еще остались там.

— Коли ежели, — говорил отец жениха, — все это она в самом деле привезет с собой, так и говорить нечего!

— У меня, — гордо сказал отец невесты, — чужого ничего нет! Ты этого в мыслях не держи нисколько.

— Тут нитки чужой не наношено! — всем хором подтвердила публика.

— Это оставьте и думать!

— А коли так, так и ладно!.. Теперича когда же наше-то добро поглядите?

Сергей говорил, что откладывать нечего; сегодня день велик, можно и сегодня *«смотреть двор»*. Старики стали думать и решили покончить об этом разговор после чаю. Дело шло ходко; тянуть не было никакого резона, и, пользуясь отсутствием женщин, старики завели такой разговор:

— Ну, Лександр Иваныч, — сказал отец жениха, — у нас такое правило, сам знаешь, насчет вывода есть... Сколько ты с нас за Марфу-то Александровну возьмешь?

— Да что с вас взять?.. Давайте двадцать пять целковых!

— Многонько, Лександр Иванович! Многонько... А нам-то что подаришь?

— Что положено, то с нашей стороны в точности будет. По рубашке со штанам, свекрови также рубашку и ситцевые рукава...

— Ну, уж и Палагее!

— Пущай и Палагее — юбку, что ль.

Отец жениха помолчал, подумал.

— Так! — сказал он. — А две красные ежели?..

— Нет, не так ты говоришь! А вот как лучше: приедем, оглядим место; я за свое дите не постою из-за пяти целковых... Ты уж думай, сваток, об нас по-хорошему.

— И это хорошо!..

— А пока что... Марфуша!

Он отворил дверь в сени и позвал дочь. Скоро все женщины вошли в комнату, подали самовар, и гости уселись вокруг стола...

Мы уходили в ту минуту, когда невеста, подав жениху стакан чаю, подала ему затем расшитое полотенце. Он держал себя пред ней уже робко и почтительно, а она была спокойна и словно выросла за эти полчаса времени.

Когда мы воротились на квартиру, чтобы дождаться времени, когда поедут «смотреть двор», и присоединиться к этой компании, Анна была уже дома (она ушла после того, как женщины пошли смотреть имущество) и, несмотря на праздник, сидела за прялкой. Близость чужого счастья и благополучия еще сильнее, чем собственное горе и нужда, напрягла ее нервы над лихорадочной работой.

9. ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ

(Продолжение предыдущего)

I

— Подумаешь, подумаешь, — какой еще жизни надо нам от бога просить, окроме крестьянской, ежели только бы мало-мальски благополучно утвердиться?

Вслух сделав этот вопрос, возница мой не дал на него никакого определенного ответа, а только глубоко вздохнул, хлестнул лошадей и опять замолчал. Мы оба молчали с ним и оба много думали молча, возвращаясь после «осмотра двора» домой. И было о чем подумать нам обоим. Он — бедный крестьянин-труженик, много видевший на своем веку, — с глубоким благоговением смотрел на благосостояние двора, в котором будут жить и хозяйствовать будущие молодые, здоровые и веселые муж и жена, и то, повидимому, вполне возможное удовлетворение всех самых широких желаний крестьянской мысли и потребностей, которое он видел в благосостоянии осмотренного нами крестьянского хозяйства, родило в его уме множество воспоминаний и дум, закончившихся многозначительным и глубоким вздохом человека, хорошо знавшего, в чем заключается крестьянское счастье, но не много видевшего этого счастья на своем веку.

Было о чем подумать и мне, не крестьянину. Осмотр двора, в котором будут со временем жить и хозяйствовать Сергей и Марфа, и на меня, человека постороннего крестьянским идеалам и желаниям, произвел впечатление не менее многосложное, чем на Михайлу. Хорошо, и всего в доме много; все есть: дом — полная чаша. Но, думалось мне, неужели же только на мысли или заботе о едином хлебе будет основан весь этот сложный обиход

жизни, и притом жизни до конца дней? Мы пересмотрели каждую малость до косы, грабель, сохи и косаря включительно; все это потрогали «собственными» своими руками; переглядели зубы у каждой лошади, щупали у коров в боках, в ребрах; щупали что-то в шерсти живой овцы, даже в ее живое мясо запускали пятерни до того, что овца начинала протестовать блеянием. Всем сонмищем гостей, отцов, матерей и посторонних зрителей и любителей с удовольствием вязли мы по колено в жирных и глубоких пластах накопившегося в скотнике навоза и по чистой совести говорили слово «благодать!», если приходилось увязнуть выше колен; но в конце концов меня, как непривычного человека, начинало утомлять обилие трудовых приспособлений, обилие мелочей, обставляющих этот вековечный непрерывный труд — труд для одежи, «обужи», чтобы, приобретя то и другое, приобрести в конце концов и кусок хлеба, а при его помощи опять же биться из-за одежи и из-за «обужи», и так жить до конца дней.

«Неужели же все это — о едином хлебе?» — не без страха перед ничтожностью суеты сует приходило мне в голову, по мере того как внимание мое все более и более утомлялось обилием хозяйственных мелочей. Я невольно припоминал свой собственный опыт деревенской жизни, притягивающий как отдохновение от суеты сует городской, и находил, что и деревенская суета сует не выработалась ни во что иное, кроме пустопорожнего недосуга.

Но едва мысль отрешалась от впечатлений, возбуждаемых обстановкою хозяйственного крестьянского двора, и прикасалась к тем впечатлениям, которые в городе побуждали меня иногда искать «отдохновения в деревне», как тотчас же воображение начинали осаждать такие воспоминания, от которых становилось несравненно страшнее, чем от утомляющих мелочей добывания крестьянского хлеба, крестьянской одежи и «обужи».

Между прочим совершенно неожиданно вспомнилась небольшая газетная заметка, которую я прочитал накануне во время дороги. В каком-то судебном учреждении, где были прокурор и адвокат, разбиралось дело о крестьянке (я забыл ее фамилию), обвинявшейся в небрежном отношении к своему ребенку. Дело заключалось в том,

что ребенок был оставлен без надзора матерью-поденщицей в углу, который она занимала. В отсутствие матери, ушедшей на поденщину, ребенок влез на окно и по неосторожности свалился со второго этажа на мостовую двора, расшибся и, кажется, умер. Не могу припомнить, умер ли он или нет, но о его увечье был составлен протокол и препровожден куда следует. Без виноватого и протокол не в протокол. Привлечена была мать, виновная в таком нерадении, последствием которого было увечье ребенка и даже, кажется, его смерть. Прокурор требовал подвергнуть ее двухнедельному тюремному заключению; защитник был снисходительнее и покорнейше просил ограничиться штрафом в три рубля. «Последнее слово» обвиняемой состояло в том, что она просто только показала суду свои мозолистые руки, объявила, что, работая поденно за 30 копеек, она не может заплатить суду трех рублей и что если ребенок ее и расшибся, то потому, что брать его с собою на работу нельзя, а нанимать ему няньку нет средств. Все это оказывалось столь простым и удобопонятным, что обвиняемая, кажется, была оставлена без наказания.

В деревне оставленный матерью ребенок может также вывалиться из окна и умереть от ушиба, он может даже всю деревню сжечь, оставшись один. Но никому в голову не придет представлять во имя справедливой кары какую-то комедию единственно из-за того, чтобы заработать на ней средства к жизни. Ребенок может убиться, умереть и пролежать мертвым целые сутки; наконец, его может съесть свинья, но виноват в этом будет только подлинно виноватый, то есть случай, благодаря которому ни матери, ни людей дома не было и некому было помочь, заметить пожар, прогнать свинью, помочь ребенку.

Тот кусок хлеба, который добывается деревенскою хозяйственной, тянущейся всю жизнь от колыбели до могилы, суетой сует, — мне кажется, ставит и душу человеческую в невозможность быть проданной из-за куска хлеба. И во мне рождается сомнение: точно ли в этой хозяйственной суете сует забота только о едином хлебе? Может быть, в этой неустанной суете сует вокруг своего дома и своей личности сказывается самая тонкая щепетильность человеческого достоинства, не желающего подвергнуть малейшему насилию свою неизломанную душу?

Вот какие думы волновали меня на возвратном пути с «осмотра двора», и я был душевно рад, когда мои колеблющиеся мысли были сразу прекращены неожиданным возгласом Михайлы, также крепко думавшего обо всем виденном и слышанном нами. Думал он по-своему, по-крестьянски; до поразительности ясно видел перед собою красоту и «благодать» хорошего, прочного крестьянского хозяйства, и в тоне его голоса, которым он нежданно-негаданно произнес слова о том, что ежели бы бог дал хорошо устроиться по-хозяйски, так человеку и желать больше нечего, слышалась такая незыблемая вера в каждое слово, что я с радостью прекратил мои тревожные думы. Я просто оборвал их и был рад слышать уверенную, твердую, ни в одном слове не выдуманную человеческую речь...

— А все-таки, — сказал я, чтобы вызвать Михайлу на разговор и прекратить свои собственные размышления, — все-таки и вам без денег в хозяйстве не обойтись!

— Да ведь как же обойдешься-то! — неохотно проговорил он и замолчал.

II

Ехали мы с Михайлой медленно; времени у нас было много; оба мы знали, что до отъезда на железную дорогу вдоволь еще успеем насидеться и дома и на вокзале; впечатления виденного навели нас на трудные и многосложные размышления, и мы оба, хорошо это понимая, свободно предавались молчанию, зная, что не стесняем этим друг друга. Лошади шли тихонько по грязноватой лесной дороге, которая размякла под вечер от какой-то густой сырости, распространившейся по земле под вечер. В вечернем сумраке, окруженные густым сырым воздухом, недвижно, не шевеля ни одной веткой, медленно проходили мимо нашей телеги голые деревья; ни звука, ни птички, тишина и молчание.

И долго молчали мы после последнего замечания о деньгах; вопрос мой о них, очевидно, попал в течение мыслей Михайлы и осложнил их новыми соображениями. Долго не говорил он ничего, и долго я видел перед собою только его широкую спину и широчайший воротник его

армяка, поднятый выше затылка. Думал он о чем-то, тихо понукал лошадей, шевелил кнутом и молчал.

— Деньги! — наконец нерешительным голосом произнес он, слегка повернувшись в мою сторону. — Деньги, оно, конечно, что говорить... А уж как они нашему брату, мужику, трудны — так это не дай господи!..

Подумал он, помолчал и проговорил:

— И опять сказать — складу у нас округ денег нет настоящего.

И опять Михайло подумал и опять сказал:

— Вон один мужик как-то у нас оставил сыну пятьсот рублей денег, а сын-то, чем бы как добром их обернуть, только и выдумал вместе с матерью ломаться над женой да над жениной родней, потому бедные крестьяне. Мудрят оба над нищими — только и проку вышло от денег... А без денег, может, и просто бы вместе с женой в упряжке шел, тихо, смирно... Как тут разобрать?.. — Михайло снова замолк, что-то соображая. — Или так сказать: приходят деньги по препорции, — продолжал он, — и тогда хорошо бывает. Вот хоть бы взять Петькина отца.[1] Уж, кажется, всю семью прямо на голодную смерть вел. Во всем расстройство — ни хлеба, ни одежи... Что сработает на рубль, на полтора по плотницкой части, то и пропьет с горя... А как попал махонькой Петюшка на фабрику спички делать и стал каждую субботу аккуратно деньги приносить — гляди-кось, теперь вся семья и стала на ноги! Право слово! И мать Петькина хоть на человека похожа стала. Прежде, бывало, идет — грудь голая, на плечах мужнин армяк лохмотьями по голым ногам бьет, а теперь, ей-богу, на человека похожа! Да и сам-то хоть немного от пьянства отчихался, все по дому стал больше хлопотать... А все на Петьке держится. Родители-то его почитают: «Кормилец наш, говорят, ты наш хозяин, Петенька золотой!.. Не погуби нас!..» Вот Петька-то и раздирается; прежде коробки клеил, а теперь уж и в самое пекло влез... Слаб мальчонка, «рвота, говорит, иной раз от спичкинова составу-то донимает», а все прет, серденок... Ну а как Петька-то помрет, задохнется от составу-то? Легко ли дело этакому мальчишке на своей

---

[1] См. рассказ «Петькина карьера».

шее эку ораву выволочь? А в крестьянстве-то, ежели то есть господь даст все благополучно, — ан там-то дело-то потверже будет, и спичек своих можно будет сделать!..

Михайло стегнул лошадей и сел ко мне совсем полуоборотом.

— Или, примером, взять тож с этими спичками другой оборот. Есть тут у нас мужичок Спиридонов с женой и с пятью детьми... И жил он до этих самых спичек вполне по-крестьянски, форменно... А с пятью-то детям сам, чай, знаешь, легкое ли дело хлеб-то добывать? Ребятишки не велики, помоги от них не видать — оно и захрустит в хребте-то. Ну, однакож, жили хоть и трудно и бедненько, а по-хорошему, на порядочном положении... Вот и пробираются в наши места эти самые спички. Стали собирать ребят, стали лакомить деньгами. Шутем-шутем, то Петюшка гривенник притащит, то Марфутка пятак волочит; то коробки какие-то, то лучинки — так, на мужицкий глаз, плевое дело. А между прочим — деньги-то дают! Вот и стали родители во вкус входить... Понемножку да полегоньку — и Спиридонов-то всех своих пятерых представил на фабрику... Да как стали они пятеро-то ему кажную неделю по полтора целковых приносить каждый, так они оба с женой-то и раскисли... Расслабели, развезло их от полного удовольствия! «Пойдем, Авдотья, в трактир, попьем, погуляем с тобой! Господь нам радость послал! Думали, как бы с ребятами по миру не пойти, ан вон какой оборот вышел! Ровно помещики мы с тобой, Дунька, оказались! Теперь рожай сколь хошь! Не робей! Окончательно проживем на белом свете по-хорошему... Пей, Дунька, ничего, слава богу, господь нас не оставляет!» Ну а как господь-то оставит? Как привыкнет Спиридонов-то не беспокоиться? А как ребята от хозяйства отвыкнут? Тогда что?

Михайло замолчал, вопросительно глядя на меня.

— Вот деньги-то! — сказал он, тряхнув головой. — Нескладно у нас что-то с ними в крестьянстве!.. Уж нет того хуже, как мужику да без крестьянства деньги на хлеб добывать! Не приведи царица небесная!..

Михайло с глубоким отчаяньем махнул рукой.

— Страшно, страшно, братец ты мой, идти по свету копейку на хлеб добывать!.. — продолжал он с дрожанием в голосе. — Вот он, свет-то белый, на все четыре

стороны, конца краю ему нет! Иди! Отыщи в нем гривенник!.. Нет! Не дай бог лихому лиходею отведать этого!..

Я не понимал того чрезвычайного волнения, которое чувствовалось в голосе Михайлы, когда он говорил последние слова, и молчал.

— Мне вот, ежели сосчитать, — продолжал Михайло нервным и дрожащим голосом, — почитай уж за сорок перевалило... Работаю я по дому один с бабой, ребятенки маленькие, иной раз и хребет не покоряется — ни согнуть, ни разогнуть... И дожили мы своими трудами, сам ты знаешь, до мышиной норы. Не то дом, а избой назвать нельзя нашего жилья... Не больше как на курьих лапках, на веретенных пятках избушка, как в сказках сказывается, а и то она мне земной рай! И за то я и денно и нощно бога благодарю, что удостоил он меня к тихому пристанищу пристать!.. И с голоду будем сидеть, кору с высевками мешать, и то я своей норы не оставлю!

— А если хорошее место попадется? — сказал я, желая случайным и незначащим вопросом немного поуспокоить взволнованного Михайлу.

— Золотом осыпь — и то не пойду из своего угла, не покину своей землишки! Ты спроси-ко у меня, как я жизнь-то свою перестрадал без крестьянства-то! Спросикось ты меня, как я гривенник-то на хлеб на соль по белу свету разыскивал! — так вот тебе и станет явственно видно: тебе оказывает — избушка на курьих лапках, на веретенных пятках близ тракту стоит, где извозчик Михайло с семьей бьется; а мне оказывает — рай пресветлый, а не на курьих ножках! Вот как я нору-то мою по моим мучениям понимаю!..

Михайло, вдруг сняв с головы шапку, перекрестился широким крестом и произнес торжественно:

— Благодарю моего господа! Приютил меня на святой своей земле!.. Доволен, ничего больше не желаю!..

Громко и долго благодарил Михайло бога за его милости. Наконец, немного успокоившись и надев шапку, он оборотился ко мне и еще раз проговорил:

— Ты меня спроси, что я терпел! так и будет тебе известно, что такое за жизнь крестьянина да без крестьянства!..

Предложение Михайлы было для меня как нельзя более приятно: времени, повторяю, у нас с ним было вдоволь, притом времени совершенно свободного, такого, какое именно и хорошо для простого, душевного разговора вообще о жизни... Но не успел я открыть рта, чтобы с радостью, которую пробудило во мне предложение Михайлы, сказать ему: «пожалуйста, рассказывай!», как что-то горькое шевельнулось у меня в сердце и на мгновение заставило замолчать.

Горько мне стало от воспоминания о том, что ведь я давно знаю Михайлу. Лет пять я уже вообще знаком с ним, а года два имею постоянные сношения с ним каждый раз, как приезжаю в деревню. И вот оказывается, что в эти пять лет мне ни разу не пришло в голову узнать жизнь этого человека, который сотни раз привозил меня домой, увозил из дому, хлопотал о моих поручениях, советовал и объяснял, «как лучше» сделать то или другое деревенское дело... Через пять лет знакомства сам Михайло говорил мне: «кабы ты знал мою жизнь!», а я в пять лет изучил только манеру Михайлы ездить, изучил цвет и качество его армяка, в котором он сидел ко мне спиной, помнил его шапку, бороду, глаза, улыбку, знал такие нравственные качества, как честность, аккуратность, знал, что он живет в избушке на курьих ножках, а какова жизнь этого уже пожилого человека, как он прожил ее, что его держало на свете — спросить не догадался!

А все наш недосуг, «то то, то другое», все та «своя часть», которая теперь исключительно наполняет все существование россиянина, довольствующегося и обремененного микроскопическими заботами собственной кутузки. Постепенно, медленно, но систематически шло у нас на Руси это дело разъединения людей в общих вопросах жизни, и не вдруг воспиталось уменье наполнять жизнь целого дня пустопорожней суетой личного недосуга; но в конце концов невнимание к жизни ближнего воспиталось-таки в нас в весьма достаточной степени.

Вот мне и стало горько и обидно за себя, что я мог быть пять лет невнимательным к человеку, почти постоянно бывшему на моих глазах. И теперь, в дороге, в полном досуге, когда никаких личных беспокойств и мелочей

не предстояло разрешать и обдумывать, мне показалось просто непостижимым, каким образом могло случиться, что я так мало интересовался таким любопытным в однообразии деревенской жизни человеком, как Михайло? С толпой народа, с толпой народной массы можно было быть разъединенным: эта разъединенность прямо воспитывалась в нас, и всякое сближение с массой вообще ниоткуда не получало ни капли поощрения. Тут можно было сначала привыкнуть к осторожности, а потом уже стать совершенно равнодушным и довольствоваться своей частью. Но Михайло вовсе не подходил к «толпе» — он был «сам по себе», он сам на моих глазах только вступал в народную массу, только становился мужиком и вообще не подходил ни под какие инструкции. И однакож, благодаря медленной, постепенной практике в отчуждении от людских интересов, вышло так, что я ровно пять лет мог самым небрежнейшим образом относиться к крайне любопытному человеку, и нужна была такая случайность, как целые часы полнейшего досуга, которого некуда было девать, и, кроме того, нужно было нежданное-негаданное предложение самого Михайлы — узнать его жизнь, чтобы я вспомнил о том далеком времени, когда Михайло на минуту заинтересовал меня...

III

Это было пять лет тому назад, в самое благословенное время деревенской весны. Для художника этот момент весны не дает никаких ярких и радующих красок: рыжая мертвая трава, кое-где еще придавленная почерневшими, отверделыми пластами снега; голые и притом кажущиеся как бы голодными и холодными деревья, истощенная, вялая, пролежавшая себе бока до голого тела скотина, вся запачканная, неряшливая, и такие же смятые, скомканные, побледневшие, отощавшие за зиму люди — все это не возбуждает художественного волнения; но на все это нищенство природы, людей и животных ярким полымем палит развеселое солнце, а среди холодной и голодной растительности берегов разыгралась река, с каждой минутой поднимающая все выше и выше свои воды, всегда в эту пору года отливающая самым нежным

лазуревым цветом. Начинается воскресенье из мертвых, мертвец начинает теплеть, и счастье жить на белом свете ощущается всем живым и веет от всего неживого...

В такую пору, когда от разливов и от таяния снега по полям и дорогам крестьянину нет возможности ни выехать, ни пройти из дому, хоть бы за сеном, за дровами или на базар, чтобы что-нибудь купить или продать, весь деревенский народ некоторое время находится в полном бездействии, отогреваясь на солнце, любуясь начинающимся воскресением природы из мертвых. Тепло на дворе, хорошо, хоть и голодно и холодно в избе. Хорошо так-то постоять середь улицы, просто постоять, поглядеть на небо, спину погреть на солнце, плечами от удовольствия пошевелить.. Дрема какая-то стоит над деревней, дрема приятная: даже скотина, ободранная и пролежавшая себе бока, стоит в пустом поле и не пытается опустить к земле голову, чтобы рвануть клок рыжей травы... Она только дремлет, подставляя голый бок теплому солнцу...

От нечего делать в это время любимое занятие деревенского старого и малого — ходить на речку смотреть, как ее поднимает. Наша речонка, летом почти совершенно пересыхающая, весной совершенно преобразуется. Речонка эта идет из глухих лесных мест самыми прихотливыми извилинами, круто поворачивая почти на каждых ста саженях. Весной она так высоко поднимается в берегах, что делается удобной для сплава леса и дров, заготовленных за зиму в лесной глуши у ее истоков. Вот на эту-то гонку леса и ходят смотреть деревенские жители. Впрочем, нельзя сказать, чтобы одно только зрелище гонки привлекало деревенских зрителей: иной раз, и очень часто, какое-нибудь бревно, зацепившись за какой-нибудь камень, которыми усеяно все дно речки, остановится, загородит дорогу бревнам, которые за ним следуют, и остановит всю гонку. Бревна или дрова огромной сплошной массой застелют тогда всю поверхность воды; иногда надвинутся и налягут друг на друга в несколько рядов и лежат так до тех пор, пока не прибегут рабочие лесоторговца, занимающегося сплавом, и не разобьют запруды. Но так как рабочие иногда не появляются по дню и больше, то нижние слои бревен и дров, пролежав долгое время в воде, намокают и ложатся на дно. Так вот эти-то мокрые дрова и бревна, не меньше чем

удовольствие чувствовать начинающееся воскресение, привлекают деревенских зрителей на берег реки... Пройдет гонка — и мокрые бревна и дрова вылавливаются со дна реки, сушатся и идут в дело. Бог послал!

Пять лет тому назад, так же как всегда, объятая дремой ничего неделания и удовольствием чувствовать воскресение из мертвых, деревня, старая и малая, рассеялась на берегу речки и глазела на гонку леса. Был тут и я. Бежали сплошными массами дрова, бежали опрометью, сломя голову. За дровами после некоторого перерыва понеслись бревна, большею частью поодиночке, одно за одним или уж много по два, по три... Налюбовавшись этим зрелищем, иные хотели уходить, когда после одного перерыва между одной гонкой и другой вдруг на изгибе речки показалось что-то небывалое.

Прежде всего ясно очертилась белая полоса, во всю ширь реки, означавшая приближение дровяной гонки, а за нею показались, очевидно в самой средине этой сплошной площади дров, какие-то вздымающиеся вверх шесты, очертились какие-то человеческие фигуры, затем послышались голоса, и не успели мы сообразить, в чем дело, как мимо нас пронеслось нечто никогда не виданное. Сначала стремительно прогремели, стуча друг о друга, сплошные массы дров, затем среди этой же массы, вертясь от быстрого и бурливого течения речки, расталкивая и толкаясь о дрова, о берега, кружась, не проплыл, а мелькнул мимо нас плот с двумя человеческими фигурами. Одна из фигур показалась нам бабой с ребенком; она сидела скорчившись около чего-то, похожего на узел. Мужчина, бывший на плоту, очевидно, старался из всех сил, поворачивал направо, налево, пихая шестом в берег, в воду, и, повернувшись на повороте, исчез вместе с плотом, с бабой и со своим шестом. Вслед за ними мчались опять дрова, точно догоняя, и опять среди них пронесся другой плот с другим мужиком, который, также вертясь вместе с плотом и шестом и имея вообще какой-то исступленный вид, мгновенно пронесся мимо и как бы опрокинулся за поворотом речки. Все это было делом нескольких минут, но впечатление появления каких-то необычных путешественников было так сильно, что все, кто только ни был в это время на берегу, не говоря друг другу ни слова, все, как один человек, бросились бежать по напра-

влению к мосту; мост был близко, а река делала много извилин, прежде чем доходила до моста. Следовательно, путешественники должны промчаться под мостом гораздо позже того, чем заинтересованные зрители добегут до него. И зрители, от которых не отставал и я, точно поспели к месту предстоящего зрелища гораздо раньше прибытия путешественников.

Когда мы впопыхах прибежали к мосту, там уже находилась группа людей, мужиков и баб, которые стояли на мосту и смотрели именно в ту сторону, в которую следовало смотреть и нам. Увидав, что из соседней деревни бежал народ (мост соединяет разные деревни), какая-то женщина из группы, стоявшей на мосту, подошла к нам и спросила:

— Вы чего бежите-то? Ай что случилось?

— Каких-то мужиков на плотах мимо нас пронесло... Так и вертит вертком!

— Ай уж прибежали? — весело спросила баба. — Иван! — крикнула она мужику, стоявшему на берегу у моста с лошадью... — Пробежал Михайло-то!

— О?

— Сейчас его донесет! Шест-то припаси... Схватиться!

— Веревкой складней зацепить!

— Это кто ж плывет-то? — спросили в толпе.

— Да тут один мужичок... Жить хочет у нас.

— Не здешний, что ли?

— Нет, он здешний, только подолгу дома не бывал, а теперь вот на свою землю сесть хочет...

— А-а! Так чего он плыл-то?

— А это он дом перевозит; домишко купил на снос, так вот по воде и помчал. А бабу не видали там?

— И баба есть, с ребенком.

— Ну, они!.. Ну, дай бог! — радостно говорила баба. — Намаялся, намаялся сердечный! Дай бог здоровья Емельяновым — добрые люди. Слова не сказали — двадцать пять рублей дали в долг: вот он и купил хатку-то! баню никак, да все угол!

— Это какие же Емельяновы? — спросил кто-то, интересуясь добротой, выраженной двадцатью пятью рублями.

— Да такие вот, хорошие, не нашенские... Муж да баба, а детей у нее нет... Вот она, добрая-предобрая,

и подбивает мужа добро делать. Приди, расскажи — завсегда поможет! Вот на них-то Михайло и напал, а то бы сердяге так и пропадать с бабой...

— Так и дала без всего, без залогу?

— Так и дала.. Идет Михайло, шатается, не пил, не ел, а она навстречу... «Что да что?» Тот и рассказал, ну, она говорит: «Пойдем к мужу!» Привела, позвала мужа: «Вот что, Егорушка, оправь человека!..» Только и всего. Так муж-то любит ее больно; горе — детей-то нет, а от отца им большой достаток остался... Ну муж-то уж и не ослушается. Вынул ассигнацию — «поправляйся!» Вот Михайлу-то как бог опас... Ты думаешь, нет добрых людей?

— Эво! Эво! — загалдели в толпе зрителей. — Эво как ворочает! Плывут! Ребята, бери на берег! Разобьется об мост...

Действительно, пловцы с шестами в руках, вертясь на своих плотах, стремительно вынеслись из-за поворота речки и неслись к мосту. Народ бросился с моста на берег, зашумел и загалдел. Пошел какой-то обоюдный крик с плотов на берег и с берега на плоты. Поднимались и бросались шесты, веревки, и, наконец, путешественники были пойманы у самого каменного быка, подпиравшего конец моста, и выбрались на берег. Они были изнурены до чрезвычайности... Баба едва сделала два шага, как ноги у нее подкосились и она села с ребенком на сырую землю. Мужик с первого плота прямо повалился на землю, едва ступив на берег, и тяжело дышал, шепча: «Погоди, братцы, закружило!» Еле-еле, как пьяный, держался на ногах и другой мужик с другого плота, каждую минуту готовый свалиться навзничь. Но он удержался, имел силу снять шапку, поклониться народу и сказать:

— Дай вам бог!.. Н-ну, здрав-ствуйте!..

— Здравствуй, здравствуй, Михайло!.. — весело говорила та женщина, что первая встретила нас на мосту. [1] — Где узел-то? Сундук-то есть ли?

— Не-ету... с-сундука!..

— Ну, пущай! Пойдем! Пойдемте чай пить!..С приездом. Дай бог счастливо! Помоги вам царица небесная!

---

[1] Об этой женщине будет рассказано особо.

Вот при каких обстоятельствах появился Михайло опять на родине после продолжительных многолетних скитаний. В этот весенний день я увидел его в первый раз, а затем потянулись дни и годы, в течение которых много раз приходилось вспоминать его, видеть, а потом и дела делать, но не приходилось интересоваться его жизнью.

Помню, что после первого появления Михайлы в наших местах, спустя много времени, увидел я, что кто-то строится при дороге в пустом, незастроенном месте. Лежат четыре черных бревна, означающих начало постройки, а сбоку их целая куча других бревен.

— Кто это строится? — говорю от нечего делать извозчику.

— Да тут наш один... Приплыл-то!

— А!..

И еще полгода проходит, и опять еду мимо михайловской постройки, и опять от нечего делать спрашиваю:

— Что же это он все никак не выстроится? всего только стены кой-как сложил?

— Да недостача все... Они ведь только с бабой двое бьются-то.

— Как с бабой?

— Да так. Оба возьмут дерево и волокут... Нешто легко... Нанять-то не на что... Ну и баба тоже у него — не отстает!.. Бьются крепко!..

— Крепко бьются?

— Страсть!

А через год опять пришлось спросить:

— А-а! И огонек уж светится?

— Как же! Уж живут.

— Давно ли?

— Да уж с месяц никак живут!.. Ишь, уделали! Сам с бабой крышу крыл! Лазиют оба по крыше-то!

— И баба лазит?

— Та уж не отстанет. Ишь, какой уделали упокой!

— Да, ничего!

— Чего ж!.. Ишь, и дерево посадил под окном. Красивей!

Поглядел я и на дерево. Затем проехал мимо и позабыл.

Но однажды Михайло сам очень близко подошел ко мне и положил основание более близкому знакомству: во вьюжную зимнюю ночь, когда на станции не было ни единого извозчика, ко мне подошел Михайло, обвязанный весь какими-то тряпками, и робко предложил довезти. Крайняя робость в голосе, которым он делал предложение (тогда как другие извозчики набрасываются с громкими криками на седоков), объяснилась очень скоро. Лошадь Михайлы оказалась столь бессильной и микроскопической, что едва протащила нас сажень сто и стала. Михайло, который был ростом вдвое более своей лошади, слез первый и еще сто сажень вез меня вместе с лошадью, схватившись за оглоблю, но под конец оба они остановились, и Михайло тем же робким голосом сказал:

— Уж извините, сделайте одолжение! Нейдет! Вещи предоставлю... а уж извините... пешечком приходится!

И так мы на этот раз пришли домой пешком. И с этих пор Михайло всякий раз появлялся на станционной платформе именно в такие минуты, когда ямщиков нет: буря, рабочая пора, проливной дождь. Предложение подвезти он всегда делал самым робким голосом и с самым робким выражением лица, так как он наверно знал, что подвезти — значит, идти пешком. И так продолжалось довольно долго, но не знаю, возмужала ли его лошаденка, или он выменял другую, только настали времена, когда с Михайлом можно было уже достигать и до самого дому, не вылезая на дороге, а затем мало-помалу переменилась и телега, и лошадь, и Михайло стал не хуже других постоянных извозчиков станции.

И вот никак не менее двух лет я знаю Михайлу довольно близко, как близко сидящего ко мне ямщика; знаю его шапку, армяк и бороду, а жизни его не знаю, и он сам советует мне узнать его жизнь. Но, слава богу, дело было на досуге, ничто мне не мешало, и я был рад, что с удовольствием и совершенно искренно мог сказать ему:

— Пожалуйста, Михайло, расскажи!

И Михайло охотно стал рассказывать.

Рассказывал он и в дороге, и дома, где мы от нечего делать пили чай, и на вокзале, где тот же чай сокращал часы ожидания поезда. Пересказывать всего мною слы-

шанного я не буду: обилие частностей и случайностей может бесплодно утомить читателя. Достаточно пересказать только то, что может дать понятие о большом горе людей, живущих в маленьких избушках.

IV

— Вот в этой самой руке, — между прочим, рассказывал Михайло, — когда еще и мне и руке-то моей только что десятый год шел, держал я, братец ты мой, ножик кухольный, и к горлу моему этот ножик подносил, жизни хотел лишиться — да господь меня спас!.. Вот какая была моя жизнь сызмальства! ..

Отец Михайлы хоть и считался крестьянином, но с ранних лет совершенно отделился от крестьянской среды. Рано оставшись сиротой, он лет до десяти кое-как нищенствовал в деревне, а с десяти лет попал в кабак и с тех пор не покидал его до конца дней, то есть прошел всю кабацкую службу при акцизном управлении, изучил все тонкости кабацкого плутовства, приучился пить и гулять и с этой привычкой окончил жизнь. Вся жизнь этого человека была как бы пропитана запахом водки и состояла из бесчисленного количества поступков, исходною точкою которых исключительно были особенные свойства этого напитка. Гульба, распутство, плутовство, нищенство, воровство, острог, буйство дома, опять кабацкое дело, опять пьянство и нищенство и т. д. Женился отец Михайлы на его матери «из одного форцу». Гуляя, он франтил и форсил на вечеринке и стал заигрывать с одной красивой девушкой. Но эта девушка грубо оттолкнула его, сбила с него спесь и вообще очень сконфузила кабацкого франта. Кабацкий франт обиделся и тут же объявил, что не умрет, не женившись на этой обидчице. Всевозможными способами и главным образом при помощи той же кабацкой водки стал он добиваться своей цели — и бедная глупая родня пропила-таки ему сердитую девушку... Выкинув это колено, кабацкий франт пожил с женою неделю и ушел опять к старой любовнице, откуда он присылал за водкой и за деньгами. Жена, заменявшая его в казенном кабаке, где он служил, с этого времени должна была сама изучать все кабац-

кие тайны, подмеси, подделки, обмер, подделку печатей, воровство и утайку денег и т. д. Так и пошло дело. Отец Михайлы исчезал из дому сначала месяцами, а потом и годами. Жена стала настоящей кабатчицей. А он то также где-нибудь торчал в кабаке (плутовавшее акцизное начальство дорожило такими плутами), то, когда выгоняли за явное мошенничество, брал какую-нибудь другую должность: десятника на новой строившейся железной дороге, потом поступал и в сторожа, когда дорога была готова, и всегда сходился с женщинами, которых или обирал, или, напротив, которыми сам был обираем. Дома он появлялся только тогда, когда ему буквально было нечего есть; являясь, не глядел на детей, пил, брал, что можно было взять, с женой почти не говорил и, обобрав, уходил опять надолго до нового набега и ограбления... Но вот что странно и непостижимо и что Михайло рассказал с большим огорчением—это то, что сама мать Михайлы, вместо того чтобы оставить беспутного мужа навсегда, впадала о нем иногда в ужасную тоску... Год и два она не помнила, не интересовалась даже и знать, где он; но приходила, наконец, такая минута, когда она начинала плакать о нем, жалеть, представляла, что он пропал, погиб, утонул, и, оставив детей на квартире у какой-нибудь старухи, отправлялась разыскивать мужа, истрачивая все, что накапливала она при помощи кабацкой науки. Разыскав его, она жила с ним неделю, много две, и потом опять возвращалась сердитая, ненавидящая своего пьяницу; опять принималась хлопотать в губернии о кабацком месте, ходила пешком по сотням верст, путалась в долги и, получив где-нибудь кабак, переселялась туда с семьей. А семья, несмотря на такие краткие, неприветливые, грубые свидания мужа и жены, росла, и когда Михайле было десять лет, у него уже были две сестры маленькие.

Вот на десятом-то году, после того как семья Михайлы не видала своего отца около полутора лет и когда она начинала уже радоваться, что он не вернется совсем, неведомо откуда неожиданно появился отец Михайлы и, не говоря никому ни слова, продал лачужку, которую купила мать Михайлы на свои деньги. Деньги эти он пропил и приступил к распродаже остального имущества. Без всякой церемонии он привел мужика и стал ему продавать платье и вообще все, что можно. Жену, обороняв-

шую свое добро, бил без разговоров. В это время Михайло ожесточился на отца и вступился за мать. Хотел было отец продать самовар, но Михайло не дал сделать этого. Он был мал и слаб и не его было дело вступать с отцом в рукопашную, но он мог кричать, он выскочил на улицу, закричал во всю силу своего ребяческого голоса: «разбой!» Созвал народ, причем, конечно, женщин прибежало множество, и при помощи «добрых людей» не только отбил самовар, но и мать защитил от бушевавшего отца, которого народ решил вести в холодную. Все это сильно подействовало на пьяницу. В холодную идти он «не дался», а взял шапку и ушел, сказав:

— Когда так... ну так я вам докажу!

И исчез.

Но не прошло нескольких дней, как в избу Михайловой матери вошел староста и спросил у нее: знает ли она, где ее муж? Та, как и всегда, не знала. Тогда староста сказал: «Он продался в Соснинке в солдаты!..» Это известие почему-то ужасно поразило мать Михайлы. Не помня себя, забыв всех детей, она поспешно оделась и ушла...

Она ушла прямо в Соснинку к тому богатому мужику, который купил Михайлина отца. Ушла и пропала, а ребята остались одни, голодные и холодные... Мать Михайлы пропала потому, что семья, купившая ее мужа, богатая мужицкая семья, разжившаяся около крестьянских денег (глава семьи был старшина), боялась, чтобы она, из корыстных видов и желания часть покупных денег удержать за собой, не стала бы мешать делу у сельских властей. Сельские власти должны были дать приговор на то, что отец Михайлы может идти охотой в солдаты. Чтобы мать Михайлы не выторговала чего-нибудь и на свою долю, ее просто-напросто заперли в доме богатого мужика и никуда не пускали. Без нее, при помощи водки, были получены все приговоры, составлен продажный договор, по которому отец Михайлы продался за 400 рублей с рассрочкой на десять лет. В губернии, где поверялись эти сделки, в видах обеспечения семейства Михайлы, было сделано изменение в пользу его семьи. Михайлу обязалась взять к себе в дом до возраста купившая охотника семья, и она же обязалась платить по десяти рублей в год Михайловой матери.

— И не помню даже, каким родом я в чужой семье очутился и как меня от матери отняли... Помню, как мать приплелась еле живая после проводов отца, как потом приехала старостиха и серебряный рубль матери моей в руки совала, а больше-то ничего и не упомню... Расслабели мы, наплакались, наголодались, пока мать-то уходила, да и маменька еле жива была, вся растерявшись и ослабевши... Плакали много! И потом опомнился я в старшиновом доме... Семья огромнейшая — и точно волчья стая... Ни один человек на меня ласково не взглянул — лишний рот прибавился в доме; на охотника, на моего отца, пропоили много денег, задолжали везде и на меня смотрели злобно... А я как оробел с первого шагу, так и дальше пошло: с каждой минутой все мне страшней да страшней у них... Забьюсь на печку, сижу иной раз целые дни, не пью, не ем... Где маменька? Зачем я здесь? Спросить, слово сказать боюсь. И стала меня с этого времени грызть тоска. Вижу я, что не жилец я на белом свете: отец «продался», мать в нищете, дом продан, а тут вокруг меня чужие враждебные люди. Замирает мое сердце, ничего передо мною нет, кроме могилы... Не знаю, как пришло мне на ум ножик спрятать... Утащил ножик, на печку спрятал, а рука не подымается... Все мать вспомню — заплачу... А между тем хватились — нет ножа. Искать, допрашивать начали... А я в таком был беспамятном состоянии, что и знаю — «надо признаться», а молчу. Однако ножик нашли у меня под полушубком в головах — и высекли. И так высекли, что весь я был в синяках, в рубцах, и рубашка от крови к телу присохла... Ну тут стало у меня почитай что помешательство ума. Пять суток не слезал с печи, не пил, не ел. Они уж звали меня, стали опасаться, даже силом стащили, а я опять забился на печку... И вдруг входит мать — я даже и не узнал ее — она была еле жива. С печи вижу мать, думаю — «вот радость-то!» Но мать и не поглядела на меня, а прямо в ноги к старостихе повалилась, стала ее молить христом-богом выдать отцовские десять рублей. Она пешком пришла, глухою осенью, по грязи. Шум и гам начался в избе из-за денег. Мою мать куда-то увели, и я потом увидел ее в окошко: она шла и несла на спине куль хлеба, денег ей не дали... «И маменька-то меня забыла! Не поглядела, не спро-

сила!» Так меня горе это убило — и сказать невозможно! А того не знаю, что она, маменька-то, была не в себе, и что потом я узнал — ее нарочно поскорей из избы вывели, чтобы она не увидала, как я избит, а ей сказали, что, мол, сын твой в лесу с мальчиками... Как показалось мне, что и мать родная меня покинула, тут я и решил окончить мою жизнь... Ночью потихоньку слез с печи, достал ножик и опять на печь забрался... Взял ножик и подношу к шее... Но вдруг закашлялся кто-то и проснулся, стал ходить по избе, потом стал искать ковшика с водой... Я жду, когда он ляжет спать, а он не ложится: огонь зажег, мазь какую-то достал, охал, ноги растирал... А я все жду, сижу с ножом в руке... Ждал, ждал... и вдруг — проснулся! Толкает меня за плечо старушка бабушка, самая коренная женщина в семействе, толкает за плечо и говорит: «Ты чего это ножик-то в руках держишь?» А я и сам уж не помню, зачем у меня нож в руках... И не помню, как заснул; после сечения устал я весь, пять ночей не спал и пять суток не ел — сморило меня вконец... А старушка-то поняла мое горе... Взяла нож из рук, заплакала, велела мне слезть с печки, дала хлеба, а потом и говорит: «Ну, сирота горькая! Одевайся ты в дорогу, пока наших дома нету, да иди с богом к своей матери! Не житье тебе здесь в волчьей берлоге... Будет над нами наказание божие, чует моя душа... Легко ли дело, людей покупать стали!» Одела меня, поблагословила, вывела на улицу и постояла, подождала мужиков. Едут какие-то. «Куда едете?» — «Туда-то». — «Подвезите мальчика!» Меня подвезли... Увидал я маменьку — все во мне так и растаяло, ожил я. Рассказал ей свою жизнь, рубаху снял, тело ей показал мое.. А она только слезами заливается и сказала мне, отчего обо мне не спросила, как была у старостихи. Так вот, каково легко мне было жизнь мою начинать... Не проснись мужик ночью — полыхнул бы я себя по горлу... Да господь меня спас!

«И с этого дня я в бога уверовал твердо. Никто меня ничему не учил, и что есть бог, я не знал. Знал, что бог на небе, а настоящего-то бога не знал. А теперь я явственно узнал, что он видит меня постоянно, что он смотрит на меня, на мои дела. Он тут близко. Теперь твердо знал, что я не один на свете. Около меня есть попечитель, он меня сбережет, не даст погибнуть...

И я вот всю жизнь мою живу по его повелению... Что ни случись, куда меня ни кинь, мучай меня, а я уж твердо знаю, что есть надо мной око и, стало быть, надо только слушаться повеления божия... А без бога бы мне не прожить, и году не продышать... Так-то!..

«И уж как меня нужда била об землю и бросала по свету! К какому только ремеслу я ни касался? И плотницкой части касался, и сапожной, топорной и слесарной... да, то есть нету такого мастерства, чтобы я не брался за него по нужде, из куска хлеба... И кое-что сам и сейчас могу сделать, не пойду в люди... Сапоги починить, даже сшить могу, и раму сделаю, и обручи набью... Но только было это не учение, а испытание божие... Кабы у нас было мало-мальски настоящее учение мастерству, мы бы бога благодарили: по дому для хозяйства много надо знать... А то ведь у нас зрятина одна... Говорят — «был в ученье». Это значит, что года четыре детей у хозяина нянчил, воду носил, дрова колол, пьяного «самого» из кабака приводил и смертный бой принимал... А уж учился, когда бог даст. Да и где знать нам, какие где есть мастерские места? Иной и мастер настоящий, а о нем никто не знает, и вывески написать не сумеет... Идешь за хлебом куда глаза глядят! Иной раз, бывало, и в самом деле приткнешься к какому-нибудь порядочному месту и начнешь настоящим родом обучаться, и даже деньжонок соберешь рублишек десяток — хвать, паспорта не высылают, на земле недоимки накопилось. А без паспорта жить нельзя. Надо все бросить, идти в деревню, в волость просить... Я от своей земли, как от злого врага, всю жизнь страдал, пока сам к ней не пришел навеки.. Отдали мы нашу нарезку с маменькой одному мужику — «владей, мол, и подати плати»... Забожился, клятву дал, а через четыре года меня вытребовали, как недоимщика. «Хоть десять-то целковых дай!» И того не дал. А все деньжонки, какие в мастерстве нажил, все за паспорт отдал, в дороге проел, и опять иди, ищи по свету работы — так все я и не доучивался. Отнял я землю от мужика, про которого сказывал, передал самому старшине, и тот взялся платить и лет пять высылал паспорт без препятствия, а потом вдруг проворовался, из старшин его выгнали, а с меня за все пять лет стали требовать и опять всего разорили, от труда оторвали,

и опять иди куда хошь! Ни призору, ни порядку, ни науки — ничего нашему брату рукомесловому человеку нету! А иной раз и сам бросишь мастерство-то, затоскуешь, заплачешь по маменьке, по сестрам — бросишь все и уйдешь искать, разузнавать, где они и как живут. Об отце даже раз так соскучился, что три месяца прослонялся — полк ихний искал, и что же? Тут мы с ним цельный месяц оба пьянствовали с тоски! Конечно, пока деньги были у меня, а там опять разошлись на веки веков... Мать-то мою я завсегда почесть находил, а вот сестер подолгу не видал... Отдала их мать в Питер в ученье и сама по годам не могла знать, какая их участь... Тоже жизнь ихняя тиранская! Одна-то теперь, говорят, за сапожником, а про другую нехорошо говорят — да ведь осуждать-то нельзя! Может, и ее господь вызволит... Кабы были у меня мало-мальски деньжонки, беспременно бы разыскал и домой привез! Ну, а ведь мало ли что!..

«Вот так и толкало меня и пихало из стороны в сторону, без толку, без наученья, впроголодь и прохолодь... И только потому я жил и живу, что уверился в божием повелении. Стало быть, надо так и, следовательно, должно так жить и не впадать в искушение... А искушения бывали... Раз было чуть не продался в мужья одной купеческой любовнице... И красивая, и деньги давала, и соблазн во мне заговорил, а подумал я, понял, что это дьявол меня подбивает на грех — и сбежал. С вечеринки сбежал — скандалу наделал!.. И бог помогал!

«А однажды прямо уж по божьему указанию вышло, и так премудро вышло, что даже сообразить невозможно от удивления! Вот какое было дело... Ведь наш брат, голодный человек, должен браться за всякое дело, какое бог пошлет. Иной раз и соврешь с голоду-то... «Умеешь это делать?» — спросит хозяин. «Умею!» И нанимаешься, а сам даже и в глаза-то дела этого хозяйского не видал. Станешь на дело незнакомое, глядишь на других, притворяешься, высматриваешь — только бы похарчили хоть раз в день, а там прогоняй и денег не плати. Иной раз и ловко поймешь, в чем дело, а иной раз и сразу увидят, что обманул, в шею натолкают, со двора выгонят. А отказываться от дела, когда человеку есть нечего, невозможно. Вот раз я и попал на сенную барку рабочим. Сено гнать по Волхову и по каналам в Петербург.

Отроду я не знал этого дела. Был перед тем у сапожника, а теперь вот на барке еду. А на Волхове пороги большие, места трудные, иной раз барка вертится на омуте как перышко, иной ее о дно ударит и водой нальет. Народ надобен бойкий, ловкий, сильный, бесстрашный, а я уж от одного страху-то перед водой и то трясусь и в толк ничего не могу взять. Стали на меня покрикивать, а потом и в загривок поталкивать, видят, что я дела не знаю и могу вреда наделать. Да и я-то вижу, что мне несдобровать, высадят на берег, вот и сказ весь. И ведь точно, высадили, и оченно скоро высадили, только случай для этого вышел необыкновенный: одолела меня сразу куриная слепота. Сели обедать, а я и не вижу, куда ложкой-то тянуться, хлопаю ею по столу. И ведь какая премудрость божия! Ведь высадить-то высадили бы непременно, а что бы я стал делать, куда бы пошел? Денег ни полушки, ни хлеба, ничего нет и местов не знаю. И надо же было мне по божию указанию ослепнуть, и ослепши был я высажен на берег в одном селе, и тут опять бог меня не оставил, а наслал на меня доброго человека, и этот добрый человек отвел меня, слепого, в земскую больницу: продержали меня здесь целую неделю; лечить не лечили, а кормили и поили. Вот ведь как, да и это не все! Как сняло с меня куриную-то слепоту, подходит ко мне доктор молодой, опросил меня, разузнал мою жизнь, увидел, что я на чужой стороне без всяких способов, дал три целковых и дорогу в Питер указал. Ведь надо же все это сделать так премудро! . Кто же как не бог-то? Да и это еще не все! Послушай-кось, какие чудеса-то вышли. Иду это я в Петербург пешком по Шлиссельбургскому тракту, и вот веришь ли? Неизвестно каким родом лежит мне на дороге разбитая гармония. Иду, а гармония лежит — и все! Думаю: взять или не взять? Думал, думал — взял. Сел у дорожки и стал рассматривать; рассматривал, разбирал, и так мне стало любопытно, что я и не заметил, как, почитай, полсуток времени ушло на эту разборку... Перво-наперво я ее разобрал, а потом и опять собрал. Собрал я ее и пошел — глядь, навстречу идет мастеровой, смотрит на гармонию и говорит: «Это моя!» Я говорю: «Возьми! я на дороге поднял». Взял мастеровой свой инструмент и ушел. И что ж ты думаешь?.. Годов через пять было у меня

в жизни такое голодное время, кажется отроду так не бывало. Всякую мелочь продал — ну, окончательно без всего остался и без угла даже. Что делать? За что взяться? И вдруг мне входит в ум воспоминание, как я гармонию разобрал и собрал. И пошел по мастеровым, около фабрик выспрашивать: «Нет ли гармоний починять?» — «Ты гармонщик? . .» — «Гармонщик!» (С голоду на все согласишься.) — «Есть». И натащили мне с десяток гармоний. С этим товаром я угол занял, доверие на клейстер, на кожу — всего на полтинник — мне хозяйка оказала, и я со страхом и трепетом принялся за дело. . . Да ведь так выправился помаленьку да полегоньку, что первым гармонщиком стал в Александровском. Комнату нанял, пинжак приобрел, денег набило мне в карман до пятнадцати серебром и пошел бы в гору, да из деревни опять бумага: «Не даем паспорта, недоимка». Ну, все и пошло прахом! Так вот это означает божий промысел! Кабы не божие указание, кто бы чему меня научил? Какая наука нашему брату? А тут — подумай-ко, сколько премудрости-то господней! Ведь надо же было все это в этакой тонкости созиждить! .. Ведь недаром на барку-то попал. Недаром ослеп, недаром гармонию нашел! Этого нашим умом не сообразишь, а надо так понимать, что господь блюдет над человеком и указует ему пути. Нет! Только божия помощь и явственна в нашей жизни. А посмотрите на нашу жизнь так-то, без божьего-то указания, так это истинно — пропасть нашему брату надо, только и всего! Другой участи нам нет. Брошены мы как мякина на ветер...

«. . .И наконец, скучно уж мне стало шататься-то! В последний раз, как вытребовали меня в деревню из-за недоимки, думаю — «не пойду! пробьюсь как-нибудь. . .» Подошел сенокос, ищут косцов, пошел и я к одному мужику. В первый раз косу в руки взял, махну — хоть бы травинка упала! — словно по льду косой бью — только звенит! Стыд меня ест, срам, а хозяин (добрый он мне тогда мужик показался) видит мое старание, понимает, что ревность-то у меня есть, что работник я хороший, только ничего не умею путем сделать, — смеется, ласково так говорит: «Ничего, обойдется, вот тебе Семен покажет. Семен, говорит, покажи ему! ..» Ушел он, а Семен стал мне косу поправлять; повертел, постучал, — «на», говорит. Пошел я, и опять ничего толку нет. Что ты будешь

делать? А косило нас трое: Семен, я да женщина. Женщину-то я не рассмотрел и даже не поглядел на нее — своего дела было много... И раз мне Семен косу направил, и два, и три. И все я только рву да мну траву-то, а толку-то нет никакого. Ударило меня в краску и в стыд... Устал я так, что, кажется, в молотобойцах так не устанешь за целый день, как я тут в два часа измаялся. А тянет меня научиться косить — шибко! Понравилось мне все это: поле, трава, птички и работа приятная — а нет вот! Не дает бог! И вдруг происходит такое дело божие: ушел Семен куда-то прочь и остались в поле я да женщина. И подходит ко мне эта женщина и говорит: «Что ты бьешься понапрасну? Семен тебе завсегда так косу посадит, что ты совсем ничего не сделаешь... Он завистливый, боится, чтобы ты ему работы не перебил и чтоб хозяин тебя не полюбил. Дай-ко мне косу-то, я тебе налажу...» Дал я косу ей и поглядел... И так она мне понравилась: мужественная девица, серьезная, работящая!.. Постучала она что-то бруском, погнула косу, тронула ею — хорошо выходит! «На-ко, говорит, попробуй теперь!..» Как взял я, как пошел — и сам себе не верю! Пошло мое дело в ход сразу, с легкой руки — и загорелось у меня ретивое. И так я с этого часу полюбил эту девушку, так она мне во всем пришлась по сердцу — сказать не могу... И вижу — и она рада: стоит, смотрит на мое дело, хвалит, поправляет, а потом опять поплевала на руки и сама пошла с косой... И так мне стало радостно: позабыл я все мои горести и точно стал из мертвых воскресать.. Так вот премудрость-то божия и опять обозначилась в моей жизни! Ведь эта девушка-то теперича, бог дал, моя жена Дарья Петровна... Вот ведь какое предопределение-то! Подумай-ко ты...

«Да, теперь мы поженившись. А не скоро она мне досталась; оба мы помаялись, пока мужем и женой стали. Хозяин, у которого я нанялся косить, был родной брат этой самой девицы; а кроме того, у ней же была замужняя сестра в другой деревне, и было у этой сестры пять человек детей, да у брата с женой четверо. Вот эти-то два семейства и препятствовали. Везде нужна хорошая работница, а такая, как моя Дарья, и подавно. Работницу нужно нанимать, а родной сестре можно и копейки не дать. Вот они-то нас и затиранили. А сошлись

мы с Дарьей и крепко подружились тут на покосе, потом всю осень на посиделках виделись. И так мне понравилось в деревне, так все порядочно, хорошо, а главное Дарья-то мне свету придает — «не уйду, думаю, отсюда никогда!» Однакож не посмел Дарье объяснить вскорости, потому что не с чем мне взяться. Все лето работал, как вол воротил, осенью опять встретились, а на Покров, выпивши на празднике, осмелился я и сказал Дарье. «Согласна!» говорит, руку мне пожала и залог дала. Залог — это вроде как задаток, для верности... Дала она мне узелок, а что в этом узелке было, так я даже и не видал никогда. Так я ее полюбил и уважал, что мне ей не доверять невозможно было. Вот как наше решенье-то узнали — и стали разные махины подводить... Умирает Дарьина сестра и оставляет пять человек детей... Приехал ее вдовый муж прямо к Дарье. «Поедем, говорит, ко мне, походи за детями... Сестра как умирала, так просила... Поживи месяц, пока справлюсь, тогда отпущу». Нечего было делать, поехала Дарья, да не на месяц, а полгода прожила и вестей мне не давала. А тем временем братнина жена, которой Дарья также нужна была, стала меня отговаривать от нее... Думает: как Дарья воротится, так у нее останется, а он (то есть я) уйдет в другое место работать и оставит Дарью. Стали мне Дарью без всякого зазрения порочить. Ведь они, бабы-то, ловко умеют сплести дело! Сплела про нее такое, что и сказать невозможно... «Она, говорит, и вестей-то не дает о себе, потому связамши...» Я и призадумайся. А вестей нет. Сижу так-то раз, работаю с печниками, входит Дарьина брата жена и говорит: «Дарья приехала. Залог спрашивает!» И так грубо... Что ж? Взял я узелок, как был — отдал... Горько мне стало... Так прошел день. Смотрю, сама Дарья идет ко мне... «Ты зачем залог возвратил?» — «Так и так!» говорю. Все ей рассказал, а сам гляжу ей в глаза и вижу, что чистая у нее душа, непорочная, и сам я тут раскаялся в мыслях... Плакала она тут, обижалась на меня, и опять я у ней залог взял... Только что стали думать, как быть, — хвать, муж сестрин в волость Дарью тащит... Дарья-то, живя у него больше полугоду, говорит ему: «Заплати мне хоть сколько за труды — все мне на свадьбу». Тот обещал, а когда сам женился во второй раз, то Дарью прогнал, денег ей

не дал, а чтобы она не взыскивала, сам на нее подал жалобу, что обокрала, вишь, его на огромнейшие суммы. Вот ведь какие бывают люди злющие!.. Насрамили Дарью ни за что ни про что... А времени прошло много, и все не по-хорошему, и мои-то дела не складны; заработок плохой-преплохой, и жить нам обоим плохо, а жениться — нечем взяться в хозяйстве!

«Однако, как судил нам бог жить вместе, так тому и быть надо. Пришла весна, повидались мы с Дарьей и так решили: венчаться не будем — не на что и жить негде. А пойдем мы вместе деньги работой добывать... И ушли вдвоем, как брат с сестрой... И так мы работали с ней все лето, а осенью уж и жить стали, и все не венчавшись. Совестно было мне людей, и Дарья-то измучилась совсем от этого. А венчаться-то надобно — была уж и тяжела... Пришло так, что надо беспременно; пошли мы с Дарьей пешком в село, к священнику... Проработали вместе с ней у него целую неделю — повенчал. Опять без всяких угощений и церемоний домой воротились в квартеру... Я в то время всякую работу делал, какая попадалась, и сапоги чинил, и по плотницкой части — кой-как кормились. А как родился ребенок-то — тут уж и страшно стало! Так жить нельзя... Надобен угол, крестьянство... Вот тут и опять только бог помог... Дал мне Емельянов денег дом купить. Купил я дом, переплыл с ним на старое пепелище, стал жить на квартире, всякую мелочь работать. А летом с женой стали наниматься косить, а ребенка оставляли до ночи у старухи... Косили мы до упаду, потому праздниками с чужой работы на свою шли и своего сена накосили в этот год на восемьдесят рублей... Вот в эту пору и начали строить свою избушку... Ну вот так оно с божией помощью помаленьку и идет... Так вот какая жизнь-то наша! Так что ж, нешто не рай мне теперь в избушке-то? Куда ты меня из нее выгонишь?..».

Много рассказывал мне Михайло, но и того, что мне теперь пришлось передать из этих рассказов, слишком много, чтобы порадоваться за Михайлу: теперь он не бесприютен — у него есть избушка на курьих ножках.

10. РАЗГОВОРЫ В ДОРОГЕ

I

...Если есть в настоящее время у кого-нибудь на Руси живые темы для живого, жизненного разговора о живых, жизненных делах и вопросах, так это, поистине, единственно, кажется, только в народной среде, то есть у мужика. Оригинальность и самобытность народной речи, во многом совершенно еще непонятная для так называемой чистой публики (а ведь публика эта разная: бывает добрая и недобрая), делает эту речь и это народное слово действительно совершенно свободным, не знающим никаких стеснений, особливо если дело идет «промежду себя». Это преимущество народного разговора, важное само по себе, приобретает особенную важность и интерес ввиду того огромного материала, взятого непосредственно из жизни, который имеет в своем бесконтрольном распоряжении эта свободная народная мысль, выражающаяся в свободном слове.

В течение последних двадцати пяти лет, там, в глубине народной жизни, и с каждым годом все больше и все шире, разрастаются всевозможного рода осложнения. Новому поколению приходилось и приходится разбираться в целой массе новых, неожиданных условий жизни, разбираться без указания, без совета (старики ничего в новом не понимают), приходится «ломать голову» над разрешением труднейшего вопроса о совести и копейке, страдать за него, разрывать связи с прошлым, переживать минуты горького сиротства, полной беззащитности и беспомощно гибнуть или же, повинуясь хоть и неясной, но светлой надежде, идти искать новых мест, новых

нравственных связей, новых лучших и справедливейших материальных условий... Все эти большие народные задачи бременят и волнуют народную мысль подлинным образом; ложатся на сердце не так мимолетно, как ложатся на наше сердце, на сердце «чистой публики», хотя бы и самые возмутительнейшие жизненные факты, которые нам ежедневно приносит газета... Мы завтра забудем их, и сегодня нас уже не волнует то, что волновало вчера; опыт народной жизни не таков: он непосредственно касается человека, подлинно задевает его «за живое», выжигается на сердце, как клеймо, неизгладимо; и того, что выжжено им на сердце вчера, сегодня нельзя забыть; все это надобно обсудить, обговорить, выяснить, разобрать; надобно потому, что ведь только «своим умом» народу приходится обороняться от всевозможных неожиданностей и новостей его трудной жизни...

И галдит, без умолку галдит «третий класс» во всех поездах, бегающих по русской земле, не говоря уже о так называемых специальных, дешевых поездах, с некоторого времени устраиваемых для переселенцев и рабочих, возвращающихся из столицы по домам. Десять — пятнадцать «лошадиных» вагонов битком набиты народом; темная ночь, тьма кромешная; во всем поезде нет огонька, только цыгарки светятся, а несмотря на то, что уже «заполночь» — весь поезд гудит как муравейник, или, вернее, как паровой котел... И этот говор, перемешанный с звуками гармоний и крепких слов, не замолкает ни в полночь, ни за полночь, ни днем, ни ночью, не истощается в течение долгих дней самого медленного, черепашьего движения. Стало быть, народу есть о чем говорить, есть что порассказать друг другу.

А вот у нас, у «чистой публики», как будто дело пошло совсем наоборот, и в вагонах пассажирских поездов, предназначенных для пассажиров первого и второго класса, что-то стало молчаливо, а иногда по целым дням пути царствует поистине мертвая тишина. *Общего* разговора еле хватает на легкие вежливости и столь же легкие невежливости, которыми невольно приходится обмениваться во время суматохи отъезда и приезда, а затем много-много если хватит пороху у двух случайных знакомых потолковать (и то только до первой станции) о каком-нибудь газетном сообщении, только что вычитан-

ном обоими в последнем нумере «Нового времени», и потом уж до самой Москвы для них не останется ровно ничего, кроме самого деликатного молчания. Шумного, общего разговора, разговора «целым вагоном», никогда почти не случается. А ведь в прежние времена такие разговоры были неизбежны, и чем далее к началу настоящего двадцатипятилетия, тем шумнее, оживленнее и неистощимее вспоминаются мне эти разговоры. Тогдашние разговоры «чистой публики» были так же жизненны, свободны и многосложны, а главное «общи», как теперь жизненны, шумны, а также общи разговоры публики лошадиных вагонов: у «чистой публики» тогда было так же много нового и жизненного, как много этого нового и жизненного теперь у публики третьего класса. Жизненные вопросы тогда захватывали всех вместе и каждого порознь; каждый и все вообще были заинтересованы в новых порядках, в земстве, в гласности, в новом суде, наконец в личной нравственности. И все это обсуждалось, критиковалось и вообще разбиралось открыто, громогласно, свободно.

Таких-то вот общих разговоров «целым вагоном» и не слышно что-то среди «чистой публики» в настоящее время. И не потому не слышно их, чтобы этих так называемых общих вопросов совсем уж и не существовало, а потому, что вопросы эти как-то перестали подлежать общему вниманию. «Чистая публика» привыкла знать, что из ее свободомысленных упражнений не может произойти никаких существенных результатов, но что в то же время общие вопросы неукоснительно разрабатываются в подлежащих местах и что, следовательно, ей самой тут делать нечего и беспокоиться не следует. Вот почему «чистая публика» первого и второго класса в настоящее время предпочитает тишину и молчание неумолчному в недавнем прошлом дорожному галдению и разглагольствованию. Одни из множества ваших соседей по вагону молчат потому, что искренно сняли с своих плеч бремя каких-то общих беспокойств, другие же (и таких едва ли не больше чем первых), напротив, молчат потому, что вся тяжесть и многосложность общих вопросов, не имея выхода ни в забвении, ни в общественной практике (хотя бы только в виде разговора), сосредоточилась в них «одних» и тяжким комком подкатила «под сердце»...

Иной из этих дорожных ораторов, который в былое время не дал бы вам сомкнуть глаз во всю дорогу от Петербурга до Москвы, и даже за Москву (так много было в нем общительности), в настоящее время, едва появится в вагоне, как уже алчными глазами ищет свободных мест и тотчас же занимает своими вещами целых два дивана: ему нужно, чтоб «никого не было», ему так лучше. Затем он долго и упорно начинает врать пассажирам, ищущим мест, что «места заняты», что «сейчас придет господин»... что «вещи, мол, не мои, а какой-то дамы, которая сейчас придет»... В конце концов он всегда отвоюет себе длинный диван в три места и, нисколько не смущаясь присутствием соседей, которым он только что так нахально врал о занятых местах, тотчас же, едва только тронется поезд, начинает укладывать свои пожитки на сетку, снимает калоши, устраивает в головах подушку и растягивается во всю длину вылганного дивана... Покурив и позевав, он скоро уже чувствует потребность заснуть, хотя бы день только что начинался, и скоро вы, его сосед, отвоевавший у него себе место единственно при помощи обер-кондуктора, видите, как он, не торопясь (и «как дома»), поворачивает вам свою спину...

Ему никого и ничего не нужно среди всех нас или вас, посторонних людей; ему ровно не о чем с вами разговаривать; даже при сильном напряжении мысли он не мог бы придумать для беседы с вами ничего такого, что бы хоть в слабой степени было интересно для вас обоих. Если иногда, плотно выспавшись и не имея никакой возможности вновь заняться тем же похвальным делом, он попытается завести с вами речь (ему нет дела до вашего желания беседовать; ему просто самому захотелось поговорить, потому что надоело спать), то будьте уверены, что после самых неподходящих вопросов о том, «кто вы?» да «куда едете?», речь эта тотчас же перейдет на самые мелкие подробности жизни этого человека, живущего «сам по себе»; с удивлением вы слышите, что какое-то неведомое вам существо, с полным удовольствием на заспанном лице, повествует вам о том, что картофель у него на хуторе «вот какой», что когда его жена была беременна последним ребенком, так именно в это время акушерка посоветовала ему завести кохинхинских кур, и что сосед Лупцовалов... «Вы знаете ведь Лупцовалова?» Та-

кие неожиданные вопросы со стороны когда-то бывшего оратора, а теперь одеревеневшего обывателя, вовсе не удивительны. Ваш отрицательный ответ относительно Лупцовалова нисколько не удивит его, ему вовсе не нужно ваше мнение о его бормотанье; ему только бы самому выболтать любезный ему хлам, и когда он его выболтает, то опять начинает зевать и, совершенно забыв о вашем существовании, вновь предъявляет вам свою спину.

Совершенно не такова манера держать себя с дорожными соседями у того типа молчаливого проезжающего, который молчит не оттого, что ему ни до кого и ни до чего нет дела, а, напротив, оттого, что тысячи дел, касающиеся *всех,* сосредоточены и как бы заперты в нем одном. Он не только не занимает сразу шести мест, не врет, что «господин сейчас придет», и т. д., но, напротив, постоянно уступает, теснится и в конце концов оказывается прижатым в угол с вещами, которые не дают ему возможности ни протянуть ног, ни лечь, ни даже сесть поудобнее. Свое стремление к общительности (стремление, воспитанное в нем в те времена, когда он служил мировым посредником) он выражает в необычайной уступчивости к дамам, к детям, расточая тем и другим всевозможные знаки предупредительности. Но при всем том все-таки ни в какие продолжительные и общие разговоры ни с кем он вступать не решается: он знает, что он никому не нужен, что всякий теперь предпочтет мучить своего дорожного соседа подробнейшим повествованием о своих ничтожных семейных или хозяйственных делах, что даже вот эта красивая, изящная дама, красивым «ножкам» которой он уступил последнюю каплю собственно ему принадлежащего места, что она, так мило и бесконечно долго рассказывающая о том, как ее мужа обошли наградой, что она в конце концов также не далека от неожиданного вопроса: «Знаете ли вы господина Лупцовалова?» Все это он уже знает и, делая своим лицом невероятные мимические усилия, которые должны выражать непременно сочувствие пространным речам прекрасной дамы, напрягая свое воображение на то, чтобы те нечленораздельные звуки, которыми ему приходится отвечать на ее милый лепет, чтобы эти междометия «гм... хм... мм...» и т. д. казались бы ей приятным поощрением ее беседы, он

в конце концов все-таки предпочтет упорно молчать. Даже и тогда, когда уйдет прекрасная дама и когда окажется возможным совершенно свободно протянуть ноги, все-таки он предпочитает сидеть молча, молча курить или молча читать книгу...

Но не все же молчит и этот мученик единоличной печали «обо всем» и «обо всех»; бывает, что и он, покоряясь настоятельной потребности облегчить беседой свою душу, переполненную тяжестью общих забот, и найдя подходящего собеседника (такого же молчальника, как и он), вступит с ним в оживленный разговор о вопросах действительно общего значения. Но именно потому, что в нем одном так много этих общих забот сосредоточено, речь его хоть и оживлена, и нервна, все-таки она не имеет тени той жизненности, которою изобилует каждое слово собеседников лошадиного вагона. Огромные общие вопросы, которые теснят ему грудь, не оживотворенные в практической, живой действительности, родившиеся в книге, воспитавшиеся в голове и, кажется, умирающие в сердце, — эти большие вопросы трактуются разговорившимся молчальником почти всегда теоретически, отвлеченно; разговор идет, так сказать, о теоретическом остове вопроса, и от этого, хотя — повторяю — и нервно оживленного, разговора не веет жизнью, не ощущается в нем плоти и крови народной речи.

О чем может говорить в настоящее время разговорившийся об общих вопросах молчальник? Можно безошибочно сказать, что он не может говорить ни о чем, кроме — «Болгария», «Лев Толстой» и... (когда уж совсем разговорится) «Мужчины и женщины»... «Женщины виноваты»... «Мужчины виноваты»... «За женщин»... «Против женщин»... Все эти вопросы бесспорно многосложны, но наша жизнь (за исключением значительной доли вопросов «по женской части») их не разрабатывала; не пробовали еще оживотворить их сущность в мелких подробностях обыденной жизни. «Европа» и «мы» — до сих пор ясно не похожи друг на друга только по книжкам и по газетам; здесь (то есть в книжках и газетах) читатель еще может различать эту только чуемую разницу; явления же действительности, напротив, постоянно омрачают эту книжную ясность разницы. «Непротивление злу» ведь тоже пока только в книжках, в жур-

нальных статьях и в мечтаниях... Только вот дела по женской и мужской части как будто бы никак еще не сьютились около какой-нибудь ясной теоретической формулы, и потому разговор о них вертится на ничтожных мелочах, преимущественно физиологического оттенка. Еще по «этой части» иногда можно услышать что-нибудь похожее на живое слово, во всяком случае что-нибудь взятое прямо из жизни, но когда разговор зайдет «о Болгарии», «о Европе» и «мы», тогда невозможно обойтись без теоретических фантазий, не имеющих в себе капли живой крови... Так же скелетообразны выходят разговоры и о Толстом, и о непротивлении злу. И хотя все такие разговоры ведутся оживленно и нервно, хотя иной раз, когда, например, загипнотизировавшись частым повторением слова «мы... мы... мы» и «Европа... Европа.. Европа», хотя, говорю, и поверишь, что это «мы» уже существует, уже осуществлено во всех подробностях, но простого прикосновения действительности, хотя бы в виде господина, занимающего шесть мест и не моргнув глазом уверяющего, что все места заняты, — такого кусочка действительности вполне достаточно для того, чтобы вполне очнуться от гипнотизма и увидеть, что весь этот оживленный разговор навеян с печатной бумаги, из печатной книжки, а ведь этого, за продолжительностью безрезультатной мозговой практики, весьма достаточно для того, чтобы в конце беседы почувствовать только тяжелую душевную пустоту и какую-то даже озяблость всего тела...

Ввиду всего этого, задумав порассказать в моих заметках кое-что по части, так сказать, «мирского толка», не знаю, осмелился ли бы я к «толкам» в народной среде, о которых только и следовало бы вести речь, приплетать еще бескровные патриотические и общественные мечтания так называемой «чистой публики». Витая постоянно между обобщениями, то слишком, безмерно отторгнутыми от действительности (как Болгария, Европа и «мы» вообще), то в обобщениях, слишком пристально почерпнутых из действительности (как женская часть), эти разговоры «чистой публики», уже знакомые ей самой и без особенного пересказа, кажется, успели ей же самой и надоесть... Но не знаю, на счастье мое или на несчастье, судьба во время моих недавних путешествий послала мне

собеседника, который как-то сумел обыкновенному теперь разговору-скелету придать что-то вроде живой плоти и как будто влил в эту якобы плоть несколько капель живой крови, и вот почему я решился несколько страниц моих заметок, посвященных «мирскому толку», уделить темам, занимающим и «чистую публику».

Знакомство мое с Алексеем Семеновичем Пуховиковым произошло совершенно случайно: во время поездки моей по Кубанской области понадобился мне попутчик, и фургонщик мне разыскал именно господина Пуховикова. Признаюсь, перспектива ехать с человеком из «чистой публики», то есть в конце концов все-таки разговаривать о Болгарии, Толстом и т. д., — вовсе была для меня непривлекательна: я только что провел двое суток с переселенцами, с народом, и эти люди оставили во мне небывало светлое впечатление. Среди них я забыл самое слово «мужик», потерял возможность проводить какую-нибудь параллель между мужиком и барином; я видел нечто новое, именно: *независимого* человека. Я желал бы, находясь под этим сильным впечатлением, иметь попутчиком непременно крестьянина, с ним бы я мог делиться моими впечатлениями, и он бы, может быть, еще больше развил их, расширил и осветил. А между тем в фургоне, в котором пришлось ехать, ожидал меня тщедушный, косоглазый барчук в очках, словом — интеллигент, а следовательно, по нынешнему времени и празднослов. Празднослов этот в свою очередь, повидимому, вовсе не обрадовался моему соседству, по крайней мере не выказал необходимой предупредительности попутчику, как это бывает «на первых порах». Он лежал во всю длину фургона, скорчившись как-то боком, и, взглянув на меня косыми глазами, продолжал вытирать замшевым лоскутком снятые очки... Впоследствии к нашему общему удовольствию оказалось, что и господин Пуховиков также предпочел бы соседа-мужика, так как и он ехал по Кубанской области из любопытства, ехал собственно для того, чтобы смотреть, молчать и думать.

Почти молча доехали мы с Алексеем Семеновичем до города Е., и здесь мы должны бы были расстаться, никогда не сблизившись друг с другом, если бы не одно случайное обстоятельство. Приехав в Е., мы остановились в разных гостиницах и стали искать попутчиков

отдельно друг от друга; бродя на другой день по приезде в Е. по постоялым дворам, я неожиданно встретил на одном из них Пуховикова в сопровождении какого-то крестьянина, с которым Пуховиков о чем-то оживленно разговаривал.

— Скажите, пожалуйста, — неожиданно обратился ко мне Пуховиков, — где здесь канцелярия начальника области? Вот у него дело... Надо помочь!

И он с живым интересом стал рассказывать дело крестьянина. Это был «иногородний», то есть жертва казацкого притеснения. Он был послан из станицы Беспощадной депутатом жаловаться начальству о притеснениях, которые им, иногородним, делает станичное общество.

— Необходимо написать прошение! — волновался Пуховиков. — Вот у него есть, написано, но ведь так нельзя!

Прошение, которое принес ходатай, было все испещрено непечатными выражениями станичного начальства, и потому его необходимо было переделать. Горячее участие к ходатаю и искренняя готовность заступиться за обиженного сразу расположили меня к Пуховикову.

— Давайте писать прошение! — сказал я.— Пойдемте ко мне в нумер.

И мы, все трое, отправились ко мне. Прошение было написано и подано. А мы тем временем успели несколько поближе познакомиться и узнали, что цели наши почти одинаковы.

— Да вы куда теперь? — спросил меня Пуховиков.

— Я в Новороссийск. А вы?

— Да я хотел бы в Майкоп... Впрочем... Поехать разве в Новороссийск и мне?

— У вас есть дело какое-нибудь?

— Какое дело! Просто так... до осени думаю... Не знаю, впрочем... Впрочем, отлично, поедемте в Новороссийск! Отлично!..

И мы поехали — и в Новороссийск, и в Одессу, и в Константинополь... Смотрели, думали, разговаривали, и разговаривали, увы, опять-таки все о том же, о Болгарии, о Толстом. Кое-что теперь я и *перескажу* из этих разговоров.

II

Выехав из города Е. часа в два дня, мы с Пуховиковым (нас было в целом фургоне только двое) часу в шестом вечера уже подъехали к большой и многолюдной станице, где должны были ночевать. Собственно до ночлега оставалось еще много времени и до заката солнца можно было бы сделать еще верст пятнадцать, но следующий, второй перегон был велик, сорок верст, и фургонщик решил пораньше остановиться, чтобы пораньше, до свету, выехать дальше.

Никак не менее часу, почти шагом, двигался наш фургон по станичным широким улицам, пробираясь к постоялому двору; огромное станичное стадо входило в станицу как раз в то время, когда мы туда въезжали; целый лес разнообразнейших фасонов и размеров коровьих и воловьих рогов окружал наш фургон со всех сторон; блеянье овец, которые сотнями толпились между рогатой скотиной, совались под фургон, под лошадей, рев всей этой скотины, гиканье пастушонков, проносившихся верхами среди этих полчищ животных, крики и зазыванье женщин — все это сделало наш въезд в станицу не особенно приятным; рев и блеянье скотины оглушили нас; пыль, тучей стоявшая над стадом, не давала возможности хоть мало-мальски видеть что-нибудь по сторонам, а взрытая скотиной и засохшая твердыми глыбами грязь улицы, по которой нам приходилось ехать, потому что стадо постоянно сбивало нас с проторенной колеи, заставляла фургон наш беспрерывно трястись и не ехать, а как-то падать колесами то вперед, то назад, то на один бок, то на другой. Порядочно-таки изломала нам кости эта тряска. Наконец мы, почти уже потерявшие надежду на окончание наших мучений, были приятно обрадованы, когда фургон наш неожиданно свернул с дороги и въехал в отворенные ворота, на которых была прибита доска с надписью: *«Постоялый двор с номирами»*.

Сразу почувствовали мы себя в тишине и просторе. Широкий, просторный двор, окруженный со всех сторон постройками, как-то вдруг и как будто на огромное расстояние отделил нас от уличного хаоса. Нет уже ни тряски, ни пыли, воздух свежий и чистый, и раздиравший душу рев скотов неожиданно принял не раздирающий

уже, а музыкальный оттенок; не то, казалось, где-то солдаты идут с песнями, не то какие-то басы и баритоны провозглашают кому-то многолетие, а может статься, и песни играет какая-нибудь подгулявшая компания. Телячьи басы и баритоны особенно способствовали этой музыкальной иллюзии.

— Однако надо хозяина! — проговорил Пуховиков, после того как мы, выбравшись из фургона, немного поразмяли кости, походив по двору. — Друг любезный! — сказал он, подходя к фургонщику, — как бы хозяина позвать? Чайку надо...

— Сейчас, сейчас! — торопливо стягивая с лошадиных спин вожжи и свертывая их, отвечал фургонщик. — Сию минуту. Да вот! Эй, молодица! Позови-ка хозяина!

Молодка, к которой отнесся фургонщик, дюжая, истинно богатырски сложенная молодая «девка», появившаяся из небольшого флигелька на средине двора, не обратила на слова фургонщика никакого внимания; она как-то «срыву» выплеснула из шайки какие-то кухонные остатки и скрылась, почти бросив у дверей флигелька эту уже пустую шайку. И появление и исчезновение ее было так кратко, что, кроме ее богатырского сложения, мы могли заметить в ней только крайнюю небрежность костюма: голова ее была простоволоса, ситцевый платок кое-как завязан на шее, а могучее тело также кой-как было облечено в жиденькое ситцевое платье все в пятнах и в сале.

— Ишь какая сердитая! — добродушно проговорил фургонщик, основывая свое мнение на невнимании девицы-богатыря к его просьбе.

Скоро и нам с Пуховиковым пришлось убедиться, что девица-богатырь точно как будто сердита. «Шваркнув» шайку, она тотчас же опять появилась на крыльце флигелька с большим нечищенным самоваром в руках; махнув как пером этим огромным самоваром, она сразу выбросила из него и воду, и уголь, и золу, и тоже «срыву грохнула» его о крыльцо, «срыву» опрокинула в него воду, нахлобучила крышку, набила угольями и так могуче дунула в трубу, что яркие искры с треском разлетелись по всему крыльцу.

— Нельзя ли, любезная, хозяина нам... — еще раз попытался вымолвить фургонщик.

— Нешто я караульщик твоему хозяину? Пес его знает, где он! — уже с явным негодованием не ответила, а прямо гаркнула ему богатырь-девица.

Нельзя было не убедиться, что она точно сердита, что она, как говорят, «и рвет и мечет». Во всех своих действиях и движениях, резких и необычайно быстрых, она повиновалась, очевидно, бушевавшей в ней буре, и даже ее ситцевая юбка во время ее сердитой беготни билась и хлестала по ее голым ногам и по притолокам дверей точно так же, как треплется и хлещет во время настоящей бури парус на корабле.

— Сейчас, сейчас, господа, иду! .. — послышался около нас какой-то дребезжащий голос, и мы, наконец, увидели хозяина.

Это был человек выше среднего роста, широкой кости, лет под шестьдесят; но не старческое, а что-то раскислое, преждевременно дряблое было в его лице и фигуре, слегка потупленной, сгорбленной, но не старостью, а каким-то бессильным равнодушием. Нечесанные, но еще густые рыжие с проседью волосы неряшливо падали на низкий лоб с кисло-жалобными глазами; неряшливое, старое, все в пятнах и без пуговиц, когда-то, вероятно, «летнее» пальто было кое-как подпоясано в талии веревкой; какие-то ситцевые, грязные, широкие шаровары розового цвета были коротки и обнаруживали босые ноги, обутые в резиновые галоши. Что-то кислое и утомленное лежало на всей его фигуре; явным упадком сил, энергии повеяло на нас от этого человека, называющего себя «хозяином», и мы тотчас же как-то вдруг заметили те же следы упадка и в его хозяйстве. Сердитая, грубая, неряшливая работница также, как нам показалось, дополняла впечатление расстройства, таящегося в жизни этого двора. И мы не ошиблись.

— Сию минуту все будет! . И комнатку вам также? — дребезжащим голосом спрашивал нас хозяин.

— Да, и комнатку бы, ночевать будем.

— Ну сейчас, сей минут! .. Марья! Самоварчик, живей!

Богатырь-девица, появившаяся на крыльце едва ли только не для того, чтобы с сердцем хлестнуть подолом о притолоку и уйти, не удостоила его ответом.

— О, да у ней уж поставлен самовар-то... Еще чего не потребуется?.. Да! Свечку вам... Комнатку... Пожалуйте сюда вот.

Шлепая резиновыми галошами, он, сгорбившись, повел нас в один из трех флигелей, выстроенных на дворе. Флигель был низенький, темный; в двух маленьких комнатках стояло по кровати с гнилыми досками, несколько изломанных стульев, стол, который задребезжал уж, едва только мы ступили на пол.

— Огонька бы надо! — сказал наш фургонщик.

— Свечку? сию минуту... всё... Сейчас... Марья! — крикнул он в открытую дверь, — давай свечку.

Но так как никакого ответа от Марьи не последовало, то хозяин сам отправился за нею. Не очень скоро вновь появился он с длинным позеленевшим медным подсвечником и сам принялся вставлять в него длинную сальную свечку.

— Все неуправка! — как-то жалобно бормотал он, переламывая эту свечку обеими руками и кстати сгибая медный неуклюжий подсвечник на сторону... — Ишь как согнуло его! Главное, народ избаловался... не найдешь людей! Вот должен сам, например, всякую малость...

Кой-как свечка была, наконец, укреплена в неуклюжем подсвечнике, и на столе появилась разнокалиберная чайная посуда.

— Ну вот! Ничего! сейчас и самовар!.. Марья! — опять крикнул хозяин, высунувшись в окно, но на этот раз богатырский толчок Марьиной ноги распахнул дверь точно порывом бури, ударив ею об стену, и сама Марья без всякого зова, так же как ураган, внеслась с самоваром в комнату. Самовар неистовствовал ужасно, да и сама Марья бушевала внутренно не меньше самовара; ее могучая грудь ходила ходуном; она ткнула клокочущее чудовище на крошечный столик, причем чудовище кипящим паром сразу ударило в зеркало, в картину и точно окунуло их в воду; в то же время чудовище упорно задувало свечку и отталкивало хозяина, который хотел к нему подступиться. Бурное появление взбешенной Марьи заставило хозяина сказать ей:

— Кажется, можно потише? поаккуратней? чего уж так-то?

Сказал он это каким-то приниженным, дряблым, но, как нам показалось, исполненным глубокой ненависти голосом.

— Давай ключи-то от амбара! — опять «гаркнула» Марья. — Тебя, старого чорта, век не переслушаешь.

И, не дожидаясь ответа, исчезла.

— Нонче вон как храпят на хозяев-то! — кисло и жалобно пожаловался нам хозяин и, обратясь почему-то к фургонщику, прибавил: — Она вот этак-то храпеть на тебя будет, а ты, между прочим, пальцем ее не смеешь тронуть! Вот какие порядки!..

— Да, уж нониче вольно... Да чего это она так рычит?

— Так, поучил... маленько. Рабенок, например, вывалился из люльки, благим матом орет, а она расселась за воротами, с солдатами подсолнухи жрет...

— Твой ребенок-то?

Хозяин как-то потупился, вздохнул и с кислой улыбкой сказал:

— А уж не знаю... должно, мой!.. надо быть, так!

— А она-то, что ж, стало быть, в няньках у тебя?

Хозяин еще раз вздохнул и, слегка махнув рукою, проговорил:

— Она у меня все в одном числе: и вроде жены, например, и в работницах, и в няньках.

— Так и ребенок-то, стало быть, от нее?..

— От нее, от идола! пропади она!..

— А настоящая-то хозяйка твоя, значит, померши, что ли?

— Настоящая моя хозяйка?

Он опять махнул рукой.

— Об этом, брат, долго разговаривать!

Хозяин помолчал и проговорил, крепко вздохнув:

— Кабы настоящая хозяйка была, так я бы нешто присоединился к этому идолу? Ведь что она? дерево! Взять полено, ошарашить по шее, и весь разговор... Только одним боем и живет. Чего ей рабенок? Нонича бабам воля. «Не хочу с мужем жить!» — взяла и ушла, только и всего! А рабенок ей нипочем, сколько угодно. Кабы жена-то была, так не держал бы этакого истукана... Ведь она меня кулаком пополам перешибет — ведь чорт!.. Неволя, братец ты мой, загнала!.. Заску-

чал! Принужден был наемным порядком обломать истукана... А кабы жена-то!..

— Да что ж такое с твоей женой приключилось?

— Ушла от меня! вот что приключилось... с «агентом» ушла. Вот, видишь, флигель на дворе? Ну вот там у меня агент жил, снимал квартиру по контракту за двести за тридцать в год, на пять лет... Ну вот и уволок... У меня сыновья по восемнадцатому году есть! И детей увела! и всего дочиста обобрала! до нитки! оставила вот в чем есть... Вот как со мной супруга распорядилась умно!

— Да-а!.. Так вот какое дело!..

— Почитай двадцать лет прожили — и вот как!..

— Да, брат!.. — вполне сочувственно качая головою, сказал фургонщик.

— Как так могло случиться? — оживленно спросил хозяина Пуховиков, кое-как расположившись на голых досках кровати.

— Это ежели вам все как должно рассказать, сколько я, например, принял муки...

— Так расскажите, пожалуйста! — умоляюще воскликнул мой попутчик. — Пожалуйста!

— Ежели это рассказать все подробно...

Хозяин махнул рукой и вздохнул. Но, как будто что-то вспомнив, поспешно проговорил:

— Вот погодите, я сейчас в амбар сбегаю, а тогда опять загляну...

— Пожалуйста!.. — вопил Пуховиков вслед уходившему хозяину.

— Ладно! ладно! — отвечал тот.

III

— Так вот оно какое дело-то! — многозначительно прикусывая язык и покачивая головой, заговорил наш фургонщик по удалении хозяина. — То-то я смотрю, что как будто не такие порядки пошли... Я уж давно не бывал у него... Это сегодня как-то вздумалось, а то я в другом месте останавливаюсь... Так вот оно как!

И покачивая головой, фургонщик с многозначительною миною в лице припал губами к полному блюдечку чая.

— Да! Видно, что его это потрясло! .. — сочувственно сказал Пуховиков. — Что ж он нейдет?

— Придет! — успокаивал фургонщик. — Тут ему нечего делать-то... Вы чего же чаю-то не пьете? — обратился он к Пуховикову.

— Я хочу есть! — ответил Пуховиков. — Пойду искать чего-нибудь...

Мы с фургонщиком остались вдвоем, поджидая возвращения хозяина и Пуховикова. В ожидании их мы молча пили чай, и фургонщик успел опустошить весьма значительное количество чашек, прежде нежели явился Пуховиков с целой тарелкой яиц в руках.

— Нет, — сказал он, в раздумье останавливаясь среди комнаты, — наш хозяин что-то... смиренный, смиренный, а подите-ко, как «идола»-то своего мучает! Я вот сейчас искал его, нет что-то нигде; вошел во флигель, а там люлька висит и эта Марья ребенка качает... Ну действительно качает так, что не дай бог! ребенок катается в люльке, как вот каталось бы яйцо... только кряхтит... то есть, собственно говоря, не качает она, а пихает его с сердцем от себя и к себе, с ожесточением дергает. «Нельзя ли, матушка, яичек мне?..» Сначала покосилась молча, посмотрела на меня, потом говорит: «Вон, возьми под лавкой!» И вижу я — все ее лицо мокрое от слез... «Ты что ж, говорю, о чем плачешь?» — «Как же не плакать, с таким чортом живешь! ..» — «Так ты бы ушла?» — «Да паспорту не дает... Должна, вишь, ему я... рабенок родился, расход ему... А чей рабенок? Не драться с ним, с подлецом... И рабенок-то мой хуже ворога! .. хоть бы помер, что ли, давно б моего духу не было!» И ревет, ревет, заливается! Покуда я яйца из корзинки вытаскивал, досталось нашему хозяину на орехи... Вот, в самом деле, какие бывают нелепые связи!

Пуховиков положил несколько яиц в стакан, облил их из самовара кипятком и вновь расположился на кровати.

— Знаете что? — сказал он оживленно, — пусть только придет хозяин, надобно вывести его на свежую воду... Должно быть, он тиран! Какую могучую девку и как запутал... А ведь по виду кроток...

— Вот погоди, все выспросим! — поддакнул извозчик.

И только что был составлен между Пуховиковым и фургонщиком этот, так сказать, заговор против хозяина, как на крыльце послышалось шлепанье резиновых калош, и скоро в комнате появился подсудимый; в одной руке держал он пузатенький графин с водкой и рюмку, торчавшую между пальцев, в другой у него была связка шамаек и под локтем прижат кусок хлеба.

— Вот, господа, с дорожки позвольте попотчевать... Рыбки? своего вяленья, извольте-кось покушать!

Рыбку и хлеб он как-то искусно, при помощи одной руки, сумел опустить на стол, а сам остался посреди комнаты с графином в одной руке и рюмкой в другой.

— Позвольте вас просить! — сказал он, поднося рюмочку водки сначала Пуховикову, потом мне.

Мы сказали: «После, теперь рано!» Не отказался только фургонщик.

— Что ж это так? — обиженно говорил хозяин, — неужто уж мне за всю компанию одному придется претерпеть?

— Пей сам-то! — сказал фургонщик.

— Ну, видно, надо! Будьте же здоровы! С приездом!

Хозяин медленно выпил одну рюмку за другой и, не выпуская ни графина, ни рюмки из рук, сел в старое безногое кресло, кое-как державшееся у стены. Поза его была такая: откинувшись к спинке кресла и наклонив голову к груди, он сидел как бы в задумчивости, расставив ноги, и на одном колене держал графин, а на другом рюмку...

— Да! вот как, господа любезные, бывает на свете!

Сказав это, он налил еще рюмку водки, выпил, крякнул, плюнул и опять поставил руки с графином и рюмкою в то же положение.

— За твои труды, за твои, например, старания, за всякое попечение возьмут тебя же и огреют поленом по голове! Что же, хорошо этак поступать?

Вопросительно взглянув на нас и, повидимому, не желая ждать ответа, он опять выпил рюмку и все с теми же приемами.

— А почему? — продолжал он, вопросительно взмахивая головой. — А пото-м-му, что нету строжайшего закона! Вот почему! По теперешним временам дозволяется бабам своевольствовать... Поди-ко, тронь ее пальцем!

Что тебе скажет судья? «Да, виновен. Посадить его в часть». А посмотри-кось, что он скажет, ежели ты на бабу жалуешься? «Нет, не виновна, ступай с богом!» Вот нонешние права! Она тебя ограбит с любовником, обворует, разорит, осрамит, а ты — пикнуть не смей! Голову она тебе с плеч снесет — «нет, не виновна, иди гуляй!» (Следует поспешная выпивка двух рюмок сразу.) От этого-то и происходит вавилонское столпотворение!.. Теперича спрашивается: какая же мне награда, что я ее берег, например, уважал, поил, кормил, в наряды ее наряжал? Каждая копейка у меня кровью досталась! Вот все, что тут понастроено, каждая соломинка, все это от трудов! Чего только не пережито на веку! и все старался, чтобы как лучше, чтобы по-хорошему... Чего ей нехватало? Всего, что потребуется, было! И вещи, и золото, и серебро, и земчуг — все было!.. Или не уважал я? Оченно даже почитал и ходил за ней как за кротким младенцем: кажется, всю жизнь волоска не тронул (быстрая выпивка). И вот оказывается с агентом! Обобрала, как липку! Осрамила, разорила; всё выбрали с подлецом из сундуков: и вещи, и билеты, вв-сс-сё!.. Вот какую награду заслужил я за мои труды! А уж, кажется, как малого младенца берег: «Наденька, Наденька, ангел мой! не надобно ли чего? не чувствуешь ли ты какого беспокойствия? может быть, тебе какого варенья или что тебе требуется — ты только мне скажи!» Только, бывало, и слов моих. И вдруг — с прохвостом! Предалась со всеми детьми, оставила меня посереди пустыни!..

Следует выпивка еще двух рюмок, и рассказчик видимо хмелеет.

— Вот награда!

Всем стало как-то очень нескладно на душе и в то же время очень грустно от этого рассказа. Все мы как-то разом вздохнули, и глубже всех вздохнул охмелевший хозяин.

— А какой была ангел! — вдруг нежнейшим голосом почти прошептал он, очевидно впадая в совершенно иной тон и от негодования переходя в мечтательное настроение. — Вспомнишь, вспомнишь! Ну да что уж!.. Провались она пропадом!..

Среди общего молчания послышался резкий звук глотка. Хозяин пил и сидел глубоко удрученный.

— Послушайте, хозяин! — проговорил Пуховиков. — Извините, вас как по имени, отечеству-то?

— Нас? Иван Семенов.

— Иван Семенович! Знаете что? Расскажите по совести, как было дело...

Хозяин поднял голову, слушал и не отвечал.

— Ведь все равно, — продолжал Пуховиков заискивающим тоном, — дело прошлое, чего скрывать?

Продолжая молчать, хозяин стал внимательнее вслушиваться в слова Пуховикова, даже наклонился вперед, чтобы яснее слышать их.

— Вы сами говорите: «ангел была»... и вдруг ограбила!.. ведь это зря не бывает. Как законов нет? За копейку в остроге сидят... Нет, вы уж, пожалуйста, все по совести...

Долго и упорно молчал хозяин и, очевидно, крепко о чем-то думал... Все мы ждали, что будет.

Вдруг он вздохнул глубоко-глубоко, выпрямился на стуле, потом быстро поднялся во весь рост и громко произнес:

— По совести? По чистой совести вам?

— Да-да! Пожалуйста!.. — подзадоривал Пуховиков.

— Все по совести?

Пуховиков опять поддакивал, а хозяин, приготовляясь ответить что-то, но, видимо, затрудняясь ответом, в волнении колотил себя бутылкой в грудь.

— По совести? — громко воскликнул он и столь же громко прибавил: — А потому что... сволочь!

— Кто? — подсунул ему Пуховиков.

— Я! Я сволочь! — грянул хозяин и так ударил бутылкой в грудь, что из нее выплеснуло струю водки.

— Я! Я!.. — кричал он. — Вот кто есть основатель всей подлости!

И в сильном волнении (не разлучаясь, однако, ни с графином, ни с рюмкой), охмелевший хозяин почти упал в свое кресло.

— По совести вам? так вот как: у нее была спервоначалу душа чистая, а у меня душа была грязней грязи! Я собственно потому и вовлек ее в брак, что душа-то моя почернела, так мне требовалось около чистого приютиться... Вот я и выдернул ее из грядки за хохол, как редьку!.. Да к себе в берлогу! А она не мне чета была!

Не по себе я брал товар!.. Я к грязи с детских ден приучен! Чай, знаете Валдай-город? Ну так у моих родителей три трактира там было с органами... И грязи, и греха — не приведи бог, сколько было!.. А она, Надежда-то, дьяконская дочь, смирная, тихая, умная, обученная, сама чистота небесная! Все у нее, бывало, что-то светит в глазах-то! Ей-ей не совру, скажу вам: сидит, бывало, читает книжку, а надо лбом у нее (вот это самое место) точно что летает... ей-богу, не вру! Привлекала меня вполне... Ну я с дьяконом и так, и эдак... сладили! Живем посупружески, а вижу не то! Кажется, уж по женской части понимал? А не то! У, как строго надо!.. Тут надо не то, что поступать чисто, а и думать-то чисто надо... вот тогда будет прок! А о чем мне думать? Приобык я к грубости, к своевольству... Стал я пред женой представляться вроде серьезного человека... И верила ведь!.. Тянет меня учиться, а я уж всему научен!.. Завлекла меня к помещику (еще в девицах она у них живала), школу смотреть, с учителями разговаривать... Прямо сказать, добрые были люди, настоящие... Истинно добро хотели творить. Вот и ее туда тянет к ним. А мне с ними смерть! Меня тянет в кухню, к бабам, взять балалайку да с Матрешкой сдействовать ухарскую! Ведь кто к этому приобык, так ведь с бабами, девками гулять — ух, как вихорно-хорошо! Понемножку, полегоньку, то каблучками, то ладошками, так тебя начнут потрогивать, подергивать, поворачивать — и не опомнишься, как словно в облаках без памяти плаваешь... И-и-их, бывало, как в рощах мы гуливали!.. Терпишь, терпишь дома, да как дашь себе бенефис...

— Зачем же бенефис-то? — с упреком заметил Пуховиков.

— Да ведь хорошо! дюже хорошо этак-то колесом под облаками-то шарахнуть! Ах, братец ты мой!..

— Да, точно, — проговорил Пуховиков, — кажется, действительно не по вас она!

— Нет, братец ты мой, не так! Мне без нее тоже невозможно... У меня так: от вольной жизни тянет к ней, а от нее к чорту в зубы призывает... Вот ты что разбери!.. Я бы и с ней соскучился... и с моими актерками стосковался, вот какая моя природа! Оно бы и ничего, все бы честь честью шло, только вот в ней-то своя за-

гвоздка сидела. Тянет ее к учению да ко всему хорошему! Книжка ей требуется, так ее и подмывает к этим самым господам пойти, так у нее на лбу-то и летает этот дух-то благородный! Я бы сам-то как-никак преоборол себя, это мы можем; иной раз четверть водки осадишь, придешь к родителю, а рыло точно у схимника, чист и свят! Да она-то вот все в сторону, все своей дорогой... Думаю, определить ее к трактирному делу, посадить за выручку? Потому родитель к тому времени помер и дело в моих руках было. Огрязнеет! а мне нужна чистая!.. Ну пока что жил, терпел — «пусти да пусти к господам!» Раз не позволю, два не позволю, в третий — нечего делать, пойдем вместе. Она ускользнет к молодым барчукам, барышням и к прочим студентам, а меня только вот икота колотит... И стал замечать, что склоняется она к одному, например, человечку... «Ах, говорит, какой превосходный Митрофан Иваныч!.. Какой умный!..» А парень, точно, умственный, головастая тварь, нечего сказать... Воротит от этих слов все нутро во мне, а чем ее отшибить? не придумаю, способов нет! По наукам ничего не соображаю, разговора не понимаю ихнего, а вижу, что тянет, тянет ее туда, вижу, что там ей место настоящее... Что тут делать? Представилось мне так, что беспременно она от меня «уйдет!» И ушла бы, и беспременно бы ушла — это верно! (Ведь ушла же таки!) Да бог мне в эту пору помог... Наткнулся я в нашем трактире на двух наших же мужиков. Сидят, чай пьют, расспрашивают. «Жив ли такой-то? А такой-то где? А этот-то помер или нет?» Да вы-то, мол, кто такие сами-то будете? Ну, слово за слово, рассказали они все. Убежали они вдвоем из наших мест лет пятнадцать тому назад и попали в Турцию; и теперь вроде турецких подданных и с турецкими паспортами опять въехали в Россию, приписались на Кавказе и живут припеваючи... Наговорили они мне про этот самый Кавказ неведомо чего: и места много, и всего много, и вольно, и богато... рай! Забрало меня за живое! Думаю: «Затащу я свою Надежду в неприступные места, сохраню ее от прочих народов для себя, и никакой чорт нас не разыщет!..» А у меня характер горячий. Влетело это мне в башку, даром не лежало. Обтолковал я это дело с земляками, расспросил, распродал имущество, маменьке оставил часть, урезонил

ее под тем предлогом, что, мол, еду в Москву торговлей заниматься, да и юркнул сюда в степь и жену уволок с собой, оторвал ее от своих мест...

Рассказчик подкрепил себя рюмочкой.

— И стали мы, братцы мои, жить с ней наново... Шибко она убивалась по своим местам!.. Ну, однакож, хлопот было много, и, наконец, дети оказались, один за другим, два мальчика... Так мы жили долго... У меня заботы много хозяйской, у нее одна забота — дети. Вся им предалась, вся, значит, затихла, присмирела... Куда тебе книжки!.. И жили мы перво-наперво вот в этом самом месте, где теперь разговоры разговариваем; а потом флигель отделали новый, а со временем и жильцов стали пускать... Поживши таким родом, соскучился я об своей стороне, задумал поглядеть, как живут земляки. Деньжонки, слава тебе господи, были, я думаю: «поеду в свои места, разузнаю, душу отведу»; здесь хоть и хорошо, а все свои места милее. И опять же задумал и сейчас за дело взялся.. Флигель новый сдал агенту, этому самому мошеннику-то, на пять лет по двести по тридцать рублей, хозяйство передал жене — и с богом. Чтобы у меня об ней мысль какая вредная была — ни боже мой! Хозяйство и ребята так ее прекратили, даже и подобия не осталось, стала стареть моя бабенка. А мне за ней, как за каменной стеной, спокойно... Поехал. Дороги железной в ту пору не было до самого Воронежа. Езда долгая. Ну кое-как добрался до дому, разыскал своих, да без малого полтора годика и прогулял в родных-то местах! Любо, братцы мои, показалось мне в своих местах! Дома у меня заботы нет: жена отписывает и все хорошо, чего ж мне? И так я преприятно погулял — век не забуду! Даже. уж что греха таить? говорю вам как на духу.. прихватил из своих мест себе обновочку... сманил я ее, думаю: «Воткну ее где-нибудь в хибарке, у старой вдовы, казачки, пускай живет, — все мне будет отдохновение...» Ну приехал, обновку свою приладил в непроходимых местах, стал жить, н-но замечаю, что в моей бабе опять старое стало открываться, опять мысли появились... Слышу: «Дети уж большие растут, учить надо... Альфонс Федорович беспременно, говорит, учить надо... Как так, мои дети мужиками будут, невежами?..» Изволите видеть! Заиграла в ней старая струна, только

уж в детях... И опять Альфонс Федорович какой-то появился... А это агент-то, анафема! немец! Сидит, собака, циркуль возьмет, круг обведет, линейкой подчеркнет — шут его знает, чего он там делает, а она только ахает: «Вот кабы моим детям так-то!..» И стало так: то немец к нам, то она к немцу с мальчишками... И идет промежду них опять же такой разговор совсем не по моей природе — потому что понятия у меня нет. . Дальше — больше, слышу, люди говорят: «Поглядывай, мол, Семеныч, — у твоей жены с немцем не очень аккуратно происходит!» Кухарка тоже не вытерпела, объяснила: «Она, говорит, без тебя беспеременно у немца. и он у ей... в полночь... за полночь». Побожилась, что немец в окно лазил. Ах, пропади пропадом! Рвет меня опять на части, что ты будешь делать! Хоть и есть у меня на стороне, а без такой бабы, как жена, нету мне житья! Раз эдак был выпивши (нахлестался у своей...), пришел домой; Надежды нету. «Где?» — «У немца». — «Сходи, призови». Пошла кухарка: «Сейчас!» Прошло два часа — нету. «Сходи!» — «Сейчас!» Опять нет! Пошел сам, вытребовал, думаю: «Погоди же, я с тобой сыграю штучку!» Принял на себя довольно кроткий вид и говорю: «Ты мне, Надежда, говори все по совести и не бойся. Какие у тебя дела с немцем завелись?» Удостоверил ее всячески, чтобы нисколько ничего от меня не опасалась. Тут она вся загорелась от радости — и поверила... «Я, говорит, без него жить не могу... Он моим детям лучше тебя отец... От него в час услышишь то, что ввек не узнаешь с тобой живши... Отпусти ты меня, друг ты мой, к нему с детями совсем! Я ведь твою подлость давно знаю, все терпела... Я из жалости к родителю за тебя пошла. Ты и теперь, говорит, любовницу держишь, какой детям ты пример! А Альфонс-то Федорович — он из них людей сделает... Он, говорит, так их любит, так заботится, что за это за одно я ножки у него целовать буду...» Говорит это, плачет, меня обнимает, а у меня все нутро горит, огнем полыхает! Однакож продолжаю доходить до корня. «Хорошо, говорю, отпущу! А чем вы жить будете?» — «А ты, говорит, нам все мое отдай!..» И на это я ей также по вкусу ответил: «Хорошо, говорю, показывай же, какие бы ты вещи взяла и какие мне оставила?» И сейчас она в одну минуту сундуки распахнула, разворочала

и, точно в самом деле уходить ей пора от меня, со всяким спехом принялась разбирать... Вот на этой самой кровати, что вы изволите лежать (он кивнул Пуховикову), принялась она раскладывать имущество: «Это твое, а это вот мое... Это тебе оставляю...» Венчальные свечи мне оставила... Перебрала все, в сундуках, в чуланах, горит вся от радости! «Ну, говорю, теперь ты свое сложи в особое место, а мое в особое». Все — живым манером! «А когда, говорю, уходить хочешь?..» — «А сейчас, говорит, у Альфонса Федоровича спрошу...» Тут я встал (рассказчик встал и, поставив на стол графин и рюмку, с каким-то разбойничьим, даже палаческим жестом засучил рукава и сжал огромный кулак...), встал я, засучил, поплевал эдаким манером — да ррраз по морде! да два! да трри... да до тех пор, пока кровь из нее, как из зарезанной, хлынула! Тут на крик прибежал немец, соседи — и боже мой, какой вышел скандал!..

Рассказчик опять овладел графином и рюмкой и освежил себя двумя огромными рюмками.

— Немца выгнал вон, а жена лежит, молчит, умирает... Никогда я так не плакал, как над ней!.. Уж господи! только бы жива была! Все хозяйство бросил, запустил... Дал обет пешком сходить в Новый Афон, ежели выздоровеет. Пролежала она в постели без малого год... кое-как отходили. Молчит, ни словечком не вспоминает (а в себе все затаила!..). Я уж и не знаю, как мне самому-то позабыть мои грехи... Вытребовал из дому родителей ейных, отца и мать, покаялся, молебен отслужили и ее уговорили все позабыть, и в ноги она мне поклонилась... Как поклонилась она мне в ноги, тут и я отдох, думаю: «Ну все слава богу!» И пешком ушел богу молиться на Афон. Родителей ейных отправил, отблагодарил, все как должно. Возвращаюсь домой — проходил я шесть недель — хвать, и след простыл! Ни жены моей нет, ни детей моих нет, ни сундуков, ни меху! Ничего! чисто! бросила все на старуху работницу — оставила меня без всего! Вот и конец делу!..

Рассказчик замолчал и поник головой.

— Так вы ее и не видали?

— И видал! и детей своих воровал! и сюда привозил! и сейчас у меня судом дело идет — и все ничего! дети уйдут. сама пьет!

— Стала пить?

— Пьет!.. Потому немец-то преобразил ее не то что в любовницы, а хуже кухарки она у него теперь... Он как завладел имуществом-то, сейчас его в деньги оборотил, какую-то контору комиссионерскую открыл, а ребят моих агентами пущает. Одним словом, запряг очень хорошо всех... Все это он покорил, а жена-то уж ему и не нужна... Сказывают, невесту ищет... Так все пошло прахом! А моя-то все в черном теле... Попивать стала, а нейдет: «Все при детях помру...» Любит его, подлеца! Что поделаешь? Умен, вишь, мошенник!.. Вот тут и разбирайте!

С глубоким вздохом рассказчик посмотрел на графин, но графин был пуст.

— Вот теперь и доживаю век кое-как с Машкой, идолом! Ругаемся с ней как собаки, а живем!

— Зачем же ругаться-то? — заметил Пуховиков.

— Да когда во мне все нутро ругается?

— А как она не стерпит да уйдет?

— Не уйдет! Ее, как собаку на цепи, рабенок держит...

Хозяин поднялся с кресла и нравоучительным тоном сказал нам:

— Эх, господа, господа!.. Человек-то ведь, мужик ли, баба ли, все одно, мало ли чего хочет, да не выходит по желанию-то!.. И ушла бы Машка, да рабенок! И прогнал бы я ее сам, да холодно мне будет! Я вон желал мою Надьку получить и получил, а что сталось? И она своего немца получила, тоже проку мало... А ведь по желанию!.. А вот в дураки попасть, этого я не желал, да и Надька в пьяницы не стремилась... А между прочим, извольте видеть, что оказалось!.. Эх, матушки вы мои! Человеку-то всего хочется, да не выходит! А я говорю: нужно утвердить закон, чтобы ни боже мой!.. Живи по форме, вот! И будет порядок... А нынче что? Вот теперича Машка непременно дверь приперла изнутра! Уж это будьте покойны!.. Ночуй, мол, пес, под забором... Н-ну, этого позволить я не могу!..

Хозяин взялся за графин, но еще раз убедившись, что он совершенно пуст, с сожалением проговорил:

— Аль пойти нацедить? Я ее разбужу! у меня тут припасено поленцо... Небось очнется!

— Нет, — сказал Пуховиков, — пора спать! .. Поздно!

— О? А то по рюмочке?

— Нет уж, Иван Семеныч, будет! — проговорил фургонщик и, помолившись на образ, собрался уходить...

— Ну, ин не надо! Ну, стало быть, спите!.

Хозяин ушел, простившись с нами и захватив с собою пустой графин и рюмку..

IV

Затхлый воздух флигеля и неудобные нечистые кровати, с голыми нечистыми досками, навели нас на мысль ночевать в фургоне. Фургонщик сам вызвался уступить нам свое место и уверил нас, что он найдет, где выспаться.

Скоро мы улеглись; ночь была чудесная, светлая, теплая, воздух свежий, напоенный опьяняющим запахом сена; улеглись мы удобно, уютно и, вероятно, крепко бы заснули, но в самом начале сладостной дремоты нас разбудил хозяин. Он ходил по двору и ругался, негромко, но достаточно слышно: «Погоди, анафема! .. заперлась! .. Погоди!» И вслед за тем раздался громкий стук, вероятно, поленом или камнем в дверь флигеля. Ответа, очевидно, не последовало, потому что опять хозяин ходил куда-то, конечно, не переставая ругаться, и спустя некоторое время принялся стучать кольцом двери... Не меньше часа с промежутками то потихоньку, то «во всю мочь» гремел он кольцом и все-таки ничего не добился...

И в третий раз пошел он по двору. Но на этот раз он воротился с большою охапкою сена и с неизменной угрозой — «погоди!» улегся на крыльце флигеля, подостлав сено и укрывшись армяком.

Вся эта возня помешала нам заснуть, и, побранив беспокойного хозяина, мы стали сначала курить, а потом и разговаривать...

— Да, да! — задумчиво сказал Пуховиков, — «всем надо всего, и ничего не выходит!» Это правду сказал хозяин. Я, знаете, даже хотел написать об этом сказку... Теперь ведь сказки в моде: вопросы большие и неясные,

а для этого нет более удобной литературной формы, как сказка. Вот мне и вздумалось... Я ведь пробовал пописать, да все что-то не выходит...

— Ну и что же со сказкой?

— Да по обыкновению ничего не вышло... Хотите я вам расскажу в общих чертах?

— Пожалуйста!

— Ну так слушайте!

11. НЕ БЫЛЬ, ДА И НЕ СКАЗКА

I

...Быль это или небылица, — начал мой дорожный собеседник, — сказка или сущая правда, решительно определить не могу; не могу ничего определенного сказать даже о том, каким образом эта не быль и не сказка удержалась в моей памяти, так как положительно не знаю, кто кому рассказал ее: я ли сам рассказал ее себе, или, как мне иногда кажется, рассказал ее мне один маленький садовый цветок, или же, наконец, я сам рассказал ее маленькому садовому цветку? Достоверно одно, что разговаривать с цветком по-человечески невозможно, и я очень хорошо помню, что в продолжение всей этой истории ни с моей стороны, ни тем более со стороны цветка не было произнесено ни единого слова, даже звука, и тем не менее между нами произошло нечто такое, что в моей памяти запечатлелось как случившееся в действительности. И вот как все это произошло.

II

Очень хорошо помню, что, приказав как можно скорее запрягать лошадей, я, не раздеваясь, присел на жесткий диван в комнате для проезжающих на почтовой станции при Н-ской станице. Писарь предлагал мне ночевать, откушать чаю, но я только рукой махнул и еще раз повторил мою просьбу как можно скорее прописать подорожную и ехать: мне во что бы то ни стало хотелось в тот же вечер попасть в губернский город, и не в город собственно,

а в гостиницу, в мало-мальски опрятную и покойную постель, и заснуть в ней так, чтобы проспать целые сутки — так я был утомлен продолжительным путешествием и обилием впечатлений. Остановиться же на ночлег на станции я не решался: мне нужен был безусловный покой, а тут, в этой комнате для проезжающих, поминутно будут входить и выходить проезжие, будут стучать об пол сапогами, чемоданами, сундуками, тогда как меня всем существом моим тянуло к сладкому, мертвому сну. Вот почему я, несмотря на крайний предел утомления, решил перемочь себя и во что бы то ни стало сегодня же добраться до настоящей постели.

Но едва я присел на диван, как почувствовал, что мне не уехать. Сел я неловко, притиснув свой локоть к неуклюжей ручке дивана и до крайности неудобно подогнув ногу, — и не мог уж поправиться: тело мое отяжелело, я чувствовал его непомерную тяжесть, не ощущая в нем и признаков жизни. А в то же время в моем мозгу шла какая-то неумолчная, ни на секунду не прекращавшаяся работа: впечатления виденного, слышанного, пережитого, передуманного не то чтобы угнетали или волновали мою голову, а как-то назойливо, надоедливо и бесплодно вертелись в ней; сердце совершенно не участвовало в этой работе, не выбирало в массе этих впечатлений того, чего ему нужно (ему, вероятно, было трудно разобраться), а без этого посредника между телом и духом я не мог ничего иного чувствовать, кроме мертвой тяжести тела и бесплодных мучений головы.

Я сидел, слышал, видел, но ничего не понимал и не чувствовал: в открытое окно, к которому вплотную был придвинут мой диван, я видел станичные сады, все в цвету, соломенные крыши, беленькие мазанки-домики, а под самыми окнами какие-то цветочки, кусты малины. Я видел все это и даже особенно пристально смотрел на какой-то ничтожнейший цветок, который первый бросился мне в глаза, и не ощущал ни в чем ни хорошего, ни худого... Видел я, как входил ямщик с объяснением, что лошади готовы; потом видел, как он втаскивал в комнату мои вещи, видел, что ямщик был мокрый, что тишина и блеск солнца сменились порывами ветра, сумраком набежавшей тучи и проливным дождем и градом, который беспощадно измочил мне руку и бок, обращенные к окну,

облив водою весь подоконник... Видел, как ветер гнул деревья, кусты, сбивая с них цвет, и точно снегом усыпал им грязную улицу; видел, как ветер стащил со столика под зеркалом скатерть, погнал по полу скомканный газетный лист с остатками моих папирос, распахнул дверь в сени, — все это я только видел и ровно ничего не чувствовал.

И вдруг что-то как будто теплое шевельнулось у меня в сердце.

Опять было тихо, опять светило солнце; но цветок, на который я так упорно и бессмысленно смотрел до сих пор, был сломан и весь оббит градом, изуродован и, очевидно, убит.

Я почувствовал, что именно он тронул меня за сердце; оно ожило, проснулось, и бесплодно изнурявшийся в обилии впечатлений ум тотчас же стал работать в том направлении, какое выбрало сердце; пришел хозяин, наложил на бесплодно вращавшееся маховое колесо передаточный ремень, и вся механика пошла в ход.

III

Каким образом гибель цветка, происшедшая на моих глазах и тронувшая меня за сердце, стала выделять из массы накопленных мною дорожных впечатлений исключительно впечатления так называемых семейных расстройств, решительно не могу объяснить в настоящее время. Знаю только, что едва «пришел хозяин и наложил передаточный ремень», как мне стало вспоминаться бесчисленное множество всевозможного рода семейных терзаний, до глубины души мучительных и до глубины души оскорбительных... «Прогнал, взял другую, живет с двумя... Детей бросил... Бросила детей, ушла... Шарахнул ее с балкона...» И все это на всевозможного рода жаргонах — и со смехом, и со слезами, в самых разнообразных обстановках, разнообразных слоях общества. Все это стало сбегаться в моей памяти в одну точку, в одну сжатую черной рамкой картину, глядя на которую и пересиливая в себе чувство горя и отвращения, я почему-то невольно начинал думать, как наш несчастный хозяин постоялого двора, у которого ушла жена: «Чело-

век, братец ты мой, всего хочет, да не выходит этого, вот беда!..» И тотчас после того, как во мне мелькнула эта мысль, я невольно и еще более пристально, чем прежде, устремил мой взгляд на цветок и услыхал следующее:

IV

— Не выходит! Ишь ты ведь, *всего* им подавай! Ровно ничего не выходит, вот как надобно говорить, а не то что всего! Жирно будет!

Собственно говоря, я ровно ничего не слыхал, ни я не говорил ни с кем, ни со мной никто не говорил; цветок, разумеется, молчал не хуже моего. Но под его впечатлением и под впечатлением моей мысли между нами происходило что-то похожее на разговор, какой бывает иногда во сне: всякому случалось во время крепкого, непробудного сна слушать чей-то разговор, чью-то иногда продолжительную беседу, вы спите крепко и в то же время, как посторонний, присутствуете при чьем-то разговоре, следя за ним с напряженной внимательностью; звуки голосов никогда не остаются в вашей памяти; разговор идет, так сказать, без звука, даже лиц никогда нельзя упомнить, да большей частью их и нет при таком разговоре; но слова, хоть и без звука, вы слышите явственно, точно и, проснувшись, можете кое-что припомнить из этого разговора. Нечто подобное происходило и теперь: я присутствовал совершенно как посторонний, чужой человек, человек, наблюдающий со стороны, при разговоре, который молча, беззвучно происходил во мне же самом, но который благодаря цветку слышался мне вне меня.

— Налетела туча с градом, изуродовала, искалечила, — слышал я далее (и с величайшим любопытством), — и, конечно, приходит смерть... Что говорить! прискорбный случай, несправедливость! А разве не то же бы было, доживи *мы* до конца дней?

— Кто мы?

— Да мы с женой.

— Да где же вы? Где жена, где муж?

— Да мы тут, оба, вот на том самом месте, где градом-то нас свалило... Оба мы теперь преждевременно погибаем; да если бы, говорю, и до старости дожили,

до зимы, до снегу, так бы вспомнить было нечего. Жили, жили, мучились, мучились, а в конце концов — никакого смысла!

Я слушал.

— Да! Покуда мы с женой были в самом деле *два* — она да я, — ну все еще ничего. И она и я чего-то ждали от жизни. Ну а уж как вышло едино... Да вот я про себя подробно расскажу...

— Да ты-то кто?

— Теперь я никто, а когда я был один, я был... просто цветочная пылинка.

— Цветочная пылинка — это женского рода, и нельзя говорить «был».

— А Джон Ячменное Зерно? — какого рода? Я ведь тоже зерно, только маленькое.

— Ну ладно! — прервал я разговор о грамматических тонкостях. — Так что такое было, когда ты был один?..

V

— О, тогда было совершенно иное дело! Помню, я вступил в свет во время одного свадебного вечера; как раз за этим забором в саду стоит дом станичного атамана; матушка моя жила в этом доме на окне вместе с другими цветами, конечно, в горшках и, конечно, в холе: поливали, поворачивали к свету, все как следует. Я, конечно, рос также в полном достатке, и вот в жаркий летний вечер, именно когда станичный атаман выдавал замуж дочь, я незаметно появился в шумном веселом обществе; за говором и смехом никто, конечно, не слыхал, как чуть-чуть лопнула почка и как из нее понеслась в воздух пылинка. Но я был в восхищении: как раз спиной к окну, на котором стояли цветы, сидела пара (танцевали кадриль), и меня угораздило усесться на великолепнейшие плечи (ведь теперь декольте во всех сословиях принято и насчет плечей также во всех сословиях стало довольно откровенно). В шестой фигуре расходившийся кавалер-казак, воспламененный дамой, своим свирепым дыханием сдул меня на другие, не менее прекрасные плечи, там на третьи... Словом, чего только ни переслушал, чего только ни перевидал я в этот вечер! Смешно,

занятно, весело, глупо! Не помню, как я очутился на чьих-то усах. Не помню, каким образом с этих усов стянула меня к себе на подбородок какая-то ревнивая дама, страшно задыхавшаяся в упреках этим самым усам, — не помню, долго ли все это продолжалось, только в конце концов эта самая азартная дама своим азартным дыханием сдула меня куда-то в непроходимые дебри своего туалета и на всю ночь погребла в глубине своих юбок, с сердцем брошенных около ее кровати после бала. Всю ночь я присутствовал при ужасающих сценах ревности и думал, что задушат меня эти проклятые ревнивые юбки,— но что значит молодость! Утром, когда пришла горничная и взяла барынино платье, чтобы «выколотить» его на дворе, одного удара шлейфом о перила балкона было достаточно, чтобы я как ни в чем не бывало вырвался из этой тюрьмы и взвился в поднебесье... Даже самая грязная грязь не могла сокрушить во мне светлой радости жизни. Иной раз ветром занесет в кабак (видите, вон стоит на левой руке?), не успеешь оглянуться, как пьяное казачье уже втопчет тебя в грязный пол, вколотит своими «казачками», трепаками и каблуками в самую глубину грязи, — думаешь, погиб — ничуть не бывало! Придет мужик со скребкой, поскребет, потом шаркнет на улицу весь этот мусор, а здесь золотой ветерок подхватит, и взовьешься, взовьешься над грязью... Словом, вся жизнь была мне открыта, ничего я не сторонился, ничего я не боялся, все хотел видеть, обо всем хотел думать... И все видел, и думал обо всем, и все критиковал; но, собственно говоря, не жил еще. Да куда! И думать не мог жить такою жизнью, какую я тогда видел своими глазами; вся она была мне просто смешна... Где было мало-мальски хорошее, я, конечно, был там; где было худое — я шел мимо, но варить из того и другого бессмысленную кашу, называемую *ими* жизнью, — слуга покорный! Лучше я посмеюсь; и я весело смотрел на белый свет, пока не встретил ее...

— А *она* кто была?

— Она была очень несчастная девушка — худенькая, белокуренькая, изможденная и забитая деспотическим давлением. Она, что называется, чахла и была одна из тех, про которых доктора чуть не с детства говорят, что у нее чахотка. Кому неизвестны в наших семьях девушки, как бы

обреченные на то, чтобы исчахнуть и лечь в гроб девственницей? Вот и она была такая же. Вот на этом самом месте, где мы теперь умираем, лет двадцать подряд была навалена куча кирпичей, и хозяйка этого дома (после ее смерти сын сдал дом под станцию), злющая баба, целые летние месяцы варила варенье; горящие уголья и камни угнетали, жгли и иссушали этот маленький лоскутик земли. Когда же, наконец, старая кочерга издохла и станционный смотритель растащил кирпичи и угли, тогда только *она* увидела свет белый, но в каком виде она была: худа как щепка, почти бескровна, безжизненна, отчаявшаяся жить на свете...

— Кто же она-то? Я все-таки не понимаю...

— Да земля! Господи боже мой, как же не понять этого?

VI

— Как же вы сошлись с ней?

— Обыкновенно как. Носишься, носишься, летаешь, летаешь, а в конце концов нет-нет да и почувствуешь, что ведь это не жизнь. Насмехаешься, наблюдаешь, думаешь, мечтаешь, но постоянно остаешься одинок перед этим потоком осмеянной и раскритикованной жизни. Ощущение оторванности от общего потока жизни иногда доходит ведь до отчаяния. «Боже мой, — думается в такие минуты. — Хоть бы я кому-нибудь и на что-нибудь понадобился». И замечательно, что такие минуты особенно тягостны для молодых людей весною... На беду бывают особенно темные вечера, также больше в конце весны, в которые просто не знаешь, куда деваться. Вот такой денек выдался и в моей жизни; с утра солнце выделывало чистые чудеса: и нежило, и сверкало, и играло, и пело — ума помраченье! Носился я в этот день как угорелый и к вечеру попал вот в этот сад, рядом с садом станичного атамана. Там тоже премиленькая девушка, совсем невеста. Целый день они с одним молодым человеком провели в самом превосходном настроении духа: бегали, играли и хохотали... Но вот настал вечер — тишина... духота... тьма... Слышу, перестали смеяться — плачут... Он говорит: «Сейчас застрелюсь!..» Она говорит: «Уйдите!..» — «Утоплюсь!» — и побежал. «Нет!

нет!» — Воротился... Хныкали, целовались, плакали, вздыхали... Пробрало и меня горе-горькое!.. Пробрала и меня тоска одиночества... Тьма безысходная, как тьма этого вечера, лежала у меня на душе... Откуда-то пронесся, или, вернее, медленно прополз сквозь кусты и деревья, широкий поток воздуха, как бы чье-то могучее дыхание... Подняло меня оно, это дыхание, принесло сюда к ней... Над ней тогда стояло дерево, тоже все поджаренное проклятой жаровней (недавно смотритель срубил его), принесло и опустило на листок. И стало опять неподвижно, душно и тяжело... Я видел ее ясно, измученную, иссохшую, и на душе у меня было еще тяжелей... И не знаю, потому ли, что там, в соседнем саду, откуда меня унесло, тяжко вздыхали и плакали, или потому, что заплакало, наконец, и темное небо, медленно, тихонько, но непрерывно роняя свои слезы на землю, на листья, захватило и у меня в горле, прошибла и меня слеза... Все плакало кругом в ароматической жаркой тьме... И не помню, как случилось, что, весь в слезах, я, унесенный слезами неба на заплаканную землю, почувствовал, что ко мне простираются слабенькие ручки, исхудалые, мокрые от слез, падавших из глаз...

VII

— Утро было великолепное. Солнце опять творило чудеса. Насыщенная земля пьянела от жарких паров; все растущее блестело полнотою сил и соков, рвалось к жизни и свету. И если бы вы в это утро заглянули в тот уголок, где когда-то торчала проклятая жаровня, то вы увидели бы, что *она* не умерла от чахотки, не исчахла, — напротив, пустое и иссохшее место было влажно и оживлено: маленький, зеленый росток веселым, живым глазком посматривал на божий свет.

Это — были уже *мы*!

VIII

— Хотел бы, очень бы хотел я рассказать про эти хорошие дни, но что прикажете делать — одолевают воспоминания совершенно другого рода!.. Одолевают

и затуманивают ясные дни, и мне сию минуту так тяжело вспоминать то, что вспоминается, что я пока не стану говорить о себе. А вот на что обратите внимание: барышня и молодой человек, о которых я рассказывал, также в конце концов сочетались браком, несмотря на все эти «уйдите!» и «застрелюсь! ..» Сочетались и тоже, разумеется, «блаженствовали» с месяц времени... Потом, гляжу, — Иван Андреич, с портфельчиком подмышкой, сгорбившись, хвост поджавши, зайчиком попрыгивает в мировой съезд защищать купца Чисторылова, не уплатившего рабочим следуемых денег и заставившего их ходить по миру... Что за перемена такая? Оба они, и он, и она, были просто прелесть: добрые, милые, гуманные; читали все хорошие книжки, думали о людях хорошо, светло, и вдруг он уже бежит зайцем и уже вопиет к господам судьям о том, чтобы они покарали неправду в лице мужиков и возвеличили правду в лице кулачишки... «Что это вы, Иван Андреич, как переменились? — спрашивают его. — Узнать нельзя... Нездоровы?..» — «Нет, ничего... Хлопот много. Дела. Семья! ..» — «Что вас не видать? Нет ли у вас такой-то книги?» — «Куда тут! До книг ли... Вот женитесь, так узнаете, какие такие книги...» Что же это означает? Чего он испугался, отчего вдруг забыл всякую справедливость, съежился, похудел, очерствел, одеревенел и махнул рукой на все святое? .. Что его так внезапно приплюснуло? Говорит: «жена!» Но что же такого в ней ужасного?

Или вот еще извольте о чем подумать: пишут в газетах, что при французском военном министерстве образуется особый корпус офицеров, который будет то же самое, что в допотопные времена были летучие ящеры: будут летать на воздушных шарах и колотить оттуда мирных жителей бомбами с панкластитом или еще с каким-то новоизобретенным составом, который в сто раз сильней пороха... Жалованья летучим ящерам будет 350 франков пармуа и столовые, а если хорошо будут действовать, то есть попадать прямо в точку, размазживать народ сотнями тысяч, так и прибавка будет и лежион д'онер преподнесут... Спросите-ка этого летучего ящера — из-за чего он свирепствует? Он непременно ответит вам одно: «Фамий!» Хорошо. Пойдем посмотрим, что за кровопийцы те, из которых эта «фамий» состоит.

Что же оказывается? Очень миленькая дамочка Жюльетт и бебе, только и всего! И они послали своего мужа и отца свирепствовать под небесами? И не думали! Посмотрите-ка на них: в то время как летучий ящер прицеливается торпедой в мирных обывателей (не в Жюльетт, конечно, а в Амальхен), они, Жюльетт и бебе, оделись, как куколки, взяли зонтики и пошли гулять в Люксамбург... Погуляли, посмотрели Петрушку, причем и мать и дочь одинаково смеялись, заглянули в магазины на шляпки и на куклы и воротились домой... Вышла неприятная сцена с бонной из-за того, что у бебе с утра был красен носик... Конечно, виновата бонна. Затем написали летучему ящеру письмо, в котором только всего и было сказано, что «мы пошли», «пришли», «ушли» и что «бонна виновата»... Из-за чего же он-то летает под облаками с торпедами? Какой чорт его занес туда? Из-за чего он мозжит людей?

Фамий!

Как вам это покажется!

Так как никто ничего в сущности не говорил и не спрашивал, то на несуществовавший вопрос мне не приходилось и отвечать. Я продолжал безмолвствовать и слушать.

IX

— Не могу выразить, до чего это трудно. Едва только из «нее» и «меня» вышло одно *мы* и едва мы на некоторое мгновение ощутили действительную цельность и полноту жизни, — смотрю: что-то мне становится страшно, холодно и одиноко... Она со мною неразрывно, но я опять одинок... В то время как ее, зеленый росток с вострым живым глазком, потянуло *в стебель*, к солнцу, к теплу, к плодородию, — я, этот критик, насмешник, либерал, радикал, утопист и нигилист, гордец, протестант и вообще чорту не брат, превратился *в корень* и полез куда-то в землю, на какую-то темную хлопотливую работу, побежал, как заяц, в мировой съезд защищать купчишку Чистомордова, стал бормотать: «Правда двадцатого ноября!», «Правда пятнадцатого октября, декабря!» Если бы мне

предложили сто рублей и столовые, чтобы я превратился в летучего ящера, право бы я ни минуты не задумался.

А взбунтуйся я, прекрати мою черную работу — она исчахнет, а это ужасно, это убийство, это собственная моя смерть; умри она — жизнь моя бесцельна, глупа, и на какой чорт мне купчишка Черноплюев?

Надо жить!

Право, мне кажется, что «в нашем обществе» он и она сходятся только до брака; то есть до брака они употребляют всевозможные усилия найти друг между другом что-нибудь *общее* — в книге, в мнении, во взглядах; и стремясь к этому общему, под давлением врожденного стремления к полноте существования, делают друг другу всевозможные уступки, выравнивают обоюдные общие взгляды и, теоретически однородные, наконец, образуют из себя одно *мы*; но тотчас же начинается жизнь, практика жизни, — и роли того и другого опять расходятся совершенно в разные стороны! То же было и с нами: она пошла в тело, стала полнеть, накапливать сил для будущего поколения — в этом сказалось *ее дело; мое дело* сказалось в необходимости добыть материал для ее сил, и вот мы стали расходиться — она в стебель и цвет, а я в корень, она к солнцу, я во тьму... И постепенно между ее и моим делом стала образовываться пропасть.

X

— Первое время после того, как мы сделались *мы,* было еще довольно сносно. Еще я не глубоко ушел в землю; до меня еще доходили людские разговоры, я еще мог сочувствовать чему-то, думать о чем-то общем, о чужом, общественном и в то же время не скучал, работа была не совсем неприятная (достали перевод с французского)... Но моей жене стал застить пень, оставшийся от того самого дерева, на котором я когда-то плакал, — она не видела солнца, боялась малокровия, а в книге «Уход за детьми» сказано, что малокровие передается по наследству; это ее до чрезвычайности волновало, да и я также трепетал, и вот нужно было квартиру на солнце; перевод не давал соответствующего вознаграждения, и я должен был искать должности присяжного поверенного..

Я бегал и искал, как угорелый; энергия моя возросла до чрезвычайности; в одну ночь я проник в землю, под остатки какого-то кирпича, на целых два вершка; здесь уже не было слышно людского говора — не до того мне было, чтобы слушать, что «они там» говорят. Мне самому тошно, мне нужна была квартира на солнце; ей, моей жене, нужно было вытянуться поскорее выше проклятого пня, и я, под единственным впечатлением достать средства, не задумался оплести одного очень почтенного червяка, до логовища которого я проткнулся в землю: это был почтенный, старого завета старик, много поработавший, как я читал у Дарвина, для чернозема. Сначала я набросился на чернозем, но опасность чахотки жены заставила меня приступить к самому старичку... Тонким кончиком обвил я его поперек, проползя под его брюхом снизу; уверил в своей благонадежности, взялся вести его процесс и, постепенно обвивая его из-под низу через верх, так затянул его поперек, так вошел в его доверие, что он, умирая, оставил мне все свое состояние, то есть, говоря проще, он околел, разложился, я впитал в себя весь этот чернозем, а жена переехала в новую квартиру «на солнце», то есть быстро поднялась выше проклятого пня и стала чувствовать себя *лучше*...

Затем ей нужно было родить, и я еще глубже вонзился в темные бездны земли...

Постепенно удаляясь от белого света, постепенно теряя связь с общими, теперь уже ненужными, мешавшими мне интересами, я все больше и больше сосредоточивался на изыскании средств; все мои поступки стали вытекать, откровенно говоря, из своекорыстных побуждений. Там, под землей, так же ведь разные пары сплетаются, и так же интригуют друг с другом, конкурируют, перебивают места — у всех «семейство»... И я, конечно, принял в этом участие. Стал «сочувствовать» тому, что дает мне возможность втянуть в себя материальные силы, и не сочувствовал всему, что стремилось положить предел моей алчности... Сердце мое стало портиться, фальшивить, ожесточаться на какую-то неправильную неправду: вот, например, рядом со мною здоровеннейший георгин, и жрет за семерых, я говорю, что «подлец!», и говорю, что надобно положить предел расхищению башкирских земель, а в сущности я зол потому, что мне не досталось

в этих землях лоскута и что я должен скрючившись сидеть в управлении московско-индийской железной дороги...

Но иногда вдруг охватит ужас от того бессмысленного, тяжкого, изнурительного труда, от которого ни днем, ни ночью нет покою; зло возьмет от всей этой гадости, которую видишь кругом, — ничего, кроме наживы, высасывания соков из земли и какого-то молчаливого и угрюмого чавканья; перспектив, мало-мальски радующих, — никаких. Из-за чего же все это, спрашивается? «Зубки прорезываются!» Зубки прорезываются! — а я должен подлости делать, подхалимничать, низкопоклонничать? Зубки!..

XI

— С каждым днем наши дела стали расходиться все более и более в разные стороны: там зубки, родимчики — у меня же интриги, какие-то авансы, что-то нечистое в шнуровых книгах, страх потерять место... Да где же во всем этом что-нибудь общее? Я не знаю, как мне быть, как справиться, — а она показывает мне зубок и требует всего моего внимания... Она все больше и больше уходит в тайну разветвления своего дела, я же только чувствую увеличивающуюся потребность все глубже и глубже вонзиться в землю и, стало быть, все дальше быть и от нее и от общих интересов. Оба мы измучиваемся на своих, отдельных делах, не имеющих между собою ничего общего, и обоих нас начинает разбирать обида.

«Никакого сочувствия моим подземным страданиям!» — злобно думаю я, опустошая земский сундук, и зная, что она теперь там, вверху, на солнце, только и думает, как бы одеть своих детей по последней моде.

Так мы, корни, рычим там, под землей. А они, цветы-то, тоже разве не возмущены нами? Как бы не так:

«Только и знаешь, придет из управления летучих ящеров, только и разговору, что динамит да динамит, да взрывчатые вещества, да кто на сто процентов больше убьет... У Коли насморк, а он мне о председателе земской управы, очень мне нужно! Целый день одна, дождемся обедать, а после обеда он уйдет играть в карты, тут поневоле одуреешь...»

Так вот и живем изо дня в день!

Правда, и теперь у нас иногда бывают минуты, когда мы опять *мы*, в самом деле. Но увы! это уже в несчастливые минуты горького сознания, что мы оба несчастны и что все наши страдания для будущих якобы поколений ровно ничего не означают, что поколения будут страдать так же, как и мы... Вот и теперь вокруг нас, умирающих, уже начинают жить наши дети, уже и они поженились, — а я уже слышу как мой старший сын, роясь носом под землей, ворчит:

«Никакого развития!»

Бедняга!..

И нечего вам жалеть, что град прекратил нашу жизнь преждевременно — надоело! Измучились!.. Не налети град, пришла бы осень, зима, завалило бы нас снегом, и бесполезная мука жизни окончилась бы точно так же без всяких результатов...

Здесь я очнулся: в совершенно темную станционную комнату вошла кухарка со свечкой. Яркий свет ослепил меня — я очнулся, вспомнил, что голоден, и потребовал самовар...

Вот какую небылицу рассказал мне мой дорожный спутник.

— Что ж, — сказал я ему, — все это правда.

— Да! для цветов, пожалуй, правда, а для людей — правда, да не вся!

— Что же тут нехватает?

— Нехватает людского права сказать: «не хочу!» Вот чего нехватает... А вот эта-то борьба с узостью и желание добиться полноты существования, переощущать себя, так сказать, во всевозможных направлениях, — она-то и сложилась теперь в такую непривлекательную картину семейной разладицы...

12. ЗАМЕТКА

В октябрьской книжке «Вест<ника> Евр<опы>» за прошлый год были помещены *рядом* две статейки, обе касающиеся тех самых семейных неурядиц, которыми захворала и наша святая Русь; замечательно, что одна из этих статей — «Персидский эндерун» — рисует семейные неурядицы в обеспеченном обществе крайнего востока, крайней и глухой азиатчины, а другая, в которой г-н Боборыкин пересказывает этюд Бурже о Дюма-сыне, касается того же самого вопроса в жизни крайнего запада, в среде высшей буржуазии французского общества, и как в азиатчине, так и на самом припеке культуры оказывается глубочайшая исковерканность взаимных отношений мужчин и женщин, переполненная страданиями почти в той же мере, как и отталкивающими чертами, имеющая источником одну и ту же основную причину — разъединение в жизни, в знании, в труде, в интересах частных и общественных.

«Посмотрим, — говорит автор персидского эндеруна (гарема), — чем может заниматься женщина каждый день в своем эндеруне. Начнем с главы дома. Муж от жены держится далеко; чем он занимается, с кем ведет дела, какие его успехи, неудачи, горе, радость — все это, за весьма редкими исключениями, до жены вовсе не касается, и *она ничего не знает.* Затем воспитание детей также взято из рук женщины и всецело вверено дядьке, который до совершеннолетия питомца неотступно ходит по его стопам. Девочки же пользуются еще меньшим вниманием и остаются в эндеруне под присмотром горничных. Женщина, когда дети у нее на глазах, не исполняет самых простых обязанностей матери: не останавливает от излишних шалостей и не объясняет, что дурно, что хорошо

(а ей откуда знать это?). Одну лишь черту в характере ребенка не оставляет мать нетронутой — это гордость. К мальчугану, который едва начинает понимать речь человеческую, она не иначе обращается как с величанием «хан». Таким образом, самые существенные интересы семьи чужды жене. Остается еще хозяйство, но в этой области ее участь горькая: обе половины дома состоятельного человека переполнены челядью, в руках которой сосредоточены *все дела* по дому. Тут есть и главный кофейщик, главный буфетчик, главный водолей и масса других прислужников, из которых каждый заведует вверенной ему частью непосредственно; персидская женщина не нуждается даже в отдаче тех или других приказаний: по раз заведенному порядку все необходимое к ее услугам. Что же ей остается делать? Умственных интересов никаких, общественная жизнь донельзя узка. На разговор с женщинами о их повседневной жизни всегда был один ответ: «Что нам делать? Ничего не делаем».

Как видите, положение персидской женщины обеспеченного круга весьма идеальное — «роди» и больше ничего не знай. Кой-как живи от родов до родов, а ни о чем другом не помышляй и не беспокойся. Все сделают другие, чужие руки. Но «человек» не мирится с таким благополучием; это исключительное положение вполне обеспеченной женщины ничуть не приятнее положения человека, вся жизнь которого должна проходить, положим, в шахте, под землей. Ему тоже не о чем заботиться, а только лежать в глубине земли на боку и долбить камень. Оба эти исключительно для чужой надобности приспособленные человеческие существа не желают мириться с своим изуродованным положением и, разумеется, стремятся всеми возможными средствами «дополнить» свое изуродованное существо несравненно большим количеством нужных для человека ощущений, чем те, на которые они обречены разъединяющим людей строем общества. Углекоп, выбравшись из-под земли, пойдет в кабак и расправит свою душу механически, при помощи сивухи, а «обеспеченная» персидская женщина наверстает свое рабство и отчужденность от людей иными средствами. Автор рассказывает, что горничные, обреченные, например, на то, чтобы служить своим ханум, покупают себе мужей, и одна такая купила их очень много на своем веку, но ее, бедную, надували. Сами же персидские барыни ищут недостающего им на базарах, в банях, в тазие (театр). На базарах они подолгу толкутся, выбирая наряды и иногда приворовывая под чадру куски материй. «Кроме покупки нарядов,

женщины стремятся на базар ради приключений». «Тазие» называется представление, посвященное памяти «Хуссейна». «Что женщины буквально наводняют театр во время представлений — факт несомненный». Нельзя сказать, что женщины остаются безучастны к судьбе Хуссейна, но можно с достоверностью сказать, что девять десятых относятся к ней совершенно равнодушно и предпочитают балагурить с соседками или выслеживать глазами когонибудь из интересных мужчин. Избранный мужчина находится под зорким наблюдением, пока как-нибудь не встретится с глазами ханум, тогда последняя делает ему какой-либо знак, и т. д. Словом, в театрах, в банях, на базаре, во время загородных прогулок, везде, помимо желания быть «на людях» вообще, изуродованная исключительным развитием своих женских свойств, персидская женщина преследует и чисто женские цели. Если же принять в расчет, что и «главы» их, то есть их мужья, делают то же самое, да к тому же еще развращены и истощены с детства, что, кроме эндерунов, ведь никто другой, как они, практикуют свидания в тазие, в банях, на прогулках и т. д. и т. д., то и получится картина самая нескладная: перед вами идет какая-то бессмысленная и непривлекательная трата сил человека — мужчины и женщины.

«Между тем в средних и особенно низших классах женщина поставлена в совершенно иные условия. Здесь положительно все заботы лежат на ее плечах, так что с утра до вечера она работает *наравне с мужем*, готовит кушанье, обшивает ребят, моет белье и т. д.». И во всей статье, как кажется, не вполне исчерпывающей безобразия обеспеченного персидского общества (так как иногда автора удерживает от изложения тех или иных подробностей простое чувство приличия), ни одного слова нет о том, что подобные безобразия возможны в народной среде.

Но едва мы с крайнего востока перенесемся на крайний запад, *в ту же самую* обеспеченную *среду*, как немедленно встречаемся опять с всевозможным неблагообразием. Здесь (если верить герою одного произведения Дюма-сына) *уже утрачена вера в женщину*, а вместе с тем и способность любить. «Как бы я ни был бесполезен и ординарен, — говорит некий де Рион (в «Друге женщин» Дюма), — я дал себе слово не бросать ни моего сердца, ни моей чести на съедение всем этим прелестным

и страшным созданиям, из-за которых разоряются, теряют доброе имя и убивают себя. А их единственная забота, посреди такой всемирной свалки, одеваться то в виде зонтиков, то в виде колокольчиков». Но не одни женщины, превращенные в зонтики и колокольчики, до глубины души возмущают г-на Дюма и героев его произведений: возмущается все буржуазное общество последних пятидесяти лет. Читая этюд г-на Боборыкина, видишь, что г-н Дюма просто, как говорится, потерял голову в этом буржуазном вертепе; он не знает, что делать: то вдруг ожесточится и вопиет: tue-la! (бей!), то забормочет что-то о духовной любви, то о правах женщин, — но вообще видно, что «бабы его доняли» и что спасения ему от них нет никакого. Краски, которыми охарактеризовано в названной статье г-на Боборыкина «бабье дело», от которого потерял голову г-н Дюма, до чрезвычайности мрачны.

«Для него (то есть для Дюма), — говорит г-н Боборыкин, — мужчина и женщина представлялись в виде самца и самки. Они, в его воображении, пожирают друг друга, чтобы умертвить душу. Любовная страсть явилась для него в виде постоянной жестокой битвы, кончающейся всегда смертью одного или обоих вместе, если не физической, то нравственной. И мы видели на самом деле все отвратительные стороны этой битвы под прикрытием того, что называется ухаживанием, или же так называемых французами — легких нравов, и что он, не задумываясь, называет прямо проституцией. Настоящей проституцией *он не занимается.* Он задался целью исследовать все виды тайной проституции, фальшивой, такой, где женщина представляет собою высшую степень испорченности, где она несет душевную заразу и ненависть к мужчине под видом обольстительной любви или подобия любви. Дюма разоблачает поэтическую и сентиментальную проституцию. Не довольствуясь тем, что в целом ряде пьес Дюма показал жестокую битву между самцом и самкой в мире тайной проституции и адюльтера, он показывает ту же битву и в недрах супружества, самого настоящего и законного супружества...»

Еще в более ранний период в деятельности Дюма из некоторых его произведений можно было понять, «что Дюма смотрит на брак совсем не положительным взглядом, а признает его скорее как наименьшее из зол, как некоторого рода перемирие в непрестанной войне мужчин и женщин, может быть западни...» Если бы жена была честная мать семейства, борьба все-таки останется борьбой и если не приводит к крови (tue-la!), то выражается другими видами страдания. Поль Бурже указывает

на одно место в произведениях Дюма, где этот писатель, обращаясь к молодому мужу, сидящему у изголовья жены, только что разрешившейся от бремени, говорит:

« — Ты поникнул головой? Вот ты, в свою очередь, побежден женским элементом. Он воспользовался тобою для того, чтобы выполнить свое дело. Этот элемент притягивает тебя, соблазняет, употребляет тебя в пользу, то удаляет, то опять берет и устраняет тебя, смотря по тому, чего требует предназначение и известное отправление жизни. И познай, между прочим, что так всегда будет; какова бы ни была плоскость, на которой ты встречаешься с женщиной, она никогда не берет тебя для тебя, а всегда для самой себя».

Вот какое безвыходное положение авторов и героев. Так зачем же говорить: «Бей ее!» Легче не станет, как оказывается в конце концов. Нечто подобное, страшное-престрашное, приведено также и из Шопенгауера. Во всяком случае, дело это оказывается «неумолимое и неискоренимое», и у г-на Дюма мы не нашли никакого указания, как тут быть, чтобы женщина в конце концов не съела мужчину совсем с костями.

Последняя сцена, в которой г-н Дюма говорит таким пророчествующим языком (познай, — она тебя съест!), наводит нас на мысль спросить удрученного людоедством женщин моралиста: «Отчего собственно молодой муж *поник головой* — оттого ли, что жена его родила, или же оттого, что у него теперь не только «колокольчик под зонтиком», а еще и ребенок. Не испугал ли его, бедного бульварного хлыщика, этот ребенок? . .»

Мне кажется, что испугал и ошеломил молодого мужа (да и молодую жену из породы зонтиков также) именно ребенок. Почему же? Потому, что между ними, людьми, разделенными строем буржуазной жизни на не имеющие ничего общего роли цветка и корня, — появилось существо, требующее от них забот *во всех отношениях*; они оба — и муж, поникший головой, и жена, думающая, какой ей теперь купить корсет, — *впервые* на беспомощном ребенке ощущают *кабалу ответственности* за человека *во всех отношениях*. Он еще весом только в четыре фунта, ему нужно всего-навсего только одну рюмку молока, но он заставляет думать *обо всем*, что касается человека, и от этой непривычной работы, разумеется, поникнет непривычная к ней голова. Голова нашего мужика и бабы

не поникнет от ребенка, произойдет только задержка в работе, но тут помогут добрые люди; отвечать же за его карьеру, за его средства к жизни, за его душу, за его ум, уменье, знание, им нечего — он будет жить точно так, как живут они оба, воспитается в том же разнообразии впечатлений труда, среди которого они живут сами; ни подняться, ни опуститься выше или ниже кого бы то ни было в однородно трудящемся обществе, где живут отец и мать, не будет ни надобности, ни возможности; он будет всем равен и одинаков со всеми — мужик, как все. Кроме того, он со временем под старость помога, следовательно, утешение. В народной среде, где строй жизни требует от каждого человека личной деятельности *во всевозможных отношениях*, не ощущается тяготы от обилия многостороннейших обязанностей по отношению к вновь родившемуся человеческому существу; многосторонность — атмосфера народной жизни; здесь же, в буржуазном обществе, ребенок тиран: он пришел и потребовал от отца и матери огромного к себе внимания, тогда как им самим впору только каждому гнать *свою линию*.

Но молодой человек, поникший головой и приунывший над колыбелью ребенка, приуныл ненадолго. Жена его, будьте уверены, не испортит своего бюста; во-первых, корсет, а во-вторых, кормилица, за кормилицей бонна, далее учитель, школа, коллеж и т. д., — все сделают другие. Жена его по возможности будет оставаться в роли цветка или зонтика, и так как эта роль будет ему надоедать, то он будет искать дополнений там, где случится, а так как и жене роль зонтика также ненавистна и тяжка, как и роль ханум в персидском эндеруне, то ничего не будет удивительного, если и ей понадобится поискать полноты жизненных ощущений собственными средствами. Зачем же оратьто: убей! Почему же и его самого не бить? Из обоюдного безобразного положения, неизбежного при известном строе жизни, выход не в мордобитии или моральной проповеди, а в коренном изменении именно строя жизни.

Поль Бурже, повидимому, крепко задумался над всеми этими нескладными делами; он, повидимому, опечален всем строем жизни и потому, обозрев произведения Дюма (вместе с литературным наследием, оставленным французскими писателями последнего пятидесятилетия), не решается читать нравоучения или рекомендовать для иско-

ренения зла какую-нибудь новомодную кулачную расправу, а просто и серьезно говорит следующее:

«Чтобы чувственная распущенность перестала утомлять своими себялюбивыми сотрясениями нервы и сердца людей, которым более пятнадцати и менее сорока лет, надо восстановить *равновесие* частной жизни; необходимо, чтобы поздние браки сделались исключением и чтобы брак в двадцать пять лет стал правилом; чтобы воспитание женщины делало из нее действительную подругу мужчины; чтобы отношения между молодыми людьми преобразовались и чтобы ребенок не портил себе преждевременно чувство и воображение в стенах коллегий, этих клоак нравственной заразы; чтобы жадность конкуренции, погоня за местами и богатствами посмягчилась; *надобен возврат* к менее искусственной и менее подогретой жизни; необходимо человеку быть больше привязанным к своей провинции, к родному краю, необходимо, чтобы жить в Париже не было целью всех мужчин и женщин, чтобы демократическая свалка была менее неистовой...»

Такими словами, говорит г-н Боборыкин, критик заключает свои объяснения (стр. 490).

Но в сущности, как видите, никакого определенного взгляда на общий недуг культурного строя жизни у автора, цитированного г-ном Боборыкиным, нет.

А между тем обществу необходимо знать, в чем именно заключается то центральное зло культурного строя жизни, при котором все блага науки и культуры, казалось бы прямо для счастия и радости жизни человеческой добытые, — не только не делают этой жизни светлее и легче, но напротив — как бы грозят в будущем все большим и большим мраком и тяготой.

Мы не беремся за разрешение таких больших вопросов. Нам ли, деревенским обывателям, толковать о них? Но в русской жизни в настоящее время столько мечтаний и мечтателей о том, как жить свято, что истомившийся современный человек невольно влечется к ним. Не говорить поэтому о мечтаниях и мечтателях — положительно невозможно; вот почему во втором томе этого издания я и постараюсь собрать между прочим все, что мне пришлось написать по поводу этого любопытного явления русской жизни.

13. «ВЗБРЕЛО В БАШКУ»

(Из записок деревенского обывателя)

I

...Утомителен и однообразен наш деревенский «недосуг». Суетою сует переполняет он дни и годы нашего деревенского существования, владеет всем нашим существом от колыбели и до могилы и, увенчав могильною насыпью иногда многолетнюю недосужную жизнь деревенского человека, не оставляет о нем среди продолжающих жить людей почти никаких поводов к воспоминанию. Но если вся наша деревенская жизнь наполняется только такою суетой сует и таким, повидимому, пустопорожним недосугом, то каково же должно быть наше душевное состояние, если судьба неожиданно пошлет нам «досуг» и повелит на некоторое время прекратить суету сует, призовет нас к спокойствию, отдохновению и даст на некоторое время право позабыть хоть на несколько часов деревенскую злобу дня? Тут нам, настоящим деревенским обывателям, уж и совсем нехорошо, совсем скучно становится, и самый лучший исход — лечь среди бела дня спать. Но и этот-то способ употребления «досуга» водворен в народной жизни не без усилий со стороны посторонней власти и влияний: не работать, прекратить на время суету сует, — убеждает народ батюшка с амвона; надо же, говорит он, и богу посвятить день, почтить его, не все только своекорыстная возня около своего дома и своего добра. Надобно не пожалеть денег на свечку. Некоторые угодники требуют прекращения работы под угрозою известным наказанием: в известные дни нельзя работать железом, нельзя прясть пряжу и т. д. На том свете, в аду, по рассказам старух, которые сами

в обморочном состоянии бывали там, на небе, и которых ангел водил по мытарствам, — всегда указаны с точностью муки, которые испытывают мужики и бабы, не соблюдавшие пятницы, работавшие по праздникам. Бабы, например, которые работали по пятницам, задыхаются там, на том свете, в избах, наполненных кострикой: им нельзя дохнуть, нельзя открыть глаз — кострика окутывает их непроницаемым облаком. «Все жадность наша! — говорит приверженный к дому хозяин, не вытерпевший до захода солнца и потихоньку от взоров угодника, запрещающего работу, постукивающий где-нибудь в темном уголке сарая топором. — Жадность в нас ненасытная!» Если ж господа землевладельцы жалуются на рабочих, что у них оказывается чуть не триста шестьдесят праздников в году, так ведь здесь уж совсем иное дело; у хозяина — поденщина, *не свое хозяйство,* и в этом случае стоять за праздники, за то, что грех, мол, не хочется взять на душу, прямой расчет для мужика. Тут он уж и сам стремится отвоевать себе всячески как можно больше досугу и большею частию сладко спит в эти сладкие часы. Хорошо спят мужики среди бела дня, крепко, сладко. Тишина в деревне «после обедни» удивительная. Солнце сияет, воздух струится жаркими колебаниями, а деревня сладко спит: кто на лавке, кто на полатях, кто на сеновале — все; старики и старухи, молодые и старые бабы, здоровенные работники-гиганты — все это растянулось, разметалось, где пришлось, и наслаждается безграничным блаженством сна.

Случись в эту пору появиться в деревне какому-нибудь начальству, не только по какому-нибудь серьезному, не требующему отлагательства делу, но просто для перемены лошадей, и то мертвая тишина и мертвое безмолвие спящей деревни может вывести его из пределов терпения. Волостное правление отперто, и веселый ветер, хлопая незапертою рамой, играет разными «строжайшими» предписаниями, таская их без всякой церемонии по полу и присутственному столу. «Эй, кто там?» — может вопить начальство во всю силу голоса, но никто ниоткуда ничего на это не ответит. Можно стучать ногами, кулаком, кричать, заставить кричать на весь двор ямщика, — ни звука! «Эй!» — будет вопиять ямщик, стуча под окнами. «Эй, кто-нибудь!» — будет вопиять начальник, и в ответ им

только безмолвие, солнце и тишина; ни признака чего-нибудь живого, или хоть движущегося. Даже в домах причта — у батюшки, у дьякона — все немо и неподвижно; если ямщику и удастся разбудить работницу, раскачав ее за жирный бок, то и она, в конце концов, только почешет этот бок и перевернется на другой. «Что они, вымерли, что ли, тут все?» Вот к чему придет выведенный из терпения начальник, пока на выручку ему не явится какая-нибудь ветхая, терпеливо поджидающая смерти, старушка, не спросит беззубым ртом: «кого надо?» — и не укажет рукой, где надобно искать живых людей.

И я думаю, что «спать» крепко и сладко — значит самым разумным образом употребить деревенский досуг. У пьющего есть кабак, а у непьющего? Ведь, пожалуй, как останешься без суеты сует, да, побоясь огорчить угодника, не посмеешь тронуть топора, да не будешь спать, так придется сидеть да «думать», а ведь это дело трудное, трудное уже только потому, что понять невозможно, из-за чего живешь на свете? Зачем вся эта суета сует, эта ежедневная маята из-за скотины, из-за податей? Да мало ли чего «взбредет в башку», ежели начать на досуге думать обо всем, доходить до всего, разбирать свою жизнь — как, что, почему, как бы лучше, да почему хуже, да отчего то не так вышло и это сделалось не по желанию и вкусу, а совсем наоборот? Коли все это обдумать, так ум за разум зайдет. Лучше бы, конечно, взять топор, да... да угодник осерчает: нельзя железом работать — овса не уродит!

— Пойти хоть на сеновале полежать! — говорит томимый досугом житель и успокаивается в безмятежном сне.

А вот один мой знакомый мужик, Иван Алифанов, человек, всегда удалявшийся от общения с односельчанами, сухой, молчаливый, нелюдимый, пользовавшийся недоброю славой «острожного» и всячески остерегавшийся пробудить в неласковом к нему обществе воспоминания о его прошлом, — вот этот-то человек, многие годы державший себя самого в «ежовых рукавицах», понемногу, под влиянием *досуга,* стал подумывать «о своей жизни», и от этих дум взбрело ему в башку такое ни с чем «несообразное», что он мало того, что взбудоражил всю деревню, а и сам-то еле жив остался, чуть

не помер, да только бог его спас — сжалился над ним... А не думал бы, так ничего этого и не было бы... Хорошо хоть бог-то спас, и то слава богу!

II

Досуг, благодаря которому Ивану Алифанову «взбрело в башку» нечто несообразное и едва не уложившее его в могилу, был не какой-нибудь кратковременный, ординарный, праздничный досуг, который и не заметишь, как проспишь, а досуг особенный, давший возможность вообще всему крестьянству всей округи вздохнуть, «сообразиться» и отдышаться в течение почти всей осени. Причина такого необыкновенного досуга — необыкновенный в наших трясинных местах урожай прошлого года. Опахнул этот урожай своим благословенным крылом всю нашу округу — все эти лачужки, плетушки — на большое пространство; опахнуло это крыло теплом, и покоем, и сладким отдыхом множество земледельческого народу, и притом почти на все осенние и зимние месяцы, вплоть до поста. Все клетки — всех окладных листов, всех бюджетов — были в изобилии засыпаны хлебом, овсом, льном, картофью, огурцом и капустой — гриб только не объявился: все у него отняли прочие, более серьезные растения; но об этом никто не печалился. Хлеба, овса, всего было довольно, «слава богу», и у всех осталось после наполнения доверху всевозможных бюджетов всего много. Редко это, чрезвычайно редко бывает в наших местах, но когда бывает хоть на неделю — хорошо и весело смотреть на белый свет. Это именно год, когда мужику придет охота купить книгу, картинку, потому что есть на что купить; год, когда придет в голову пойти послушать, как мальчонка у соседей книжку читает — словом, год, когда досуг настолько продолжителен, что иной крестьянской голове, обрекшей себя на вечную печаль и тоску, окажется возможным просветлеть, ободриться, осветиться радостною мыслью... Повалившаяся лачужка преобразилась в новый домишко, появилась в безлошадном дворе лошаденка — и почерневшее от мрака душевного лицо просветлело и повеселело. Хорошие это времена в жизни крестьянина!

Этот урожайный, то есть не праздничный, а исключительный досуг отразился на Иване Алифанове особенно благоприятно; он жил с женой только вдвоем, детей у них не было; а урожай уродил так много, что даже с первых дней осени Иван Алифанов не нашел нужным продолжать своего извозчицкого промысла, стал ездить на вокзал в неделю раз, два, а иногда и по неделям не нуждался в заработке; урожай заставил его подумать о себе попокойней, подумать о скотине, которую он за летнее, дачное время и рабочую пору порядочно-таки загонял, и Иван Алифанов стал думать.

Прежде всего он увидал, что у него уже лет восемь как болят ноги; по ночам ревматические боли не дают ему сомкнуть глаз, и жене он покою не дает. По временам он брал в аптеке какую-нибудь мазь, мазал ею ноги, но так как за недосугом дома побыть было нельзя, нельзя было и полежать, а надо было в полночь и за полночь ехать, куда наймут с вокзала, то ноги продолжали болеть, как им болелось. Теперь он «на досуге» почувствовал, что они болят самым настоящим манером и что болеть как-нибудь хуже, пожалуй что, уж и нельзя; он разулся, осмотрел эти ноги, которых он «путем» не видал, может быть, всю жизнь, «ужахнулся» их ужасному виду, этим налившимся кровью жилам, этим опухлым местам, к которым оказалось больно притронуться пальцем, удивился всему этому, увидел, что «таким родом» можно остаться и без ног, и решил лечиться серьезно.

В аптеку, к фельдшеру, даже к доктору он не пошел: «пробовал, мазал — не помогает»; а по совету вокзального буфетчика, у которого ноги от непрерывного в течение всей жизни стояния за буфетом страдают всевозможными недугами, купил в аптеке трав под общим названием «декоп», рецепт которых написал буфетчик. «Декоп» был настоян на водке; надо было его пить по три рюмки в день: утром, в полдень и вечером, а когда почувствуется облегчение, то и по четыре. Все это Иван Алифанов припас, устроил как должно и принялся лечиться. Не будь урожая, не было бы досуга; ноги Ивана болели бы без лекарства, и ему некогда было бы даже и «оглядеть» их хорошенько. Теперь же, благодаря досугу, он их оглядел, увидел, что они больны, что надо лечиться,

что можно лечиться, и, перекрестившись на образ, осторожно налил первую рюмочку «декопу», а затем и выпил.

И пошло по «всему суставу» Ивана Алифанова тепло, и стало ему приятно. «Приятное» душевное настроение дотянулось и до второй рюмочки «декопу», и до третьей, и весь этот первый день лечения, первый день отдыха и забвения суеты сует, прошел для Ивана Алифанова приятно, ново, не как обыкновенно; после второй рюмки «декопа», часов в одиннадцать дня, Иван Алифанов пообедал и, против обыкновения, лег спать, укрывшись шубой; спал он бесподобно, до того что потом едва отпился чаем и привел себя в чувство; третья рюмка «декопа» опять хорошо на него подействовала, и накопленной годами усталости оказалось настолько достаточно, чтобы, и выспавшись после обеда, можно было богатырским сном проспать и всю ночь до утра.

Но по мере того как Иван Алифанов благодаря досугу и «декопу» все более и более осваивался с необычным для него положением отдыхающего человека, все нажитое и пережитое им в обычное время жизни стало понемногу заявлять ему о себе и о том, что от него остались в душе и теле следы неизгладимые. Прежде всего стало заявлять о своих попранных жизнью правах тело, а потом заговорил и дух. Кроме «до ужасти» больных ног, которые можно было увидать во всем их потрясающем виде только благодаря досугу, на третий, четвертый день отдохновения заговорила и спина. «О-о-ох!» — простонал Иван Алифанов, поднявшись с постели после необычного в обыкновенное время отдохновения; отдохнувшие больные ноги стали так чувствительны, что, оказалось, ступать надо с осторожностью. Заболели бока, под ложечкой стало подпирать точно кулаком, под скулой что-то начало напухать.

«Старость!» — с испугом подумал Иван Алифанов на пятые сутки отдохновения, еле передвигая ноги от постели до окна с бутылью декопа. Эта мысль так неожиданно испугала Ивана Алифанова, что он, не обдумавши, что делает, выпил сразу две рюмки декопу, и уже не с приятностью, а с огорчением; декоп, горький и жгучий, падал куда-то в «горькое место», которое стал ощущать Иван Алифанов под сердцем. Точно угольем жег декоп «горькое» больное место, и Иван почувствовал, что именно

там, в горьком месте, под сердцем, стала шевелиться вся его прошлая жизнь, о которой он уже и позабыл за недосугом.

«Почитай что уж к могилке дело идет!» — с горечью думал он, отирая рот после второй рюмки; и с испугу и с предчувствием каких-то мрачных воспоминаний, которые у него зашевелились «под сердцем», он, чтобы сразу сбросить с себя неожиданную тоску, надел проворно шапку, накинул полушубок и вышел на двор по хозяйству. Хозяйство всегда разгонит «мысли», отвлечет внимание от своего горя.

Он вошел в сарай единственно только с сознанием необходимости заглушить тоску, точившую сердце. Только с этою исключительно практическою целью взял он вилы и стал поправлять висевшие с сеновала клочья сена, в чем в сущности не было особенной надобности. Он работал вилами, нетерпеливо ожидая, когда перестанет «глодать» его душу, когда им завладеет интерес к каким-нибудь хозяйственным мелочам, он тщательно прислушивался к своему сердцу: «не затихает ли там? не забывается ли?» — и вдруг. . .

Вдруг, нежданно-негаданно, но сразу, мгновенно в тоскующем сердце и в скучавшем уме, без малейшего повода, в мельчайших подробностях возник образ Аннушки, девушки, которую Иван Алифанов крепко любил в юношеские годы и из-за которой потом вся жизнь Ивана Алифанова превратилась в ужаснейший мрак. Аннушка не просто вспомнилась Ивану, а прямо ощутилась тут, рядом с ним, с человеком, который еле держится на ногах, который держит «с горя» в руках дурацкие вилы, стоит ногами в навозе. Молодая, бойкая, умная, ловкая, смелая, продувная девушка, она, с своими карими глазами, влекущими к какой-то неиссякаемой радости, прекращающими всякую тревогу жить на свете, она, которая сама первая дернула его за рукав и шепнула: «пымай!» — словом, вся она, живая, до поразительности ясно ощутимая, не просто только вспомнилась Ивану, а вполне ощутилась тут, рядом с ним, в сарае, и даже голос ее он услыхал совершенно ясно — смешливый и любящий. Аннушка до того неожиданно воскресла в душе Ивана и притом до того явственно ощущалась им, что Иван даже оглянулся на избу: «не увидала бы жена!» Так ему чувствовалась близость к нему самой Аннушки; он ощущал почти ее

прикосновение, как в былые времена, ее теплое плечо, за которое он ее тогда «пымал» в первый раз.

Точно полымя разлилось совершенно внезапно по всему существу Ивана. В пот его ударило. Аннушка как огнем охватила его ум и сердце — словом, вся воскресла в нем в том самом виде, в тех самых ощущениях, как и в старину. И Иван так оторопел от этой неожиданности, так испугался этого образа, что даже проговорил:

— Тьфу ты, каторжная!.. Ишь!.. Сколько годов прошло... Взбредет же в башку!..

Он до того испугался этого призрака, что со страхом огляделся вокруг себя, оглядел сарай и с сердцем, бьющимся от испуга и от какого-то необыкновенного ощущения, с необыкновенным проворством принялся ворочать вилами, уже без всякого смысла, лишь бы отделаться от неожиданного потрясения.

— Чего тут! — урезонивал он себя с величайшею строгостью. — Ноги не ходят... спина скрипит... в могилу того гляди... Эко! Господи помилуй! И сама-то уж калека... старуха... Сохрани и помилуй, господи!

Но, увы, на досуге воскресла во всем великолепии самая счастливейшая минута его жизни — и Иван Алифанов, помимо воли, желания и возможности, уже не мог изгнать Аннушки и ее чудного девичьего образа из своих дум.

III

Выпив две рюмочки «декопа» и опять с еще большею язвительностью почувствовав, что водка попала не в веселое место, а в горькое и больное, под самое сердце, Иван Алифанов пообедал и опять лег под шубу, чтобы дать ногам отлежаться. Но образ Аннушки ни на минуту не покидал его. Закрылся он шубой с головою и всячески старался думать о хозяйстве, о том, что он предпримет, поправившись ногами, заговаривал с женой о хозяйственных пустяках — много ли, мол, картофлю, льну — и опять закрывался полушубком; но Аннушка и молодые годы их обоих, несмотря на все усилия Ивана сосредоточиться только на настоящем и окружающем, всплывали в его памяти в самых подробнейших мелочах. Все припоминалось ему как бы назло его тяжелым стариковским мыслям и недугам. И дни, и ночи, и даже цвет неба и воз-

духа — все живехонько ощущалось им точь-в-точь как в юности. Все тропинки, буераки, кустарники, где они прошли хоть раз, — все стояло как живое.

— Господи, сохрани и помилуй! .. Эко что! Эко что! — сокрушался он, пряча голову под полушубок; но там, во тьме, голос Аннушки звучал так удивительно ясно, что жена Ивана непременно должна была его услышать. Он робел этого голоса, опять с удивлением твердил себе: «Эко что! Эко ведь!» — и никакими силами не мог прекратить воскресения в себе юношеских ощущений. Только что ясно слышался голос Аннушкин, только что он от него оборонился — проснулось во всей силе ощущение безграничного доверия к этой девушке, ощущение самого радостного повиновения ей, удовольствия повиноваться ей без малейшего желания захотеть что-нибудь самому.

— Ох ты, господи боже мой! Ведь это что такое? — и он опять не мог надивиться на себя, старика с больными ногами: что это с ним творится?

Он ворочался под шубой, закрывая глаза, старался не думать, а Аннушка стоит перед ним как живая...

И вдруг его взяла за сердце мучительная боль. Он понял, что заболело именно в том месте, куда декоп стал проникать в последнее время. Заболело в этом самом горьком месте, заболело от воспоминаний, которые чернее ночи. «Все узнали родители!» — резануло его, как ножом, по сердцу. А родители тогдашние — самодуры и звери лютые... Идут бить и колотить каждый свое порождение... Колотят Ваньку, за волосы таскают, о свадьбе слышать не хотят... Из дома, где живут Аннушкины родители, слышны раздирающие душу вопли, точно давят кого-то за горло... Ваньку дерут в правлении за неповиновение, не говоря ни слова отправляют в Питер к старшему брату, в полотеры... Аннушка не успела оглянуться, как уже оказалась повенчанною с каким-то забулдыгою, который взял ее, зная грех. Звери-отцы, ненавидевшие друг друга, ели и срамили один другого поедом...

Иван Алифанов чувствовал, что слезы залили все его лицо под полушубком. Как «опоенный», очутился он в Петербурге, в полотерной артели... Давно ли он был с Аннушкой, а теперь она от него за тридесять земель, замужем за другим... Ее ему теперь не достать, совсем не видать — она уж чужая, не его.

И горькое место под сердцем, куда декоп вносил что-то жгучее и волнующее, где он кипел, как капля воды, упавшая на горячую плиту, стало терзать Ивана Алифанова непрестанно; стала вспоминаться день за днем вся его каторжная жизнь. Недолго пробыл он в полотерах и в состоянии полного отупения. Злость родилась в нем. В каком-то доме во время работы он стянул часы, пьянствовал неделю, попал в тюрьму. В тюрьме он обнаглел, озверел, не стал бояться ни бога, ни чорта. Однако по выходе из тюрьмы нищета и строгие полицейские преследования, где бы и в каком бы городе или городишке он ни появлялся (и в деревне ему, острожнику, показаться было нельзя), заставили его ради насущного хлеба, скрепя сердце, браться за самые грязные и тяжкие работы, хотя и за копеечное вознаграждение. Профессия дяди Акима была ему не чужда, ловля собак по ночам, служба в ночных извозчиках, служба в таких притонах, где держат подозрительных людей, — вот в каких профессиях прошли у него самые лучшие годы жизни. В это время он научился пить с горя, допивался не раз до белой горячки, а затем опять начинал шляться по темным местам, где принимают на службу и острожников.

Вспоминая это время, Иван Алифанов совершенно ясно убедился, что именно тогда-то у него и образовалась боль под сердцем — та самая боль, которую теперь разжигал наново декоп.

Жизнь его, вероятно, закончилась бы кончиною «человека неизвестного звания», который выплыл из Невы, Оки или Волги после ледохода, — конечно, без одежды и без документов, — если бы у него не умер отец. Братья, имевшие хорошее дело в Петербурге, не желая, однако, терять крестьянства, разыскали бродягу, обошлись ласково и уговорили ехать в деревню. Обрадовался Иван этому предложению, очувствовался, точно воскрес из мертвых. Природный сильный ум помог ему определить свое будущее: общество не сделает его общественником, не даст ему права голоса на сходках, но землю на имя других братьев даст, и он все-таки будет «жить», только жить на белом свете, смотреть на белый свет, никого не касаться и быть в стороне от всех. Больной, измученный, воротился он в опустелый дом (мать умерла давно; се-

стры были замужем) и стал жить так, что его почти не замечали. Не заметил никто, как он женился, взявши в соседней глухой деревне работящую, молчаливую и довольно тупую девушку. При теперешнем его настроении, то есть самом простом желании отстать от прошлого и только жить на белом свете, жить так, чтобы никто не трогал, не обижал, жить со всеми и от всех в стороне, — его жена, молчаливое, работящее и тупое существо, была ему как раз под стать. Женился он на ней собственно «для хозяйства», как покупают для хозяйства лошадь, корову, чтобы «жить»; он прибегнул по примеру многих крестьян, находящихся исключительно во власти сует, к браку, как к самому практичному средству — воспользоваться «бабой» как рабочею силой и привязать ее к дому якобы супружескими отношениями. И «баба» его была также из тех покорных своему бабьему делу существ, которые и под венцом-то, наверное, ни о чем другом не думают, кроме как о вопросах, касающихся рабочей суеты: «много ли горшков-то? есть ли кадушка для хлеба?» Вот что постоянно занимало все ее мысли, и такая узость ее мыслей была как раз по душе Ивану Алифанову — с этой бабой можно жить, работать, есть, пить, и больше ничего она не потребует.

Вот так и стал он жить, «лишь бы только жить на белом свете». Пить перестал совершенно, стучал дома целые дни топором, поправляя разрушавшуюся постройку; сам печи поправлял, крышу крыл — словом, замкнулся от всех в своем доме. Понемногу, при пособии братьев, он обзавелся лошадью, стал извозничать, возить с вокзала и на вокзал, а также брался ездить и с кладью. Жизнь его с женою вся была построена на сознательном плане жить так, а не иначе, и он знал каждый шаг и каждое слово, которые ему надобно сделать или сказать, чтобы в доме был порядок и чтобы баба не затруднялась недостатком сует и недосуга. Нравственной связи между ними, кроме общей надобности жить на свете, не было никакой — была связь необходимости, которую Иван Алифанов и поддерживал весьма умно, умело и деликатно, особливо ввиду важнейшего недостатка крестьянской семьи — отсутствия детей.

Не меньше восьми последних лет жил Иван Алифанов такою тусклою, замкнутою в самом себе жизнью: что

заработает, то истратит — вот было все содержание его ежедневного обихода жизни за все эти годы. Заработает рубль — заедет в лавку, возьмет чаю, сахару, керосину, отвезет домой, отдохнет и опять едет на заработок или работает в поле; а нехватит чего-нибудь — опять едет на вокзал за работой и иногда не бывает дома по неделям. В таком тусклом виде представлялась Ивану Алифанову и вся его последующая жизнь; и такой-то жизни он был рад-радехонек после всего пережитого. Но тусклые годы шли, и прошлое, слава богу, забывалось, уходило куда-то далеко, а настоящее также ничем не трогало...

И вдруг настала неожиданная благодать урожая, а за ним и нежданного досуга. Все пережитое поднялось из-под бремени ежедневной суеты сует. Отозвались болезни, недуги, физические искалечения; вспомнилась вся ужасная, черная, темная жизнь, весь этот мрак сорокапятилетней маяты — и та единственная светлая, удивительная радость жизни, которая связана была с именем Аннушки, не могла не оттаять в душе Ивана, когда весь он во всех отношениях благодаря досугу неожиданно оттаял. Аннушка воскресла в его сердце точь-в-точь такая, как была, и так как именно с ней связана вся его дальнейшая жизнь, так как от нее, через нее и из-за нее произошло потом все, что было с Иваном до настоящей минуты, то образ Аннушки с каждой минутой стал преобладать над всеми воспоминаниями Ивана; она только одна стала неотступно владеть всею его мыслью, и одна только она наполняла теперь всю жизнь его дома. Он стал непрестанно ощущать присутствие Аннушки во всех своих домашних отношениях; она всегда была между ним и его женой и как бы настоящею хозяйкой дома.

— Ах ты, боже ты мой милостивый! — терзался он страшною болью, все больше и больше развивавшеюся под сердцем, в «горьком месте».

И весь этот день Иван Алифанов не знал минуты покоя; проворочавшись под шубой до ужина и до третьей порции декопу, он с удовольствием проглотил не две уже, а три рюмки этого напитка, которого уже жаждало все то же самое больное место под сердцем, и попытался опять заснуть. Но Аннушка не давала ему покою. Только что он, потолковав с женою про хозяйство, сомкнет глаза — хвать, Аннушка тут как тут.

Шубейка ее накинута на плечи, на голове красненький платочек, а сама Аннушка щелкает подсолнухи и, издали улыбаясь Ивану, ласково шепчет откуда-то издалека:

— Пымай меня!

— И пымаю!

— Ну, пымай, пымай!

— И пымаю!

Иван со всех ног бежит к Аннушке, а та стоит — не бежит, спокойно ест подсолнухи, не бежит. Но едва Иван хочет схватить ее за плечо, как она уже порхнула, как спугнутая птица, с веселым смехом. Она порхнула вправо, показав Ивану сначала намерение порхнуть влево, и стала путать его без милосердия. Вот она порхает туда и сюда или вдруг бросится навстречу Ивану, мимо него, заставив его без оглядки пробежать в пустое пространство. Иван запыхался, устал, кричит ей: «Постой, Анютка! Дай я тебе что скажу!..», а Аннушка все порхает. Наконец, она как будто поддается; она будто боится, что Иван ее схватит, сломает; она защищается руками, пятится к забору, даже кричит... А Иван не сдается, не снисходит, он достиг до Аннушки и «не пущает».

— Какая такая Анютка у тебя завелась?

Суровым, непривычным для Ивана голосом разбудила его жена, до свету поднявшаяся на работу.

— Какую такую Анютку поминал? — грозно и грубо повторила она.

Иван раскрыл глаза, понял, что он во сне проболтался, «осерчал» на себя и в первый раз осерчал на жену.

— Во сне приснилось... Чего орешь-то!

— Анютка кака-то!

Грубый, неожиданный для Ивана идиотский гнев, слышавшийся в голосе его жены, в первый раз пробудил в нем какую-то к ней неприязнь, и он мысленно в первый раз обругал ее и тотчас же почувствовал, что в «горьком месте» прибавилась новая капля горя.

— Ну, чего там? Знамо, во сне! — грубо сказал он и замолчал.

Но новая капля горя опять с новою силой воскресила в нем образ Аннушки. Одна только она все светлее и светлее вырисовывалась в воображении Ивана, как единственно радостное и благородное во всей его скверной, изломанной, мрачной жизни.

IV

А та новая, жгучая капля горя, которая капнула в «горькое место» после пробуждения от грубого окрика его жены и грубого слова, которым ответил ей Иван, была капля далеко не маленькая. Свет Аннушкина образа, осиявший его мысль и очистивший ее, осиял и его отношения к его жене Анисье, и он увидал, до какой степени он подл относительно этой женщины. Размягченное светлыми воспоминаниями воображение как нельзя ярче отделило теперешнюю его бессовестную жизнь с Анисьей. Взял он ее как скотину, старался о том, чтобы всякого рода труд поглощал всю ее жизнь, жил с ней как муж только для того, чтобы она ему повиновалась. Сразу он увидел, что он такой же подлец, как и те из его односельчан, которые, желая жить в Питере и не желая давать заработки родителям, женятся только для того, чтобы при помощи закона приобрести себе вечного раба и беспрекословного слугу: прожив с молодой женой неделю, много две, такой человек, зная, что животная неосмысленная связь самая несомненная и несокрушимая, уходил в Питер, оставляя дома бабу, которая будет думать только о нем целые годы, дни и ночи, будет жить в ожидании его, в ощущении, что над нею его воля. Деньги, которые он будет присылать, она будет так прятать, что никакие свекры и свекровки не разыщут их, если даже сдерут с нее шкуру. Вот именно такой-то подлый, своекорыстный поступок, такое-то поругание над человеком совершил и Иван Алифанов, и чувствовал он этот свой огромный грех самым жгучим образом. Подл и низок он был перед этою кроткою, работящею женщиной; ела его больную душу уже собственная своя подлость; не ему уже, а он сделал безбожное дело с человеком, и это новое горе делало его в собственных глазах ничтожною, грязною и лживою тварью.

Но тот же светлый образ Аннушки, осветив совесть Ивана Алифанова, осветил ему и его жену. «Что за дубина!» — думал он с озлоблением, одновременно терзаясь своим прошлым преступлением. Неприятная сцена ночью пробудила в этой хозяйственной машине женщину, грубую, дикую, нелепую. Не по дням, а по часам в Анисье стала разгораться рычащая ревность, желание отмстить

врагу всем, что можно было сделать грубого, безобразного, от чего бы враг ошалел, с ума спятил.

Она стала «пхать» горшками, ухватами; не одевалась, не умывалась; стала лаяться на все, на скотину, на печку, орала, распоясанная, середи двора:

— Анютку какую-то завел!.. День-деньской бьешься с ним, с подлецом...

— Ах, дубина, дубина! Вот уж дьявол-то! — бесновался Иван Алифанов, слыша этот лай, и в то же время чувствовал себя кругом обманщиком, кругом виноватым в бесконечном оскорблении этой женщины.

С той минуты он поглощал декоп рюмку за рюмкой, огрызался на жену, как зверь, и чувствовал себя погрязающим в грехе. Начались дни безобразные; два зверя очутились в пустой берлоге, и Ивану Алифанову стало страшно.

В одну из минут крайнего ожесточения на жену и крайнего безграничного сознания своей низости он вдруг как бы очнулся, опомнился. Он вспомнил, что давно ничего не делает, отдыхает, и понял, что необходимо сейчас же, сию же минуту запрячь себя опять, опять вогнать себя в непрерывную маяту труда, работы, еды и перевозки. С лихорадочною поспешностью, не думая о том, тот ли теперь час, когда можно ждать прихода поезда, он, побуждаемый только жаждой спастись от гибели, торопливо запряг в сани (была уже зима) отдохнувшую лошаденку, оделся, как всегда, по-ямщицки, подпоясался и как ни в чем не бывало сказал жене, что «в случае скоро не буду, стало быть, клядь есть», и поспешно уехал на станцию.

Быстро выехав из ворот на свежий морозный воздух, по пушистому снегу, на отдохнувшей, повеселевшей клячонке, он почувствовал, что ему стало много легче, и он всячески старался удержать в себе это облегченное состояние духа, старался представить себе, что и в самом деле ничего не бывало.

«Еду, мол, на станцию, — думал он, стараясь определить собственное свое состояние духа. — Еду и больше ничего...» Но он с тоскою чувствовал, что теперь хоть и то же все повидимому, но далеко не то. Дома у него уже не то, что было; ему уже неприятно туда воротиться, к этой грубой, озлобленной женщине, перед которою

он кругом виноват и с которой он поступил как Иуда-предатель.

И хотя он бодрился и храбрился, но никогда у него не было на душе так тяжело и мрачно, как в этот раз. Однако он, как и прежде, подкатив к вокзалу, привязал лошадь и, заткнув за пояс кнут, поместился на платформе в ожидании поезда. Скучно ему было до чрезвычайности; он с отчаянием видел, что жизнь его — холодная и тяжкая маята, и терялся в тоске неведения: как ему выбраться из кромешного ада, в котором он живет? «Работа!» — вот что говорила ему капля здравого смысла, не отравленная еще декопом, который он стал пить в последнее время беспрестанно, так как боль под сердцем перешла в настоящее физическое страдание, затихавшее на время только от сивухи. Если бы бог послал, думалось ему, хорошую, верст за тридцать «путину» с кладью, а на это пошло бы суток двое, а по желанию и трое, времени, так можно бы, пожалуй, и войти опять в колею «маяты», да и баба бы позатихла, вынужденная сосредоточивать свои мысли на ожидании мужа, а не на злобе к нему. И все это, вероятно, так бы и случилось, если бы судьба запрягла Ивана опять в трудовой хомут. Этой запряжки могло не случиться сегодня и завтра, но она непременно бы случилась на третий, на четвертый день ожидания, так как никакого иного выхода для огорченного деревенского человека нет; может, правда, над ним в такие трудные минуты возобладать кабак, но Иван, как видим, уже испугался своего положения, уже напряженно стремился выйти из него, жаждал трудовой тяготы и непременно бы дождался ее, повинуясь только здравому смыслу, который в нем не умер и который не указал бы ему никакого иного исхода. Ничто в строе народной, трудовой жизни не поддержало бы мечтаний Ивана об Аннушке, и образ ее постепенно утратил бы весь тот ореол, то есть всю эту «дурь», которою его окружило расстроенное воображение Ивана.

Так непременно бы и случилось, если бы деревенская жизнь в наших местах была только трудовая, хозяйственная, то есть в самом деле деревенская. Но на деле это уже далеко не так: железная дорога, сделавшая возможным сношение деревни с Петербургом и с людьми всякого не крестьянского звания, сделала возможным вторжение

в народную жизнь и явлений совершенно иного порядка жизни. Камера мирового судьи, устроенная близ станции, привлекла в деревню вольнопрактикующего адвоката. Торговые обороты привлекли множество всяких мелких агентов, живущих некрестьянскими интересами. Трактирщик должен выписать газету, листок; для починки интеллигентных пиджаков появился портной с вывеской, изображающей и ножницы и фраки. А там, глядишь, неведомо откуда появилась афиша, извещающая, что с дозволения начальства в доме купца Крючникова будет дан спектакль: «Лев Гурыч Синичкин» и «Материнское благословение», причем окажутся и актеры и актрисы: акушерка, фельдшер, адвокат. Вторжение городских вкусов и привычек в обиход чисто крестьянской жизни сделало возможным для деревенского обывателя столкновение с такого рода новыми, неожиданными для него явлениями, которых деревня ему никогда бы дать не могла... Вот эта старуха рыбница, которая аккуратно каждое утро приезжает со свежею рыбой на товарном поезде, «ни в жизнь бы» не дала из своего заработка и пятачка на водку мужу; каждую вырученную копейку она так спрячет в своих юбках и в потаенных карманах, что муж никогда эту копейку не отыщет, «хоть все раздери на части»... И вот эта-то скряга, наслушавшись в «щелочку», что такое представляли на сцене в доме купца Крючникова, заплакала, разнежилась и стала каждый раз тратить по тридцати копеек, когда только идет спектакль. С пустою после проданной рыбы корзинкой она проворно бежит в кассу, роется в своих юбках, в потаенных карманах, вытаскивает пятаки и копейки и берет билет на «Бедную невесту»... Идет из театра — плачет; едет на четырехчасовом ночном поезде домой и всю дорогу рассказывает пьесу тормозному кондуктору, а в шесть часов опять возвращается с корзиною рыбы. Вот что сделали со скрягой и змеей подколодной (как всю жизнь именовал ее муж) случайности вторжения в деревенскую глушь явлений иного строя жизни.

Одна из таких неожиданностей, совершенно неподходящих в деревне, нагрянула и на Ивана Алифанова. «Чувство», пробужденное в нем образом Аннушки, само бы собой угасло в нем, как «дурь», под влиянием обыденной трудовой «маяты». Но случайность совершенно

не деревенского свойства сделала возможным, что пьяный, больной, старый мужик мог вместо жадно желаемой им «запряжки» неожиданно растаять от самых нежных чувствований.

Тяжелый камень горя и тоски угнетал и душу и мысль Ивана Алифанова, когда он стоял на платформе, ожидая поезда и долгой поездки с кладью, которые избавят его от душевных мук. Декоп, выпитый в значительном количестве, царапал у него под сердцем словно когтями. Он крепился, но маялся и с нетерпением ждал поезда. Наконец поезд пришел. Извозчики бросились добывать себе пассажиров. Иван Алифанов также пошел к толпе.

— Извозчик! — окликнул его голос какой-то пискливой барыни, — есть тут гостиница с номерами?

— Есть, сударыня! — сурово ответил Иван. — Только будет ли вам по вкусу?

Иван сказал так потому, что барыня была, на его взгляд (он видел всякую породу), довольно «форсистая»: огромный турнюр, косички, спущенные на лоб, муфта, мешочек с цепочкой, огромные круглые пуговицы на дипломате и в зубах папироска.

— Номера у нас грязные, — прибавил Иван.

Форсистая барыня закурила новую папироску, бросила в сторону окурок, потом почему-то вздохнула и сказала:

— Грязные? .. Ну, что ж... Вези меня туда... Надо ж мне куда-нибудь!

Сторож с чемоданом, корзиной и узлом с подушками, завязанными в красное шерстяное одеяло, пошел вперед за Иваном, а за ними, поминутно затягиваясь папироской и рассеивая искры и дым, следовала форсистая барыня.

— Боже мой! — шептала она, — куда меня занесло?

Каким образом, в самом деле, занесло сюда эту форсистую барыню? Что ей здесь нужно? Зачем она сюда попала? Кто она такая, наконец?

Ответить на эти вопросы можно только единственно при помощи кухарки Степаниды, служащей у той петербургской хозяйки, у которой Олимпиада Петровна (так звали форсистую даму) нанимала комнату. Эта Степанида не раз обращалась, по своей сердечной доброте, к этой самой Олимпиаде с такими словами:

— Ты, Ампиада, смотри, будь поаккуратней! Околодочный который раз спрашивает: «Какая такая у вас дама бесперечь то в шестом, то в седьмом часу домой приходит? .. Какими такими делами занимается?» Вот что говорит-то! Ты подумай!

— Какое ему, дураку, дело? Вот еще новости: «где я бываю!» Где хочу, там и бываю!

— Ну, так ты вот как знаешь там... А он уж сколько раз к дворнику приставал... «Чем, говорит, она живет?»

— Дурак какой! .. У меня билеты из немецкого клуба, как он смеет?

— Ну, видно, смеет... А я тебе говорю любя. Смотри! .. Дворник-то уж разов пять меня пытал о тебе... Гляди, как бы чего не было!

— У меня знакомые генералы. Ты скажи им, дуракам, это!

— Послухают они тебя, как же!

Много раз Степанида предостерегала таким образом Олимпиаду Петровну, и та хоть «форсила» своими знакомствами с генералами, но после таких предостережений обыкновенно дня по три, по четыре оставалась дома, а потом опять получала билет в клуб. Ввиду же того, что урожай прошлого года щедро наполнил все самые мельчайшие клетки бюджетных таблиц, досуг, сделавшийся доступным даже для деревни, принял в Петербурге, конечно, также соответственные размеры; Олимпиада Петровна поэтому, несмотря на предостережения Степаниды, два раза возвращалась на тройках с «компанией» не раньше семи часов утра и в последний раз промчалась как раз мимо того околодочного, который допытывался у дворников об ее средствах жизни. Командуя и дирижируя целою толпою дворников и не менее значительною толпою каких-то снеговых куч, взрытых посреди улицы, околодочный этот остановил на Олимпиаде Петровне такой взгляд, от которого у нее вся душа перевернулась.

Скоро, не больше как через час, она поняла, что дело ее плохо.

— Говорила я тебе, — вся красная от волнения, почти завопила Степанида, появляясь в комнате Олимпиады Петровны вскоре после ее возвращения на тройке, — говорила: берегись, оглядывайся!

— А что случилось?

— Случилось, что теперь тебе не будет больше ходу... Поставили у ворот переодетого... шагу тебе не даст сделать... Куда ты ни сунься, везде тебя найдут... И уж тогда прощай! Запишут!

Вероятно, Олимпиада Петровна знала, что значит это слово. Только она испугалась, потом заплакала, потом позвала Степаниду и сказала:

— Как же мне быть-то?

— Ты чего же думала-то? — осердилась Степанида. — Раньше-то ты зачем моталась?.. Как быть!

Степанида сердилась на пустопорожнюю бабенку, но, по доброте своей, не могла не думать о ней. И вот что она, наконец, придумала:

— Тебе бы убечь из Питера-то куда-нибудь...

— Куда ж я убегу? У меня и денег-то нет.

— Ну, вещи заложи.

— Да куда? Куда уйти?

— А сокройся куда-нибудь. Сокройся ты в деревню. Хоть бы к нам поезжай, пока они перестанут гоняться за тобой. Поезжай к моей сестре, у нее дом свой... Верх свободный, летом отдает под дачу... Вокзал близко, все, что угодно, достанешь. Поезжай, поживи хоть до рождества-то... Ан они и притихнут.

Подумала, подумала Олимпиада Петровна и решила ехать. Степанида заложила ее вещи, дала адрес сестры, и вот Олимпиада Петровна очутилась на нашей станции, с тем чтобы потом поселиться у сестры Степаниды.

Лошадь Ивана Алифанова мчала форсистую даму с ее багажом по каким-то сугробам и темным закоулкам к ярко освещенному трактиру; а Олимпиада Петровна, оглядываясь кругом себя и не находя ровно ничего привычного ее глазу, привычному к освещенным столичным улицам и вообще к газовым рожкам, прошептала опять в полном недоумении:

— Куда это я попала? Боже мой!

Наконец сани остановились у трактира.

V

— Худо вам будет здесь! — сказал Иван Алифанов форсистой барыне, когда они по грязной и узкой лестнице поднимались во второй этаж трактира в номера. Номер

был грязен, мал, но жарко натоплен. Непривлекательность номера, повидимому, не удивила Олимпиаду Петровну, она быстро разделась, и хотя Иван Алифанов увидел в ней то, что называется «щепкой», но почувствовал, что есть около нее какое-то беззаконное веяние, что-то даже нужное человеку, во всех смыслах расстроенному. И поэтому, когда Олимпиада Петровна, тотчас же после того как разделась, еще не рассчитываясь с Иваном, потребовала себе бутылку пива, он, Иван, понял, что это именно так и быть должно, и почувствовал, что в этом поступке есть что-то и к нему подходящее.

— От груди пью, грудью страдаю! — сказала Олимпиада Петровна, опоражнивая стакан, и, налив другой, подала его Ивану.

— Выпей! .. Ты тоже озяб.

Иван, когда-то сильно запивавший, боялся пива, которое его всегда сваливало с ног, а с некоторого времени он стал побаиваться и своего «декопа», который, очевидно, тянет его к чему-то недоброму; сегодня он выехал на станцию исключительно для того, чтобы привести себя в порядок, но беззаконная атмосфера, чувствовавшаяся около форсистой барыни, заразила и его — и он залпом выпил стакан.

И этот стакан пива опять попал туда же, под сердце, в самое больное место.

— Посиди! — словно давнишнему знакомому, по-приятельски сказала форсистая особа. — Мне спросить надо у тебя... Пусть лошади подождут... Я ведь одна тут, никого не знаю.

И Иван Алифанов присел. С ногами забралась на диван и Олимпиада Петровна, обнаруживая рваные башмаки.

— Скажи коридорному, чтобы дал еще бутылку. Грудью страдаю... Пока из аптеки лекарство не возьму, хоть пивом... Аптека есть?

— Есть аптека, как же.

— Ну, так ты мне потом возьмешь... Налей себе стакан.

И опять Иван налил себе стакан, и опять он почувствовал, что пиво поведет его не к добру, но что противиться этому почему-то уже нельзя.

— Доктора советуют дышать деревенским воздухом,— сказала Олимпиада Петровна.

И стала врать дальше.

— Лечи не лечи, — с горечью говорила она, дымя папиросой, — ничего не будет! Раз надорвали мое сердце... какие тут лекарства?

И опять она выпила пива. И Иван также выпил еще.

— В меня был влюблен (да и сейчас он меня забыть не может) богатый, красивый гусар. Злые люди расстроили, насильно его женили, отняли от меня... Вот я и больна... чего тут лечить? Я забыть его не могу! Каждую почту пишет... Он сюда приедет потихоньку от жены... «Если ты, говорит, не допустишь меня повидаться, так я застрелюсь».

И опять позвали коридорного и выпили пива.

Иван Алифанов стал глубоко вздыхать и пьянел от пива так, как не пьянел еще от декопа.

— Нет! — восклицала Олимпиада Петровна, ерзая на диване и сопровождая свои речи выразительными движениями руки с папироской, — нет, раз человек полюбил, он век этого не забудет! За меня сколько женихов сваталось, а я не могу! Пускай я умру, а не разлюблю его... Я его люблю и так и умру с *этим*!

Иван Алифанов не знал, что Олимпиада Петровна объявила уже о своей грудной болезни лакею на Любаньской станции, который поэтому потихоньку принес ей в пустую комнату первого класса рюмку коньяку и бутерброд со свежею икрой; не знал он, что кондуктор поезда, заразившись атмосферой чего-то привлекательно беззаконного, пересадил ее из третьего класса в отдельное купе второго и принес ей туда две бутылки пива и стакан. Не знал этого Иван и не замечал, что язык Олимпиады Петровны как будто бы иногда спотыкается. Он только неотразимо чувствовал, что в его положении ему не найти лучшей компании, что все слова Олимпиады Петровны есть именно те самые, которые как раз подходят к его сумбурному душевному настроению. Он хорошо понимал, что такая это за фигура перед ним: она такая же завалящая, как и он сам, что ему не следовало бы «чувствовать» чего-нибудь насчет Аннушки, но Аннушкин образ был в нем, и речи Олимпиады Петровны воскрешали его, выдвигали его опять на первый план, затемняя

им здравую мысль об исцелении себя трудом. Он знал, что мысли его беззаконны и что перед ним сидит также беззаконница, но в то же время знал, что все это беззаконное необходимо ему теперь.

— Сударыня, барышня! — сказал он, видя, что бутылки пусты, и не желая прекратить ни беседы с беззаконницей, ни своих беззаконных мыслей, — дозвольте и мне поставить бутылочки четыре, а? от мужика? Мужик тоже душа христианская.

— Чем же мужик хуже других?

— Верно! Ну, вот, благодарим!

Появилось Иваново пиво. Олимпиада Петровна не брезгала и не отказывалась от компании.

— Все мне одной-то скучней. А тут хоть слово с кем сказать.

— Верно, верно это...

— Что же я одна-то? Ну, что я без него?.. Вот и деньги у меня есть, восемьсот двадцать пять рублей в год получаю. Отцовская пенсия. Полковник отец мой был, известный. А что мне в них? Так вот маешься одна, без пристанища... Нет, уж коли раз полюбишь...

Иван Алифанов знал, что таких слов он даже «не смеет» слышать, что это грех и подлость с его стороны, но не мог сопротивляться удовольствию беззаконных размышлений и ощущений и начинавшим путаться языком говорил:

— Вер-рно! верно это!

— И разве можно жить без любви? Ведь уж ежели человек тебе по сердцу, то только с таким человеком и жить. Из-за чего же больше? Деньги! Да наплевать мне на деньги без того, кого я люблю.

— Ах-х! — вздыхая до глубины самого больного места под сердцем, почти стонал Иван, чувствуя слабость своих беззаконных томлений.

Олимпиада Петровна поняла, что речи ее действуют на мужика, и продолжала их неумолчно в том же самом направлении, покуда весь стол не заставился бутылками и покуда она не заснула тут же на диване, не раздеваясь.

Иван Алифанов, шатаясь, подошел к столу, загасил пальцем сальный огарок свечки, чтобы не было пожара, и, спотыкаясь, стал спускаться с лестницы. Было уже довольно поздно; вся деревня спала. Лошадь Иванова

иззябла и топталась с ноги на ногу. Иван ввалился в сани и пустил лошадь: «иди, куда хошь», а сам только и думал: «верно! верно!» — и Аннушка опять одна владела всею его мыслью. Все было скверно, и сам он скверен, и в доме у него тоска, и вся жизнь его один мусор, и жена с своими горшками одно безобразие, — все, что он пережил и чем теперь жил, все одна сплошная подлость, а вот Аннушка — вот это настоящее! Это вот действительно душа; она только одна и есть во всей его жизни сокровище, солнце, сияние. «Если бы с нею-то, все бы было не так, все бы было, бог знает, как хорошо!»

И с этого беззаконного вечера Иван Алифанов ознакомился с совершенно неожиданным для него душевным настроением: самым нежнейшим мечтанием об Аннушке. Он вовсе не пытался ее разыскать, увидать, поговорить — нет, он чувствовал, что ему довольно нежных мечтаний, что Олимпиада Петровна хорошо надоумила его заняться этими нежными мыслями, но знал, что без пива, без постоянного опьянения все это разлетится вдребезги и он окажется по малой мере в дураках. И он непрерывно пил, постоянно торчал у Олимпиады Петровны, постоянно вздыхал, слушая ее рассуждения о чувстве. С сотворения мира не было сказано в нашей деревне такого количества слов о «чувствах», какое наболтала в самое короткое время Олимпиада Петровна в компании с разнежничавшимся мужиком. Для разнежившегося мужика эта болтовня была как бы музыкою, совершенно не напоминавшею ему ни о чем пережитом, и под аккомпанемент этой музыки он пил и пил, и скоро впал в состояние бессознательного запоя.

VI

Деревенские новости, сообщавшиеся мне встречными и поперечными деревенскими жителями во время моих зимних поездок в деревню, донесли до меня вести и о несчастии, случившемся с Иваном Алифановым. Весть, что Иван начал пьянствовать, положительно поразила меня: я не знал во всей деревне другого такого крестьянина, вся жизнь которого шла бы так исключительно по указанию ума, по строго обдуманному плану, как шла жизнь

Ивана; сдержанность в каждом слове, ни лишнего шага, ни ненужного поклона, ни навязчивости, — все это решительно выделяло его в толпе деревенских людей, повинующихся требованиям ежедневной нужды и постоянно ею помыкаемых. Иван, как мне всегда казалось, жил с какою-то твердо намеченною целью — словом, знал, зачем жил, и знал, как ему справиться и как разобраться. И вот этот-то, бесспорно умный, с сильною волей человек вдруг запьянствовал и с каждым днем стал терять образ и подобие даже простого деревенского человека. Каждый приезд я узнавал про него что-нибудь новое, и все неожиданнее и все хуже: то говорили — пьет и жену бьет; затем толковали о какой-то «петербургской пьянице», с которою он связался; плели о том, что бросил жену и пропивает все имущество с барыней; затем пошли вести о драках с железнодорожными служащими, с волостными властями. Разоренье, распродажа по самой ничтожной цене всего имущества, до последней порошинки, как своего, так и жениного, — и все это следовало с необыкновенной быстротой; бедная, брошенная Анисья ходила по деревне бесприютная, оборванная, жаловалась начальству на петербургскую «барыню», вопияла о своем пропитом имуществе, а Иван Алифанов не переставал сгорать на огне, не стыдился даже просить у прохожего на выпивку, сняв шапку. Видеть его было ужасно. Он, пьяный, уже еле таскал больные ноги, а лошади не было давно; рваный, ободранный, с опухшим, бессмысленным лицом, носившим признаки близкой смерти, он был ужасен. Говорить с ним не было возможности — он ничего не понимал, только хрипел: «водочки!»

Нельзя было сомневаться в его близкой кончине и, приехав в деревню постом, после того как я не был в ней месяца два, я вполне был уверен, что кости Ивана давно уже лежат в сырой земле. Ни на станции, ни на улице уже не встречалась его пьяная фигура. В его доме с пустым двором и воротами, снятыми и пропитыми, было мертво, пусто и темно. Страшно было взглянуть на это еще недавно жилое место, как бурей разметанное по ветру злым духом — русскою сивухой. Я не пытался даже и спрашивать об Алифанове, зная, что он уже давно забыт и забыта его занесенная снегом могила. Но история, случившаяся с ним и так меня да и всю деревню удивившая

и интересовавшая, прошла в жизни деревенских жителей не бесследно, и они, как оказалось, гораздо больше, чем я, следили за Иваном Алифановым.

— А ведь Ванька-то Алифанов поправляется помаленьку! — сказал мне по собственному своему желанию один из местных крестьян и прибавил, очевидно заинтересованный этим удивительным делом: — Оживает ведь сызнова! Вот ведь, что господь творит!

Это известие о воскресении из мертвых человека, явно обреченного на смерть и могилу, до такой степени меня обрадовало и умилило, что я самым искренним образом принял объяснение необыкновенного дела, сделанное крестьянином.

— Да, — сказал я, — истинно, брат, это уж дело господнее!.. Это ты верно говоришь!

— И чисто господнее, например, определение. А то бы ему окончательно пропасть надо! Да как же? Послушайкось, как дело-то вышло.

И затем частью из рассказа этого крестьянина, частью из других случайных толков и пересудов со встречными и поперечными стало мне известным удивительное дело воскресения Ивана из мертвых. Господь, который дал нам урожай, досуг, отдых и поправку, наградил нас, по непостижимой своей премудрости, и трескучими морозами. Морозы в нынешнем году и в конце прошлого года бывали крепкие и лютые. Случаи замерзания были весьма нередки в эту зиму, и между прочими жертвами дедушки-мороза едва-едва не оказался и Иван Алифанов. Во вьюжную, трескучую ночь, возвращаясь еле живой из кабака в свой разоренный дом, Иван Алифанов, сбитый с ног ветром, повалился к подворотне чьего-то дома и, не имея сил встать, покорно отдался во власть вьюге и морозу. Стало заносить его снегом, заживо наносившим над ним белый могильный курган. Стало Ивану тепло и мягко, и он, наверное, заснул бы навеки, если бы господь, покарав его за грехи (так потом сообразил Иван) «досугом» и урожаем, не пожелал и помиловать его уже морозом. На полумертвого Ивана натолкнулся местный лавочник, возвращавшийся из какой-то поездки; он жил в том самом доме, у ворот которого умирал Иван. Расконав почти засыпанного снегом человека, он стащил его к себе в кухню, отогрел и препроводил утром к жене.

Иван был жив, но почти в бессознательном состоянии; лежа в своей разоренной избе под грудою каких-то лохмотьев, которые удалось кое-откуда набрать Анисье, он долго не понимал, что такое с ним творится и где он находится. Анисья привела фельдшера, который разрешил ей давать Ивану немного водки (он по себе знал, что нельзя «прерывать сразу») и нашел, что Иван сильно отморозил руки. Иван пока не понимал своего положения; он спал подолгу, бессильным сном, а открыв глаза, глядел ими, но не думал. Мысль проснулась в нем только тогда, когда он попробовал пошевелить руками. . . Пальцы ему не повиновались; их как бы не было.

«Без рук остался!» — мелькнуло в голове Ивана, и ужас охватил все его существо. Он не в могиле, он жив, но никогда он не был так одинок и совершенно отделен от всего света, как теперь, когда у него не владеют руки. Небо видно в окно, люди ходят по улице, живут, работают, земля-матушка, лежащая теперь под снегом, скоро растает и зацветет, но все это не для него, он оттолкнут от всего этого, он не может теперь войти со всею этою прелестью ни в какую связь, ни в какие отношения. Будет расти трава, рожь — Иван не будет косить и возить снопы; он не будет ни запрягать, ни отпрягать, ни ехать. Что будет делать при нем Анисья без хлеба, без сена, без скотины? Будь руки — это основание всей жизни Ивана — и опять бы было все. . . Но нет рук, и ничего не будет, и Анисья уйдет в работницы, и никому он не нужен — ни поле, ни лес, ни луг не нуждаются в нем, отталкивают его от себя.

Вот в какую могилу попал этот живой мертвец! И из этой могилы жизнь стала казаться ему в самых чарующих образах. Как все было удивительно хорошо, пока он не очутился в этой могиле, — рай был, а не жизнь! И прежде всего в нем быстро возникла и созрела пламенная любовь к жене. Сразу он припомнил все восемь лет ее трудовой жизни с ним, скромной, молчаливой, и она, ненавистная недавно Анисья, явилась перед ним как ангел-хранитель. Как бы можно с ней жить, с такою работящею, тихою бабой! Как бы с ней хорошо работать в поле и как хорошо в доме! . . Он заливался слезами, просил у Анисьи прощения, умолял фельдшера лечить ему руки. Только бы что-нибудь осталось, только бы можно

было за что-нибудь ухватиться, то есть как-нибудь опять пристать к труду, и тогда уж он ко всему опять пристанет и присоединится, и все что ни есть вокруг него, — все ему надо, все ему подходит и со всем он в связи... И небо и земля, и дождь и снег, и люди и животные — все теперь опять вошло с ним в связь, и он опять в связи со всем творением божиим.

— Р-рради Христа, царя небесного! — рыдая как ребенок, умолял он фельдшера, с трудом поднимая свои обмотанные тряпками руки. — Хоть два бы пальца!.. Анисьюшка, не покинь ты меня!

Фельдшер мазал ему чем-то больные руки, но говорил, что надобно лечь в больницу; не было денег отвезти Ивана в город, и ждали от родственников из Петербурга. А в ожидании этих денег в Иване с страшною силой обновлялась жажда к жизни. Все ему казалось очаровательным, благословенным от бога — таким, лучше которого ничего не может быть; каждая соломинка, точно драгоценное золото, сокровище, рисовалась в его воображении, мечтавшем о счастии труда в поле, в лесу, в доме... И Анисья, эта связь неразрывная со всею прелестью рисовавшейся Ивану жизни, с каждою минутой принимала в его глазах все большую и большую цену... Драгоценная, даже неоцененная была для него эта Анисья.

— Батюшки мои милые! Родимые мои, спасите меня. Сохраните меня на белом свете! — изнеможенный, еле-еле питавшийся и постоянно обливавшийся слезами от сознания неисчерпаемого горя быть живым вне жизни, поминутно вопиял Иван Алифанов на всю свою пустую избу и, наконец, был-таки отправлен в больницу.

— И это именно господь его спас! — толковали деревенские обыватели, разбирая неожиданный факт воскресения Ивана. — Именно из доброты своей господь руки ему отморозил, а не что прочее, потому руки-то — весь наш капитал. У нас во всем наши руки... Вот как Ванька-то увидал, что у него руки-то, храни бог, пропадут, так откуда и рассудок опять взялся. «Лучше бы я замерз, говорит, чем если жить придется безрукому!» А я ему говорю: «Это тебя господь хотел образумить, дурака!» — «Виновен, говорит, я пред богом в гордости моей!» Поглядит, поглядит на лапы-то, зальется слезами. «Что я без рук-то? Ни косить, ни пахать, ни лошадь запрячь, ни

воды принесть — ничего!» Подымет этак к небу свои завертки, молит бога: «Хоть сколько-нибудь сохрани, господи, чтобы чем-нибудь взяться можно было, — я уж как-нибудь изловчусь...» Господь-то именно напужал его недаром, потому что руки самое есть первое дело в нашем положении.

— И что же, поджимают?

— Фельдшер сказывал, что, говорит, по три конца на каждой руке надобно оторвать. Отрежут по суставу на трех пальцах, ну а впрочем останется еще по два сустава на пальце... Ничего, обойтись можно! Вот бог-то!.. «Дай-ка я тебе пригрожу, будешь ли ты фордыбачить? Как оставлю без рук, так и подумаешь, мол, о своей жизни!..» И думает: «И что только это мне взбрело, псу?» А Анисья перевязывает ему лапы-то и уж не промолчит: «Ишь, дохватался... Любишь Анютку-то лапищами хватать... Попробуй-ка, похватай теперича. Лежит, пес, тише воды, ниже травы!» — «Прости, говорит, меня, подлеца! Подруга ты моя законная! Кормилица ты моя!» Понимать стал! Нет, ничего, слава богу, очувствуется... Опять помаленьку... как-нибудь... жить будет!

— Ну, а та?

— Петербургская-то пьяница? Уехала, должно быть, куда... Слава богу, хоть Ванька-то уцелел... И за то бога благодарить надо!

Глубоко обрадовали меня эти вести, и я с удовольствием жду той минуты, когда Алифанов придет ко мне, покажет свои руки и с удовольствием скажет:

— Ведь только бог спас, а то бы гнил я давно в земле.

Не думаю я, чтобы с Алифановым могло случиться что-нибудь подобное еще раз: редки у нас урожаи и редко балуют они человека таким просторным досугом.

14. «ВЫПРЯМИЛА»

(Отрывок из записок Тяпушкина)

I

...Кажется, в «Дыме» устами Потугина И. С. Тургенев сказал такие слова: «Венера Милосская *несомненнее* принципов восемьдесят девятого года». Что же значит это загадочное слово *несомненнее*? Венера Милосская несомненна, а принципы сомненны? И есть ли, наконец, что-нибудь общего между этими двумя сомненными и несомненными явлениями?

Не знаю, как понимают дело «знатоки», но мне кажется, что не только «принципы» стоят на той самой линии, которая заканчивается «несомненным», но что даже я, Тяпушкин, ныне сельский учитель, даже я, ничтожное земское существо, также нахожусь на той самой линии, где и принципы, где и другие удивительные проявления жаждущей совершенства человеческой души, на той линии, в конце которой, по нынешним временам, я, Тяпушкин, вполне согласен поставить фигуру Венеры Милосской. Да, мы все на одной линии, и если я, Тяпушкин, стою, быть может, на самом отдаленнейшем конце этой линии, если я совершенно неприметен по своим размерам, то это вовсе не значит, чтобы я был сомненнее «принципов» или чтобы принципы были сомненнее Венеры Милосской; все мы — я, Тяпушкин, принципы и Венера — все мы одинаково *несомненны,* то есть моя, тяпушкинская, душа, проявляя себя в настоящее время в утомительной школьной работе, в массе ничтожнейших, хотя и ежедневных, волнений и терзаний, наносимых на меня народною жизнью, действует и живет в том же самом несомненном направлении и смысле, которые лежат и в не-

сомненных принципах и широко выражаются в несомненности Венеры Милосской.

А то, скажите, пожалуйста, что выдумали: Венера Милосская несомненна, «принципы» уже сомненны, а я, Тяпушкин, сидящий почему-то в глуши деревни, измученный ее настоящим, опечаленный и поглощенный ее будущим, — человек, толкующий о лаптях, деревенских кулаках и т. д., — я-то будто бы уж до того ничтожен, что и места на свете мне нет!

Напрасно! Именно потому-то, что я вот в ту самую минуту, когда пишу это, сижу в холодной, по всем углам промерзшей избенке, что у меня благодаря негодяю старосте развалившаяся печка набита сырыми, шипящими и распространяющими угар дровами, что я сплю на голых досках под рваным полушубком, что меня хотят «поедом съесть» чуть не каждый день, — именно потому-то я и не могу, да и не желаю устранить себя с той самой *линии*, которая и через принципы и через сотни других великих явлений, благодаря которым вырастал человек, приведет его, быть может, к тому совершенству, которое дает возможность чуять Венера Милосская. А то, изволите видеть: «там, мол, красота и правда, а тут, у вас, *только* мужицкие лапти, рваные полушубки да блохи!» Извините! . .

Все это я пишу по следующему, весьма неожиданному для меня обстоятельству: был я вчера благодаря масленице в губернском городе, частью по делам, частью за книжками, частью посмотреть, что там делается вообще. И за исключением нескольких дельно занятых минут, проведенных в лаборатории учителя гимназии, — минут, посвященных науке, разговору «не от мира сего», напоминавшему монашеский разговор в монашеской келье, — все, что я видел за пределами этой кельи, поистине меня растерзало; я никого не осуждаю, не порицаю, не могу даже выражать согласия или несогласия с убеждениями тех лиц «губернии», губернской интеллигенции, которую я видел, нет! Я изныл душой в каких-нибудь пять, шесть часов пребывания среди губернского общества именно потому, что не видел и признаков этих убеждений, что вместо них есть какая-то печальная, плачевная необходимость уверять себя, всех и каждого в невозможности быть сознающим себя человеком, в необходимости делать

огромные усилия ума и совести, чтобы построить свою жизнь на явной лжи, фальши и риторике.

Я уехал из города, ощущая огромный кусок льду в моей груди; ничего не нужно было сердцу, и ум отказывался от всякой работы. И в такую-то мертвую минуту я был неожиданно взволнован следующей сценой:

— Поезд стоит две минуты! — второпях пробегая по вагонам, возвестил кондуктор.

Скоро я узнал, отчего кондуктор должен был так поспешно пробежать по вагонам, как он пробежал: оказалось, что в эти две минуты нужно было посадить в вагоны третьего класса огромную толпу новобранцев последнего призыва из нескольких волостей.

Поезд остановился; был пятый час вечера; сумрак уже густыми тенями лег на землю; снег большими хлопьями падал с темного неба на огромную массу народа, наполнявшую платформу: тут были жены, матери, отцы, невесты, сыновья, братья, дядья — словом, масса народа. Все это плакало, было пьяно, рыдало, кричало, прощалось. Какие-то энергические кулаки, какие-то поднятые локти, жесты пихающих рук, дружно направленные на массу и среди массы, сделали то, что народ валил на вагоны, как испуганное стадо, валился между буферами, бормоча пьяные слова, валялся на платформе, на тормозе вагона, лез и падал, и плакал, и кричал. Послышался треск стекол, разбиваемых в вагонах, битком набитых народом; в разбитые окна высунулись головы, растрепанные, разрезанные стеклом, пьяные, заплаканные, хриплыми голосами кричавшие что-то, вопиявшие о чем-то.

Поезд умчался.

Все это продолжалось буквально две-три минуты; и это потрясающее «мгновение» воистину потрясло меня; точно огромный пласт сырой земли был отодран неведомою силой, оторван каким-то гигантским плугом от своего исконного места, оторван так, что затрещали и оборвались живые корни, которыми этот пласт земли прирос к почве, оторван и унесен неведомо куда... Тысячи изб, семей представились мне как бы ранеными, с оторванными членами, предоставленными собственными средствами залечивать эти раны, «справляться», заращивать раненые места.

Умышленное «заговаривание» хорошими словами душевной неправды, умышленное стремление не жить, а только соблюсти обличье жизни, — впечатление, привезенное мною из города, — слившись с этой «сущей правдой» деревенской жизни, мелькнувшей мне в двухминутной сцене, отразились во мне ощущением какого-то беспредельного несчастия, ощущением, не поддающимся описанию.

Воротившись в свой угол, неприветливый, холодный, с промерзлыми подоконниками, с холодной печью, я был так подавлен сознанием этого несчастия вообще, что невольно и сам почувствовал себя самым несчастнейшим из несчастнейших существ. «Вот что вышло!» — подумалось мне, и, припомнив как-то сразу всю мою жизнь, я невольно глубоко закручинился над нею: вся она представилась мне как ряд неприветливейших впечатлений, тяжелых сердечных ощущений, беспрестанных терзаний, без просвета, без малейшей тени тепла, холодная, истомленная, а сию минуту не дающая возможности видеть и впереди ровно ничего ласкового.

Затопив печку сырыми дровами, я закутался в рваный полушубок и улегся на самодельную деревянную кровать, лицом в набитую соломой подушку. Я заснул, но спал, чувствуя каждую минуту, что «несчастие» сверлит мой мозг, что горе моей жизни точит меня всего каждую секунду. Мне ничего неприятного не снилось, но что-то заставляло глубоко вздыхать во сне, непрестанно угнетало мой мозг и сердце. И вдруг, во сне же, я почувствовал что-то другое; это другое было так непохоже на то, что я чувствовал до сих пор, что я хотя и спал, а понял, что со мной происходит что-то хорошее; еще секунда — и в сердце у меня шевельнулась какая-то горячая капля, еще секунда — что-то горячее вспыхнуло таким сильным и радостным пламенем, что я вздрогнул всем телом, как вздрагивают дети, когда они растут, и открыл глаза.

Сознания несчастия как не бывало; я чувствовал себя свежо и возбужденно, и все мои мысли тотчас же, как только я вздрогнул и открыл глаза, сосредоточились на одном вопросе:

— Что *это* такое? Откуда *это* счастие? Что именно мне вспомнилось? Чему я так обрадовался?

Я так был несчастлив вообще и так был несчастен в последние часы, что мне непременно нужно было восстановить это воспоминание, обрадовавшее меня во сне, мне стало страшно даже думать, что я не вспомню, что для меня опять останется все только то, что было вчера и сегодня, включительно до этого полушубка, холодной печки, неуютной комнаты и этой буквально «мертвой тишины» деревенской ночи.

Не замечая ни холода моей комнаты, ни ее неприветливости, я курил папиросу за папиросой, широко открытыми глазами всматриваясь в тьму и вызывая в моей памяти все, что в моей жизни было в *этом* роде.

Первое, что припомнилось мне и что чуть-чуть подходило к *тому* впечатлению, от которого я вздрогнул и проснулся, — странное дело! — была самая ничтожная деревенская картинка. Не ведаю почему, припомнилось мне, как я однажды, проезжая мимо сенокоса в жаркий летний день, засмотрелся на одну деревенскую бабу, которая ворошила сено; вся она, вся ее фигура с подобранной юбкой, голыми ногами, красным повойником на маковке, с этими граблями в руках, которыми она перебрасывала сухое сено справа налево, была так легка, изящна, так «жила», *а не работала*, жила в полной гармонии с природой, с солнцем, ветерком, с этим сеном, со всем ландшафтом, с которым были слиты и ее тело и ее душа (как я думал), что я долго-долго смотрел на нее, думал и чувствовал только одно: «как хорошо!»

Напряженная память работала неустанно: образ бабы, отчетливый до мельчайших подробностей, мелькнул и исчез, дав дорогу другому воспоминанию и образу: нет уж ни солнца, ни света, ни аромата полей, а что-то серое, темное, и на этом фоне — фигура девушки строгого, почти монашеского типа. И эту девушку я видел также со стороны, но она оставила во мне также светлое, «радостное» впечатление потому, что та глубокая печаль — печаль *о не своем горе*, которая была начертана на этом лице, на каждом ее малейшем движении, была так гармонически слита с ее личною, собственною ее печалью, до такой степени эти две печали, сливаясь, делали ее *одну*, не давая ни малейшей возможности проникнуть в ее сердце, в ее душу, в ее мысль, даже в сон ее чему-нибудь такому, что бы могло «не подойти», нарушить гармонию само-

пожертвования, которое она олицетворяла, — что при одном взгляде на нее всякое «страдание» теряло свои пугающие стороны, делалось делом простым, легким, успокаивающим и, главное, *живым*, что вместо слов: «как страшно!» заставляло сказать: «как хорошо! как славно!»

Но и этот образ ушел куда-то, и долго-долго моя напряженная память ничего не могла извлечь из бесконечного сумрака моих жизненных впечатлений; но она напряженно и непрестанно работала, она металась, словно искала кого-то или что-то по каким-то темным закоулкам и переулкам, и я почувствовал, наконец, что вот-вот она куда-то приведет меня, что... вот уж близко... где-то здесь... еще немножко... Что это?

Хотите — верьте, хотите — нет, но я вдруг, не успев опомниться и сообразить, очутился не в своей берлоге с полуразрушенною печью и промерзлыми углами, а ни много ни мало — в Лувре, в той самой комнате, где стоит она, Венера Милосская... Да, вот она теперь совершенно ясно стоит передо мною, точь-в-точь такая, какою ей быть надлежит, и я теперь ясно вижу, что вот это самое и есть *то*, от чего я проснулся; и тогда, много лет тому назад, я также проснулся перед ней, также «хрустнул» всем своим существом, как бывает, «когда человек растет», как было и в нынешнюю ночь.

Я успокоился: больше не было в моей жизни ничего *такого*; ненормальное напряжение памяти прекратилось, и я спокойно стал вспоминать, как было дело.

II

...Как давно это было! Не меньше как двенадцать лет тому назад довелось быть мне в Париже. В то время я давал уроки у Ивана Ивановича Полумракова. Летом семьдесят второго года Иван Иванович вместе с женой и детьми, а также и сестра жены Ивана Ивановича с супругом и детьми, собрались за границу. Предполагалось так, что я буду находиться при детях, а они, Полумраковы и Чистоплюевы, будут «отдыхать». Я считался у них диким нигилистом; но они охотно держали меня при детях, полагая, что нигилисты, хотя и вредные люди

и притом весьма ограниченного миросозерцания, тупые и узколобые, но во всяком случае «не врут», а Полумраковы и Чистоплюевы и тогда уже чувствовали, что они по отношению к наивным и простым детским вопросам поставлены в положение довольно неловкое: «врать совестно», а «правду сказать» страшно, и принуждены были поэтому на самые жгучие и важные вопросы детей отвечать какими-то фразами среднего смысла, вроде того, что «тебе это рано знать», «ты этого не поймешь», а иногда, когда уже было особенно трудно, то просто говорили: «Ах, какой ты мальчик! Ты видишь, папа занят».

Так вот и предполагалось, что я, нигилист, буду делать ихним детям «определенное», хотя и ограниченное, узколобое миросозерцание, а они, родители, будут гулять по Парижу. Но решительно не знаю, благодаря какой комбинации случилось так, что дамы и дети в сопровождении компаньонки и какого-то старого генерала очутились где-то на морском берегу, а мужья и я остались в Париже «на несколько дней». Замечательно при этом, что и дамы, уезжая, были очень со мною любезны, говорили даже, что оставляют мужей «на мое попечение». Теперь я догадываюсь, что, кажется, и у дам были относительно меня те же взгляды и те же расчеты, которые вообще исповедовали все они относительно нигилистов, то есть, что хотя и туп, и дик, и ограничен, и окурки кладу чуть не в стакан с чаем, но что все-таки мое «ограниченное» миросозерцание заставит как Ивана Ивановича, так и Николая Николаевича вести себя в моем присутствии не так уж развязно, как это, вероятно, было бы, если бы они за отъездом жен остались в Париже одни с своим широким миросозерцанием. «Все-таки они посовестятся *его*!» — вот, кажется, что именно думали дамы, любезно оставляя меня в Париже с своими мужьями.

Времени, отпущенного нам для отдыха, было чрезвычайно мало, а Париж так велик, огромен, разнообразен, что надобно было дорожить каждой минутой. Помню поэтому какую-то спешную ходьбу по ресторанам, по пассажам, по бульварам, театрам, загородным местам. Некоторое время — куча впечатлений, без всяких выводов, хотя на каждом шагу кто-нибудь из нас непременно про-

износил фразу: «А у нас, в России...» А за этой фразой следовало всегда что-нибудь ироническое или даже нелепое, но заимствованное прямо из русской жизни.

Сравнения всегда были не в пользу отечества.

Такая невозможность разобраться в массе впечатлений осложнялась еще тем обстоятельством, что в 1872 г. Париж уже не был исключительно тем разнохарактерным «тру-ля-ля», каким привык его представлять себе русский досужий человек. Только что кончились война и коммуна, и еще действовали военные версальские суды; за решеткой Вандомской колонны еще валялась груда мусора и камней, напоминая о ее недавнем разрушении; в зеркальных стеклах ресторанов виднелись звездообразные трещины коммунальных пуль; те же следы пуль — маленькие беленькие кружочки с ободком черной копоти — массами пестрили фасады величественных храмов, законодательного собрания, общественных зданий; вот у статуи богини «Правосудие» неведомо куда отскочил нос, да и у «Справедливости» не совсем хорошо на правом виске, и среди всего этого — мрачные развалины Тюльери с высовывающимися рыжими от огня железными жердями, стропилами. Вообще на каждом шагу видно было, что какая-то грубая, жестокая, незнакомая с перчаткою рука нанесла всему этому недавно еще раззолоченному «тру-ля-ля» оглушительную пощечину. Таким образом, хотя Париж «тру-ля-ля» и действовал уже попрежнему, как ни в чем не бывало, но в этом действовании нельзя было не приметить какого-то усилия; пощечина ярко горела на физиономии, старавшейся быть веселой и беспечной, и сочетание разухабистых звуков возродившейся из пепла шансонетки с звуками «рррран. . .», раздававшимися в саторийском лагере и свидетельствовавшими о том, что там кого-то убивают, невольно примешивало к разнообразию впечатлений парижского дня неприятное, мешающее свободному их восприятию чувство стыда, даже как бы позора. Вот почему, между прочим, нам и было весьма трудно разобраться в наших впечатлениях: набегаемся за день, наглядимся, наедимся, насмотримся, наслушаемся, еще раз и два наедимся и напьемся, а воротимся в свою гостиницу — и можем только бормотать что-то очень неопределенное, хотя и разнообразное, и даже бесконечно разнообразное.

Решительно не могу припомнить, каким образом удалось нам, наконец, уловить одну черту, показавшуюся нам весьма существенною, отличающую «нас» от «них», и мы крепко за нее ухватились, как за путеводную нить.

Подал нам, например, слуга завтрак в загородном ресторанчике, а сам тут же, неподалеку от нас, сел читать газету, и мы, руководимые уловленною нами нитью, уже не преминем по окончании завтрака рассуждать об этом обстоятельстве таким образом:

— Да, личность-то человеческая здесь цела и сохранна! Вот он — лакей, слуга, тарелки подает, служит из-за куска хлеба, но он — человек! Это не то что наш лакей, который даже бесплатно будет перед вами холопствовать; мало того, что будет тарелки подавать, задохнувшись от благоговения, что «едят хорошие господа», но и лицо-то сделает холопское, и будет не ходить, а бросаться с тарелками, вспотеет весь от умиления. А это далеко не то! Он человек, его все интересует; он берет себе пять процентов с истраченного вами франка — и конец. Нет, это не лакей!

Кокотки, бульварные дамы также оказались все до единой не только кокотками, но и человеками.

— Это не то что у нас по Невскому несется в участок на извозчике какая-нибудь трагедия с подбитым глазом или совершенно спокойно, как мужик, во все горло выкрикивающий «сбитень хорош!», приглашает среди белого дня пойти с ней погулять, полагая, что это гулянье нечто вроде должности — недаром начальство выдало ей документ. Нет, тут не то! Тут хоть она и занимается «этими делами», но в ней жив человек; она и этими делами займется и книжку почитает. Что ж делать? Это уж такой строй, ничего не поделаешь! Я как-то совершенно случайно (Иван Иванович сказал эти слова как-то в сторону, да и Николай Николаевич также при этих словах как будто бы покосился куда-то вниз и вбок) разговорился вот тут на бульваре с одной... — не помню уж, мороженое, что ли, ел — так ведь это, батюшка, ум! Ведь это живая, блестящая беседа! «Этими делами!» Эти дела — сами собой, а человек-то сознает свое человеческое достоинство! Вот в чем штука-то!

Попали мы в версальские военные суды, где в то время «разделывались с коммунарами». Разделывались

с ними без всякого милосердия. В полтора часа разбиралось по пятнадцати дел, причем, что бы ни лепетал в свое оправдание подсудимый, большею частью несчастнейшего вида портной, сапожник, подмастерье, господа судьи, обнажив свои головы перед великими словами: «au nom du peuple français», упекали его в Кайену, Нумею... Камер для этих судов было настряпано пропасть; простыми досками были разгорожены огромные казарменные комнаты на четыре, на шесть клетушек, и в каждой клетушке упекали людей.

— Так ведь что ж, батюшка? Тут ведь борьба! Два порядка, два миросозерцания стоят друг против друга. Какие же тут послабления, снисхождения? Чья возьмет! Это не то что у нас — упекут в Сибирь бабу, которая, не помня себя, родила и задушила ребенка, а потом сами же упекатели и собирают ей на дорогу. И несправедливо и глупо. Нет, здесь открыто, ясно, просто — кто кого! Здесь люди, батюшка, люди, каждый шаг свой на земле отстаивающие с борьбой и кровью... Тут нет гуманной болтовни, от которой тошнит, как у нас, и которая вовсе не обеспечивает нас от того, что гуманно болтающий человек не упечет вас к чорту на рога по личной злобе, ради мелкой зависти... Нет! здесь люди — «человеки», живут и делают без фальши, а только по-человечески... Ну а уж что делать, если человек вообще плох!

Заглянули в парламент, помещавшийся тогда там же, в Версали. И здесь все оказалось вполне по-человечески.

— Это, батюшка, не то что у нас какой-нибудь чинодрал или чинопер, безжизненнейшая, мертвая душа, строчит какие-то бессмысленнейшие бумаги и не задумается расказнить всякого, кто усомнится в живом значении исписанного бумажного листа. У нас бумага, чернила, сушь, а жизнь — что твой свиной хлев. Здесь совсем не то; здесь везде жизнь — и на улице, и в парламенте. Какова есть, такой ее и получите. Вон, посмотрите-ка направо-то: поел, позавтракал — брюхо-то тянет на покой. А Гамбетта, поглядите-ка, по животу-то себе гладит, тоже перекусил парнишка, должно быть, плотно! Что ж? Ничего! Три часа — брюхо давно уж разговаривает... Отчего ж не перекусить? А галдят-то! Да все они немножечко подгуляли за завтраком... коньячишко еще не прошел... Право, ничего! Не беспокойтесь!

То, что нужно для живого дела, сделают! Живое дело не велико, просто! Это у нас только «не пимши, не емши» убиваются по целым годам, стулья кожаные просиживают до дыр, издыхают, что называется, за строченьем бумаг, а все толку нет! Нет, здесь жизнь, здесь люди, человеки; здесь, батюшка, все по-человечески! без прикрас, без фраз!

А когда мы на денек, на два попали в Лондон, так уж тут «правда» осадила нас со всех сторон, на каждом шагу, во всех видах и во всех смыслах.

В каком-то «настоящем» английском ресторане, за пять шиллингов, вместо разнообразного пятифранкового парижского обеда нам *три раза* кряду дали одно и то же блюдо, три раза мы могли потребовать и съесть по хорошему куску мяса какого-то дикого животного, которое в жареном виде разъезжало в каком-то экипаже на колесах по ресторану (где все посетители хранили мертвое молчание), останавливаясь там, где заметна была пустая тарелка.

— Так, именно так! — сказал восторженно Иван Иванович, когда мы действительно наелись до отвала этим блюдом и вышли на улицу. — Раз, — продолжал он, — жизнь правдива, без фальши, она должна быть правдива во всем. Человек бегает, трудится, работает настоящим образом от зари до зари, ему нужна настоящая пища, его незачем надувать ордеврами и разносолами. Есть, так уж есть как следует, и вот вам за пять шиллингов одно блюдо! Это великолепно!

Английская «правда» оказывалась гораздо уж выше французской, в чем мы скоро убедились самым неотразимым фактом. Надоумил нас кто-то (кажется г-н Бедекер) съездить в Гринвич и съесть там знаменитый парламентский обед — «маленькую рыбку». Обед этот ни по своей цене, ни по своей «знаменитости», очевидно, не мог быть тем деловым обедом делового человека, который так нас восхитил своей «правдой». Это уж должно было быть что-то особенно изысканное. Каково же было наше удивление, когда и этот знаменитый обед еще раз убедил нас в том, что там, где в основании жизни лежит «правда», там для лжи, для притворства, для выдумки нет места даже в самых мельчайших проявлениях жизненного обихода. Обед состоял из множества рыбных

блюд; маленькая рыбка, гужон, пескарь, фигурировала на первом плане, и блюда с маленькой рыбкой только изредка перемежались блюдом лососины или какой-нибудь другой рыбы. Но ни маленькая рыбка, ни лососина, никакая другая из числа рыб, появлявшихся за этим обедом, не была подана в каком-нибудь таком «притворном» и неправдивом виде, чтобы, съев ее, можно было по совести сказать: «как вкусно!» Лососина пахла лососиной, лучше сказать, тем рыбным запахом, которым пахнет бумага или рука, прикоснувшаяся к рыбе. Правдивая английская фантазия не могла сфальшивить так, как сфальшивила бы французская. Точно таким же натуральным, правдиво-рыбьим запахом отдавали и все прочие посторонние кусочки посторонних рыб, появлявшиеся за обедом.

Что же касается героя обеда, «пескаря», то безукоризненно правдивая английская мысль и тут не могла подняться до шарлатанства и выдумки, и единственно на что у нее хватило смелости, так это только на то, чтобы дать одному блюду маленькой рыбки хоть какое-нибудь отличие от другого. Это отличие и было сделано помощью перца: то рыбка является обжаренною в простом перце, то в кайенском, то в легкой пропорции, то посильнее, то еще полегче, или еще позабористее, причем рыбка сама собой сохранила свой натуральный рыбий запах и непременно пахла чорт знает чем. После десятка таких тонких блюд, когда уже и усы, и салфетки, и платки, и руки — словом, все, что на вас и около вас, стало пахнуть рыбой и речной водой, появился последний, заключительный экземпляр маленькой рыбки, который, как оказалось впоследствии, достойно увенчал здание правдивого обеда. Эта последняя рыбка, чрезвычайно маленькая, лежала на большой белой тарелке без всяких украшений и аксессуаров, как-то одиноко и загадочно: ее маленькое тело было искривлено как бы предсмертной конвульсией, да и одиночество ее на белой тарелке было также несколько таинственно; всматриваясь в этот венец здания, я, однако, не нашел ничего особенно таинственного, за исключением каких-то крошечных красненьких пылинок, которые усеивали все ее тщедушное тело. Но когда, взяв ее за хвост, все мы открыли рты и, думая проглотить это ничтожество, беспечно понесли его куда следовало, то рты

наши уж не могли закрыться; маленькая тварь вонзилась в горло, как раскаленная игла, жгла рот, гортань и, после страшных усилий проскользнув далее, обожгла все горло и, как миноноска, зашмыгала в желудке, пытаясь взорвать его в двадцати местах.

Минуты две мы отпивались от этого «кушанья» сельтерской, содовой водой и вином и, только очувствовавшись, наконец могли издавать членораздельные звуки.

— Да! — сказал Иван Иванович довольно загадочно и вновь припал к содовой воде.

— Вот чорт-то! — сказал Николай Николаевич, который почему-то начал чихать и, отчихавшись, прибавил: — это уж не перец... а это что-то... бенгальский огонь какой-то... дьявол его возьми!

— Но не правда ли, до какой степени они глубоко правдивы? — сказал, наконец, Иван Иванович. — Ведь из этакого обеда чего бы только ни натворил француз? Ведь это было бы вавилонское столпотворение! А эти — нет! Нехватает на выдумку, на притворство... Дело, дело, дело! Реальная деловая мысль работает упорно, безостановочно, по вершочку идет вперед и вперед... а вот на соус, на куплет, на курбет неспособна! Правда! правда! вот где корень всей этой жизни!

И затем по пословице: «на ловца и зверь бежит», все, что мы ни видели в Лондоне, все поражало нас со стороны неподдельной правды и полной безыскусственности.

Если попадалась нищета, так уж это была такая голь, такой ужас, такая грязь, что можно было только остановиться, остолбенеть и глядеть в истинном ужасе на безукоризненно ясное явление жизни; даже той приличной внешности, которою французская парижская нищета может прикрывать себя, покупая за три-четыре франка рубашку, блузу, шапку и туфли, и той здесь нет и помину; целые гирлянды нищих детей, целые кучи их, кучи какой-то рвани, грязи лепешками на больных лицах, грязи в лысых местах больной головы, — копошатся по нищенским переулкам. Да, это уж точно нищета! Неприкрытая! Гляди — и всю жизнь не забудешь этой «правды» теперешнего человеческого общества.

Но зато уж и богатство, так тоже настоящее богатство!

Посмотрите-ка вот на этого белотелого истукана с сигарою в углу рта, пробирающегося, вероятно, в парк на каком-то необыкновенном инструменте (нельзя сказать: «экипаже»). Истукан сидит на каком-то крошечном сиденьице, из-под которого в разные стороны вылезают какие-то стальные нити, как огромные ноги паука. Он весь на воздухе, высоко над толпой, а под ним как будто ничего нет, только блистают на солнце какие-то стальные иглы, а что это — колеса или ноги стального паука — не разберешь. Поглядите на него, и один вид, одна «порода», которая видна в нем, скажет вам, что он органически *не может* понять, что такое за существа копошатся у колес его паукообразного инструмента. Он органически безжалостен к нищете, к этим маленьким заморенным, почерневшим от каменноугольного дыма человечкам.

Словом, из Лондона мы вывезли довольно ценное впечатление: «Вот она, жизнь, в основе которой лежит неприкрашенная правда человеческая! Гляди и учись!»

III

Однако, несмотря на обилие материала, почерпнутого нами в эти дни беготни и касавшегося правды человеческих отношений, до которых успело дожить человечество, по возвращении в Париж нам стало почему-то скучно. В один серенький день, продолжая «досматривать» недосмотренное, мы лазили без малейшего удовольствия в парижских катакомбах, где множество боковых галерей было еще охраняемо стражей или загорожено цепями; это делалось для того, чтобы иностранец не наткнулся в этих запутанных галереях на трупы коммунаров, которые, говорят, бросились в катакомбы спасаться от версальцев, заблудились там и погибли в большом количестве. Видели также и в тот же день знаменитый морг с массою трупов, положенных перед глазами зрителей весьма прилично и невозмутительно; только вот тряпье, рвань, снятая с этих мертвецов, утонувших, угоревших, застрелившихся, отравившихся, — рвань, развешанная тут же около трупов на веревочках, для того чтобы можно было узнать погибшего по платью, если нельзя было узнать по лицу, — этот хлам говорил о горькой безысходной бедности. У одной

молодой женщины подошвы ног, обращенные к публике, были сплошной мозолью — поработала бедняга на своем веку! Хотели было идти в знаменитые клоаки, но путеводитель так расписал их, что просто дух захватило: можете представить, что одних (прошу извинить за неэстетическую картину) выкидышей человеческих, которые плавают там, в этих смрадных водах (извините, сделайте милость), он считал десятками тысяч.

Иван Иванович уж не говорил, что «а все-таки неприкрытая правда — гляди, страдай и учись»; напротив, он предложил рассеяться от этих впечатлений дня — всё трупы! В одних катакомбах три миллиона скелетов, в морге с десяток «свежих» покойников да в клоаках сулили тысячи мертвецов. Следовало немножко и отдохнуть от всего этого, «человеческого», на чем-нибудь не столь мрачном. Но когда вечером мы уселись на железных стульях какого-то кафе-концерта в Елисейских полях, и когда перед нами началось веселое кривлянье (повторяю, не утратившее еще следа недавнего удара), и когда вспомнилось, что, может быть, тут же, в клоаке, проходящей под Елисейскими полями, плывут тысячи неродившихся, когда вспомнилось, что в Версали раздается еще «ррррран. . .» — когда вспомнилось все это, так и совсем стало скучно.

На следующее утро я ушел из гостиницы, не дожидаясь, когда проснутся мои патроны; мне было чрезвычайно тяжело, тяжко, одиноко до последней степени, и весь я ощущал, что в результате всей виденной мною «правды» получилось ощущение какой-то холодной, облипающей тело, промозглой дряни. Что-то горькое, что-то страшное и в то же время несомненно подлое угнетало мою душу; без цели и без малейшего определенного желания идти по той или другой улице я исходил по Парижу десятки верст, нося в своей душе этот груз горького, подлого и страшного, и совершенно неожиданно доплелся до Лувра; без малейшей нравственной потребности вошел я в сени музея; войдя в музей, я машинально ходил туда и сюда, машинально смотрел на античную скульптуру, в которой, разумеется, по моему, тяпушкинскому, положению ровно ничего не понимал, а чувствовал только усталость, шум в ушах и колотье в висках; — и вдруг, в полном недоумении, сам не зная почему, пора-

женный чем-то необычайным, непостижимым, остановился перед Венерой Милосской в той большой комнате, которую всякий, бывший в Лувре, знает и, наверное, помнит во всех подробностях.

Я стоял перед ней, смотрел на нее и непрестанно спрашивал самого себя: «что такое со мной *случилось?*» Я спрашивал себя об этом с первого момента, как только увидел статую, потому что с этого же момента я почувствовал, что со мною случилась большая радость... До сих пор я был похож (я так ощутил вдруг) вот на эту скомканную в руке перчатку. Похожа ли она видом на руку человеческую? Нет, это просто какой-то кожаный комок. Но вот я дунул в нее, и она стала похожа на человеческую руку. Что-то, чего я понять не мог, дунуло в глубину моего скомканного, искалеченного, измученного существа и выпрямило меня, мурашками оживающего тела пробежало там, где уже, казалось, не было чувствительности, заставило всего «хрустнуть» именно так, когда человек растет, заставило также бодро проснуться, не ощущая даже признаков недавнего сна, и наполнило расширившуюся грудь, весь выросший организм свежестью и светом.

Я в оба глаза глядел на эту каменную загадку, допытываясь, отчего это так вышло? Что это такое? Где и в чем тайна этого твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, неведомо как влившегося в меня? И решительно не мог ответить себе ни на один вопрос; я чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить животворящую тайну этого каменного *существа*. Но я ни минуты не сомневался в том, что сторож, толкователь луврских чудес, говорит сущую правду, утверждая, что вот на этом узеньком диванчике, обитом красным бархатом, приходил сидеть Гейне, что здесь он сидел по целым часам и плакал: это непременно должно было быть; точно так же я понял, что администрация Лувра сделала великое для всего мира дело, спрятав эту каменную загадку во время франко-прусской войны в деревянный дубовый ящик и схоронив этот ящик в глубине непроницаемых для прусских бомб подвалов; представить себе, что какой-то кусок чугуна, пущенный дураком, наевшимся гороховой колбасы, мог бы раздробить *это* в мелкие дребезги, мне казалось в эту минуту

таким злодейством, за которое нельзя отомстить всеми жестокостями, изобретенными на свете. Разбить *это*! Да ведь это все равно что лишить мир солнца; тогда жить не стоит, если нельзя будет хоть раз в жизни не ощущать *этого*! Какие подлецы! Еле-еле домучаются до гороховой колбасы и смеют! Нет, ее нужно беречь как зеницу ока, нужно хранить каждую пылинку этого пророчества. Я не знал «почему», но я знал, что в этих витринах, хранящих обломки рук, лежат действительные сокровища; что надо во что бы то ни стало найти эти руки, что тогда будет еще лучше жить на свете, что вот тогда-то уж будет радость настоящая.

Долго ли я недоумевал над выяснением причин, так неожиданно расширивших, выпрямивших, свежестью и спокойствием наполнивших мою душу, я не помню. Появление какого-то россиянина, вся фигура которого говорила, что он уже вполне разлакомлен бульварными прелестями, а развязный взгляд этого человека, очевидно только что позавтракавшего, стал так бесцеремонно «обшаривать» мою загадку, не находя, повидимому, ничего особенного по своей части (такие ли он уж видал виды!), заставило меня уйти из этой комнаты. Я мог оскорбиться на этого развязного человека, а мне *невозможно* было даже мысли допустить, чтобы в эту минуту я мог даже подумать жить чем-нибудь таким, что составляло простую житейскую необходимость *той поры*, то есть того времени, когда я был скомканной перчаткой. Опять позволить скомкать себя так, как это было час тому назад и всю жизнь до этого часа? Нет, нет! Я не мог даже есть, пить в этот день, до такой степени мне казалось это ненужным и обидным для того нового, которое я в себе самом бережно принес в мою комнату.

С этого дня я почувствовал не то что потребность, а прямо необходимость, неизбежность самого, так сказать, безукоризненного поведения: сказать что-нибудь не то, что должно, хотя бы даже для того, чтобы не обидеть человека, смолчать о чем-нибудь нехорошем, затаив его в себе, сказать пустую, ничего не значащую фразу, единственно из приличия, делать какое-нибудь дело, которое могло бы отозваться в моей душе малейшим стеснением или, напротив, могло малейшим образом стеснить чужую душу, — теперь, с этого памятного дня, сделалось немыс-

лимым; это значило потерять счастие ощущать себя человеком, которое мне стало знакомо и которое я не смел желать убавить даже на волосок. Дорожа моей душевной радостью, я не решался часто ходить в Лувр и шел туда только в таком случае, если чувствовал, что могу «с чистою совестью» принять в себя животворную тайну. Обыкновенно я в такие дни просыпался рано, уходил из дому без разговоров с кем бы то ни было и входил в Лувр первым, когда еще никого там не было. И тогда я так боялся потерять вследствие какой-нибудь случайности способность во всей полноте ощущать то, что я ощутил здесь, что я при малейшей душевной нескладице не решался подходить к статуе близко, а придешь, заглянешь издали, увидишь, что она тут, та же самая, скажешь сам себе: «ну, слава богу, еще можно жить на белом свете!» — и уйдешь.

И все-таки я бы не мог определить, в чем заключается тайна этого художественного произведения и что именно, какие черты, какие линии животворят, «выпрямляют» и расширяют скомканную человеческую душу. Я постоянно думал об этом и все-таки ничего не мог бы передать и высказать определенного. Не знаю, долго ли бы я протомился так, если бы одно совершенно случайное обстоятельство не вывело меня, как мне кажется, на настоящую дорогу и не дало мне, наконец-таки, возможности ответить себе на неразрешимый для меня вопрос: в чем тут дело, в чем тайна?

Совершенно случайно припомнилось мне старинное стихотворение в «Современнике» 55—56 годов; стихотворение носило название «Венера Милосская» и, кажется, принадлежит г-ну А. Фету. Когда-то я знал это стихотворение наизусть, но теперь не мог припомнить всего и вспомнил только несколько строк, не имеющих никакой друг с другом связи. Мне вспомнились такие стихи: «До чресл *сияя наготой*, цветет *смеющееся тело* неувядаемой красой. . .» С словом *красой* рифмовала совершенно одиноко возникшая в моей памяти строчка: «И *млея* пеною морской» или «*млея негою одной*». Наконец, припомнилась и еще строчка: «И вся *кипя* (а может быть, и не так) пафосской (и это, может быть, неверно) *страстью*. . .» Вот и все, что мне припомнилось; но то, что рисовали эти строчки — «кипя страстью. . . смеющееся

тело... млея пеною морской» или *«негою одной»,* «цветет неувядаемой красой», — все это до такой степени было *не то* сравнительно с моим ощущением, что мне даже стало смешно.

В самом деле, всякий раз, когда я чувствовал неодолимую потребность «выпрямить» мою душу и идти в Лувр взглянуть, «все ли там благополучно», я никогда так ясно не понимал, как худо, плохо и горько жить человеку на белом свете сию минуту. Никакая умная книга, живописующая современное человеческое общество, не дает мне возможности так сильно, так сжато и притом совершенно ясно понять «горе» человеческой души, «горе» всего человеческого общества, всех человеческих порядков, как один только взгляд на эту каменную загадку. Правда, я еще не могу найти связи между этой загадкой, выпрямляющей мою душу, и мыслью о том, как худо жить человеку, являющейся непосредственно вслед за ощущением, даваемым загадкой, но я положительно знаю собственным своим опытом, что в то же мгновение, когда я почувствую себя «выпрямленным», я немедленно же почему-то начинаю думать о том, как несчастлив человек, представляю себе все несчастие этой шумящей за стенами Лувра улицы, и невольно, в смысле этого «человеческого горя», начинаю группировать все мною пережитое, виденное, слышанное до последней минуты сегодняшнего дня включительно, но я не ощущаю ни малейшей возможности сосредоточиться хотя на одну минуту на каких-нибудь частностях собственно *женской* красоты видимой мною загадки.

Просто в голову даже не приходит думать, что перед тобой что-то «по части» тела, а напротив, непостижимо, почему думаешь, например, о том, что Иван Иванович Полумраков, сказавши, что вот этот лакей, несмотря на свое лакейство, все-таки сохранил в себе человека, решительно не понимал, какую огромную подлость лепетали его уста. Как! человек — и лакей? Человек — и принужден подавать тарелки? Это *человек*-то должен безмолвно исполнять ваши прихоти, чтобы получить три су на пропитание? Вот как, вдруг, переиначивалась во мне фраза Ивана Ивановича «о человеческом достоинстве», переиначивалась мгновенно, от одного только взгляда на загадку, заставлявшую ощутить радость сознания себя человеком.

Вчера я, может быть, еще мог бы радоваться вместе с Иваном Ивановичем, что вот эта уличная женщина сохраняет свое «человеческое достоинство», но *сейчас* я понять не могу, каким образом можно было допустить, чтобы человеческое достоинство, чтобы человек был так глубоко оскорблен. Человека, и сметь так осрамить! Человека-то сделать таким несчастным, так его всего скомкать, испачкать грязью! . .

Нет, не «правда человеческая» рисуется передо мною теперь, не «правда», до которой, по словам Ивана Ивановича, дожило человечество, а самая страшная *неправда*, и никогда мне так не ясна она, эта неправда, как сейчас. Униженным, осрамленным представляется мне этот человек и в виде того лондонского богача, один вид которого дал Ивану Ивановичу возможность сказать, что во всей его породе и природе нет фальши: теперь этот породистый тип казался мне унижением человека; как можно было довести человека до такого типа, до такого душевного состояния, которое даже органически не может понимать, что такое за мразь человеческая копошится у колес его экипажа? Как можно было довести человека до типа этой мрази, этого ничтожества, обрекающего себя на каторжный труд, на голод, на грязь, на безграничное душевное отчаяние? Все это ужасная неправда для *человека*; во всех этих неподходящих друг к другу положениях видно только, что «человек» скомкан, изуродован, «осрамлен» в своих человеческих побуждениях; изуродован необходимостью унижать себя до раба, до торговли своим телом, до желания наложить на себя руки, до потребности прекратить чужую жизнь, убив такого же, как и сам, человека, до потребности ограбить человека, до потребности, наконец, щеголять чрезвычайной добротою. Во всем этом, то есть во всем, что только ни видит ваш глаз, все одно унижение, все попрание в человеке человека. . . И страшно становилось за душевную участь теперешнего *человека*, за искалеченное, а потому постоянно опечаленное существо его души. . . И обо всем этом думалось благодаря «каменной загадке»; она «выпрямляла» во мне скомканную теперешнею жизнью душу человеческую, знакомила, неведомо как и в чем, с радостию и широтою этого ощущения.

Не «смеющееся тело», и не «пена», и не «кипя», и не «сияя», — очевидно, не они выпрямляли и выпрямляют в этом художественном произведении душу человеческую; очевидно, что автор стихотворения не только не овладел всей огромностью впечатления, но даже к краешку его не прицепился, а, соблазненный, так сказать, «званием» Венеры, как бы уже не мог не воспрославить *женской* красоты и без малейшего основания заставил смеяться несмеющееся, млеть немлеющее и кипеть не кипящее. И в самом деле, как же изобразить очарование женской красоты (ведь это Венера!), если не воспеть тела, если не разнежить им зрителя, заставив это тело млеть, заставив его волноваться страстью? Какими же чертами, какими красками описывать женскую, божественную красоту? И г-н Фет все это так точно и воспел, и все это совершенно несправедливо, то есть на воспевание только *этого* он не имел никакого права.

В самом деле, если говорить о женской красоте, о красоте женского тела, «неувядаемой» прелести, так ведь уж одно то, что Венера Милосская — калека безрукая, не позволяет поэту млеть и раскисать; тут же в коридоре, ведущем к Венере Милосской, вот близ тех, других «Венер», которых там так много, зритель, точно, может размышлять по части наготы тела; там женские черты выделены с большою тщательностью и лезут в глаза прежде всего; вот этим (также знаменитым) Венерам действительно под стать и млеть, и кипеть, и щеголять смеющимся телом, и глазками, и ручками, «этаким вот» пафосским манером изображающими жесты стыдливости... Там, «у тех Венер», любитель «женской прелести» найдет на что посмотреть и пред чем помлеть, а здесь? Да посмотрите, пожалуйста, на это лицо! Такие ли, по части красоты женского лица, сейчас, сию минуту, тут же рядом, в Елисейских полях, можно получить живые экземпляры? Вот тут, в Елисейских-то полях, действительно могут встретиться такие смеющиеся тела, женственность которых чувствуется зевакой даже издали, несмотря на то, что и наготы-то никакой не видно, вся она закрыта самым тщательным образом. Здесь, в парижских-то Венерах, эта часть разработана необычайно, а у этой? Посмотрите, повторяю, на этот нос, на этот лоб, на эти... право, сказать совестно, почти мужицкие завитки волос по углам лба... Положительно

сейчас, сию минуту в Париже найдутся тысячи тысяч дам, которые за пояс заткнут Венеру Милосскую по части смеющегося естества.

Мало-помалу я окончательно уверил себя, что г-н Фет без всяких резонов, а единственно только под впечатлением слова «Венера», обязывающего воспевать женскую прелесть, воспел то, что не составляет в Венере Милосской даже маленького краешка в общей огромности впечатления, которое она производит. В самом деле, если художник хотел поразить нас красотой женского тела (которая, по словам г-на Фета, и млеет, и цветет, и смеется, и кипит страстью), зачем он завязал это тело «до чресл»? Уж коли тело, так давай его все, целиком; тут уж и пятка какая-нибудь, сияющая «неувядаемой красотой», должна потрясти простых смертных. Вот новые французские скульпторы, так те не то что «красоту», а «истину», «милосердие», «отчаяние» — все изображают в самом голом виде, без прикрышки. Прочтешь в каталоге: «Истина», а глаза-то смотрят совсем не туда... «Отчаяние»... подойдешь, поглядишь и думаешь вовсе не об «отчаянии», а о том, что «эко, мол, баба-то... растянулась — словно белуга».

А тут, задавши себе задачу ослепить нас неувядаемой красотой женского тела, смеющегося, кипящего, млеющего, взять да и закутать ее чуть не всю, до самых чресл! Что же это такое? Что руководило художником? Но это еще не все: закутав тело своего создания «до чресл», что он дал по части женской красоты — лицу, лбу, носу, выражению глаз?

И как бы вы тщательно ни разбирали этого великого создания с точки зрения «женской прелести», вы на каждом шагу будете убеждаться, что творец этого художественного произведения имел какую-то другую, высшую цель.

Да, он потому (так стало казаться мне) и закрыл свое создание до чресл, чтобы не дать зрителю права проявить привычные шаблонные мысли, ограниченные пределами шаблонных представлений о женской красоте.

Ему нужно было и людям своего времени, и всем векам, и всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах и умах огромную красоту *человеческого* существа, ознакомить человека — мужчину, женщину, ребенка, старика — с ощущением счастия быть *человеком*, пока-

зать всем нам и обрадовать нас видимой для всех нас возможностью быть прекрасными — вот какая огромная цель владела его душой и руководила рукой.

Он брал то, что для него было нужно, и в мужской красоте и в женской, не думая о поле, а, пожалуй, даже и о возрасте, и ловя во всем этом только человеческое; из этого многообразного материала он создавал то истинное в человеке, что составляет смысл всей его работы, то, чего сейчас, сию минуту *нет* ни в ком, ни в чем и нигде, но что *есть* в то же время в *каждом* человеческом существе, в настоящее время похожем на скомканную перчатку, а не на распрямленную.

И мысль о том, когда, как, каким образом человеческое существо будет распрямлено до тех пределов, которые сулит каменная загадка, не разрешая вопроса, тем не менее рисует в вашем воображении бесконечные перспективы человеческого совершенствования, человеческой будущности и зарождает в сердце живую скорбь о несовершенстве теперешнего человека.

Художник создал вам образчик такого человеческого существа, которое вы, считающий себя человеком и живя в теперешнем человеческом обществе, решительно не можете себе представить способным принять малейшее участие в том порядке жизни, до которого вы дожили. Ваше воображение отказывается представить себе это человеческое существо в каком бы то ни было из теперешних человеческих положений, не нарушая его красоты. Но так как нарушить эту красоту, скомкать ее, искалечить ее в теперешний человеческий тип — дело немыслимое, невозможное, то мысль ваша, печалясь о бесконечной «юдоли» настоящего, не может не уноситься мечтою в какое-то бесконечно светлое будущее. И желание выпрямить, высвободить искалеченного теперешнего человека для этого светлого будущего, даже и очертаний уже определенных не имеющего, радостно возникает в душе.

IV

Вот, стало быть, и я, Тяпушкин, всею моею жизнью обреченный на то, чтобы не жить личною жизнью, а исчезнуть, пропасть в каком-то не моем, но трудном деле ближ-

него, — был глубоко рад, что великое художественное произведение укрепляет меня в моем тогдашнем желании идти в темную массу народа. Теперь благодаря всему, чему великое художественное произведение научило меня, я знаю, что мне по моим силам и можно и должно «идти туда».

— Я пойду туда и буду стремиться к тому, чтобы начинающий жить человек-народ не позволил себя унизить до размеров той «сущей правды», которая так обрадовала Ивана Ивановича в Европе! Есть из-за чего, в самом деле, мучиться, чтобы не то что сохранить свое человеческое достоинство, будучи лакеем, банкиром, нищим, кокоткой, а чтобы унизить себя до необходимости переносить все эти уродства!

...Года через четыре я опять был в Париже и опять «жаждал» ощутить «радость» существования, посетить Лувр, но, увы, не мог этого сделать: я уже опять был скомкан, скомкан крепкой, сильной, неумолимой рукой действительности и чувствовал, что теперь меня уж не выпрямишь... Попробовал было я пойти в Лувр, подошел даже к самым воротам, но просто совестно стало идти: «что ж я пойду *понапрасну* беспокоить ее? Все равно ничего не выйдет, а *ее* только сконфузишь!..» Постоял и пошел в русскую библиотеку упиваться газетными известиями о градобитиях и неурожаях.

А теперь вот опять — да где? в глухой, занесенной снегом деревушке, в скверной, неприветливой избе, в темноте и тоске безмолвной томительной зимней ночи — вспомнилась радостная минута и оживила. Бывают же случаи, когда оживают члены, разбитые параличом. Теперь я употреблю все старания, чтобы мне не утратить проснувшегося ощущения как можно дольше; я куплю себе фотографию, повешу ее тут на стене, и когда меня задавит, обессилит тяжкая деревенская жизнь, взгляну на нее, вспомню все, ободрюсь и... такую сделаю «овацию» волостному старшине Полуптичкину, что он у меня обеими руками начнет строчить донесения!..

15. ПРО СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

(Святочный рассказ)

I

Летним вечером у проезжей столбовой дороги расположились на ночлеге трое прохожих. Старший из них был старый отставной солдат, лет семидесяти, и два других — помоложе. Сошлись они в пути в дороге: отставной солдат шел сначала один, шел по знакомым местам, заходил в знакомые деревни, где у знакомых ему крестьян, духовных и помещиков на кухне занимался перешивкой старого тряпья, починкой старого платья, а справив дело, шел дальше, тоже все по знакомым местам. Давно он уже в этих местах ходит и каждый уголок по старому Московскому шоссе знает.

Где-то, по пути по дороге, нагнал он другого прохожего и пошел с ним. И рассказал ему этот прохожий, что жил он восемь лет у богатого купца в приказчиках, жил хорошо, в полном достатке, да вдруг где-то лопнул банк, за банком лопнул какой-то компаньон, а за компаньоном лопнул и хозяин завода, богатый купец, у которого прохожий служил приказчиком, а за хозяином и он, приказчик, остался без хлеба, все прожил на большую семью и вот теперь так обеднел, что приходится идти пешком в Петербург, искать: не попадется ли какого местечка? Долго приказчик рассказывал солдату, какое ему было счастье, как он жил привольно, долго и горько жаловался на теперешнее свое несчастье, вздыхал и бога молил, чтобы опять ему господь счастье послал.

Слушал его прохожий солдат, но чтобы жалеть его — не очень жалел, ласковых слов ему не говорил и к малодушеству приказчикову не склонялся: твердый был чело-

век. А когда приказчик рассказал по два, по три раза все свои горести, то пошли они молча; только приказчик вздыхал и охал.

Однако недолго пришлось им идти вдвоем, молчать да вздыхать. Неведомо откуда подскочил к ним и третий прохожий, босиком, в рваном пиджаке, в парусиновом кепи, и на вид молодой парень, только лицо опухло да у правого глаза синяк как будто бы недавний виднелся. Наши прохожие и не видали, откуда взялся этот молодец — не то справа он к ним подскочил, не то слева, не то с проселка, не то из перелеска, и не опомнились они, а он уже рядом с ними идет, цыгарку курит и жизнь свою рассказывает. И этот на горькую долю жалуется, недавнее счастье вспоминает, только не на тот образец, как приказчик. Этот сам про себя говорит:

— Мне бы барина какого господь послал поглупей да побогаче, так я бы его вот как оборудовал. Они меня, господа, любят, я умею им потрафлять. У одного такого-то барина — хороший телок мне попался — я пять годов выжил, сам был лучше барина... Я тогда в лакеях в трактире служил, и захотел господь послать счастье и послал — встретился с гулящим барином, он меня полюбил и приблизил... Уж и пожил я в полное свое удовольствие! Всего было! Так пожил, что даже избаловался, признаться, загордел, храп стал себе дозволять. Ну, барин-то осерчал, все отнял, прогнал. Теперь иду, братцы мои, и сам не знаю... Ничего нет, обносился, оборвался, от черной работы отвык... Неужто ж мне так и пропадать? Эх, кабы господь опять счастье послал, ежели бы мне теперь наскочить на хороший мешок, хотя бы даже и из купеческого звания, так и то я бы утрафил, понравился бы, как он там ни мудри, и уж теперь не дал бы маху! Нет! Уж теперь не промахнулся бы!

И так пошли они все трое; приказчик про свое счастье вспоминал, молил бога, чтобы господь послал ему сурьезного, капитального купца, а оборванец-лакей облизывался на свое прошлое, больно уж сладко оно было, как они с барином по разным столицам бражничали, и тоже просил у бога счастья, тоже ждал, не свалится ли оно откуда-нибудь либо под видом барина-бражника, либо купчика-безобразника. Один только солдат не мешался в такие разговоры: ничего не советовал, ничему не поддакивал,

а только покрякивал да помалчивал, а иной раз и ухмылялся.

И вечер прошел и месяц взошел, прохожие выбрали местечко под деревом, сели отдохнуть, огонь развели; у солдата был и котелок, и хлеб, и картофель; у приказчика в сумке лепешка ржаная нашлась, а у лакея ничего не было: за спиной его на палке болтались одни только сапоги. Однако ему дали поесть. Потом все легли, укрылись чем попало (лакей притащил охапку сена из соседнего стога и навалил ее на себя), помолчали и с холоду ли или так с раздумья опять разговор завели, и все про то же: эх, кабы купца, эх, кабы барина — то-то бы счастье было!

— Эх, ребята, ребята! — не вытерпел, заговорил солдат. — Слушаю, слушаю я вас — чего это вы у бога просите? Какое это счастье? Это не счастье, коли его на тебя нанесло, или ты случаем на него набежал... Где ж оно, ваше счастье-то? Один без сапог, а другой без хлеба... Нет, почтенные, не тот есть счастливый человек, который эдаким вот манером, а тот есть счастливый человек...

Но тут старый служивый запнулся; очень мудрено и много приходилось ему говорить, а к мудреным словам он был непривычен. Помолчал он немножко, да и говорит:

— Нет, вот что я вам, ребята, скажу: жил я в разных местах, и в Польше, и на Капказе, и в Баке огнедышащей, и там был — всего видел, много чего от людей слыхал... Так вот у нас в этой Баке, на Сураханском заводе, татарин Абдулка страсть как искусно свои татарские сказки рассказывал... Так вот в памяти у меня, как болтал он про счастливых людей... так, притчи ихние насчет того, кто есть счастливый человек на свете. Вот я вам, коли что, расскажу, а вы сами смекайте, в чем тут главная причина... Я своих слов не могу высказать, потому тут много надобно говорить, а ежели притчами, так мне лучше...

— Говори, говори, дедко! — ежась от холоду под сеном, торопливо бормотал лакей.

А приказчик (он все вздыхал) вымолвил:

— И в притчах тоже бывает премудрость...

И опять вздохнул.

II

— Ну, — заговорил старик, — уж не знаю, премудрость тут какая или так, баснословие — разбирай как знаешь: мое дело рассказывать.

«Так вот, други милые, жил-был на белом свете, должно, там же у них, на Капказе, татарин один... ну, хоть Ахметка пущай будет прозываться. И такой этот Ахметка был человек, что и весь-то он с потрохом не стоит ломаного гроша. И из себя как пакля или мочала — ни силы у него, ни смелости, ни ума, ни смекалки — так, ни на что не похожая тварь... Примазался этот Ахметка к бабе к одинокой, тоже само собой ихнего персидского закону, в мужья к ней влез, живет с ней, ест-пьет, а никакого толку от него нету. Попервоначалу-то баба думала: «все, мол, мужчина в доме»; а как пожила, видит, что у него, у дурака, все живот схватывает, когда надо по хозяйству хлопотать, и стала баба сердиться. «Поди, мол, погляди, чего собаки лают». — «Да я болен! У меня, говорит, спазмы какие-нибудь начинаются или тифозная горячка!» А больше ничего — боится ночью из дому выходить. «Ну, — скажет жена, — тогда я пойду сама». И сейчас Ахметка с печки прыг, за ней. «Ведь у тебя, у подлеца, тифозная горячка? так чего ж ты выскочил?» — «Да я думаю, тебе, мол, одной страшно, так я проводить!» Будто бы то есть жене угождал, а наместо того самому страшно одному дома остаться. Ну, одним словом, не человек, а так, больше ничего, олух какой-то. А между прочим, послушай-кось, до чего достиг!..»

— Ну, ну! — торопил лакей.

— Ну вот, братцы мои, смотрела, смотрела баба евонная на все его подлости, не вытерпела, вышла из всяких границ, говорит: «Вон из моего дома! видеть я тебя не могу, дурака набитого! Надоел ты мне хуже горькой редьки... Пошел вон!.. Чтоб сию минуту духу твоего не было!» Тут Ахметка насмерть перепугался, пал ей в ноги, трясется, молит Христом богом — по ихнему само собой, — чтоб она хоть ночь-то дала ему переночевать, не гнала бы его, дала бы ему свету дождаться... Выл, выл, совсем размяк, раскис рыдаючи — ну, жена согласилась, дозволила ему в сенцах, под дверью поспать. «Спи, говорит, балбес!» Ну а как чуть свет забрезжил, сейчас она

выкинула ему все его пожитки — «праху чтоб твоего не было!» — и вытолкала за ворота да поленом ему грозится: «убью, как собаку!» Подобрал Ахмет свои пожитки да давай бог ноги, как заяц от гончих, только пятки сверкают... Верст за десять от деревни только-только очувствовался от страху, думал, что жена его убьет, еле-еле отдышался.

«Ну, кой-как да кое-как оделся он в свое хоботье, саблю свою нацепил, кинжал там какой-нибудь, потому что у них, у черномазых народов, завсегда при себе ножик. Такие живорезы, на редкость! Двухгодовалый парнишка, а и тот уж к отцовскому кинжалу тянется поиграть, а отец-то еще и сам учит: «пхни, пхни, мол, в мамку! .» Такой уж народ кровопролитный. Вот и Ахметка тоже... Уж на что, кажется, мочало, не человек, а тоже сабля, кинжал за пояс заткнут. Надел он этот свой наряд, шапку рваную, лохматую, ровно сенная копна, на голову нахлобучил и пошел, сам не знает куда.

«Идет и плачет, себя жалеет, о своей доле сокрушается. Шел, шел, устал, сел отдохнуть на камень. Вспомнил свою жену... стал ее ругательски ругать — видит, что теперь уж она его не достигнет; ругал, ругал он ее во всю мочь, на всю степь горло драл, да в сердцах до того расхрабрился, что даже гаркнул: «Погоди, мол, такая-сякая! Убью!», да в сердцах хвать кулаком об камень. А время было горячее, солнце в тех местах палит в темя, как углем горячим... Мух налетело неведомо откуда на этот камень-то.. Как ударил он рукой-то об камень, чует: мокро! Поглядел — целую уйму мух он ухлопал одним махом. И так ему показалось это после сердцев-то приятно, что кому-нибудь он свое горе отомстил, что стал он думать повеселей: «Ишь, дура этакая, — забормотал он посвоему, по-татарскому, вспоминая свою жену. — Ни на что я не годен, никуда не гожусь, и трус-то я, и руки-то у меня мочальные... Нет, захочу, так все могу! Дура набитая, ценить не умела человека! Силы нету! Нет, вот один раз кулаком махнул — а сколько их ухлопал!» Стал он считать, насчитал пятьсот мух. «Пятьсот! Ишь сколько! А всего-то один раз махонул! Нет, есть у меня сила. Пятьсот мух ухлопать с одного маху, это значит, в человеке есть сила. Ежели бы она, дура баба, меня почитала да хорошо за мной ходила, так я бы нешто такую силу

забрал? Тварь этакая!» И так он стал хорошо об себе думать, что совсем расхрабрился, идет и все у него в голове эти пятьсот мух сияют. И сначала он думал о мухах, а что дальше идет — уж и о людях стал раздумывать; а как к городу какому-то стал подходить, так и совсем уж ему представилось, что не пятьсот мух он убил, а прямо сказать — пятьсот человек. Идет гоголем, на-поди! Пришел в город, прямо к мастеру, вынул кинжал и говорит: «Сделай надпись, что, мол, я, Ахмет, богатырь, побиваю по пятисот человек единым махом».

«Сделал ему мастер нарезку... и повалило, братцы мои, с этого числа на Ахметку счастье! То есть такое счастье повалило — почитай, что больше чем вот от барина от богатого на нашего компаньона нанесло его. Право!.. Идет он от мастера, а в брюхе у него очень большая тоска: ничего он не ел, не пил, почитай, целые сутки... «Хоть бы корочку какую господь послал!» Вдруг под самым его носом открывается двор, и идет на том дворе богатая свадьба: танцы, угощение, музыка — что угодно; царский министр дочь свою замуж выдает. Ахметка туда. «Кто такой?» Ахметка без долгих разговоров вынул кинжал. «А вот кто такой, говорит, читай!» Прочитали, ахнули, сейчас его в передний угол, угощать его принялись, в ноги кланялись, ручки у богатыря целовали. Ел Ахметка за четверых, наедался на неделю вперед, думает: «Назавтра не будет другой свадьбы, придется побираться, так надобно наедаться хорошенько...» А в то самое время, пока он ел да думал, что завтра есть будет нечего, уж доложили об нем царю, значит по-ихнему хану, — доложили так, что появился необыкновенный богатырь. Сейчас же хан приказал позвать Ахметку.. Испугался Ахметка страсть как... «Болен я, начинается у меня тифозная эпидемия!» Как есть как прежде. Однако его повели под руки прямо к хану... Пал Ахметка перед ним в ноги, лежит ни жив ни мертв, а хан, как прочитал надпись у него на кинжале, так и ахнул. «Этакого необыкновенного богатыря да чтоб я упустил из моей державы? Никогда!» Сейчас Ахметку подняли, одели его в драгоценные одежды, денег ему целый мешок в руки впихнули — Ахметка стоит дурак-дураком, сообразить ничего не может.. А хан думает: «Что ежели я его награжу, а другой какой-нибудь хан узнает да переманит

его к себе? Нет, ни за что! Женю я его на моей дочери, и тогда уж ему уйти некуда будет». И не успел, братцы мои, Ахметка опомниться — хвать, уж и свадьбу играют, и уж он мужем ханской дочери очутился, и уж, господи благослови, на кровати растянулся... Посмотрела на него ханская дочь и говорит: «Неужели, с позволения сказать, этакое чучело может быть великолепным богатырем?» А Ахметка лежит на кровати, трясется от страху — потому такую ему кровать сделали, что упади он с нее, так вдребезги бы расшибся. Вот он лежит и боится, как бы во сне не свалиться — ну а между прочим все-таки надумал, ответил своей нареченной жене: «Это ты так говоришь потому, что ничего не понимаешь. А поживи, так и увидишь, что я за сила». Поглядела, поглядела на него царевна — «экая, говорит, гадость!», плюнула, заплакала, а делать нечего! Приняла закон, так уж надо покоряться...

«Хорошо.

«А был тут под самым городом с незапамятных времен страшный змей. И жил тот змей в пещере, и ел народ поедом, целыми сотнями глотал, словно галушки... И стали ему жители платить дань: по два раза каждый год по красивой девице, значит, в жены ему, — по две жены, подлецу, в год — только бы он не жрал без толку прочих обывателей. И настал, братцы мои, такой год, что пришлось отдавать этому змею вторую ханскую дочь. А уж которая к этому змею девица попадает, так уже тут — со святыми упокой! Ни вовеки ее не увидишь!.. Только в этот раз царь-то ихний, хан, стало быть, и говорит: «Слава богу, есть у нас великолепный богатырь, не станем мы теперь девиц этому дураку, змею, отдавать: наш храбрый Ахмет с единого удара все головы ему пособьет... Ежели он с одного маху по пятисот голов рубит, так уж десяток змеиных морд очень просто может отщипнуть». Призвал Ахметку: «так и так, говорит, змей у нас...» — ну, и все подробно ему объяснил. «Иди, говорит, ты и отруби ему все десять голов...» Услыхал это Ахметка — и опять за старое: болен, чахотка, ревматизм... Он бы сейчас пошел и убил змея, да болен, не может встать, забился под одеяло, охает... А жена его, царевна-то, пришла, смотрит на него, говорит: «Я знала, что ты не богатырь, а обманщик. Погоди! вот я скажу

отцу, каков ты человек.. У него закон короткий — сейчас топором голову прочь, коли ты добром не пойдешь... Вот я сейчас пойду да и скажу все отцу... Надоел ты мне страсть как!» Взяла да и ушла; а Ахметка лежит, лежит, думает: «Ну как в самом деле царь мне голову отрубит? Жена меня видеть не может; ну-ка да он ее послушает!» Подумал, подумал, стало ему страшно умирать, вскочил он с кровати; захватил кой-какие пожитки, да и давай бог ноги, пустился из царского дворца куда глаза глядят. И ночи перестал бояться, только бы голову унести!

«Бежал, бежал, наконец устал; а на дворе ночь темная, на земле лечь спать побоялся: ну-ко змей его съест!— полез на дерево. Кой-как умостился, спит. Всю ночь он проспал с устанку как убитый, а поутру открыл глаза — глядь, а змей-то десятиглавый тут же под деревом спит и головы все свои распространил в разные стороны... Как увидал это Ахметка, занялся у него дух, со страху ударило ему в башку, помутился у него ум, зашатался, зашатался — бух с дерева, да прямо на змея... А змей-то, впросонках не разобравши дела, тоже со страху (как Ахметка-то об него треснулся) думал, что застигли его, только крякнул и подох бездыханно; даже лопнул весь вдоль и поперек с испугу... так его Ахметка испугал. А Ахметка долго без памяти валялся на мертвом змее, а как очнулся, видит, что змей-то помер, и страх у него прошел, и гордость сейчас в нем оттаяла; и опять возмечтал о себе... Идет в город, а навстречу ему войско ханское. «Куда идете?» — «Да тебя ловить, где ты был?» — «Где был! Змея бил... подите-ка, поглядите, что там под деревом валяется...» Поглядели — мертвый змей. Тут про Ахметку такая слава пошла — неслыханная! Тут уж все уверовали, что истинный он богатырь и храбрость имеет необыкновенную. Тут его царь так ублаготворил, что выше всех поставил, всякими бриллиантами его наградил, подарков ему надарил, живет Ахметка по-царски. Только жена его, царевна, все не верит: «Эдакой плюгавый мужчина и чтобы он мог так сделать? Не верю я этому!» А Ахметка храбрости набрался, лежит на кровати, огрызается: «Вот ты поговори у меня! Я тебе покажу, какой я плюгавый!» Ну, царевна, обыкновенно, плачет — а ведь что с ним сделаешь? Молчи! Больше ничего..

«Хорошо.

«Идет время — живет Ахметка в полное свое удовольствие, и опять царь присылает за ним, к себе зовет... Скрючило Ахметку, однако пошел. «Так и так, — говорит царь, — идет на меня несметное войско, перережут нас всех начисто — иди, разбей их всех, богатырь мой великолепный!» На это Ахметка говорит: «Ваше царское величество! Не могу я идти, потому что я болен, всем нутром слаб, чахоткой одержим, белая горячка у меня. Скоро я должен сойти с ума — тогда я все могу погубить». Слушает хан эти слова и не верит: Ахметка и прошлый раз то же самое говорил — болен, болен, а на деле эво что вышло. «Хорошо, говорит, делай как знаешь, я на тебя надеюсь. А войску прикажу, чтобы каждое слово твое исполняли, да не то что слово — а чтобы в каждой малости слушались...» Вскарабкался Ахметка на кровать, подскользнул под одеяло — «ох-ох-ох, матушки-батюшки, умираю! чахотка, белая горячка, холера у меня!» Как увидала его жена, что он опять под одеяло шмыгнул: «А-а, говорит, кляузная душа, пришел твой конец! Слава тебе господи! Теперь ежели ты на войну не пойдешь, так тебя силком поведут, а ежели не победишь, так тебя на части разорвут, потому тогда не девица какая-нибудь, а целая держава должна пропасть. Вот я сейчас отцу пойду скажу!..» Побежала к отцу, а тем временем неприятель со всех сторон нахлынул, обложил город, и не успел Ахметка из-под одеяла выскочить, чтобы лататы задать, как входит хан, берет его за руку, выводит на улицу и говорит: «Вот тебе конь, садись, поезжай и командуй! А ты, мое верное войско, беспрекословно ему повинуйся и все, что только он ни прикажет, — все исполняй и даже что только он будет делать — то и ты, мое верное войско, делай... С богом!»

«Ни жив ни мертв сидит мой Ахметка на лошади; вожжей не может держать — и руки и ноги врозь расползаются... Царские адъютанты едут по бокам, держат его под руки. Выехали в поле, стали против несметного неприятеля, раскинули для Ахметки золотой шатер, сняли его с лошади, привели в этот шатер, собрались все генералы, фельдмаршалы, ждут приказаний, а Ахметка лыка не вяжет со страху... Наконец, того, говорит: «Я не могу! У меня ум помрачился, меня злой дух испортил, я рас-

судка лишился, а без рассудка нельзя командовать!» И стал он и со страху, и из притворства неведомо что творить: одежду с себя поснимал, все на себе изорвал, остался весь как мать родила и, наконец того, спрятался со страху под диван. Все генералы, фельдмаршалы смотрят — понять ничего не могут, а, между прочим, не смеют ослушаться царского приказания. Что Ахметка делает, то и они делают, и войску тоже делать приказывают. Обнаготились все начисто и войско все тоже размундировалось наголо, и все полезли, за кустики, за холмики попрятались... Лежат все, ждут, что будет. А Ахметка тоже лежит под диваном голый, ни жив ни мертв... Только, братцы мои, вскочи в это самое время собачка махонькая в шатер; увидала она Ахметку под диваном — к нему; ну с ним играть, кусать его, тормошить.. Гонит ее Ахметка, а та сдуру все к нему лезет. И раз прогнал, и два — а она все свое. И должно быть, что, играючи, тяпнула она его за ногу. Ахметка осерчал, забыл свой страх; выскочил из-под дивана, схватил сапог — да за собакой! «Погоди, мол, каналья, — я тебя!» Да с сапогом-то из шатра вон! А за ним генералы, а за генералами все войско — да как двинули за своим первоначальником в голом-то виде, да как увидал неприятель этакую страсть — и где уж тут воевать, давай бог ноги, кто куда со страху-то, по ямам, по буеракам, по горам — все до единого разбежались... А Ахметка нагнал собачонку, ударил ее сапогом: «я тебе, говорит, дам кусаться!» Оглянулся — а уж от неприятеля и след простыл! И сейчас опять расхрабрился, говорит: «Вы что же меня из-за такой дряни беспокоили?» Тут хан и весь народ не знали, как Ахметку ублаготворить. Опять его наградили, обдарили и сделал его хан себе наследником... Пришел Ахметка к жене, говорит: «Что, дура этакая? Похож я на мочалу?» Ну, жена только плюнула на него и слезами залилась... А Ахметка стал жить да поживать. Ну что, господа, как счастье это?»

— Знамо, не горе! — отозвался лакей. — Чего ему еще? Живи, поживай!..

— Нет, — сказал солдат, — про такое счастье, что с неба сваливается, нельзя сказать: «живи да поживай!» Как пришло, так и уйдет — а в этом счастья нету. Вот и с Ахметкой то же было. Долго так ему все удавалось. Жена его даже все глаза выплакала — все ждала, не пропадет

ли постылый каким-либо манером, а он все выше да выше. Наконец, того, подходит время, помирает наш хан, а Ахметка влезает, господи благослови, на престол. Вскарабкался, дубина этакая, уселся — и давай царствовать! Вот тут он и сплошал! Коли хочешь царствовать, так будь умен; тут, в этом деле, надобно каждую вещь разобрать... Подданные Ахметкины так и думали, что он все свои подвиги творил не с глупой головы, и надеялись на него... А Ахметка-то, знамо, уж дурак-дураком был от рождения... Однако, как пришлось ему царствовать, и решил он: «Все у меня в жизни навыворот выходило, от этого я так и возвеличился, пущай же и царствовать я буду тож наоборот — авось меня подданные почитать будут...» И стал орудовать: кого бы наказать, а он ему орден, награду, а кому награду — того в кутузку; кому бы в попы, а Ахметка его в плясуны, а кому бы самое любезное дело на голове ходить да фокусы представлять — того в духовенство определил... Перерубил он человечьих голов видимо-невидимо, и все понапрасну, а которые бы следовало отрубить — те всячески изукрасил... Ну, братцы мои, похозяйничал он этаким-то манером годик, другой, видит народ, что дело дрянь, что была в делах Ахметки удача, а ума не было... Потолковали, посоветовались, да и сняли Ахметку с престола... «Слезай-ка, мол, любезный, с престола-то, да ступай куда-нибудь подобру-поздорову, пока цел». Ну, Ахметка, нечего делать, с престола слез, одежу с него сняли, палкой в дорогу наградили... С тех пор и слуху о нем никакого нет, а жена как увидала все это — выскочила на крышу (они там все по крышам гуляют) да в бубен ударила, да песни стала играть на радостях, а вскорости нашла жениха умного, молодого, взяла его за себя и стала с ним царствовать... А куда Ахметка девался — так никто и не знает...

— Все-таки, — сказал лакей, — хоть два года счастливо пожил...

— Ну, нет, — сказал солдат, — по моим мыслям, я этого счастьем назвать не могу...

— Ну, а как же по-твоему-то?..

— А по-моему... Да ты слушай, что дальше будет, а уж тогда и будешь разговаривать.

— Ну, ладно, рассказывай!..

III

Понюхал старик табачку, поотчихался, покрестился, улегся поспокойнее и начал:

— Это я рассказывал, как на дурака валит удача, а теперича расскажу, что бывает иной раз — не своим умом, а чужим разумением человек захочет осчастливиться, так и это опять никак назвать счастьем невозможно... Было, братцы мои, такое дело: жил-был, опять же все там, в черкесских землях, мельник один... Ну, сам знаешь, какая уж нажива в тамошних местах по хлебной части! Там все больше фрукт, птица, овца, а уж где там по горам пашни пахать, хлеб сеять... Жил, стало быть, этот мужичонка кой-как, с хлеба на квас перебивался. Окроме мельницы было у него и еще дело — кур держал, яицы продавал в город... Вот хорошо. Живет так-то. Только видит раз — курицы одной нет, другой раз и двух не досчитался, а третий раз и целого пятка не отыскалось... Стал примечать — что такое? кто этим делом орудует? Вот однова ночью и слышит — куры всполошились; выскочил из дому, а по полю лисица удирает с курицей... «Ну, — сказал мельник, — ладно, любезная! Попадешься ты мне!» Поставил капкан, и ночи через две попалась лисица, лапу ей капкан прищемил. Схватил мельник кинжал (у них бесперечь все поножовщина идет, так уж это чтоб без кинжала день продышать — извини!), хотел ее пырнуть, а лисица и говорит: «Мельник, мельник! Не режь меня, я тебе большую службу сослужу — и богатство тебе предоставлю, и на ханской дочери женю, и самого в ханы произведу. Только ты меня не убивай, а корми всю жизнь, а когда я помру, то чтобы честь-честью похоронить, а не так, чтобы собакам выкинуть». Подумал, подумал мельник: «Ну ладно, говорит, пущай!» Отпустил лисицу на волю и стал чужим умом жить.. Это и так завсегда бывает: застигни я какого купца богатого или чиновника на нехорошем деле, и он мне начнет сулить: «Скрой, а я тебя награжу!» Вот так и мельник. «Ну, — говорит мельник, — коли такой уговор у нас, так действуй!»

«Вот лисий ум и начал орудовать. Первым долгом побежала она к соседнему хану, пала ему в ноги и го-

ворит: «Прислал меня к тебе мой знаменитый государь, хан Ахметка. . .»

— Ну, что все Ахметка да Ахметка, — перебил рассказчика лакей.

— Ну, пущай хошь Абдулка будет — все едино. «Прислал меня мой Абдул-хан, — говорит лисица, — попросить у тебя меру; надобно нам перемерить золото наше, потому что у нашего Абдул-хана страсть сколько золота. . .» Дали ей меру, принесла она ее на мельницу и стала рыться в навозной куче. Рылась, рылась, откопала золотой; сейчас она этот золотой и воткни в щелку — значит туда, где мера раскололась. Воткнула и несет меру назад. «Насилу, говорит, вымерили... Смерть моя как умаялась! Мой хан Абдул приказал вас благодарить». — «Да неужели у него столько золота, что он два дня его мерою мерил? .» — «Очень, говорит, много!» Не поверил хан, взял меру в руки, говорит: «Эдакими мерами вы золото ваше мерили?» — «Этими самыми!» Хан даже рассердился, бросил меру на пол — а из нее и зазвенел по полу золотой. «Вот изволь видеть, — сказала лисица, — один золотой и сейчас где-то застрял. Нет, сущую правду я говорю: великий богач мой Абдулхан! . .»

«И в другой раз прибежала к нему лисица и опять мерку потребовала. «Серебро, говорит, надо перемерить! . .» И тоже пять двугривенных рассовала в разные щелки и принесла меру назад ровно чрез неделю. «Целую неделю, говорит, бились, еле-еле покончили. . . Приказал вас благодарить!» — «Не может быть, чтобы целую неделю серебро мерили. . .» — «Нет, верно!» Тряхнул хан мерой — двугривенные так и задребезжали по полу. . «Да-а-а! — сказал хан, — должно быть, что сосед мой Абдул очень богатый человек. Скажи ему, не возьмет ли он замуж за себя мою дочь». Лисица, не будь глупа, отвечает ему: «Он и сам мне велел дочь вашу потребовать себе в брак и спрашивает, когда ему быть к вам, чтоб настоящим манером присвататься?» — «Ну, пущай хоть завтра приезжает!» — «Очень прекрасно!» — ответила лисица и шмыгнула домой.

«Рассказала все мельнику, а мельник и говорит: «В чем же я пойду к хану? у меня даже и брюк-то, с позволения сказать, нет настоящих — так как же я к ханской-то

дочери могу соответствовать!»— «Ну уж это не твоя печаль, ты только исполняй, что я тебе присоветую...» — «Ну ладно!» Вот она и стала исхитряться; нацепила на него всяких лык, стружек навешала — издали-то они на солнце лоснятся, блестят — и говорит: «Пойдешь ты навстречу хану, он со свитой на том берегу реки будет тебя ждать, — пойдешь к нему, и иди прямо бродом, в воду, а на средине реки крикни, будто оступился, и нырни в воду».. Выехал хан навстречу к Абдулке, пошел Абдулка к нему пешком прямо вброд, нырнул и выплыл в чем мать родила, весь его наряд в речке потонул... А лисица выскочила на другой берег и говорит ханской свите: «Дайте что-нибудь моему Абдул-хану одеть, а то домой нам некогда за платьем ехать... Сколько бриллиантов одних потонуло в речке, так это и сосчитать невозможно!» Ну, свита сейчас поснимала с себя разные парчевые халаты, — чтобы понравиться будущему ханскому зятю, — обрядили его в лучшем виде, посадили на лучшего коня и поехали к хану во дворец. Едет наш мельник, разоделся барином!

«Долго ли, коротко ли так-то он у хана путался — уж не знаю, не упомню всего — только лисьей хитростью да вывертами, да изворотами так дело обернулось, что женился мельник на ханской дочери, и надобно ему ее везти домой, в свое царство. А царство-то у него всего одна мельница разоренная да две курицы некормленные... Ну, однакож, делать нечего — поехал. Отпустил с ним хан огромную свиту, едут они неведомо куда, а лисица передом бежит и сама-то еще хорошенько не знает, как тут быть, как вывернуться. Однакож наскочила она на большой табун лошадей. «Чей это табун?» — «Да Змея лютого... Это все Змеево царство тут кругом...» — «Змея! — говорит лисица, — ах он несчастный, несчастный! Идет на него огромное войско, а он и не знает! Вы, пастухи, вот что сделайте: будут у вас конные всадники спрашивать: чей скот? — говорите: Абдул-хана, а не Змея,— а то сейчас отымут! А я побегу к самому Змею... Где его дворец?» Указали ей пастухи, где дворец, побежала она туда, по дороге то же самое сказала пастухам, которые овец пасли Змеевых, и прибежала к Змею: «Прячься скорей! Страшное войско идет — разобьет оно тебя вдребезги!» Змей впопыхах выскочил из дворца,

прямо воткнулся головой в стог сена, говорит лисице: «Закрой меня, сделай милость, поаккуратней, так, чтоб меня не разыскали они!..» Лисица его зарыла в сено, обложила его со всех сторон хворостом и пустила красного петуха — так змей там и помер... А Абдулка едет с войском; ханские посланцы спрашивают у пастухов: «Чей скот?» — «Абдул-хана!» — «Чьи лошади?» — «Абдул-хановы...» — «Экие богатства какие!» Подъезжают и ко дворцу Змееву, а лисица стоит у ворот, говорит: «Пожалуйте, дорогие гости! Милости просим!» Ну, приехали все во дворец, стали пировать, гулять; а потом оставили молодых, и стал Абдулка-мельник ханом и богачом...

«И долго он так с молодой женой своей жил припеваючи, жил, покудова за него орудовал чужой, лисий ум, а как перестал этот чужой ум ему служить, чужая смекалка за него смекать — и конец его счастью! «Попробую, — говорит лисица однова,— как-то он теперь уговор наш помнит!» Взяла да и притворилась, что умерла... А Абдулка увидал ее мертвой и говорит прислуге: «Выбросьте ее в канаву!..» —« А, — сказала лисица, — так ты так-то за мои благодеяния!» Встала, ушла, рассказала и хану и пастухам, как было дело, вывела Абдулку на свежую воду — и все пошло прахом: пришел хан с войском, взял свою дочь, забрал все Абдулкины богатства, стада и дворцы, а самого Абдулку выгнал вон и кулаком ему вслед погрозил... И где этот Абдулка — неизвестно!..

«Так вот, други любезные, бывает, что и чужим умом, чужой сноровкой, хоть бы даже, прямо сказать, чужим капиталом человек счастлив бывает — только и это счастье не настоящее: нет чужого ума, нет чужого капитала — и счастья твоего нет... Этого я тоже счастьем не назову...»

— А что же, по-твоему, настоящее-то? — спросил нетерпеливый лакей.

— А вот слушай!

IV

«Жил-был на свете бедный мужичонка, лапти плел, и был у него молодой сын, пастух: нанимался он пасти городское стадо. Дело было все там же, в черкесских землях... Я все это с Абдулкиных слов рассказываю,

Вот, братцы мои, жили, жили они там-то, сын с отцом, жили тихо, смирно; только однажды и вскочи этому сыну-то, молодому парнишке, такая загвоздка в башку: «Позвольте, мол, узнать, отчего это я должен всю жизнь в пастухах шляться? На каком основании я должен всю жизнь с телятами да с баранами компанию водить? Я тоже человек... Почему же хозяева этих коров, лошадей и овец спокойно себе в городе проживают, а я для ихнего спокойствия должен в грязи валяться? Ни за какие деньги больше не соглашусь!» Надумал так-то, бросил свой пастуший кнут, бросил стадо, пошел домой и все бормочет: «Вот был дурак! Пастухом! Почему же я пастух, а не другой кто-нибудь? Чем я кого хуже?» Пришел домой и говорит отцу: «Вот что, батя, я эту глупость бросил — не желаю быть больше пастухом... А желаю я, очень просто, жениться на царской дочери. Довольно я пустяками занимался». Отец лапти ковыряет, слушает его, понять ничего не может. «Да ты что это бормочешь-то? На какой царской дочери? Перекрестись! Опомнись!» — «Нечего мне опоминаться: слава богу, я и так опомнился. Не иначе я соглашусь жить на свете, чтоб жениться мне на царской дочери. Иди сейчас к царю — к хану, стало быть, — и проси у него дочь за меня. А ежели не пойдешь, так я сейчас на себя руки наложу. Вот еще, я буду пастухом! Ни за что на свете!..» И так он огорошил этим разговором отца, так он его напугал, будто руки на себя наложит, что испугался старик, собрался и пошел к хану...

«Пришел он к ханскому дворцу — не знает, как ему и приступиться. Однакож кой-как добрался он до хана и не знает, как ему дело свое рассказать. «Вздурел, говорит, у меня парнишко... И сам не знаю, что с ним сделалось. Все был пастухом, работал, жил смирно, да вдруг и забормотал неведомо что...» Рассказал старик хану все, как было, и думает, что отрубит ему хан голову за эти разговоры... Но хан-то был человек добрый. Выслушал он все это и говорит: «Скажи ты, друг любезный, сыну, что я бы ему отдал дочь, даром что он пастух, да первое дело, что дочери у меня нету, а второе дело, что я бы, пожалуй, и царство ему после себя отдал — только мне нужно, чтобы человек умом был силен, всякую науку бы знал, все бы мог своим умом сделать, своим

умом сообразить! Кого, говорит, я ни выбирал себе в наследники — все мне народ не нравится: и храбрые есть, и на лошади гарцевать мастера, и копьем орудовать молодцы есть, а такого человека умственного, чтобы в нем самом на все сила была, — нету! Вот если бы твой парнишка, хоть и пастух, а во всяких искусствах и науках был бы дошлый — ну тогда я бы, пожалуй, ему и престол свой отдал. Поди-ко, скажи ему!»

«Пошел старик и говорит сыну: «Так и так. Дочери, говорит, нету у него... А ежели бы ты в разных искусствах и науках мастер был, так сулился хан и царство свое уступить». Подумал парнишка, говорит: «Что ж! Пущай хоть царство отдает. Это я согласен — царствовать. А только что ни в каком случае не соглашусь в пастухи опять идти...» — «Да как же ты, глупый ты человек, собираешься царствовать, когда надобно сколько всякого знать искусства, наук всяких. Что же ты знаешь-то?» — «Чего мне знать? Само собой, я ровно ничего не знаю... А ежели надо много знать, чтоб царствовать, — так все узнаю, не беспокойся. Иначе как на ханской должности, ни на чем не помирюсь!»

«Живым манером оделся парнишка в путь-дорогу, прихватил отца, и пошли они искать — где есть искусные, умные люди, на всякую хитрую выдумку мастера... Шли, шли, устал старик, сел на холмик и горько вздохнул — все ему представляется, что рехнулся его мальчонка и бог знает что такое творит... Вздохнул он — глядь, а рядом с ним старичок какой-то, выскочил он тут где-то изпод холмика, — стоит и спрашивает: «Что такое? О чем горюешь? Чего охаешь?» Рассказал ему старик про парнишку и его затеи. Посмотрел старичок на парнишку и говорит: «Ничего! Не тужи! Я здешний подземный царь, я все знаю; первый я мудрец и всякую премудрость и тайность произошел... Отдай мне твоего сына, я его обучу». Спросил старик парнишку. Парнишка говорит: «Что ж? Я хоть сейчас готов учиться. Потому мне для ханского звания никак невозможно без науки быть...»

«Ну, потолковали, и взял подземный царь парнишку в науку. Привел его во дворец, а дочь этого подземного царя — красота неописанная! — говорит парнишке: «Ты вот что, милый мой, делай: никогда ты не говори моему отцу, что «понял» или «понимаю»... а пуще огня бойся,

чтобы он видел, что ты больше его знаешь; съест он тебя поедом, завистлив он к тем, кто больше его смыслит. А говори ему: «Ничего не смыслю, ничего не понимаю!..» Полюбил парнишка царскую дочь за эти умные слова и стал учиться. Все он произошел лучше самого ученого хана, исхитрился, изловчился во всех науках-искусствах, а сам все твердил: «Ничего понять не могу! Ничего не смыслю! Ничего не понимаю!..» И не год и не два так он прожил у старого ученого хана, и рассердился на него этот хан: «Глуп ты, говорит, бесконечно! Сколько я ни старался, нет от тебя толку. Ступай вон!» И выгнал его на землю, а парнишке того и надо.

«Выскочил он на землю, первым делом к отцу. А старик отец сидит, лапти плетет. «Ну, — говорит сын отцу,— чего тебе надо?» — «Да мне бы лошадь надо... стар я...» — «Изволь!» Обернулся вороным конем. «Веди меня на базар и продавай за двести рублей». Повел старик, продал за двести рублей, пришел домой, а парнишка уж дома сидит... И опять он обернулся белым конем и говорит отцу: «Веди и продавай за пятьсот рублей, только с уздечкой не продавай, а коли продашь — сними...» Повел его отец на базар, и тут, на базаре-то, оказался и старый подземный царь. Понял он, что парнишка перехитрил его, почуял, что парнишка больше его знает, и рассердился. Стал покупать белого коня за пятьсот рублей и уздечку просил продать. Сначала старик не соглашался, а потом, как стал покупщик цену надбавлять — шестьсот, семьсот, восемьсот, — сдался старик и продал коня с уздечкой, и заплакал конь...

«Схватил его сердитый старый ученый хан, повел в свое царство, привел во дворец и сейчас его резать хотел. «Дай-ка мне, — говорит он дочери, — нож, мне надо коня этого зарезать». А дочь поняла, что это за конь такой, отвечает отцу: «От ножа осталась одна только ручка, а где лезвие — не знаю!» — «Давай копье!» — «У копья клинок отскочил...» — «Ну так я сам пойду, отыщу...» И пошел старый ученый хан во дворец копье искать, а дочь выскочила из дворца, сняла уздечку с белого коня, обратился он в голубя и улетел...

«Как увидал это старый ученый, разгневался на молодого ученика и погнался за ним. Молодой летит голубем, а старый обернулся кречетом. Голубь влетел в ханский

дворец и сел на окно — и кречет тут же рядом уселся. Царь стравил кречета на голубя, и только бы кречету броситься — голубь в яблоко обратился, а кречет обратился в старика... Протянул царь яблоко к старику, и только бы старику съесть его — рассыпалось оно мелким просом. Не сплоховал и старый ученый — превратился он в наседку с цыплятами и стал он клевать мелкое просо. Не сплоховал и молодой ученый: осталось одно зернышко, и съешь его наседка с цыплятами — погибнуть бы молодому; но он из последнего зернышка превратился в кота и бросился на наседку — только перья из нее полетели! Обернулся старый ученый человеком, говорит:

«— Да! ты умней меня!

«А молодой тоже обернулся человеком и говорит хану:

«— Ну, как по-вашему: знаю я что-нибудь и могу понятие иметь?

«— Да! — сказал хан. — Много, много знаешь! Это я вижу.

«— Ну, так уж сделайте милость, потрудитесь и престол мне ваш отдать — как по уговору было!

«— Изволь, изволь!

«Слез старый хан с своего престола, а парнишка сел на него, взял за себя в жены дочь старого ученого хана, умную девицу, и стали они царствовать, и стали их подданные любить, потому что они знали, что делали, и ни в чем ничего чужого у них не было, а было у них все свое и вековечное — стало быть, наука. Вот это я и называю счастьем...

«Ты вот счастлив был, пока купец был богат; он был счастлив, пока барин баловал; а я, — говорил старик солдат, — знаю вот по портновской части, умею орудовать иглой и ниткой, и пока у меня в руках игла да нитка, да пока на свете живет «прореха», так я ничего не боюсь... То счастье неизменное, которое в тебе самом лежит, а не со стороны бежит».

ПИСЬМА С ДОРОГИ

I. ВЕСЕЛЫЕ МИНУТЫ

1

Волею фургонщика, доставившего меня в Новороссийск тотчас после того, как пароход Русского общества, на который я должен был сесть, благополучно отбыл к портам черноморского побережья, то есть именно туда, куда мне и следовало ехать, я обречен был пробыть в этом совершенно незнакомом мне городе ровно целую неделю, вплоть до будущего воскресенья, когда должен был прийти другой пароход того же общества. И, несмотря на то, что в этом городе у меня не было ни одного человека знакомых, на то, что была страстная неделя и что Светлый день я должен был провести в полном одиночестве, несмотря, наконец, на общее безлюдье, отличавшее тогдашний [1] Новороссийск, я все-таки был ужасно рад и счастлив, что извозчик запоздал, что он подарил меня этою тихою, бесшумною страстною неделей, дал мне в эти семь дней освежиться от удручающей тоски, вывезенной из столицы, и осчастливил возможностью беспрепятственно впитать в себя те живые, к счастию радостные впечатления, которые уже дала мне живая русская жизнь за недолгий промежуток времени, проведенного в дороге от Петербурга до Новороссийска.

Все, все без разбора и без всякой критики радовало меня в эту поездку, потому что даже то, что я видел в вагоне, на станции и из вагона в окно,— все была *жизнь*, все напоминало, что Петербург еще не окончательный результат, к которому пришла вся русская жизнь, что

[1] 1886 год.

есть еще что-то гораздо более интересное, именно — есть еще Россия, жизнь русского народа, жизнь всего этого разнокалиберного встречного населения — мужиков, баб, купцов, господ, духовенства — словом, всего, что вот опять я своими глазами увидел в течение переезда от Петербурга до Новороссийска. На что бы я в этот краткий промежуток времени, проведенный в дороге, ни смотрел, все было мне радостно видеть, все заставляло меня думать: «Слава богу! как я рад!»

Как видите, состояние духа было положительно необыкновенное: не то это была просто радость ребенка, только начинающего ощущать вокруг себя все разнообразие окружающей *жизни* и счастье чувствовать себя с ней неразрывным, или же — и это будет вернее — я просто был «рад», сознав себя, что я не умер, что я жив и что временное мое душевное изнурение было временное, не больше, что при малейшем прикосновении подлинной жизни согреется и моя душа, охладевшая в ледяном доме, называемом Петербургом.

Времена в эту пору для людей, обреченных пережить весь реформенный период в более или менее впечатлительном возрасте, были поистине изнуряющие душу. Перед самою моею поездкой по России пришлось мне провожать одного из моих приятелей за границу, и вот какого рода болезненные разговоры вели мы с ним перед нашею взаимною разлукой.

— Да что же тебе за границей-то надо? — спросил я его в то время, когда в его номере, при помощи прислуги, шла укладка и упаковка его вещей для отправки на Варшавский вокзал.

— Да просто... очувствоваться! — сказал он растерянно и с каким-то тупым выражением лица.

Я понимал, что он не мог бы сказать мне в ответ никакого иного слова, да и сам знал, что вопрос мой ему — совершенно излишний и ненужный. И наш разговор на этих нескольких словах, вероятно, прекратился бы, окончившись крепкими и молчаливыми рукопожатиями, если бы одно совершенно ничтожное обстоятельство не дало моему приятелю возможности несколько подробнее выяснить смысл его хотя и понятного, но недостаточно определенного слова «очувствоваться».

Это ничтожное обстоятельство состояло в следующем:

один из прислуги, занимавшейся укладыванием вещей, обыкновенный коридорный петербургских гостиниц, подошел к комоду, чтобы вынуть из него все, что там осталось. Но оказалось, что комод заперт, а ключа нет. Коридорный ушел и скоро принес целую пачку ключей всевозможного рода: маленьких, больших, длинных, коротких. И все эти ключи, несмотря на свое разнообразие, беспрепятственно входили в один и тот же замок — так он был испорчен, «разворочен» и вообще искалечен во всех отношениях. Все ключи, большие и маленькие, входили в эту разломанную дыру, вертелись, кружились совершенно свободно, даже щелкали, а комод все-таки не отворялся. Наконец, выбившись из сил, коридорный ругнул этот замок и ключи и решился испробовать последнее средство: взял и хлопнул кулаком по верхней крышке комода. И что же? Замок щелкнул на этот раз довольно певуче, и комод отворился.

Так как говорить нам с приятелем было почти не о чем, потому что слово «очувствоваться» исчерпывало все темы разговора, то и мы поэтому молча наблюдали всю эту возню коридорного с замком. Когда же вся операция кончилась, вещи были вынуты из комода и уложены, а коридорный ушел, мой молчаливый и отупевший приятель вдруг оживился и сказал:

— Я все смотрел на тот замок... и знаешь что? Вот точь-в-точь и сердце мое стало такое же, как и этот замок. Все ключи входят, и щелкают, и кругом поворачиваются, а никакого толку, никакого ощущения нет! Ничего меня за живое не хватает, не берет. Какие хочешь принимай и делай реформы, мероприятия и в каком тебе угодно направлении, ничего не чувствую — ни радости, ни печали. Уж очень свободно, прихотливо, без всякой церемонии над моим сердцем похозяйничало наше время! Сколько туда за всю мою жизнь входило и влезало всяких ключей, веяний, течений, направлений!.. И все они хотели его отпереть совсем не в ту сторону, куда бы оно непременно отперлось само... Каждое из этих веяний и направлений, то длинное, как этот длинный ключ, то как ключ короткий, все норовили его отпереть на свой образец — то в одну сторону, то в другую, а то и так, зря, крутили кругом без всякого милосердия... Отпереть его просто, как говорится — «добром»

и, прибавлю, для добра, никто не догадался или, вероятно, нельзя было. Ну теперь и верти сколько хочешь — не действует. Вот кулаком со всего размаху — это, пожалуй, так! Если кулаком царапнуть — ну, пожалуй, опять запоет жалобным звуком скорби, страха и мольбы. И, пожалуй, опять отопрется... хоть к стону и плачу.. Кулак — не свой брат!

Мы оба улыбнулись этому сравнению, а приятель мой, не теряя оживления, продолжал:

— Как я рад... этому замку! Теперь я совершенно ясно и во всех подробностях понимаю, зачем я еду за границу... Именно сердце-то хочу оживить! Хочу поставить его в подлинную обстановку подлинной, какая бы ни была, только подлинной жизни! Там, я думаю, оно опять будет иметь право чувствовать горе тогда, когда перед ним выйдет горе, и радость — когда радость его захватит... Мне надобно восстановить в своем сердце и в своей совести право ощущать именно то, что ощущать следует... Вот от этого-то я и отвык! Думаешь обрадоваться, а приходится плакать — и так всю жизнь! Я совершенно отвык думать до тех пределов, пока работает мысль, и чувствовать, пока чувствуется... И это всю жизнь — чувствовать и не дочувствовать, думать и не додумывать, говорить и не договаривать! Вот и надобно *очувствоваться,* пробудить деятельность сердца возможностью без опаски смотреть на жизнь и о ней думать. Надо вновь узнать, что такое добро и что такое зло... Ну, а у нас, то есть по крайней мере лично в моей жизни, разные веяния, направления и течения постоянно заставляли меня менять взгляды на то и другое. Сегодня это добро, а завтра это же самое уже злом неискоренимым считается. Вот и затуманились представления и о том и о другом, и прекратилась возможность предпочтения одного другому... Вот европейская-то жизнь, я и думаю, оживит меня: добро и зло в ней ярки, на виду, открыты и не прикрашены. Смотри и думай!.. А мне это и нужно... Я хочу опять начать воспитывать свое отупевшее сердце с азбуки... Как я рад этому комоду! Ведь надо же было этому случиться!.. Именно необходимо «очувствоваться», воскресить право «чувствовать» и пожить с этим правом хоть несколько месяцев. Вот зачем я еду!

Я совершенно понимал моего приятеля, но сам, собираясь ехать по России, даже и мысли не мог допустить в себе о каких-то правах на оживление сердца. Я просто чувствовал, что необходимо ехать, чтобы только видеть вообще «жизнь». И в объяснение такой алчности исключительно только к тому, что совмещается в слове «жизнь», будет достаточным сказать, что перед этою поездкой мне пришлось почти безвыездно прожить петербургскою жизнью более полутора года. Если мой приятель имеет возможность указывать, в объяснение своего обесчувствения, на вторжение в его личную жизнь каких-то совершенно не соответствовавших ей веяний, течений и направлений, то я, в объяснение моей алчности к побегу из Петербурга, могу сказать только одно: потому я хотел бежать и смотреть на какую бы то ни было жизнь, что я измучился Петербургом.

Повидимому и, так сказать, по всем документам, Петербург должен бы быть, как столица, центром жизни всей страны, как Париж и Лондон. И он, точно, центр, только не такой центр, куда стекаются мелкие ручейки живой жизни страны, сливаясь в огромное, глубокое вместилище проявления всех жизненных сил нации. В Париже, Лондоне, и только в них, а никак не в дальних уголках Англии или Франции, можно видеть во всей полноте все, чем живут и дышат эти страны. В Петербурге же именно и не увидишь, чем живет Россия. Ручьи русской жизни, стекаясь сюда, сливаются не в открытое озеро жизни, которое едва можно оглянуть взором, но точно уходят куда-то под землю, в какие-то сталактитовые пещеры канцелярий, департаментов, раздробляются еще на более мелкие ручьи, чем те, которые влились в него, и с каждым дальнейшим течением раздробляются всё на меньшие и меньшие струи и капли... В Чухломе, в Пинеге или Батуме можно гораздо многосложнее видеть русскую жизнь, чем видишь и чувствуешь ее в Петербурге. Француз-провинциал, у которого на душе накипели те или другие нужды, желания, едет в Париж, зная, что именно там он может проявить их во всей полноте и объеме. Обитатель Чухломы, подъезжая к Николаевскому вокзалу и медленно вдвигаясь в вагоне в темную его пасть, под темные его своды, чувствует, что именно тут-то и конец его праву желать, фантазировать и хотеть.

В Чухлому будет «дано знать» в запечатанном конверте, как ему жить следует, а в Петербурге он ничего не узнает по этой части. Русская жизнь в Петербурге — это пакет с просьбой, жалобой, мольбой, угрозой, стоном и воплем. В пакете она сюда является, в пакете отсюда выходит. Что написано в пакете, который отсюда посылается в Чухлому, неизвестно — пакет запечатан. Не знает тот, кто печатал пакет, не знает тот, кто писал адрес, не знает и тот, кто переписывал бумагу, не знает и тот, кто бумагу составлял, не знает и тот, кто велел составлять бумагу. Тайна и смысл жизни идут из центра к окружности, а не вливаются от окружности в центр, и жить поэтому в Петербурге — это значит не знать русской жизни. Можно знать все указания «по русской жизни», но видеть в них самую жизнь в связи разрозненных явлений, отметить ее главнейшие течения, ясно видеть, где и в чем сила, слабость, добро и зло, — здесь невозможно.

Мне могут сказать, что печать, «газета», не оставляет петербуржца без ежедневных уведомлений о русской жизни. Стали печатать листы в восемь столбцов, стало быть, есть о чем поговорить?

И будь я истым петербуржцем, я бы поверил, что «газеты» вполне достаточно, чтобы знать, как идет русская жизнь. Но, к несчастью, я не петербуржец, и еще более — к несчастью, судьба дала мне полнейшую возможность знать, что такое «внутренние известия» петербургских газет, покоряющихся главным образом интересам петербургского дня, не чуждых видеть «успех» в розничной продаже и радующихся наплыву объявлений о кухарках и кучерах, ищущих места, почти так же, как и успехам русской дипломатии. Возьмите любую из таких газет сегодняшнего дня и посмотрите, что там написано во внутренних известиях о внутренней жизни России? Во-первых, собственная корреспонденция из Корчевы о том, что в городе недавно был пожар, обнаруживший недостатки местного самоуправления, затем (мелким шрифтом) перепечатка из другой какой-нибудь газеты о том, что близ деревни Лукьяновки найден убитым мужик, только что продавший на базаре в ближнем городе пару телят, и третье (тоже мелким шрифтом) — редкий случай рождения семерых детей, которые все, к сожалению, умерли.

Конечно, то, что здесь написано, не может служить образчиком «внутренних известий» — известия могут быть самые разнообразные; но какие бы они ни были, всегда они имеют в общем одно неизменное свойство, именно: невозможность объяснить, почему напечатано то, что напечатано, и почему собственно вам, читателю, нужно знать именно то, что напечатано. Родилось семь детей — хорошо. Но почему же пишут именно о семи детях, а не о чем-нибудь другом? И почему из Корчевы, а не из Тифлиса?

Тайна сего не только не велика, а, к сожалению, крайне проста и незначительна.

Бывало, придешь в редакцию вечером, когда уже начинается сверстка нумера, когда весь оригинал набран и ожидают только телеграмм, и принимаешься с прискорбием в сердце за внутренний отдел, за характеристику русской жизни в данную минуту. Материал выбран и вырезан господами редакторами отделов (внутреннего, политического, финансового, биржевого) еще утром. Полученные корреспонденции, одобренные редакцией, и бесчисленные вырезки из провинциальных газет уже набраны и лежат на моем столе целою грудой то длинных, то коротеньких корректурных полос. Глядишь на них и думаешь: «Какого-то хламу придется мне понадергать из этой сокровищницы?»

Зазвенел электрический звонок; надо идти в комнату редактора.

— Для внутреннего отдела, — говорит он, — сегодня, кажется, можно уделить строк восемьсот... Кажется, телеграмм будет мало. Ничего особенного нет. Пожалуйста, побольше перепечаток. Денег у нас мало.

«Восемьсот строк! — с восхищением думаю я. — Вот это будет на что-нибудь похоже!»

И, роясь в материале, корреспонденциях и перепечатках, подбираю на восемьсот строк вполне благоприличного материала.

Ввиду рабочей поры как нельзя лучше составилась весьма определенная картина положения рабочего класса. Подошла и собственная корреспонденция к этому вопросу, и вырезки из газет, и мелкие известия о случаях, касающихся этого же вопроса («не найдя работы, утопился или поджег чужой амбар» и т. д.). Словом, все известия отвечают главнейшему вопросу времени и во всяком случае

для большинства читателей, как заинтересованных в вопросах рабочего времени, так или иначе поучительны или по крайней мере не лишни.

Восемьсот строк наполнены, и наполнены хорошо и поучительно.

Но вот опять звонит электрический звонок.

— Надо убавить на двести строк. Пришло пропасть телеграмм о тайных интригах англичан в Константинополе, о смерти марокксхого императора и банкротстве в Мюнхене торгового дома... Да спросите в типографии, сколько объявлений?

Прежде чем спросить об объявлениях, надобно вычеркнуть двести строк. Но газетные перепечатки неравномерны: в одной пятьдесят строк, в другой сто, в третьей семьдесят пять — словом, надо что-нибудь придумать, если я хочу оставить собственную корреспонденцию невредимой. И вот я вынимаю целых триста строк (надо сохранить набор для будущего) и уже теперь недостающие сто заменяю такою перепечаткой, в которой как раз сто строк. Оказывается, что после корреспонденции о рабочем вопросе приходится поместить сто строк известия о скандале в клубе г. N, причем такой-то разбил такому-то физиономию.

Гармония «обозрения» нарушена, но оплакивать этого горя не приходится, потому что надобно еще узнать, много ли объявлений. Для этого необходимо подавить косточку звонка, проведенного в типографию, и ждать, покуда оттуда, из-под земли, явится уже не писатель, а совсем особенный человек с черными пятнами на лице (бледном и истомленном), с черными руками и хриплым, гробовым голосом.

— Много объявлений?

— Много-с!.. Сейчас вот от купчихи похоронное объявление приняли... Нарыдала она с горя строк на пятьдесят места.

— А так-то, вообще, сколько можно оставить для внутреннего?

— Да строк на триста... Да и то вряд ли... Фельетонист расскандальничался строк на двести лишку... Охаивает кого-то... А ведь вы сами знаете, Кузьма Иваныч, что издатель охотник до этого... Нарасхват пойдет нумер!..

«Вот тебе раз!» — думаю я в сокрушении.

В одной корреспонденции оказывается четыреста пятьдесят шесть строк, и, следовательно, ее либо надобно урезать, либо заменить чем-нибудь другим. Но урезать корреспонденцию на полтораста строк невозможно. Необходимо ее отложить.

Вместо рабочего вопроса появляется таким образом корреспонденция из Корчевы о том, что вчера проехал преосвященный, затем следует ранее заготовленная перепечатка о драке в клубе и прибавляется еще перепечатка о камне, упавшем с неба. Итого получается количество строк «в обрез».

Но едва вы подумали, что дело кончено, как в редакцию является репортер. Он в страшных попыхах — только что случился огромнейший пожар на Лиговке, сгорел уксусный завод, один пожарный переломил ребро, и, кажется, погибла маленькая девочка. Происшествие «городское», и хроника, не заносящая на свои столбцы таких происшествий во всех мелочных подробностях, уже не хроника, и городской читатель не простит этой небрежности.

Для внутреннего отдела остается таким образом всего двести строк, и потому приходится оставить только корреспонденцию из Корчевы о проезде архиерея. Но разве это «отдел»? Что же тут «внутреннего»? Необходимо опять порыться в заготовленном материале и составить «известия» почти заново.

Отдел таким образом составляется из таких куплетов: драка в клубе, упавший с неба камень, механик-самоучка и старик, умерший на сто двадцать девятом году, сохранив в целости все зубы.

«Кажется, всё?» — думается наконец. Но — увы! — электрический звонок главного редактора опять заиграл что-то и зовет вас.

— Скончался генерал Шомполов. Необходимо поместить некролог... строк двадцать пять. Пришла еще телеграмма: Кальноки едет в Эмс. Патти простудила горло. Новая опера Гуно имела блестящий успех, и в Нью-Йорке была буря... Строк пятьдесят.

Стиснутый таким образом, с одной стороны, «городскими» событиями, с другой — кухарками, кучерами, телеграммами и т. д., внутренний отдел в конце концов представляет следующее плачевное зрелище:

С неба упал камень.

Умер столетний старец.

Крестьянин Егоров упал в колодец вниз головой.

Пароход «Нептун» прибыл в Батум.

Актрисе Куприяновой в Саратове поднесли букет.

Вот она, внутренняя русская жизнь в ежедневной газетной живописи!

Но не думайте, чтобы заготовленный материал так и не пошел в ход, — нет, «набор не пропадет». Только о рабочем вопросе будет напечатано, когда он уже потеряет всякий интерес, например в сентябре; известие о драке также найдет свое пристанище когда-нибудь, когда найдется ему два-три вершка свободного места. То же самое идет и по другим отделам. За репортером, прилетевшим с вестью о пожаре, может явиться другой репортер — музыкальный, и ему никоим образом нельзя отказать в отчете о бенефисе любимой актрисы: это — городские вести, которыми живет и дышит городской читатель. Но так как пожертвовать содержанием «внутреннего отдела» в пользу заметки о бенефисе уже нельзя, так как внутренний отдел и без того уже окончательно нелеп, то принимаются и за другие отделы. В некоторых известиях, например, был прекраснейший пересказ последнего парламентского заседания в Лондоне по аграрному вопросу; вот его-то и приходится отложить до предбудущего времени, а опроставшееся место заполнить восторженным гимном бенефициантке, настроченным репортером, еще не очухавшимся от бенефисного ужина у Понсе.

Даже и то, что пресса дает нам подлинно петербургского, местного, приказы о назначении, перемещении и награждениях, законоположения, изменения и дополнения — все это вместе с сумбуром «внутренних известий» не может быть приведено вашею мыслью ни в малейшую связь. Отставка генерала Куприянова, назначение Федорова на место Протасова так же для вас и вашей мысли чужды и не нужны, как и падение с неба камня и смерть старика. Политические европейские дела всегда неизмеримо яснее для вас и всегда имеют даже в поверхностных газетных извлечениях понятные и видимые исходные пункты и перспективы. И ничего подобного не видно относительно русской жизни.

Приняв во внимание, что и я не чужд был до некоторой степени тех душевных страданий, в которых исповедовался перед отъездом за границу мой приятель, что и в моей душевной изнуренности также не последнюю роль играли разные веяния и течения, и присоединив к этому характернейшую особенность собственно петербургской жизни, то есть особенность такого места, где о русской жизни ничего никому неизвестно, читатель, я надеюсь, поймет, почему я так жадно рвался видеть именно жизнь, почему мне было необычайно весело видеть даже ту жизнь, которую можно видеть из вагона и в вагоне, и почему, наконец, я был искренно рад, что возница мой опоздал к пароходу.

Он дал мне время «отдышаться», приучиться опять ощущать радость жизни вообще, и меня действительно радовало решительно все, самая мелкая мелочь, даже и то, что вовсе не порадовало бы при более тщательном внимании; но я не хотел, я просто даже не мог быть внимательным к чему-нибудь неприятному. Истомленное воображение само старалось за меня, само окрашивало все виденное исключительно только в розовый цвет.

2

Под влиянием такого-то душевного настроения какое чудеснейшее впечатление произвело на меня пребывание в таком милом «месте», как Новороссийск! Я употребляю слово «место», не определяя его каким-нибудь более точным административным термином, потому что Новороссийск совершенно не напоминает ни города, ни села, ни станицы, ни деревни, а есть пока просто «милое», тихое, не беспокойное жилое место, которое, не имея ничего определенного в настоящем, дает вам полную волю мечтать, без всяких стеснений мысли, о его будущем. Впечатление, которое можно все-таки кое-как определить человеческим языком, это то, что Новороссийск — начало чего-то, зеленый стебелек, едва-едва показавшийся на девственной почве пустынного побережья.

Девственность, начало новой жизни на этих старых местах, опустевших после бегства горцев в Турцию, новая девственная растительность, до основания уничтожающая

малейшие следы старины, — вот она-то и веселит усталое сердце в этих безлюдных, но обновляющихся жизнью местах. Пока еще греховодник-капитал не показывал сюда своего носа, по крайней мере в своих подлинных размерах, и не успел раздражить запахом своих приманок этой невинной земли и этого невинного воздуха, который обвевает ваше лицо и которым дышат ваши больные легкие. И такая прелесть начинает чувствоваться почти тотчас же, как только дорога, бегущая по кубанской степи, входит в предгория Кавказского хребта.

Кавказский хребет, подходя к Черному морю, как будто бы смиряется и затихает в своем бунтовстве: довольно он намудрил и напугал человека там, в глубине Кавказа; довольно он там намучил его своими ущельями (какое скучное слово!), скалами, высовывающимися из облаков, ревущими реками и пропастями бездонными. Довольно он надивил, настращал и навосхищал вас там, «в своих местах», теперь — будет! Там, в своих-то местах, он широко развернулся, самому небу доказал, на какие способен он чудеса, теперь же пора и отдохнуть. И, приближаясь к Черному морю, точно к дому, откуда ушел гулять по белу свету, он как будто отдыхает от своих чудовищных подвигов; идет он ровным шагом и тихо улыбается вам, встречному прохожему, мягкими, живописными очертаниями ничем не пугающих гор, живописных долин, глядя на которые с вершины этих смирных высот, чувствуешь и видишь только одно, именно — как они хороши, живописны, и нет того головокружительного ощущения и мысли о возможности «помереть *не своею* смертью», которые с такою неистощимою любезностью преподносил вам на каждом шагу настоящий, головокружительный Кавказ.

Отличная, ничем не уступающая Военно-Грузинской, шоссейная дорога, начиная от станицы Небережайской (последнее жилое место по дороге от Екатеринодара в Новороссийск), на протяжении около тридцати верст идет между этими смирными горами, извиваясь поминутно такими же змеиными изгибами, как и Военно-Грузинская, но без всяких по коже подирающих свойств этой последней. Дорога эта совершенно пустынна; две почтовые станции да керосиновая передаточная станция (пробирается-таки греховодник!) — вот все «жилое», попадающееся на этом

пути вплоть до Новороссийска. Но именно в этой-то пустынности и есть что-то необыкновенно девственное, освежающее. Молодая трава, цветы, деревья, изгладившие малейшие впечатления старины, радуют тем, что никто, повидимому, еще не пробовал топтать эту траву и цветы и никто еще не замахивался топором на эту юную растительность. Невинно, мягко, пушисто здесь все, в этих смирных и тихих горах.

В дни моей поездки, раннею весной, горы эти еще не были вполне опушены листвой; леса, покрывающие эти горы густою и частою, как шерсть, растительностью, почти еще голы; на темном фоне их только ярко золотятся желтые густые клубки распускающегося кизиля, а в долинах белеют, как снег, белым цветом дикие яблони: все еще голо, но голо целомудренною наготой, провеяно чистым весенним воздухом, в котором чуется еще свежая струйка где-то лежащего снега, и вообще все юношески свежо.

В такие-то минуты я поистине с содроганием «во всех суставах» заприметил в этих девственных местах явный след «греховодника». Заприметил я какую-то тоненькую, дюйма в два в диаметре, чугунную трубочку, которая по временам стала показывать свою змеиную спину в разных местах этих девственных долин.

«А ведь пробирается-таки греховодник-то! Пробирается, анафема!» — с истинным ужасом и скрежетом зубов думалось мне всякий раз, когда мелькала железная спина железного червяка.

Увы, действительно пробирается железный червяк! Из рассказов фургонщика оказалось, что червяк этот уже довольно давно воткнул свой железный нос в недра земли верст за восемьдесят от Новороссийска, в станице Ильской, и уже давно высасывает эти недра. В предгориях червяк этот поднимается от земли и лезет либо на пригорок, либо перегибается через вершину резервуара, откуда, при помощи парового давления, нефть гонится до самого Новороссийска через горы, и до Новороссийска же доползает и сам железный червяк. И здесь, по другую сторону бухты, против того веселого места, которое именуется Новороссийском, уже видны какие-то греховодниковы затеи: резервуары, заводы, черный, точно из ада, фыркающий дым, — и нельзя не содрогаться всем существом, видя, что греховодник уже проложил дорогу. И насыпь железной

дороги, к глубокому огорчению, кажется почти уже готова до самого моря! Пришел, пришел-таки греховодник! И было бы до глубины души обидно за эти девственные места, если бы не существовало некоторых преград, самою природой противопоставляемых успешному шествию греховодника и дающих некоторое право задумываться над таким вопросом: «Да удастся ли еще и греховоднику-то затоптать и замусорить здешние девственные места?» Кое-что есть и против замыслов греховодника, и на этом-то «кое-что» только и отдыхает душа.

Прежде всего оказывается, что не дает греховоднику ни проходу, ни проезду так называемый «трескун-камень». Железной дороге необходимо в двух местах пробиться через горы этого самого трескуна-камня, а трескун не пропускает. Станут его рвать динамитом — думают, он и в самом деле камень, а он, вместо того чтобы разваливаться глыбами, как бы следовало поступать настоящему камню, разлетается вдребезги пылью, рассыпается в муку и засыпает дорогу на том самом месте, откуда его хотели удалить. Если же случится дождь, то трескун мгновенно превращается в тесто, и тогда дорога оказывается залитой бездонною грязью, с которою ничего не поделаешь. «Хорошо, — подумалось мне, — поступает с греховодником трескун-камень! Смертоубийственно и вместе с тем кротко действует — это черта российская!»

Не менее ядовито поступает с греховодником и самое солнце кавказское. Какое оно чудное, животворящее! А тоже норовит подставить греховоднику ногу!

Здесь, на Кавказе, это ласковое солнце, как известно, творит чистые чудеса по части растительности. В год, в два дерево вытягивается в росте вдвое-втрое против роста того же дерева в средней или северной России. Но, вытягивая с такою энергией соки для питания растения из земли, то же самое солнце с тою же самою энергией вытягивает соки и из самого растения и из его плодов, которыми оно обильно его одаряет. Говорят, что доска из здешней сосны или дуба, как бы хорошо ни была высушена, под палящими лучами солнца скоро коробится, трескается по слоям, если только не защищена чем-нибудь посторонним, например штукатуркой. Даже самый могучий дуб, по словам местных хозяев, не стоит в здешних постройках более трех лет: солнце, напоившее и накор-

мившее его, вытянет из него потом все соки, расщеплет его, избороздит трещинами, весьма удобными для поглощения дождевой влаги, которая, под теми же палящими лучами, испаряясь и тлея в мертвом теле дерева, способствует его окончательному уничтожению и разрушению. Говорят, что фрукты в горных лесах Майкопского уезда и Черноморского округа, рождающиеся в несметном количестве, также весьма не прочны; груши и яблоки на вид очень велики и очень крепки, но сорванные с дерева скоро портятся, и внутренность их истлевает в течение четырех-пяти дней.

То же самое (по рассказам случайно встречавшихся местных обывателей) происходит и с зерновым продуктом. Говорят, что хлеб, возделываемый по левую сторону от Кубани, то есть в самых благодатных местах предгорий, так же красив на вид, жирен, крупен и так же, как и все, растущее на здешней жирной земле и под здешним пламенным солнцем, недолговечен и непрочен; за здешним хлебом нужен постоянный и тщательный уход: проветривание, пересыпка, иначе он начинает кишеть паразитами и даже слипается в пласты. Крупные хлеботорговцы стараются купить такое количество хлеба, которое могло бы пойти в дело по возможности в скором времени, чтобы не держать это изнеженное зерно в амбарах, хотя бы этого требовали расчет и выгода. Изнеженное зерно не выдерживает продолжительного пребывания в амбарах и гниет. Кстати сказать, что это изнеженное зерно так не похоже на наше, притерпевшееся ко всем случайностям, что опытный хлеботорговец узнает здешнее зерно по одному только взгляду. Нет в нем нашей ржаной «строгости». И вот такой-то изнеженный хлеб, изнеженный лес, изнеженный фрукт и должен бы быть главным кормильцем и поильцем строящейся железной дороги, так как хлеба кубанских земель, лежащих по правую сторону Кубани, вероятно пойдут к Ростову, по крайней мере из северной части Кубанской области. Но уже в самой изнеженности всех этих товаров таится некоторое противодействие успехам греховодника, так как, кроме фруктов, леса и зерна, что же есть здесь другое? Есть, правда, скот и, вероятно, будет табак, но об этом я не могу сказать ничего определенного, хотя и сожалею, что греховоднику все-таки есть чем поживиться.

Однако же и это прискорбное обстоятельство значительно смягчается еще третьим, кроме перечисленных выше, препятствием грядущему греховоднику. И препятствие это пожалуй что будет поценнее всех вышеупомянутых: это — бухта. Она действительно похожа на котел и кипит, как котел на огне, когда начнет здесь свирепствовать норд-ост или по-здешнему *бора*. Порожняки-извозчики, переезжая в такие бурные дни через горы, наполняют свои фургоны и телеги камнями, иначе ветер снесет их в овраги, перевернет и изобьет как ему угодно.

— Иной раз бывает такая штурма, — говорил мне сторож на пристани Русского общества пароходства, — не приведи бог! По целым неделям не заходят пароходы: не пускает буря. И якорь не держит, дно каменное, не за что зацепить.

Рассказал он мне, что будто бы хотят (не знаю, кто именно) рвать горы, окружающие бухту, динамитом, чтобы «вроде как отдушины сделать для воздуху, а то как надавит его сюда, в котел-то, так точно ад кромешный раскрывается!»

Не знаю, была ли «штурма» в то время, как я разговаривал со сторожем на пристани, но, пока шел разговор, я должен был изо всех сил держать одною рукой шапку, а другою держаться за фонарный столб, потому что, на мой взгляд, ветер рвал как бешеный. Да и не только на пристани, а вот и в гостинице, все-таки на некотором расстоянии от самой «штурмы», и то приходится иметь с ветром беспрестанные столкновения! Где-нибудь отворят дверь, а ветер так ее затворит, что точно из пушки выпалит, и потрясет все здание. Покуда выбьешься из подъезда на улицу, необходимо иметь продолжительную дуэль с дверью подъезда, необходимо нападать на нее, собрав все свои силы, бросаться очертя голову и вообще не бояться смерти.

Все это весьма меня радовало, и я с удовольствием подумывал о том, что, быть может, с божьей помощью, а также и с помощью трескуна, изнеженного зерна, неумолимой боры и капризной бухты — быть может, греховоднику-капиталу и не удастся замусорить этих девственных мест, не придется «почавкать» своею сладострастною пастью всякого свеженького мясца и «кровушки свеженькой из девственных мест повыточить».

Много, много здесь весьма благоприятных условий для того, чтобы греховодник «не солоно хлебал» (так мне казалось), но, к несчастью, не меньше есть и признаков того, что греховодник идет, что он близко, что он уже разевает свою пустопорожнюю пасть, и охотников свеженькой кровушки повыточить немало стремится в эти девственные места.[1]

Еще по дороге к Ростову, затем на владикавказской линии и далее, по станицам и по большой конной дороге к Новороссийску, постоянно встречаются люди каких-то полутемных биографий, мечтающие и рассуждающие о Новороссийске. По разговору видно, что люди эти уже видали виды; бывали они в Бессарабии, и Петербург знают, да и в Ташкенте, в Закаспийском крае изучили положение дел и карманов и, убедившись, что вообще во всех виденных ими местах никакого карманного «толку нет» и что вообще все это «пустой разговор», в конце концов норовят «попробовать и Новороссийск». Иные из них откладывают эту пробу до того времени, когда будет открыта железная дорога, а другие и теперь едут и обнюхивают новое место.

Едут какие-то восточного типа верзилы в фесках, с удрученною походкой, с беспомощно болтающеюся головой, как бы притягиваемою к земле тяжеловесным восточным носом; едут они сюда с каким-то непостижимым товаром, напоминающим обсахаренный мусор, взятый с улицы, с какими-то маленькими ягодами, перепачканными в обсахаренную грязь; но их верзильный рост и воловьи, с тупым выражением, глаза заставляют думать, что им не чужд и тот род коммерции, в корне которого таится коммерческий прием, определяемый словами «секим башка».

И жидок, нервный, напряженно внимательный, проворный, как ртуть, шмыгая по девственным местам из угла в угол, норовит прицелиться своим проницательным взором к чему-нибудь свеженькому и сочному.

Наконец и наша великороссийская «бакалейная и мускательная» щетинистая рыжая борода по временам также сверкает здесь бураками своих молодцовских сапог.

---

[1] Увы! Пришел-таки и разинул пасть.

Выйдя с постоялого двора и перекрестившись большим крестом, она бодро отправляется разведывать и прицениться; там запускает она руку в воз сена: выхватит клок, понюхает и даже пожует; там в горсти у нее окажется пшеничка, ячмень, овес; все это борода попробует на зуб, разгребет пальцем, подует и на руку весом прикинет, а потом крякнет и пойдет в заведение пить чай, соображать и прикидывать «так и эдак».

Но пока все эти опыты всех охотников «свеженькой кровушки повыточить» не увенчиваются никакими положительными результатами. Сколько обнюхиватели новых мест ни упражняют своего обоняния — нет! пока ниоткуда еще не несет падалью. Напротив, все еще девственно, свежо и чисто. Попробуют они и «на зуб» и «на язык», и на руку привесятся, и глазом прицелятся, да с тем пока и должны отправляться в обратный путь, в какие-нибудь новые, уже тронутые «греховодником» места, например в Екатеринодар.

Этот город действительно уже тронут практическим человеком. И хотя железная дорога еще не открыта, но практический деятель уже свил себе здесь прочное гнездышко, и, глядя на «процветание» Екатеринодара, нельзя не порадоваться непроцветанию Новороссийска: бухта — слава создателю! — пустым-пустехонька; на пристани Общества пароходства всего только пять керосиновых бочек, с десяток лодок у берега, на самом берегу штук пять не введенных в воду купален — вот пока и все здешнее процветание. Вся синяя волнующаяся гладь залива, окаймленного девственными горами, пока, слава богу, чистехонька: ни лодочки, ни парохода, ни паруса! Ко всему этому ни у лодок, ни у купален, ни на пристани около керосиновых бочек нет ни единой человеческой фигуры: ходит ветер, да волны шумят, и никакой язвы покуда ниоткуда не видать...

Да и на берегу все, слава богу, честно и благородно: домики стоят кое-где, «как бог привел»; живет ли кто в них — неизвестно; но все, благодарение богу, тихо. Амбарчики кто-то выстроил на «предбудущие времена», но «пока что», — а амбарчики заперты наглухо, и напрасно норд-ост стучит в запертую железную дверь и рвет железный висячий замок, — ничего еще в этих амбарчиках нет, а бог даст, так ничего и не будет!

— Что-то бог даст завтра! — оканчивая свой торговый день, говорит наш российский мужичок, выдвинувший в упор норд-осту и грядущему греховоднику-капиталу свой деревянный шалашик с надписью: «Кислощейное заведение с продажею квасу». И нельзя не согласиться с ним, что «завтра» для Новороссийска покрыто полным мраком неизвестности.

Этот «кислощейный» мужик и этот девственный Новороссийск чрезвычайно похожи друг на друга: мужичок выстроил на самом юру ветров шалашик из шести-семи нестроганных тесин, прилепил вверху навеса кислощейную вывеску, повесил на стену «патрет» и вид Афонской горы, поставил на тесину, заменяющую стойку, бочонок с квасом, три толстобоких стакана, пяток бутылок с квасом, перекрестился и вместе с своею «бабой» стал ждать, «что будет». До сих пор пока ничего нет: только норд-ост забирается ему под рубаху, вздувает ее пузырем на его спине. Что касается его «бабы», то и она пока имеет дело только с норд-остом: чуть вышла из будки, так ветром ее подхватит, раздует весь ее «ситчик» и того гляди умчит неведомо куда. Идут и наши земляки мимо кислощейной, да ветрено и пить холодного неохота «пока», а носастые азиаты, так те, проходя мимо, только косят глазами и на бочку и на вывеску. Так и проходит день; а часов в семь мужик с бабой выберутся из будки, заставят ее досками, помолятся на небо, поклонятся на все четыре стороны и идут домой, на фатеру, «пожевать» весового хлеба наместо ужина, идут и говорят:

— Что-то бог даст завтра!

А завтра тот же ветер, и все то же, что и вчера. Так вот Новороссийск и живет, ничего не видя «настоящего» сегодня и не зная, что бог даст завтра!

Сегодня, чтобы как-нибудь истратить целый праздный день, остающийся в моем распоряжении до прихода парохода, я задумал совершить целых пять дел и зайти в пять разных мест, полагая, что на эти пять дел уйдет все-таки хоть два часа времени. Задумал я пойти на пристань, на почту, на телеграф, в лавку купить чаю и, наконец, остричься.

После кровопролитной и продолжительной битвы с дверью подъезда, во время которой я два раза почти уже одержал победу и проникал на улицу, но тотчас же был

вдуваем или даже вбиваем ветром вовнутрь гостиницы, точно так, как пулю вбивает шомпол в дуло ружья, — после всех этих мучений я в конце концов очутился все-таки на улице и здесь, оглядевшись, к крайнему сожалению моему увидел, что все пять мест, которые я задумал посетить, находятся тут же, чуть не у самого подъезда, сосредоточиваясь таким образом все в одном месте: в двух шагах почта, еще два шага — телеграф, через дорогу «бакалейная и мускательная», а в десяти шагах и пристань. Все это при деятельном участии норд-оста я посетил не более как в пять минут, и мне оставалось одно утешение — парикмахерская, где уж наверное я пробуду минут пятнадцать и таким образом хоть эти пятнадцать минут отниму у совершенно праздного дня. Парикмахерская опять-таки оказалась «тут же», в двух шагах, и была также совершенно девственна; на дверях были нарисованы люди: одного бреют, у другого отворяют кровь — рисунки, как видите, почти столь же древние, как и византийские фрески. У самой двери на полочке стояли «банки» и лежали машинки для кровопускания — тоже инструменты, давно исчезнувшие из современной парикмахерской. В комнате было накурено, так как в ней от нечего делать и, очевидно, в ожидании, «что бог даст завтра», сидели разные люди восточного, еврейского и российского типа из числа «присматривающихся», «прицеливающихся глазом», пробующих и на язык и на зуб и вообще ожидающих у моря погоды. Делать им было, очевидно, ровно нечего, и они все свое внимание сосредоточили на мне и на парикмахере, который меня стриг; они так же, как и я, наклоняли голову в ту сторону, в которую парикмахер наклонял мою, делали такие же гримасы, какие приходилось делать мне, и даже делали замечания.

— Пожалуйста, уха барину не отрежь ножницам! — сказал какой-то азиат. — Ти мине уха резал!

— Зачем нам ухо резать! Слава богу, кажется, на своем веку довольно практиковал!

Но и это занятие, к сожалению, весьма скоро прекратилось. Прекратил его я сам, испугавшись какой-то горчичницы, из которой парикмахер хотел что-то вылить мне на темя. Поблагодарив его за услугу, я поспешил уйти, и

затем мне ничего иного не оставалось, как возвратиться в гостиницу, то есть сделать еще только два шага.

Гостиница пуста; кроме меня и какого-то черного человека, очевидно с полутемною биографией и таинственным большим узлом с таинственным товаром, сидящего в темном нумере, никого нет. В зале накрыт общий стол и стоит открытое пианино; но никто не играет и никто ничего не ест. Лакей спит; поспит, встанет, обмахнет салфеткой лампу, графин, вздохнет и опять сядет к столу — дремать на своих локтях. Тишина мертвая; только ветер свищет в окнах, в дверях, в трубе, в заслонке, да кошка мяукает беспрестанно. Весь дом, в ожидании, «не будет ли чего-нибудь», предпочитает дремать и даже, кажется, спит. На площади перед окнами стоит один ломовой извозчик и идет один прохожий.

Надо спать. И спать здесь хорошо, да и проснувшись также хорошо себя чувствуешь: необыкновенно приятно побыть некоторое время в таком «месте», где ничего не знаешь о прошедшем, где нет ничего в настоящем и где поэтому не беспокоит мысль о будущем. Тишина, ветер — и ровно ничего такого, что бы могло навести на какие-нибудь личные воспоминания о прошлом и предаться поэтому невеселым думам о всяких пережитых тяготах и бесплодно утраченных годах. Правда, приходили терзать меня и такие думы и воспоминания, но систематическое отсутствие впечатлений, упорная тишина, упорный шум ветра, пустота улицы и до́ма преодолевали напряженность мысли о прошлом и делали мысль совершенно свободной, вольной. А раз ей, этой изболевшей мысли, выпала на долю такая счастливая минута, не захочет она добровольно утомлять себя, умственно возвращаясь к покинутым воспоминаниям о тяготе жизни. Почувствовав себя на полной свободе, она, как птица, выпущенная из клетки, летит к свету и к солнцу.

Вот такое-то стремление овладело и моею мыслью, которой в этом милом «месте», именуемом Новороссийск, не за что было ухватиться, чтобы заскучать и затосковать, и потому мне стало припоминаться только то, что оставило в душе светлый след. А на мое счастье, одна только неделя переезда от Петербурга до Новороссийска, то есть одна неделя самого поверхностного соприкосновения с живою жизнью русского народа, уже много дала

мне радостных минут. Об этих-то радостных минутах я и стал думать среди моего прекраснейшего и ненарушимого одиночества и, думая, ясно понял, почему мне стало теперь так весело на душе, почему меня так обрадовали и эти тихие горы, и этот «трескун», и норд-ост, и вообще все, что видел мой глаз. Была этому началу радости серьезная причина, и заключалась она в следующем.

3

Наслушавшись в Ростове, на станции, разговоров между проезжими о том, что новая дорога от станции Тихорецкой до Новороссийска уже действует и что по ней уже ездят, хотя она официально и не открыта, я задумал и сам проехаться по ней и посмотреть на новые, не виданные мною места. Но при первой же справке у начальства оказалось, что поезда ходят только служебные, а пассажиров не принимают. Такой неласковый ответ начальства дал мне повод опять загрустить о чем-то.

Нужно сказать, что при всей моей радости видеть живую жизнь тоска, намучившая меня в Петербурге, постоянно мешала моим веселым впечатлениям в первые дни поездки. Маленькие радости поминутно омрачались привычною болью изломанного сердца, и на смену вот этой капельке тепла, живой радости — грубо надвигались черные и как лед холодные воспоминания. Мгновениями казалось, что в таком настроении и ехать-то некуда и незачем, и малейшая неприятность, даже простое неудобство положительно сокрушали и обессиливали, так как трогали уже изболевшие от черных впечатлений нервы, уничтожали надежду на что-нибудь радостное, обессиливали. Вот в такое-то обессиленное, близкое к полной тоске, состояние привел меня и такой пустяк, как отказ «начальства» в билете на проезд от Тихорецкой станции до Екатеринодара. Стало мне как-то непомерно скучно и тяжко, но это продолжалось по обыкновению только мгновение, тем более что и само провидение уже пеклось обо мне.

В то время, когда я шел разочарованный после разговора с начальством, на меня пристально и по-отечески смотрели ласковые глаза какого-то российского человека.

Это был какой-то низший железнодорожный служитель в рабочей блузе, с бляхой и в черном картузе с белым позументом. Его доброе, мягкое сердце, вероятно, почуяло, что у меня на душе нескладно, что мне невесело, и он, как добрый человек, должно быть, подумал обо мне:

«Зачем ему начальник неприятные слова говорит? Лучше же ему приятные слова говорить, а не то что обижать! .. Все одно: на новую дорогу его не пустят, а ежели с ним по-приятному поговорить, так все же ему будет легче. Пойду-ка я ему поговорю по-прият-но-му-то! .. Пускай же он хошь повеселей... недоедет!»

Сообразив и обдумав все это, добрый человек кашлянул, поправил кожаный пояс, развеселил свое лицо и ласково сказал, подойдя ко мне с картузом в руках:

— Вы что такое, вашскобродие, у обера спрашивали?

Я сказал и спросил его:

— Дают ли по крайней мере на Тихорецкой-то билеты?

Добрый человек вместо ответа сделал такой вид (фыркнул в сторону и картузом закрыл пол-лица), что дал мне полную возможность видеть, до какой степени рассмешил его мой нелепый вопрос.

— Да сколько вам будет угодно, столько вам билетов и дадут! — как бы оправившись от комического положения, в которое я его поставил, сказал он самым успокоительным и убедительным тоном.

— Будто дадут?

— И, будьте так добры, оставьте!

— Вот это славно!

— И сколько вам угодно! И очень просто! Как сейчас приехали, и сейчас взяли билет, и больше ничего — поезжайте с богом!

— Отлично!

— И ни боже мой, нисколько! А как будет звонок, тогда я прибегу за вашим чемоданчиком, извольте только помнить седьмой номер... И билетик до Тихорецкого возьму и место займу!

— Ну спасибо! Отлично!

Он так приятно говорил, что я тут же счел нужным его поблагодарить «в руку».

— А вы, — продолжал он, изыскивая новые способы проявить свою ласковость, — а вы извольте спокойно

гулять, чай кушать. Или порциями чего-нибудь, что потребуется, и нисколько не опасайтесь! Сколько потребуется билетов, столько и дадут, и поедете с богом, приятным манером... Даже и насмешили вы меня, господин, вашими словами, ей-богу!.. Да сколько только угодно!..

— Ну спасибо, спасибо! Благодарю очень!

Приятные слова доброго человека дали мне возможность в самом приятнейшем расположении духа провести время в ожидании поезда, в таком же приятнейшем состоянии ехать всю дорогу до Тихорецкой, да и там, когда оказалось, что добрый человек единственно только из-за своей доброты создал легенду о раздаче билетов, и там мне не было скучно, потому что легенда была веселая и выдумана не под влиянием дурных побуждений. «Добрый человек!» — думалось мне, когда я окончательно убедился, что билетов нет и что вместо них только одна приятная легенда. За эту приятную легенду я и сейчас благодарен доброму человеку, потому что ей я обязан хотя и совершенно случайной, но в высшей степени радостной встрече с одною переселенческою партией крестьян.

Когда эпизод с легендой о билетах (просьба у начальника станции, обер-кондуктора, даже буфетчика и постоянные ответы: «Нет! Невозможно! Не дозволяется!») был совершенно закончен, то есть когда поезд ушел, станция совершенно опустела и мне пришлось искать себе ночлега, тогда, оставив свои вещи у сторожа, я вышел со станции на какое-то огромное пустопорожнее, безмолвное пространство и, оглядевшись, заприметил вдали мелькание нескольких огоньков. На эти огоньки я и пошел.

Светилось, по русскому обычаю, в самом популярном и передовом во все времена и во всяком месте учреждении — в кабаке. Рядом с кабаком был и трактир с «номерами», где мне пришлось взять комнату, так как на станции не было ни малейших удобств для приезжающих. Но номер был так мал, душен, грязен и вообще невозможен во всех отношениях, что, помаявшись в нем часа два, я не выдержал и вышел на улицу.

Было темно; тучи застилали месяц, который как будто силился выглянуть и высвободиться из этой темноты, но темнота упорно в этом ему препятствовала. Едва можно было разглядеть человеческие фигуры, длинным рядом

сидевшие на длинной лавке у забора, примыкавшего к воротам трактира. Кое-как оглядевшись в темноте и приметив на конце лавки кусок свободного места, присел в компанию к этим неясным фигурам и я. На мое счастье, месяц вырвался-таки из тюрьмы весенних туч и осиял всю окрестность на огромное пространство. Ясно очертились недостроенные корпуса будущей большой станции. Засверкали на двух-трех из нового теса сколоченных бивачных лавках золотые буквы вывесок, стали видны там и сям крыши бараков для рабочих и наскоро сколоченные помещения для служащих — вот и все, что осиял вырвавшийся из туч месяц. Никаких иных сооружений, кроме кабака и трактира, о которых я уже упоминал, на ровном бесконечном пространстве, очертившемся под сиянием лунного света, не было видно кругом. И несмотря на эту пустынность, к моему большому огорчению, уж и сюда набрело немало всякого случайного человека, который плетется на будущие греховодниковы приманки со всех концов Руси и во все концы Руси. Месяц, осиявший окрестности, осиял и моих соседей, и я увидел сразу, что народ этот — низший сорт, но непременный спутник греховодника, вторгающегося во все наши «непочатые углы». Должно быть, что города наши, где греховодник успел уже развернуться вполне, накопили этого темного народа так много, что он вынужден расползаться не только по селам и деревням, но даже и по таким пустырям, как то место, где мы теперь находились вместе с моими соседями по лавке.

Соседи эти по временам вставали с лавки и уходили в кабак, и фонарь, висевший над дверью кабака, давал мне возможность довольно отчетливо рассмотреть моих соседей, их фигуры и костюмы: резиновая калоша на одной ноге, а на другой ничего, штанина, разорванная до колена, рукава каких-то разорванных во всех направлениях хламид, так же как и хламиды, разорванные до локтя, — вот костюмы, и ко всему этому охрипшие горла, сиплые голоса. Разговоры этих охрипших людей были совсем не крестьянские, то есть не *о своих делах,* а как раз наоборот — о чужих; мои собеседники обсуждали положение дел, обозревали текущие события, «новости дня», как бы ища в этом материале чего-то подходящего. И опять-таки ужасно: «новости дня» даже и в таком-то

пустопорожнем месте, как недостроенная станция, уже изобилуют всякою несносною кляузой и мутью.

— Завтра, вишь, — хрипит и лает обозреватель тихорецких новостей дня, — следователь приедет.

— Н-ну? — могильным голосом, в котором слышится испуг и даже ужас, не вопрошает, а как-то стонет человек в резиновой калоше. — Чего ему?

— Хайкину лавчонку будут обыскивать... Заклады берет, деньги дает пустяковые, а выкупить не позволяет, упирается... У Сашки серебряный порцыгар так-то пропал.

— А чепочку тоже Сашка-то закладывал?

— Эта чепочка у Михайлы пропала. Сашка не закладывал.

Обозреватели полагают, что Хайка непременно должна вывернуться, так как Хайка заручилась отличнейшим адвокатом. Вон уж и адвокат завелся на пустом месте, и на том же пустом месте завелось адвокату дело. И сколько дел! Вот хоть бы этот кабак: ведь кажется, что и стоит-то он на этом пустом месте без году неделю, а уж «дело» опутало его со всех сторон! По закону выходит так, что трактирщик должен сломать целых полдома, именно ту часть, где находится кабак. Если он полдома разломает, то поступит по закону. Если же не разломает и не перенесет кабака на законное расстояние, то он поступит против закона и должен ответить. Без адвоката, как видите, выпутаться невозможно, и адвокат, как я слышал от обозревателей «дня», изловчается. Он хочет оставить и кабак и трактир на том же месте, причем все выйдет «по закону». Будет дело поставлено так: теперь крыльцо в кабак прямо с улицы, и если мерить от станции до крыльца, то кабак будет противозаконный. Адвокат, обороняясь бумагами, в то же время придумал следующее: дверь с улицы забить наглухо, а вход в кабак сделать сбоку дома из задних сеней. Таким образом, если смерить от станции до задних сеней, то окажется, что кабак имеет «против закона» еще преимущество на две с половиной сажени.

— Одно слово — башка! — хрипел обозреватель. — Здорово счистил с трактирщика, а уделает!

— Да, стоит!

Немало в самое короткое время наслушался я таких «новостей дня», и всё самого темного свойства; право, нельзя было не надивиться той поразительной быстроте, с которою «рубль» в столь короткое время умеет собирать вокруг себя такую пропасть всей этой мути.

Ведь давно ли, кажется, то самое место, где мы теперь сидим на лавочке, было все чисто и светло, и ничего здесь не было, кроме степной травы; но вот пришло «предприятие», запахло наживой, «оборотом», и уже все тут есть: «и часы пропали... и в залог принимает... и адвокат наживает... и следователь едет... и запечатывать хотят», а затем уж и суд и острог рисуются в перспективе. Какая пропасть «дел» и людей, которые живут «вокруг» этих дел! И какая скука от всего этого!

Опять затуманили мою голову тоскливые мысли, и я хотел было оставить моих соседей, господ обозревателей новостей дня, когда мое внимание было привлечено большой толпой простого народа, двигавшеюся по ярко освещенной месяцем площади. Ближе и ближе — слышен звонкий и частый женский и детский говор и смех — и целая масса женщин с грудными детьми, молодых девушек и девочек, мальчишек и подростков лет по двенадцати проходит мимо нас, проходит с живым говором всей толпы, писком ребят и смехом молодежи.

Дойдя до кабака, толпа остановилась, долго говорила тем чу́дным, общим говором, который приятен и радостен уже тем, что вам донельзя хочется проникнуть в его смысл, как хочется понять тайну того, о чем шумит река, о чем говорит лес, что творится в тайнах облаков и светлого неба. В этом говоре — не новости дня, а дело вечной, неумирающей жизни. Поговоря у кабака про свои живые дела, толпа женщин прямо прошла в кабак, вытеснила оттуда всех оставшихся там посетителей и в одно мгновение заполонила обе его комнаты: одну, где пили водку, и другую — где стоял биллиард. Биллиард мгновенно был завален полушубками, кошмами, подушками, на которые бабы уложили своих детей, которых буквально были десятки. Скоро и на полу, и под биллиардом, и по лавкам — повсюду стали размещаться бабы, раздеваясь, молясь богу, нянчая и баюкая ребят. Как пчелиный улей, зашумел и зажужжал сразу сделавшийся

тесным кабак, зашумел и зажужжал сотнею детских и женских звонких голосов.

Оказалось, что по ту сторону станции железной дороги, за полотном, разместилась большая партия переселенцев. На ночь, для ночлега женщин и детей, переселенцы сняли помещение у трактирщика в кабаке — по пяти копеек за ночь с человека, а мужчины ночуют около телег и лошадей в поле. Поговорить и порасспросить кого-нибудь из женщин о подробностях их переселения оказалось неудобным — все они устали, заняты были ребятами, и вообще им было не до разговоров. Волей-неволей пришлось отложить все разговоры и расспросы до утра, когда, по словам одной женщины, должны были прийти к ним мужики пить чай, брать воду. Нечего было делать, надобно было ждать до утра, и я, кое-как промаявшись ночь в моей клетушке, утром, часу в шестом, был уже опять на улице, уже разговаривал с переселенцами, и вот они мне что рассказали.

Они — бывшие крепостные крестьяне Кочубея, идут из Черниговской губернии, Борзенского уезда, в количестве ста восьмидесяти семей; идут они, конечно, от тесноты и недостатка земли, по направлению к Екатеринодару. В тридцати верстах от этого города, у некоего землевладельца г-на Воловика, купили они две тысячи десятин земли, из которых около двухсот десятин строевого лесу в предгориях. Покупка эта сделана по публикации самого г-на Воловика, кажется в «Сельском вестнике». Прочитав эту публикацию, они отправили ходоков осмотреть место; ходоки осмотрели, нашли место удобным и дали владельцу десять тысяч задатка. Но так как покупка земли была не общественная, а единичная, и сто восемьдесят домохозяев покупали каждый отдельно и «по деньгам», то для окончания этого дела г-н Воловик сам должен был (на счет переселенцев) приехать в Черниговскую губернию, в Борзенский уезд, и заключить с каждым отдельно особые частные условия, а затем все сто восемьдесят домохозяев, желая получить ссуду из Крестьянского банка, ходатайствовали об этой ссуде уже от имени целого общества.

За две тысячи десятин с лесом и пятьюдесятью избами (в этих избах жили, до покупки земли крестьянами, также крестьяне, только арендаторы; после продажи земли

г-н Воловик перевел их на другой свой участок и будто бы хорошо вознаградил за постройки) они заплатили шестьдесят тысяч рублей; из них сорок пять тысяч рублей заплачены самими крестьянами, а пятнадцать тысяч, по семь рублей за десятину, дал Крестьянский банк. Количество купленной крестьянами земли распределяется между отдельными домохозяевами примерно так: самое меньшее — шесть десятин и самое большее — сорок. Откуда взяли крестьяне сорок пять тысяч наличных денег? Деньги эти получились от продажи земли на родине. Там они продали свою землю не менее 150 р. за десятину и до 200 р. Один переселенец продал только две десятины земли с усадьбой и взял за эту усадьбу две тысячи рублей. Денег от продажи земли и скота у них образовалось вполне достаточно для того, чтобы переселиться не с голыми руками; напротив, деньги на обзаведение, на покупку всего необходимого были у них в весьма достаточном количестве. Покупка состоялась в прошлом году, и тогда же, осенью, из Борзенского уезда они отправили на новую землю шестьдесят человек из своих товарищей, которые распахали часть земли под озимое, засеяли ее и воротились назад. Теперь, таким образом, переселенцы имеют уже хлеб на весь будущий год.

В Тихорецкой станции они очутились по тем же соображениям, по каким очутился и я, то есть думали проехать по железной дороге до Екатеринодара, но дорога не согласилась исполнить их желание, и они, нисколько, впрочем, не унывая, живут здесь, ожидая прихода по железной дороге вещей и разной клади, несколько сот пудов, закупая у окрестных жителей лошадей и подводы для перевозки ее и семейств. Прежде чем приступить к этой покупке, они пробовали еще раз по телеграфу ходатайствовать у правления дороги о перевозке, но все-таки получили отказ. Кстати сказать, телеграф много сделал им добра, и они очень навострились им орудовать; все важнейшие операции — относительно г-на Воловика, Крестьянского банка и железных дорог — они обделывали по телеграфу без проволочек. Благодаря разумному ведению дела они добились того, что переездка от станции Плиски Курско-Киевской дороги до Ростова обошлась им всего по восемь рублей на взрослого человека и по четыре рубля на подростка.

Все эти сведения я получил, повторяю, уже на другой день, разговорившись с переселенцами, пришедшими к женам и детям. И рассказы их и сами они произвели на меня самое радостное впечатление.

Как видите, эта переселенческая партия — партия совершенно не нищенская; у нее есть достаток; есть все, что нужно; все дела свои она сделала умно, расчетливо, без умопомрачения и приехала именно туда, куда ей следовало приехать, а не колесит неведомо где, прося «Христа ради» под окнами, как это часто бывает с нашими переселенцами, идущими на «Белые воды». Почти все сто восемьдесят семей были семьи молодые. За исключением нескольких стариков и старух, принадлежавших к большим семьям, положительно все остальные мужчины были никак не старше 30—35 лет. Это было уже новое, пореформенное поколение крестьян; гораздо больше половины взрослых были грамотные, а подростки — грамотны все; вся толпа мужчин и женщин, парубков и дивчат была просто как на подбор: молодые, здоровые, ни капельки не забитые, без малейших признаков какого-либо ярма, которое когда-то лежало на них. Единственное, что было в их прошлой, недавней жизни тяжкого и неприятно вспоминаемого, это, кроме малоземелья, «пан» вообще и, к сожалению, рядом с паном «жид». Но теперь, избавившись от наемной работы и от жидовской кабалы, они вспоминали о том и другом не иначе, как в смехотворной анекдотической форме. На панской работе, — для потехи рассказывают они теперь, — кормят таким борщом, что когда остатки его выльют на землю, то всякая собака, которая подойдет и понюхает, начинает лаять и беснояться — такой славный у этого борща запах и вкус!

— А жид?

Жид много делал зла, но и жидовское зло вспоминается теперь только в смехотворном виде.

Приходит крестьянин к жиду, просит рубль серебром в долг на один год и дает в заклад полушубок. Жид берет полушубок и говорит, что процентов на рубль в год будет тоже рубль. Мужик согласен и взял рубль. Но только что он хотел уйти, как жид говорит ему: «Послушай, тебе ведь все равно, когда платить проценты, теперь или через год? Теперь или через год — все равно ведь отдашь рубль?» Мужик соглашается с этим и говорит: «Все

равно!» — «Так отдай теперь и уж не беспокойся целый год». Мужик и с этим соглашается и отдает рубль, чтобы уж совсем не беспокоиться о процентах. Отдав рубль, он приходит домой и без денег, и без полушубка, и в долгу.

А то вот и еще.

К шинкарю приходит крестьянин и просит в долг четверть вина: у него ребенок умер, надобно справлять похороны. «Деньги есть?» — «Нет, нет денег!» — «Ну, убирайся к чорту!» Мужик уходит, но через несколько минут опять возвращается. «Принес деньги?» — спрашивает шинкарь. «Нет, не принес... Я воротился попросить, чтобы ты хоть этой-то четверти не приписывал!», то есть не приписывал бы той четверти, которую мужик только заикнулся попросить.

В этом роде было рассказано множество преядовитых историй, но все они, рисуя действительно большую кабалу, были в рассказчиках смягчены радостным сознанием того, что все это кончилось, осталось там, где-то далеко-далеко, и не повторится никогда.

Глядя на этих здоровых, свободных, не голодных, не холодных, хорошо, тепло, красиво одетых в самодельное и самотканное платье людей, слушая их свободную, остроумную речь, я решительно позабыл самое слово *мужик*. Да, это настоящие *свободные люди* — именно *люди*, независимые вполне, так как над ними нет теперь даже ненавистного жида. Это несомненно была счастливая, редкая встреча, но благодаря ей я мог опять вспомнить самое важное и самое главное, что таится в самой сущности строя народной жизни.

Этот строй и эта сущность затемнились для нас народным расстройством, неурядицами народной жизни, не зависящими от народа, и вместо важного и главного нас в народе поражают и останавливают наше внимание его невольные уклонения от этой сущности, раны и язвы, покрывающие ее, которые мы часто смешиваем с не примечаемою нами сущностью типа народной жизни, делаем признаком особенностей народной жизни то, что в сущности составляет только признак ее уродства, болезнь, а не самую сущность. Нищета, умственная робость и темнота, забитость, стонущая беспомощность растерянного человека, кроткая покорность безжалостной судьбе — никаких таких весьма, впрочем, обычных для нашего крестьянина

искажений его человеческой личности не было в той большой толпе крестьян-переселенцев, которая мне встретилась, и вот потому, что, быть может, случайно на их долю выпало счастье освободиться от всех этих язв, вовсе не составляющих непременную принадлежность жизни трудового народного типа, — сущность-то этого народного типа жизни и выяснилась предо мною во всей своей широте и прелести.

Не «мужики» были предо мною, не труженики, не подвижники, не самоотверженные или подвижнически целомудренные существа, наконец вообще не взрослые дети — нет! а только *свободные, независимые* люди. Каждый из них, выражаясь словами кольцовской песни, *слуга* самому себе и *хозяин* самого себя, то есть сам вдвойне слуга и хозяин вместе, не хозяин над кем-нибудь, как все в обществе, живущем в условиях, установленных греховодником, и не слуга кому-нибудь, как также непременно все, живущие в том же греховодническом обществе, но сам-друг, сам вдвойне — слуга и хозяин, то есть человек, существующий не налагая ни на кого никаких пут и сам не запутанный никакими и ничьими путами.

Не «мужик» уже интересовал меня в том, что теперь я видел перед глазами благодаря встрече с свободными и независимыми людьми, но уже открывалась как бы самая тайна желаний измученного человека вообще, очерчивался тот «образ» человеческой «жизни», жажда которой, несознанная, несмелая, таится в глубине души всякого человека, живущего в наши дни. И вот почему мне стало так весело.

II. ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩЕЙ ГЛАВЕ

1

Под впечатлением описанной встречи я тогда же в особой статье подробно объяснил причину той радости, которую я ощутил в душе благодаря этой встрече; в идущих на новую трудовую жизнь семьях, так счастливо обставленных в материальном отношении, мне очертился в такой ясности и полноте, как этого до сих пор не случа-

лось, образ жизни *свободного* человека, тот образ жизни, о котором тоскует мысль и совесть человека, измученного современным строем культурной жизни, в которой есть все, кроме свободной личности и свободной совести.

Тогда же я привел кое-что из имевшихся у меня под руками материалов, доказывавших, что в европейской жизни данной минуты слышатся голоса, вопиющие против существующего строя жизни и ищущие выхода для закабаленной этим строем человеческой личности и совести. Я привел тогда слова одного английского крупного капиталиста, сказанные им на каком-то митинге и опубликованные в газете «Standard», которыми он так характеризует свое *плачевное*, как капиталиста, положение в целой цепи таких же плачевных положений окружающего его общества: «Мы — только крошечные звенья в огромной цепи *ужасной организации*, и только полное расклепание этой цепи может действительно *освободить нас* (богатых-то фабрикантов!). Сознание беспомощности наших индивидуальных усилий (выйти из тисков этой ужасной организации) заставляет нас (хозяев) принимать деятельное участие *в агитации против собственного нашего класса* — агитации, которая, если будет успешна, лишит нас нашего положения капиталистов. Пожертвовать этим положением, я думаю, *не покажется нам тяжелым,* если мы верно оценим то благо, которое при изменении этих порядков получит общество, и те многочисленные дары, которых не купишь за деньги. *Видеть конец нищеты и роскоши*, найти досуг и утонченные удобства жизни среди тех, которые выполняют черную работу, видеть чистое, здоровое искусство, развивающееся *невольно* из этого счастия жизни, видеть нам милые острова, освобожденные от следов унижающей борьбы (труда и капитала) — борьбы за насущное существование и борьбы за богатство, — разве участие в подобной жизни и удовольствие чувствовать, что *все мы* участвуем в поддержании такого порядка жизни ,— разве все эти радости могут быть похожи на те, которые можно приобрести за какие бы то ни было деньги? Мне кажется, *что в настоящее время богатые люди пытаются купить жизнь вроде этой, стремясь окружить себя, при помощи громадных расходов, призраком порядка и довольства*, но в результате за все эти деньги получают один мираж». Далее оратор говорил,

что он уверен в предстоящей перемене строя жизни; что *пробуждение совести богатых и состоятельных есть лучшая гарантия против насильственного переворота* и что вообще порядок, о котором он мечтает, по его словам, уже *нарождается.*

Какой же этот порядок, какой строй жизни? Общее счастие — возможно; указания на это есть в народном строе жизни — не в мужицком невежестве, тьме, голоде и холоде, а в *строе*, плане жизненного крестьянского обихода, жизненного порядка, устраняющего расстояние между хозяином и работником.

Тогда же, в подтверждение того, что в европейском культурном обществе стремление к *освобождению* из неразрывной цепи *ужасной* организации отражается именно в проповеди народного типа жизни, то есть проповеди трудовой *жизни*, а не трудовой каторги из-за хлеба, я привел речь поденщика Джозефа Арча в английском парламенте — речь, которую с полным вниманием «слушали герцоги и лорды» и не могли не задуматься над глубоким ее смыслом. Этот оратор — простой поденщик, с детских лет прошедший всю нужду рабочего человека. Вот какой у него вид: «Большая голова с широким лбом; глаза, добродушно смотрящие из-под нависших бровей; несколько горбатый нос; густые с проседью волоса и борода; атлетическая грудь, при слегка согнутой спине и больших грубых руках — словом, типическая фигура человека, для которого физический труд составляет привычное занятие. Это и есть Джозеф Арч, *первый представитель земледельческого сословия,* которое *только теперь,* [1] со времени завоевания Англии норманнами, *начинает понемногу подниматься в смысле общественном и экономическом».* «Этот депутат, вынужденный и в депутатском звании кормиться трудами своих рук, всего лет десять тому назад жил исключительно земледельческим трудом, странствуя как работник по всей Англии в течение двадцати лет». Во время этих странствований он брал с собою только мешок с необходимым платьем и двумя-тремя книгами, спал где придется, питался черным хлебом. За это время Арч по собственному опыту узнал всю тяжесть положения рабочего человека, и вот, благо-

[1] Цитирую из «Недели», № 8, февраль 1886 г.

даря новому гладстоновскому избирательному закону придя в парламент, стал проповедовать здесь «трудовую жизнь» как выход из всех зол ужасной организации; он стал проповедовать крестьянский строй жизни, а не махорку, как это иной раз, конечно, по недоразумению, проповедуем мы, — не серые щи, не спасенье под лавкой, не подвижничество в нищете и каторжном труде, а именно трудовую *жизнь;* он потребовал не много и не мало — *три акра земли и корову на каждого человека,* живущего в Англии... И несмотря на это нешуточное требование, широта идеи, лежащая в этом требовании Арча, и ее значение в *освобождении* всего общества от «ужасной организации жизни» так велика, что над ней не могут крепко не задумываться высокопоставленные сотоварищи крестьянского депутата. «Достоинство и скромность этого поденщика, который еще недавно по 12—15 часов рылся в болоте, чтобы заработать несколько шиллингов, сделали его любимцем парламентских сочленов, и герцоги и лорды охотно слушают его речи и даже включают в свои программы его девиз — *три акра и корова».*

Многозначительность для всех слоев английского общества этой, повидимому, очень умеренной программы крестьянского депутата очень скоро обнаружилась в весьма рельефных фактах живой действительности. В уличных беспорядках по случаю безработицы, в народных кварталах Лондона требование трех акров и коровы провозглашалось народными голодающими массами во всеуслышание. Вожаки, призванные в суд, ссылались в свое оправдание на Чемберлена, который, будучи министром, сам стоял за требование Арча и указывал на эти три акра именно как на «исход» из пут «ужасной организации». Чемберлен, призванный также на суд в качестве свидетеля, имел мужество публично подтвердить слова вожаков уличной толпы, и таким образом у людей, вполне разъединенных общественным положением, мысль об исцелении от зла оказалась одна и та же и, стало быть, одинаковое качество нравственного страдания.

Вот каким, имевшимся под руками в ту пору, материалом мог я подтвердить читателю многозначительность впечатления, полученного мною при непродолжительном столкновении с крестьянскими семьями, по счастью наделенными всеми средствами для того, чтобы *жить* именно

такою жизнью, которую современный культурный человек *как бы хочет купить на деньги.*

В то время не было у меня под руками другого «печатного» материала, который бы рисовал тяготу современного культурного строя жизни и указывал бы выход из нее в очертаниях той жизни, которая так пленительна в крестьянстве. Теперь, когда я занимаюсь пересмотром и переработкой старых корреспонденций, оказывается уже возможным подкрепить ранее сказанное кое-чем новым, что также можно найти под рукой.

Прежде всего я позволю себе сделать небольшое извлечение из фельетона «Русских ведомостей», в котором пересказывается содержание книги Летурно «Evolution de la morale».

Определив, согласно сущности современного строя жизни, мораль этого строя названием индустриальной, меркантильной, а «по-нашему», «попросту», купонной, Летурно говорит: «Мы еще далеко не отделались от нравственной низменности, дикости, грубости и варварства наших предков. *Правда, в современных европейски-организованных обществах нет уже ни рабства, ни крепостного состояния, в том специальном смысле, какой имели эти слова в прошлом, но, несмотря на это, имеем ли мы основание оглашать воздух гимном освобождения?* Разве беззаконие, бесправие и *угнетение личности* действительно стали достоянием прошлого? Вовсе нет! Они только приняли иную форму, стали замаскированными. Законность, справедливость, равенство существуют только на словах, в отвлеченных гуманитарных формулах, на практике же их не оказывается *ни в сердцах,* ни в действиях... Правосудие наше еще насквозь пропитано духом возмездия и мщения, живо напоминающим нам поросшую мохом древность. В нашем языке еще продолжают пользоваться полным правом гражданства такие, например, архаические выражения: «правосудие удовлетворено», «воздаяние преступнику по заслугам» и т. д. Очевидно, правосудие еще играет у нас роль разгневанного существа, имеющего в виду не только защиту общества, но также и социальное отмщение. Моногамия господствует повсюду, что, однакоже, нимало не мешает нам смотреть на проституцию как на самое обыкновенное, самое естественное явление. Детоубийство сурово

наказывается законом, но тем не менее втайне, под покровом лицемерия (а мы прибавим — и необходимости, *неизбежной* в этом строе общества), оно практикуется на очень широкую ногу. Убийство считается тяжким преступлением, а между тем теперешние цивилизованные народы то и дело предаются «бранной потехе», устраивают грандиознейшие массовые бойни, заливают землю широкими потоками дорогой человеческой крови. Вопиющие социальные неравенства всякого рода на каждом шагу бьют в глаза в наших обществах. *Благодаря господству индустриализма и меркантилизма получается та возмутительная социальная нелепость, что не продукт существует для человека, а человек для продукта»*...

Я позволю себе на одну минуту прервать эту цитату и напомнить читателям разговор мой с раскольником, случайно встреченным мной во время поездки по Волге в прошлом (1887) году.[1] Ни я, ни раскольник и в глаза, как говорится, не видали произведения Летурно, а между тем здравый, светлый ум моего простонародного собеседника почти *буквально* теми же словами, как и Летурно, определил строй современной культурной жизни и значение в этом строе капитала.

— Железо-то, — говорил он, — оживает от прикосновения капитала. Железу от него хорошо! До прихода капитала оно лежит мертвое под землей, а пришел он — и ожило и заиграло по свету! А вот человек-то, который жил на свете своим домом и сам себе был слуга и хозяин, с появлением капитала начинает превращаться из хозяина в работника, из существа мыслящего — в существо механически действующее, в рабочие руки...

Надобно знать и ценить внутреннюю красоту трудового строя жизни, чтобы простым светлым умом понять всю «некрасоту» строя жизни купонного, меркантильного. Одно знакомство и близость раскольника к народной, «хозяйской» жизни крестьянина дали ему возможность с точностью указать все те изъяны меркантильных порядков, которые отметил ученый человек на основании долгого изучения своего предмета.

«Салариат, — говорит Летурно, продолжая характеризовать порядки наших дней, — наемничество является

---

[1] «Северный вестник», № 11, 1887 года.

новою язвой, сменившею язвы рабства и иных былых форм *зависимости человека от человека.* Число бедняков, пролетариев с каждым днем все растет и растет. Миллионы неимущего люда прозябают и гибнут в крайней нищете. Современный наемный рабочий свободен только *de jure,* но не *de facto;* он не угнетается непосредственно, как в былое время раб или крепостной, но зато он оказывается вполне беспомощным, предоставленным на произвол судьбы, так как практика современной индустрии уничтожила всякую нравственную, человеческую связь между рабочим и работодателем. Юридически рабочий давно уже перестал быть вещью, как это было в эпоху рабства, и превратился в свободного гражданина; но житейская практика все еще продолжает не признавать в нем человеческой личности: как известно, в индустриальных странах представители труда зовутся обыкновенно не рабочими *людьми,* а просто-напросто рабочими *руками».*

Не знаю, можно ли сомневаться в том, что строй жизни современного культурного общества изображен верно и справедливо, и что мрачные краски, которыми автор его изображает, вовсе не преувеличены. А если это так, то как же не испытывать глубочайшей радости, если знать и воочию видеть, что на наших глазах жизнь человеческая может идти совершенно по другому плану? О том же совсем, совсем другом строе жизни мечтает современная европейская женщина культурного общества. Об этих неясных мечтаниях и в то же время о совершенно ясных, отчетливо слышных воплях женщины современного общества свидетельствует недавно вышедшая книга «К решению женского вопроса».[1] Об этой книге со временем я желал бы поговорить более подробно, чем могу сделать это теперь. Но и теперь я должен сказать о ней несколько слов — для того, чтобы читатель видел, что́ собственно заставляет изнемогать современную женщину и какие формы общественной жизни могли бы дать ей возможность ощущать себя «человеком».

Книга эта, состоящая из переводных статей, написанных почти исключительно женщинами, несмотря на то, что написана без всякой системы и плана и есть только

---

[1] «К решению женского вопроса». СПб., 1888 г.

вопль, жалоба, даже крик измученного человека, тем-то и должна быть дорога всякому задумывающемуся над вопросом, как жить и что делать, что в этом несистематизированном крике и жалобе слышится настоящая, неприкрашенная беда, горе человека, изнемогающего в железных условиях жизни, не дающей возможности жить по-человечески.

Тот же меркантильный, купонный строй жизни, который раздробил мужской пол на тысячи разновидностей, сделал то же самое и с женщиной. В трудовом строе жизни всякая женщина — только женщина, или всякая баба — только баба, в купонном же, напротив, не все женщины одинаковы: в нем могут быть женщины семейные, могут быть вечные девственницы, которым нет возможности быть матерями, могут быть проститутки, то есть вечные не-девственницы и не-матери; могут быть здесь хозяйки и слуги, могут быть совершенно не трудящиеся и изнуренные трудом; могут быть утопающие в роскоши и изнемогающие от нищеты. Словом, женщина в культурном строе не может быть женщиной, *как все,* не замкнутою в какой-нибудь тесный, душный круг роскоши или нужды, семейства, кухни или публичного дома, вечной оргии или вечного труда. И вот такая измученная, одинаково не живущая всею полнотой своих сил и нравственных побуждений, как в высшем обществе, так и в трущобе, в публичном доме, как и в роскошной тюрьме старика миллионера — мужа, вот она-то, женщина, не живущая по-человечески, вопиет именно о желании полноты жизни, которой не дает теперешний строй жизни и которой он *не может* дать.

Книга, о которой мы говорим, доказывает, что невинность и чистота, огражденные «вынужденным позором» от всяких неблагоприятных случайностей греха, также вопиют о своем горе и ужасе своего ненормального счастья: «невинность», слишком устраненная от общей жизни, от ее горя и радостей, терпит страшное разочарование, когда поступает во власть мужчины, мужа, уже потерявшего уважение к женщине, раз он мог, для ограждения невинностей, покупать других женщин, раз он уже попробовал безжалостного к ним отношения. Его опрощенный взгляд на женщину, на жену, вовсе не подходит к тем возвышенным требованиям, в которых

воспиталась его жена, огражденная от греха «вынужденным позором». Ее не понимает муж, она не понимает мужа.

И вот такой-то крик идет из всех «вынужденных» положений, в которые, как и мужчина, поставлена современная культурная женщина. Если бы нужно было в коротком и сжатом виде передать сущность женского протеста, раздающегося из разных не похожих друг на друга замкнутых положений, в которые поставлена современная женщина меркантильного общества, то можно бы выразить этот протест в такого рода, повидимому, немногосложном виде: все разновидности женщины — замкнутой в кухню, не знающей работы, знающей работу и неусыпный труд, огражденной от греха и погрязающей в грехе и т. д. и т. д., — вопиют прежде всего *о праве быть только женщинами,* просто женщинами, не невинными или виновными, обеспеченными или голодными, а просто женщинами. Это — первое, самое громкое и вопиющее требование, а второе, уже вполне человеческое, это — требование неразрывной нравственной и трудовой связи в совместной с мужем жизни; третье, еще более важное требование — неразрывность личной нравственной и трудовой жизни в семье с нравственною и трудовою жизнью общества, мира, толпы, улицы, среди которой живешь и которой принадлежишь. Все эти требования мы находим положенными в самое основание всего строя жизни «по народному» типу, то есть в народной среде. В грубом и диком виде вы можете найти «в крестьянстве» *образчики* той жизни, о которой мечтает и вопиет культурный человек, удрученный меркантильным, купонным строем общества.

В видах наибольшего уяснения свойства народного строя жизни мною было написано несколько литературных заметок, касавшихся таких литературных произведений, которые давали возможность обрисовать коренные свойства народного строя жизни возможно яркими чертами. Так и с такою целью я позволил себе сказать несколько слов, между прочим, о драме Л. Н. Толстого «Власть тьмы» и о произведении г-на Тимощенкова «Борьба с земельным хищничеством». Чтобы в этой заметке было исчерпано по возможности все, что помогло мне подтвердить мои соображения о превосходстве «тру-

довой жизни» перед строем жизни меркантильным, я позволю себе привести здесь кое-что из сказанного мною по поводу драмы «Власть тьмы».

«Мне кажется, — писал я тогда,[1] — что драма «Власть тьмы», кроме напоминания культурному человеку о его обязанностях по отношению к некультурному меньшему брату, могла бы заставить задуматься его и *вообще* над строем культурного общества, заставила бы подумать, и подумать крепко и многосторонне *вообще* о таком строе жизни, в котором были бы немыслимы язвы, разъедающие теперешний культурный слой общества и проникающие уже, как это доказывает «Власть тьмы», в массы, в толпу темных людей.

«Да, драма Л. Н. Толстого есть драма культурная, только разыгравшаяся среди мужиков; все составные элементы, из которых она сложилась, — элементы культурного строя жизни, *а не народного,* и мне всегда казалось несколько странным, что культурный читатель[2] этой драмы ужасается, например, жестокости действующих в ней лиц, убивших ребенка.

«Косточки хрустят! — с ужасом говорит читатель или читательница. — Нет, это ужасно! Это невозможно

---

[1] «Русские ведомости», 29 марта 1887 г.

[2] Выражение это требует объяснения. Один русский писатель, мнение которого я вполне разделяю, характеризует разницу между интеллигентным и культурным человеком как разницу между настоящим и поддельным алмазом. И поддельный алмаз может стоить тысячи и ни в чем, повидимому, не уступит настоящему, но только — повидимому. Можно обладать всеми прекрасными свойствами человека интеллигентного и в то же время не иметь искренней потребности в этих свойствах, то есть можно иметь грубое, дикое сердце, поддающееся всякой неправде, и в то же время под влиянием культурных привычек, культурной выучки казаться человеком широкого и искреннего сердца. Интеллигентный человек, напротив, — невольник искренности сердца, человек, в котором не может быть тени стремления смягчить, приладить к обстоятельствам, так сказать, образумить свою искренность, и потому, захваченный тою или другою идеей, он *не может* отказаться от последовательного ее развития до конца, хотя бы конец этот и была смерть, огромное личное горе и т. д. Употребляя выражение «культурное общество», я подразумеваю общество, которое, при внешнем благообразии и благовоспитанности, не вполне еще благообразно и благовоспитанно в своей внутренней сущности и, возмущаясь на словах против зла, в глубине сердца, пожалуй, считает его даже не злом.

ставить на сцене! В публике непременно будут припадки истерики!»

«Чтобы читатель сразу мог видеть огромную разницу строя, то есть сущности и плана, по которому расположены человеческие отношения в строе купонном и в строе «трудовом», я обращаю его внимание на слова Петра, сказанные им в первом явлении первого действия, чуть не на первой же странице драмы.

«Хворый Петр говорит:

« — *Кабы не был я болен, ни в жисть не взял бы работника.*

«Эта фраза сразу рисует совершенно не тот строй жизни, которым привыкли жить мы, люди культурного общества. Кто в этом обществе может сказать, что ему не нужен работник, что он обойдется сам, что, наконец, только крайняя нужда, неожиданная беда заставляют покориться этому *несчастию* пользоваться чужим трудом? В культурном обществе все нуждаются и живут чужим трудом, и все в то же время служат чужому делу — все работники, все нанятые и принужденные жить, нанимая других. Поэтому, чтобы в народной среде могла произойти культурная драма вроде той, которую мы видели во «Власти тьмы», нужно, чтобы и строй народной жизни исказился по культурному образцу; это в драме и оказывается.

«Петр, завзятый «хозяин», человек, весь поглощенный разностороннейшею деятельностью земледельческого труда, вдруг вдовеет, и вдовеет уже в летах немолодых, когда на руках у него уже взрослая дочь. Не будь у него денег, а главное, не будь уже *в окружающей его среде такого расстройства, которое дает возможность деньгам превратиться в силу,* что бы стал делать Петр? Он неизбежно бы ослаб, огромная часть бабьего труда, неразрывно вплетенная в область труда его собственного, со смертью жены замерла и омертвила бы его мужичье трудовое дело. Надо бабу. Но там, где все «сами хозяева», кто пойдет за него, старика, семейного? Всякая девка сама будет хозяйка и мать; а старуху, вдову взять ему не будет нужно — не будет с ней, со старухой, этого тепла в трудовой жизни, которое было в жизни Петра с женой, с которой они, не сознавая этого конечно, жили, однако, вполне «увместях», и притом во всех отношениях.

Без денег и без возможности применить их к делу Петр так бы и зачах, если бы не взял во двор, за свою дочь, мужа. Да и для этого нужно уже расстройство чьего-нибудь «своего», собственного хозяйства, чтобы кто-нибудь захотел идти в люди, в чужой дом, в мужья. Но Петр — завзятый крестьянин; он и перед смертью не может оторваться от неразрывных пут, связующих его с жизнью; едва волоча ноги и чувствуя предсмертный холод, он все-таки бормочет что-то о картошке, о лошади, о поле — все для него важно, существенно, все это вошло к нему в плоть и в кровь, и все это для него — *жизнь*. Такому человеку нельзя брать «в зятья», нельзя поправить расстроенный механизм жизни, принимая в свое дело нового хозяина, — у него у самого много страсти и аппетита к жизни.

«И вот он делает первый культурный грех — женится, *старый, на молодой девке* Анисье: молодая, красивая, работящая Анисья ни во веки веков не пошла бы за старика, не польстилась бы на его хозяйство, если бы только строй народной жизни не был пошатнут и расстроен. Она вышла бы замуж по вкусу (хоть бы за того же Никиту, которого «нужда» сделала работником на железной дороге), вышла бы замуж своевременно за вполне подходящего ей парня и жила бы *своим домом, своим* хозяйством; но, повторяю, народный строй уже расшатан, поврежден, и в нем уже существует свойственный культурному обществу тип красивой, бойкой, молодой девушки, *которой есть нечего,* которую *нужда* уже заставляет выйти за старика, продаться.

«О родне Анисьи ничего не сказано в драме Л. Н. Толстого; не видно в ней ни ее отца, ни матери, и можно думать, что Петр, поняв ее сиротство, решился, ради любви к живой хозяйственной жизни, соблазнить молодую девку, то есть нанять, купить *на деньги* ее молодую бабью силу, бабье тепло, животворными токами связующее и овеселяющее миллионы мелочей хозяйственного обихода жизни.

«Деньги, а главное, уже расстроенная среда помогли ему сделать насильственное дело, заставили Анисью покориться; но Петр наверное знает, что он согрешил (и это чувствуется в драме), что из-за своей любви к жизни провинился пред тою же любовью к жизни — в Анисье;

он и ослаб, и развалился, и расхворался-то потому, что, очевидно, *старался* Анисью привязать к хозяйству не одним только расчетом жить не в бедности. Но он уже пожил на своем веку с своею первою бабой, а Анисья — молодая, и Петр, при всем своем старании, пооослаб, сильно раскис, и до того раскис, что принужден был взять *работника* Никиту.

«С другой стороны, и Анисья, очевидно, жила с Петром только потому, что нужда заставила, — жила с Петром как с нанимателем, то есть точь-в-точь так же, как Анна Каренина и как всякая героиня современного буржуазного романа, и никакие старания Петра, как мужа, привязать ее к чужому делу — ее, в душе которой скрыто лежит врожденное желание самостоятельности, жизни по своему вкусу, с «своим» мужем, — никакие такие старания не приносили ничего, кроме пассивного повиновения со стороны Анисьи; Петр ослаб, а ей — как к стене горох, до тех пор пока не явился Никита, то есть настоящий Анисьин суженый, половина, вполне к ней подходящая.

«И опять-таки, чтобы Никита, этот молодчина и красавец, *мог попасть в работники,* опять-таки нужно было предварительное расстройство народной среды. Такому парнищу, по народному порядку жизни, придя в возраст, надо бы прямо принять закон и жить своим хозяйством, но *нужда,* невозможность уже в настоящее время таким славным ребятам, как Анисья и Никита, жить своим хозяйством, жить «по-божецки», гонит Никиту на железную дорогу за рублем, как и Анисью гонит в жены к старику; таким образом получаются те самые неискренние, недобровольные, склеенные деньгами связи, которые составляют *существенную* особенность купонного строя теперешнего общества.

«Нужно было отравить Петра, убить Акулинина ребенка для того, чтобы Никита и Анисья могли стать в те естественные отношения, в которые они стали бы без всяких злодейств, если бы только условия народной жизни не подверглись ломке и разрушению. Никита, живущий с Анисьей, с Мариной и с Акулиной, доказывает только то, что в народной среде, как и в культурной, ему нельзя было жить *по-крестьянски,* взять вовремя жену и жить хозяйством; что в народной среде

образовались такие неблагоприятные условия, вследствие которых Анисья должна продаться старику, Маринка вместо замужества пойти на железную дорогу в поденщину, а Акулина должна уничтожить Анисью, пришлую в чужой дом хозяйку, чтобы возвратить себе право хозяйствовать в своем доме.

«Не будь расстройства народной среды, дающего деньгам силу, — не продалась бы Анисья, не пошел бы в работники Никита, и Петр, оставшись без купленного труда, выдал бы Акулину замуж честь честью. Но расстройство, давшее силу деньгам, уже произошло в народной среде и превратило всех лиц драмы в людей друг другу *подверженных,* связанных *нуждой,* тогда как в неиспорченном и в нерасшатанном народном строе жизни те же самые люди были бы людьми самостоятельными — каждый и каждая — и связи между ними были бы не во имя нужды, хлеба, а именно во имя взаимной самостоятельности, независимости от нужды.

«Ведь вот хоть бы эта Маринка: загнанная нуждой на железную дорогу, сходится с Никитой не как муж и жена. Ни тому, ни другому *нельзя* сделать этого там, то есть *нельзя быть* мужем и женой. Спрашивается: какая была бы участь Марины, если бы ее не спасла деревня? Она бы наверное пропала, превратилась в проститутку. Но деревня дала ей свое хозяйство и сделала ее человеком. В расстроенной же семье Петра все отношения людей уже «подверженные», не народные. Петр *подвержен* Анисье; он старается привязать ее к своему, чуждому ей делу, бьется и истощается; Анисья подвержена Петру из-за нужды — терпит его как мужа только потому, что ест его хлеб; Никита — работник, подверженный Петру также из-за нужды. Но у всех в душе есть желание независимости, самостоятельности, и чтобы этому желанию можно было осуществиться, нужно совершить ряд преступлений, то есть разрушить насильственные связи.

«Возьмите любой современный роман, рисующий жизнь и нравы современного культурного слоя, и вы везде найдете *точь-в-точь* такую же драму, как та, которая изображена во «Власти тьмы». Золя, Дюма, Бурже, Серао, Мопассан — все эти живописцы современных нравов культурного слоя европейского общества

живописуют нам именно то, что теперь у нас начинает происходить в деревне. Везде — насильственные связи, связи по нужде, везде взаимная кабала, подверженность и в то же время желание выйти из этой путаницы — желание, сопровождающееся обманом, хитростью, скрытою грязью, унизительнейшими страданиями.

«Унижение человеческого достоинства — вот что именно и ужасно, что собственно и потрясает в этой современной культурной драме. Попробуйте, например, рассказать языком мужика Акима (в драме «Власть тьмы»), а главное, посмотреть с его точки зрения на жизнь хотя бы тургеневской Ирины (в «Дыме»), и вы придете в ужас от бесчеловечия людей, среди которых прошла ее жизнь. Вот уж где «косточки-то трещат»!

«Ее, хорошую и молодую девушку, невинную и чистую, родитель князь для поправления своих финансовых обстоятельств решается уступить какому-то лицу, с которым он знакомится на бале в дворянском собрании. Ее нарочно одевают так, чтобы «лицо» заржало и пожелало. Лицо заржало и потом, чтобы подлое дело прикрыть благообразным покрывалом, перепродало или переуступило Ирину генералу Ратмирову. Она *долгие годы* живет с ним, непрестанно чувствуя, что живет только для виду, зная, что тело ее куплено и что силы души направлены на то, чтоб это грязное дело, этот разврат ее и ее мужа имел приличный, благообразный вид. Таким образом вся загрязненная, захватанная грязными лапами, эта несчастная уже боится быть искреннею и только «уворуючи» может в течение всей своей жизни сказать один раз искреннее слово любимому человеку, да и то где-то в чулане на каком-то чемодане. Только «крадучись», как вор, и опять один только раз в жизни, проданною, купленною и перекупленною, может она отдать любимому человеку какой-то *долг.* И все впопыхах, в одну минуту. Прибежала, отдала долг и убежала опять врать всю жизнь, жить по найму!

« — Не по-божьи, значит, это, тае, — сказал бы Аким, прослушав эту кружевную тургеневскую повесть.— Скверность это!.. Душу загрязнили, душу, значит, божецкую запакостили у девки! Это, тае, грех великий, тае, значит, грех перед богом!

«А ведь этот, и именно такой грех беспрерывен, ежедневен, обязателен для нашего недостроенного культурного общества, и вот почему удивительно, что оно же и ужасается «косточек» толстовской драмы».

Те же цели руководили мною и при составлении заметки о произведении г-на Тимощенкова. Эта заметка будет помещена в конце настоящих *писем;* теперь же скажу только одно, что в произведениях г-на Тимощенкова я взял только тот материал, который касался исключительно *трудовой* жизни, и никакие фабричные фантазии г-на Тимощенкова нисколько меня не интересовали. Меня интересовал строй трудовой жизни семьи, и только. А что дом, семья могли и могут жить трудовою жизнью, мы можем указать, между прочим, на воспоминание г-на Селиванова о жизни рязанских помещиков пятьдесят лет тому назад. Помещичья семья, получавшая с двух тысяч крепостных крестьян пятьсот рублей дохода, *не могла их истратить в течение года:* все, что нужно человеку, могло быть получено дома. Даже *барышням,* говорит Селиванов, не приходилось покупать нарядов — все делалось дома. Положим, что все это делалось крепостным, рабским трудом, но эта фабрика могла быть домашнею.

Вот пока все, чего мне пришлось коснуться до сих пор ради выяснения язв культурной жизни и самого поверхностного очертания таких порядков жизни, при которых совесть человека чувствует себя свободною и чистою. Знакомство с строем народной жизни — пока только «образчик», при помощи которого есть возможность проверить и осветить язвы меркантильного, купонного, а не трудового строя жизни. Без этого образчика трудно, невозможно разобраться в многосложности тяготы существования человека, захваченного купонными порядками, не легко понять, отчего мне, этому купонному рабу, «так больно и так трудно» жить на свете. Вот почему, как и до сего времени, все, что литература и жизнь дадут нам подходящего и пригодного в виду нашей цели выяснить, отчего *так больно и так трудно,* все это будет предметом нашего самого пристального внимания.

Теперь же, однако, пора возвратиться к моим путевым впечатлениям и досказать все, что касается моей встречи с переселенцами.

2

Толкаясь в этой, так хорошо, удобно устроившейся толпе трудящихся людей, я решительно не чувствовал ни малейшей потребности омрачать эту весело складывающуюся жизнь теми, на наш взгляд необходимыми и неразрывными с представлением о народной жизни придатками, которые мы привыкли полагать для «мужика» обязательными. Не приходило мне в голову внушить этой толпе что-нибудь о смирении, о подвижничестве, о безропотности и покорности; не приходило в голову оскорбиться этим стремлением «мужика» к удобствам жизни, и не обижало меня то, что вот все они, эти переселенцы, тепло и красиво одеты, что спят они не под лавками, не на грязном полу, а на чистых и теплых белых кошмах и едят не «пустые» щи, а щи самые прекрасные и питательные. Никакой надобности не ощущал я среди них даже в мысли о том, что трудовая жизнь должна быть осложнена лишениями, неудобствами, недохватками, как это часто считают неизбежным проповедники учения о «трудовой жизни». Напротив, именно потому, что встретившиеся мне крестьяне случайно были поставлены в хорошее положение, то есть лишены были возможности страдать от случайных несчастий крестьянской жизни, передо мной и могла выясниться вся подлинная, не затемненная несчастными случайностями прелесть и красота трудовой жизни.

Нет, думалось мне, никто из них не пойдет ни в какую кабалу, никто не будет вынужден пойти и продать себя в публичный дом, точно так же как никто не будет вынужден и покупать продающегося; никто не согласится уродовать ни своей головы, ни своей души, ни своей совести из-за «средств к существованию». Средства к их существованию — они сами, эти мужики, эти статные и красивые женщины, девушки, здоровые, игривые ребята. Они не пойдут за средствами ни в банк, ни на фабрику, а носят их в самих себе, не разделяя своего труда от целей и средств своей жизни.

Жалко и больно стало мне за наших интеллигентных ребят; не узнать им никогда счастья жить свободным человеком, какими живут вот эти крестьянские ребята. «Хлеб» свой они будут зарабатывать и есть не иначе, как

изуродовав на тот или другой манер свою душу, и жить будут, пугаясь жизни и крепко держась за свое калечество, как за якорь спасения.

В тяжкие минуты жизни им будет мелькать мечта о какой-то свободе, о какой-то простой, свободной жизни; по временам душа их будет болеть неправдою своего существования, искать выхода, завидовать простоте и свободе жизни мужика; но мы, родители, сами изувеченные духовно, не сумели еще рассеять страх в наших детях перед *трудовою жизнью* и продолжаем до сих пор рисовать ее себе и детям не иначе, как жизнью холода, голода, рвани, собирания кусочков, невежества и тьмы.

Независимость, таящуюся в трудовой жизни под грудой нами же набросанных на нее зол и бед, мы не сумели выдвинуть на первый план, не создали трудовой школы в смысле выхода к независимости и тем не отстранили от слова «труд» всей каторжной его обстановки. Все это надо сделать, и все уже делается на Руси в виде маленьких и робких попыток.

Об этих попытках будет кое-что сказано ниже в этих же письмах. Теперь же пора возвратиться к пересказу путевых впечатлений.

III. ЛЮДИ ВСЯКОГО ЗВАНИЯ

1

Вся страстная неделя 1886 года прошла для меня в разнообразных мечтаниях и воспоминаниях. И хотя веселые впечатления девственных мест были мне вполне по сердцу и материала для таких впечатлений было вполне достаточно, но все-таки я не без удовольствия ждал конца недели и прихода парохода. Одиноко и довольно томительно прошла ночь под Светлый день, да и самый первый день праздника с своим жалким гуляньем был едва ли не томительнее будничного дня.

В городе в этот день было уже совсем пусто, даже две-три лавчонки, около которых в будничный день все-таки толкался народ, были теперь заперты. По улице

изредка проходили жиденькие группы местных жителей и жительниц, праздновавших большой праздник, кажется, только непомерным истреблением подсолнухов,— вот и все праздничные впечатления. Откуда-то с поля ветер приносил в город хриплые звуки шарманки, наигрывавшей скучный мотив песни о «подруженьках», которым скучно, из «Аскольдовой могилы», и под эти скучные звуки там, в поле, истребляя все те же подсолнухи, на скрипучих круговых качелях, должно быть не в особенно веселом расположении духа, качались немногочисленные жители и жительницы Новороссийска. Наконец часу в двенадцатом ночи с воскресенья на понедельник послышался сильный свисток парохода, и все, что было целую неделю заперто в Новороссийске, целую неделю, как в тюрьме, ожидая выезда, бросилось на пристань. Очень много было простого народа, отправлявшегося в Новый Афон (монастырь близ Сухума), пользующийся в народе большим уважением. Было не меньше, чем «серого мужика», того подозрительного народа, ищущего, «кого поглотити», о котором уже было и еще будет говорено. Простой, без определенных целей путешественник был, кажется, только один я. Приняв всех нас на борт, пароход постоял еще некоторое время и, не взирая на темную ночь, ушел-таки, наконец, в море.

И с тех пор в течение месяца я и путешествую более или менее с незначительными остановками; от Екатеринодара я проехал к морю три раза: во-первых — кубанским степным почтовым трактом, во-вторых — другою дорогой, идущею в предгориях, третий — на пароходе по Кубани до Темрюка, а по черноморскому берегу доезжая до Лазаревского поста, ниже Туапсе, я прошлялся в скверных пароходишках между Темрюком и Керчью. Все, что мне пришлось видеть в эту поездку, все это я видал только «мельком», причем положительно на каждом шагу встречалось так много самых разнообразных, затрагивающих за живое впечатлений, что постоянно являлось желание остаться, пожить на одном месте месяц, два, чтобы разглядеть интересное явление поосновательнее. Но времени было мало, приходилось ехать дальше, мельком только взглянув на интересное явление и мельком о нем подумав. И все-таки, несмотря на то, что поездка моя была поспешна и непродолжительна, разнообразие

впечатлений, мест и всякого звания людей было настолько обильно, что я при условиях, в которых находился, не мог и пожелать ничего большего. Нигде, думается мне, не скопилось так много, как на Кавказе, явлений русской жизни данной минуты, рисующих наши русские порядки, отношения и настроения, и нигде нет такого разнообразия местных географических условий, способствующих, чтобы разные порядки, вовсе одни на другие непохожие, уживались почти рядом друг с другом. То, что в России надобно изучать по отдельным областям Великороссии, Малороссии, Волыни или казанской татарщины, — все это можно видеть здесь как бы в образчиках, сгруппированных на незначительных пространствах места, точно в музее.

Ровная, как стол, кубанская степь, вся — хоть неряшливо распаханная под разные роды хлебов, вся уставленная огромнейшими станицами, издалека приметными своими бесчисленными ветряными мельницами и их широкими махающими по ветру крыльями, — эта земледельческая гладь, приближаясь к низменностям, на большое пространство окружающим город Темрюк, почти сразу превращается в настоящую южноамериканскую табачную плантацию. Непривычное для российского земледельческого человека слово «плантация» начинает слышаться поминутно; в чистом поле или в дороге начинает встречаться фигура точь-в-точь такого же самого американского плантатора, какую мы видим на иностранных объявлениях о разных новоизобретенных машинах всякого рода: какой-то удивительный инструмент (так обыкновенно рисуют на этих иллюстрированных объявлениях), вяжущий и бросающий готовые связанные снопы на телегу, подвигается по золотистой ниве, а рядом с этим инструментом, на паре сильных лошадей, в изящной бричке, в широкополой соломенной шляпе и с сигарою в зубах, мчится куда-то благообразный «плантатор». Так вот точь-в-точь такие благообразные плантаторы с лицами, сияющими удовольствием и благополучием, начинают попадаться и здесь, а неразлучно с благообразным и благополучным плантатором начинают попадаться буквально целые обозы «рабочих рук», к сожалению также вполне соответствующих американскому своему сотоварищу — негру. Здешние «рабочие руки» планта-

ции — всё женщины, всё молодые жены, молодые девушки. Десятки голых женских ног болтаются по краям немецкого фургона-телеги, на которых, спина о спину, насажено молодой женской силы столько, сколько влезет в телегу. В Екатеринодаре существует для найма работниц на эти плантации настоящий женский рынок. По воскресным дням на местном базаре с раннего утра стоит уже тысячная толпа этих рабынь, предлагающих на продажу свои руки и вынужденных даром отдавать все, чего пожелают многочисленные администраторы табачного производства. Бедные деревенские дети, чисто по детской наивности, полагают, что нужно как можно лучше принарядиться, чтобы нашлись охотники купить этот товар; все они разоделись как «маков цвет», в лучших платьицах, в лучших платочках, точно собрались *песни играть*. Сколько детской наивности в этой толпе женской молодежи, не знакомой еще с ощущением *тоски в труде*, не подозревающей, что эти «планташи» (местное название плантации) умертвят в них это трудовое «веселье», которое они, дети деревни, трудовой жизни, привыкли не отделять от работы! Планташи познакомят их с тяготою труда, на деньги «купленного» чужими людьми.

Не успели вы побывать в американских плантациях, как уже что-то совершенно не похожее на них идет навстречу. Кубань, приближаясь к морю, течет по местам все более и более низменным. Река эта вообще не особенно живописна и привлекательна: не из ключей и ключевых ручейков, сливающихся по живописным ложбинкам в широко, прихотливо пробирающуюся по «удобным» местам реку, — как вообще русские реки, — исходит Кубань, и не ключевою водой наполнены ее некрасивые берега. Вся она — из талой снеговой воды; холодная, светлая, гремящая по скалам только в истоке, спадая с высоты ледяных вершин Кавказского хребта, она превращается в низменной равнине просто в сильный поток, пробивающий дорогу под влиянием напора силы где попало, то есть по тому направлению, по какому напирает сила бегущей из ледников талой воды, и тотчас же грязнит свои кристальные воды в черноземе, который ей приходится рыть, чтобы на ровном месте проложить себе дорогу. Берега Кубани некрасивы, точно топором обрублены, и грязны. И среди этих грязных, некрасивых берегов

Кубань несет к морю свои грязные воды. Чем ближе подходит она к Темрюку и к морю, тем низменнее становятся ее берега; еще час назад берег возвышался над поверхностью течения на аршин, а теперь едва виднеется только на четверть аршина, а дальше — и берег и вода уже на одном уровне.

Под Темрюком Кубань расходится в разные стороны многими рукавами, теряясь в огромной и поистине удручающей низине; на огромное пространство кругом виден только седой прошлогодний камыш, торчащий из какой-то словно вдавленной земли. Эта-то вдавленность земли и производит душное, удручающее впечатление. Чувствуешь себя как бы на какой-то глубине, несоразмерно далеко упавшей книзу, от высоты этого неба, этого солнца, от огромности всего этого воздушного пространства, которое, кажется, хочет навалиться на вас и окончательно притиснуть к притиснутой земле.

Нельзя не подивиться тем человеческим существам, которые и здесь, в этих мертвенных местах, почти у самого края берега, высота которого вершок, находят возможным ютиться в каких-то хибарках из камыша и надеются «жить землей» здесь, где Кубань иногда разливается до таких размеров, что сносит целые поселения, стоящие на берегах ее сравнительно довольно высоко. Кто они, эти человеческие существа? Какая адская нужда загнала их сюда и заставляет в поте лица трудиться там, где Кубань каждую минуту грозит уничтожением в мгновение ока плодов многолетних и неустанных усилий труда? Несмотря на явную очевидность невозможности жить здесь, перед вашими глазами и пашня видна, и пахарь, и баба, и мальчонка без штанов и без шапки, и камышовое лукошко вместо избы, и, наконец, тот самый Шарик, у которого еще тогда, когда таинственные его хозяева жили где-нибудь в Тульской губернии, кошка выцарапала глаз и телегой переехало лапу. Все это волею судеб занесено сюда, в эти бесплодные, втиснутые в землю долины, копошится в этих неприветливых низинах, трудится в поте лица, охраняемое от всех напастей единственно только тем же старым другом Шариком, который и теперь с таким же лаем, как бывало на родине, бросается уже не на «прохожего», а на чудовище-пароход, который, проходя мимо камышового шалаша,

так взбалтывает грязные воды Кубани, что они грозят снести с лица земли все, только что устроенное человеком на берегу. Как же не лаять из всех сил на это чудовище? И Шарик делает, что может, — заливается лаем из всех сил.

Люди, хорошо знающие эти места, говорят, что десять лет назад берега Кубани были пустыня. Теперь, проезжая на пароходе в воскресный день, мы на каждом шагу встречали по берегам народ, глазевший на пароход, постоянно видны хутора, большие и малые, одинокие домики, жалкие поселки в два-три двора, а затем, как я уже сказал, начали встречаться камышовые хибарки и плетушки в таких местах, где даже мысль о возможности вообще «жить», да еще и земледельческим трудом, не могла бы прийти в голову, если бы во всем этом не сказывалась крайняя нужда безземельного человека.

Под самым Темрюком эти шалаши из камыша и камышовые хибарки начинают попадаться все чаще и чаще, но обитатели их уже не безземельные скитальцы, а темрюкские мещане-рыболовы. Проезжая на маленьком пароходе к взморью, где останавливаются большие морские пароходы, идущие в Керчь и далее до Ростова, вы делаете много поворотов по рукавам изливающейся в море Кубани и во многих местах встречаете эти плетушки из камыша, двух-трех человек, оперирующих что-то над только что пойманною рыбой, и бесчисленное множество лодок, разбросанных повсюду, по всей поверхности широко разлившихся вод. И все это большею частью какие-то одинокие рыболовы: вот чистый бородатый русак копошится с своею сетью, опущенною в воду, охраняя ее от набега парохода, а вот в другой лодке какой-то турок или грек в феске, а там совершенно явственный «николаевский» служака, у которого когда-то бритое лицо заросло седою топырящеюся щетиной. Эти на лодках. А по берегам тоже с какими-то хитрыми ручными сетями плетутся и мужчины, и женщины, и даже дети, и все один по одному, «сами по себе». И глядя на эти одинокие, разносословные, разнохарактерные фигуры, еще раз убеждаешься в обилии «оригиналов» и «характерных людей», которых русская земля высылает сюда вместе с «толпами» переселенцев, исключительно ищущих земли. И точно, много здесь типичных русских людей, которые

хотят жить «на свой образец», которые могут сказать про себя: «Я сам себе голова!» Но об этом ниже будет сказано подробнее.

Теперь пойдем к тому же Черному морю другой дорогой и, выйдя из Екатеринодара по направлению к Новороссийску, сделаем небольшой, верст в сорок, крюк южнее обыкновенной фургонной дороги, идущей по берегу Кубани, — и мы опять в совершенно новой, удивительно прекрасной местности. Правда, и здесь уже чувствуется та «низина», которая далее переходит в темрюкские болота, но здесь эта низина постоянно перемежается с отрогами Кавказского хребта и вместе с ним покрыта роскошною растительностию. Могучие дубовые леса идут на пространстве многих десятков верст, и, проезжая ими, я тысячу раз вспоминал И. И. Шишкина: «Вот, — думалось мне,—где было бы раздолье его перу и кисти!»

Особенность этих вековых дубовых лесов та, что они, закрывая вас от солнца и от неба своими густыми развесистыми зелеными вершинами, дают много простора по сторонам; чувствуешь над собой зеленый купол, а по сторонам просторные широкие залы с бесчисленными, но широко, просторно расставленными и величественными колоннами. Вековые дубы, могучие, дышащие обилием и расцветом сил, стоят редко друг от друга, и стоит только взглянуть на этих гигантов, чтобы понять, почему вокруг них так просторно, почему нет порослей молодняку и всякого неприглядного бурьяна, которого так много в здешних степях: гиганту нужно «самому» так много, что он уж не дает никому поживиться тем, что ему надобно; солнечные лучи не добегут до земли — гигант съест их сам, своею зеленою вершиной; да и влагой земли тоже не придется поживиться никакому тощему переселенцу-зерну: «сам» пьет за двадцатерых — скоро ли нальешь «эту прорву»? Ведь в этой прорве шесть обхватов, сотни гигантских сучьев, ветвей толщиною в хорошее строевое бревно, веток толщиною в руку и сучков не тоньше самой толстой проволоки. А миллионы листьев? А миллионы желудей? И все это хозяйство надо прокормить, напоить, одеть,— и все это делает один, этот шестиобхватный насос, и вот почему эти гиганты стоят так просторно друг от друга, мешаясь в вышине только вершинами, но далеко отстоя корнями и стволами; вот

почему так чисто в этих просторных залах, застланных понизу зеленым ковром мелкой травки...

И вот в таких-то чудных лесах разбросаны хутора, станицы, деревни, разноплеменные, своеобразные, живущие каждая на свой образец.

Продолжая идти этою дорогой далее, мы придем уже в пустынные, но красивые и живописные горы, о которых я писал в первом письме, через горы очень скоро доберемся до Новороссийска, о котором также было говорено, а после него перед нами Черноморское побережье, многосложная история пустынности и необитаемости которого также уже рассказана мною выше.

Итак, вот как много разнообразия в том крошечном уголке, который только мельком довелось оглядеть мне не более как в течение одного месяца... А какое разнообразие людей и какое удивительное обилие оригиналов всякого рода!..

2

Обилие людей всякого звания и в особенности «оригиналов» также всякого образца стало поражать меня с той самой минуты, когда я, оставив станцию Тихорецкую и доехав по железной дороге до другой станции, откуда шла старая почтовая дорога на Екатеринодар, очутился, наконец, в фургоне, в обществе целых трех попутчиков, которые весьма скоро все до одного оказались каждый на свой образец.

— Что новенького в газетах? — едва фургон тронулся по пыльной дороге станичного базара, спросил меня человек цыганского типа, оказавшийся моим соседом. Спросил он меня о газетах потому, что, садясь в фургон, я сунул газету за подушку.

Я недоумевал, что может быть интересно знать из газет этому цыгану в казакине, в мерлушечьей шапке, «при цепочке» и при золотых кольцах, дающих право думать о незнакомце как о теноре или баритоне цыганского хора. Не помню, что я ответил на его вопрос.

— Хотелось бы мне узнать насчет маршала Серрано, — как бы призадумавшись о чем-то, проговорил он...

Фамилия известного испанского генерала, маршала, политического деятеля, в устах этого цыгана изумила меня.

— Да что же вам надо о нем знать?

— Да так собственно. Поди, уж старичок стал? Они ведь с Примом как орудовали, пора и на покой!

Я вспомнил, что, кажется, в газетах было напечатано о смерти этого деятеля, и сказал:

— Умер он!

— Умер? Ну царство небесное! Помутил на своем веку довольно, а ничего старичок!..

— Да как же вы его знаете?

— Наш барин на его дочери женат... Изабелла, кажется, Андреевна... Уж забыл я... Очень хорошая дама!.. Ну да лучше уж и не вспоминать! Прошли эти времена!

Он с грустью махнул своею коричневою с перстнями рукой и, некоторое время задумавшись о чем-то, молча смотрел в окно фургона.

— Не дал мне бог послужить им, хорошим господам! Потому что я был дурак! Вот отчего! Бескорыстие во мне, в дураке, было, честность!.. От честности своей бескорыстной нахожусь я теперь, вот как видите... ни в тех, ни в сех... Догадало меня, по глупости моей, не молодому барину с барыней предать себя на услужение, а напротив — дяде ихнему, чорту сущему, я верой и правдой служил... Вот в чем! Господь меня помутил! И не баринову руку держал, а его сестры, племянницы, стало быть, моего-то чорта... А кто она, племянница-то? Мотовка! А я все ее перед чортом-то огораживал, потому надеялся, что поддержит она меня перед дядей и тот в завещании не забудет меня... Пятнадцать лет я так-то прозудил! И чего только не натерпелся!

И понемногу он рассказал весьма любопытную историю жизни своей у одного крупнейшего малороссийского помещика, знаменитого скряги, превосходящего Плюшкина, и необычайного кляузника в малейших житейских отношениях, превосходящего самого Иудушку. Описав тысячи уловок, без которых решительно нельзя было ступить шагу, живя около этого человека, и прожив даром потраченные пятнадцать лет, он сказал с грустью:

— С тех пор вот и маюсь — то сюда, то туда! От одного дела к другому, а толку все нет!

Рассказал он про «хлебное дело», к которому он пристал после того, как молодой барин отказал ему от места, но в скором времени прогорел.

— Были у меня кое-какие крохи, тысяч пять — все ухнули! Поверите ли? Даже поседел с тех пор!

Затем рассказал про винное дело, про разные операции с кизляркой, про всякие подделки станичных вин — и опять вышло плохо, так плохо, что, горюя о неудаче, цыганообразный человек по забывчивости окончил рассказ об этом эпизоде уже сказанными ранее словами:

— Поверите ли? Поседел даже с тех пор!

Много дел, по его рассказам, предпринимал, и все выходило так, что оставалось только поседеть... Наконец он умолк на некоторое время, глубоко о чем-то вздыхал и вдруг с оживлением и как бы решительностью спросил меня:

— Не посоветуете ли вы мне, как тут быть?

Пучок бумаг быстро был вытащен из бокового кармана казакина.

— Замучила меня эта погань... следствие! Окружной суд оправдал, а прокурор подал на апелляцию — опять дело начинается вновь!

Бумаг была такая пропасть, что я не решился и трогать их, а спросил:

— В чем же ваше дело?

— Да так... чепуха! — пряча бумаги в карман и слегка сконфузившись, сказал он: — Так... просто ерунда... Подняли газеты...

— Однако?

— Н-ну...

Он помолчал, возясь рукою с бумагами в кармане.

— Н-ну... Читали в газетах про *народный одеколон?*

— А!..

— Ну вот!.. Так, ерунда! А какое дело подняли! До того измучили — даже, кажется, поседел от этого...

Но в этот раз, кажется, и сам рассказчик услыхал собственное свое привиранье и, чтобы загладить впечатление этого троекратного «седения» по случаю трех разных плутней, поспешил вновь возвратиться к началу собственных несчастий.

— Нет! Дурак, дурак был я! Чорт-то мой умер скоропостижно, в доме был один я да дьячок... А в шкатулке было сто девяносто восемь тысяч... Чего бы стоило? Дьячок-то рвался от злобы: «Боже мой! Давай! Карьера! Чорт! Бери!..» Нет! Была глупость — не взял ни копейки! Каждый божий день себя за это проклинаю. Мыкайся вот!

— А теперь куда вы едете?

— В Екатеринодар.

— Что же, дело есть какое-нибудь?

— Дело-то есть.., только дал бы бог... да вот!

Он порылся в своих бумагах и дал мне какой-то печатный листок. К величайшему сожалению, листок этот затерялся во время моих разъездов, но содержание его было следующее:

Вверху листка было напечатано: *«Амстердам. Банкирский дом* (такой-то)». А далее следовало на русском языке подробное изложение порядка подписки на пятипроцентные выигрышные билеты. Желающий участвовать в известной части выигрыша, имеющего выпасть на десять билетов, постепенно выплачивает семьдесят пять рублей, а когда на какой-нибудь из десяти билетов выпадет выигрыш, то подписчик получает из него соответственную своему взносу часть. Деньги (до 75 р.) вносятся постепенно, по пяти рублей в месяц, не менее; нумера билетов будут известны подписчику тогда, когда он уплатит половину подписной суммы. Вопросы, пересылка денег и прочее — все это делается чрез агента, каковым и состоит цыганского типа человек, поседевший в плутовстве до трех раз.

— И берут? — спросил я.

— Да как же не брать-то? Это дело законное. В Амстердаме ведь наш посланник существует. Уж он не дозволит плутовать! Амстердамская держава все одно как Россия — та же империя — обману не допустит.

Получая понемногу взносы, он пользуется ими для своих оборотов, пока не набежит до половины, и затем так же пользуется взносами за вторую. Со всей же суммы 75 рублей он получает известный процент. При нынешнем колеблющемся умонастроении как общества, так и народных масс является множество охотников

«сыграть в темную», рискнуть «на счастье», и человек цыганского типа не хулит своего предприятия.

Есть у него еще и другие планы, гораздо более капитальные, чем амстердамские операции с выигрышными билетами. В Ростове живет агент другой иностранной банкирской фирмы и раздает деньги *крестьянам* под общественные приговоры за 18 процентов в год. Вот и к этому делу желал бы примазаться человек цыганского типа. Крестьян-переселенцев, нуждающихся в кредите уже после покупки земли, теперь масса на Кавказе и на юге вообще, да и оседлым казакам также кредит необходим для разных оборотов.

— Что же, — спросил я, — выдавали уже ссуды кому-нибудь *из крестьян*?

— Пока еще нет. Пока наберется известное количество приговоров (не помню, сколько именно), тогда и будут выдавать. Теперь же пока взимают с крестьян по десяти рублей за представление приговора.

Сколько можно судить, и эти десять рублей, в ожидании начала операции, не лежат даром в карманах иностранных агентов, а идут также в оборот, на покупку хлеба, вина, скота и т. д.

Все это, рассказанное цыганского типа человеком, — положительно капля в море всевозможных стремлений со стороны рубля, идущего за наживой в расшатанные народные массы, стремлений, о которых слышишь постоянные разговоры и на которых сосредоточены мечтания массы темных личностей, повсюду кишащих *на новых местах*.

Человек цыганского типа был таким образом первым образчиком людей такого сорта и первым неординарного свойства человеком, которого мне пришлось встретить, едва я сел в фургон. Но и второй «тип» был не за горами.

Лицом ко мне и спиной к фургонщику сидел молоденький мальчик, лет восемнадцати, армянского типа и, повидимому, очень хорошо воспитанный или выдрессированный. Во время нашего разговора с автором *народного одеколона* он иногда делал какой-нибудь вопрос, всегда самого практического свойства и всегда на самом лучшем литературном языке. Эта благовоспитанность, уменье себя хорошо и прилично держать и прекрасный язык заставили меня спросить его:

— Вы учились?

— Как же. Я вышел из четвертого класса классической гимназии.

— Зачем же вы бросили гимназию?

— Да как вам сказать? У моего дяди есть ресторан и летний сад (он назвал один из больших кавказских городов). Ну как-то летом во время каникул он и пригласил меня вести счеты за буфетом. Я сам из *** (он назвал другой кавказский город), там и моя мать. Думаю, отчего мне не поехать в Т.? Туда учителя из нашей гимназии не приезжают, за буфетом меня не увидят, и, стало быть, мне стыдно не будет. Кончатся каникулы — и я опять буду в классе... И пятьдесят рублей, которые дядя обещал, тоже деньги... Но дядя меня обидел — около первого августа рассчитал и дал только тридцать; это меня рассердило. А я уже привык к буфету, и мне понравилось. На минеральных водах сезон еще не кончился... Подумал я — куда: в гимназию или Кисловодск? да и сбежал в Кисловодск... Здесь заработал в один месяц до восьмидесяти рублей. Потянуло в Ялту... Тут случился эпизод с одною барыней: втроем (нас гуляло трое: я, немец и грек) мы с нее взяли двести рублей. С этими деньгами я поступил в самую лучшую ялтинскую гостиницу: купил отличнейший фрак, все платье, белье лучшего сорта. Ну, конечно, доходы — говорить нечего! Собралось у меня денег восемьсот рублей; сошелся я с поваром, сняли в N летний сад. Привез я из Харькова четырнадцать арфисток; посуду, мебель все магазины дают в долг, с уплатой каждый день из кассы. Все бы хорошо. Арфистки подобрались бойкие, на подбор; четырнадцать столов уж это каждый божий день до бела света ужинают. Отлично было пошло, только вдруг начались проливные дожди! И представьте: без перерыва полтора месяца! Пришлось бросить все и просто бежать, бежать куда глаза глядят.. Попробовал было я в Ростове — там надо самому еще платить хозяину гостиницы пятьдесят копеек — много народа. Вот теперь еду в Е. — кажется, там будет поживее. Три шантана уже открыто, и насчет женского пола тоже. приезжих очень много. Может быть, и поправлюсь.

В начале речи этого мальчика, когда он говорил о гимназии и о том, что учителя и товарищи не увидят

его за буфетом, в его голосе слышалось что-то тоскливое и стыдливое; но по мере того как рассказ продолжался и по мере того как «деньги» начинали в нем играть первенствующую роль (благодаря толчку в этом направлении, данному обманом дяди), никакой застенчивости и ни малейших признаков скромности не звучало уже в его речи. О «скандальных» ялтинских эпизодах, об успешной «торговле арфистками», о том, что в городе Е., к счастью, кажется, уже начался разврат, — обо всем этом восемнадцатилетний мальчик, ученик четвертого класса гимназии, говорил совершенно спокойно, как о делах, не подлежащих ни малейшему сомнению и критике. И опять повторяю, несть числа в этих новых местах толпам всякого темного народа, идущего «на рубль», как «на огонек».

Что-то глубоко оскорбляющее чувствуется на сердце всякий раз, когда придется хотя некоторое время побыть в одном из таких «новых», на рубле и для рубля возникающих человеческих общежитий. Повидимому, в этих городах с рублевым корнем в основании общежития жизнь выражается в тех же формах, как и в городах, постепенно выросших из деревень и разросшихся до размеров больших торговых центров; и там и тут — суды, церкви, гостиницы, базары, театр, трактир, газетка, вор, нищий, проститутка. Все то же там и тут, но при первом же внимательном отношении к собственному вашему ощущению чего-то оскорбительного, что возникает при посещении этих «новых» городов, вы ясно видите, что тут все хоть и то же, да не то.

Город, выраставший постепенно из маленького трудового зерна — деревни, жил одинаково всеми достоинствами и недостатками собиравшихся сюда людей; рядом с богачом появлялся и святой; хорошее и худое вырастало *невольно* для собравшихся здесь людей. Если появилась где-нибудь «на тычке» отчаянная девка Марфутка, то появилась потому, что «характерная», «нравная», и крутит на свой страх. Параллельно с бесстыжими поступками Марфутки шли и разговоры о том, как и отчего все это с нею вышло. Происхождение вора Антошки также было у всех на глазах; дело его обсуждалось, разбиралось всем обществом, и всем было ясно, от каких причин и ошибок Антошка погубил свою

жизнь. Надо всем этим можно было, а главное, *нельзя* было не думать всему обществу, начавшему жить и живущему вместе с Антошкой.

И совсем не то происходит, когда города вырастают сразу, во имя только рубля.

Вчера еще здесь было совершенно девственное место; о девственный берег плескалась девственная морская волна, а по берегу шумел девственный лес. Но в то же самое время, когда ни единый живой человек не помышлял поселиться здесь — так здесь дико и страшно одинокому, — где-то в Берлине, Лондоне, Париже, Вене, в банкирских финансовых мозгах уже созревал план эксплуатации этой местности; уже сосчитано количество миллионов франков, миллионов марок, нужных для того, чтобы положить начало *жизни* в этих местах безжизненных. И вот приходят сюда миллионы (в Новороссийск, например, миллион пришел от г-на Фрейсине), и только во имя их начинают стекаться сюда люди. «Там деньги», — думают техники, механики, инженеры и едут сюда. «Там деньги», — слышат рабочие, слышат темные люди, слышит всякая голытьба. «Там деньги», — чуют носом аферисты всех сортов, и все это идет сюда к деньгам, и за деньгами, и во имя денег. Здесь вы видите, что не только *невозможно порицать* Марфутку за ее поведение, но, напротив, *надобно съездить* в Харьков, Ростов, накупить там Марфуток, и привезти их сюда, и «организовать проституцию», как такое дело, без которого нельзя жить в современном обществе. Здесь, ничего не видя, *надобно* уже почти на пустом девственном месте строить острог, потому что воры придут непременно, нельзя без этого. *Надобно* строить кафешантан, потому что также невозможно без этого; надобно открывать гостиницы с номерами, надобно заблаговременно отводить места под трущобы и публичные дома. Словом, здесь, в этих новых городах, люди *сознательно* тащат на чистую, невинную землю всевозможный мусор, сами, своею волей, *должны* заводить грязь и всякую гадость, и таким образом, будучи, во-первых, чужды друг другу совершенно, чужды по национальностям, по личной жизни, по личным планам относительно своего будущего, они сходятся в какое-то якобы общество во имя только рубля, одинаково как капиталист, так и рабочий,

адвокат, техник, проститутка, журналист, вор, даже монах, и, сойдясь на рубле, они начинают жить уже с нечистоплотною душой: все они сами завели все эти язвы, и потому всякая причина этих язв с их стороны — фальшь и ложь. По совести им нельзя критиковать ничего: все знают, что без этих язв, без этой гадости, нанесенной на девственную почву, *нельзя жить,* что так-то именно, с грязью-то, *нарочно* организованною, и неизбежно жить, и вот почему даже журналист, появляющийся с газетой в таких *новых,* бойких, оживленных капиталом местах и сам желающий оживить свой капитал, неминуемо начинает дело, вводя и в него язву сознательной неправды. Он берет для своей газеты самый последний газетный шаблон, точь-в-точь как содержатель кафешантана устраивает его по последнему петербургскому образцу: он бурчит в передовых статьях о французском министерстве, радуется возрождению флота, печатает анекдоты скоромного свойства, делает заметки с восклицательными знаками о самоубийстве, кувыркается в фельетоне, печатает пикантные рассказы, гражданскою скорбью скорбит о неправде — словом, одет по последней моде; но *нет в нем возможности* быть искренним: он искренно шел только за рублем, искренно знал, что без грязи и неправды *невозможно* обойтись, что даже *нужна она,* эта грязь, что ее *нужно* принести в корзинке, выписать по почте и положить на чистое место для того, чтобы жизнь не имела прорех и была *как везде.* Все свои шаблоны пресса такого рода берет готовыми: на пять верст вокруг рубля, который возродил ее, она не видит ничего для себя важного и интересного и, несмотря на внешний лоск и блеск, мертва внутренно, безжизненна, холодна, как труп. Она не оживит, не разовьет ни одного дарования, не окрылит ничьей мысли; она родилась без крыльев или сознательно оборвала их, искренно помирившись с необходимостью грязи и неискренно протестуя против нее.

Почти в каждом человеке, пришедшем на новое место из-за рубля, вы только с огромными усилиями можете добраться до его настоящей человеческой сущности, и всегда она будет чуждая вам. Даже в семейной жизни, в любви не поручитесь вы за то, что рубль не участвовал в ней или не участвует. Задушевные ноты начинают

прорываться только тогда, когда дело коснется интимнейших сторон биографии каждого, будь то журналист, рабочий, капиталист. И тогда вы видите, что искренно мыслит всяк из них не о том, что здесь кругом него, а о чем-то далеком. Берлинские, венские, орловские, петербургские, бердичевские горести, надежды и упования — вот где они настоящие; здесь он чужой, среди чужих, здесь он верит только в рубль, и все красивые слова, которые он говорит вам, все только для того, чтобы не видна была (даже и ему самому) его холодная, быть может только временно, но умершая во имя рубля душа.

Это — «ненастоящая» жизнь, и переносить ее даже после самого короткого соприкосновения с народною жизнью, где личная забота неразрывна с душевным настроением, так же как и со всем обиходом жизни, положительно невозможно.

Однако не в этом дело, и мне уже давно следовало бы возвратиться к моим попутчикам.

Я рассказал только про двоих, но в фургоне было, кроме пишущего это письмо, еще два человека: мужичок, сидевший рядом с извозчиком, и, наконец, сам извозчик.

Мужичок с длинными волосами, висевшими длинными космами из-под теплой шапки и падавшими на широкий воротник широкого армяка, имел в лице что-то не вполне крестьянское: эти волосы и бороденка, впалые щеки и тонкий голос — все это заставляло думать, что если он и не из духовных и не знаком с клиросом, то во всяком случае он и не мужик.

Покуда мой цыганского типа сосед и литературным языком излагающий всякие гадости мальчик рассказывали мне свои биографии и планы, мужичок вел непрестанные разговоры с извозчиком.

— Во какие! Груши, например! Яблоки! Господи боже мой! Рубль серебром — сто мер! Под Майкопом — даром бери, сколько хошь! Перед богом, я сам ездил. Орехо́в — бери, сделай одолжение, хоть сто возов — никто слова не скажет!

Такие слова и полуфразы, произносимые каким-то напряженно визгливым тенором, поминутно доносились до меня в промежутках рассказов об испанских маршалах,

одеколоне, Амстердаме, арфистках и т. д. И когда эти рассказы были окончены, дошла очередь и до мужичка. Можно было вполне слышать все, что он толковал, можно было и расспросить, куда и зачем он ехал.

Он был действительно не мужик, но *сделался мужиком,* хотя очень недавно. Отец его был портной и тому же портняжному мастерству обучил и сына. Уроженцы и жители они были Курской губернии. По смерти отца сын продолжал отцовское ремесло, но его увлекло переселенческое движение его односельчан, и он, под впечатлением рассказов о привольных местах, пристал к переселенческой партии без всяких средств и без всяких надежд — и ушел на новые места. Это был нервный, впечатлительный человек. Выбравшись из своей душной портновской каморки на вольный свет, он был до высшей степени возбужден новизною и разнообразием впечатлений; эта возбужденность не пропала в нем и сейчас: о чудесах кавказских гор и лесов он рассказывает с увлечением сказочника, верит всяким легендам о богатствах, скрывающихся там, в глубине этих гор и лесов. Широта, простор и воля, а главное, свобода мечтания пришлись ему, очевидно, по вкусу: он пристрастился к земледельческому труду, полюбил его, вошел во вкус мельчайших подробностей этого труда и трудовой жизни; наблюдений у него масса — относительно земли, травы, пахоты, дождей, засух, скотины. Земледельческая жизнь заполонила его всего; из работников он выбился в хозяева, женился и вот теперь едет в Екатеринодар, ходоком от всего общества, хлопотать за мужицкие права, попираемые казаком. Впоследствии я подробно расскажу о том, что творится здесь между так называемыми «иногородними», то есть пришлыми крестьянами, и местными жителями, казаками; теперь же скажу, что общество крестьян, притесняемых казаками, сделало удачный выбор: этот неофит в земледельческом труде, крайне впечатлительный от природы и весь проникнутый любовно воспринятыми впечатлениями привольной, разнообразной, поэтической трудовой жизни, — этот ходатай постоит за те пятьсот семейств, которые его послали хлопотать об их деле; этот не уступит, «вопьется» и уже добьется своего, доймет одним своим тенором, дребезжащим, как колокольчик.

Этот оригинал «сделался мужиком» и рад этому *весь,* рад до мозга костей, а вот извозчик, который везет этот фургон, наполненный, как видите, оригиналами, — так тот *не хочет быть мужиком.*

— Что, — спрашивает он меня, когда к этому представилась возможность, — не слыхали, как железная дорога, не пойдет на Анапу?

— Кажется, не пойдет.

Начинаются продолжительные общие разговоры о новой дороге, причем человек цыганского облика принимает большое участие: он знает дело хорошо. Дорога будет проведена непременно в Новороссийск; г-н Фрейсине затратил там уже большие деньги; даже войны в Греции не будет, потому что тогда г-н Фрейсине не проедет с своим керосином, брат министр этого не допустит; и если Греции нельзя получить Олимпа из-за керосина г-на Фрейсине, то Анапа уже и думать ни о каких получениях не должна.

— А тебе чего так в Анапу-то непременно захотелось? — спросил фургонщика цыганского обличья человек, доказав ему всю несостоятельность его надежд.

— Да домишко у меня там есть. Кабы прошла дорога, продал бы, купил бы земли, детей бы пристроил к серьезному делу, а теперь с чем начать? Начать не с чем!

Он помолчал и продолжал:

— Уж сколько я твердил: возьмитесь за дело, будет вам шарлатанить! Надобно иметь постоянное занятие, — нет, куда! Старший у меня сын тоже с фургоном ездил, ну и в карты любит... все думает разжиться легко... Как же! Я седьмой десяток живу — не разжился!.. Теперь вот все Новороссийск у всех на языке... Мой Казимир задумывает вином торговать. Изобрел такое средство, что из подсолнухов будет делать ром, коньяк. «Жареные подсолнухи, говорит, со спиртом большие деньги дадут»... Вот какие затеи!.. Я уж говорил, говорил — ничего нет толку!

— Плохо внушаешь! — нравоучительно сказал цыганского вида человек. — Надобно с детьми поступать строго, без послабления...

— Так-то оно так!

Старик замолчал и молчал довольно долго.

— Оно так! — сказал он наконец. — Это справедливо, что я сам слаб... Да ведь что будешь делать, кровь-то во мне дворянская! Ничего не поделаешь! Как задумаю о крестьянстве — лучше ничего нет; а как вспомню, что во мне дворянская кровь, так руки и опускаются.

— Нет ничего худого пахать!

— Чего худого: первое дело!.. Навеки человек спокоен... Я ведь это понимаю!.. Да ведь дворянин я, кровь во мне дворянская! Как же я в мужики-то оборочусь? Это уж мне должно быть обидно!..

— Ты откуда будешь?

— Я поляк! У меня все документы дворянские, так как же мне за сохой-то ходить? Вот и сыновья тоже не согласны.

— Да, дворянину трудно за соху браться!

— Не трудно, а обидно! Дворянская кровь препятствует...

— Так, стало быть, коньяк из поджаренных подсолнухов будем пить?

Бедный старик горько усмехнулся, вздохнул и не отвечал. И точно, трудно ему: ему более шестидесяти лет, а он все мыкается в фургоне, стараясь набрать как можно больше пассажиров, а сам поэтому помещается всегда на самом неудобном месте, на подножке у козел, подложив под сиденье мешок с овсом и трясясь всем своим старческим телом на каждом толчке. Но и в этом неудобном положении он старается сохранить свое достоинство. Он не побежит к речке налить для пассажира воды в бутылку — это не его дело; остановится, чтобы сойти и напиться воды, — не сразу и не там, где ему велят, а непременно подальше или поближе; лошадей он не колотит «по морде» кнутом, когда они нейдут, и не орет на них, а слезет и подойдет как-то особенно, не спеша, расставив локти, как певец, приближающийся к рампе, чтобы пропеть грозную арию; «на чай» не просит; к столу, где пьют пассажиры, не подсаживается и вещей не вытаскивает из тарантаса на своей спине. Но при всех этих проявлениях каких-то своих особенностей он еле-еле перебивается, беспрерывно ломая свои кости в ежедневной езде. При страшной дороговизне корма трехдневная езда с остановками едва дает ему два рубля

чистого заработка. Проездив беспрерывно всю страстную неделю, он повез к празднику домой в Анапу всего восемь рублей.

Самый завалящий казак и самый обиженный судьбою мужик живут покойнее и лучше его. Но что прикажете делать — «дворянская кровь препятствует!», и старик, родившийся дворянином, не хочет умереть мужиком, хотя завидует ему в глубине души.

Вот первые попутчики первого *полдня* моей поездки. Прибавьте к этим четырем биографиям, ни в чем другом друг на друга не похожим, пятую биографию, то есть биографию пишущего эти строки, намеки на которую были сделаны в первой главе, и вы сразу получите такой букет оригиналов, жизни и цели которых решительно не имеют ничего общего, что маленький фургон должен представиться вам большим романом, не уступающим «Пиквикскому клубу».

Но это только «попутчики» первого полдня. А ведь в нашем распоряжении есть и еще полдня.

IV. МИРОШНИК

1

Выехали мы, все пять типов и оригиналов, с железнодорожной станции часу в первом дня, а в семь часов того же дня остановились кормить лошадей на первом по пути постоялом дворе. Таким образом не более как в течение шести часов я успел познакомиться с четырьмя разнохарактернейшими биографиями (пятую я знал про себя), а с семи часов, то есть с момента въезда нашего фургона в ворота постоялого двора, снова начался новый ряд самых разнообразнейших встреч, знакомств и приключений.

Постоялый двор, куда мы въехали, впоследствии мне пришлось посетить еще несколько раз, и я могу рассказать об этих «остановках» для корма лошадей несколько подробнее, чем рассказывал до сих пор о случайных

дорожных встречах. Двор этот стоял поодаль от станицы, в сторонке, потому что хозяин его, казак, держал мельницу, а мельницы всегда строятся на окраинах станиц. Мельница эта досталась хозяину от отца, по разделу между тремя братьями, после его смерти; оценив все отцовское имущество в 4,500 р., братья разделили его так: один взял хороший большой дом под железною крышей, оцененный в 1,000 рублей, и 500 р. должен был ему же заплатить второй брат, получивший мельницу и маленькую хатку, которые были оценены в 2,000 рублей; третьему досталось разного имущества, скота и т. д. также ровно на 1,500 р. Все три постройки, то есть большой дом под железною крышей, маленький домик среднего брата (содержащего постоялый двор) и только что строящийся *турлучный* (глиняный) дом младшего — все эти дома и постройки стояли целою кучей, гнездом, хотя и были тщательно огорожены друг от друга.

Содержатель постоялого двора, казак, был бездетен, но детей ему иметь очень хотелось, и в то время, когда пришлось проезжать нам, хозяин уходил в Новый Афон (монастырь близ Сухума) молить бога о том, чтобы у него были дети. С теми же целями он и вообще любил богомолья и почасту и подолгу уходил из дома, так что все довольно большое и сложное хозяйство постоялого двора лежало на его жене. Во дворе и в хозяйстве их было много скотины, много птицы; все это нужно было накормить, напоить, выгнать и загнать. Всякий раз, когда мне приходилось останавливаться на этом постоялом дворе, я не мог не дивиться энергии этой казачки, справляющейся с такою массой работ без малейшего утомления.

Это была не совсем молодая, но и не старая, красивая женщина: тонкая, стройная, остроумная и легкая на походке и во всяком труде. Во все три проезда я только один раз видел ее мужа, да и то мельком, — это человек очевидно хворый: то он на богомолье едет детей вымаливать, то к доктору, то к знахарю кровь отворять. Словом, сколько я заметил, все хлопоты лежали исключительно на его жене, энергия которой была возбуждена не столько привязанностью к мужу, сколько иными двигателями: дети у нее уже были и умерли большими, и она уже не питает надежды ни на лекарства, ни на Новый Афон; но ее мучает дрянной домишко, в котором

приходится жить рядом с большим домом мужнина брата, мучит необходимость расплатиться с этим братом за мельницу и, наконец, необъяснимая в крестьянах, если так можно выразиться, жадность к тому, чтоб всего было больше и больше. Во все три проезда через постоялый двор я, попадая сюда в разные часы дня, мог видеть весь обиход жизни рабочего дня и невольно дивился неутомимой энергии этой неустающей худенькой женщины. Ночуя в фургоне на дворе, я видел, как она еще до свету (еще месяц стоит на небе) уже выходила из избы босиком в шубе и проворно бегала туда и сюда; в маленькой хатенке было все выбелено, вычищено ее собственными руками; весь угол с образами был изукрашен всякими искусственными цветами и расшитыми полотенцами; кровать, подушки, одеяло — все носило следы самой тщательной работы иголкой, старавшейся не только сшить, а изукрасить каждый ситцевый вершок. И как в каморке этой был изукрашен каждый вершок, точно так же и каждая минута дня была у нее наполнена беспрерывною домашнею суетой и хлопотами, исчислить которые нет никакой возможности. Ко всей нескончаемой возне со скотиной, птицей прибавьте еще возню с приезжающими, с извозчиками, которым надо отвесить овса и сена, сварить обед, поставить самовар, для которого надобно на своих плечах принести воды, поговорить со всеми так, чтобы все остались довольны, и подивитесь, на какую массу труда способен человек худенький, тощенький на вид, — труда беспрерывного и к тому же не оставляющего никакого изнурительного следа. Хозяйство ее шло как-то так удивительно стройно и рассчитанно, что, кажется, пылинки не пропадало в нем даром, все шло на потребу, до последней скорлупки: коровам, телятам, свиньям, курам, гусям, кошкам, собакам; даже помои от кувшинов с молоком, от чашек и тарелок после харчеванья приезжих — все это поглощалось также какими-то ртами, которые где-то терпеливо ожидали этих именно помой и, получив их в известное время, самым приятным манером жевали, лакали, сладко ворчали где-нибудь под печкой, на дворе, под лавкой, а чаще всего во всех этих местах.

И вся эта суета и беспрерывное движение, ходьба, даже беготня по домику, по двору, по полю, вокруг

и около всего этого, все это переливание помой разного звания и качества из малых горшков в большие, собирание в кучу всякого мусора и объедков — все это ни малейшим образом не делалось зря и необдуманно; напротив, все делалось с самым тщательным расчетом, все делалось своевременно, обдуманно, все, весь дом, все хозяйство напоминало химическую лабораторию и было полно ума и несомненного, хоть и доморощенного знания.

Хозяйка, очевидно, имела совершенно определенную цель в жизни, к которой и шла прямою дорогой, летела, как стрела, ни на минуту не останавливаясь, не сбиваясь «с ноги» и не сомневаясь. И вот эта-то определенность цели и обилие ума, вложенного в ее достижение, давали ей возможность со всем огромным количеством труда, который лежал на ее плечах, справляться почти без всякой чужой помощи, если не считать маленькой десяти годов девочки, получавшей рубль в месяц, да мирошника, которого еще надобно было суметь подчинить себе, подчинить совершенно без всяких приманок, не говоря о деньгах, о которых и помину не могло быть. И тут, в подчинении своему хозяйству совершенно постороннего здорового, сильного человека, в этом деле также виден далеко недюжинный ум и такт хозяйки.

Мирошник работал на мельнице, принадлежавшей хозяевам постоялого двора, из-за третьей мерки или из-за третьей копейки. Это был человек чрезвычайно своеобразный. По виду это невысокий, но коренастый, сильный человек с кривыми и сильными, как у сатира, ногами. Из-под низкого лба смотрели простодушно «по-девичьи» голубые глаза, а голос был мягкий, сдобный, бабий. Эти бабьи черты, при его полуказацкой внешности, в общей сложности производили такое впечатление, что, взглянув на него, послушав его голоса, хотелось улыбнуться. Полуказацкий вид его был такой: голова была обстрижена по-солдатски под гребенку, но зато борода, не бритая после солдатчины, разрослась буквально лопатой. Он был уроженец одной из внутренних губерний, служил во флоте в Черном море, а по окончании службы не пожелал воротиться домой — никого там у него нет, — а пошел в «Черноморье», да вот и оказачился, живя в мирошниках.

И мирошника этого случалось видеть мне каждый раз, когда мне приходилось останавливаться на этом дворе. Каждый день он довольно рано приходил сюда с мельницы ночевать и всегда как-то невольно, по натуре, увлекался той бабьей суматохой, которая вечером с приходом скотины достигает высшей степени. Военной многолетней службы своей он как будто совершенно не помнил; ни о чем военном никогда не говорил ни единого слова, политикой не занимался, но что-то женственное, что таилось в нем, видно было в глазах, слышалось в голосе, влекло его к женской мелкой суетне, и он больше всякой женщины оживлялся тем мелким «живьем» обыденной жизни, в кругу которого вращается женская жизнь. О цыпленке, которого съела собака, он толкует с таким же искренним волнением и негодованием, как и эти женщины, которые сошлись со всех трех дворов трех братьев и сделали из съеденного цыпленка не только серьезный вопрос, но развили его в целую интермедию со смехом, с шутками, бесчисленными разговорами, остротами и даже беготней от мирошника. Тут, среди баб и их треволнений, мирошник был как раз на своем месте; здесь он принял живое участие в цыпленке и обследовал все качества собаки, все рассудил и разобрал, а там он что-то про ребят беспокоится, нянчит (сунут ему — он и нянчит и «заговаривает» ребенка), а там открылось, что еж яйца таскает, и мирошник лезет под копну соломы, лезет с головой прямо в солому, выдирает ежа со всем его семейством, обдирает до крови руки, но увлекается во всем этом чисто по-женски, доходит до самого искреннего беспокойства.

— Нет, уж теперь тебе не жить! — весь потный и волнующийся говорил мирошник, таща ежа на смерть, как самого лютого врага, и окруженный целою толпою стрекотавших, как птицы, женщин, детей и подростков.

Убиение ежа происходило как раз в то самое время, когда на постоялый двор въезжал наш фургон, наполненный типами и оригиналами. Наше знакомство с мирошником состоялось в самую для него благоприятную минуту, он был окружен толпою женщин, удивлявшихся его подвигу, чувствовал себя на своем месте и при всеобщих похвалах, расточаемых женщинами, отирая пот, видимо с большим удовольствием принимал эти похвалы.

Расстегнув свой ситцевый стеганый казацкого покроя бешмет, мирошник сел на лавку в общей комнате, где хозяйка приготовляла нам чай, достал кисет и, свертывая цыгарку, рассказал нам всем:

— Я гляжу, семь яиц лежат под соломой! Что за чудо? А Дарьюшка давно уж жалуется: куда это яйца деваются? А смотрю, он вылез и носом пхает яйцо-то в нору!..

— Уж и спасибо мирошнику! — внеся самовар и ласково смотря на виновника торжества, звонко заговорила хозяйка. — И не доглядеть, не доглядеть! Восемь кур несутся, а нету и нету яиц! И не задумаю, что такое?

— Теперь не будет! — самодовольно сказал мирошник.

— Коли б не добрый человек, как бы я сама-то догадалась? И так дела не переделать.

— Я давно его караулил! — с не меньшим, чем и прежде, самодовольствием проговорил мирошник. — У меня не уйдет!

Умная, расчетливая, деликатная хозяйка рассыпалась в похвалах доброте мирошника. Расточая эти похвалы, она стояла рядом с ним, покровительственно положив ему на плечо руку. Мирошник не смел пошевелить плечом от удовольствия.

— Ох! — сказал, иронически покачивая головой, человек цыганского типа, — что-то ты, хозяйка, уж очень расхваливаешь мирошника! Где муж-то?

— У поли.

— То-то «у поли»! Как ни приедешь к тебе, все твой муж «у поли», а мирошник все тут, в доме торчит! И все ты его расхваливаешь! Ох, уж ваша сестра...

— Так отчего же не хвалить доброго человека? Мы добрых людей любим!

И чтобы отстранить подозрительный и иронический намек, хозяйка тут же рассказала о каком-то плотнике, тоже добром человеке, который несколько лет тому назад также работал на мельнице и всякий день, как только кончит работу, так сейчас и идет ей помогать в хозяйстве и совершенно бескорыстно, по доброте. Она так умно и хитро похвалила доброго плотника, что, вероятно, мирошнику пожелалось превзойти его по этой части, и в последующие приезды я видел уже, что он не только

таскал из нор ежей, но уже и воду носил, и самовар ставил, и сена пудов по пяти сразу таскал на своей крепкой, широкой спине. А хозяйка постоянно осыпала его похвалами, и всегда лицо ее, обращенное к мирошнику, было самое ласковое и любящее.

Рассказав про плотника, хозяйка дружески похлопала мирошника по плечу и сказала:

— Нет, у нас ничего этого нет с мирошником! Не такие мы люди!

— Ох, так ли? — усомнился цыганский тип.

— Ох, уж и мастер ты языком звонить! — шутливо и в тон цыганской речи ответила хозяйка и ушла, улыбаясь.

В комнате, где мы пили чай и сидел мирошник, покуривавший «цыгарку» и молча своими веселыми «девичьими» глазами смотревший на нас во время шутливого разговора, — кроме всех нас находился еще один посетитель, местный казак. Это был уже настоящий казак. Он сидел на лавке, заложивши руки в карманы распахнутого старого бешмета, откинувшись спиной к стене и вообще раскинувшись всем телом с полнейшей непринужденностью. Все время он молчал, как «посторонний», пришедший по своему делу, и, повидимому, был совершенно равнодушен к нашим разговорам. Но когда ушла хозяйка, он кивнул головой в сторону мирошника и, обращаясь ко всем нам, сказал лениво, медленно:

— Любят его бабы... Секрет знает... Спроси-кось у него, много ли у нас в станице его казачат бегает?

Все засмеялись, и мирошник, вспыхнув и покраснев, тоже улыбнулся, но чрез мгновение неожиданно ответил очень серьезно:

— Потому что ежели бы был указ землю поделить и чтоб землю бы мне дали — ну тогда другое дело!.. А то что я без земли? А что, господа, не слыхать: выйдет указ, чтобы и иногородним землю нарезывать? — неожиданно обратился он к нам.

Но флегматически сидевший и говоривший «посторонний» казак опять кивнул головой в сторону мирошника и опять лениво, медленно и флегматически проговорил:

— Указа нету насчет земли! Ишь как оборачивает! А с бабами-то, когда к ним подбираешься, небось не о том разговариваешь? «Будем, мол, Маруся, или там,

Дарьюшка, будем с тобой как брат с сестрой!» Указа нету! Не землей и не указом, поди, на мельницу баб-то заманиваешь!

— Что ж? Брат с сестрой, — уклончиво пробормотал мирошник, — тут худова ничего нет!..

— Еще бы худое! «Будем с тобой как духовные, вроде ангелов!», а потом и нарезывай твоим ребятам землю... Самый настоящий брат духовный!

— Что ж, нарезывай? Земля божья, а ребята — слуги царские! Царю по́мочь! Тут худова нет. А вот девочку обидели: ей тоже десятину бы по закону следует, а не дали!

— Да ты как же можешь это говорить? — немного разгорячившись, сказал казак.— Девочке твоей не дали! Да твои пять ли, шесть ли там ребятенков сколько земли-то стянули казацкой? По девятнадцати десятин на душу оторвали для твоих духовных-то поросят!.. А то девочку обидели!

— Одна десятина — не велик кусок! — не глядя ни на кого, проговорил мирошник. — Все бы ей годилось.

— Вот он какой, мирошник-то! То-то его и любят. Умеет он орудовать.. «брат, брат», «сестра, сестра», а глядишь — то там мальчонка появился, то тут — и всё мирошниковы! Ловок парень, нечего сказать!

— Что ж? — смиренно сказал мирошник, опустив глаза. — Дело это было по согласию. Кабы ежели указ бы. А то указа-то нету...

Тут всей компании стало так весело от смешных и наивных слов мирошника, что разговор несколько со скоромным оттенком не прекращался довольно долгое время. Наконец всем захотелось спать.

Когда все разошлись на ночлег, кто под сарай, кто в фургон, мирошник понял, что похвалы, только что полученные от такой славной, умной женщины, понимающей «умных людей», — что эти похвалы обязывают его также быть любезным и внимательным к ней; он понял, что ему надобно остаться в избе, перемыть чайную посуду, убрать самовар и все привести в порядок. Он тотчас же и принялся за работу. Перекинув через плечо полотенце, он совершенно «по-бабьи» принялся орудовать с посудой.

Была у меня бутылка дешевого станичного вина, так называемого «прасковеевского». Выпили мы с мирошником по стакану вина и разговорились.

— Однако, — сказал я, — пробрал тебя казак-то!

— Они, разбойники, давно меня жмут! Убить было собирались, дьяволы! «Ты, говорят, не имеешь права своих байстрючонков нам в казаки присоединять!» А как стали мерить землю, так они и сами всех моих байстрюков за своих выкричали: «наши! наши!» Стало быть, от моих потомков ничего худого не вышло, каждый принес в дом по девятнадцати десятин. Вот только девочка не попала в размежевание! Уж после межовки родилась она тут у меня в одном месте...

— Как «в одном месте»?

— Да так, значит, в одном семействе.

Мирошник вытряхал уголья из самовара.

— В одном, значит, семействе оказалась девочка... моего, например, происхождения.

— Однако они правду ведь говорят, — сказал я мирошнику. — Всё ты в семействах?

— Так, в семействах! Так я-то чем виноват? Коли бы нашему брату, иногороднему, была земельная нарезка — ну, в то время я бы, может быть, и переломил себя как-нибудь на хлебопашество, следовательно, на закон, то есть в брак бы должон. Ну, а как же я осмелюсь принять святой закон, например, божий, ежели я вполне округлен без земли? Какое же может быть моим детям обеспечение? А не жениться — так как же? Баб много всяких; ежели бы я имел какие пустые мысли, так это сколько угодно; иной еще и слова не сказал, а она уже согласна на свое преступление. Ежели бы я какие подлые мысли имел, так я на мельнице-то словно бы султан персидский существовал и ответу бы никакого на мне не было... А только я этого не люблю и на такое пустяковое дело не согласен никогда!.. Мне надобно не это, а чтоб была у меня в жизни приятная сестра. Я ведь тоже как перст один, наломан на службе довольно — мне надо иметь заботу в жизни, чтобы с «удовольствием» была эта забота. Примером сказать, вот хоть понадобилась мне рубаха — чего бы, кажется, делать? Взял пошел на базар, отдал тридцать копеек — вот и все. А мне так-то скучно жить. Я пять целковых тебе в подарок

или в подмогу дам, а ты мне сама, как сестра брату, возьми да принеси рубаху-то! Вспомни! ты меня только вспомни, а я тебя вовеки не забуду... Много их на мельнице-то ко мне подскальзывают и так и этак, только что я внимания на это не даю, а которая придет, да по совести вздохнет, да посоветуется, как на духу, да увижу я в ней приятную совесть — вот она мне и сестра. «Чего тебе надо? Хлеба? Вот тебе! Ребятишкам сапожонки? Бери три рубля. Я твою нужду знаю и чувствую, что тебя муж бьет, что твой муж пьяница, — все это я принимаю к сердцу, а ты мою доброту к сердцу прими. Я на мельнице сижу, а ты дома обо мне вспоминай». Вот какое мое желание. Ну, а конечно, уж как-нибудь там впоследствии времени происходят дети — так ведь как же тут? Это уж никак невозможно!

— Ведь мужья-то, я думаю, как жен-то бьют за тебя?

— Так ведь они, подлецы, и так их колотят зря. Сам пьянствует по чужим местам, жену морит на работе, а придет — и давай дурить. Вот таких-то, неповинных-то, мне и жалко, а не то чтобы которая прямо на тебя намеревается с пустяками. Да еще и так возьмите: ну, пущай он ее бьет там, за косы рвет, всячески издевается — так ведь со мной-то она не одна! Ведь на мельнице *я* существую! Прибежит она: «так и так, то и то!» и плачет — так ведь я ее привечаю, всячески делаю ей приятное. Бывает и так, что посоветуемся: «как быть? ..» «Подари-ко, говорит (предположим), корову — может, он поутихнет, потому и евонным детям молоко надо»... И только мне скажи, так я все тебе предоставлю; есть у меня деньги — на, получай, покупай... а нельзя тебе со мной по совести жить, или мужа опять полюбила, или он сам потишел, пьянствовать перестал — оставь! Живи по-хорошему — бог с тобой! Я худова никому не согласен делать, я и жить-то для худова не согласен. «Живи, как тебе лучше. И мне-то будет приятней. Чего мне насильно-то? Хорошего народу много! Пошлет бог, и другая уйдет от меня не с худым. Я с тобой так же, мол, по-хорошему норовил! .» Ну, а как мне раз попадется баба характерная, да потянет силом, да захрапит, да заругается, да ребенком начнет в морду пхать, да почнет теребить да жаловаться — ну уж этого я окончательно терпеть не могу! Ту ж минуту — прочь от нее! Даже ал-

тына не дам — пошла прочь! Нет тебе от меня никакого снисхождения, пока по совести поступать не станешь: бери от меня, что совесть дозволяет, а силом ни во веки веков. Жалуйся! Пускай чрез станичное правление хоть все мое состояние взыщут, а ко мне на глаза не показывайся; я тебя утешать не согласен. Иди по начальству!

— А бывало разве что-нибудь подобное?

— Как не бывало! Иная возьмет ребенка-то да вместе с ним эво какого скандалу по всей станице наделает! Ну, потом, конечно, образумится, войдет в понятие, утихнет. «Прости, говорит; нет ли, мол, муки мне?» — «Муку-то, говорю, возьми — на, а ко мне на глаза не показывайся!» Теперь вот все довольны; сколько земли-то через мой характер получили! А то как не бывало! Одна вдова разыгрывала со мной такую игру — думал, жив не останусь. Точно, полюбила она меня крепко, надо уж говорить правду, по совести сказать, мы и сейчас с ней живем как муж с женой: двое у нас мальчиков, третья девочка. Но только случилось однажды так, что рванула она меня за живое мясо не по-сестриному! Слава богу, теперь все прошло, а горячего я все-таки от нее хлебнул порядочно! И вот как это было дело: познакомился я с ней на свадьбе у одного казака: вижу, сидит самая приятная женщина. Думаю: ах, какая она приятная! И так мне захотелось взять ее в мои приятные друзья! Помаленьку-полегоньку, так и сяк, словечко по словечку, расчувствовал-таки я ей душу; стала она мне доверять. «Тебе, говорю, одной трудно, а мне, говорю, одному холодно; будем жить как брат с сестрой; хлеба у меня много, деньги есть, что тебе понадобится — все дам, только спроси. А меня за это самое как брата помни, в мыслях своих имей и обеспокоивайся обо мне как о родном. Только всего мне и надобно. Так мы с тобой и будем жить на белом свете». А совесть у нее, у Марьи этой самой, была опрятная, душа совестливая, худых мыслей она себе в голову не пускала. Подумала, подумала она. «Хорошо! говорит. Давай так жить! будем друг дружку беречь. Так-то нам обоим будет жить веселей!» Ну, поцеловали друг дружку для начатия, богу помолились и стали жить. «У тебя и постели-то нету никакой?» Пришла на мельницу, все осмотрела. «На́ тебе одеяло, а подушку после справлю». И подушку

справила... «А тебе чего не надо ли?» То-то и то-то, мол. «На, бери! Давай чай пить». — «Давай! Рассказывай, как на свете жил, что видел?..» Ну, я ей все подробно, как что было с детства. «А ты как?» А я вот как. «Ну, пора домой!» — «Пойдем, провожу». Ну вот таким родом. Что она надумает про себя, все мне расскажет. Что я надумаю, опять же ей все скажу. На ярмарку едем вместе; купим, что нам нужно. На богомолье вместе. По хозяйству что нужно — «приди, помоги!»— «Приду». И очень у нас хорошо шло так-то... Живем как родные — ей точно брата родного бог послал, а мне родную сестру.. И жили так с полгода. Ну, конечно, сами знаете.. ведь тоже люди! Как же уж? С течением времени рождается младенец мужского полу. Что ж? ничего! Слава богу, сын — царю по́мочь! Люди, конечно, судачат — то, се, — пускай! Ей обидно — я утешу; мне от этого худо — она придет с мальчишкой — мне и весело. Ну, идет время, и замечаю я в моей Марье очень вредный взор в глазах, и слова у нее стали не очень простые. «Что мы, говорит, как цыгане живем, друг к другу в гости ходим?» Я говорю: «Что ж делать? Должность у меня при мельнице, оставить нельзя, а тебе тут и места нет». Была у нее своя избенка... Постепенно начинает она умудряться на разные манеры. «Коли любишь, так женись!» Этаким образом! Я говорю: «Жениться мне невозможно — земли нету, хозяйства нету; а коль скоро я женюсь, так вместо одного будут и другие дети — чем их кормить без земли-то? Кабы указ вышел о нарезке... Ну так! А пока давай жить опять как брат с сестрой, а мальчишку вместе будем растить. Все, что у меня есть, — все ваше». А ведь в то время и прежним моим сестрам все нет-нет да дашь на поправку. Так мне невозможно было из моих средств семью заводить и хозяйство. «На мальчонку, говорю, хватит, а сами давай как брат с сестрой». . Ну, однако, она что дальше, то хуже. Какой уж тут брат! «Какой ты мне брат, говорит, когда вот есть мальчишка, существует? Нешто я сестра тебе, когда есть дитя? Что врешь-то?» Я опять же ей свой резон: «Коли бы ежели вот землю. .» И не слухает! Ровно помутилась, очумела и одурела, так и лезет с ножом к горлу: «Женись, дьявол!» Ну, а когда со мной таким манером, так уж и я

делаюсь несогласен. «Пошла, говорю, вон, коли так!» Она, ни много, ни мало, прямо в станичное правление, в суд, жалобу! Засудили меня, засрамили, взыскали сразу четвертную да каждый месяц обязали давать ей по пяти рублей! Все она подвела, подъегозила, чтобы меня притиснуть за горло. Не довольно того — является после суда, говорит: «Женись, дьявол! Деньгами ты меня не укротишь. Сожгу, говорит, тебя и с мельницей с твоей вместе и яду, говорит, тебе дам такого, что в одну минуту околеешь, как собака!» Ну, тут уж и я пожаловался на нее в станичное, а ей самой ружьем пригрозил. «Покажись, говорю, так и шарахну!» Отстала. Канула, как в воду. Разрывается моя душа на части, потому я знаю ее совесть и понимаю, что все это она по любви, а не по злобе. Скучно стало мне, и сказать не умею как. Тяжко! Полгода протянулось, ничего слухов нет, а взыскание в станичное идет. Только вдруг, нежданно-негаданно, глядь — и сама пришла! Мальчонко на руках; пришла она прямо из церкви, причащать его носила, и сама такая румяная, ласковая. Поздоровались, как ни в чем не бывало; рада-радехонька! Она и говорит: «Ну, говорит, Никитушка, прости меня: дура я была, твоих слов не понимала, а теперь все обдумала и уделала свою судьбу по-хорошему. Теперь, говорит, и земля у меня есть, и ребенок в казаки принят, и никакого сраму не будет. А жить мы с тобой будем как муж с женой, и насчет предбудущих младенцев нисколько не опасайся и не беспокойся — все будут законные и все казацкого звания».— «Как же это, мол, ты так уделала?» — «А вот как», говорит. И рассказала она, как все это дело вышло. Как прошли в ней угар и злость, одумалась она, поняла все мои слова и взялась за ум. Нашла она сваху, а та и сосватала ее нарочно за старого-престарого казака, лет ему под шестьдесят, одинокий; в сторожах кладбищенских служил. Вот словили они этого старика и уломали и умаслили. «Женись на Марье, — сваха-то ему, — она, мол, тебя до конца дней кормить, поить, обувать, одевать, покоить будет; будешь жить как в родном семействе, а вместо того прикрой стыд женский, а ребенка возьми в наследники. Чего, мол, тебе? Ты старый человек, о грехе тебе и в ум не должно вступать, имущества у тебя нет — чего тебе стоит грех прикрыть да в спокос

век вековать?» Не утаили и про меня. Расписали: и он бы женился, да не казак, хозяйства не на что начать... Все как должно. Одним словом, соблазнили бабы старика. «Ладно, говорит, псовки, сделаю я вам доброе дело, а вы меня покойте с твоим любезным...» Поп-то не хотел было венчать, да тоже понял, когда бабы ему надребезжали про меня... Понял. Хороший у нас поп, понимает все по человечеству... Повенчал. Ну вот теперь и живем с ней...

— А старик?

— А старик ни в чем не касается... Кормим его, поим, угождаем, а он ребят на себя записывает... «Пиши, говорит, Никита, ничего! пиши в казаки, всё царю по́мочь!» Теперича я как отработаюсь на мельнице, так и домой... к ночи завсегда домой... Ну, а ежели здесь ночуешь, так тоже нельзя не подсобить: хозяева, да к тому же и люди хорошие, нельзя! Надо жить дружно... И старик ничего, хоть иной раз злые люди его и подбивают на худое; иной раз наслушается их, да и захрапит. Однова пьяный: «Откажусь, говорит, от детей! не мои!..» А то так вот как злодеи подвели — насоветовали так: «Ты,—говорят старику-то,—второго ребенка воспитывай как родного сына, а про прочих говори ему, второму-то, про родных его братьев, что они незаконные; вот он этой бабе-то, обманщице, которая, мол, тебя, старого дурака, окрутила да заставила своего любовника прикрывать,—он-то и отомстит ей за все!» Это, следовательно, родной сын да родной матери отомстит! Вот ведь змеи какие есть между людьми крещеными! И иной раз так еще разожгут старичишку — напоят его, доведут, что кричит: «Эй! жена! иди, мол, ко мне — я муж!» Ишь, подлецы какие! Ну только я уж этого не дозволяю. «Только, говорю, посмей — тут тебе и конец на веки веков. А хочешь жить по честности — все тебе будет». Ну, подурит, подурит — перестанет... Да не умирает что-то, старый пес! Коли бы умер, так уж я бы мельницу-то покинул да к Марье как-нибудь, жить вроде работника в доме, примостился. Земли у нас теперь на три души нарезано, слава богу!.. Кабы ежели бы нарезка раньше была, так оно не так бы было... А то уж про меня галдели, галдели, хаяли, хаяли... А что я, чем виновен?

Так вот сколько разного рода людей пришлось мне увидеть только на первых порах моей поездки! А за этими первыми днями пошли всё такие же разнообразные и любопытные дни, недели.

На следующей остановке слышу длинную и трогательную историю молодой жены, брошенной мужем с двумя детьми и одиноко борющейся за свое существование; на следующем ночлеге покинутый женою муж рассказывает мне трогательную историю на самую современную тему: «ушла жена», и так далее, каждый день, при каждой остановке, ночлеге, встрече, при каждом малейшем столкновении с случайно нужными или просто встречными людьми. Все неурядицы, все горести, тяготы и в то же время все неудовлетворенные желания — мечтания Великой, Малой, Белой России — все принесены сюда на новые места выходцами, и на них, как на «образчиках», можно ознакомиться довольно основательно со всем, чем «живет» современная Россия. Нужны какие-нибудь особенные побуждения, чтобы человек бросил родину, знакомые, родные места и ушел бы искать счастья на чужой стороне; такой человек идет с своим горем, с своим планом, с своею фантазией, и поэтому все эти люди разного звания, будучи образчиками общих условий русской жизни, в то же время оригинальны каждый на свой образец. Неудивительно поэтому, что несколько дней пребывания среди таких оригиналов, постоянно знакомивших меня с самыми оригинальнейшими биографиями, настолько отучили мое внимание от явлений обыденной жизни, что я помимо воли стал задавать себе вопрос: «какой-то оригинал мне теперь попадется?» — всякий раз, когда приходилось въезжать в новую станицу, на новый постоялый двор или даже просто садиться в новый фургон.

Именно вот такой-то вопрос задал я себе и тогда, когда пересел с парохода, доставившего меня в одно местечко на черноморском побережье, на фелюгу, которая должна была перевезти меня с вещами на берег. Сидя на этой фелюге и любуясь видом приближавшегося берега,

на котором чуть-чуть были заметны очертания чего-то живого, я по привычке и вполне бессознательно спросил себя:

— Каких-то теперь оригиналов пошлет мне судьба в этих новых местах?

И едва я подумал и сказал это, как «оригиналы» немедленно же предстали передо мной в весьма значительном количестве и притом совершенно нового, особенного качества. Начался «мечтатель», «утопист», «фантазер».

Часа через два по приезде в «местечко» мне пришлось ехать на маленьком частном пароходе, которым управлял молодой семнадцатилетний мальчик. С первых слов оказалось, что мальчик проникнут учением Л. Н. Толстого, что он нарочно приехал сюда на побережье, чтобы здесь начать жить трудами своих рук, в чем он и нашел поддержку со стороны одного лица, преданного тому же учению. Это первая встреча.

На следующий день фелюжник Мустафа, обезьяноподобный турок-лодочник, сидя у руля своей фелюги, медленно подвигавшейся по неподвижному морю, доставляя меня и одного молодого человека к нашим общим знакомым, ломаным русским языком, коверкая имена и фамилии, рассказал мне длинную историю про каких-то «Миколаичей», которых он очень хвалил и вспоминая о которых, закрывая глаза, причмокивал, покачивая головой. Эти «Миколаичи» были «господа», но жили здесь лет пятнадцать тому назад как простые крестьяне:

— Барина рубах сама стирал, на море сама таскал!

И жили эти «Миколаичи» таким образом именно потому, что были люди хорошие. По словам Мустафы, один из этих «Миколаичей» задумывает творить на этом побережье чистые чудеса. Начав о нем рассказ, Мустафа стал бормотать воистину какие-то ни с чем несообразные слова:

— Мельница будит ветир хватать, из мельницы будит огонь в проволоку бежать и масло бить!

Во время этого рассказа обезьянье лицо его разгорелось, он махал руками, повидимому изображая мельничные крылья, пыхтел, потел — и все-таки я бы ровно ничего не понял, если бы впоследствии один из местных аборигенов (разумеется, «оригинал») не объяснил мне, в чем дело.

Оказалось, что этот «Миколаич» хотел основать трудовую общину и во все работы, требующие физическую силу, ввести силу электрическую, добывая ее силою ветра. [1]

«Миколаичи» жили здесь лет пятнадцать тому назад, но и по уходе их побережье не оскудевает всякого рода Миколаичами. В одном дне пути по побережью от упомянутого выше «местечка» живет отставной военный человек, изобретающий статистическую машину. Можно будет взять на ней, как на пианино, аккорд известных цифр по известным вопросам, и вместо звука получатся выводы, также цифровые. А в двух-трех верстах здесь семья образованных людей уже устроилась по-крестьянски и живет трудами рук своих. Затем говорят о каких-то «богочеловеках», которых приютил фабрикант, уступивший им лоскут земли.

Как видите, все эти черноморские оригиналы далеко уже не того сорта, как оригиналы кавказских долин и тех «новых мест», куда капиталу есть расчет появиться. Есть расчет туда появиться и земледельцу — земли много; есть расчет прийти «на новые места» и аферисту, и темному человеку вообще, и человеку рабочему, поденщику, превращающему теперь, благодаря дешевизне своего труда, всякого казацкого урядника в помещика и «аристократа». Всем, кому нужны скорые средства к жизни,— все тянутся туда, на новые места. Черноморское побережье неудобно для такого сорта людей. Крестьянину нет даже и земли; капиталисту неохота тратить огромные капиталы в ожидании отдаленного барыша. Аферисту нечего делать с шакалами — и вот сама судьба указала путь на это побережье фантазеру-мечтателю, одинокому человеку. Сначала сюда пришли административные мечтатели; они и заселяли, и расселяли, и учреждали города, станицы, рыбоводство, рыболовство, скотоводство, мореходство и бог весть что; за ними пришли практические люди, расхватали все побережье и сконфузились. Стали витать над побережьем какие-то легенды о вольном казачестве, пришли откуда-то из Абиссинии какие-то мечтания насчет этого самого побережья и сошлись невидимо

[1] В настоящее время такие попытки уже осуществляются на деле.

с мечтаниями о том же самом прежних «Московских ведомостей» — словом, мечтания, легенды, сказки, проекты, чудеса в решете реяли над этим берегом с той самой минуты, когда он опустел. А теперь вот появились толстовцы, статистические пианино, ветер «пущает огонь и бьет масло по проволоке», затем богочеловеки на купеческой земле появились — словом, всякая фантазия, всякое мечтание продолжает властвовать и царить над этим пустынным и прекрасным берегом.

Находясь под обаянием этого мечтающего и полного мечтательных воспоминаний берега, стал мечтать и я. Сидел я однажды на берегу моря и возмечтал:

Почему бы на этом пустынном, пока никем не занятом берегу не попробовать в самом деле осуществить мечтание о трудовой жизни в виде *школы всесословной*, из которой человек мог бы выйти не в работники куда-нибудь и на кого-нибудь, а прямо мог бы сесть на этой же земле *хозяином*? Хозяин-мужик страдает от невежества, от незнания, от тяжести, неуклюжести труда — почему же не попробовать образовать человека, живущего по тому же мужицкому хозяйскому плану и типу, но снабженного всеми облегчающими каторжную сторону труда знаниями? Ведь теперь машина служит только греховоднику-капиталу и убивает человека в рабочего. Не может ли она, эта машина, приспособить себя к облегчению жизни каждого трудящегося человека? Соха, борона, коса, шило, топор — все это машины в крестьянском хозяйстве, средства облегчения труда. Неужели же на этом и окончится пришествие в крестьянский дом всего, что облегчает крестьянский труд?

Все существующие в настоящее время учебные заведения имеют в конце концов целью выработать человека *служащего* — все равно государству ли, обществу ли, капиталу ли; но кто же не согласится, что, несмотря на значительные ограничения в количестве желающих поступить в эти учебные заведения, — людей, стремящихся существовать службою и жалованьем, несравненно более, чем могут поглотить все существующие государственные, частные и общественные учреждения, требующие слуг, работников? Не говоря об огромном количестве образованных людей, бьющихся без места, как рыба об лед, которыми переполнены все города и веси,— сколько смертей,

сколько самоубийств ежедневно совершается на наших глазах единственно из невозможности *существовать*, то есть пить и есть, и кому же? — человеку образованному. Недавно, кажется в Ковно, портные и другие мастеровые хоронили вскладчину умершего почти с голоду гимназиста. Другой гимназист, сколько помню в Динабурге, повесился от невозможности существовать. Некоторое время его вскладчину содержали какие-то арфистки, помогая из своих горько-трудовых копеек; гимназист, лишившись этой последней помощи и не видя ниоткуда ни малейшей надежды на поддержку, повесился на дереве, а за неимением бумаги и чернил мелом написал на заборе укоризненное для общества объяснение своей смерти. Но та часть этого интеллигентного *служебного* пролетариата, которая, несмотря на все невзгоды, все-таки кое-как устраивается и, так сказать, заставляет общество поглотить себя и дать средства к существованию, обречена существовать только народным расстройством и непорядками народной жизни: юрист, которому нет места в городе, проникает в деревню, заводит здесь кляузу и кормит этим свою семью, то есть он существует только потому, что пользуется неурядицей в народной среде, и так как он с этой неурядицы берет средства к жизни, то есть отнимает их у расстроившихся в хозяйстве людей, то он и потомство, которое он народит, должны для продолжения своего существования рассчитывать также прямо на кляузу, на расширение народного расстройства, которое им и дает именно средства к существованию. Расстройство же народной среды отражается обилием крестьянского пролетариата, который, проникая в города, образует босые команды; эти команды требуют расширения тюрем, увеличения полиции, размножают *дела* в судах, и это размножение размножает служащих, размножает расходы; служащие размножают свое поколение, а оно требует новых служебных мест и жалований.

Таким образом, расстройство народных масс находится в весьма тесной зависимости от обилия служебного пролетариата, растущего с каждым годом во всевозможных, дурных и хороших, формах, вполне, однакоже, одинаковых в средствах жизни: для худых и хороших целей средства берутся все-таки с трудящегося человека. Между тем уже и в этом самом «служащем» сословии не раз

уже высказывалась мысль о земельном наделе, как о самом правильном выходе из затруднительного материального положения и как о возможности не чувствовать себя всю жизнь «неправедно» живущим. Недавно поднят был вопрос о земле сельскими учителями. И если бы ему было дано какое-нибудь практическое осуществление, то несомненно, что о земле завопили бы и другие бесчисленные служебные профессии, прокармливающие теперь свои семьи единственно народным расстройством. Мы могли бы привести здесь множество подлинных документов, свидетельствующих о том, что жажда «земли» и желание жить земледельческим трудом, то есть желание уйти от всякого рода наемной, поденной работы, до чрезвычайности сильно развиты во всех классах служебного сословия. Были примеры и есть сейчас, когда адвокат бросает практику и идет пахать: и совесть его покойнее, да и жизнь независимее, а то живи и корми семейство кляузой!

Обыкновенно все попытки в таком роде пока оставались без особенно благоприятных результатов, но это происходило потому, что «единицам» не под силу поднять на свои плечи такое важное общественное дело.

Нам скажут: никто не запрещает жить трудами рук своих — иди на базар, нанимайся в работники, спи под забором, ешь серые щи, кто тебе мешает? Но именно эти-то ужасы, которыми обставлен труд, — ужасы, непосредственно происходящие от того, что непроизводительно сидящие на народной шее массы служебного пролетариата, существующие только при неурядице в народной жизни, доводят трудового человека до безвыходного состояния и выбрасывают его на толкучку голодного и холодного, — эти ужасы-то страшат, пугают людей, выросших не в народной среде. Если бы трудовая жизнь имела не такой ужасный вид, как теперь, поверьте, что все эти судебные пристава, становые и т. д. и т. д. охотно бы предпочли жить на свете в качестве самостоятельных хозяев и не показывали бы своей энергии при описи крестьянского имущества, необходимой им для того, чтобы обеспечить свои семейства и чтобы не пустить своих детей на толкучку продаваться в работники.

Школа, о которой я возмечтал, *должна устранить* в общественном *сознании* весь *ужас*, соединенный теперь

с представлением о *трудовом существовании*. Она должна показать, что жить на свете, совмещая в себе слугу и хозяина, прекрасно, благородно и не в пример чище заработка помощью процентов с описываемого у мужиков имущества за долги купчишке Полумордову. Она должна показать, что трудовая жизнь — не подвиг вроде монашеского, не страдание, не искупление грехов, не серые щи, не дизентерия, не переломленная спина, а самая правильная, совестливая, независимая жизнь, дающая полный простор всем сторонам духовной деятельности человека.

Кавказское побережье имеет всевозможные удобства именно для открытия школ, в которых можно практиковать всевозможные роды труда: прекраснейшие долины между гор, чрезвычайно удобные для школ хлебопашества, то есть для того, чтобы выучиться этому труду не из-под палки и не из крайней нужды, а так же тихо, спокойно, как любая профессиональная школа выучивает какой-нибудь специальности своих питомцев. Здесь возможна культура табака, винограда и, следовательно, виноделие, садоводство; леса — это источник всяких кустарных промыслов из дерева. Есть железо, есть другие металлы. В лесах птицы, звери; в море — рыбы. Размышляя на эту тему, не трудно представить себе, как было бы хорошо, если бы наши города, земства, благотворительные заведения, морящие сирот и детей бедных родителей в клетушках своих мизерных приютов для того, чтобы, доведя их до малокровия, пустить потом беспомощными на все четыре стороны, наконец лица, расточающие массу денег на всевозможные не приносящие никому никакой существенной пользы пособия, — если бы все они, разобрав этот берег по рукам, основали разнообразные школы возможного здесь труда, дав средства входить туда детям всех сословий, с тем чтобы, выучившись тому или другому роду труда, они прямо здесь же, на этом же побережье, садились на самостоятельные участки, которые и выкупали бы так же, как крестьяне выкупают свой надел.

Знание так уже дало много в помощь и облегчение человеку, изнемогающему под бременем труда, что в этих образчиках трудовых школ должно быть применено все, что отнимает у труда ужасные его черты — черты,

пугающие непривычного человека и заставляющие его избрать какой-нибудь темный путь для обеспечения своего существования, вместо того чтобы жить так, как велит совесть, никогда не мирящаяся ни с какими темными делами, хотя и покоряющаяся необходимости делать их.

Устраняя каторжную сторону труда, школа, выпускающая своих питомцев прямо на землю и на труд, без сомнения должна давать и общее образование, причем в основание его «община», «артель», «товарищество» должны быть положены, как самое существенное *дело науки.* Надо *учить общинным идеям*, нужно доказать ту глубину правды, которая в этих идеях заключается, — словом, *школа должна взять всю сущность трудовой народной жизни и устранить от нее все те ужасы и недостатки, которые происходят от обременения народных масс паразитным* существованием не трудящегося пролетариата. Ведь все это необходимо нашему народу. Если «опыт» такого рода не будет совершен на общественные средства, то когда же в дом к нашему крестьянину придут, наконец, облегчающие его труд знания?

Неужели мы, имея такие удивительные образчики подлинно справедливой, здоровой, веселой жизни, которою живет (конечно, в счастливых случаях) наш народ, неужели мы, видя, как в европейской жизни измученный человек начинает выбиваться из тяготы существования к тем же самым формам жизни, никогда и ничего не извлечем практически важного для человека, общества, человечества и, мучаясь неправдой, будем продолжать смотреть на то, как неправда без всякой надобности разъедает здоровое народное тело и нашу уже нездоровую интеллигентную душу? Неужели наша русская мысль, имеющая такую огромную массу ежедневного материала в живой народной жизни, доказывающего ей, как дважды два, возможность *независимого* существования, не будет настолько оригинальна, настолько добросовестна, чтобы воспользоваться этим драгоценным образчиком независимой жизни, постоянно видимым нами, и не положить этого образчика в основание *воспитания* молодого поколения, то есть не сделает попытки ободрить непривычного к труду — для трудовой жизни?

3

На этом окончились мои умеренные фантазии и мечтания. На этом же оканчиваются и повествования обо всем случайном, об оригиналах, оригинальных биографиях, и, к сожалению, начинается повесть о том, что есть в действительности... Повесть эта так невесела, тягостна, что, признаюсь, мне очень-очень горько расставаться с фантазерами и как с своими, так и с чужими фантазиями. Но делать нечего, надобно расстаться и с тем и с другим: действительная жизнь так громко кричит о неправде и зле, что не слышать этого крика или успокаивать себя фантазиями — невозможно. Надобно говорить о том, о чем говорит действительность.

V. ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА И БУМАГА

1

«Действительность» прежде всего начала разрушать во мне как раз именно те веселые мечтания и фантазии, которые овладели мной после веселой встречи с переселенцами. На деле переселенческое движение далеко не поощряло к мечтаниям; все, что приходилось читать о нем, наводило на мрачные мысли и почти ничем не радовало.

Я не буду утомлять читателя пересказом этих невеселых мыслей и обращу внимание только на следующее соображение: всякий раз, когда дело идет о том же самом явлении, но не у нас, а за нашею «границей», и когда переселение именуется по-иностранному «эмиграцией», а переселенец называется «эмигрантом», для всех нас, даже для последнего волостного писаря, это народное движение делается совершенно понятным, ясным, имеющим совершенно определенный смысл и наводящим на мысль о самых реальных мероприятиях, которые это явление вызывает. Всякий знает, что эмигрант уходит от тесноты, что ему нужно переехать океан, что для этого нужен пароход, и притом дешевый, потому что эмигрант беден, что по прибытии на место, где эмигрант оказывается

среди чужих людей, не зная ни языка, ни условий жизни, он нуждается в поддержке государства, в указании наилучших средств к устройству на новых местах. Слово «эмигрант» понятно для всех нас совершенно и возбуждает соображения вполне точные, определенные, вполне свойственные «здравому уму» человеческому. Но как только слово «эмигрант» заменится в нашей мысли и сознании словом «переселенец», так тотчас же нас покидает способность руководствоваться здравым смыслом. Становой пристав ничего не может больше придумать, как донести о своевольном уходе с места жительства, интеллигентный человек начинает раздирать свои ризы, рыдая о гибели народных масс, и даже коммерческий человек, тот, кто в Европе наживает деньги на перевозке тысяч пассажиров-эмигрантов, на отдаче им в Америке участков земли, на чем он опять-таки наживает и чем растит свой капитал, — даже этот хищный глаз оказывается совершенно ослепшим, не видящим в этом движении ничего для себя существенного. Накупив сотни тысяч десятин от помещиков, он закладывает землю по трем закладным, лопается, мошенничает и только при всяких ухищрениях плутовства успевает перевести на женино имя какую-нибудь частицу наворованного капитала, тогда как по его же пустопорожней земле идут, как тени, полуголодные толпы людей, ищущих и жаждущих этой же самой земли, которые ее оплодотворили бы, оживили, от которой расцвели бы сами и дали бы возможность владельцу прожить на свете без помощи «скамьи подсудимых».

Вот пример «заграничной» переселенческой операции. Эмигрируют в Америку из нашей Екатеринославской губернии менониты, и раз они *эмигранты*, а не переселенцы, дело происходит самым понятным здравому человеческому рассудку образом. Нуждаясь в земле, они выбрали человек пять ходоков и отправили их не на Белые Воды, дорога куда почему-то полагается идущею через Москву и Вологду, а именно туда, куда следовало, — в Гамбург, где стоит эмигрантский пароход. Купец взял с них деньги и привез в Америку. В Нью-Йорке об участи наших менонитов позаботился муниципалитет. Тотчас по их приезде он приютил их в общественном здании, где они могли дождаться частных предложений от продавцов земли, не разыскивая их ощупью через встречных и по-

перечных. И вот одно железнодорожное общество, желающее, чтоб его железная дорога возила людей и товар, а не гремела только пустыми вагонами, предложило им землю на условиях также доступных пониманию, если только находишься в здравом уме. Канзасская железная дорога отвела им несколько сот десятин земли близ самой линии дороги, по девяти акров на хозяйство и по 10 долларов за акр, с рассрочкой на 10 лет. Кроме того, железнодорожная компания обязалась выстроить им два поместительных дома, чтоб они не остались под открытым небом тотчас по приезде с семьями на чужую сторону. Тем же путем ходоки возвратились на родину, Христовым именем нигде не просили и, взяв семьи, благополучно доехали до новых мест, где действительно уже ожидали их два выстроенных дорогой поместительных дома.

Так происходит «за границей» дело переселения, именуемое «по-заграничному» — эмиграцией. Та же самая эмиграция, именуемая на Руси *переселением*, происходит совершенно не так. *Выгода, материальная польза,* которую мы видим в деле «эмиграции», решительно отсутствует в нашем «переселенческом» деле; гамбургские корабли ждут переселенцев, потому что это выгодно; нью-йоркский муниципалитет, также из-за выгоды не иметь в городе массу бесприютного народа, устраивает им даровые помещения; железнодорожные компании, также единственно из желания иметь пассажиров и товары, уступают переселенцам земли и облегчают возможность поселения. Все здесь один голый расчет, основанный, однакоже, на удовлетворении известных надобностей человека.

В ходе же нашего переселенческого дела и устроения народных масс, ищущих земли и труда, как раз и не видно даже этого простого и ясного расчета, понимания простой выгоды того, что постановка этого дела на практическую почву общественной пользы есть именно то, что во всяком случае необходимо сделать без отлагательства. В настоящее время уже есть всякого рода «мероприятия», но кто же не знает, что переселенец продолжает и сейчас плутать без пути и дороги? И в то же время нет в России человека, который бы не понимал, что дело это серьезное, важное... Нигде так не скорбят о народе, об его расстройстве, как именно у нас; нигде его

не боготворят так, как у нас же, и нигде не мечтают об его благе с таким подлинным бескорыстием, как опять же именно у нас. «Народ», «народное благо» и «благоустройство» не сходят с нашего языка целые десятки лет, и бесчисленные «проекты» всякого рода патриотов, имеющих доступ туда, где эти проекты принимаются, ничего иного не трактуют, как все то же самое народное благо. Сколько у нас суеты, скорби, переписки, и всё о том же народном благе — этого невозможно ни описать, ни пересказать; и все-таки никакого реального, практического дела из всех этих скорбей о народе не выходит: общество продолжает скорбеть, проекты продолжают писаться, мероприятия принимаются, а все-таки никто не может по совести сказать, чтобы все это было даже похоже на действительное дело. Чего-то маленького, но самого главного нехватает во всех этих скорбях и беспокойствах о народе, чтобы они преобразились в действительную заботливость об устроении народных масс... Нет спички, чтобы зажечь лучину и поставить самовар, — а то решительно все есть для того, чтобы хорошо «попить чайку»: и самовар полон воды и вычищен так, что горит как жар, и угольев тьма в корзине рядом с самоваром, и чай уже положен в чайник, и сахар есть... Все есть, нет только спички для того, чтобы зажечь лучину и оживить весь этот самоварный материал... И для народного дела все у нас есть в полном размере: есть и нужда в земле, есть и бесконечные свободные пространства земли, есть и истинная скорбь о народе и истинное желание сделать добро... А вот спички-то, которая нужна для оживотворения всего этого материала жизни, действительно живого дела, ее-то и нет...

Никогда бы я не решился говорить о таких скучных и тягостных особенностях русской жизни и томить ими читателя, если бы мне совершенно случайно не пришлось встретиться с одним из старых моих приятелей, который в разговоре об этих же скучнейших вопросах не только сумел вывести их из области присущей им скуки и тоски, но, к удивлению моему, нашел возможность толковать о них в самом юмористическом тоне. Благодаря только этой счастливой случайности я и решаюсь еще раз коснуться того же темного дела, не впадая, однако, в заунывный тон.

2

— Так ты желаешь знать, — говорит мой приятель, — почему вот этой самой спички-то нет?

— Да. Отчего нет этой спички?

— По-твоему выходит, что у нас есть все, чтобы чаю попить «вволю», то есть чтобы добро вышло? И самовар, и вода в нем, и уголья, и чай, и сахар, да спички-то нет, и чаю поэтому напиться нельзя?

— Совершенно верно! А ты разве иначе думаешь?

— Нет, и я так же полагаю... Я только для верности переспрашиваю, о том ли я думаю, о чем ты-то говоришь. Вижу, что о том, и вот что я надумал об этой самой спичке.

Приятель мой крепко понюхал табаку, помолчал, сообразил что-то и сказал:

— Тебе ведь известно, что я иной раз пописываю кое-что?

Мне это было известно: не раз через меня в редакцию передавались *начала* его больших трудов и через меня же ему возвращались. Обыкновенно передавалась только *первая глава* обширного труда, а содержание остальных шестидесяти девяти глав излагалось в виде конспекта, в конце которого автор обыкновенно сообщал редакции, что за обработку этих шестидесяти девяти глав он примется не иначе, как по одобрении редакцией идеи его труда, изложенной в программе. Так как редакция этой программы обыкновенно не имела времени просмотреть, то на первой главе надписывала роковое «возвратить», и шестьдесят девять глав никогда оканчиваемы не были, а вместо них, чрез год или два, являлась новая первая глава нового обширного труда.

— Как же мне не знать? — ответил я приятелю. — Очень знаю!

— Так вот я года полтора тому назад и задумал написать о России и о русском народе... нечто обширное. Обнять, так сказать, задумал я всю массу разнообразнейших особенностей русского быта... Затрудняло меня только заглавие — слишком уж много содержания надобно было включить в него. Но, наконец, думаю себе, если я окрещу мое творение, назвав его «Русский *человек* и русская *природа*», то на расстоянии этих двух точек

может уместиться и все прочее разнообразие явлений жизни, всегда прикосновенных и к одной точке и к другой. И в европейской литературе также названия подобного рода трудов часто исчерпываются только этими двумя словами: «Природа и человек» или «Отношения человека к природе». Ну, словом, в этом роде. Не знаю, так ли, нет ли, но я все-таки взял перо и начертал: «Человек и природа» — конечно, русские — и принялся за дело... Но как тебе покажется? Вижу, чувствую, что есть в общей картине нашей жизни нечто такое, что иной раз совершенно нарушает всякие законы природы и совершенно неожиданно ставит человека в невозможное положение. Есть нечто такое, что, вторгнувшись между человеком и природой, произведет необыкновенную путаницу и там и там, и главное, когда действие этого неожиданно вторгнувшегося таинственного элемента прекратится, не оказывается никакой возможности понять, во имя каких целей произошло это вторжение. Думал, думал я, потел, потел, наконец вижу.. Нет! Нельзя мне именовать свое сочинение только двумя словами: «Человек и природа», а надобно прибавить к ним и третье, самое важное, и тогда определение моей задачи будет полное...

— Как же ты придумал?

— А придумал я так: «Человек, природа *и... бумага*!» — да, вот подлинное указание на самую существенную, исходную точку всех тайн нашей жизни.

— Откопал же ты штуку, нечего сказать!

— И откопал! Действительно, добрался до самой сути... *Бумага!* — вот это и есть самый центр!

— По-твоему, — прервал я его, — бумага-то и есть центр зла? По-твоему, значит, мы духовно мертвы только потому, что смерть и тлен в нашу совесть вносит бумага? Да можешь ли ты это даже думать?

— Напротив! Никогда ничего подобного мне и в голову не приходило. Чтобы бумага наша когда-нибудь вокруг себя рассеивала зло? Никогда! Я положительно утверждаю, что эта могущественная сила постоянно блистала полным отсутствием даже самой тени каких-нибудь злоумышленных целей. Напротив, в ней всегда писалось, чтобы люди жили «как лучше», она постоянно *предусматривала* всевозможные случайности нашей ничтожной обывательской жизни и предостерегала от них.

Еще на днях я читал приказ по полиции — не опускать у магазинов маркизы ниже трех с половиною аршин, потому что третьего дня один прохожий, задумавшись, повредил себе лоб, то есть стукнулся о раму маркизы. Извозчики, прежде нежели вылезти из саней и потоптаться на тротуаре, чтобы согреться, должны узнать у городового, сколько градусов мороза! При десяти градусах они не могут вылезти из саней и, следовательно, не могут «погреться», и только на одиннадцатом им разрешено начать греться какими угодно способами. Когда же до «сведения дошло», что городовые начинают брать с извозчиков взятки за прибавку градусов, и когда сам господин пристав собственными ушами слышал, как городовой Семенов сказал извозчику: «Ну, пес с тобой, неси сороковку! Накину я тебе, дураку, градуса, пожалуй, на два!» — то тотчас же явился циркуляр, разоблачающий все эти злоупотребления, отрешающий виновных от должностей и прочее... Словом, всякая в буквальном смысле бумага стремится совершить только добро и только печется о человеке...

— Ну, стало быть, виноват кто-то другой, а не бумага. Зло, стало быть, вовсе не в ней. Она добро?

— Да!

— И из нее выходит, однакоже, зло?

— На это я тебе скажу вот что... Я тебе изображу нечто беллетристическое... Так будет яснее... Представь себе, что ты или я был как-нибудь на днях на концерте, театре или клубе. и случайно познакомился с очень хорошенькою вдовушкой или девушкой...

— Представил.

— Хорошо! Представь теперь еще и то, что она мне очень и очень понравилась...

— А ты ей?

— И я ей также, само собой, понравился. Дальше — больше, у меня возникает мысль написать ей письмо. «Нельзя ли, мол, видеть вас потому-то и потому-то? Необходимо поговорить о том-то, и позвольте, мол, мне прийти, или вы ко мне приходите... Адрес там-то...» и так далее... Написал я это письмо, положил в конверт, наклеил марку — в ящик. На письмо приходит ответ: «Я согласна... в таком-то часу... Мне самой надо было с вами поговорить». Я иду, мы видимся, говорим, и затем

дело идет так, как покажут обстоятельства: разойтись придется — разойдемся; жениться — женимся. Словом, как вообще идут такого рода дела... Худо ли, хорошо ли, а ответ за все только на нас двоих — не правда ли?

— Совершенно верно!

— Теперь представь себе, что в такие-то наши отношения вмешалась «бумага». Она ведь все предусматривает и постоянно стремится, чтоб *все было по-хорошему*? Да? Конечно, да! И вот она предусмотрела, что молодые мужчины, познакомившись где-нибудь с молодыми женщинами, обыкновенно продолжают знакомство письмами, причем «усмотрено», что письма эти сначала всегда вызывают на необходимость какого-то *якобы* серьезного разговора («нет ли у вас «Исповеди» Толстого?»), но что в сущности этими *якобы* серьезными мотивами прикрываются совершенно не те побуждения и что «управлению» известно множество примеров, когда, начав с необходимости «о многом говорить», молодые люди вовлекали девиц в величайшие несчастия, причиняли расстройства в семействах, бывали причиною преждевременных смертей. С другой стороны, «управлению» также известно, что и девицы, начав знакомство с молодыми людьми под неопределенным предлогом узнать от них: «где исход?», — побуждали их к законному браку и впоследствии не только не оказывались «подругами жизни», но, напротив, вынуждали расхищать земские сундуки и предавались расточительной жизни, доводя в конце концов мужей своих до скамьи подсудимых... Так вот, принимая все эти случаи во внимание и желая оградить обывателей от сетей и обманов недобросовестных личностей мужского и женского пола, а также ввиду «предотвращения» самоубийств, расхищений, растрат и других преступлений, «управление» находит нужным обязать молодых людей, переписывающихся между собою, — *во избежание могущих произойти неблагоприятных последствий* — представлять любовные письма в канцелярию управления, которое, проверив положение пишущего, не иначе препроводит письмо по назначению, как тщательно проверив показания переписывающихся: не женат ли мужчина? какое серьезное дело он хочет объяснить? не расточительница ли скрывается под словами неопределенной фразы «где исход?», имеются ли

достаточные средства к жизни? Управление возьмет твое письмо, проверит, вызовет свидетелей и, убедившись, что ты хочешь в самом деле говорить серьезно, препроводит твое письмо чрез околодочного к Марье Андреевне под ее расписку. Письмо же Марьи Андреевны точно таким же порядком будет расследовано в том же управлении, причем и сама Марья Андреевна и прислуга будут спрошены самым деликатным образом. И по проверке всего этого, ежели ничего подозрительного не окажется, она получит твое письмо, а ты ее — точь-в-точь как бы по почте. В случае же Марья Андреевна, которая в письме просит «Исповедь», на допрос в управлении явится надушенная и расфранченная, управление, в предупреждение могущих произойти неблагоприятных для тебя последствий, не выдаст ей твоего послания и ее послания не передаст тебе и таким образом предохранит вас обоих от расхищения земского сундука. Ну скажи, пожалуйста, разве все это делается с худыми целями? Не к твоему ли благу все это предпринимается и не для твоего ли благополучия управление предусмотрело тысячи несчастных случайностей? Наконец, ведь письмо твое дошло, только Марья Андреевна получила его «при бумаге» и только после расписки. Что ж, разве трудно расписаться — «Марья Колпакова», и разве обидна бумага, в которой только и сказано, что: «прилагая при сем любовное письмо служащего на Ряжско-Вяземской дороге сына дворянина Андреянова, имею честь предупредить ваше благородие, что, в случае вовлечения молодого человека в земскую растрату, вы имеете подвергнуться всей строгости закона»? Это ведь простая формальность — и даже не написано, а напечатано, хоть и не читай. А подумай-ка хорошенько, сколько эта бумага и формальность умертвили твоей собственной души. Ведь, во-первых, ты и Марья Андреевна будете думать не друг о друге в ожидании, положим, вызова в управление, а уж об управлении, *как там решат*. Не будь этой бумаги, ты в ожидании свидания, может быть, до мелочей анализировал бы *свою* жизнь, все прошлое и старался бы проникнуть в будущее, а тут ты анализировать будешь все то же управление: как оно на тебя посмотрит? как оно посмотрит на Марью Андреевну? Тут между вами, между вашими личными отношениями, вошло что-то постороннее, вошло

с заботой, с предостережением, с усмотрением; но вашему-то личному чувству надобно уж молчать и ждать, а вашему исполненному приятных мечтаний воображению надобно уже проникать во что-то чужое вам, и, разумеется, от этого вмешательства бумаги в ваши личные желания и дела только меркнет и гаснет ваше чувство и тупеет ум.. Именно вот это-то притупление чувства и ума я и замечаю во всем современном русском обществе, а дел... хлопот... изнурения... видимо-невидимо! И всё — «впустую», потому что мы отвыкли даже желать своего, а всё ждем, что́ заставит нас желать бумага...

— Но ведь то, что ты сейчас говорил, небылица, больше ничего! — возразил я приятелю.

— Конечно, небылица, но я и былей мог бы тебе сказать столько, что ты только бы развел руками.

— Ну, рассказывай!

Приятель мой сдержал свое слово. В одну из наших встреч он с документом в руках весьма основательно подтвердил сделанную им характеристику значения той силы, которую он именовал «бумагой». Пользуясь этими документами моего приятеля, я постараюсь вкратце познакомить с ними читателей в моем собственном пересказе.

3

Один из этих документов, рисующий «человека» и «природу» без участия третьего, главнейшего элемента нашей жизни, заимствован из первого тома литературных прибавлений к газете «Восточное обозрение». В прекрасной, живо написанной статье г-н Ядринцев рассказывает о своих путевых впечатлениях среди русских раскольнических общин, устроившихся каким-то чудом и процветающих на самой дальней границе России с Китаем. Эти раскольнические общины были, как клад, зарытый в землю, *открыты* при императрице Екатерине около границ Китая в Алтайских горах, куда тогда еще не проникала бумага. Они жили совершенно независимо и образовались ранее прошлого столетия из беглецов и раскольников, искавших убежища в горах и лесах. До 1878 года они не несли воинской повинности, и вот в каком виде нашел их г-н Ядринцев во время своей поездки на Алтай.

Прежде всего оказывается, что наши великороссийские черноземные мужики превратились в совершеннейших горцев, весьма удобно приладившись к условиям горной местности. Кстати сказать, Алтайские горы — горы *в самом деле,* настоящие. Вот как описывает г-н Ядринцев эту местность: «Когда мы приближались к вершинам Бухтармы, горы становились все выше, хребты поднимались пирамидально из долины, река неслась иногда в ущелье, в каменистых берегах, бушевала, пенилась. Возле Черновой открылись бухтарминские пороги; вода *кипела* в них. Кругом дикие горы и ущелья, поросшие лесом. Нарымский хребет был особенно величествен». И далее, за станцией Черновой «горы еще величественней, на склонах были леса, а вершины были каменисты, выступая гребнями и сопками. На величайшей вершине лежала, как говорили крестьяне, *зацепившись за белок,* темная туча»... Словом, природа, как видите, вовсе не «крестьянская», и, однакож, крестьяне единственно только под давлением нравственного побуждения *жить в мире* сумели не только не погибнуть в непривычной для них обстановке, но, как увидим ниже, устроились самым завидным образом.

В непривычной для мужика обстановке, кроме совершенно диковинной для него природы, не последнюю роль играла и «чужая сторона» с чужими враждебными соседями, китайцами, киргизами, с которыми у пришлецов должно было быть множество столкновений, обыкновенно переходящих в такого рода пограничные затруднения, которые разрешаются вмешательством правительственных войск. Однако вот оказывается, что «все здесь тихо и мирно: и к китайцам в гости ездят, и халаты приобретают, да и рыбой давно пользуются, ходя артелями за границу без всяких паспортов и трактатов». «В этой способности ориентироваться (в чужой земле) и, заняв места, отстоять их — заключались немалые таланты и сказалась не одна сила, но и ум» (стр. 25). «Он (пришлец-крестьянин), являясь (в чужое место и среди чужих людей), показывал свою силу, свое право, энергию, настойчивость, но потом вступал в дружественный договор», так как, повторяем, ему нужен был только безусловно один *мир* (стр. 24).

Таким образом, исключительно своим умом, уменьем и исключительно только при помощи самого простого человеческого побуждения «жить» на белом свете, и притом жить в «мире», крестьяне, поселившиеся в Алтайских горах, представляют собою в высшей степени замечательное явление; они, по словам г-на Ядринцева, сформировались в могучую, богатырскую расу. «Население это крупное, рослое, атлетического телосложения; один известный нам охотник-крестьянин напоминает просто богатыря». Казачий офицер, сам здоровый и коренастый мужчина, передавая г-ну Ядринцеву свое впечатление от рукопожатия этого колосса, говорил, что «его собственная рука показалась ему рукою ребенка, когда колосс пожал ее».

Не только мужчины, могучи и сильны здесь также и женщины: «В Алтае, — пишет г-н Ядринцев, — мы видели девицу — аршин в плечах, поднимавшую 12 пудов» (стр. 46). «Однажды, подъезжая к деревне, я увидел, — говорит г-н Ядринцев, — двух приближавшихся всадников в ярких костюмах, точно французских гусар. На голове у одного была красная шапка с позументом. «Кто это скачет?» — спросил я у ямщика. «Да это наши бабы!» В другой раз я рано утром пил чай в деревне. Это было часов в шесть утра. По всей улице стояли у ворот привязанные верховые лошади. Через несколько времени начали выходить из ворот старухи и бабы с ребятами; они смело влезали на лошадей верхом по-мужски, прилаживали на седле малолетков и отправлялись из деревни. Я заметил, что у каждой старухи через плечо был холщовый мешок. «Куда это у вас старухи собрались, не в поход ли?» — спросил я хозяйку. «Зачем в поход! Молодые-то теперь на работе, а старухи на пчельники поехали, да и ребяток с собой захватили». — «Зачем же верхом?» — «А разве в наших местах иначе проедешь? Горищи — страсть, крутизна! А ничего, мы привыкли!»

Правда, у этих богатырских женщин и девиц иной раз случаются некоторые ошибочки против «правил благопристойности»; г-н Ядринцев сообщает, что «у них будто бы существует свобода любви и короткие связи называются просто «птичьим грехом», что девице не ставится в грех, если она до замужества жила с кем-нибудь, но по выходе замуж она обязывается быть верною своему мужу». Но такие ли грехи творят, например,

кавказские горцы, которые, как сванеты, истребляют новорожденных детей, особенно девочек, засыпая им рот горячею золой, или осетины, стискивая деревянным корсетом грудь девушки с детских лет и не давая ей развиться как органу кормления детей? Это уж грех не птичий, а человеческий, и называется он детоубийством, совершаемым к тому же с своекорыстными целями: иметь как можно меньше детей, чтобы женщина могла больше работать на своего господина. Алтайские же греховодницы по выходе замуж беспрепятственно увеличивают народонаселение, так что, например, в Кумышском округе в течение столетия из *10 семей* таких же греховодников-богатырей население разрослось *до 1260* душ народа, как уже сказано выше, рослого, могучего, работящего, вполне к тому же сохранившего свои симпатии к крестьянству. «Некоторые из крестьян в деревнях по Бухтарме сеяли хлеб на высоте 4000 футов. Сено косили в таких ущельях, что его приходилось вывозить верхом, связывая в охапки». Хлебопашество в некоторых горных деревнях идет в настоящее время так хорошо, что крестьяне имеют возможность выгодно сбывать излишек: 4000 пудов ржаной муки они поставляют в зырянский заводский магазин. Кроме хлебопашества, они занимаются скотоводством, пчеловодством, ведут меновую торговлю с киргизами, китайцами, давая в обмен юфть, топоры, звероловные капканы, ножи и другие железные вещи, а также соль, муку и особенно зерновой ячмень.

Общее впечатление, вынесенное г-ном Ядринцевым из его поездки по Алтаю, по горным крестьянским деревням, оказалось самым светлым и ободряющим: *«можно жить на белом свете»* — вот какими словами можно бы выразить сущность всего, что рассказал нам г-н Ядринцев.

Посмотрим теперь, что выходит, когда между человеком и природой появляется «содействие» самой гуманнейшей бумаги, предусматривающей всевозможные вопросы колонизации, тщательно их предупреждающей и вообще пекущейся совершенно бескорыстно и безукоризненно о благосостоянии «человека». Материалом для ознакомления читателя с опытом колонизации этого последнего рода послужит нам статья г-на Шаврова, напечатанная в «Северном вестнике» (1886 г., № 7),

в которой г-н Шавров подробно рассказывает, как приводились в исполнение, например, всевозможные проекты, изобретавшиеся для колонизации еще и ныне довольно пустынного черноморского побережья. Начало этим проектам и мероприятиям относится ни много ни мало, как к 1804 году, когда черноморское побережье было присоединено к владениям России и когда впервые было понято государственное значение этого побережья.

Это «государственное значение» черноморского побережья сделалось понятным для государства и поддерживалось с 1804 года тогдашним начальником края князем Цициановым. С тех пор и до настоящего времени все замечательные деятели, управлявшие Кавказом, единодушно признавали, что, очистив побережье от непокорных горцев, с которыми пришлось вести тяжкую и дорого стоящую войну в течение шестидесяти лет, Россия, во избежание повторения того же самого, нуждается в колонизации очищенных горцами земель преимущественно «русским элементом».

Так вот с 1804 года и до настоящего времени с неусыпною энергией все замечательные деятели Кавказа единодушно напрягают все силы, чтобы водворить на Кавказе русский элемент. Этот *элемент* и сам бы, вероятно, явился сюда в значительном количестве, потому что ему надо пить-есть и жить мирно; но для задач «бумаги» такой цели, как «пить-есть», слишком мало.

Прежде всех начал оперировать над «элементом» генерал Раевский. Он «задумал широкий план — обратить береговые укрепления в торговые пункты и водворить при них русские поселения, которые, производя постоянный торговый обмен с горцами, содействовали бы сближению последних с русскими и сделали бы ненужными постоянные военные действия» (стр. 22). С *этою целью* (заметьте: с целью *торговли!*) генерал Раевский испросил разрешение пересылать на казенный счет семейства *солдат* для образования поселений и, «несмотря на все затруднения, успел-таки поселить 1520 русских семейств».

Итак, *солдаты,* ввиду государственной важности, должны были превратиться в *купцов* и не маршировать, а *торговать.* Но этого мало. *«Кроме торговли с горцами»,* генерал Раевский успел «обратить деятельность поселенцев на *рыболовство* и *каботажное* плавание, с целью

создать на черноморском побережье *морское население»* (стр. 22). Преемник его, генерал Анреп, хотел все это уничтожить, но не успел, потому что передал власть генералу Серебрякову, продолжавшему дело Раевского до Крымской войны, которая все это прекратила, и «элемент», превращенный из мужиков в солдат, из солдат в купцов, в садоводов, в рыболовов, в мореплавателей, разбежался неведомо куда, и берег опять опустел. «*Усилия,* — говорит г-н Шавров, — этих генералов оказались бесполезными для России»; а каково было «элементу» кряхтеть — об этом ничего не сказано.

В 1864 году черноморское побережье было окончательно покорено, горцы все ушли сами, перетонули в море, перемерли от холода и голода. Причиною этого бегства были меры генерала Евдокимова, который стал переселять горцев в долины, а казаков в горы. Вследствие бегства горцев побережье совершенно «обезлюдело» (стр. 25), и опять надобно было взять за бока все тот же «элемент».

«При составлении *первого* (первого после уже «бывшего» другого *первого,* который, как мы видели, оказался бесполезным) проекта колонизации черноморского побережья приняты были в основание *самые рациональные* исторические, практические и государственные соображения о значении, которое имела эта пограничная область в общей системе Кавказского края. Кроме того, *не было забыто* и общее государственное значение восточного берега в развитии русского могущества на Черном море». Ввиду всех этих соображений «предполагалось в наиболее удобных морских пунктах образовать приморские станицы из азовских казаков с прибавлением к ним посторонних лиц из казаков, отставных солдат и вольных людей. . .»

Все эти люди, превращаясь просто в «русский элемент», «*предназначались* чтобы служить началом *будущих коммерческих портовых городов,* а потому *всю деятельность* новых поселенцев предполагалось *направить* на рыболовство, судостроение и каботажное плавание. . . Затем вдали от берега предполагалось поселить несколько казачьих поселений для обороны на случай войны» (стр. 28). Так как время тогда было военное, то заселение побережья казацкими станицами началось

немедленно, и для начала было поселено около 15 станиц; но затем все это было *приостановлено* вследствие того, что к военным соображениям постепенно примешались соображения гражданские: *вдруг*... всем *показалось* следующее: «Казак в полном вооружении, конный или пеший, но обязанный нести постоянную военную службу, *стал казаться самым непригодным* поселенцем для богатейшей по своей производительности страны, которая требовала интенсивной земледельческой культуры и таких знаний в сельском хозяйстве, которые недоступны для служилого казака. Самое его военное звание казалось большим препятствием к правильному ведению сельского хозяйства. Немало приведено было доказательств, что для казака невозможно вести успешно интенсивное хозяйство, заниматься культурою винограда, виноделием, разведением ценных растений. Словом, казак был признан непригодным для *быстрого* экономического преуспеяния края, и дальнейшее устройство казачьих станиц было приостановлено» (стр. 29).

Вот каков был этот проект.

Как видит читатель, на шею «русского элемента», желающего только всего «пить-есть и жить в мире», проект, принимавший во внимание политические, государственные, исторические, экономические соображения, возлагал оборону, культуру, интенсивное хозяйство, развитие морского могущества, садоводство, виноделие, рыболовство, земледелие. Все сие должен был совершить «элемент», собранный из азовских казаков, отставных солдат и вольных людей. Такова была задача военного управления. Когда же все эти станицы разбежались, и «элемент» рассеялся «кто куда», «не пимши и не емши», тогда началась деятельность гражданская.

Задача гражданского управления была такова. В трех пунктах побережья учреждены были попечительства, «на обязанность которых было *возложено* попечение об успешной колонизации побережья, о привлечении сюда иностранных колонистов и введении при помощи их высшей земледельческой культуры и интенсивного сельского хозяйства в оставшихся (пустыми, конечно) казачьих станицах и во вновь *имеющих поселиться русских колониях»*... Обратите внимание на коренное свойство «бумаги»: никаких русских колоний нет, не существует, а уж

обязанность введения *в них,* в тех самых, которых и в помине-то нет, введения интенсивного хозяйства уже *возложена* на кого-то, и кто-то эту обязанность смело решается взять на себя, кто-то уже говорит: «водворю!» и требует оклада жалованья. Приняв эту обязанность, попечители *возложили* ее в свою очередь на колонистов, но в конце концов «колонизация не могла идти успешно, и многие из колонистов, ввиду смертности товарищей и собственной болезненности, теряли бодрость и просили о перемещении их в другие места или об отправлении их на родину» (стр. 31). Эта смертность и болезненность произошли, во-первых, от того, что *«подробной съемки* черноморского побережья *сделано не было»* (стр. 29), что *энергическое* стремление водворить как можно больше колоний вызывало *случайное* их расположение — в таких местах, где, *по мнению попечителей,* встречались *более удобные* места для колоний». Переселенцы же, «явившись из северных провинций», не могли соблюдать гигиенических предосторожностей, потому что, устраиваясь (*по мнению попечителей,* более удобно) в диких лесах и болотистых долинах, были предоставлены единственно только собственным своим силам (стр. 30). «Правительство не жалело средств для помощи колонистам, но пособия были определены по одной общей норме для всех лиц, желающих водвориться на всем побережье». Кроме того, при отсутствии путей сообщения (это также оказалось неожиданно) доставлять провиант поселенцам было нелегко, сохранять его на открытом берегу было еще труднее, и потому естественно, что переселенцы терпели немало лишений и подвергались болезненности, несмотря на энергические заботы. В конце концов *выяснилось,* что «без устройства путей сообщения колонии, разбросанные по горам, ущельям и долинам, не могут развиваться и достигнуть благосостояния» (стр. 31). Таким образом окончился еще один период «энергической деятельности»; но тотчас же, «без передышки», начался новый, то есть снова-здорово взялись с новою энергией за то же самое дело.

Так как оказалось, что без путей сообщения жить нельзя и что водворение интенсивного сельского хозяйства и высшей земледельческой культуры немыслимо без затраты на то и другое (на дороги и культуру) огромных

капиталов, то гражданское ведомство и стало «изыскивать средства», и с 1871 года «правительством были приняты *всевозможные меры,* указываемые экономическою наукой, для *быстрой* и успешной колонизации».

В помощь к водворению земледельческих колоний (которые все, к сожалению, *уже* разбежались неизвестно куда) административным путем *создана* была на черноморском побережье *крупная земельная собственность.* Привлечены капиталы и капиталисты для культуры этой богатейшей нашей окраины (стр. 32).

Кстати здесь сказать, что мысль о *создании* на Кавказе крупной собственности явилась гораздо ранее 1871 года, именно тотчас же после того, как ушли горцы, и побережье опустело. Тотчас же «признано было справедливым выделить некоторую часть опустевшей земли в вознаграждение *славных участников покорения Кавказа»* (стр. 31). Ввиду этих соображений в руки участников покорения Кавказа (из лиц военного и гражданского ведомств) перешло следующее количество земель: 1) передано в военное ведомство для раздачи по пожалованьям — 23 000 дес.; 2) передано в распоряжение закавказской лотереи с благотворительною целью — 2000 дес.; 3) пожаловано разным лицам 26 264 дес. и 4) отведено разным лицам, на основании устава о горном и сельском хозяйстве, 6784 дес.

Все сие, оказывается, было сделано еще до возложения на «русский элемент» исторических, политических, мореходных, оборонительных, рыболовных, виноградных, хозяйственных, торговых, каботажных, культурных и всяких интенсивных обязанностей. Когда же «элемент» разбежался, «не пимши и не емши», тогда, повторяю, тотчас же была *создана* крупная поземельная собственность. Начало ее, как мы видели, было довольно прочно положено еще до появления «элемента», теперь было продолжение: в начале 1871 года опубликованы были правила для продажи земель. Московские капиталисты воспользовались этим и приобрели более 50 000 дес. земли по 10 р. за десятину, с уплатою в течение 10 лет, по 1 р. в год. Впрочем, еще ранее этого времени в Москве родилась мысль об образовании товарищества с целью приобретать на Кавказе земли. Первое товарищество ходатайствовало о продаже ему земель в долине Эльдар;

но барон Николаи, начальник главного управления, отклонил это ходатайство на том основании, что «предполагалось отдать барону Таубе 600 000 дес. земли *даром* — с обязательством образовать общество для ирригации долины». Вообще, как видно, капитал не дремал, спешил содействовать процветанию покоренного края задолго до «мер, указываемых экономическою наукой» и бывших причиною появления правил 1871 года. Но, к сожалению, опять явились препятствия к осуществлению указаний экономической науки, именно: *«незнание местных условий,* отсутствие морских и сухопутных сообщений и неопределенность положения новых землевладельцев, не имевших понятия, где *будут* (!) города и *где проложатся пути сообщения»*. Кроме того, «точной съемки, точных границ купленных участков» сделано не было. Вследствие этого большинство участков, купленных на основании правил 1871 года, *до сих пор* еще не отмежеваны в натуре, а потому нет ничего удивительного, что капиталисты не решаются затрачивать капитал (стр. 33). «В силу всех вышеприведенных затруднений, — говорит г-н Шавров, — несмотря *на все усилия* (!!) гражданского ведомства, все земледельческое население Черноморского округа составляет не более $11^1/_2$ тыс. душ, в числе которых 8 тыс. казаков, поселенных военным ведомством».

В 1880 году великий князь Михаил Николаевич поручил генералу Старосельскому отправиться в Черноморский округ, «ознакомиться ближайшим образом с состоянием его *во всех частях* его устройства, причем выяснить причины, препятствовавшие успешному осуществлению тех целей, к которым правительство с немаловажными материальными пожертвованиями доселе стремилось».

16 октября 1880 года дан был этот приказ, а 14 мая 1881 года генерал Старосельский, *ознакомившись с делом во всех частях* и выяснив *все причины,* представил свой доклад. Что было в этом докладе, осталось, к сожалению, неизвестным, потому что «в это время» произошло упразднение самого наместничества «и преобразование *всего* административного *строя...»* Таким образом, в конце всех этих *усилий* на всем огромном прибрежье еле-еле водворено $3^1/_2$ тысячи поселенцев самого

разношерстного сорта, разноплеменного, разноязычного, и в то же время не осталось *ни одной пяди свободной земли*.

— Как? — воскликнул я в недоумении, когда мой приятель произнес слова, написанные в последних строках. — Никто еще на побережье не живет, а земли уж нет?

Приятель мой развел руками, вздохнул и сказал:

— Увы, все это именно так и есть! Никто еще на побережье не живет, а земли свободной нет ни одной пяди. . .

— Да неужели же это правда?

— Чтобы ты убедился, что я не лгу, — вот тебе и еще очень солидный документ: процесс некоего мещанина Данкова. Прочти его и вразумись.

Вот этот замечательный процесс.

4

«Господа присяжные заседатели! Обратите ваше внимание, что я заключен в тюремный замок, где и нахожусь уже более четырнадцати месяцев, а жена и дети мои, будучи без моей единственной помощи, доведены до неслыханного крайнего разорения. В настоящее время уже наступила холодная зима, а у жены моей и детей моих малолетних, от семи и до двенадцатилетнего возраста, не осталось ни одежды, ни обуви, ни теплой квартиры и даже необходимой постели; все, что было необходимое, последовало в залог заимодавцу-еврею по десяти процентов на рубль в месяц с рекамбиями, да и у меня уже не осталось ни обуви, ни одежды, кроме арестантской. Это злосчастное испытание я с моим семейством выношу незаслуженно, выше всякого *современного христианского терпения*!»

Вот как плакался перед господами присяжными заседателями 29 ноября 1883 года некто мещанин Иван Васильев Данков, преданный суду курского окружного суда. Он уже не молод, ему 54 года; маленькие глаза его слезятся от долгого тюремного заключения, и на лице лежит печать страдания и усталости. «Говорит он, — по словам хроникера, — с полным сознанием своей правоты, но вол-

нуется и иногда до того, что нюхает нашатырный спирт из простого пузырька».

В чем же провинился и за что потерпел бедный мещанин? «Лишь за то только (мы цитируем по его собственному показанию), что взял на себя труд помочь до крайности обедневшим крестьянам, по малоземельному наделу при дурных урожаях и поднятию цены арендной платы до 30 рублей за десятину под озимый посев, а заработная поденная плата от многолюдства бедных — не свыше 20 коп. на своем содержании, что недостаточно и одного работника прокормить, не только семейство».

Так вот какие цели имел мещанин Данков, но так как он желал осуществить их на основании тех «попечительных» слов, которыми искони блещет «бумага», всегда стремящаяся сделать «как лучше», то и оказалось, что вместо помощи «обедневшим» крестьянам, он очутился на скамье подсудимых, предварительно просидев в остроге 14 месяцев.

Первая «бумага», которой поверил Данков, была бумага газетная — именно № 2123 «Нового времени», в котором была напечатана статья о раздаче желающим земель в Черноморском округе. Вот в каком виде нашли мы в бумагах Данкова этот газетный лист: сложенный в три раза в длину и перегнутый потом пополам, он весь пропитан каким-то желтым составом, точно маслом, и как бы истлел. Оказывается, что этим составом, похожим на масло, пропитала газетный лист собственная грудь Данкова. Он и сложил-то его таким образом, как описано выше, для того, чтобы удобнее приладить его к своей груди, ибо такую драгоценность, по мнению Данкова, должно было свято хранить только на груди, у самого сердца. А драгоценность в газетном листе была не маленькая: там говорилось *«о льготах и преимуществах лиц, водворяющихся в Черноморских прибрежных поселениях»* на основании *«Положения»* 1866 года.

Между прочим там было сказано, что, по § 30-му этого *«Положения»*, лица, приписывающиеся к черноморским побережным обществам: а) не вносят денежных платежей в пользу вспомогательного капитала отставных нижних воинских чинов; б) освобождаются от натурального воинского постоя; в) освобождаются от крепостных, канцелярских и гербовых пошлин, а также от употребления

гербовой бумаги; г) производят без платежа акциза рыбный промысел в водах Черного моря; д) беспошлинно производят торговые и промышленные действия, устраивают мануфактуры, фабрики и заводы; е) освобождаются от платежа податей и отправления денежной и натуральной воинской повинности (§§ 19, 22 и 27 *«Положения»* 10 марта 1866 г.). Кроме того, по § 31, государственные крестьяне получают из запасных магазинов все то количество хлеба, которое по числу их душ причитается из наличных в то время запасов; сверх того, они, если представится надобность, снабжаются заимообразно денежным путевым пособием и пользуются в пути содействием и покровительством власти. По § 32, получают лес и строительный материал. Необходимые для обстройки камень, песок, известь и проч. поселенцы добывают безденежно, по своему усмотрению, на всех свободных землях в пределах черноморских прибрежных поселений. По § 33: а) на первое обзаведение и устройство жилищ выдается, в случае отпуска леса, по 20 р., а без леса — по 35 р. на каждое семейство; б) на приобретение рабочего скота и земледельческих орудий от 15 до 20 р. на каждое семейство. Такие денежные выдачи производятся безвозвратно (§ 34). По § 35, на общинном праве получают землю, в размерах, не превышающих тридцатидесятинной пропорции на каждый двор или целую семью, считая (в 30-ти десятинах) одну удобную землю, то есть пахотную, сенокосную и выгонную, на хуторном праве также. По § 37, эти переселенцы пользуются указанными льготами в течение пятнадцати лет со дня утверждения *«Положения»* (то есть с 10 марта 1866 года).

Эти превосходные параграфы, как видите, способны очаровать не только человека, ищущего «куска хлеба», а решительно всякого даже вполне обеспеченного каким-нибудь чиновничьим местом. Все дается даром — и земля и леса в благословенных местах; ни солдатчины, ни податей нет; дают даже денег, «коли ежели потребуется». Понятен восторг и благоговение, которые охватили Данкова, когда он узнал об этом, так как материальное положение его, уже пожилого человека, было поистине бедственное.

Бывший дворовый, он после освобождения крестьян вынужден был кормить большую семью (жена и пять че-

ловек детей от семи до двенадцатилетнего возраста) всякой поденною работой в уездном городке и постоянно нуждался и даже бедствовал, «потому что не мог найти для себя должности или работы, дающей необходимые средства для пропитания, одежды и обуви своему семейству, и дать детям своим грамотное и ремесленное обучение».

Чтобы выйти из такого бедственного положения, Данков вздумал уйти из Курской губернии и искать счастья по белу свету. 13 июня 1879 года, взяв с собою старшего сына и оставив семью в собственном домишке при деревне Ольшанце «без всяких средств к содержанию», ушел буквально куда глаза глядят.

Пешком дошел он до Киева и здесь кое-как поместил своего сына в бакалейную торговлю к купцу «в мальчики» на четыре года. Для себя же, по случаю летнего времени и выезда господ на дачи, в имения и вообще вследствие летнего затишья, не мог приискать «полезной должности». Пробыв в Киеве месяц, он «надумал» идти в Полтаву на ярмарку; но отправившись туда пешком, опоздал: ярмарка разъехалась. Из Полтавы он, также пешком и побираясь Христовым именем, добрался до Харькова; здесь он случайно встретил знакомого каменщика-поденщика, у которого и приютился, сделав в справочной «конторе» объявление о месте. Но и здесь, прождавши места около месяца, ничего не добился; дело дошло до того, что каменщик, у которого он «приткнулся» жить, сам нуждаясь в каждой копейке, объявил своему другу, что он долее не может его кормить — «нет способов!».

Нужно было уходить, опять-таки куда глаза глядят. Вот в это-то время ему и попался обольстительный номер «Нового времени», и можете представить, какое сильное произвел он на него впечатление. «Прочитавши эту статью в газете, — пишет сам Данков, — и находившись от моих неудач более чем в грустном состоянии, зная, что семья моя осталась без запаса дневного пропитания и ждет от меня единственно помощи, я решил отправиться в Черноморский округ, куда и прибыл 4 ноября 1879 года, а восьмого того же ноября поступил на должность в гостиницу с номерами за 8 р. в месяц, да за услугу проезжим господам был вознаграждаем по 10 р. в месяц, что

и дало мне возможность посылать моему семейству для дневного пропитания».

Почти тотчас по прибытии в окружный город Данков отправился в управление и выправил там свидетельство для предъявления попечителям Вельяминского и Сочинского отделов, в которых он хотел искать себе местечка; но так как средств для поездки по побережью и осмотра его у него не было, то он решил терпеть до весны; и действительно, около 10 мая 1880 года отправился по побережью. Был в Туапсе, в Сочи, где прожил более месяца, рассматривая места, расспрашивая людей, и, убедившись, что здесь «рай земной» и что «лучше не надо», возвратился в окружный город прямо в «управление», заявив желание получить право на поселение в так называемом Пластунском участке. В канцелярии управления ему сказали, что *одному ему с семейством поселиться нельзя,* что управление *считает это* неудобным, но что *оно желает* населить пустопорожние места *большим количеством семейств.*

«Я тут, — говорит Данков, — высказал, в чем сознаюсь откровенно перед судом, что к переселению в такой благодатный край, как я лично убедился, при таких благодатных правах, какие дарованы 10 марта 1866 года, желающих к переселению должно оказаться весьма много. Это я высказал — *непогрешимо,* потому что, проживая с малолетства в Курской и Орловской губерниях, я постоянно слышал и видел крайнее стремление чернорабочего люда к переселению, как лестное для поселян. . Управление высказало, что оно весьма было бы радо, если бы явились в Черноморский округ крестьяне, почему и советовало мне отправиться на место моего жительства и пригласить желающих переселиться в Черноморский округ. Слушая это, я объявил, что словесного поручения его я исполнить не могу: мне никто не поверит, чтобы управление поручило говорить об этом с крестьянами такому лицу, как я. Г-н начальник сказал, что он выдаст *удостоверение* для объявления крестьянам, и тут же на моем прошении и написал резолюцию в этом смысле».

9 сентября 1880 года действительно выдано было Данкову из канцелярии начальника округа официальное удостоверение такого рода: *«В округе имеются в значительном количестве свободные и годные для переселения*

земли, как осмотренные уже Данковым, так и другие. Если явятся уполномоченные (до 1 января 1881 года — срок действия правил о заселении и льгот), то препятствий для переселения со стороны администрации не будет».

Здесь же, в канцелярии, Данков купил книжку г-на Верещагина, в которой правила были подробно напечатаны, и, в видах предосторожности и подлинности этих правил, попросил сделать на книжке надпись, что она приобретена в канцелярии управления.

С этими, как видите, совершенно подлинными документами Данков опять-таки пешком отправился на родину в Курскую губернию, куда и прибыл в ноябре 1880 года, «заставши, — как пишет он в собственноручной записке, — семью мою *без особого запаса к жизни.* Поосмотревшись дома и повидавшись с родными и знакомыми, запасши нужное для дома содержание чрез продажу единственной коровы за 33 руб., я (продолжает Данков в собственном показании) долгое время оставался дома для поправки одежды и обуви своего семейства и запасаясь на зиму соломой для отопления; а между прочим ко мне приходили для свидания и узнания о правах поселения в Черноморском округе. Имевши у себя удостоверение и печатные правила о наделе и количестве земли и о льготах, я свободно говорил моим родным и знакомым о том, что́ в правилах сказано и что́ сам я видел. Разумеется, крестьяне должны были поверить мне и убедиться из моих личных объяснений, что переселение в тот край выгодно, и многие заявляли мне свое желание переселиться («Будем хошь виноград есть, коли хлеба нет», — шутя говорили иные) и предлагали мне доверие ходатайствовать об их переселении. Я принял предложение по узаконенным доверенностям и увольнительным от общества приговорам, за что мне крестьяне предложили по 10 руб. с семейства за все мои труды и разъезды по их делу о переселении».

Весть о землях и льготах, принесенная Данковым в деревню, быстро разнеслась по всем окрестным уездам, так что в течение полутора месяца набралось уже более 500 семейств, желающих переселиться. Нотариус К-н свидетельствовал на суде, что Данков, заключавший у него договоры с крестьянами, все время держал себя «самым серьезным и важным образом: он точно исполнял какую-

то миссию и старался по возможности даже сдерживать стремление к переселению. Мы с Данковым старались, чтобы по возможности имущество пока не продавалось крестьянами, и что продано было не много, указывает то обстоятельство, что в моей конторе не было совершено ни одной купчей крепости, а только предварительные сделки.[1] Повторяю, Данков вел себя самым серьезным образом, — я нарочно приглядывался к нему, но ничего предосудительного не заметил. Он телеграфировал начальнику округа огромными телеграммами. В одной из них он говорил, что начальство уезда не пускает переселенцев, требует приемных приговоров (от пустых-то мест!). Когда начальник округа ответил, что приемных приговоров не надо, Данков прибежал ко мне в большой радости...»

До сих пор все еще, как видите, можно было чему-то радоваться, да и вообще все и в мечтаниях Данкова, и мужиков, и на словах, и в бумаге (в правилах, удостоверениях и т. д.) — все было хорошо. Но уже легкое дуновение того подлинного значения, какое таит в себе бумага, видно из препятствия при выдаче увольнительных приговоров, которых в сущности вовсе и не надобно было никуда представлять. Впечатление этого дуновения хотя и было изглажено успокоительною телеграммой, но действительность, скрывающаяся во всех этих хороших «словах и мечтаниях», стала обнаруживаться все яснее и яснее, и «на деле», по обыкновению, выходило вовсе не то, что «на словах и в мечтаниях». Засуетился становой, урядник, волостной писарь, кабатчик. «Не давать увольнительных приговоров!» — это было первое изобретение и первая смута, брошенная в сердца переселенцев.

Между тем к декабрю месяцу у Данкова набралось уже до 500 семейств, желающих переселиться, а так как 1 января 1881 года истекал срок льготным правилам, то Данков спешил с переселением, да и крестьянам оно было необходимо, чтобы заблаговременно приняться на новых местах за весенние работы. И вот он начинает

[1] Не лишнее упомянуть, что по заключению сделок Данков платил расходы из тех десяти рублей, которые он выговорил на расход, каждый раз, когда заплатить крестьянину было нечего. Но и из десяти-то рублей он получил только задатки, рубля по три с семьи.

посылать в округ телеграммы за телеграммами; 17 декабря 1880 года телеграфирует (85 слов) с уплаченным ответом и между прочим говорит: «Я набрал уже 119 семейств; желающих очень много. Могу ли продолжать?» 24 декабря того же года, телеграммою в 248 слов, сообщает, что уездное по крестьянским делам присутствие требует приговоров, и Данков просит управление разъяснить присутствию, что они не нужны. Третья телеграмма была послана уже из Лозовой, на пути в Черноморский округ: «На две посланные мною телеграммы (от 17 и 24 декабря) ответа не получил и спешу в округ лично узнать, не пропущу ли срок. Из Курской и Орловской губерний много крестьян желает переселиться на Кавказ, а между тем им препятствуют, и по сие время с 525 семействами приговоры не засвидетельствованы, и переселенцы за прекращением срока (1 января 1881 года) потерпят значительные убытки, почему покорнейше прошу о скорейшем распоряжении — засвидетельствовать общественные увольнительные приговоры...» На эту телеграмму последовал также телеграфический ответ: «Ждать разъяснения от губернатора». Но Данков, вероятно, не ждал, потому что прибыл в округ, подал прошение о выдаче ему копии с ответа округа губернатору. И вот какой был этот ответ:

«Мещанин Данков телеграфирует, что набрано 520 семейств, желающих переселиться в округ. Благоволите приказать *предостеречь* переселенцев. На 500 семейств *трудно найти в округе земель.* Притом местность крайне пересеченная, гористая. Необходимо прислать несколько благонадежных лиц осмотреть земли подробно, без чего не советую трогаться с места».

В январе же месяце вслед за Данковым приехали в округ депутаты от местных крестьян (согласно телеграмме из округа) для осмотра местности. Очевидно, что препятствия со стороны «местного элемента» уже возымели свое действие; выборные люди были заражены уже недоверием к Данкову; в воображении их не раз уже мелькнуло: «надул», «обобрал», «сбежал» и т. д. Непривычные к морскому пути, они, как на грех, сели на пароход в бурное время; два дня их трепало в море, и они, еще не доезжая до главного города округа, были уже настращены и напуганы. Приехав в округ ночью,

отыскали Данкова; переночевали у него. Утром, выйдя на улицу, были изумлены окрестностями: горы кругом нескончаемые. «Так такие-то земли ты нам сулил?» Но Данков сулил вовсе не такие земли, а гораздо южнее, за Сочи, в так называемом Пластунском отделе.

— Надо ехать смотреть! — говорил он, но депутаты были напуганы ездой на пароходе и ехать на парусной фелюге ни за что не соглашались. Явившись в то же утро в управление, они спросили:

— Какие же там места?

Тогда, указывая в окно на горы, лицо, которое они спрашивали, сказало:

— А вот такие, как здесь!

Это окончательно пришибло депутатов, которые по всем видимостям и были посланы только для того, чтобы привезти домой неблагоприятные известия и удержать народ на старых местах и в старых путах; они не оставались в окружном городе даже и суток и тотчас же отправились сухопутьем на станцию Крымскую и Ростов — домой, не взглянув даже на те места, которые видел Данков и от которых остался в восторге.

Возвратившись домой, Данков был в самом тяжком и глупом положении. Врагов у него было множество и в народе и в «чистой публике»; дело его окончательно провалилось, он оказался «вымогателем чужих денег», шарлатаном и надувалой. Но молва о землях и подлинная, действительная невинность Данкова, его бескорыстное служение делу также не пропали бесследно в народном сознании. Все, что он говорил, было правильно, удостоверено начальством, напечатано и засвидетельствовано,— и молва о «новых местах» и льготах шла в народе своим чередом.

Вероятно, молва эта была не маленькая, и, вероятно, народ вполне верил Данкову, так как, несмотря на то, что ни от кого из доверителей не поступало жалоб на то, что Данков обманным манером выманил деньги, его «обязали подпиской о невыезде», и когда повестка о явке Данкова к судебному следователю на 22 декабря 1881 года не застала его дома (так как он явился к следователю 20 декабря, то есть двумя днями ранее), то из этого поступка была сделана самовольная отлучка — причина его ареста, заключения в тюрьме и суда.

Вот плачевная история «мечтателя».

— Обман точно что был! — показывали свидетели, — только неизвестно, кто обманул!..

На суде, конечно, выяснилось, что и земель пахотных нет, и вообще земель нет, и что они не размежеваны, что неизвестно, где какие поселения, что последние вообще, кажется, невозможны, — словом, выяснилось совершенно *не то,* что опубликовано в правилах (да еще со сроком до 1 января), что Данков видел своими глазами и что потом, год спустя, увидели своими глазами и его односельчане, отправившись в те же благословенные места и арендовав там участки.

А как все хорошо написано и как в самом деле хорошо: земли благословенные, всего вдоволь!

На деле же, как читатель видит, вышло совсем, совсем не то!

VI. ОБИЛИЕ «ДЕЛА»

1

Смущенный доводами моего приятеля относительно специального значения «бумаги» в условиях нашей жизни, я решился поближе ознакомиться с ее деяниями не в таких экстренных делах, как колонизация и возрождение жизни на безжизненных местах, а в обыденных условиях нашей жизни, в удовлетворении будничных общих потребностей. Материалом для такого ознакомления мне послужили разные заметки, собранные мною в разные времена из провинциальных газет. Из них-то я и извлекаю здесь кое-что по части всяких деловых хлопот наших провинциальных захолустий.

На мое счастье, мне попался прежде всего номер «Недели» (1885 года), в котором какой-то провинциальный житель отвечал на ранее помещенную в этой газете статью «Правда ли, что нет дела?» и доказывал, что всякого рода дела в провинции множество, но людей-то настоящих нет для его выполнения надлежащим образом.

«Безграмотные, ничего не знающие люди, в глаза не видавшие университета», делают *«массу» дел,* бог знает

как, получают *массу* денег, а люди с высшим образованием сидят, изволите ли видеть, по чердакам в Петербурге и «плачутся», что нет дела. Между тем, например, в Александрии, по словам автора корреспонденции, всего только «один поверенный с высшим образованием», а его помощник — выкрещенный еврей, *не умеющий не только по-людски писать, но даже и говорить;* и этот-то феномен-чудак заработал в два года свыше четырех тысяч рублей! Других адвокатов в Александрии нет, и *масса судящегося люда, в особенности в деревнях,* должна обращаться к уличным адвокатам. «Ведь *получать в деревне* (!) или таком городе, как Александрия, занимаясь адвокатурой или служа даже помощником секретаря, *от 600 до 1000 руб.* годового дохода все равно, что получать в Петербурге 1000—1800 руб.» («Неделя», № 35).

Нас собственно занимает в этой корреспонденции не размер гонорара, к которому любвеобильный провинциальный житель приглашает (статья называется: «Милости просим к нам!») протянуть руки людей высшего образования, ныне плачущих по петербургским чердакам о том, что никаких дел нет и ничего делать невозможно, — сколько неопровержимое свидетельство «жителя» о непомерном обилии «дела» и дел, кишащих и по городам и по деревням. Какой-то человек, не умеющий *говорить*, не только писать, получает до 4000 руб., — стало быть, с обилием *дел* решительно деваться некуда. Они напирают со всех сторон. «В нынешнем году, — прибавляет корреспондент, — *дела* этого самого человека, не умеющего даже говорить, *пошли еще лучше*!» Стало быть, что ни день, то больше и больше *дел*, то есть как раз то самое «*дохнуть некогда*»,[1] о котором повествовал Апельсинский и которое на деле было доказано и исправником, и мировым судьей, и самим Апельсинским.

«Нет *дела*! Скучно!»

Но если читателю покажется недостаточным вышеприведенное свидетельство корреспондента, то пусть он потрудится прочесть еще нижеследующую выписку из № 210 «Русских ведомостей» (1885 год): «Из статистических данных, приведенных г-ном Хрулевым в «Юридическом вестнике», явствует, что *на долю каждого члена судебной*

---

[1] См. т. VI, стр. 346.

палаты, средним числом, приходится *тысяча двести дел в год.* В *одно* заседание приходится выслушивать до *ста дел и более*, то есть более чем вдвое труд этот превосходит норму работы, которую можно требовать от трудолюбивого судьи. Легко представить себе, *каково* бывает *изучение* докладов и *обсуждение дел* при таких обстоятельствах!»

Да знаете ли вы еще, читатель, что такое «судебная палата» и что собственно она должна делать? А вот что это такое: судебная палата должна быть *«надежнейшей гарантией подсудимых,* так как *прокурорский надзор, поставленный* всем складом своей профессиональной деятельности *в невозможность* вполне *объективно относиться* к делу, представляет довольно *слабую гарантию* (подсудимого)». Вот именно для того, чтобы специальность «обвинять» была введена в пределы справедливости, и учреждена особая инстанция — судебная палата, которая «одним почерком пера может смыть пятно с подсудимого или опозорить невинного человека преданием его суду». Дело судебной палаты, таким образом, оказывается до чрезвычайности важным; но обилие *дел*, благодаря которому каждый член палаты должен разобрать 1200 дел в год и выслушать в день *сто дел* и более, делает то, что инстанция эта находится в самом затруднительном положении. «Столь важный момент, как окончательное обсуждение следственного материала, предопределяющее часто дальнейшую *судьбу дела* (а стало быть, и *судьбу человека*), на практике свелось к обряду штемпелевания. Палата *санкционирует почти все проекты обвинительных актов* и в доказательство того, что они *прошли чрез канцелярию* палаты, прикладывает свой *штемпель.* Точь-в-точь как регистратор, механически прикладывающий печать при записывании бумаг в исходящие книги» («Русские ведомости», № 210).

Вы видите, что «дел» так много, что даже в таких высоких инстанциях, от которых зависит участь человека, его судьба, его жизнь, в пору только «хлопать» штемпелем, в то время когда следует быть «надежнейшею» гарантиею подсудимого! А вы, петербургская интеллигенция, сидите по чердакам с высшим образованием, плачетесь, что «нет дела», тогда как за одно только «штемпелевание» можете получить от 1,200 до 2,500 р. серебром

в год, что при петербургской жизни равнялось бы никак не менее 3000—4000 р.!

Впрочем, затруднительное положение «инстанции», благодаря обилию дел поставленной в необходимость снизойти до роли простого регистратора, — положение это еще может быть поправлено самым простым образом: по словам почтенного автора статьи, которую мы цитировали, стоит только *увеличить персонал судебных палат.* Но что вы скажете о положении *низших инстанций,* которые также буквально по горло завалены делами? Неужели и там также нужно увеличивать «персонал» людей, который в настоящее время за обилием дел тоже ничего не может сделать путного? А что обилие дел в самых низших инстанциях существует и ничуть не меньше, чем в инстанциях высших, в этом не может быть ни малейшего сомнения. Приведу пример, опубликованный в официальной газете, издающейся в самом, повидимому, не канцелярском месте. В № 59 «Терских областных ведомостей» помещена публикация от хасаф-юртовского полицейского управления о розыске разных дел, которые *ветром выдуло* из этого управления 12 истекшего мая месяца (публиковано 21 июля). Что такое Хасаф-Юрт? Ни я, ни читатель не знаем, но по слову «Юрт», вовсе не напоминающему чего-нибудь похожего на «бург», на «штадт» или на «город», можем догадываться, что это нечто жилое и нечто близко напоминающее слово «кочевье». Но что бы это ни было, аул ли это, станица ли, или просто одно только полицейское «управление», посмотрите-ка, какое гнездо «дел» заведено здесь! 12 «истекшего» мая из ущелья (вероятно, там какое-нибудь ущелье есть) стал дуть ветер, а писарь полицейского управления, вероятно, ушел к атаману или священнику, а может быть, к мулле или к князю Бейбулатову есть карачаевского барашка. Вот покуда он ел (карачаевский барашек худенький, тощенький, и съесть его можно скоро, особливо «с устатку»), а из ущелья дуло ветром и прямо в полицейское управление, в окно; дунуло раз и выдуло следующие дела: от 10, 11 и 23 января, 17 апреля, 3 и 10 июня и 20 августа, за №№ 30, 31, 116, 293, 1069, 1070 и 1251. И в другой раз дунуло из ущелья и опять унесло от 13 июня, 4 и 19 июля, 25 сентября и 10 октября, за №№ 566, 714, 740, 1109, 1116 и 1146.

Писарь между тем, ничего не подозревая, продолжает преспокойно есть барашка, болтает о казачках да потягивает кахетинское, а в то же время из ущелья начинает подувать совсем не на шутку: дунуло в третий раз так, что выдуло сразу целую пропасть дел: от 8 и 27 октября, от 16 января, от 13 марта, 10 и 15 мая, 7 августа, 12 мая и 8 августа, опять от 12 мая и 1 июля, за №№ 977, 1051, 38, 212, 416, 396, 763, 362, 413, и, наконец, сильным порывом выхватило из управления огромную переписку по делу князя Асланбека Айдемарова за № 2237 — и все это унесло неведомо куда.

И в первое время после того, как писарь, покончив с барашком, возвратился в управление, трудно было бы заметить пропажу такой массы дел; рассыльный принес уже новый, битком набитый портфель, и только через два с половиною месяца, и то, вероятно, случайно, удалось напасть на след пропажи. И заметьте, 12 мая вылетали бумаги прошлогодние и позапрошлого года, следовательно, дела, которые своевременно не было возможности «обсудить»; еще заметьте, не успела разлететься такая масса не оконченных и не решенных дел, как налетела уже новая. И кроме того, неужели только раз, именно 12 мая, только и дуло так сильно из ущелья в окно управления? И неужели только 12 мая не доглядел писарь, потому что ел шашлык у князя? Ведь он часто ест шашлык и из ущелья часто дует? Нет! Наверное, и прежде десятки лет выдувало точно таким же образом *массу дел* и уносило куда-нибудь через Урусбиевский перевал в Сванетию, а иначе давно бы уже шла речь об увеличении хасаф-юртовского персонала, так как переделать всех этих дел как должно, наверное, без помощи ущелья писарь не был бы в состоянии, потому что это *фактически невозможно,* скажем мы словами «Русских ведомостей» (№ 210), объясняющими «штемпелевание» судьбы людей в высших инстанциях.

Таким образом, обилие всевозможного рода «дел» не подлежит никакому сомнению: дела эти кишат вокруг всех нас, кишат кишмя, заполняют всевозможные инстанции от самых низших до самых высших и повсюду требуют увеличения персоналов, увеличения денежных смет, даже расширения построек! — по крайней мере о расширении тюремных зданий знатоки дела поговаривают

довольно часто; кроме всего этого, к существующим уже инстанциям, оказывающимся буквально заваленными делами, поминутно прибавляются новые учреждения и инстанции, новые расходы и сметы расходов, и к новому делу привлекаются новые массы деятелей. И если бы мы позволили себе предположить, что хоть одна сотая часть этих бесчисленных «дел» правильно и просто соответствует назначению тех инстанций, в которых эти дела делаются, то есть если бы мы предположили, что десятая часть этих дел делается для того, чтобы мне, отдельному лицу, и обществу, в котором я живу, было бы лучше, легче и разумнее жить на свете, так давно бы уж у нас на Руси были кисельные берега, медовые реки, и жили бы мы все в прекрасном саду, где растут золотые яблоки и поют райские птички. Но стоит нам от общего представления бесконечных хлопот о личном и общем благе, удручающих старые и вновь возникающие инстанции, перейти к действительной жизни какого-нибудь жилого человеческого места, положим, хоть современного губернского города или современной русской деревни, чтобы тотчас же убедиться в существовании двух чрезвычайно тяжких явлений: во-первых, в полной безжизненности житейских отношений и, во-вторых, в нравственной тоске, в томительной скуке жизни того большого круга интеллигентных людей, которые наполняют местные инстанции и, повидимому, хлопочут не для чего иного, кроме благообразия и упорядочения жизни. Деятели томятся, тоскуют, скучают, стремятся как-никак размаять свободные от занятий часы, а общественная жизнь, несмотря на обилие хлопот и деловой суеты, которыми завалены эти скучающие деятели, идет так, что как будто еще и в помине не было каких бы то ни было инстанций, обязанных заботиться об ее благообразии.

2

Имея намерение в настоящем письме коснуться именно этого непривлекательного, томительного и вообще неблагообразного по результатам соединения хлопотливой деловой возни с тоскливым существованием интеллигенции и полною заброшенностью действительных, живых

общественных нужд — соединения, которое характеризует переживаемую нами теперь минуту, — не могу не сделать небольшого отступления и не рассказать одного моего очень простого разговора с одним крестьянином об очень простом, но действительно человечески-необходимом и человечески-справедливом общественном деле. Быть может, разговор об этом маленьком деле даст мне возможность лучше разобраться в той большой суете, о которой идет речь. Крестьянин, с которым у меня случайно вышел простой разговор о простом и не громком деле, был старик-каменщик; на своем веку он исходил никак не менее пол-России; немало поработали его руки при постройке церквей, домов, казарм. Рассказывая об этих работах и о трудах, в которых он провел жизнь, старик не рассказал мне ничего особенно любопытного: расчеты, харчи, хозяева... Но оказалось, что в этой трудовой и однообразной жизни было одно такое воспоминание, которое оставило в нем самое приятное и вместе с тем сложное впечатление. Воспоминание это относилось к постройке в одном из уголков южной России новой немецкой колонии. Пока он рассказывал мне историю своей долгой рабочей жизни и заработка, никаких, повторяю, иных воспоминаний, кроме воспоминаний только о заработке, не возникало в воображении старика; но едва только речь зашла о постройке этой немецкой колонии, как тотчас же что-то приятное, светлое проскользнуло в памяти рассказчика, зазвучало в его голосе, засветилось в его лице. Постройка «колонии» была для него не только заработок, не только работа рук, но как будто бы такое хорошее дело, вспоминая о котором радуешься, что мог приложить к нему свои руки, что мог в нем участвовать.

— Уж так-то хорошо, так-то искусно надумано! Даже и слов не подберешь, как уж и похвалить-то! Вот какое благовидное дело сделалось!

По рассказам старика, старая немецкая колония, почувствовав излишек населения и видя, что в ее среде выросло уже новое здоровое поколение мужчин и женщин, имеющих все права жить вполне самостоятельно и независимо, чтобы удовлетворить этой совершенно законной, совершенно простой, человечески-понятной и уважительной потребности молодого поколения, купила огромный

лоскут земли, выстроила на нем сразу целую улицу каменных домов со всеми необходимыми в хозяйстве приспособлениями и службами, сразу «сыграла» тридцать свадеб и сразу же «отсадила», как рой, в новый со всеми возможными удобствами устроенный улей. И все это сделалось благодаря самому простому и вполне человечески-понятному обычаю колонистов, вследствие которого в тех семьях, где много сыновей, только старший сын считается наследником отцовского имущества, а все последующие хотя и живут до возраста в отцовском доме, но считаются уже работниками, то есть за свои труды в отцовском доме — труды, несомненно увеличивающие отцовский достаток, — получают обыкновенную заработную плату. Эта заработная плата не выдается, однако, на руки детям, так что они живут в отцовском доме, вовсе не чувствуя себя нанятыми батраками, а вся сполна вносится в общественную кассу, и вот из сумм-то этой кассы и получаются те могучие общественные средства, которые дают возможность ежегодно устраивать, *сажать* на собственное хозяйство подрастающие молодые пары, сначала помощью покупки в той же самой колонии свободных и никого не стесняющих участков, а со временем, когда не оказывается возможным обойтись наличными средствами, большие общественные суммы, добровольно и сознательно вложенные в общую кассу каждым отдельным домохозяином, дают возможность, без всякого ущерба или обременения существующих хозяйств, отсадить на новые места и в новые жилища сразу целый новый молодой выводок. Этот выводок, при помощи тех подростков, которых не поглощают семьи старой колонии и которые в новой примыкают к новообразовавшимся хозяйствам как работники, то есть люди, имеющие быть впоследствии также хозяевами, начинают жить трудами рук своих, еще более увеличивая общественные средства разрастающейся колонии и давая ей возможность на эти средства улучшить свой внешний вид, строить церковь, школу, мостовую, водопроводы, даже гулянье, вокзал для танцев.

— И так-то я, — говорил старик, — в ту пору на них любовался да радовался: кажется, в жисть свою такого мне не было удовольствия! Уж так-то хорошо, да весело, да благородно! Ну, скажите на милость, ну что, ежели бы

не отсаживать выводков-то, а держать их, вот как в наших горьких местах, в тесноте, ведь что бы это было? Ведь мы видим, как в наших местах-то из-за этой тесноты-то слезы льются... Буду я говорить так, что, положим, вот хоть у меня три сына, и все три сына женатые. Работают они в доме все, и достояние в доме всеобщее, а ведь работа работе не ровная, и каждый свою работу знает. Каков есть кусок сахару, а я вижу, сколько в нем моего поту есть и сколько братниного; я уж знаю, кто мой угол у куска-то у сахарного откусил, — молчу, а сам себе думаю: «ишь, мол, кто моими-то трудами лакомится!» Да окроме этого я человек женатый, у бабы у моей свой характер, ведь мы хотим жить своим домом, своим хозяйством, по своему характеру; моей бабе милы ее ребята, а братниной жене, предположим, они не милы; у самой-то у ней нет детей, а на моих она работать не хочет. Ну как же тут, в тесноте-то, соблюсти себя в тишине да в любви? Только и есть, что молчат все друг про друга да друг при друге, да боятся стариков, пока живы да строги. Только одним страхом и прищемлены кучей жить... Тут на каждом шагу из-за одних баб чего натерпишься. Кажная баба, ведь она еще больше нашего хочет жить сама по себе; она все на свою мерку меряет, ей все надо, чтоб по ейному вкусу было, по Авдотьиному, а не по Марьиному или по Матрениному... А где же тут в котле-то со своим вкусом уместиться так, чтобы чужой не мешал? Ведь и Марья и Матрена тоже только в свой вкус веруют, ну и идет шипучее зло... Пока что боятся родителев, копят злобу потихоньку, терпят, а придет невтерпеж, начнут делиться — и растащат большой дом по мелким кускам. Разбредутся по хибаркам прямо на хлеб да на квас. Поди-ка избу-то заведи, поди-ка со скотиной-то справься! А тут, глядишь, ребенок родился, а там, глядишь, корова пала, помочи нет ниоткуда! Вот и бьется человек день и ночь из пустова... «Сем-ко, думает, пойду на фабрику, поправлюсь; принесу денег, все исправлю!» Пойдет на фабрику-то, а там, глядишь, и пить выучился, а то так и совсем распьянствовался со скуки по дому-то... А со скуки по бабе по своей, глядишь, и связался с какой-нибудь мадамой на чужой стороне, да заболел, да домой-то воротился и пьяный и больной, и жену-то в болезнь вогнал, а наконец того, с горя,

да с нужды, да с неудачи и вовсе пропащим человеком сделался... В деревне ослабеть недолго! Иной, ослабевши, пьет, а иной жену бьет, а иной и темными делами начнет заниматься: глядишь, и поймали у соседского амбара и в острог повели, а по улице по деревенской ребятишки его с мамкой со своей в отрепках пошли милостыню просить! Так вот как по нашим-то горьким местам бывает! Да как поглядел я в ту пору на этих тридцать-то свадеб, как они с музыкой, да с песнями, да с весельем в новое-то место шли, да как вспомнил наше мужицкое житье-бытье, так, веришь ли, так меня слеза и прошибла... перед богом! И ведь как тихо-то да благородно, так просто на редкость! Идут люди в свои дома, все это они сами выработали, покуда росли, никому ни в чем не запутавши, в ноги никому не кланяются, чтоб поверили рубль серебром примерно для начатия хозяйства, все у них свое, трудовое, и во всем своя воля! Так-то, братец ты мой, складно это у них, так-то благородно, чинно да весело, что вот уж сколько годов прошло с постройки-то, а как вспомню, так и сейчас побёг бы полюбоваться на них! Право слово, побёг бы!

Я очень хорошо знаю, что идиллия, нарисованная рассказом каменщика, натерпевшегося от старых и новых непорядков, не вполне соответствует действительности. Но в то же время я несомненно знаю, что, даже и не разделяя восторженных похвал, расточаемых каменщиком «порядкам», царящим в колониях, порядки эти, каковы бы они ни были, все-таки лучше и человечнее того, что мы в «наших местах» привыкли называть также «порядками». Из всего, что мне лично приходилось видеть, читать или слышать от очевидцев, близко знающих те человеческие общежития, которые называют колониями, я, да и всякий другой, не мог не вывести заключения, что эти общежительские места живут хорошо, достаточно, умно и тихо. Тишина, которою окружены эти трудовые общежития, замечательна; в настоящее время мне приходится просматривать чрезвычайно много разных провинциальных газет, а известно, что провинциальная пресса особенно широко разрослась на юге России, как раз в тех самых местах, где процветают немецкие колонии, то есть в Новороссии, Крыму, Кавказе, и нигде, ни в одной газете, почти никогда ни единым словом не упоминается

о житье-бытье колонистов. Изредка только мелькнет известие, что, мол, нашим южно-русским мужикам становится трудно жить от этих колоний, с каждым годом все дальше и дальше раздвигающих свои пределы помощью покупки сотен тысяч десятин земли, но почти никогда нет ничего похожего на известия, идущие из наших сел и деревень.

Разбой, грабеж, пожар, падеж, эпидемия, надувательства всех видов и образцов — известия обо всем этом валом валят на страницы наших провинциальных органов из деревень, сел, поселков и городов, и почти никогда не слышится о них из тех общежитий людских, которые десятками лет живут в самом близком соседстве с той или другой немецкой колонией; даже для них жизнь, нравы и порядки соседей-колонистов известны только в весьма слабой степени, точно будто по соседству и нет никакого жилого места, да и все те, вполне достойные уважения лица, от которых я слышал много рассказов про жизнь и порядки в колониях, и те большею частию всегда *случайно* знакомились с ними. О колонии, например, Темпельгоф близ Пятигорска, удивляющей всех случайно заглядывавших туда необыкновенным благоустройством и достатком,— колонии, имеющей роскошный внешний вид, с мостовыми, с освещением, имеющей свою прогимназию, свои общественные учреждения вроде паровых общественных мельниц, — об этой колонии стало известно только в самое недавнее время благодаря случайному описанию ее, помещенному в «Терских ведомостях», — описанию, исполненному бесконечных похвал и удивления пред людьми, которые сумели так уютно, хорошо, тепло, светло и благообразно устроиться и жить тут же под боком у нас, под боком у людей, которые только и делают, что вопиют об увеличении «персоналов» да об учреждении новых инстанций. Ни мировой судья, ни окружный суд, ни следователь, ни, словом, вся огромная провинциальная интеллигенция, заваленная выше головы «делами», почти не знают даже о существовании этих колоний, которые живут и процветают у них же под боком и даже под носом, а это значит только то, что колонии не нуждаются в содействии всех этих инстанций и людей, пекущихся об общественном благополучии, и находят возможным удовлетворять всем

своим нуждам единственно при помощи собственных средств.

Очень хорошо всем известно, что немцы-колонисты являются в Россию с большими средствами, дающими им возможность сразу устроиться хорошо и уютно, тогда как наш крестьянин, отделившийся от родителя, начинает жить только с «голыми руками». Но я говорю о благосостоянии колоний вовсе не для того, чтобы корить им нашего горемыку-мужика, а единственно для того, чтобы обратить внимание на тот прием, способ, манеру, если угодно, помощью которых люди находят возможным жить на белом свете справедливо и благообразно. Я говорю о колониях и «порядках», господствующих в их жизни, для того, чтобы *припомнить,* в чем же собственно заключается суть «общественного блага» и «общественного дела», так как за обилием кишащей вокруг нас деловой суеты положительно можно утратить всякое ясное, живое представление о живом, человечески-понятном деле. Благодаря знакомству с жизнью такой маленькой по-человечески живущей группы людей я могу видеть, что суть всего благообразия житья-бытья этой маленькой людской группы есть *самое простое, самое действительное и самое реальное удовлетворение человека в необходимых для его существования надобностях,* — вот тот до чрезвычайности простой и до чрезвычайности благодетельный прием, которым руководствуются колонисты во взгляде на свои общественные обязанности. Люди, живущие трудами рук своих, знают, что и дети их будут жить точно так же, как и они; но для того, чтобы жить таким образом, нужно, чтобы у человека было все необходимое: земля, дом, скот, орудия; нужно, стало быть, купить и дом, и скот, и землю, и орудия, и вследствие такого простого взгляда на человеческую нужду и общественное дело становится простым, важным и вполне человеческим. Помощью общественной кассы, никого не обременяющей, наполняемой деньгами добровольно, из чувства личной потребности быть справедливым и покойным за будущее поколение, образуются те средства, которыми и удовлетворяются вполне простые и вполне необходимые нужды человека, живущего трудами своих рук. И вот такое-то *простое дело* сразу уничтожает возможность бесчисленного количества всевозможных общественных

язв: уничтожает нищенство, уничтожает бродяжничество, воровство, семейный разлад из-за нищеты — словом, сразу делает совершенно ненужною ту обременительную, тяжкую, бесплодную суету сует, которая заваливает всевозможные инстанции всевозможными делами. Наш народ, начинающий жить и живущий с «голыми руками», находящийся в зависимости от случайностей своего труда, — наш народ, очевидно, нуждается гораздо более, чем те люди, о которых мы только что говорили, в том, чтобы люди «общественного дела» относились к его положению *как можно проще.* Он также живет трудами рук своих, но этот труд находится в неблагоприятных условиях, подвержен тысячам случайностей, которые могут лишить возможности человека трудиться и, следовательно, поставить его в совершенно беспомощное положение. Следовательно, желая «пещись» о нем, необходимо только одно простое и важное дело — *обеспечить для него возможность и спокойствие труда,* и больше ничего не нужно! Но вот именно этого-то простого внимания к насущнейшей нужде человека, живущего только собственными своими руками, мы и не видим во всей той бесконечной деловой суете, которая кишит вокруг нас.

3

Заглянем на минуту в кое-какие из этих многочисленных инстанций, обремененных утомительным трудом «штемпелевания» обвинительных актов и запечатывания бесчисленных пакетов, и посмотрим, что там делается.

Вот пред нами какое-то Глажевское волостное правление, Новоладожского уезда, Петербургской губернии. Дел оно делает много, но мы возьмем только одну частицу этих дел, именно дела волостного суда, да из этих-то дел также коснемся только одной из множества забот, удручающих господ волостных судей, — именно заботу о взыскании податей. Вот в каком виде осуществляется ими эта забота: «по решению глажевского волостного суда приговорены к телесному наказанию, по 20 ударов, за неплатеж податей крестьяне следующих обществ: из 45 надельных домохозяев Подцоньевского общества приговорено к розгам 25 человек; Оломенского из 45—23 че-

ловека; Лаховского из 35 — 26 чел.; Гатицкого из 41 — 32 чел.; Меминского из 51 — 35 чел.; Глажевского из 105 — 38 чел.; Черенцовского из 83 — 19 чел.; Теребочевского из 44 — 7 чел.; Наволокского из 35 — 11 чел.; Наростынского из 33 — 8». И все эти приговоры постановлены только в промежуток времени с 16 мая по 23 июня настоящего года.

Таким образом, в течение месяца из 517 домохозяев, населяющих волость, высечено 224 человека,[1] то есть без малого наказана половина волости. За что же? А за то, что не платят податей. Отчего же они не платят? Да вот отчего. «В большинстве случаев у бывших помещичьих крестьян Солецкой и Глажевской волостей на одну ревизскую душу приходится от $^{3}/_{4}$ до 1 десятины пашни, и только у некоторых государственных крестьян Глажевской волости, имеющих надел более 10 десятин, количество пахотной земли достигает до $1^{1}/_{2}$ десятин на душу. Почва песчаная, глинистая; овес никогда не дает хороших урожаев: обыкновенный урожай овса сам 2—3. Но и этот скудный урожай не составляет полной собственности землепашца, так как большинство крестьян берет овес на посев у кулаков или у местных помещиков, причем платит такой процент: либо овсом же за куль полтора куля, либо деньгами — 1 р. 50 к. или 2 руб. за куль, причем эти деньги вносятся при получении овса, а самый овес возвращается осенью. При урожае сам 2—3 крестьянину очень часто, по уплате роста, остается одна только овсяная солома. Но часто и за такие проценты не все нуждающиеся могут достать семена на посев. В нынешнем году многие крестьяне должны были оставить незасеянными свои яровые поля. Некоторые крестьяне, в ожидании ссуды на посев от новоладожской земской управы, запахали было свои поля, но ссуда не была разрешена, и они *вынуждены были отдать задаром свои нивы односельчанам-богачам,* имеющим семена, лишь бы только земля не пустовала. Кроме всего этого, 1884—1885 год был особенно неблагоприятен для крестьян названной местности. Сибирская язва свила себе здесь постоянное гнездо, унося сотни и тысячи рогатого скота и лошадей; в 1884 году она даже и людей не щадила.

---

[1] Цифры официальные («Неделя», 1885 год).

За этим бедствием последовал неурожай на хлеб, тогда как и в благоприятные годы только у некоторых из здешних крестьян хлеба хватает на полгода» («Неделя», № 28).

В цифрах, которые приведены выше, не может быть ни малейшего сомнения; они собраны статистиками петербургского земства; это не выдумка, а сущая, совершенная правда. Посмотрите на них и подумайте, что это такое? В мае и июне месяцах, когда каждый деревенский ребенок может определить, будет ли он сыт или голоден зимою, то есть в то самое время, *когда* собственными глазами *можно видеть,* сколько засеяно в полях и хватит ли этого засева на насущные потребности населения, — в это-то время, во имя какого-то нравственного повреждения в глубине сознания и совести людей, знающих действительное свое положение, совершается дело поистине тупоумное, ни для кого и ни для чего не нужное. Что же это такое? Можно было бы впасть в большую ошибку, если предположить, что побудителем к сечению была человеческая жестокость. Нет! наказывают просто потому, что мысль о возможности *в самом деле* удовлетворить насущные нужды поселян, удовлетворить просто, справедливо, по-человечески — эта мысль никогда ничем не поддерживалась в народном сознании. Наказывают *зря,* зная, что никто не виноват, но надо же что-нибудь делать в такие критические минуты, когда нечем платить податей, то есть нельзя выполнить первейшей обязанности обывателя. Фальшивое, тяжкое дело делается в тех именно затруднительных человеческих положениях, которые требуют самого простого и внимательного удовлетворения.

Убавьте цифру наказанных в *одной только волости* в десять раз и вместо 224-х примите за норму только 22 человека на волость, помножьте эту цифру примерно на 10, чтобы получить примерное число наказанных в уезде, умножьте имеющую получиться цифру опять на десять, чтобы иметь понятие о количестве наказанных в губернии, наконец и эту цифру увеличьте в размерах количества губерний и вы получите нечто чудовищное. Наказано 224 человека потому, что никто не привык *справедливо и просто думать ни о своей нужде, ни о нужде ближнего.* Наказанный человек освободился от тяжкого бремени; дома его мучила нищета, нужда, голодовка, плач голодных ребят, жалость об умиравшем

мальчонке. Он сердился дома на кулаков, которые его обобрали, ругался даже над сходом, роптал на порядки, при которых никак не справишься, и его наказали, то есть дали ему право плюнуть на свои человеческие терзания, сделали совершенно ненужными его мысли о порядках и непорядках, прекратили в нем всякие совестливые душевные движения. Кто и что еще может от него требовать? Кто и в чем его может обвинять? У него на спине рубцы, он *за все* пострадал, пострадал настоящим образом; ему теперь нельзя, невозможно не отдохнуть от всех своих мук и всего своего горя и, главное, от этих рубцов на спине, — и он отдыхает в кабаке; жена, ребята теперь пусть погодят: он ведь действительно пострадал и измучился. А чтобы совершить такое тупоумное дело, как порка 224 человек, нужно написать и составить 224 протокола, нужно исписать пропасть бумаги, и немудрено, что писарь просит прибавки, что писарские жалованья растут с каждым годом.

Поднимемся ступенькой выше и заглянем в камеру мирового судьи.

4

Возьмем для примера опять-таки только кусочек из этой глыбы «дел», положим, хоть дела о семейных крестьянских ссорах, благо материал относительно этого рода дел находится у нас под рукою. Мы имеем в руках, во-первых, письмо бывшего мирового судьи, напечатанное недавно в «Русских ведомостях», и статью из «Юридического вестника» г-на Лудмера о бабьих стонах. Обе эти статьи рассказывают об одном и том же уголке Московской губернии, и для обеих статей не только хватило материала, но мы имеем основание думать, что материал этот далеко не исчерпан, так как в непродолжительном времени в печати должны появиться материалы, касающиеся тиранства над детьми и почерпнутые опять-таки из того же самого крошечного подмосковного мирового участка. Что же тут творится, в этом случайно разрытом муравейнике? «*Ежедневно,* — говорится в письме г-на мирового судьи, — в мою камеру приходили десятками изувеченные, истязуемые, избитые бабы. Почти то же самое я видел и в уездном городе в 1882—1884 годах,

где мелкие мещане, ремесленники, пригородные жители бесчеловечно заколачивают своих жен. В памяти моей живы ужасные избиения жен и малых детей, истязания беременных, которых изверги привязывали за косы и лупили ременным чересседельником по животу, плечам и груди. У одной молодой женщины защемили косу между половицами; свекровь держала, а муж бил. Один *потерянный* мужик снял одежонку с малых ребят и бежит пропивать ее. Жена нагнала его и стала отнимать одёжу. Мужик начал неистово бить ее кулаками и сапогами, и ее еле живую принесли в мою камеру. Другой *пьяница*, войдя в избу, сбил кулаками люльку с грудным ребенком, а потом вышвырнул его на мороз. Один *спившийся с кругу* здоровенный мужик бросился колотить жену; она в это время держала ребенка, умирающую девочку трех лет, девочка умоляла «не бить маму», а мать, вся всклокоченная, в крови, должна была утешать испуганную и умирающую девочку. Судился у меня еще один мужик; тот мало того что бил свою жену, он вырвал у нее ребенка двух лет, мальчика, и жег его тело над горящей лучиной... Но я бы мог исписать сотни листов, если бы вздумал утруждать читателя делами женской мартирологии. Это несколько капель в целом потоке слез» («Русские ведомости»).

Читая бесконечную летопись ужасов расстроенной крестьянской семьи, можно, наконец, совершенно потерять способность возмущаться этими ужасами, можно дойти до полного одеревенения, граничащего с равнодушием и полным невниманием одинаково как к тирану, так и к его истираненной жертве. Безобразие, жестокость, бесчеловечность, зверство, *ежедневно* и ежеминутно кишащие кругом вас, до того утомляют вашу мысль, что вы, наконец, отказываетесь мучить себя размышлением об этих бесконечных и решительно непонятных проявлениях человеческой жестокости. Но надобно понять их, и тогда безобразнейшая картина зверства примет значение, вполне постижимое здравым рассудком.

«Крестьянка деревни Зибровки, Елена Иванова, заявила мне,[1] что муж чрезвычайно жестоко обращается

[1] Факты заимствованы из статьи г-на Лудмера. «Юридический вестник», № 5.

с нею и тремя малолетними детьми. Он *не велит ей беречь последних* и вымогает от нее деньги на пьянство. Два дня тому назад, когда она стряпала, муж накинулся на нее с яростию, *начал кусать ее зубами и хотел откусить нос,* но она успела крикнуть: «Заступитесь, детки! он меня загрызет!» Маленький, девятилетний сын бросил тогда в отца щепкой, после чего мучитель оставил ее и кинулся на мальчика, которого безжалостно избил. Елена обращалась в тот же день к старосте и к старшине, но те ничего не сделали. В ту же ночь мужик схватил полено и хотел убить мальчика, и когда жена удержала его, то он нанес ей тяжкие побои; разделавшись с женой, он выгнал сына из избы, и тот переночевал на дворе. Теперь как только отец завидит своих детей, то начинает кидать в них каменьями. Перед подачей Еленой жалобы она была выгнана мужем ночью из дома. Ей негде было ночевать, она пошла к волостному старшине, но тот не обратил никакого внимания на ее положение и, вместо того чтобы оказать ей защиту, сказал: «Мне какое дело, ночуй, где знаешь!» Так как лицо Елены было сплошь покрыто рубцами, то я распорядился освидетельствовать ее чрез врача и акушерку и чрез два дня назначил разбирательство дела, к каковому времени я имел в виду получить уже заключение медика.

«Муж Елены поразил меня *одичалым* выражением своего лица. *Несмотря на настоятельные* обращенные к нему *вопросы, за что он так зверски поступает с семьей,* он только тупо обводил глазами камеру и бормотал:

« — Ефто действительно!

«Оказалось между прочим (?), что *ни лошади, ни коровы у него нет, что изба не нынче-завтра развалится, хлеба своего хватает лишь до января, недоимок много* (за каковые два раза был сечен), *но сколько именно, сказать не может. Разорила его порубка,* которую он произвел в лесах помещицы (а не произвести он ее не мог, так как лес им не отведен, а купить не на что). *Его поймали и оштрафовали; тогда продали лошадь, а корову он после этого пропил.* Сильно пьянствует он уже два года».

Дело крестьянки Мироновой. «Муж Мироновой, точно так же как и муж Елены, постоянно ее бьет, грозит убить ее до смерти, пьянствует и не работает. На разбиратель-

стве обнаружилось, что Миронов бьет свою жену «сапогами и железным гвоздем», которым *обдирает ей лицо,* что, напиваясь, он *грызет ее зубами и изгрыз ей большой палец,* потом кричит:

« — Я тебя непременно убью, живой не оставлю!

«Миронова на вид женщина больная и слабая. Обвиняемый *объяснил свои зверства пьянством,* а почему пьянствует — не в состоянии был растолковать.

« — В нашей деревне все пьют!

«Это его ultima ratio.

«Эта «наша деревня» *между прочим* (?) замечательна тем, что ей *в надел отведено буквально болото,* которое могло бы представлять интерес для ружейного охотника, но никак не для пахаря» («Юридический вестник», № 5).

Из этих двух примеров, к сожалению, слишком кратко, поверхностно, «между прочим» объясняющих самые коренные причины расстройства крестьянских семейств, читатель весьма просто объяснит себе с первого взгляда непостижимые, бесчеловечные, даже безумные проявления в человеке зверских инстинктов.

Он, женатый, семейный, с детьми, не имеет ни земли, ни дров, ни скота; все *эти насущные нужды* разрешаются драньем в волостном правлении за недоимки, продажею скотины, то есть унижением нравственным и еще большим упадком материальным. К чему тут приложить руки? Чем кормить семью, вообще что делать с собой? Ведь любовь к семье можно проявлять каким-нибудь реальным делом, в труде для нее, в заботах о ее тепле, сытости, но тут нет возможности проявить себя ни в чем подобном. Что же удивительного, что человек начинает просто-таки не понимать самого себя, не понимать своей семьи, считать жену и детей злодеями, извергами, которых мало сжечь на огне, заморозить на морозе, изодрать железным гвоздем, потому что они хотят жить, варить что-то в печи, разговаривать, плакать, радоваться... Все это упрекает его в своем несчастии, в нищете, в голоде, в холоде, тянет из него душу каждую минуту, тогда как он *ничего не может.* Муж Елены ничего *не мог ответить* судье на вопрос о том, *зачем он тиранит семью,* кроме бессмысленного бормотания: «ефто действительно». Муж Мироновой *не мог объяснить,* зачем бьет, зачем пьянствует; а бьют и пьянствуют, как мы видим,

зверски, ужасно, а корень всему этому опять-таки очень простой и ясный — невозможность трудиться, *фактическая невозможность* жить трудами рук своих.

«Крестьянин Дмитрий Никитин в продолжение девяти лет *безмилосердно* тиранит жену свою Арину. Свекровь не только не бережет ее, но еще наговаривает сыну на нее и подстрекает его «учить жену». Кроме мужа, и брат его, солдат, также не упускает случая упражняться на спине Арины. В результате Арина, больная, анемичная, необычайно худая женщина, взывает к закону о защите. Обвиняемые упорно отрицают факты насилия, но свидетели подтверждают их и сообщают такие подробности: Дмитрий, будучи под хмельком, бросил своего четырехлетнего сына об стену и «пришиб» его так, что мальчик теперь «ничего не разумеет». Когда один из свидетелей спросил солдата (брата мужа), за что он бьет братнину жену, тот отвечал: «Мне все равно добивать ее, один конец, ведь еще раз придется идти в Сербию!» Свекровь же говорит: «Убью тебя, околеешь, будет другая сноха». *«Как я ни добивался,* — говорит г-н Лудмер, — *выяснить причины этой ненависти к безответной женщине, мне этого не удавалось,* по крайней мере ближайших причин мне не могли указать ни свидетели, ни жалобщица. Несколько правдоподобным представляется объяснение сельского старосты: Арина взята из дальней деревни, причем *отец ее уверял* семью Никитиных, *что дочь его чуть ли не первая в околодке работница.* Между тем Арина, по словам старосты, к сельской работе *мало способна,* хвора, вдумчива; свое разочарование Никитины теперь и вымещают на Арине, не оправдавшей хозяйственных надежд семьи».

Несчастную Арину заколачивают в гроб, заколачивают всей семьей, причем брат мужа помогает в этом деле, то есть, я говорю, в буквальном смысле *помогает* улучшить положение семьи смертью *слабой* бабы; тогда можно взять сильную. Отчего же ему не подсобить? Он идет в Сербию, там его убьют ни за что ни про что. Лучше же он «по крайности» для брата сделает добро, и он дует, чем ни попадя, *неработящую Арину...* Вы видите, что их, Никитиных, обманули, что отец выдал им ее за настоящую работницу, то есть насулил им в Арине лошадиную силу, а она вон какая оказалась. Было труд-

но, думали «поправиться» при помощи лошадиной силы, новой бабы, а она вон какая... А несчастный отец несчастной Арины? Он-то врал из-за чего? Из-за чего он лгал перед Никитиным, говоря о своей дочери: «Какая девка! девка, я тебе говорю, одно: кобыла, вот что! Ты не гляди на нее, что она с виду-то хлипка, — я тебе говорю: огневая девка! Толстомясых-то много девок, пожалуй, бери какую хошь — мне что! у меня она не засидится долго, а что прямо говорю: лошадь по работе, во сто лет ты из нее силы-то этой не вымотаешь!» Зачем он врал примерно таким образом? А затем, что Аринка у него лишний рот, ему и так трудно, а она, вишь, слабая... Сбыть ее с рук — все будто полегче будет. А то, как на грех, захворает, так тут, пожалуй, и расходоваться придется, а из чего? И так не из чего взять-то! Запутаешься пуще прежнего; а запутался, ослаб...

И вот, чтобы *не ослабеть,* Аринин отец «всучивает» дочь свою Никитиным, а Никитины, убедившись, что их обманули, стараются, также для того чтобы *не ослабеть,* вколотить Арину в гроб.

Вот и Александру Антонову муж ее тоже норовит в гроб вогнать; он давно *отбился от земли,* ведет праздную жизнь и колотит ее. Несколько дней тому назад он догнал Александру на улице, повалил ее на землю и поволок за косы, но, к счастью, ее тогда спас староста, который взял с него расписку, что он больше не будет бить Александру. Но вот вчера она, обливаясь потом, работала за станом и, видя мужа пьяным, не стерпела и сказала ему: зачем он пьет, когда у них нет куска хлеба? Такой упрек *не понравился* Антонову; заперев кругом избу, он вместе с матерью своею (также падкой до вина) накинулись на Александру и стали ее бить; Антонов надел ей на шею петлю, затянул ее и наносил удары чересседельником, а потом и кулаками по груди, в чем ему помогала и мать. На крики Антоновой сбежался народ, но в избу никто не вошел, а только смотрели в окно. Это истязание продолжалось около часу. Она впала в беспамятство и так пролежала *целый день* на полу. Очнулась в луже крови и с вывихнутой рукой. По окончании боя Антонов стянул с нее одежду и пропил. Она работала по целым дням, доставала с фабрики пряжу и платила за мужа подати. Антонова привели на разбирательство под конвоем

двух десятских, так как он успел уже где-то украсть тулуп, за что и взят был под стражу. По словам его конвоиров, обвиняемый *уже много раз был подвергаем телесному наказанию* в волости *за праздность.*

Но извольте быть не праздным там, где вместо земли болото, как, например, в деревне Дурасовке, где на 23 двора, составляющих дурасовское сельское общество, падает всего 7 лошадей и 12 коров, земли на душу приходится по полторы десятины, и притом плохой; лесов нет; луга болотистые; разных платежей, как водится, много. Из 105 душ дурасовцев 30 человек живут в городе нищенством. *Подавали они прошение* непременному члену, *чтобы у них отняли землю* (невыгодно держать ее), *но ответа ждут уже два года.* Даже кабатчик ушел из Дурасовки, ибо дурасовцам пить не на что. *Хотели было переселиться* в кубанскую землю, да *становой сказал, чтобы и думать о том не смели.* «На вопрос мой, — говорит г-н Лудмер, — каким образом дурасовцы могли бы выйти из затруднительного положения, староста указал на *ревизию,* понимая ее, однако, в каком-то очень широком смысле, и на «малость землицы».

«Я заметил,— говорит г-н Лудмер,— что крестьяне, наказанные розгами, большею частию становились деспотами по отношению к женам и детям. Крестьянин Константинов *за неаккуратность* в погашении недоимок был высечен в волостном правлении; придя домой, он стал колотить жену, та убежала в поле, он верхом за ней мчится по полю, настигает ее, привязывает к дереву и начинает бить ногами, но ее спасают подоспевшие люди. Затем Константинов собирается уйти из деревни, требует, чтобы за ним следовала жена, но она беременна, на сносях, и может родить на дороге; муж, однако, никаких резонов не принимает. Константинова бросилась ко мне: ради бога помогите! Вызываю мужа, объясняю ему всю бесчеловечность его затеи, но он не поддается никаким убеждениям. Чуть не на другой день после разбирательства Константинов оставил постылую деревню, взяв жену с собою».

И так вот уже две инстанции, низшая и средняя; не то же ли самое *в третьей,* высшей *инстанции,* в окружном суде, также со всех концов заваливаемом бесчисленным количеством крестьянских дел?

«В 1858 г., — читаем мы в № 5 «Юридического вестника» 1885 г., — осуждено архангельскими судами по уголовным преступлениям и проступкам 500 человек обоего пола, из них *за кражи 230 человек.*

В 1863 г. осуждено	669 ч.,	из них	*за кражи*	262	ч.
1873 „	898		*за кражи*	371	„
1877	1056		*за кражи*	485	„
1880	1587		*за кражи*	548	„ »

Из этой маленькой таблички видно, во-первых, что количество *преступлений* (!) возрастает с каждым годом, а во-вторых, что большую часть этих преступлений составляют кражи, покушение завладеть чужим имуществом. Откуда берутся эти люди, эти воры, армия которых растет с каждым годом? Автор заметки, из которой мы взяли вышеприведенные цифры, указывает и на весьма *заметную связь* количества преступлений в северном крае *с экономически-бытовой неурядицей* этого края. Автор на основании официальных источников (записка губернатора) *удостоверяет о сильном обнищании населения.*

Стоило бы мне перепечатать в этом очерке сведения о «делах», назначенных к слушанию в десяти, двадцати окружных судах, положим в течение настоящего сентября месяца, чтобы читатель убедился, что из двадцати «дел» пятнадцать *непременно о краже.* Правда, рядом со словом *кража* не всегда стоит слово *крестьянин;* теперь часто и очень часто рядом с этим словом связано и имя дворянина, разночинца, мещанина и т. д. Но *крестьянин* превосходит в покушениях на чужую собственность решительно все звания, сословия и состояния. Я не делаю этих перепечаток, потому что они заняли бы много места и утомили бы читателя однообразием бесконечного числа повторений. Пусть читатель, имеющий в руках какой-нибудь провинциальный листок и вообще любую из русских газет, прочтет в них «о делах, назначенных к слушанию» и представит себе, что по всей России, во всех окружных судах, точь-в-точь так же часто, как и в том листке, который он держит в руках, упоминается этот крестьянин, то уже лишенный прав, то еще только лишаемый их и обвиняемый непременно в краже, и он сам может представить себе огромные размеры этого недуга и количество рук, занятых его исцелением.

5

Так вот какая вавилонская башня «якобы дел» выросла на том самом месте, где добрые и простые люди могли бы жить и наполнять житницы. Простые люди «отсаживают» свое молодое поколение на новые земли, в новые дома, новые ульи, а «не-простые» отсаживают в тюрьмы, в чижовки, в холодные. И вся-то эта напраслина держит около себя «на своих харчах» сотни тысяч людей низшего, среднего и высшего образования, прикованных к этим тысячам напрасных «дел», существующих и питающихся ими.

И разве можно себе представить, чтобы *мысль* этих людей, их *совесть действовали правильно, развивались здорово?* Нет, в совести так называемой интеллигенции, толкущейся и зарабатывающей хлеб *около таких не простых, не настоящих дел,* — в совести ее также таится глубокая язва, точно так же как в народной жизни она таится в расстройстве труда; это — язва, отзывающаяся в семейных, общественных отношениях, и отзывающаяся, разумеется, также явлениями неблагообразными; от этой язвы мучается не меньше мужика не знающий, как выбраться из этой жизни, и человек образованный.

VII. «СКУЧНЕНЬКО!»

1

Да! Скучненько-таки живется провинциальному обывателю, хотя он и не терпит «материальных недостатков».

«...Как ни тягостно общее настроение воронежцев, — читаем мы в № 15 газеты «Дон» за 1885 г., — но и тучи на небе не вечны, и болезни сердца не беспрерывны; болезнь сердца также имеет свои схватки, но также дремливо успокаивается она. Очень редко встречаются в обществе лица, сияющие счастьем и весельем. Нытье литературы становится надоедным, новости дня постоянно грызут сердце рассказами о горе людском. Воровство, банкротства, крахи, убийства, растраты — разрастаются не по дням, а по часам. Ясно видно, что мы вошли в период хронических болезней, которые не лечатся так бы-

стро. Если кто, счастливый, и не имеет своего личного горя, если вы не знаете горя семейного, не знаете неудачи в ваших делах, то, наверное, общее нытье также часто тяжелым гнетом тянет и ваше сердце. Вот почему с особой радостью мы приветствуем те счастливые минуты, когда общество оживает в ореоле восторга и когда оно так жадно захватывает на душу приятные впечатления. 2 февраля мы слышали концерт г-ж Фострем и Гиппиус, и светлым облаком в ненастный день казался он обществу...»

Не знаю, можно ли характеризовать душевное настроение современного скучающего обывателя лучше, чем оно охарактеризовано в вышеприведенных строках, взятых нами из рецензии г-на С. Карпова о концерте госпож Гиппиус и Фострем. В характеристике этой есть все для того, чтобы составить себе понятие об общем тоне жизни скучающей интеллигенции, об общих условиях, в которых томится интеллигентная душа, и, наконец, о настоятельнейшей потребности — так ли, сяк ли — выйти куда-нибудь на свежий воздух из удушающей атмосферы жизни, в которой так трудно дышать. И не думайте, что под гнетом такой интеллигентной тоски находились бы только воронежцы, — вовсе нет. Провинциальная пресса самых разнообразных местностей России дает по части душевной тоски образованного общества совершенно однородный материал, и если я взял для материала настоящей заметки главным образом газету «Дон», то это только потому, что нахожу совершенно бесполезным рыться в куче газет для того, чтобы найти в них то самое, что я могу найти в какой-нибудь одной газете, перебирая ее номер за номером. И какую бы из современных провинциальных летописей ни взяли мы, с целью узнать, как живется на Руси человеку общества, везде мы найдем одно и то же: литература надоела ему своим *нытьем*, окружающее надоело ему грабежами, крахами и другими безобразиями, и от всего этого он хочет забыться, очувствоваться — словом, как-нибудь и куда-нибудь уйти из той грязи, в которой он *должен* барахтаться и о которой к тому же беспрерывно *ноет* несчастная литература.

Кстати сказать, литература эта не только «надоедает» своим нытьем той части интеллигенции, которая, проживая среди крахов, воровства, убийств, грабежей, жаждет, выражаясь словами г-на Карпова, ожить *«в ореоле вос-*

торга», но даже начинает кой-кого приводить и в *бешенство.* Недавно в «С.-Петербургских ведомостях» некто *Обыватель* выступил с целым рядом очерков против этой ноющей литературы, выступил с целью разгромить ее вдребезги. «Они, — говорит *Обыватель* в предисловии к своей *«Деревенской правде», —* столичные литераторы, с крайнею неохотой констатируют новые веяния; жаль им покончить с бывшею вакханалией, когда успех, лавровые венки и деньги доставались так легко, когда шалопайство шло впереди дела, а хлесткая фраза предпочиталась солидному труду. Что делать, господа литераторы! Нельзя же весь век ходить под масками и в костюмах! Поверьте, господа литераторы: *отрезвившееся общество* не станет ждать вашего bon plaisir. Оно так жадно запросило *правды*, дела и знания, что если вы не сумеете ответить на этот запрос *тотчас же*, оно *безжалостно выкинет* вас за борт со всею вашею известностью, со всем вашим былым значением».

Из этого отрывка вы видите, до какой степени негодования довело «сотни тысяч обывателей» нытье современной литературы. Вы видите, что терпение обывателя истощено, и если *тотчас же* он не будет успокоен и ему не будет дан ответ на несуществующий с его стороны вопрос, так он начнет *выбрасывать за борт*, да притом еще и *безжалостно,* точно Стенька Разин. Ему мало выбросить за борт и утопить человека: он еще, как видите, хочет растиранить его, размозжить — словом, поступить *безжалостно* (вместо того чтобы просто не читать), — а за что? Правды ему, палачу, литература не говорила; она все время наряжалась в костюмы, надела на себя маску, сверх маски нахлобучила на голову лавровый венок и в таком виде стала тащить в свои карманы деньги. Ей хорошо (обыватель знает это тонко!) в масках-то, да в костюмах, да с деньгами в кармане мучить мирных обывателей, и вот она не хочет, кобенится говорить правду, поступать начистоту; то ли дело поступать бессовестно, измазать себе лицо сажей, чтобы не узнали, кто ты такой, да и хватать деньги.

Но обыватель уже вышел из терпения. Он так наголодался «по правде», что сам решается провозгласить ее и берется «за перо» не *ради денег,* а ради (опять-таки) той неприкрашенной *правды,* с которою так бесцеремонно

обошлись господа цеховые литераторы. *«Во имя правды,* — вопиет он, — *я решился на полную откровенность, чего бы это мне ни стоило!»* «Не только *безусловная правдивость,* но даже *самая мелочная точность и верность* конкретным фактам будет соблюдена мною *как святыня».*

И прежде всего, во имя этой *святыни*, во имя *точности* и *верности,* во имя *безусловной правды,* для которой взбешенный неправдою гражданин решается пожертвовать всем («чего бы это мне ни стоило!»), он считает нужным, для «начатия» огромного предприятия, скрыться в псевдониме *Обыватель.* Ноющую литературу этот правдивый человек будет «дуть» поименно и без жалости, а сам, во имя сущей правды, будет прятаться в конуру псевдонима. «Я не подписываю своего имени потому, что это могло бы *стеснить меня* до известной степени, *когда стану говорить о себе* или о своих знакомых», — слышим мы из конуры и получаем обещание «назвать себя, свое место действия, своих героев», конечно в случае надобности и сомнений. Затем, вероятно в видах того же полнейшего беспристрастия, «полной откровенности», точности и верности, а также для того, *чтобы не стеснять себя* и вообще сделать так, чтобы «сущая правда» не очень висла на вороту самого «обывателя», последний создает некую чучелу, которая должна быть умной, соглашаться с мыслями обывателя и уяснять их примерами из собственного, чучельного, опыта. Создав эту якобы умную чучелу, обыватель дает ей имя Алексея Петровича, сажает за завтрак и начинает говорить «сущую правду», причем, *как мы знаем,* даже мелочная *точность и верность конкретных фактов* должны бы соблюдаться как обывателем, так и чучелой как святыня. Но едва только обыватель и чучела раскрывают рты, чтобы провозгласить правду *во что бы то ни стало,* как немедленно же оказывается необходимым делать такое примечание: «оговариваюсь, что весь довольно длинный разговор, записанный в этой главе, я, разумеется, передаю *не совсем точно* (как было запомнить подлинные выражения?) и с необходимыми сокращениями; но все же *по возможности близко* к тому, что было сказано в действительности».

Таким образом, этот правдивый человек, измученный неправдой литературы, приготовляющийся выбрасывать за борт, и притом безжалостно, цеховых ее представителей,

вопиющий о невозможности дольше терпеть эту неправду, решающийся *во что бы то ни стало* сорвать маски и костюмы и провозгласить сущую, безусловную правду, ставящий священною обязанностью точность и верность фактам (с которыми бесцеремонно обошлась цеховая литература), — прежде всего укрывается в псевдоним, в подворотню и конуру, выставляет вместо себя чучелу и, принимая наивный вид, «оговаривается», что, «*разумеется*», он не совсем *точно* передает то, что говорили они с чучелой, — ведь как же запомнить? Наконец, необходимые сокращения (а «чего бы то ни стоило?»)... А ведь какие злые эти *обыватели*! За борт, говорит, да еще без жалости!..

Но поверим ему и чучеле, что они разговаривают *по возможности близко* к тому, что было сказано обывателем и чучелой в действительности, и послушаем, какая такая у них «сущая правда», которая воспиталась в них семнадцатилетним безвыездным пребыванием в деревне.

— Хотя у нас кричат иные, будто у нас народ преисполнен какими-то первобытными стихийными совершенствами, — говорит якобы умная и опытная в деревенской жизни чучела, — совершенствами, перед которыми необходимо умилиться *с коленопреклонением*, но на деле *даже лакейская цивилизация выработала* из дворового тип гораздо повыше черносошника. Оттого крестьяне бедствуют с землею, доставшеюся *наполовину даром,* а дворовые, прогнанные из насиженных мест ни с чем, по большей части успели устроиться очень порядочно. Оттого между дворовыми вы встретите мастеров, управляющих, торгашей, огородников, фельдшеров — словом, сёльскую интеллигенцию, оттого и на свет божий они смотрят несколько иными глазами, чем крестьяне, и к общественному бедствию (пожар в деревне) отнеслись иначе.

— Помилуйте! — возопили горожане (чучелы, только не умные, а обязанные говорить глупости) чуть не хором и даже с некоторым священным ужасом. — Что вы рассказываете? Кто же не знает дворовых? Это или оборванные пьяницы, повара и лакеи, или кабатчики, писаря, аблакаты — словом, деревенские пиявки, люди совсем без совести и сердца, можно сказать — озверелые.

Умная чучела, под названием Алексей Петрович, *только улыбнулась.*

— Однако из этих людей *без совести и сердца* выходили все те нянюшки и дядьки, доверенные, камердинеры и буфетчики — словом, вся та ветхозаветная крепостная прислуга, о которой и вы, может быть, слыхали кое-что похвальное.

— Скажите, — обратился я (обыватель) к умной чучеле, — чему же именно вы приписываете такое сравнительно высшее развитие дворовых? Неужто только их большей близости к господам? Сколько я знаю, былые помещики драли своих слуг на конюшне, но лекций о нравственности им не читали.

— Смейтесь! — отвечала умная чучела, — а все-таки *именно близость* к господам сделала многое. Никакое столкновение с цивилизацией не пропадает даже при самых неблагоприятных условиях (вроде «на конюшню!»).

А черносошники?

«Крестьянская баба относится к своему мужу с величайшим равнодушием. *Каждая из них, буквально каждая, готова гулять от мужа с кем угодно, даже и на минуту не призадумавшись*».[1] С этой стороны циничность дошла до nec plus ultra. Согласитесь, что во всем этом более озверелости, чем добывания средств к жизни кабацким или аблакатским промыслом. Притом же крестьяне и сами были бы непрочь от подобных занятий, но смотрят на них как на недостижимые, хотя и розовые мечтания.

Таким образом оказывается, что бывшие крепостные мужики черносошники, вскормившие и вспоившие этих обывателей, потому ниже бывших дворовых, что последние были близки к господам, хотя бы и сталкивались с цивилизацией при неблагоприятных условиях, в конюшне, и потому, что черносошники не сталкивались с господами, а только платили им деньги, они загрубели и зазверели до того, что *буквально каждая женщина готова гулять от мужа с кем угодно, даже ни на минуту не призадумавшись,* а мужики *бедствуют с землею, наполовину доставшеюся им даром, причем каждый питает недостижимые мысли о том, чтобы быть кабатчиком.*

---

[1] Перепечатка статьи *Обывателя* в «Орловском вестнике», № 266.

К чему клонится вся эта «правда», мы не знаем. Но в том же самом «Орловском вестнике», где начата перепечатка «Деревенской правды», недавно был опубликован такой факт. Красивая крестьянка почему-то должна была переночевать ночь в волостном правлении (Мценского уезда). Волостной писарь и помощник писаря, всё люди, соприкасавшиеся с цивилизацией и, вероятно, с такими господами, которые за *святую* правду выдают мнение, что каждая, *буквально каждая*, черносошная крестьянка-*женщина готова гулять от мужа с кем угодно, ни на минуту даже не призадумавшись*, — пристали к этой женщине с известными предложениями, но она оказала такое упорное сопротивление, что лакейская цивилизация, в лице писаря и его помощника, должна была прибегнуть к силе, и дело об изнасиловании этой женщины скоро будет слушаться в окружном суде.

Впрочем, вовсе не в защиту современной литературы от умных и глупых «чучел», выводимых обывателем, завел я речь о его диковинной правде. Грубость и «храп» этого обывателя на литературу доказывают только, что он плохо воспитан, что жил вдали от влияния благовоспитанного общества, что вообще ему чужда близость к «господам», иначе он был бы вежлив так же, как и дворовый человек. Нельзя даже сердиться и на то, что этот поклонник «лакейской цивилизации» выдает себя за поклонника Тургенева, как известно, не весьма любезно относившегося к цивилизующему влиянию близости к мужику конюшенных цивилизаторов, и присосеживается к светлому имени Льва Толстого, который так внимательно относится именно к этой черносошной душе. Нет, все это не заслуживает ни особенного внимания, ни, тем паче, негодования. Но внимания заслуживает та злоба, та ожесточившаяся печенка семнадцать лет прокисающего в деревенской берлоге обывателя, с которыми он начинает выть о правде. Семнадцать лет он лежал там, на дне своего логова, хозяйничал и помалчивал; но, наконец, вышел из терпения, ожесточился на неправду, почувствовал потребность выйти из какой-то тины и путаницы жизни, которую он так долго к себе прилаживал и к которой прилаживался сам, и вот он, блуждая глазами и ища врага, как зверь бросился на литературу с засученными рукавами и со стиснутыми кулаками и заревел:

— Ежели *тотчас* не будет ответа, убью. Без всякой жалости! Ответа мне! Сейчас!.. За борт!.. Довольно!

Несчастный требует ответа, не задавая даже вопроса. Ему нужно чего-то, нужно вообще выхода из той продолжительнейшей лжи, среди которой он семнадцать лет сумел терпеливо просуществовать, ему нужно выйти на свет, вообще куда-то выйти, к чему-то не такому гадкому, среди чего он мог только взбелениться, и со зла и с одичалости он хватается за первое «приятное», что мелькнуло в его отяжелевшем от бездействия мысли мозгу, — за лакейскую цивилизацию...

«Драли, пороли, а все-таки было хорошо!»

2

Да, всем нам нужно, чтобы было, наконец, что-нибудь «хорошо». Одним кажется, что выход из теперешнего худого — в благах лакейской цивилизации (таких, по словам обывателя, *сотни тысяч*), другим — в чем-нибудь другом; но главное, в чем думает найти успокоение *огромнейшее большинство русской скучающей* интеллигенции, — это несомненно область искусства, низведенного на степень развлечения.

Надобно действительно до невозможности истомиться от нытья литературы, от «грызущих сердце новостей дня» («Дон», № 65), от всех этих краж, растрат, чтобы с таким искреннейшим благоговением относиться к малейшим минутам наслаждения, доставляемого искусством, как это мы видим в современном скучающем провинциале.

Посмотрите, например, как воспет концерт 2 февраля, речь о котором прервана была в начале этой статейки для разговоров о взбеленившемся обывателе. Высказав, как уже известно читателю, ту адскую душевную тоску, которая угнетает «сердце» людей, «даже и не имеющих личного горя», и объяснив, что именно благодаря этому беспрерывному гнету душевному скучающий обыватель «с особенною радостью приветствует те счастливые минуты, когда общество оживает в ореоле восторга», автор переходит к концерту 2 февраля и изображает свои впечатления в таких выражениях: «Светлым облаком в ненастный день казался он (концерт) обществу. Легкость

и грация в пении, в волшебных песнях госпожи Фострем во всех сердцах слушателей не давала места для обычной грусти и печали. И кажется, те чудные песни соловьиные, *как силуэт* (?), долго будут манить человека в мир лучший, в мир красоты и поэзии. Голос такой игриво-легкий, металлически-чистый пленял слушателей быстротой грациозных прыжков, которые исполнялись с уверенностью горной газели. Огневая сила очаровательного звука, сразу и так глубоко потрясающего сердце, сменялась быстро, с таким эфирно-легким отзвуком, едва заметно брошенным в далекую даль; но эта, так сказать, тень звука ясно слышалась, она схватывалась на лету и так волшебно наркотически умиротворяла сердце». «Если нам, — говорит далее автор, — иногда и слышалось в пении г-жи Фострем вместо «соловей» — «солофей», то живой голос дивной певицы все же был очаровательнее и богаче самой песни певца любви — соловья!» И затем, в поучение местным певцам и певицам, имеющим обыкновение соваться с своими музыкальными стремлениями, «как рак с клешней», туда, куда и конь с копытом не пробежит, — автор говорит: «Как приятно заметить, что ни в одной ноте низкого регистра (у г-жи Фострем) не сказалось *мужской ноты*, которые так нравятся нашим провинциальным певицам. Для человека, понимающего музыку, весьма противны те *петушиные ноты*, которыми так часто угощают нас, совсем не понимая, что для женщины петушиные ноты вовсе не к лицу. А между тем женская любовь к ним (к петушиным нотам) чем дальше, тем заметнее становится. . .» Вообще же, «в ряду серьезных пьес концерта в общем было бы эффектнее поставить *игриво-легкую* пьесу (вместо рапсодии Листа № 12), которая могла бы быть воспринята более сознательно, — *такая пьеса вернее оживила бы сердца!»*

В том же № 16 «Дона» и о том же самом концерте г-жи Фострем помещена и другая восторженная рецензия, так что г-жа Фострем, ее голос, ее биография, ее происхождение, манера петь, даже рост — все это обследовано, мало сказать, с восторгом, но еще и с тщательностью, с замечательной внимательностью к малейшим характерным чертам певицы, доставившей истомившимся скукою воронежцам минуты «оживления в ореоле восторга».

И не думайте, что только для воронежцев дороги эти приятные *минуты* (в буквальном смысле). Нет. Если я и завел речь об этих минутах, то только потому, что жажда найти облегчение от современной тяготы жизни в области искусства — явление решительно повсеместное. Надо жить и дышать, и обильный материал провинциальной прессы дает вам полную возможность видеть, что область искусства как искусства и искусства как увеселения — есть единственная область, где скучающий интеллигент (всякого звания и состояния) чувствует себя *совершенно свободным,* говорит и думает не стесняясь, критикует, обсуждает, входит во всевозможные тонкости и мелочи исполнения — словом, чувствует себя полным хозяином. Не только губернские и уездные города «жаждут» концертов известных драматических артистов и вообще всяких увеселительных представлений,[1] но даже и такие близкие, повидимому, к деревне обывательские места, как станицы, и там искусство начинает играть далеко не последнюю роль. Из станицы Каменской («Дон», № 63) пишут: «В это лето в нашу станицу прибыла, кажется, *третья* труппа, одна за другой, и только последняя из них оказалась удовлетворительной». А в одном из следующих нумеров газеты помещено самое подробнейшее описание спектаклей «удовлетворительной» труппы, с самою точною оценкой игры буквально каждого артиста, с указанием, кто заслуживает похвалы за «добросовестное» исполнение и кто не заслуживает. В такого рода трактатах об искусстве, помещаемых непременно в каждом нумере любой провинциальной газеты, внимательность и зоркость зрителя доходят иногда до поразительной тщательности: не только разберут игру, но и брюки окритикуют и укажут, какие именно следовало бы надеть; у г-на Иванова был

[1] В № 248 «Орловского вестника» напечатано: «В ряду развлечений, выпавших на долю орловской публики в последнее время, как нечто совершенно оригинальное и встречающееся не часто в провинции, следует отметить вчерашнее представление американской труппы. В особенности хороши были упражнения (под названием) *голова на винту.* Г-н Клеменс производит с своей головой такие эволюции, словно она у него чужая и лишь привинчена к туловищу: он совершенно свободно *мотает* ею во все стороны и ворочает вокруг шеи, так что можно подумать, будто шейные позвонки у него отсутствуют. Спектакль, назначенный завтра, вероятно привлечет еще более зрителей».

на голове такой парик, который уничтожал иллюзию; г-н Ларин по толстоте своей не подходит к роли Чацкого, и надо бы взять Кузьмина, так как он будет пожиже корпусом. Иногда попадаются такие нумера газеты, что, кроме известия о двух-трех несчастиях, вроде убийства или пожара, весь остальной нумер наполнен рецензиями о спектаклях в губернском городе и корреспонденциями о том же предмете из уездов.

Очевидно, что музыка, пение, театр, даже просто гулянье с иллюминацией или представление человека, который совершенно свободно мотает головой во все стороны, суть единственные источники какого бы то ни было удовольствия, отдохновения для скучающей всех сортов интеллигентной публики, выбирающей из разных сортов удовольствий то, которое соответствует ее вкусу, развитию, карману. Наиболее щепетильный сорт интеллигенции постоянно стремится завести какой-нибудь «кружок», где бы наслаждение музыкой, пением, драматическим искусством было чище, изолированнее от смешанной толпы. Все хотят устроить, среди безобразия и мусора современной действительности, что-нибудь уютное, укромное, какой-нибудь уголок, куда бы не доносилось уличное хрюканье, но что-то все как будто не выходит. Не знаю, осуществились ли надежды воронежцев, что военный клуб «сохранит» вполне семейный характер даже и во внешней обстановке, не загромождая зала рядами стульев, а оставляя все по-семейному — залы, гостиные и т. д. «Нужно отдать справедливость (читаем мы в № 19 газеты «Дон») военной корпорации: она умеет не скучать в своем кружке, умеет внести в свои удовольствия и мысль и душу, и в лице своих участников имеет возможность блеснуть знанием и талантом». Не знаю, осуществились ли надежды воронежцев, ожидавших от этих вечеров «много оригинальной прелести, оживленное времяпрепровождение и разумное эстетическое наслаждение. .» Конечно, было бы хорошо, если бы клуб удержался на высоте уюта и изящества. Но ведь опыты в этом роде уже были. Нечто подобное предпринимал уже «клуб благородного собрания, гостеприимно открывший свои двери два года тому назад для такого рода вечеров, *но из этого ничего не вышло:* после двух-трех малолюдных семейных вечеров нового типа их сменили обыкно-

венные специальные вечера...» Опыты такого рода были везде, и везде, начавшись за здравие, постепенно достигли необходимости пропеть своей затее «за упокой». Сначала по-семейному, Шопен, Лист, декламация и т. д., а потом, глядишь, где-то и пробка хлопнула, забулькало что-то, а там и винтик завинтили, и понесло по семейному помещению запахом пива, водки и *цыгар*. Пробовали, а все что-то не выходит, чтобы уж совершенно изящное было и «освежало душу и сердце».

3

И я думаю, что долго, долго еще не выйдет ничего «в самом деле успокоительного и освежающего». Нет! ни очаровательному смычку г-жи Терезины Туа, ни восхитительному голосу г-жи Фострем не стереть и не изгладить с души истинно интеллигентного и совестливого русского человека того пятна и язвы, которую он не может не чувствовать ежеминутно, зная, что он виноват перед «человеком». По тем или другим причинам совесть его должна бездействовать, и забота о справедливых человеческих отношениях — забота в особенности обязательная для него, как для интеллигентного человека, — не реализуется им ни в какой существенной форме. Она молчит, камнем лежит у него на душе, а жизнь человеческая, оставленная на произвол случая, зарастает бурьяном, гниет и душит запахами разложения.

На минуту, в буквальном смысле, смычок Терезины Туа может еще в виноватом интеллигентном человеке заглушить ощущение неопрятного душевного состояния и оживить неопрятно живущую совесть («в ореоле восторга»), но раз кончился концерт и виноватый интеллигент вышел на улицу, так его и обдало настоящим смрадом замусоренной действительности. В № 85 той же самой газеты «Дон» напечатана заметка репортера, озаглавленная «От угла до угла». Прочитайте и скажите, что это такое?

«Как-то на днях, — пишет он, — я ночью возвращался по Дворянской. Слышу впереди меня крики, ругань. Дохожу до конторы и вижу компанию, человек в пятнадцать, не то мастеровых, не то из *ночных рабочих*. Идут они

под конвоем полицейских. Я прошел дальше; ко мне подходит, вероятно один из отставших, измазанный, растрепанный субъект. Плачет навзрыд.

« — Что с тобой? — спрашиваю.

« — Побили, вот как, смерть моя! И папеньку взяли в участок.

« — А ты чего же отстал?

« — Отстал! — передразнил он меня. — Не взяли, вот и отстал. Говорил: папенька, возьми! А он мне говорит: «проваливай ты к чорту», а он мне отец!

« — Где же вас схватили?

« — У Петровского плаца. Нас же побили и нас же — в участок. Нет, почему меня не взяли? Па-а-а-пенька! — завопил он во всю глотку и, шатаясь, побрел дальше.

«Не доходя до угла Вяхиревской гостиницы — это было тоже не так давно, — я возвращался с купанья; вижу, из-за угла выходит приземистый, оборванный, босой, с едва прикрытою грудью человек. Он слегка пошатывается, но молчит. Всклокоченные волосы, ужасная наружность такого человека говорят и об его *промысле* и об его жизни, и, встретившись с ним, не обойдешь, а от изумления остолбенеешь.

«Немного дальше, у решетки парка, *лежит какая-то масса* и орет во всю глотку:

« — На земле мой дух унылый!

« — Друг мой, вставай! — говорит сосед из его же друзей. — Ведь плохо нам будет: препроводят куда следует.

« — На земле мой дух унылый!

« — Дьявол ты этакой! Тебе говорят, вставай!

« — На земле мой дух...

«Я пошел дальше.

«Встречаю высокую, плечистую женщину, прикрытую только до колен, с голыми руками и шеей, скрытой под какою-то тряпкой. Голова не то завязана, не то покрыта; одни глаза виднеются, и что за глаза! Не дай господи!

«Иду еще дальше.

« — Прохожий, а прохожий! Ты думаешь, я пьян? Нет, врешь, пьян тот, кто лежит на земле, а сам кричит «упаду!» Вот это пьян! — внушительно говорит тоже внушительной наружности фигура, в одной рубахе, с бутылкой в руке, которою (бутылкой) она махала с наме-

рением, как ничего не содержащую, разбить о садовую решетку.

«Наконец дохожу до другого угла.

«Тут приютилась парочка, кавалер и дама. Что за кавалер — не заметил. Дама же — прехарактерный тип: испитое, какое-то обрюзглое, изжившее лицо с оливковым цветом кожи; губы обвислые, толстые; щеки ввалились, глаза сверкали, но не огнем, а каким-то потухающим, как бы сквозь пелену, светом. Такие глаза бывают у горячечных больных.

«Да, — заканчивает автор, — на расстоянии от угла до угла, на этом небольшом пространстве, целый калейдоскоп типов из жизни отребья человечества, из этой жалкой и вместе ужасной жизни».

А вот и еще сценка.

«Присутствуя 12 августа, — пишет г. Калиновский в «Волжско-Донском листке», № 100, — во время похорон своего квартирного хозяина в Вознесенской церкви, я был свидетелем следующих неприличных сцен: в церкви между молящимися было много уличных мальчишек и девочек в возрасте от 10 до 12 лет, которые с самого начала обедни занимались только хихиканьем, *беганием по церкви и игрой в прятки.* Затем, в половине обедни, откуда-то появился в церкви молодой парень с видом идиота, на которого накинулись мальчишки и девчонки и стали его дразнить всячески. Выведенный из терпения, идиот с сжатыми кулаками бросился на мальчишек — те врассыпную, стараясь спрятаться между молящимися. Идиот избирает новое место, около него снова собираются мальчишки и снова проделывают ту же сцену. Наконец один из мальчишек, надев на голову шапку, вышел на середину церкви и стал перед покойником. Но стоявший около гроба дьякон снял с него шапку и сказал что-то ему на ухо, после чего мальчишка исчез. Разве подобные сцены не *возмущают* религиозного чувства богомольцев?» — спрашивает г. Калиновский. «Разумеется, возмущают, — заявляет от себя редакция «Листка»: — *но что поделаешь против распущенности наших уличных мальчишек?!»* (эти знаки поставлены редакцией). Как видите, сцены такие, что впору хоть бы и Лондону, а у нас уж такими сценами и Воронежи и Царицыны занимаются, переполненные скучающею публикой.

Дети, которые играют в церкви в прятки, которые бегают по ней, как по площади, которые ходят по церкви в шапках, — это дети удивительные, действительно уличные, беспризорные; вы видите, что около них нет человека, который бы научил их самым элементарным понятиям вроде того, что в церкви «боженька» и что в церкви стоять надо без шапок. Это совершенно дикие человечки, неизвестно кем рожденные, чем питающиеся и где проводящие время. Такое явление, разумеется, *возмущает* обывателя, но на беду его только возмущает. Возмутит, оскорбит его, заставит *обойти*, посторониться, даже спрятаться за угол и считать себя счастливым, что добрался до дому или до клубного светлого и теплого зала, где хотя музыка-то развлечет и облегчит. А ведь все-то это возмутительное — большой, огромный общественный вопрос, вопрос о пролетариате, о человеке, доведенном до одичалого состояния мальчишки, или испитой полуголой женщины, или *«какой-то* пьяной ревущей *массы»*, валяющейся на улице. Я очень хорошо знаю, что этот большой вопрос — не царицынский и не воронежский, а всенародный и даже всемирный; но ведь интеллигентный человек именно и воспитывается в таких всемирных-то вопросах; ему обязательно, волей-неволей, жить под давлением их — не как возмутительных только явлений, а как огромных задач, налагаемых на него его особенным интеллигентным образованием и положением. Если же *такие* вопросы почему бы то ни было выходят из круга его душевной деятельности, оказываются для нее невозможными, то решительно нельзя понять, чем бы он мог жить духовно и какова же тогда будет вообще-то жизнь общественная, если *такие* вопросы не будут подлежать заботам интеллигенции.

А они и действительно не подлежат, и жизнь скучающего интеллигента проходит в том, что он *возмущается* улицей да успокаивается кое-как в концертах, в клубах — словом, мается, ждет чего-то и, как ошеломленный, встряхивает головой, когда не подлежащая его деятельному вниманию жизнь ошеломит его каким-нибудь ужасающим явлением: убийством, грабежом и вообще какою-нибудь грандиознейшею гадостью или подлостью. В таких случаях обыватель как бы приходит в себя: «да докуда же это будет?» И нужно отдать честь обывателю,

что в такие минуты он искренно возмущается ошеломившим его злом, страстно высказывает, иногда массовыми движениями, свои симпатии и жажду выразить свои добрые, долго бездействовавшие, не имевшие практики побуждения. В Казани самоубийство несчастной купеческой дочери Латышевой, застрелившейся в день свадьбы, собирает на похороны ее всю Казань, образованную и необразованную, и вся эта толпа идет на могилу покойной, протестуя против насилия. В Новгороде, во время процесса г-жи Феопемтовой, обвиняемой в подстрекательстве к убийству и сожжению мужа, толпы народа, убежденные в ее виновности, сплошною массой стояли около окружного суда, ожидая приговора, и находились в таком настроении, что обвиняемую пришлось увезти из суда задним ходом и в мужской шинели. Свирепый поступок турка-хозяина в Кременчуге с рабочим поднимает на ноги весь город. В Воронеже происходит убийство трех женщин, и весь город идет за их прахом на кладбище; даже в одной из деревень Воронежской губернии убитую неповинно женщину провожала вся деревня с возможною для нее торжественностью.

Такие общественные порывы, без всякого сомнения, благородны; но какие нужны ужасные, ошеломляющие неожиданности, чтобы в ослабевшей, притерпевшейся к окружающему злу, общественной душе пробудились те движения совести, нормальное развитие и течение которых обязательны для всякого человека и для всякого человеческого общества, желающего ощущать себя живым и живущим. А вот нормального-то развития впечатлительности общественной души к худым и хорошим влияниям общественной жизни и не замечается теперь в скучающем интеллигентном обществе. Скучающая интеллигенция привыкла к тому, что относительно «жгучих вопросов жизни» можно ограничиваться либо только отвращением — так противна форма, в которой они выражаются на улице, — или только негодованием, либо осторожно их обходить, не заражая себя их дурным запахом, либо, наконец, *отделываться* от них мертвым формализмом.

Убивают, как я упомянул выше, в г. Воронеже сразу трех женщин — убивают вечером в семь часов, почти на глазах людей, и, убив, обворовывают квартиру убитых.

Город ошеломлен, испуган, возмущен, а те, кому ведать надлежит, *энергически* принялись за искоренение давно назревавшего зла. По всем ночлежным домам, по всем закоулкам, трущобам начались ночные облавы, причем наловлена масса бездомовного темного люда. В короткое время нахватав 553 человека, скучающая интеллигенция выслала 223 человека на место родины, а 312 человек передала местному мещанскому обществу, как доказавших свою *самоличность.* Этого слова «самоличность» оказалось весьма достаточным для того, чтобы бездомовных воронежских мещан возвратить опять той же бездомовности, в которой они и до сего находились. «Переданы мещанскому обществу» — фраза, как будто что-то означающая. Сначала взяли, а потом передали кому-то; в сущности же бездомовный как был бездомовным, так им и остался вплоть до другой какой-нибудь потрясающей неожиданности.

Но даже и этот способ борьбы со злом обрадовал измаявшихся обывателей, потому что месяца через два после начала облавы на бродяг в № 74 газеты «Дон» появилась следующая заметка: «Несколько месяцев тому назад наша полиция выказала большую энергию при розыске негодяев всякого рода и *спровадила* их из города гораздо более тысячи. За это ей большое спасибо. Но еще большее спасибо заслужила бы она, если бы обратила свое энергичное внимание и на других паразитов общества — проституток. Число явных проституток в последнее время *увеличилось ужасно.* Множество грязных притонов наполнено ими, да и все общественные сады не обходятся без них. Но сугубый вред приносит тайная проституция. У нас в городе существуют целые гаремы, ютясь под скромными вывесками: «пивная лавка» или «портерная», число же последних довольно солидно. В интересах нравственности и здоровья не мешало бы взяться за искоренение этого ужасного зла».

Итак, видите, какие кучи человеческого мусора накопились в богоспасаемых весях. Ведь это всё люди, ведь это человеческий мусор — мусор из живых существ! Что же с ним делать и как быть? На это выработаны скучающею публикой два ответа: уйти от всей этой гадости и мучительных впечатлений, которые она производит, в концерт и забыться *в ореоле восторга* или же «передать

на руки мещанского общества, как доказавших свою самоличность», а еще лучше — «спровадить».

И, несмотря на обилие музыкальных вечеров, с одной стороны, и «энергию спроваживаний» — с другой, ни спроваживающий ради «успокоения», ни спровожаемые одинаково ничего существенного в результате не получают. Простой коренной обыватель, живущий собственными трудами, дошел до того, что если у него украдут шубу или разломают сундук, так он предпочитает обратиться за похищенным прямо к вору, входит в сношения непосредственно с похитителем, не довольствуясь тем, что похититель, энергически взятый в темную, энергически передан обществу, как доказавший «самоличность».

«Выбрав время, — рассказывает практический обыватель в № 17 «Дона», — пришел я к его (вора) немудрящему домику; оглянул кругом — ни единой души нет: никто, значит, меня не заприметил. Через сенцы вошел я в полутемную хатенку. По всему было видно, что здесь перед моим приходом шла безобразная попойка. Хотел я, по своему обыкновению, помолиться на икону, но таковой не было. Тут я увидел хозяина хатенки. Это был дюжий детина с широкою грудью, с здоровенными руками, одутлым лицом, жгучими глазами и черными всклоченными волосами на голове. *«Что скажешь, любезный?* — спросил вор и, видя испуг обывателя, прибавил: — не бойся! Я не такой дурак, чтоб ограбить тебя в моем доме, тогда бы я мог быть пойман с поличным. А вот присядь-ка, а я тем временем *сам расскажу, зачем ты пришел ко мне.* Я с одним из товарищей покрал вещи-то у тебя... Что делать! — прибавил он нахально, — надобно же промышлять чем-нибудь, чтобы прожить век свой и не помереть голодной смертью». Затем он стал торговаться, оценили вещи в известную сумму, сошлись, ударили по рукам, условились «по честности», как и когда возвратить вещи и насчет того, чтобы «не выдавать» и т. д. И вор все исполнил, как обещал, а обыватель, получивший свои вещи назад, нашел нужным промолчать о воре — в благодарность за доброе дело. Таким образом, вор здрав и невредим находится на руках общества и «доказал свою самоличность».

Не лучшие результаты получаются и от способа помощью успокоения и увеселения разгонять тоску действи-

тельности. Несмотря на обилие театров, музыкальных, вокальных и танцевальных вечеров и всевозможных гуляний и развлечений, иногда на скучающую интеллигенцию нападает такая тоска, что хоть топись. «Вечер первого августа в городском саду, — читаем мы в хронике все той же газеты «Дон», — отличался какою-то *особенною вялостью и угнетением духа.* В свое время начал играть оркестр, хор певчих пел, иллюминация зажглась по главным и второстепенным аллеям сада также своевременно; *но что-то томительное сдавливало сердце.* Г-н Киндель (капельмейстер) усердно откалывал марш за маршем, но публика как будто не замечала этих маршей и «сновала» по аллеям сада с страшным сплином; даже молодежь — и та *не взвизгивала по обыкновению* своим беззаботным говором и смехом, *а понуря голову* молчаливо только *шагала* по аллеям городского сада. Откуда такая тоска? Откуда такая подавленность жизни?»

Неизвестно, чем бы кончился этот несчастный вечер, если бы совершенная случайность, наконец, не оживила измучившуюся публику.

«Но, — продолжает г-н репортер, — и под этой вялой обывательской жизнью вспыхивает *огонек* эксцентричности: говорят, в конце гулянья одна из «юниц» устроила пикантный сюрприз на тему сюжета, взятого напрокат из Эрмитажа: «Смотрите здесь, смотрите там!»

Хорошо, что хоть юница выручила. А то от скуки вот еще как развлекаются. Описывая один воронежский пожар, г-н очевидец пишет («Дон», № 87): «Я, как очевидец этого пожара, заметил, что на пожар явилось немало лиц *показать* просто *свою удаль: подбросить повыше* какую-нибудь тяжеловесную вещь или хватить венским стулом в раму так, чтобы все превратилось в дребезги». Вот и дети что-то скучают, и многие просто бегут неведомо куда; четыре гимназиста уплыли тайком от родителей из Ельца — уплыли странствовать; два мальчика ушли из воронежского хора — тоже странствовать; взятые, в ожидании справок, в полицейское управление, они, по словам корреспондента, «играли здесь и пели, *как птички*»...

Да, скучненько-таки живется на белом свете! Но пусть читатель не унывает и не сокрушается — есть на этом белом свете кое-что и хорошее.

4

«К богатому магазину с одной стороны ползет с помощью рук и коленок безногий нищий, с другой подходят две бабы с пустыми сумками и с ними мальчонка лет пяти в оборванном, длинном не по росту кафтанишке, верно с чужого плеча.

«— Сотворите милостыньку, Христа ради! — робко произносят бабы в один голос.

« — Господь подаст! — слышится им в ответ из магазина.

«Нищенки печально отходят.

« — «Не прогневайся» да «бог подаст», только и слышишь целый день, — жалуется одна из них. — Чисто с голоду околеешь, по миру ходючи. Господи-батюшка, али нет креста на людях, али нет доброй христианской души на людях?

« — Бог не без милости, а свет не без добрых людей! — раздался позади них дрожащий голос.

«Обернувшись, они увидели калеку.

« — Вы откуда, бабоньки?

« — Из Сибири, родимый! от обчества были высланы!

«Продолжая их расспрашивать, нищий снял из-за плеч свою суму, достал оттуда три куска белого хлеба, три яблока и разделил между тремя собратами по несчастию, а ребенку сверх того сунул еще что-то в ручонку. Бабы, принимая от калеки милостыню, набожно крестились и со слезами благодарили своего благодетеля» («Волжско-Донской листок», 23 августа).

Так вот, стало быть, не всегда решение жгучих вопросов ограничивается на Руси «спроваживанием» их долой с глаз или удостоверением в «самоличности» бездомовного человека; делается кое-что по части жгучих вопросов, неразрешимость которых только мучает и томит скучающую интеллигенцию, — делается нечто действительно существенное, реальное против язвы пролетариата, начинающегося в расстройстве хозяйственных народных порядков, против пьянства, воровства, грабежа и других язв, вытекающих из этого расстройства и разъедающих деревни и города. *Сам* народ, на средства, добытые из собственной нищенской сумы, совершает такое

огромное, трудное, исполненное великого подвига движение, как переселение и колонизация. С другой стороны, тот же *сам* народ совершает, опять-таки на свой страх, на свои нищенские средства другое важное и огромное дело духовного совершенствования, стремится выработать принципы благообразных человеческих отношений. И вот эти-то народные дела, совершаемые народом во имя благообразия и справедливости человеческих отношений, совершаемые «на самом деле», к глубокому сожалению совершаются без всякого участия тоскующей интеллигенции. Жизнь есть, но, к сожалению, вовсе не там, где г-н Киндель, откалывающий марш за маршем, не может разогнать тоску даже у молодежи, *шагающей понуря голову*.

VIII. МЕЛКИЕ АГЕНТЫ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ [1]

1

...Урожай восемьдесят седьмого года на всем протяжении Волги и Дона скопил массу всякого покупающего и продающего люда. Масса мелких агентов от разных крупных фирм для скупки хлеба, шерсти и других продуктов, которыми изобилуют приволжские и придонские степи в несметном количестве, кишат повсюду: на пароходах, железных дорогах, во всяком мало-мальски бойком торговом месте, во всякой станице, расположенной в удобном для передвижения товаров месте, не говоря о больших торговых, близких к морю городах, где от мелких «агентов» всевозможного рода крупных предприятий положительно нет ни прохода, ни проезда. За скупщиками местного сырья следом идет и продавец всякого нужного крестьянину товара; ярмарки повсеместны; проездом мимо больших станиц и сел вы видите всегда, что либо приготовляются строить балаганы для ярмарки, либо уж ломают их, чтобы перевозить в другое место, либо видите ярмарку в полном разгаре, с балаганами, парусинными шалашами, с трактирами, смрад

[1] Из путевых заметок о поездке по Дону в 1887 году.

из которых достигает даже до парохода, с разными фокусниками, шарманками, девицей «геркулеской», показывающей за три копейки свои чрезвычайные формы. Эта покупающая и продающая масса людей, конечно, требует массы черного, рабочего народа, который таскает кули, тюки, ящики, возит и носит. И чернорабочим народом переполнены также все пристани, все пароходы, железные дороги и опять-таки крупные торговые города — до чрезвычайности.

«Мелкий агент крупного предприятия» и «чернорабочий», появившиеся на Руси одновременно с развитием крупных торговых, промышленных операций, причем первых появились сотни тысяч, а вторых — миллионы, совершенно изменили как внешний вид, так и внутренний смысл и вообще весь строй и тон жизни наших сел, деревень и городов, и изменили их не в привлекательном смысле. В отношении внешней непривлекательности села, деревни и города чрезвычайно много потеряли от наплыва рабочих масс, этих людей без сапог, без шапок, в потных рваных рубахах, а главное — от этого небывалого прежде неустанного ихнего труда, с перевозкой, переноской всевозможного рода товаров и грузов. Этот вечный стон, оханье, эти напряженные вопли для облегчения тяжести, переполняющие изо дня в день воздух торговых мест, не терзали вас в такой степени в прежние времена; теперь же от рабочей толпы, снующей взад и вперед, от грома этих ломовых дрог, от обилия этих тюков, бочек, ящиков, полос гремящего железа и т. д. пропало всякое благообразие улицы, даже всякое удобство; а обилие рваного народа, изнуряющегося в труде или галдящего в кабаке, производит одуряющее впечатление неопрятности и сутолоки, никогда в такой степени не обезображивавших тихих улиц наших сел и городов. Но обилие чернорабочего, обилие рвани, крика, изнурения, брани и пьянства — все это уничтожает только внешнее благообразие наших жилых мест. Несравненно более тоскливое, изнурительно скучное впечатление производит, так сказать, упадок нравственного значения, особенно городов, упадок тона, который в *старые* времена был свойствен городу, как центру, в котором живет образованное общество. Велика ли была эта образованность наших городов — это вопрос другой;

но за городом была известность образованного центра, просвещенного, где образованный человек стоял всегда на первом плане; были там люди разных сословий — и мещане, и купцы, и разночинцы, но как отличительная черта от деревни, от деревенской глуши, всеми признавалось, *числилось* за городом значение высшего в нравственном отношении центра. И как бы ни был мал кружок действительно образованных людей в городе, он всегда имел значение; всякий лавочник мог указать, где живет такой-то генерал, который пишет стихи и играет на виолончели; всегда был небольшой кружок людей, выделявшийся из массы городского общества своим нравственным значением; словом, образованность отличала город от деревни и была именно главной отличительной чертой города. Сплетни, пересуды, дрязги, раздоры, грязь и всякая дрянь — есть везде; в город приедешь — *отдохнешь*! «Надо поехать в город — *освежиться*!» — говаривали в прежние времена; теперь, напротив, говорят: «Надобно куда-нибудь забраться в глушь, в дебрь... надо же хоть немного освежиться!»

Я не сомневаюсь, что и теперь в каждом мало-мальски многолюдном центре всегда есть кружок людей, интересующихся общими вопросами жизни, конечно, во сто раз более образованных, чем «образованное общество» прежних лет, но количество их непропорционально мало, даже буквально ничтожно сравнительно, во-первых, с огромной массой той скучающей публики, о которой говорено в предыдущем письме, а во-вторых, с наплывом еще нового сорта людей, рожденных и взращенных развитием капиталистических предприятий, — людей крошечных специальностей, загипнотизированных какою-нибудь капельною частицею большого предприятия, удаленных этою капелькою от всяких общих интересов и вопросов. В наплыве этого изуродованного своей односторонностью человека, в его мелкой суете, в мелком, ничтожном деле, с которым он не знает покоя и никому покоя не дает, — человека, взращенного капиталом и привлекшего за собою в города сотни тысяч оборванного ломового народа; в шуме, треске сумбурного и беспрерывного движения, втиснувшего на улицу бочек, тюков, кип, ящиков в сто раз больше, чем людей, — исчезло и внешнее благообразие города, исчезло и его обязатель-

ное нравственное значение, исчезла его местная своеобразность — и город превратился в центр скучнейшей суеты, скучнейших, однообразнейших людей, изнуренных какими-то мельчайшими заботами, каждый сам по себе, без возможности понимать такую же мельчайшую заботу своего ближнего.

2

В прежнее время куль хлеба, положенный на телегу или в сани в помещичьем имении и отвезенный мужиками в город к купцу, здесь же у купца в амбаре большей частью и оканчивал свою биографию и уже в крайнем случае оказывался в Москве. Помещик, мужик и купец — вот все агенты и факторы хлебной торговли в старину; мужик пахал, сеял, косил, молотил, возил — словом, совершал один сотни таких дел, которые в настоящее время, при расширении хлебной операции, совершаются уже сотнями рук. Теперешний купец не в городе, даже не в Москве, а в Берлине и Лондоне, и прежде чем теперешний куль доберется с базара какой-нибудь станицы до заграничного корабля, он пройдет через сотни рук, получающих средства к жизни только от прикосновения к нему и имеющих по отношению к этому кулю какую-нибудь мельчайшую, специальную обязанность, отнимающую все время и поглощающую всю умственную деятельность. В настоящее время количество народа, толпящегося около куля хлеба на пространстве, которое он пройдет от базара до корабля, до такой степени велико и разнообразно, что цена куля, оказавшегося на заграничном пароходе, как высчитывали мне знатоки, вырастает на пять рублей против цены базарной, — и все эти пять рублей, по грошу, по полкопейке, по гривеннику, разбираются массою народа, который живет этими копейками и который за эти копейки и гривенники должен всю жизнь торчать около какой-нибудь частички дела, посвящая ей все свое внимание.

Человечек «по хлебной части», с которым мне пришлось встретиться на пароходе, может служить образчиком одной из этих специальностей хлебного дела.

Человечек этот ехал в большую на Дону станицу Ц—скую с тем, чтобы жить там всю осень безвыездно.

Обязанность его должна состоять в том, что он каждый божий день, с раннего утра и до позднего вечера, будет, как ястреб за цыплятами, следить за мужиками, привозящими в станицу на продажу хлеб; он будет их убеждать, усовещивать, божиться и клясться, орать, ругать, тянуть за рукав, чтобы всячески оттянуть от конкурентов других фирм, агенты которых будут делать то же самое, что и он. Постоянно и непрестанно его глаза, в течение всего этого времени, должны напряженно разыскивать во вселенной только кули и мешки; уши его должны напряженнейшим образом слушать только то, что касается куля и зерна, и каждый звук, похожий на слово куль, он должен жадно и цепко перехватывать своим насторожившимся ухом, немедленно направляя свои мысли, поступки по тому направлению, которое указывает специальная его задача. За этот напряженный, однообразный, изнурительный труд, отнимающий у человека почти все часы дня, он получает самое ограниченное вознаграждение; одет он бедно и плохо; путешествуя в третьем классе, то есть на палубе, он таскает с собой старое одеяло, в которое кутается от дождя и ветра. Имущество его — небольшой чемоданчик, в котором находится жестяной чайник, стакан, сверток чаю и сахару и небольшая подушка; все это, как видите, должно в маленьком чемоданчике занимать так много места, что для какого-нибудь иного рода имущества, быть может пары-другой белья, едва ли будет место. Табак он курит в двугривенный четвертку и покупает только осьмушками; книжка папиросной бумаги для него дорога: он покупает за две копейки большие листы папиросной бумаги; из этой бумаги он с величайшей экономией в табаке крутит тончайшие папиросы на одну, много две затяжки: как затянется, так папироса вся сразу согнется и ударит его горячим концом по губе — так она жидка. Он больше тратит времени, чтобы заплевать папиросу, в которой бумаги более, нежели табаку, чем курит эту папиросу. С ним жестяной чайник и маленький сверток с чаем и сахаром. Чаю он заваривает самое ничтожное количество, так что, налитый в стакан, он оказывается едва подкрашенным, а затем несколько стаканов он выпивает голого кипятку, только кусок яблока сунет для вида и, вероятно, вкуса. Но сколько бы он стаканов ни выпил,

кусок сахару, вынутый в начале чаепития, никогда не был уничтожен весь, а всегда оставалось около половины, которая и пряталась обратно в сверток. Никаких «порций» и даже «полупорций» по части съестного он ни разу во весь путь не спрашивал — питался исключительно белым хлебом, запивая чаем. Однажды только он купил десяток яиц на пристани. Вот все его материальные блага, достигаемые изнурительным мелочным трудом.

Человек этот — агент низшего порядка: он скупает хлеб в известной станице и складывает его в ней же. Таких агентов у фирмы множество в разных селах и деревнях; над ними идет другой ряд агентов, которым тоже за труды достаются копейки, а труды которых тоже муравьиные. Один — только и делает, что объезжает склады по селам, запускает руку в зерно, жует его, выплевывает, ругается и уезжает: приедет, пожует, выплюнет, обругает, и дальше. Другой — только и делает, что вешает да знаки ставит то черным помазком, то красным. Третий — только считает: толконет ногой в куль и запишет, толконет ногой и запишет и т. д... Это покупка, а потом перевозка — пароходы, железные дороги. Стоит посмотреть на билет прямого сообщения, положим, пробывши в дороге три дня, от Одессы до Петербурга, чтоб убедиться, какая несметная сила и разнообразие в одной специальности контроля; билет проколот крестами, звездами, полумесяцами, кругами, квадратами и т. д., и на каждый прокол и прокус — особый человек, получающий хлеб только за прокус билета известным манером и этим существующий на земле. А там полчища стрелочников, полчища таинственных незнакомцев, которые невидимы на поверхности земли, а ползают под вагонами, постукивают что-то, а там полчища людей, которые только с записной книжкой ходят мимо вагонов и записывают нумера, и т. д.

А пароход? Велик ли он весь-то — много-много пятнадцать саженей длины и саженей пять ширины, а посмотрите, сколько там по разным трещинам набито народу, и у каждого своя часть. И наверху, и внизу, и с боков — везде понаделаны какие-то мышиные норы, величиной с папиросную коробку, а между тем в каждой такой папиросной коробке по целому семейству; непостижимо, каким родом могут существовать, даже дышать

в такой коробке капитан — мужчина 13 вершков, капитанша — плотная «скульптурная» дама, беременная и уже имеющая ребенка, нянька ребенка, кошка и все принадлежности мужского, женского и в особенности детского туалета. А между тем существуют: как утро, коробка папиросная отворяется, и выходит из нее капитан в два раза выше коробки ростом, выходит капитанша, повидимому больше размером, чем вся коробка, нянька с ребенком, затем выносят один стул низенький, другой стул высокий; вывозят колясочку плетеную, велосипед, самовар, хлеб, жестяную сахарницу, арбуз и т. д. А вечером в эту же коробку все это множество людей и предметов опять вбирается постепенно, и коробка запирается на ключ. Иной раз, на самом дне парохода, где, кажется, уже ничего нет, кроме тьмы кромешной, вдруг оказывается дверь величиной в аршин, за дверью лестница в темную яму, а в яме младший механик, жена, ребенок, подушки. И все это плодится, множится, и все это сидит в *своей* коробке, варит *свой* обед, озабочено жадным стремлением всунуть на плиту *свой* чайник прежде чайника старшего лоцмана и младшего боцмана, которые тоже держат себя независимо в своих папиросных коробках и от механиков, и от штурманов, и от рулевых, и всяких бесчисленных обитателей нор и ущелий, таящихся на пароходе.

3

И что же — вы, может быть, думаете, что человек такой норы скучает, томится, чувствует неудовлетворение и жаждет выхода? В том-то и дело, что нет; именно бисерная-то мелкота специальностей, приучающая человека сосредоточивать свои силы на каком-нибудь ничтожном предмете или деле, иссушает в нем всякую жажду простора и широты мысли; человек привыкает обходиться без этой широты и ухитряется создать из своего капельного дела такое количество вопросов и интересов, которое вполне поглощает все часы его жизни. Иной так обживется в своей мурье на пароходе или так сроднится с своим прокусывающим билеты инструментом, что их силою не разлучишь с их любимыми вещами и заботами. О сломавшемся пароходном винте он может без умолку

разговаривать с вами целые дни и недели — так это дело разработано его умом, похищенным интересами предприятия; но вообще о сложном механизме жизни он не найдет материала для разговора в течение пяти минут.

— Вы не овес ли изволите покупать? — подойдет к вам и спросит агент по овсяной части, человек, который два дня ехал с вами на пароходе, пил за одним столом чай, думал, кто вы такой, и так как у самого у него вся голова набита овсом, то его желание войти с вами в беседу не может, при всех усилиях его отупленной овсом головы, выразиться ни в каком другом вопросе.

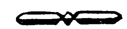
— Нет, не овес! — отвечаете вы несчастному калеке, и калеке больше ничего не остается сделать, как уйти прочь.

Иной из таких, суженных умственно и нравственно на какой-нибудь мелочи, людей, случайно вступив с вами в общий разговор, с огромными усилиями делает только вид, что слушает вас и понимает. Ничего он не слышит, ничего для него не важно: все это для него не подходит, а если и интересует даже его, то ему просто некогда; но когда дело дойдет до керосина, на котором держится все его земное существование, он вас затопит речью, как керосинный фонтан, разверзнет такие пространства керосинного мышления, что конца-края им не показывается, если, конечно, посмотреть на дело основательно. Он сделал только «беглый» обзор, а и то вы не знаете, куда бы от него уйти и как бы скрыться; у вас уже давно трещит в висках и начинаются грудные спазмы, а ведь это только «беглый» обзор!

Мелочность мыслей, забот, интересов, их чрезвычайная раздробленность — отодвинули на задний план всякий интерес к живому, общему делу. Думы толкуют всё о тех же агентствах, пристанях, об отводе мест для завода, о трехкопеечном сборе с куля, с бревна, с мешков, о подъездных путях для этих кулей, мешков, бревен и бочек. За всеми этими неуклюжими складами, амбарами, лесопилками, пивными и иными заводами, расставившимися где попало, — не разыщешь окружного суда, чтобы послушать какое-нибудь разбирательство, подумать о жизни. Адвокат совершенно забыл, что в былое время он, если только бог дал ему ум и совесть, мог, защищая какого-нибудь мужика, сказать обществу много правды, и идти слушать речь по общим вопросам было

делом обязательным для мало-мальски не невежественного горожанина. Теперь и в суде, в этом месте, где хоть капельку-то можно было бы слышать о правде жизни вообще, царит отражение тех же мусорных печалей муравьинообразного человека, копошащегося на куче и около кучи, именуемой капиталом: перебор двух копеек с пуда, взыскание штрафа — словом, печаль, забота все о той же бочке, о винте, о куле, о тюке, о доске, и ни малейшей заботы о человеке. Недавно, например, в петербургском окружном суде разбиралось дело одного *афериста*, который разъезжал по русским железным дорогам, разыскивал пострадавших *от увечий* на железнодорожной службе, брал от них доверенности, выговаривая в свою пользу 50 процентов с вознаграждения, которое он получит в пользу своих клиентов с железнодорожных обществ. Судили этого афериста за то, что дорого берет, судили за полтинник. Но вот что любопытно: «Доверенностей, полученных аферистом, у него оказалось 360 штук» («Новости», № 229). Вот ведь какую массу калек хотел ограбить этот аферист! Надобно, конечно, наказать его. Но 360-то уродов и увечных людей, открытые им, куда ж денутся? — ихние-то увечья, без участия афериста, так и останутся в забвении. Ведь одних костей человеческих в 360 увечьях, я думаю, пудов пятьдесят, шестьдесят наберется? Неужели же их-то не стоит показать публике и поговорить о них? Статья, из которой я заимствовал сведения об аферисте, вся посвящена обсуждению нового закона, касающегося именно вознаграждения за увечья железнодорожных служащих. И что же? Оказывается, что все усилия железнодорожных администраций направлены исключительно к обходу этого закона. Образованные, получающие хорошие оклады, купленные предприятием люди ломают головы над тем, как бы обойти закон, желающий защитить увечного, и вышвырнуть калеку на улицу. И вот что изобрели между прочим: «Имея в виду установленный законом *годичный* давностный срок для предъявления исков по вознаграждению за вред здоровью, правления *предупредительно, без всякого со стороны потерпевшего требования,* выдают ему кое-какое пособие, или сохраняют ему жалованье, или перемещают его в новую должность, в виде вознаграждения за полученный вред, *но делают*

все это в течение только одного года, а потом, когда год прошел и, следовательно, срок давности истек, — общество увольняет потерпевшего и прекращает с ним всякие обязательства, взятые на себя добровольно» (та же газета, № 229). Ведь на такую жестокость надо много ума потратить, так как за этот ум платят, дают хлеб выдумщику. Нет, положительно повсюду, благодаря пришествию этих копеечных тревог капитала, упал интерес и значение общих коренных вопросов жизни. Жизнь человеческая исчезла под наплывом суеты предприятия; люди, их печали, горести, их драмы, их муки, нужда, грех, горе, их надежды, желания — все выбито из общественного сознания, все потеряло значение пред горем перевозок и переносок, страховок, коносаментов, винтов, тюков, ломовиков, пароходов, контролеров и т. д. и т. д. Нет, не живит людей могущество и сила купона! Скуку, сухость, мелочность и тусклость вносит такой купонный слуга во все сферы жизни — и вот почему так невыносимо скучно теперь везде, где «купону» удалось развернуться более или менее свободно.



IX. РАБОЧИЕ РУКИ

1

Еще скучнее и тяжелее, чем при созерцании иссушенного печалями купона *агента,* чувствуешь себя при виде другого *аппарата,* изобретенного тем же невнимательным к «человеку» купоном, — созерцании «чернорабочего», уже во множестве народившегося на Руси.

Во всех местах, селах и деревнях, городах — словом, везде, где только есть какой-нибудь крошечный агент какого-нибудь предприятия, — непременно вы видите уже целые толпы человеческих существ с верблюжьими горбами на спине, без шапок, без сапог. Искусственные верблюжьи горбы, сделанные из дерева и обшитые кожей, тверды и крепки, и сделаны они в защиту натуральной человеческой спины; искусственный горб не переломится, а следовательно, останется цела и натуральная человеческая спина. Видите, какие гуманные требо-

вания предъявляют к человеческой спине все эти излюбленные детища капитала, все эти тюки, бочки, все эти в разных видах оживленные металлы и камни: они хотят влезть на человеческую спину в таких размерах и количествах, что она бы должна переломиться, если бы сама не позаботилась о самосохранении и не выдумала, в виде самообороны против бесчеловечных замашек капитала, искусственного верблюжьего горба. Капиталу нет дела до человеческой спины; он хлопочет о своем любимом детище, паровой молотилке; ее ему нужно пустить в свет, она хочет жить, а переломится ли там какая-нибудь спина — это в его цели и идеи не входит. И повсюду и во всем чернорабочем труде вы видите натугу, стремление преодолеть что-то, не соответствующее обыкновенным силам человеческим: оханье всем животом и нутром, «дубинушка» с отчаянным напряжением сил в конце каждого куплета, наконец, натуга, слышащаяся во всякой песне, не говоря о таких радикальных приспособлениях, как искусственные верблюжьи горбы, то есть деревянные позвоночные хребты, — все это говорит о нечеловеческих усилиях, все направлено к преодолению трудностей, не свойственных обыкновенным человеческим силам. И если вы представите себе, что эти стоны нутром, эти «охи» напряжения и нечеловеческого усилия оглашают воздух наших больших рек, наших пристаней и торговых городов, оглушают вас и тиранят ваш слух с раннего утра до поздней ночи; надрывают ваши нервы, доносясь откуда-то издалека и неистовствуя вблизи вас, — то успех промышленности не сразу пленит вас и придется вам по сердцу; люди, превращенные в верблюдов, и притом сотни тысяч людей, едва ли свидетельствуют об успехах человеческой личности. Нехорош также человек-верблюд и в кабаке и в драке, но винить его за такой способ отдыха решительно невозможно: от него берут силу и кроме кабака решительно ничего не дают; органы в трактирах играют уже и бьют в барабаны с шести часов утра, и с этого же времени пьет отдыхающий верблюд-человек. Да и вообще кроме кабака мы решительно ничего не придумали для нашего народа в качестве способа душевного и физического отдохновения, и винить утомленного трудом человека-верблюда в кабацком безобразии невозможно.

2

Что кабацкое безобразие действительно отвратительно — этого также нельзя не засвидетельствовать. И все-таки в конце концов в этой чернорабочей среде чувствуешь себя более по-человечески, чем в скучной среде людей, уступивших купону за чечевичную похлебку свой ум, знание и вообще частицу своей души. Чернорабочий уступает капиталу только руки, и выражение *рабочие руки* вполне точно обозначает качество жертвы, приносимой чернорабочим молоху-купону. Руки, спина, ноги — вот что куплено пока капиталом у мужика, крестьянина, чернорабочего. Душу, совесть, мысль — он еще не захватывает в свои лапы так, как бы желал; дело его на Руси пока новое.

И живая, детская душа поминутно сказывается в этом человеке-верблюде, раз он еще недавно в этом новом звании и раз только на минуту прекратилось его верблюжье дело. К счастию его, он еще не знает, что появление людей-верблюдов, к которым он принадлежит, есть *фазис*; он не знает, что не просто, как ему пока думается, для податей превратился он пока, на время в верблюда, но что он уже втянут в течение, что он уже завязил коготок и что «фазис» разыграет над ним такие-то и такие-то превращения, давным-давно уж определенные в книжках и предсказанные на множество лет. Он думает — «как наживу, так и к себе!» Но не знает, что фазис уже предначертал ему путь — уйти ни с чем и опять воротиться, постепенно отвыкнуть от семьи, завести любовницу, бросить жену (которой, так же как и ее дочке Машутке, уже предначертаны перспективы совершенно определенные) и, пожалуй, попасть в темную за убийство в пьяном виде, за кражу и т. д. Ничего этого «наши робята» не могут еще считать непреложным и обязательным для них до конца дней. Книг, где прописано про неизбежность фазисов, они не читают, перспектив мрачных никогда не представляли, так как все деревенские перспективы — не в человеческой власти и критиковать их, или предсказывать, или определять заранее невозможно, и никто из крестьян никогда этим не занимался более, как в размерах, обнимавших будущность весенних всходов. Эту же непривычку мыслить о более отдаленных перспективах

жизни задетый коготком купона крестьянин перенес и в свой верблюжий труд. Пока что он покряхтит, а потом и «будя!» Но этого «будя» не будет для него наверное, и уже есть маленькие признаки, что он начинает сердиться на свое верблюжье положение, как бы предчувствуя, что это верблюжье дело не выпустит его из своих лап вплоть до могилы.

Но, повторяю, хоть и есть признаки, доказывающие, что он способен рассердиться, — все-таки они ничтожны сравнительно с беспрестанным проявлением чисто детских черт удовольствия и веселья жить на свете. Чуть только на минуту, на мгновенье прекратится верблюжий труд и выдастся свободный час, которым может воспользоваться не купленная купоном душа, всегда она тотчас же проявляется светло, весело, совершенно по-детски.

— Дай-кось, с Федором-то сыграю штучку! — с радостью малого ребенка говорит пароходный повар, вытаскивая у коровьей головы вилообразную кость. — Кость какая ловкая попалась!

Нужно знать, что этот повар для рабочих также работает вместе со всеми товарищами. Он только что вылез из воды, где целый час стоял, помогая стаскивать баржу с мели, — он весь мокрый, потный, усталый; едва только он вылез из воды, как принялся готовить обед; ребята уж его понукают. Но вот, размозжив обухом коровью голову (в первый раз я видел это удивительное кушанье) и приметив там подходящую для шутки вещицу, вилообразную кость, он не упускает случая тотчас же сыграть и «штучку».

— Федор Иванович! — говорит он, подходя к простоватому и добродушному рабочему, не успевшему еще отереть потного лба после тяжкого труда. — Не угодно ли вам со мной *паре* подержать? На сороковочку? Бутылочку пивца? Всего копеек на тридцать на пять? что за беда? А выиграете — я угощаю...

Федор Иванович долго отнекивается, уклончиво улыбается; но повар так убедительно доказывает, что «паре» — хорошая забава, что Федор Иванович, наконец, соглашается и, потянув к себе один из концов вилообразной кости, переломил ее: это и значит, что «паре» принято обеими сторонами.

— Ну вот и превосходно! — хитро, плутовато, но весь переполненный сдерживаемым смехом говорит повар. И прибавляет: — Ну теперь, Федор Иванович, вы меня остерегайтесь!

— Иди, обед готовь! Полно болтать!

— Иду, иду! Теперь остерегайтесь, Федор Иванович! — едва не фыркая, говорит повар и уходит.

— Ладно! — самодовольно говорит Федор Иванович, продолжая вытирать пот. — Ты, брат, сорок-то копеек вынимай, а не я!

Дело в том, что, приняв «паре», принявший должен всячески остерегаться, чтобы его товарищ по пари (у которого остался другой конец кости) не всучил ему под каким-нибудь предлогом чего-нибудь в руки, сказав: «Бери да помни!», то есть помни пари. Раз он оплошает и возьмет вещь в руки и будет держать ее в то время, как его противник успеет сказать «бери да помни», он проиграл и должен по приезде в Ростов угощать.

— Ладно! Остерегусь, брат, не беспокойся!

— Ребята! — вдруг, торопливо входя на палубу к рабочим, говорит тот же повар, только что ушедший готовить обед: — иди кто-нибудь на баржу. Отнеси белье... капитанша сердится, велит поскорей отнести!

Лицо у него как бы испугано тем, что сердится капитанша.

— На́, Федор Иваныч, снеси скорей. Мне недосуг!

И он, суя Федору Ивановичу комок белья, торопится уйти.

Федор Иванович, не ожидавши такого мгновенного оборота дела, взял белье.

— Бери да помни! — почти простонал повар и покатился кубарем от смеху.

Хохотала вся артель гораздо громче, шумней и горластей, чем горланит она на работе. Такого непомерного смеха с чиханьем, охами, стонами давно не слыхал я нигде. Так хохочут только дети, которые иной раз расхохочутся до того, что «нельзя унять»! Федор Иванович, так мгновенно и внезапно поставленный в дураки, добродушнейшим образом улыбался и, держа в руках тряпки, говорил:

— Как он легко меня обернул, жид эдакой! Я думал,

всё не сразу же... Ан он кубарем перевернулся... не дал мне. . вот жид-то!.. Каким легким оборотом кувыркнул!

— Да стряпай ты щи-то, чорт! — орала хохотавшая артель.

— Лёгка! лёгка я тебя, Федор Иванович! — бормотал повар, не имея возможности перестать хохотать и в то же время колотя топором по коровьей голове. — Вот как у нас лёгка обделывают!..

Когда сломался пароход и стало всем известно, что дня два он простоит на месте и что, следовательно, всем предстоит двухдневный невольный отдых, тотчас же всеми рабочими овладело самое игривое детское настроение.

— Рыбу! Рыбу ловить! Живо! собирайся, ребята!

— Мне бы рубаху починить!

— Починишь! Чего там! Полезай в воду!

— А мы на берег «рако́в» ловить! — весело горланит другой. — Там озерцы есть, болотцы, я знаю.

— Валяйте раков ловить! А мы за рыбой! Бери бредень! Живо!

И тотчас все рабочие пошли с парохода, разбежались — кто на берег ловить раков, кто в Дон с бреднем. С баржей также и бабы и ребята тотчас же стали опускать сетки. И на Дону, где ходили с бреднем, и на берегу, где ловили раков, шло шумное, веселое вранье, смех, разговор — словом, детская игра. Нет! детского в них еще гораздо больше, чем верблюжьего, по крайней мере для тех, кому еще в новинку этот верблюжий труд, кто только еще начинает знакомиться с ним!

3

Живая человеческая душа еще до такой степени в самом деле жива в нашем народе, что иногда живое проявление молодой и светлой души решительно устраняет впечатление машинности и однообразной изнурительности того дела, для которого этот народ закуплен и закабален капиталом. Смотришь на человека, которому нужно бы быть машиной, и не видишь машины, а восхищен удивительной прелестью человека.

Я не могу забыть и, к сожалению, не могу передать достаточно ярко того истинного поэтического впечатле-

ния, которое произвела на меня работа трехсот молодых женщин, занимавшихся чисткою шерсти.

Когда я вышел на берег, у которого пристал пароход наш, чтобы принять девяносто тюков шерсти, — передо мной открылась такая картина: голая, утопающая в солнечных лучах (послеобеденное время) степь с едва приметными вдали очертаниями станичных домов и мельниц; на самом берегу передо мной ряды каких-то стогов, которые я принял за стоги сена, но которые оказались стогами белой шерсти, покрытыми сверху брезентами, также белыми. Но что меня поразило — это длинное, выстроенное из нового лесу, деревянное здание, до чрезвычайности похожее на летние загородные увеселительные кафе: та же открытая сторона, с легкими занавесками, опускающимися во время ветров и дождя, а теперь поднятыми, а главное — звуки стройного пения какого-то большого хора и масса женских фигур: одна к одной, к открытой стороне и поперек, как в театрах, — множество женщин, множество разноцветных платков на голове, на плечах. «Что это такое?» — думалось мне, когда я подходил к этому зданию. Иной раз казалось, что это, может быть, собрания сектанток — на этих собраниях также поют. Но, подойдя близко и, наконец, очутившись в самом здании, я увидел, что это не концертная зала и не сектантское собрание, а большой сарай, в котором более трехсот молодых девушек занимаются чисткой шерсти; волны этой белой шерсти лежат перед ними на длинных столах; они должны выдергивать все нечистые и темного цвета шерстинки. 30 копеек в день за работу с четырех часов ночи до восьми вечера — кажется, надо бы пожалеть тружениц? Но едва я вошел в этот сарай и оглядел его и этих тружениц, как во мне исчезла всякая мысль о трудовой стороне этого собрания. Руки работниц действительно что-то щипали, выдергивали — словом, делали какую-то кропотливую работу; но в самих этих труженицах (за исключением нескольких пожилых женщин и трех уродливых калмычек, все девушки были молодые, шестнадцати-двадцати лет, не больше) было так много живой женской красоты, изящества, молодости, живой игры жизни, что представление о «работнице» совершенно исчезало в удовольствии видеть такое обилие энергии жизни. Не знаю, не могу определить, в чем, в каких мелких подробностях

проявлялась этим множеством красивых женщин их жизненная энергия: в песне ли, как зарница вспыхивавшей сильно и дружно в одном конце сарая и замиравшей на другом, чтобы и здесь вспыхнуть также зарницей; в их ли врожденном умении вкладывать красивое движение во всякое мелкое дело рук — не знаю; но быть среди этого «живья», нисколько не смиренного трудом и придавшего даже ему, однообразному и скучному, оттенок какой-то легкой, шутливой забавы от нечего делать, — быть здесь было весело: просто почему-то ощущалось желание *жить*, ничего больше, но желание жить было веселое, бодрое.

Сколько раз на своем веку я видел художественные произведения, в которых художник старался меня, зрителя, пленить женской красотой: соберет иной штук двадцать женских фигур и, чтоб сразу потрясти меня, разденет их, бедных до нага, усадит около какой-нибудь двухаршинной лужи, разложит их по берегам этой трясины в самых вопиющих положениях, как ему угодно, без зазрения совести. Словом, на разные манеры хотят нас восхитить женской красотой, — и, сколько я ни помню, никогда от созерцания таких художественных произведений не получалось впечатление *жизни*, радости *жить на свете*, без всяких объяснений и толкований, дополнений и комментариев. Не получалось именно впечатления красоты, распрямляющей душу и говорящей измученному человеку: «не робей!» Напротив, всегда возбуждалась какая-то тяжесть неопрятного состояния духа, ограниченность впечатления и мысль о прахе и тлене.

А вот здесь, в толпе этой деревенской молодежи, свободно выросшей в широком разнообразии трудовой жизни, счастливой тем, что эта жизнь требует отклика всех человеческих способностей, желаний и свойств, — вот они в простом, даже мизерном деле проявляют (не ведомо как и в чем) такую красоту живого человека, что жить на свете кажется радостью, а мертвая тоска, безнадежность сутолоки жизни, привезенная с собою из условий ненародного строя жизни, исчезает, как удушливый дым: начинаешь видеть солнце, рад, что оно светит и греет...

— Кто желает — иди кипы таскать на баржу! — громко на весь сарай провозгласил приказчик, и масса девушек, оставив свою работу, хлынула на воздух.

Нужно было видеть, что они сумели сделать с этим уродом — кипой шерсти, обтянутой железными обручами. Если бы это дело делал мужик, — куль или кипа непременно бы преобладали над ним; мужик бы, надседаясь, упирался в куль, а куль сопротивлялся; постоянно слышались бы понукания: «н-но! напирай, Михайла, напирай, пхай-пхай» и т. д. Совершенно не то вышло теперь; едва на этот упорный, неуклюжий куль налетала стая молодежи, как в нем как будто бы мгновенно пропадало все его кулевое величие и солидность. Он не только не упирался, а опрометью бросался от девчат, которые, казалось, только кружились и играли около него, как птицы. Что-то заячье проявилось в этом толстомясом существе: он как бы оглупел, летел сломя голову, вдруг стал стоймя, но тотчас же перевернулся через голову и в еще более глупом виде загремел куда-то в бездну, разверзшуюся в барже. И все это с такой непрерывною веселостью, шуткой, игрой между молодежью, что все, кто смотрел на это, получал впечатление просто детской радости — стоять и смотреть на это. А куль потерял всякий интерес, и никто на него не обращал внимания, хотя он и был в железных обручах и привык умничать над человеком... И вот для такого-то впечатления — радости жить на свете и видеть живого человека — не потребовалось никаких неопрятных приспособлений: все девчата одеты, хотя и в трехкопеечные ситцевые платьишки, хоть у всех у них и были загорелые ноги, мозолистые руки... и в то же время, несмотря на «черную работу», в них не пропала ни единая черта истинной красоты человеческой вообще и женской в частности.

4

Но, увы, читатель, — это только вначале «играет» жизнь, а труд исчезает в прелести этой игры. Эти триста молодых девушек еще только завязили коготок в железную лапу купона, но раз коготок увяз — так и всей птичке пропасть. Много еще в них живой души, живой непочатой силы жить; но дальнейший путь жизни их нехорош: без всякой жалости расхитит он и растащит живую душу. Среди рабочих, уже *видавших виды,* уже

«обыкших» среди рабочих порядков и нравов, складывающихся по воле купона, слышатся иной раз глубоко омерзительные разговоры о женщинах, о тех самых, которых я видел еще играющими «как детей».

— Он что говорит про меня? — небрежно поплевывая подсолнухи, спрашивает один бывалый рабочий у другого, тоже бывалого; они встретились на железной дороге в вагоне.

— Он говорит, что по морде тебя бил за сестру... Я, говорит, ловко ему морду «разделал».

— По морде?

Продолжая плевать скорлупу, первый рабочий думает о чем-то и, подумав, говорит:

— Нет; врет он (такой-сякой), по морде он меня не бил...

— Он говорит, по морде, говорит, отжарил.

Опять что-то обдумывает тот, кого будто бы били по морде, и, поплевав скорлупу и подумав, опять не спеша произносит:

— По уху дал два раза, а по морде не бил... Это он врет! ..

— Ты чего с сестрой-то?

Рабочий опять подумал и очень небрежно ответил:

— *Подлюга* она была моя... очень просто! .. А он, брат ее (так и так), сманил ее к приказчику... Денег взял с приказчика... Я воротился из города, а она у приказчика. Утром дождался ее, встрел, оттрепал за косы... Она — выть... Прибежал брат — хотел мне в рыло... Ну, я его пхнул... Тогда они меня вдвоем повалили, руки держат, ну и два раза по уху дал... А по морде не бил...

Я, слушая этот разговор, признаться сказать, не понял хорошенько — говорит ли он *подруга* или, как мне легко могло послышаться, *подлюга,* и, чтобы выйти из затруднения, спросил у рабочего точного ответа.

— Обыкновенно *подлюга!* Какое же ей имя, коли ежели на это идет?

— Да ведь вы сами совращаете?

Рабочий улыбнулся и сказал:

— Да ведь нам что под руку попало. Коли идет, так — чего же? А *подлюга* потому, что хорошая на это не пойдет!

— Отчего же бывают одни и другие?

Рабочий молчал и соображал, не покидая подсолнухов.

— Ежели у которой родитель строг, то она не позволит... А у которой родители строгости не имеют, так она и пошла через голову.. Строгости нет — вот отчего!

Итак, опять *строгость,* известное российское средство от всех болезней.

Но, как кажется, видавший виды рабочий по временам начинает ощущать и гнев и стыд и, как я уже сказал выше, сердиться. Подъезжая к Ростову, мы видели, как оттуда по берегу промчался поезд по направлению к Новочеркасску — специально военный: вагонов десять были наполнены казаками.

— Это они с *усмирения* ворочаются, — сказал один из пассажиров.

В Ростове я видел три турецких гостиницы, разнесенных рабочими до моего приезда за три дня. Работа была очевидно моментальная и сокрушительная; впрочем, теперь почти все уж и восстановлено: рамы, двери, окна, лестницы — все новое...

За что и на кого он сердится? Почему ему нужна неправдоподобная легенда непременно про иноверцев? «Турки зарезали христианина». «Евреи зарезали, задушили». «Татарин убил». Что это такое?

Примечание. В этих «письмах с дороги» в самых беглых чертах и набросках сделано обозрение не очень радостных явлений как городской, так и деревенской жизни настоящего времени. «Мечтания» в конце концов оказываются все-таки делом почти неминучим для русских людей всякого звания, переживающих трудные времена. Да позволено же мне будет эти невеселые письма закончить возвратом опять-таки к мечтаниям, которые, как известно, никогда скучными не бывают. Помещаемая ниже статейка об одном литературном произведении потому именно и помещается в «письмах с дороги», что написана под впечатлением *веселых минут,* которые дала мне встреча с хорошо устроившимися переселенцами.

X. «ТРУДОВАЯ» ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ «ТРУЖЕНИЧЕСКАЯ»

1

Нельзя не признать, что мечтания о том, «как жить свято», занимают в сознании современного русского общества всякого звания далеко не последнее место. Всякого рода учения, указывающие «истинные пути», циркулируют в русском обществе в великом множестве. Постоянно слышите о проектах устройства колоний, поселений, земледельческих общин, и даже не только о проектах, а о самых реальных опытах осуществления этих проектов на деле. Какого бы то ни было видимого и скорого успеха этих опытов, конечно, ожидать невозможно: человек, протестующий своими мечтаниями против условий культурной жизни, которую ему ничего бы не стоило принять в готовом виде, тем не менее сам уже заражен уважением к ее благам и, плененный строем справедливой народной жизни, однакож не может не содрогаться, сталкиваясь в ней иногда с проявлениями удручающей тьмы и дикости.

При такой неясности положения культурному человеку трудно чувствовать себя уверенным и идти к цели бодрым и смелым шагом. Цель еще недостаточно определилась для него и вырисовывается еще в неясных очертаниях пока еще только мечтаемой справедливой жизни. Но неосуществимость всех этих мечтаний на деле не может умалить значения сущности мечтаний: жить так, чтобы избавиться от грехов современных условий жизни, — это стремление почтенно и значительно. И вот почему я в настоящей заметке хочу обратить внимание читателей на одно литературное произведение, в котором автор доказывает нам, что мечтания, не мирящиеся с грехом современной жизни, существуют и охотно воспринимаются в среде людей чисто народной среды, причем, самое важное, действующие лица его рассказа — редкие образчики людей самого благородного крестьянского типа, — чувствуя общую с культурными людьми потребность «жить свято», не только не имеют надобности чего-нибудь отбросить из своего строя жизни, как это неминуемо для культурного человека, но стремятся, напротив, не только сохранить его во всей стройности и многосложности, но и еще прибавить к нему новых забот, осложнить

его благами, выработанными культурой, — не «сократить» себя, как стремится делать культурный человек, желающий «опроститься», а, напротив, расширить количество своих жизненных интересов. Нельзя не сказать поэтому нескольких слов и об этих своеобразных мечтаниях, хотя бы мечтания их и были только пока мечтаниями.

2

Место действия изображаемых г-ном Тимощенковым мечтателей — совершенно неизвестная, неведомая нам калмыцкая степь.

Всякий, кто желает основательно и в то же время не обременяя себя мелочными, ничего никому не говорящими подробностями узнать жизнь этой пустынной равнины, простирающейся треугольником от Царицына до Ростова и от Ростова до Петровска на Каспийском море, найдет в произведении г-на Тимощенкова истинное сокровище.[1] Он не только вполне, во всех отношениях узнает жизнь этого пустынного угла со всеми его особенностями, но и получит вообще величайшее художественное наслаждение. Новизна типов, новизна природы, борьба человека, предоставленного только собственным своим силам, с тысячами стихийных затруднений — все это изображено сильно, ярко, выразительно и вообще не уступает по мастерству работы произведениям первоклассных русских художников. Но самое важное, что особенно заинтересует читателя, — это изображение образцовой крестьянской семьи, достигшей «трудами рук своих» полнейшего благосостояния и возможной только в таких диких, как бы оставленных «без внимания» странах, как мало обитаемая калмыцкая степь.

Во главе этой огромной, широко и полно разросшейся крестьянской семьи стоит крестьянин «Захар Абрамович Земля», человек *беспредельного радушия и доброго сердца.* Смолоду Захар Абрамович был крепостным, но за какие-то особенные услуги перед барином он более

---

[1] В этой заметке я говорю не о всей книге г-на Тимощенкова «Борьба с земельным хищничеством», а только о ее первой части, напечатанной первоначально в журнале «Новь».

50-ти лет тому назад со всем своим семейством был отпущен на волю. Выпущенный на волю, он поселился в привольной калмыцкой степи, которая в то время, по выражению калмыков, была «земля без господина». Он поселился на широком приволье, заняв по праву первого захвата столько земельных угодий, «сколько пожелал», и зажил со всею семьей во всяком довольстве и изобилии. В настоящее время почтенному старику давно уже перевалило за 70 лет, но он еще бодр, свеж, сохранил зубы — словом, пользуется цветущим здоровьем. У него огромная семья, редкого притом благосостояния. Она состоит более чем из *семидесяти душ*. Старшему сыну его 48 лет, старшему внуку 33 года. Сам Земля со своею женой-старушкой живет постоянно в слободе, на старом пепелище, сыновья же его и два зятя живут пятью отдельными хуторами в степи, но составляют одну семью с общим имуществом. Хутора пользуются полным привольем в земельном отношении, отстоят один от другого верст на 30—40, и в каждом из них полное хозяйство большой крестьянской семьи! В каждом хуторе по два плуга волов, до двухсот голов рогатого скота, от полутора до двух тысяч овец, значительное количество птицы и другого инвентаря. Сыновья и зятья распоряжаются в каждом хозяйстве самостоятельно, но отдают отцу отчет...

Земля не выдает своих дочерей и внучек в замужество «за двор», то есть в люди, а берет зятьев в свой дом, и таким образом семья его растет с большою быстротой. В последние годы *в его семье родится более десяти детей*. Многочисленной семье своей Земля ведет строгую статистику. У него есть особая тетрадка, куда он записывает имя, время рождения и крещение каждого ребенка, рожденного в его большой семье. Когда привезут с какого-нибудь из пяти его хуторов крестить ребенка и окрестят, Захар Абрамович запишет его имя в тетрадку, подведет итог и скажет своей жене:

— Теперь, старуха, у нас двенадцать Иванов, семь Андрюшек, девять Настюшек, четыре Акулины, три Марины...

Этих Настюшек и Андрюшек в семье Захара Абрамовича расплодилось такое множество и, что главное, такого поразительного сходства в типе и породе, что в последние годы в семье этой был такой случай... Захар

Абрамович женил в один день сразу трех внуков. Для публики это было так занимательно, что смотреть на эту *тройную* свадьбу приходили и приезжали из дальних мест. Двое из этих внуков были близнецы и так похожи ростом и лицом друг на друга, что часто *даже родители* их не различали и называли Ивана Петром, а Петра Иваном. На свадьбе, *чтобы невесты* и их родственники *не ошиблись в женихах,* одного из них, для приметы, должны были перевязать белым платком.

Вся эта многочисленная семья жила на свете, конечно, исключительно *трудами рук своих;* но, читая превосходнейшие страницы г-на Тимощенкова, в которых разработаны подробности трудовой жизни семьи Захара Абрамовича — эту неустанную борьбу с природой, со зверем, с хищной птицей, с бурями, метелями, неурожаями, падежами скота, болезнями и бедами в жизни людей и т. д., — вы *ни на одну минуту* не останавливаетесь на *трудности* этой *трудовой* жизни, а, напротив, каждую минуту ощущаете *безмерную зависть к ее всестороннему разнообразию.*

Прочитавши, например, страничку о трудовой жизни какого-нибудь студента или студентки, попробовавших научиться жить «своим трудом» под руководством какого-нибудь опытного сельского хозяина (примеры этому не редки), чувствуешь *именно труд,* несчастье попасть в *такое нелепое положение.* Легкое ли дело — жить в какой-то мурье, есть «серые щи», от которых «пучит», получать 30 копеек поденной платы и. . . утешаться только тем, что каждый кусок заработан *своим* трудом и что не в праздности, а в труде прошел целый день, с трех часов утра до девяти вечера, и что, наконец, лег спать не на постель, а на сырой пол, а в конце концов даже и угорел до полусмерти. Неужели *это-то* и есть *народное?* Это тиранство — и нужда и горе, от которого всеми способами желал бы вырваться каждый батрак! И вовсе неудивительно, что этот батрак с иронией смотрит на «барина», который «бросил город», начинает жить «по-народному», полагая, что если его ударит сто раз в день пот, да надорвет он себе внутренности, да затрещит у него спина, так это самое и есть *трудовая жизнь.* Не думаю, чтобы, например, такой писатель, как Крафт-Эбинг, в своей книге «Наш нервный век» придавал именно такое *каторжное*

значение крестьянскому труду, на который он указывает как на целебное средство от многих язв, изнуряющих современное культурное общество. Сравнив духовную жизнь нашего поколения с хищническим способом земледелия и говоря, что злоупотребление духовными силами доведено в наше время до полной непроизводительности, он советует следующее: чтобы не истощить почвы, земледелец прибегает к плодопеременной системе. «Как изменилась бы судьба потомков умственных деятелей, если бы дети и внуки последних, придерживаясь подобной *плодопеременной* системы, обратились к первобытному назначению человеческой деятельности — *сельскому хозяйству»*. Если «сельское хозяйство» понимать «по-нашему», то есть в смысле рабочей избы с тараканами, серыми щами, вспученным животом, ломотой и простудой «во всех суставах», так, мне кажется, незачем ездить ни к г-ну Энгельгардту, ни в Едимоново. Стоит только поговорить с любым рабочим, чтоб узнать, что и он точно так же, как и «интеллигентный работник», спит в мурье, страдает нутром и вообще совершенно замучен. За такими прелестями решительно нет надобности ходить в деревню; в городе можно не только «натрудить» руки, спину и вообще закряхтеть от работы, а и в котле с кипятком, например, свариться на фабрике, и с крыши упасть, и разбиться вдребезги. Если так, то слова: *сам своими руками* — тоже не имеют ни малейшего смысла. Кто ж это работает и где бы то ни было не своими руками? Даже вор — и тот сам своими руками взламывает замки, а взломать иной замок будет иногда потруднее, чем выкорчевать пень или привезти бочку воды.

Вот почему, читая хронику жизни Захара Абрамовича, читатель невольно останавливает свое внимание не на обилии хозяйственного опыта, накопленного Захаром Абрамовичем в долгие годы его трудовой жизни (и, кстати сказать, в высшей степени интересного), а *главным образом на обилии нервной деятельности этого человека* и вполне однородно живущей с ним его семьи. Он живет *как простой мужик:* поле, скотина, изба — вот и все. Но ведь это только *аппарат* жизни, такой же простой и нехитрый, как, положим, и аппарат телеграфа. Очень нехитрый этот телеграфный аппарат по внешнему виду, однако при его помощи можно разговаривать со всем све-

том, точно так же и нехитрый аппарат жизни Захара Абрамовича дает ему возможность соприкасаться и жить в широком разнообразии явлений, доступных человеку на белом свете. Чего только этому «мужику» не надо знать, чего только ему не нужно предвидеть, предугадать, обобщить! Вот у него табуны лошадей, стада овец. Ему нужно за год предвидеть, будет ли чем прокормить скот в будущем году; надобно ему знать, какая будет зима, какая весна; он должен напряженно изучать всевозможные метеорологические изменения, помнить тысячи примет, не упускать из вида ни цвета облаков, ни манеры падения снега, ни того, где полевая мышь вьет гнездо. Он должен знать жизнь, нравы, замашки этой мыши до тонкости; прогляди он примету, не сообрази, не заготовь заранее сена и т. д. — и у него погибнут тысячи овец, лошадей... Он должен соприкасаться мыслью с тысячами такого рода знаний, которые в культурном обществе составляют целые науки. Он знает, как *лечить* детей, больных вообще, как лечить скот, знает лекарства, травы, заговоры; ему нужно знать и о небе, и о земле, и о воде; ему надобно иметь железные мускулы, чтобы убить с одного размаха волка; ему надобно иметь нежное сердце, чтобы, заметив лихого человека, ублаготворить его, прежде чем он задумает сделать зло; ему надобно иметь удивительное зрение, чтобы за десятки верст видеть то, что не видно человеку с нормальным зрением; он должен иметь тонкий слух, чтобы слышать, как за десятки верст ходит табун и не напал ли на него лихой зверь или лихая птица. Словом, и физически и нравственно он беспрерывно в работе, и вот только эту-то разносторонность и беспрерывность живой духовной деятельности и надобно пристально изучать в народной жизни, чтобы видеть, как разносторонне хочет жить человек и как убийственно несправедлив, ужасен (к сожалению, нам этот ужас не вполне ясен) строй жизни культурного общества, как говорит Крафт-Эбинг, духовная жизнь истощена, как поле высосано хищником. Сравните *количество* труда деревенской бабы и городской швеи. Где этого труда больше? Бабе нужно сделать все самой: она родит, воспитывает детей, нянчит их, кормит, сама одевается и одевает всех, ходит за скотиной, за птицей, носит дрова — одним словом, глядя со стороны, минуты у нее нет покоя. А швея *только шьет* — ни под-

нять тяжелого ведра, ни пойти за скотом в поле, ни стряпать, ни ткать, ни прясть, ни жать — ничего этого не нужно, только — шей, шей, шей! .. А ведь положение швеи ужасно, тогда как положение бабы вовсе не внушает ужаса. Баба живет *вся,* а швея высосана нелепым строем жизни, истощена, как земля хищником, который пять лет подряд собирает с нее только пшеницу, то есть тоже — шей, шей, шей!

Читатель испытает величайшее наслаждение, если посмотрит на произведение г-на Тимощенкова, изображающего жизнь Захара Абрамовича именно с этой точки зрения, то есть с точки зрения полноты духовной и физической жизни. Такую полноту духовной и физической жизни в современном культурном обществе можно только *купить* на деньги, но для этого нужно предварительно ограбить Индию, Бирму, Египет, развратить, разорить массы народа и массы же народа превратить в «поставщиков впечатлений», которые этот высший тип современного общества и *купит.* Чтобы быть сильным и здоровым, ему нужна езда верхом в Гайд-парке, ему нужен массаж, чтобы не застоялась кровь, ему нужен художник, чтоб в неприятную минуту успокоить свои нервы деревенским ландшафтом, а при упадке их — поднять взглядом на картину, возбуждающую волнение. Он так соскучился в Лондоне, что ему *сейчас* нужно *природы,* и вот экспресс мчит его в Альпы, и среди лета он весело ощущает на щеках крапинки альпийского снега... Сколько народу *порабощено* им для того, чтобы он мог жить *разносторонне*! Несомненно, при помощи опустошенной Индии, Бирмы, Египта можно устроить себе жизнь, *полную впечатлений,* но эта жизнь будет неправда, зло... А вот Захар Абрамович умеет основать жизнь несравненно более разнообразнейшую, и во имя этой жизни не пропадет и мухи на свете!

Тем-то и достоин глубочайшего внимания *строй* народной *трудовой жизни.* В культурном строе нужны деньги для того, чтобы *купить* нужное человеку содержание жизни, в народном — нужен *труд* для того, чтобы все разнообразие жизни далось даром. Правда, народная жизнь исполнена невежества и незнания. Но разве во имя знания шьет швея, сгорает кочегар? При чем знание во всей

этой потрясающей неправде, и почему его нет здесь — в строе чистом и справедливом? Отчего оно нейдет сюда?

До какой степени не похожи, по своему внутреннему плану, эти два строя жизни — культурный и народный (хотя тут и там живут одни и те же человеческие существа), читатель может увидеть из одного чрезвычайно важного эпизода в произведении г-на Тимощенкова, касающегося самого первейшего условия культурной жизни — *денег.*

3

Деньги нагрянули на богатую (по-крестьянски) семью Захара Абрамовича совершенно неожиданно. Это случилось уже в то время, когда он жил пятью хуторами, в полном довольстве и изобилии. Изобилие трудового богатства было так велико, что, помимо полнейшего удовлетворения всех семейных нужд, Захар Абрамович не жалел добра и для ближнего. Всем сыновьям и внукам раз навсегда приказано: «Приедет гость — режь барана, мало — двух!» Действительно, если к нему кто приезжает, режут барана, хотя бы в доме и было много всякой снеди. В обыкновенное время в доме Захара Абрамовича на столе, покрытом скатертью, непременно находятся три вещи: целый, непочатый хлеб, солонка с солью и на большом блюде жареный молодой баран или поросенок. Так это заведено и во всех хуторах. Если случится гость, то на стол подается глиняный баклажок с водкой. Если гостей не было, то вечером, когда возвращаются пастухи, бывший днем на столе баран или поросенок делится между ними... Когда он женит кого-нибудь из своих внуков или выдает замуж внучку, то у него бывает пир на весь мир. Жарят сотни гусей в печах, целых баранов и быков на вертелах. Еще задолго до свадьбы заготовляется множество бочонков с водкой; во время самой свадьбы носят, кроме того, водку ведрами, на коромыслах, нарочно из самого дальнего кабака, через всю слободу. Это делается для того, чтобы побольше людей могло встретиться с несущими водку, выпить висящим на ведре корцом и пожелать новобрачным всякого добра.

Немало делал он добра и вообще для добрых людей. Известно, что в степях нет воды, а если и есть где при-

родные водохранилища, то вода в них горькая и соленая и чрезвычайно вредная для человека; но стоит только выкопать рядом с таким водохранилищем колодец, то получается вода пресная и годная к употреблению. «Чтоб облегчить конным и пешим передвижение по этим пустынным степным дорогам, Захар Абрамович еще лет 15 тому назад выкопал для них в наиболее важных местах до 30 колодцев, обложил их камнем и каждый год ездит чистить и поправлять их. По этим дорогам он устроил во многих местах часовни, причем некоторые поставил у самых колодцев. Большинство часовен состоит из деревянных столбов, вкопанных в землю, с полками наверху и навесами над ними в виде треугольников. В этих часовнях, на полках или в нишах, стоят иконы и *помещается провизия для путников,* как то: пироги, яблоки, арбузы, дыни. Полки устроены таким образом, что ни собака, ни другое животное не может достать лежащей на них провизии. По праздникам у Захара Абрамовича печется огромное количество пирогов, начиненных сыром, капустой и мясом, и развозятся по часовням».

Словом, все, что сердечная доброта Захара Абрамовича и его огромное крестьянское богатство могли сделать хорошего ближнему в крестьянской среде, все делал Захар Абрамович, не жалея своих достатков и щедро расточая их. И так тихо, чисто и уж истинно вполне благородно жил на свете крестьянин Земля. «Несмотря на свои преклонные лета, он всегда там, где больше работы, в которой он продолжает участвовать, не отставая от других».

Но в тот момент, когда он достиг такого удивительного крестьянского благосостояния, которое позволяло ему плодиться и множиться, наполнять землю и творить добро беспрепятственно, ему пришлось совершенно для него неожиданно сделаться огромным *денежным богачом,* и к богатству *трудовому* прибавилось богатство *денежное.*

Поселившись с своею семьей пятьдесят лет тому назад на степном приволье, Захар Абрамович понятия не имел о какой бы то ни было торговле и промышленности. «Продукты сельского хозяйства тогда еще не шли за границу. Поэтому большой бык стоил 5 копеек медью, четверть овса полторы копейки и ведро водки буквально грош. В то время

русскому земледельцу и сельскому хозяину невозможно было обращаться в промышленника и наживать капитал. Он производил продукты почти только для себя, но зато жил в довольстве. Таково было общее положение сельскохозяйственных дел. Но вот, по ходатайству императорского Вольно-экономического общества (к сожалению, г-н Тимощенков не говорит, когда именно было такое ходатайство), разрешен был свободный пропуск хлеба и других сельских продуктов за границу, и полились за море из России: пшеница, рожь, масло, сало, повалили туда кожи, шерсть, пух, щетина. Это было своего рода эпохою в жизни русских сельских хозяев. Цены на продукты разом страшно поднялись: рожь и овес стали продаваться по 2 руб. за четверть, бык 30—40 р. К Захару Абрамовичу налетела масса скупщиков и буквально завалила его деньгами; Захар Абрамович только протирал глаза от удивления, ахал и не знал, *куда девать деньги.* Он не выгонял на ярмарки рогатого скота и овец, не вывозил на рынок хлеба, но купцы сами приезжали к нему и привозили *целые мешки денег.* Тогда в этой местности совсем еще не было бумажек, а ходила только звонкая монета: народ не верил бумажкам и не принимал их». Захару Абрамовичу стали платить за его скот и хлеб золотом, серебром и медью, и Захар Абрамович буквально не знал, что делать с этими разного вида золотыми, серебряными и медными кружочками.

Сначала он велел своей жене заматывать золото в червонцах в клубки шерсти и пеньки и вешать эти клубки (иногда с решето величиной) на полатях, под крышей, на чердаке дома и в других местах. Стал класть золото в чулки, сумки, гаманы и запирал в сундук; серебро же и медь просто сыпал в сундуки. Через несколько лет денег у него накопилось столько, что *негде было уже хоронить,* и он порешил, наконец, не держать их при себе, а разделить поровну между тремя сыновьями и двумя зятьями. Как-то во время рождественских праздников он собрал всех своих и произвел дележ — золото делили счетом, высыпая червонцы кучами на стол, серебро и медь *просто мерили хлебною мерой,* нагребая ее из сундуков. С этого времени раздел денег производился в семье каждый год в известное время.

Кажется, молодому-то поколению семьи Захара Абрамовича можно бы было изобрести что-нибудь поновее прятанья золота в чулки и попрактичнее распорядиться им, но трудовой порядок жизни оказался до такой степени прочным, до такой степени удовлетворяющим решительно всем семейным, общественным, нравственным и умственным потребностям и надобностям, что и у молодого поколения просто-таки нехватало фантазии на что-нибудь и как-нибудь тратить эти огромные капиталы, которыми оно располагало.

«Сыновья и зятья Захара Абрамовича *берегли и прятали деньги разными манерами, как кто мог придумать*. Они сыпали их в закрома с хлебом; клали в горшки и закапывали их в разные места в землю; затыкали в соломенные и камышовые крыши домов и сараев; секретно от других домашних долбили и сверлили сохи, лестницы и бревна, валявшиеся на дворе, клали туда деньги и забывали; *запихивали их в бараньи и бычачьи рога и бросали эти рога валяться среди двора как ни в чем не бывало.* У иного где-нибудь в укромном месте валялась *десятки лет* целая куча ни на что и никому не нужных бараньих рогов, и никто не мог думать, что́ они скрывают в себе. Из всех перечисленных мер хранения денег последняя, пожалуй, надежнее других. Деньги же, засыпанные в закрома, часто *по забывчивости* вместе с зерном продавались купцам на меру; деньги, закопанные в землю, терялись совершенно, когда хозяин *забывал*, где зарыл, а это случалось очень часто. В крышах домов и сараев деньги еще чаще терялись, в бревнах и сохах они обнаруживались от гниения дерева, во время пожаров превращались в слитки»... *Так бились и горевали с деньгами степняки!*

Обилие денег не могло ни на волос прибавить в жизни всей этой огромной и обильной всяким достатком семьи самого малейшего удобства или вызвать в людях этой семьи какую-нибудь потребность, которая не была бы уже удовлетворена полнотою их трудовой жизни; обилие денег поэтому только томило их всех; они чувствовали, что в крышах, столбах, чулках, бараньих рогах, в закромах и сундуках лежит какая-то страшная, притягивающая внимание и раздражающая мысль сила, но что с нею делать — решительно не знали. Один из зятьев Захара

Абрамовича, вероятно наслышавшись «от людей» о том, что деньги ходят под проценты, стал отдавать свои капиталы в рост разным торговцам, стал получать проценты, которые также неведомо было, куда девать, которые, так же как и капитал, прятались и хоронились разными способами. Опыт наживать деньги на процентах кончился тем, что торговец, вошедши в доверие, «занял сразу 25 тысяч и скрылся с ними». Потеря этой суммы, ни на единую иоту не отозвавшаяся на благосостоянии семьи этого человека, попробовавшего «что-то» сделать с деньгами, показала ему только новую сторону огорчений, причиняемых деньгами. То ночей не спишь и ума не приложишь, куда бы их спрятать, то мучаешься, что пропали, а зачем собственно свалилась на бедные головы такая мука — неизвестно.

В последние годы Захар Абрамович надумал кое-что сделать с своими богатствами и нашел возможным не безвредно тратить из них, конечно, самую малую часть. В его большой семье грамота всегда была не редкостью; и мужчины и женщины в большинстве были грамотны, умели читать псалтырь, евангелие и умели, что потребуется по хозяйству, записать. В настоящее время Захар Абрамович решил подвинуть дело грамотности дальше: пятерых из своей семьи, трех внуков и двух внучек, он отделил и решил дать им самое лучшее образование: один из внуков его кончает теперь в университете, два — гимназиста, а две внучки — в институте. «На каникулы эти внучки ежегодно приезжают домой в степь и охотно участвуют в полевых и домашних работах».

Охотно или неохотно участвуют внучки-институтки в работах и доставляет ли им это какое-нибудь удовольствие, это вопросы, о которых мы разговаривать не будем, но попробуем представить себе, что Захар Абрамович поддался бы общему ходу жизни, то есть сначала отделил бы детей, а потом и сам помаленьку перебрался бы из трудового строя жизни в другой, купонный. Что бы из этого могло выйти?

Я думаю, что вышли бы вещи удивительно неожиданные и притом такого свойства, что уничтожили бы все обаяние Захара Абрамовича как образцового и благообразнейшего во всех отношениях человека; превратили бы эту благообразную фигуру богатого крестьянина, распро-

страняющую вокруг себя тепло, жизнь и свет, в мрачную, беспощадную, алчную, ненасытимую фигуру *волка,* хотя (что особенно важно) сам Захар Абрамович оставался бы с *теми* же размерами личных требований, какие он в благоприятных условиях трудового строя жизни мог удовлетворять без капли зла, насилия и жестокости.

Затянуть Захара Абрамовича из трудового строя жизни в строй денежный могло бы самое ничтожное обстоятельство; судьба внука, окончившего университет и желающего сделать уже не деревенскую карьеру, могла бы показать Захару Абрамовичу силу и значение денег. Замужество внучки-институтки, конечно уж с не мужиком, а с благородным, еще более и скорее могло бы осветить ему широчайшие размеры значения денег и богатства. Попробуй он так же пышно, так же на славу «справить» хотя бы одну только внучкину свадьбу, справить так, чтобы радовалась его *любвеобильная* душа, чтобы все было по-хорошему, чтобы дом был полная чаша, чтобы ребята у внучки родились как ягоды, чтобы «нужды они не знали», чтобы ее в помине не было — словом, чтобы «не хуже, а лучше людей», — и вот уже безмерная *сила* денег, их всемогущество и безграничная потребность в них ясна ему, как день. *Все* надо купить! Для этого строя жизни нельзя взять из деревенского трудового строя ни одной нитки; все, начиная буквально с нитки, здесь все нужное и *должно быть* купленное — таков строй; должно быть куплено *все:* одежда, пища, жилище, душевное настроение, должно быть куплено кормление детей, воспитание их, их здоровье, их ум — все, все, до последней иголки в доме должно быть взято на деньги, взято от кого-то другого.

Если бы Захару Абрамовичу только раз удалось «отведать» этой жизни, он бы почувствовал, что ему «обеими руками» нужно схватиться за свой набитый деньгами сундук, и он схватился бы за свое золото с жгучею страстью — *ему много надо;* он привык много чувствовать, широко распускать и удовлетворять свои *разнообразные* душевные требования, он привык, чтобы кругом его все жило, плодилось, множилось, цвело, было довольно, сыто, весело, — он привык, одним словом, чтобы его жизнь и жизнь окружающая была полным-полна, и представьте, что он, наконец, ясно, как день, увидел, что

«в городе» для удовлетворения всех его широко развитых и многообразных физических и нравственных потребностей нужны *только* деньги, и представьте себе, что он уже не в деревне, что он переехал в город, живет городским строем жизни, *сохраняя ту же широту и благообразие желаний,* которые он вполне удовлетворял в крестьянстве. Что он будет такое? Он будет тиран и зверь, беспощадный в удовлетворении своих *многообразных потребностей!* Только здесь *способы удовлетворения многообразных* потребностей *иные.* Если в крестьянстве Захар Абрамович, подкарауливая по ночам волков, не смыкая глаз, беспощадно бил их, ломая им ноги, чтобы они не портили скота, который нужен для семьи и для ее благосостояния, если в крестьянстве он привык *чутьем* чуять погоду, дождь, или тем же чутьем он привык узнавать, больна ли у него скотина или здорова и т. д., то вся эта *тонкость в чутье,* ловкость в силе, осторожность в подсиживании, в подкарауливании и т. д. — все это, необходимое в деревне для достижения благосостояния и наилучшей обстановки источника благосостояния — *труда,* здесь, в городе, полностью, целостью перенесено будет Захаром Абрамовичем на здешний, городской источник благосостояния — на деньги, и, *почуя* их силу, он тотчас *почует* силу *банка,* векселя, кредита, оборота. Он *подкараулит,* как волка ночью, оплошность двойной итальянской бухгалтерии; он *нанюхает* течение и тон *господствующих* идей, руководясь которыми можно пробраться к источнику — к сундуку; он *нутром* поймет высокопоставленное лицо, от которого зависит путь к сундуку: не сказав с высокопоставленным ни слова, он *так,* как узнавал, больна или здорова лошадь, одним взглядом, *сам не зная как,* узнает, добр или сердит начальник, каким голосом говорить с ним и какие слова? И проберется и *то же,* что *теми же* средствами физическими и нравственными удовлетворял в трудовой деревенской жизни, удовлетворит и в этой, новой, городской жизни; но уж извините, если в конце концов окажется, что «зал заседания судебных установлений» не будет в состоянии вместить более четырех человек зрителей, так как скамьями подсудимых и толпами свидетелей набито битком все *здание* суда. И всё родня: пятнадцать Андрюшек, двенадцать Аксюшек, три

Марины да четыре Акулины. Расхищено денег миллионы, векселя перемешаны в этих «вещественных доказательствах» со счетами портных, акушерок... Свадьбы... приданое... зять, деверь, внучатный племянник... троюродный внук... консамент... дебет... кредит... родила... завел любовницу... пожертвована икона... молебен... выписано пятнадцать стерлядей на свадьбу... умерла внучка — словом, налицо вся степь *с безграничным радушием и широким довольством и раздольем,* только вокруг этой степи кучи векселей, толпы нищих, ограбленных, обозленных, разоренных, лишенных куска хлеба.

Кстати сказать: этот-то тип человека с мужицкими потребностями, перенесенными в культурный строй жизни, и есть господствующий тип в русском скороспелом купонном обществе последней четверти столетия. Он проповедует широкое мужицкое семейство, тишь да гладь, чистоту, скромность и строгость нравов своей семьи, но, перенося эти требования в труженическую среду, не может не быть к ней беспощаден и жесток. Просмотрите все наши бесчисленные хищнические процессы — везде хищник и «живорез» только и хлопочет о благосостоянии своей семьи, родни. Рыков, разоривший вокруг себя массу народа, и разоривший без всякого сожаления, очень огорчился, когда вместо ожидаемого мальчика у него родилась девочка. Даже доктора Битнаго-Шляхту, присутствовавшего при родах, возненавидел за неожиданную неприятность и «выслал» его из Скопина.

Нет, не так-то просто и легко удовлетворять *всем человеческим потребностям* в культурном строе общества, как дает возможность это делать строй жизни народной при обстоятельствах, не искажающих и не стесняющих свободы его развития. В своей статье о женщинах гр. Л. Н. Толстой говорит, что обязанности женщин *нашего круга* будут совершенно выполнены, если женщина будет родить и воспитывать детей. У меня нет под рукой сочинения Л. Н., но я очень хорошо помню, что выражение *женщина нашего круга* находится в статье о женщинах. Вот это-то выражение как нельзя лучше отделяет два строя жизни — культурный и народный, труженический и трудовой. И в том и в другом строе живут одни и те же полы — мужчины и женщины, но в народном строе может *родить всякая женщина,* может безбоязненно и бес-

страшно исполнять все свои женские обязанности (если только строй не изуродован посторонними, не народными влияниями). Всякий парень, у которого есть руки и орудия труда, может «плодиться, множиться и населять землю» вместе со своею женой. Совершенно не то в культурном строе современного общества: *здесь не может* родить и воспитывать детей *всякая женщина*, здесь *всякий* мужчина не может быть отцом и *мужем*. Покуда он не имеет средств *купить* себе возможность удовлетворения всех своих потребностей ценою *труженичества*, он по совести не может решиться на такое трудное дело, как быть отцом семьи. Будучи тружеником из-за средств, он *должен* купить целую массу других тружеников для того, чтоб их руками было сделано то, что ему невозможно сделать самому, поглощенному добычей средств. Точно так же масса женщин, обладающих теми же самыми свойствами, как и *женщины нашего круга,* обречены строем жизни не иметь возможности быть матерями; *женщина нашего круга,* самая примерная и самая чистая, она — именно потому, что она женщина нашего круга, — она одна поглотит множество чужих женских жизней для того, чтоб ее *материнские надобности* были удовлетворены вполне, в тех размерах, в каких женщина народной среды удовлетворяет их без греха. Ей нужны няньки, горничные, учительницы, гувернантки, которым она в своем доме, в своей семье *не позволяет быть матерями*, которым нельзя быть матерями, потому что иначе они, труженицы, лишатся заработка. Примерная мать *нашего круга* не станет дожидаться, пока учительница, замужняя, будет родить и поправляться после родов — она возьмет другую; она — любящая мать, и ей нельзя держать детей в праздности; она *не позволит* кормилице держать при себе ее собственного ребенка, а убедит ее отдать этого ребенка сначала в воспитательный дом, а потом и неизвестно куда; ей не нужно ни кормилицы, ни ее ребенка — ей нужно молоко для ее собственного ребенка, она — *любящая мать*. Пропади у кормилицы от тоски по ребенку молоко — она тотчас же удалит ее, оставив без ребенка и без места, и, наградив за все это сарафаном, тотчас же возьмет другую — *ее* ребенку нельзя быть без молока. Да, она выполняет священные обязанности, она истинно любящая мать; но подумайте, во что обходится это выполне-

ние священных обязанностей и сколько труженического народу поставлено строем жизни в полнейшую невозможность исполнять то же самое, то есть удовлетворять потребностям своего любящего сердца. Но человек-труженик насильно, наперекор строю, наперекор возможностям, стремится удовлетворять, так же как и все, всем своим потребностям. Вот в этом-то труженическом кругу, в его мучениях, в его лишениях, муках, болезнях, психических страданиях, преступлениях, и заключается современная драма жизни, которую не разрешить нравоучениями.

Теперь возвратимся к Захару Абрамовичу и порадуемся, что, как говорится, «бог спас» его от всего этого зла, и деньги, не отрывая ни его, ни его огромной семьи от прочно установившейся трудовой жизни, благодаря счастливой случайности направили его стремления не «в город», а по пути весьма своеобразных мечтаний.

4

Переворот в жизни Захара Абрамовича произошел благодаря встрече с некиим учителем, Петром Ивановичем Волгой. «И только после этой встречи, — говорит г-н Тимощенков, — Захар Абрамович вполне сознал себя и свои стремления и весь, так сказать, пошел в ход». Петр Иванович Волга, уроженец какого-то волжского города, рано остался сиротой. Это лицо также довольно типично *для нашего времени.* Нет в нем ни громких фраз, не приходят ему в голову широкие фантазии, не знает он никаких социальных теорий и течений жизни, но у него простое и доброе сердце, опрятный и неомраченный ум, добросовестно воспринимающий впечатления жизни, и вот всего этого было весьма достаточно, чтобы в человеке родилась мысль о необходимости по-своему, как бог на душу положит и как хватит уменья, служить народу и не дать ему пропасть зря. Петр Иванович Волга, оставшись сиротой после смерти его родителя, купеческого звания, был отдан в гатчинский сиротский институт, а по окончании курса назначен был уездным учителем также в один из приволжских городов, лежащих поблизости к калмыцкой степи. «В уездном городе прежде всего опротивел Петру Ивановичу тот напыщенный, кичливый, важный наружно,

но в сущности ничтожный, пустой и бездельный чиновнический мирок, к которому Волга должен был принадлежать по своему званию. Все это были люди «двадцатого числа» и смотрели на уездное казначейство как на мать-кормилицу. Двадцатое число было днем получения жалованья, днем облегчения для этого мрачного мира. В этот день он сиял, кипел радостью, тогда как последние дни служебного месяца были днями унылой скорби и воздержания». Не по сердцу было Петру Ивановичу это общество, да и оно относилось к нему недружелюбно. Потребность одиночества развита была в Петре Ивановиче с детства. Отец его, добрый молодой купец, случайно простудился, бросившись спасать утопавшего в Волге, и умер рано; рано умерла и огорченная смертью любимого мужа мать. Затем сиротское и неприветливое житье в институте без всякого родственного участия — все это не располагало Петра Ивановича на дружество и приязнь с праздною компанией людей «двадцатого числа». Любя уединение, Петр Иванович любил свободное от занятий в училище время проводить за городом. Здесь, в одном уголке, завел он пасеку, но большею частью просто бродил по окрестностям, заводя знакомства с крестьянами. И «крепко полюбилась ему простота нравов и нравственная чистота этих людей, и у него явилось желание принять непосредственное участие как в радостях, так и в горестях и неудачах этого пастушеского и земледельческого круга, увлекавшего его упорством, терпением в труде и *осмысленностью его жизни*». Увлеченный этим трудолюбивым населением, он был до глубины души огорчен вторжением в эти благословенные и не тронутые еще плугом места хищника и безжалостного расточителя народного богатства. «Что ждет в будущем эту красавицу-степь? Придет ли к ней хозяин-земледелец, с любовью возделает ее, насадит на ней садов и рощ, обольет ее своим потом и придаст ей еще большую жизненность и красоту? Или она падет жертвой экономической извращенности, попадет в загребистые руки жадного арендатора, лишится безвременно своей красоты и жизненной силы?» Действительность, которую видел Петр Иванович, не обещала ничего, кроме разграбления этих народных богатств. «Гибельное, ведущее к разорению края направление землевладения было понято Петром Ивановн-

чем на первых же порах знакомства с местностью. Нужно видеть, с какою жадностью, с каким диким азартом хищники-промышленники наперебой гоняются на юге России за нетронутою степью. Быстро то там, то в другом месте истощают они ее и переходят в другое место. Причина такой гоньбы понятна: лен и золотистая тяжеловесная русская пшеница, которые так обильно произрастают на девственной почве, всегда высоко стоят в цене как на русских, так и на заграничных хлебных рынках, и ценная земля быстро обогащает жадно набрасывающихся на нее хищников. Арендатор-посевщик, взяв у земли все, что можно, обратив ее в ничто, бежит дальше и дальше и, не заботясь о ней, только высасывает ее жизненные соки. Столкнувшись с этим хищническим арендаторством, Петр Иванович почувствовал невыразимое огорчение; душа его ныла, болела за родной край, за темный рабочий люд, составляющий земледельческое население этого края, которое издревле любило и любит эту землю, облитую его потом и кровью, которому царь-освободитель возвратил человеческие и гражданские права, но у которого тем не менее, стечением неблагоприятных обстоятельств, *отнималась всякая возможность свободного труда*, как основы благополучия и счастия». Под такими тяжкими впечатлениями действительности любовь Петра Ивановича к земледельцу и земледельческому труду привела его постепенно к такому решению: *выступить на борьбу с хищничеством, принести себя в жертву за народное благосостояние*, и в этой решимости Петр Иванович «наедине с самим собой» *дал великую клятву.*

5

Соединившись с Захаром Абрамовичем, оба они начинают осуществлять *на деле* свои заветные мечты! В произведении г-на Тимощенкова читатели могут найти все подробности, в которых планы эти осуществлены и какими средствами. Многие оспаривали и оспаривают достоверность приводимых г-ном Тимощенковым фактов — и, оспаривая, находят, что произведение его только фантазия. Нам кажется такой взгляд на произведение г-на Тимощенкова неосновательным, во-первых, потому, что

при доброй воле добрых людей положительно можно совершить все то, что совершили герои г-на Тимощенкова, а во-вторых, потому, что если бы даже г-н Тимощенков и ввел в рассказ некоторую долю своей фантазии, — так не она ведь имеет в его рассказе первенствующее значение. Фантазии его могут быть даже и не велики и не соблазнительны; но важно указание на то, что в обществе существуют попытки сохранить и укрепить строй жизни, не имеющий с строем жизни купонным ничего общего; что существует — и даже в людях самого простого звания, и даже необразованных — стремление поставить преграды купонным злам, оборониться от них, оградить от них народные массы.

В смысле осуществления этих желаний Захар Абрамович Земля и Петр Иванович Волга сделали даже очень немного. Вот что рассказывает об этих делах на общую пользу г-н Тимощенков.

Прежде всего ими была скуплена на наличные деньги и на других выгодных условиях громадная масса земли. Эта покупка как бурей снесла также массы хищников на огромное пространство. В самом лучшем и красивейшем месте приобретенной (и постоянно расширяющейся) территории, по соседству с рекой Манычем, «создано» товарищами борьбы сельскохозяйственное, торговое и промышленное село, названное Школой. Названо оно так потому, что Петр Иванович, до момента своего обогащения не бросавший своей учительской деятельности и бывший в последнее время управителем школы для калмыцких детей, оставив службу, исходатайствовал право переделать, устроить эту школу по собственному плану и соображениям и перенесть ее на новое место, на собственную землю, в плодоноснейшую равнину около широкого лога, с богатыми родниками прекрасной пресной воды. «Это даст возможность при каждой усадьбе иметь рощу, сад, цветник, огород». Школа эта из уездного училища преобразована в ремесленно-земледельческое, и в настоящее время «оно поставлено так, что все обучающиеся в нем ученики, тотчас по окончании курса, получают в управление фермы с полным хозяйственным обзаведением и владеют ими в качестве арендаторов; через несколько же лет успешного управления получают их,

на особых правилах и условиях, в вечную и потомственную собственность».

«Страшный недостаток в глухой местности, где устроилось товарищество, в мастеровых и ремесленниках побудил последнее устроить при училище обширнейшие помещения для всевозможных ремесл. Часто при нужде в плотнике его нельзя было найти ближе ста верст; кожи возили для выделки за 300 верст, в Ставрополь, Астрахань и т. д. В ремесленных помещениях устроены мастерские: плотницкая, столярная, ткацкая, портняжная, сапожная, шорная, кузня, овчинная, кожевенный завод, валяльная войлоков и теплых сапог. В каждой мастерской работает артель, состоящая из мастеров-товарищей, подмастерьев и учеников. Каждый из окружных жителей, какого бы возраста он ни был, волен поступить в какую ему угодно мастерскую, и его везде обязаны принять. Все ремесленники вместе с тем и земледельцы, имеющие в окружности школы и землю и хозяйство. Они летом работают в поле, а в ремесленные классы собираются к осени, когда кому более удобно».

Без убытка для товарищества основаны на общую пользу и другие учреждения. Выстроена паровая мельница, которая в экономическом отношении приносит уже «великие результаты». По недостатку мельниц мука ценилась здесь вдвое дороже зерна; бывали и такие времена, когда пуд ржи стоил 40 коп., а мука 3 р. 50 к. Паровая мельница, устроенная товариществом, стала обмалывать хлеб у населения верст на 200 в окружности. При этой же мельнице товарищество устроило складочные хлебные магазины, благодаря которым окрестные крестьяне могли совершенно уничтожить свои обязательные для них хлебные магазины. «Хлеб магазинный большею частью считался всегда в недоимке; то же, что оставалось в магазинах, страшно портилось, утекало в щели, съедалось мышами, да и самые магазины обходились крестьянам дорого. Общества обязаны были их строить по особому плану, а в некоторых слободах и станицах приходилось строить по 4 и 5 магазинов, стоимостью от 5 до 9 тысяч. Товарищество Петра Ивановича вошло с ходатайством в местное земство, выразив желание всегда держать при мельнице сто тысяч четвертей хлеба в зерне и муке, который будет отпускаться при всяком нужном случае насе-

лению двух соседних уездов с надбавкой 10 процентов против покупной цены, то есть вообще дешевле той цены, которая должна быть в годы бесхлебья и нужды в хлебе. Ходатайство было уважено; магазины стали не нужны, и общества обратили в капитал как самые магазины, так и имевшийся в них хлеб».

Или вот еще две небезвыгодные для товарищества операции, вносящие в то же время и выгоду и благосостояние в народную жизнь.

«Прежде овечья шерсть сбывалась здесь промышленникам-скупщикам, которые брали ее почем хотели. Не только крестьяне, но и крупные овцеводы, при нужде денег на покос и другие полевые работы, продавали шерсть по 2 рубля за пуд, тогда как на рынке цена ей стояла 6—7 руб. Товарищество Петра Ивановича устроило мойку, где моет шерсть, а потом отправляет ее на внутренние рынки внутренней России; тут же при мойке оно устроило склад шерсти на комиссию. Сдающие сюда шерсть получают во время сдачи половину рыночной цены, а потом по отправке и продаже получают и другую половину за вычетом процентов за расходы по комиссии. Таким образом, крестьяне вместо прежних 2 рублей получают теперь 6 р. 60 к. за вычетом 1 р. 40 к. расходов».

До учреждения товарищества местное население несло большие убытки при колебании цен на скот. Случалось, что цена за овцу, поднявшись до 7 руб., вдруг падала через полгода до 1 р. 50 к., тогда как цена на сало, мясо, овчину не изменялась. «Чтобы край ничего не терял от таких колебаний, товарищество Петра Ивановича устроило салотопенный завод, а относительно сбыта овец приняло такую систему: если цена на них высокая, то оно бьет на заводе только своих овец, и то по выбору, а остальных продает; если же цена на овец падает, то оно бьет на сало и своих и овец окрестных крестьян, то есть дает возможность крестьянам продавать не овец, которые дешевы, а сало, которое в цене. Иногда, перебив всех своих овец, оно отдает весь свой завод с посудой в распоряжение крестьян».

Как видит читатель, все эти попытки далеко не фантастические; всего этого даже мало для того, чтобы окрестить эти попытки названием *борьба*. Но дорого и важно стремление вступить в эту борьбу. В тех же степях

и те же деньги, как мы видели в предыдущих «письмах с дороги», орудуют совершенно иным образом: истощают землю, закабаливают народ. Еще более замечателен источник, из которого вышло такое животворящее направление, — любовь к трудящемуся человеку у Петра Ивановича и любовь к широкой трудовой жизни у Захара Абрамовича. Петров Ивановичей и Захаров Абрамовичей на Руси несметное множество, и пренебрегать или обрекать теоретически на гибель как любовь таких оригиналов к трудящемуся человеку, так и любовь к трудовой жизни едва ли возможно в массе простых русских людей, на наших глазах едва только начинающих жить сознательно.

ЖИВЫЕ ЦИФРЫ

(Из записок деревенского обывателя)

I. «ЧЕТВЕРТЬ» ЛОШАДИ

1

...Кажется, во всей «нашей округе» нет среди местной обывательской интеллигенции (даже самого высокого сорта) такого страстного любителя местных статистических «данных», каким совершенно неожиданно оказался я, деревенский обыватель, пишущий эти строки. Огромные кипы и связки изданий статистического комитета, обязательно получаемые деревенской, обывательской интеллигенцией, постоянно и повсюду производили и производят на нее какое-то удручающее впечатление. Получишь, бывало, такую толстую книгу, подержишь в руке, почему-то непременно вздохнешь и положишь на полку; так эти книги и покоятся недвижимо там, где их положат. А между тем только ведь в этих-то толстых скучных книгах и сказана цифрами та «сущая» правда нашей жизни, о которой мы совершенно отвыкли говорить человеческим языком, и нужно только раз получить интерес к этим дробям, нулям, нуликам, к этой вообще цифровой крупе, которою усеяны статистические книги и таблицы, как все они, вся эта крупа цифр начнет принимать человеческие образы и облекаться в картины ежедневной жизни, то есть начнет получать значение не мертвых и скучных знаков, а, напротив, значение самого разностороннейшего изображения жизни.

И все-таки, не случись со мной одного самого (как увидит читатель ниже) ничтожного обстоятельства, я бы никогда не вошел во вкус этих, покрытых какою-то черною мушкарой, страниц и никогда бы не понял многозначительности выводов из этой цифровой мушкары,

всегда казавшихся мне, как коренному «обывателю», совершенно нестоящим делом и пустопорожним словоизвержением. Никогда не думая серьезно вникать в это дело, мы, однакож, не прочь иной раз вложить в цифры и собственный свой смысл, сделать собственные свои выводы, и всякий раз делаем это, конечно, только «для смеху». Бывают в нашей пустопорожней обывательской жизни такие минуты, когда мы умеем облаять все в настоящем порядке вещей. Вот только в такие-то минуты универсального облаивания текущей действительности, в числе прочих, подлежащих облаянию сюжетов, не минует нашего издевательства и статистика, не минует только потому, что настроение минуты требует всестороннейшего облаивания жизни.

— В деревне Присухине, — издевается в такие минуты какой-нибудь обыватель, — школа имеет тридцать учеников, в деревне Засухине двадцать, а в деревне Оплеухине всего два ученика... Из этого, изволите видеть, следует такой средний вывод, что средним числом на школу — по семнадцати человек и еще какой-то нуль, да еще и около нуля какая-то козявка... Это все равно, ежели бы я взял миллионщика Колотушкина, у которого в кармане миллион, присоединил к нему просвирню Кукушкину, у которой грош, — так тогда в среднем выводе на каждого и вышло бы по полумиллиону. Просто нужно за что-нибудь деньги брать! Очень просто!

— Да! из-за чего это Болванкин на собрании с своим кирпичом совался? — спрашивает кто-нибудь во время этого обличительного монолога. «Кто-нибудь» спрашивает просто зря, от нечего делать. Но так как «облаивание» коснулось статистики, то немудрено услыхать и ответ на этот случайный вопрос, подходящий к подлежащей облаиванию теме.

— А как же! — ответствует другой из занимающихся облаиванием собеседников. — По статистическим данным, на каждую печную трубу приходится шесть рождаемостей, а на каждую курную избу две рождаемости и четыре смертности. Следовательно, ежели земство купит по дешевой цене кирпич у Болванкина и станет раздавать его бабам для устройства печей-голландок в курных избах, то сейчас же бабы будут производить шесть процентов рождаемости — и, следовательно, купец Болванкин

отличнейшим образом продаст свой кирпич, который у него уж и так развалился и который со всем, с заводом и с Болванкиным, стоит грош. Как же ты этого не понимаешь? Нет, брат!.. Тут в среднем выводе можно запустить лапу очень хорошо!..

Известный обывателю склад и строй окружающей его жизни, в котором слово «хапнуть» играет не последнюю роль, невольно заставляет его прилагать этот господствующий принцип и к такого рода явлениям жизни, которых он даже и не понимает совершенно, в которых ровно ничего не смыслит. Неудивительно, что в те редкие минуты праздного лаянья на всех и вся, когда, за истощением облаиваемого материала, на зубок обывателя попадается и такой неприкосновенный материал для разговора, как статистика, основной принцип «хапнуть» не покидает соображений обывателя, и он прикладывает его там, где принцип этот не имеет никакого значения. И, говоря откровенно, я не знаю ни одного статистического «столбца», который не был бы истолкован нашими коренными деревенскими обывателями именно в этом последнем смысле. И я помню положительно только один случай, когда облаиванье, начавшееся «от нечего делать» и добравшееся за истощением материала до статистики, вдруг должно было замолкнуть за полнейшею невозможностью приткнуть к облаиваемой цифре хоть каплю принципиального во всех облаиваниях обвинения, то есть слово «хапнуть», казалось, готовое сорваться с языка, вдруг не сорвалось, и облаиватель только стал в тупик.

— Неведомо чего уж и писать стали! — говорил мне однажды один из таких облаивателей, зайдя попить чайку и от нечего делать перелистывая «обзор» нашего уезда, только что полученный с почты... — Уж даже и неведомо до чего доболтались!

— Что такое?

— Одна, вишь, *четверть* лошади приходится, изволите видеть, на каждую какую-то там квадратную, что ли, душу. Ну что ж это означает, позвольте вас спросить?

— Как квадратную душу? Что вы, Иван Иваныч!

Иван Иваныч посмотрел в книгу и сказал:

— Ну, пес с ней! ну, ревизскую, что ли! Но что ж означает *четверть* лошади? Какая такая лошадиная

четвертая часть? Которая же первая-то часть у ей? Это даже, прямо сказать, — насмешка одна!

— Ну как же так!

— И очень просто!.. Положительно одно издевательство! С кирпича, с беременной бабы, с трубы все можно что-нибудь взять и даже в карман положить... А это уж — чорт знает что! *Четверть* лошади!..

Лично я хотя и мог бы совершенно иначе понимать эти «цифры», подлежащие облаиванию на разные лады, но, говоря по совести, обжившись с деревенскими обывателями, также, подобно им, привык очень мало интересоваться этим множеством крупных и мелких нулей, которые мы только и видим в таблицах многотомных трудов. Быть может, подумавши, я бы и мог что-нибудь возразить Ивану Ивановичу, но простое нежелание думать серьезно и привычка ограничиваться облаиванием не вызвали меня на разговор о непостижимой цифре.

«*Четверть* лошади!» — подумал я и присоединился к издевательству Ивана Ивановича. Толстые томы «трудов» как и прежде, так и после облаивания, сделанного Иваном Ивановичем, продолжали спокойно лежать на тех самых местах, где были положены, и всякий раз возбуждали во мне только глубокий вздох, когда, перечитав все, что можно было перечитать, приходилось с прискорбием увидеть, что кроме «трудов» решительно ничего для чтения нет!

Но вот совершенно неожиданно со мною происходит переворот: я собственными глазами увидел *четверть лошади!* и с тех пор усеянные крупными и мелкими нулями «труды» приняли в моих глазах чрезвычайное значение.

2

Да, я теперь знаю, что такое *четверть* лошади; знаю, что эта четверть — не пустяки, что эта дробь имеет весьма серьезное значение.

Дело было так.

Я только что окончил чтение нового переводного романа, напечатанного в одном из толстых журналов, и находился в весьма тяжелом душевном настроении. Не думайте, что на нервы деревенских обывателей действуют

только такие явления жизни, которые таят в себе обычную для нас сущность «хапнуть в карман», и что только такие явления волнуют и тревожат нас. Вовсе нет. Посмотрите-ко, какого переполоха наделал в нашем уездном обществе хотя бы «роман графини Лиды». Все, что не знало иного исхода и течения жизни, кроме службы, семейной ссоры и буфета в клубе, — все вдруг заохало, застонало, заметалось, закричало и заговорило из всех сил и во весь голос. Как теперь помню, еле живой уездный аптекарь, выходя из клуба во втором часу ночи и будучи уже в таком состоянии, которое заставило его тотчас же обнять фонарный столб, — все-таки нашел в себе силы закричать: «Приас-схо-нна!» И орал то же самое, раскачиваясь на извозчике, на которого усадил его городовой. Да, и мы не прочь иногда порадоваться и потосковать хорошо. Так было и со мной в этот раз. Роман был обыкновенный: муж — старик, она (маркиза, само собой) молодая и, само собой, Анатоль — молодой. Обман друг друга с первой страницы до последней. Обман письмами, глазами, рукопожатиями. Словом, какое-то беспрестанное воровство самых элементарных человеческих радостей, воровство, в котором не нуждалась ни во веки веков ни одна горничная, получающая восемь рублей в месяц. А тут маркиза, и не может жить на белом свете иначе, как «украдучи» да «уворуючи»! Впрочем — не в подробностях романа дело, а только в том, что мне было скучно от него и я ушел гулять.

Шел я, скучал, ни о чем не думал и вдруг случайно услыхал:

— То-то — кабы лошадь была!

Слова эти жалобно проговорил женский голос, и я, положительно не знаю почему, при слове «лошадь» вспомнил фразу Ивана Ивановича:

— *Четверть* лошади! Ну скажите, пожалуйста, не насмешка ли?

«А может быть, — мелькнуло мне, — именно на эту-то бабу и приходится в среднем выводе только *четверть?* Как же она живет с одной четвертью? . .»

— Как же без лошади? — сказал мужской голос. — Без лошади пропадешь!

«Как же, в самом деле, без лошади? — подумалось мне. — Как же с одной четвертью-то?»

Что-то сказало мне, что передо мной — не что иное, как живая статистическая дробь, а чрез мгновение я уже с полною ясностью знал, что я вижу именно дробь в живом человеческом образе, вижу, что́ такое эти нулики с запятыми, с большими и маленькими. И мне ужасно захотелось подойти к этой живой дроби.

Дробь была баба лет тридцати, и рядом с ней стояла на земле маленькая, полуторагодовая девочка. Обе они вышли из лачужки, у которой не было даже сеней. Против бабы и девочки стоял мужик, тоже, должно быть, какая-нибудь единица, деленная по крайней мере на десяток местных бюджетиков, потому что у него в спине на каждый квадратный фут было по четыре двухдюймовых цыры, и который, повидимому, также знал, что «четверть» лошади не представляет ничего хорошего.

— Кабы у меня лошадь была, так уж отвез бы! — сказал он тоскливо.

— То-то без лошади-то неспособно! — сказала дробь-баба.

— Далеко ль до покосу-то?

— Да версты две будет.

— Так ты вот как! — задумчиво сказал мужик, деленный на десять. — Ты обед держи в одной руке и косу в тое ж руку приуладь, а подстилку и полушубок для девчонки на шею намотай... Вот и будет великолепно! Чуешь?

— А девчонка-то как?

— Пойдет!

— Да как же она босая-то пойдет? И две версты ей не убечь, я пойду скоро.

— Это верно! — сказал мужик и стал опять думать.

Стала думать и дробь-баба.

И скоро мысли этих дробей стали складываться в следующую формулу:

— Вот как ты, Авдотья, уделай! Ты девчонку сажай на шею, верхом...

— Да чем же я ее держать-то буду? В одной руке полушубок, подстилка, в другой коса и обед? Не за волосы же ей меня тянуть?

— И то правда! — сказал мужик задумчиво и опять стал думать так же крепко, как думала дробь-баба.

Первый, повидимому, додумался мужик; в его лице что-то оживилось, и он с большим оживлением проговорил:

— Тогда окончательно я тебе скажу — вот мой совет: сымай платок с плеч!

— Что ж будет?

— Сымай! Увидишь!

Баба опустила на землю горшок, завязанный в тряпке, положила туда же косу, полушубок, половик, развязала большой платок, обхватывавший грудь и завязанный узлом на спине, и сказала мужику:

— Ну?

— Ну, теперь гляди! — сказал мужик, оживляясь сразу по малой мере на тысячу процентов. — Гляди теперь, какой мы произведем оборот. Стой прямо!

Он подошел к девочке и, взяв ее подмышки, поднял.

— Ну, любезная барышня, пожалуйте в вагон садиться! к маменьке на шею! Раз!

Девочка обхватила шею матери и ногами и руками.

— Ох, ты меня удушишь, Пашутка! — тихо прошептала мать. — Что ж будет?

— Погоди, не торопись! — суетился мужик. — Барин! — крикнул он мне. — Поди-ко, сделайте милость, потрудитесь! подними платок, мне девчонки нельзя пустить.

Я поднял платок и подал мужику.

— Благодарим покорно! Теперь мы уладим Пашутку никак не меньше, как в первом классе!

Он развернул платок, сложил его с угла на угол вдвое и, наложив средину на голову Пашутки, обвязал концами ее мать таким образом, что платок прямо проходил у ней под шеей и подмышками и завязывался узлом на самой шее так удачно, что Пашутка сидела на этом узле, как на подушке.

— Прямо в некурящий вагон обладили! Поезд стоит пятнадцать минут, буфет! — в восторге воскликнул мужик. — Не держись, Пашутка, пусти руки! Сиди слободно!..

Пашутка выпустила руки, заболтала ногами, захлопала руками и что-то залепетала.

— Ну, ты не дергай меня! мне под шеей тянет, — сказала мать, — сиди смирно!

— Бери обед! Бери косу! — оживленно говорил мужик, подавая бабе в руки все, что она была должна нести, — и все баба взяла, и в руки и в подмышки. Все уместилось, но баба не шла. Лицо ее было невесело. Хотя и смешно и искусно выдумал этот вагон добрый сосед, деленный на десять бюджетов, но все-таки ей нужно было изловчиться и приладиться, и она некоторое время неподвижно стояла на одном месте, прилаживая половчее то косу, то полушубок, то половик.

— Ай не ладно? — все так же весело и не веря в неудобства собственной выдумки, спрашивал мужик.

— Не... — прошептала баба, выматывая голову из туго стянутого платка, — не. ничего! ладно! теперь дойдем.

— Теперь дойдешь! Ничего! Не спеши. Ладно дойдешь! Вали, брат! Третий звонок! Трогай!

— Ну спасибо! — сказала баба с большим чувством и медленно, не шевелясь ни вправо ни влево, тронулась с места.

— Кабы лошадь-то была! .. — перестав радоваться, со вздохом проговорил мужик-благодетель и стал отирать полой рваного армяка свой мокрый лоб.

Но я уже не слушал его слов.

Баба пошла, и я уже не мог не идти за ней: я уже был захвачен интересом видеть в живом человеческом образе очертания повидимому ровно ничего не значащей статистической дроби. И хотя дробь эта была оживлена человеком пока только чуть-чуть, но я уже чуял, что виденное мною далеко не исчерпывает всего содержания, таящегося в якобы пустопорожней цифре, и что в этой цифровой загадке есть еще много чего-то, что надобно непременно разузнать и расследовать.

И я пошел поэтому вслед за бабой.

3

Баба шла с такою осторожностью, вытяжкой и с такою тщательностью балансировала среди обременявших ее тяжестей, что мне невольно вспомнилась акробатка, которую я видел когда-то, где-то в загородном саду. Она, так же как и баба, балансировала с величайшею осто-

рожностью на тонкой проволоке, вися над землей и толпой зрителей. Да, ведь и на ней лежит бремени не меньше, чем на бабе, и у нее по статистическим данным оказывается 00 отцовской заботы, 00 материнской любви, и затем уже в целых числах идет алчность антрепренеров и хозяев, а в десятках чисел ежеминутно чувствуются ею плотоядные глаза плотоядных людей, готовых каждую минуту расхитить для собственного удовольствия ее плоть и кровь. Да, ей надо также очень, очень осторожно ходить по канату!

Нецелое число, именуемое бабой, шло все дальше и дальше, иногда весьма нетерпеливо вскрикивая на девчонку:

— Перестань за волосья хватать! ведь крепко сидишь? чего баловаться-то?

— Тяжело тебе? — сказал я наконец, побуждаемый желанием выяснить подробности существования этой дроби.

— Знамо, не легко! — сказала дробь, но без всякого негодования. — Кабы лошадь бы была... А то вот теперь убирать сено надо, без лошади-то и трудно!

— А далеко еще до покосу?

— Порядочно еще. Мы и покос-то взяли дальний без жеребья, по этому по самому, чтобы лошадь... Не цапай, дура! Сказано тебе?

Девчонка заплакала, но матери уж нельзя было тратить время на ее успокоение. Она шла и по слову, по два (говорить ей было неловко) изображала мне положение своих дел.

— Жеребьевые-то участки ближние и хорошие, да нам малы... Мы без жеребьев взяли дальние, с зарослью.. Они будут вдвое против жеребьевых-то на душу... Жеребьевый на душу.

По словечку, прерывая речь тяжелым дыханием, баба рассказала мне и о том, что у них уже есть и сбруя. И сбруя эта вышла им как-то случайно: просто бог дал. Жила у них два года одна старушка, бедная, у которой внук в Петербурге учился в шорниках, и вот когда внук стал сам работать «от себя», то вытребовал и старушку-бабушку и в благодарность за ее содержание прислал полный комплект сбруи с большой уступкою. За эту сбрую еще не заплачено, а заплатится тогда, когда продадут

сено, тогда вот можно будет «обдумать» (пока!) и насчет лошади. Предстоит еще маленькая неприятность и с этим самым сеном: вывезти его будет не на чем (всего *четверть* лошади), а если урожай сена будет велик, то, пожалуй, на месте придется его продать так дешево, что «обдумать» лошадь можно будет уже не ранее, как еще через год.

Слушая эту прерывистую, задыхающуюся речь бабы, я иногда приходил к мысли подойти и помочь ей. Но строго «научный метод», которому я старался следовать в моих наблюдениях, во-время останавливал меня. Однажды баба даже остановилась, закашлялась, но я все-таки остался на научной почве, не подошел к ней и не испортил точности цифр статистического «столбца». Столбец так и остался столбцом, без всяких изменений, а баба покашляла, покашляла и пошла опять балансировать.

Наконец мы пришли на покос.

4

Довольно большое пространство низменного поля, заросшего кустами прутняка, было уже уставлено копнами сена, которые в наших местах называют «кучами». В значительном количестве виднелись они в прогалинах между кустарниками и помногу, «как придется», стояли в таких местах, где было попросторнее от зарослей. Вот эти-то «кучи» и надобно было стащить в несколько стогов или же сложить в один длинный стог, видом всегда похожий на сарай, который и продается скупщикам на сажени, меряя по низу, с одной стороны от края до края.

Остановившись на покосе, баба осторожно села на землю, осторожно сложила свои тяжести, сама развязала сзади себя платок, спустила на землю Пашутку и, вся мокрая, с прилипшими к мокрым щекам и лбу волосами, некоторое время сидела молча, отдыхая и отирая мокрое лицо и шею. Пашутка толкалась около нее и что-то клянчила, но мать так устала, что уже не обращала на это клянчанье внимания. Я пристроился под куст, в тень, закурил папиросу и изучал.

— Ав-дей-эй! А Ав-де-э-эй! — звонко позвала баба, и скоро из-за кустов показался мужик с граблями на плече.

Усталою походкой он подошел к бабе, подхватил на руки Пашутку, которая побежала ему навстречу; не спуская ее с рук, он сел на землю, и вся семья принялась за еду, предварительно перекрестившись.

Ели молча, почти не разговаривали; ели и отдыхали в одно и то же время. Короток был обед и короток отдых.

— Как бы дозжом не брызнуло! — сказал Авдей, оглядывая небо. — Ишь, несет ветром из мокрого угла (с юга)! Пока что хоть дело разчать надо...

Он встал, опять перекрестился несколько раз, потом пошел в лес, откуда скоро раздался стук топора. Тем временем мать Пашутки всячески старалась ее укачать и уложить спать, но Пашутка, как на грех, пищала, капризничала и на что-то жаловалась. Иногда в уговариваниях матери слышалась какая-то раздражительная нота; ей нельзя было держать Пашутку на руках, сидеть сложа руки. Ей предстояла трудная работа.

— Не спит, постреленок! — сказала она Авдею, когда тот вышел из лесу.

Это известие, очевидно, очень опечалило Авдея. Держа на плече две большие жерди, которые он принес из лесу, он задумчиво остановился перед женой и задумчиво смотрел на Пашутку.

— Авось она одна побудет? — нерешительно спросил он жену.

— Вестимо, одной надо быть! .. Хошь и поплачет, делать нечего... Плачь не плачь, а делать нечего! ..

— Ничего! — успокоительно сказал отец, подсаживаясь к Пашутке. — Ты, Пашуха, сиди да гляди, что мы с мамкой будем делать... Будешь? Мы тутотка вот, и даже недалеко! .. Будешь смирно сидеть? Гостинку дам, как домой воротимся, право! Целую баранку дам! Будешь?

Пашутка что-то прошептала.

— Ну и хорошо! Дай-кось я тебя поцелую, головку поглажу... Ну, Авдотья, пойдем!

Пашутка исполняла свое слово и сидела смирно, потому что отец и мать были недалеко и на ее глазах делали свое дело. А дело это было трудное...

— Вот без лошади-то! .. — горько говорил Авдей.

— Ну уж, чего разговаривать! — не желая пустословить и, очевидно, вся напрягшись для тяжкого труда,

довольно резко сказала его жена. — Подсовывай жердье-то!

Так как на одной четверти лошади нельзя возить сена, то нашим дробям пришлось подсовывать под каждую сенную «кучу» по две жерди рядом, браться за концы этих жердей, точно за носилки, и, подняв·тяжесть не менее четырех пудов, тащить ее к той куче, где предполагалось сложить стог.

Жерди были подведены; четырехпудовая куча сена плотно притискивала их к земле, низменной и болотистой.

— Ну-ко, господи благослови! — сказал Авдей, становясь вперед; согнувшись, он занес руки назад, захватил концы жердей и проговорил, не поднимая их и не разгибаясь: — Ты — не вдруг, Авдотья, налегай! Помаленьку! не сразу подхватывай! Приладься!..

Авдотья знала всю трудность дела и изловчалась. Лиха беда была поднять, а там уж нужно было только держаться цепко за концы, а четыре пуда не оторвут рук от плечей. Раза три они оба приналегали на кучу, то сзади Авдотья, то спереди Авдей, и понемногу она сдвинулась с места, отсосалась от сырой земли, и, наконец, с значительным усилием они оба стали приподнимать ее. Для Авдотьи это было особенно трудно и требовало весьма значительного калеченья ее тела. Подхватить концы жердей сразу ей было, очевидно, не по силам, и она, положив один конец жерди на колено, обеими руками вцепилась в конец другой жерди, подняла ее, высвободила одну руку и схватилась ею за конец жерди, который лежал у нее на колене. Наконец они оба выпрямились и пошли. Пошли, держась прямо, как струна.

Прямо, как струна, идет крестьянин за сохой; он, повидимому, только идет, и ничего нет удручающего вас, наблюдателя, в этой походке; но подойдите к нему поближе, посмотрите на эту спину, как бы не умеющую согнуться, — она вся дрожит; нет в ней места даже величиной в булавочную головку, которое бы не трепетало самым напряженнейшим усилием. Нужно затаить дух, собрать в себе все силы, обуздать каждый мускул, страдающий от тяжести, которую ему приходится преодолеть, заставить его исполнять трудное дело, не дать ему ни малейшей воли, и вот отчего твердой походкой идущий по

пашне человек, кажущийся таким непоколебимо спокойным, на самом деле каждый шаг свой одолевает страшным напряжением нервов, таким напряжением, что вздохнуть можно, только дойдя до конца полосы, то есть до поворота. Но настоящий крестьянин не останавливается для передышки на поворотах, а скорее идет далее, зная, что, отдохнув хоть с минуту, ослабнешь и потом будет трудней.

Вот с таким-то невероятным напряжением сил подняли и несли четырехпудовую кучу сена Авдей и Авдотья. Малейшая часть тела в каждом из них была натянута, напряжена, как струна. Конечно, потом они, наверное, оба и «не так» еще «разойдутся», и нервами эти люди сделают то, что не сделать настоящей силой; но теперь мне с моей строго научной точки зрения было положительно даже смотреть-то трудно на это, повидимому, совершенно простое дело.

Кроме тяжести, оттягивавшей руки утомленных уже косьбой людей, успешность их работы в самом начале была отравлена Пашуткой. Покуда отец и мать были у ней на глазах, она молчала, не спуская с них своих глазенок, но когда они пошли и она увидела, что они уходят, она огласила пространство необычайным плачем и криком. Я видел попытки Авдея и Авдотьи повернуться к ней лицом, посмотреть, узнать: что с ней? но куча сена не желала уступить из физических сил мужа и жены ни одной капли, и Авдей с Авдотьей могли только ускорить шаг, то есть сделать еще большее напряжение, но остановиться уже не могли.

Но зато спустя несколько минут, в течение которых рев Пашутки дошел до невероятной степени, я увидел, что крик этот не остался для родителей ее гласом вопиющего в пустыне. И Авдей и его жена буквально сломя голову неслись из леса, направляясь к Пашутке. Не добежав до нее, они даже побросали жердья и в страшном испуге бросились к дочери.

— Ай укусило тебя? — кричал Авдей.

— Не казюлька ли какая поганая укусила? — впопыхах говорила Авдотья, почти упав на землю около Пашутки и тотчас же осматривая ее голые ноги.

— Экое место чортово! Сколько их, гадюков, тут разведено, ехиднов! Что, не тронули ее?

— Не видать ничего! .. Чего ты орешь-то? — в сердцах сказала Авдотья и шлепнула Пашутку.

— Ну, будет! — сказал Авдей. — Чего уж! Вестимо, одна осталась... Испужалась... Я спужался — думал, не гадюка ли? Помереть ведь можно от нее, от поганой! А то что уж ты так! Вестимо, малый ребенок... Эх, лошади-то нету! .. Сидела бы на возу, песни пела... Ну, да ничего, Пашутка, делать нечего! Уж как никак, а надыть с собой брать... Босиком ей по кошеному-то далеко не уйтить, а криком душу надорвет... Ну, ничего! .. Уж как никак, Авдотья, а с собой надо взять? — спросил он.

Не дожидаясь ответа Авдотьи, Авдей взял Пашутку на руки и понес к новой куче сена. Покуда они подводили под кучу жерди, Пашутка сидела на траве. Но когда жерди были подведены, Авдей подошел к Пашутке, взял ее на руки и понес к сену.

— Ну, баловница, садись сюда, в ямку-то... Поедем вместе! Ладно так-то?

Пашутка что-то пропищала.

— Ну, сиди смирно!

— У, паскудная! — с сердцем сказала измученная Авдотья.

— Ну, что уж. Берись! ..

— Горластый чорт, покою нет!

И опять муж и жена согнулись вперегиб, и опять раза по три, по четыре приладились и присноровились поднять кучу, причем уже нужно было робеть и за Пашутку: как бы не свалилась, жерди качаются — но в конце концов, с еще большим напряжением нервов, муж и жена одолели-таки увеличенную Пашуткою тяжесть. Кроме тяжести жердей, тяжести сена, прибавилась еще и тяжесть Пашутки. Что делать! у бедных людей была только четвертая часть лошади, и поэтому недостающие части лошадиной силы они должны были взять на себя.

Все время я, как уже сказано ранее, держался в моем поведении строго научного метода. Но после того, как куча сена на моих глазах оказалась с увеличившимся содержанием, я почувствовал, что едва ли можно еще до-

полнить чем-нибудь новым уже и без того слишком многосложное содержание статистической дроби. «Что еще может быть добавлено в ее объяснение?» — спрашивал я сам себя и положительно не перенес бы дальнейшей строгости в сохранении себя на научной точке зрения, если бы в самом деле к виденному можно было бы что-нибудь добавить еще. Мне было довольно простого умножения количества видимых глазами куч на силы двух человеческих существ, чтобы тотчас же прекратить продолжение моего исследования.

И я действительно не мог продолжать его. Я ушел домой... Что́ я могу знать, живя в деревне? Но цифры, которые я до сих пор игнорировал и которые я неожиданно увидал во образе человеческом, — цифры могут мне помочь разобраться в человеческих единицах и дробях. И с тех пор я предался статистике, а чтобы доказать читателю, что плоды моих усилий были не тщетны, я расскажу ему самый крошечный эпизодик, случившийся со мной по поводу еще одной самой маленькой человекодроби.

II. КВИТАНЦИЯ

1

Эпизодик с этой капельной цифрой случился со мною в то время, когда я только что предался изучению статистики, был, так сказать, в самой первой поре увлечения, и поэтому, я надеюсь, читатель извинит мне, если доводы, вследствие которых во мне родилось побуждение во что бы то ни стало видеть своими глазами упомянутую микроскопическую цифру, покажутся ему лишенными точных научных оснований и почти не логическими. Невольные ошибки начинающего должны быть извиняемы, и в надежде на это я расскажу процесс моего мышления в данном деле без всякой утайки: дело в том, что, начитавшись местных данных, я без перерыва принялся за материалы, собранные столичными статистиками, и здесь, в отделе браков, прироста, рождаемости и смертности населения, я натолкнулся на цифру, которая мне

(по неопытности) показалась совершенно необъяснимой: оказывается, что в Петербурге ежемесячно нарождается до 700 детей, у которых нет ни отцов, ни матерей. В графе «отцы» стоит 0, в графе «матери» — тоже 0, а в итоге написано: *итого 700 штук человек.*

Научный метод мышления настолько еще не овладел мною и моими соображениями, что я решительно не мог оставить в покое этих нулей, из которых выходят целые «люди», и при помощи, откровенно сознаюсь, весьма первобытных вычислений, цель которых была доказать себе, что из двух нулей не может произойти ребенок и что для появления его на свет необходимы хотя какие-нибудь отце- и матереобразные дроби, я, при помощи сложения и деления, вычислил, что на каждого из 700 человек детей в среднем выводе приходится не 0 и 0, а (принимая во внимание всю сумму единиц, составляющих то, что называется «обществом») все-таки некоторая дробь отцовского и материнского элемента. Естественно, во мне родилось желание разыскать то существо въяве и вживе, которое может уделить на выполнение материнского дела только одну сотую часть (таково было мое вычисление) своего существования. И где же остальные девяносто девять частей человека, матери, женщины?

Нисколько не защищаясь против могущих быть упреков со стороны читателей в недостатках сделанных мною вычислений, я должен сказать, однако, что лично во мне эти вычисления выразились в весьма определенном и решительном поступке. В первый же приезд мой в Петербург я, под влиянием всевозможных соображений, которых теперь не могу даже припомнить хорошенько, прямо с вокзала велел извозчику ехать в воспитательный дом; может быть, отчасти причиною этого было и то обстоятельство, что наш деревенский поезд приходил раньше всех других поездов, когда над Петербургом лежит еще тьма зимней ночи, когда весь Петербург спит, и когда только что начинают открываться булочные, и вообще когда негде приткнуться, чтоб напиться чаю или же не к кому заехать, чтобы не разбудить утомленного петербуржца и не побеспокоить его. Как бы то ни было, но я думаю — перевес в моих поступках брало не столько нежелание беспокоить моих знакомых, сколько опять-таки увлечение многосодержательностью статистических цифр,

овладевших в последнее время всем моим вниманием. Полагаю, что последнее влияние было во мне преобладающим, и говорю это на том основании, что сторож, к которому меня подвез извозчик и который стоял около того места воспитательного дома, где идет «продажа карт», долгое время слушал мои вопросы и разглагольствия как бы в каком-то недоумении и, наконец, повидимому, сам заразился моей статистической терминологией. Как бы в подражание моему специально-статистическому языку, он стал разговаривать со мною тоже каким-то странным и также как бы научным языком.

— Рождаемость? — в недоумении проговорил он, как бы приходя в себя от моих многосложных вопросов. — Рождаемость... это с Мойки вам надо заехать... Придется объезжать по Невскому и оттуда, от мосту, по левой руке... Там идет эта самая... например, рождаемая приноска. Из тех ворот с уткой и утятами... Туда бабы волокут свое нарождение, с Мойки. А в наши ворота идет уже выпуск — кое в деревню, а кое на гигиен-станцию.

— Какая же это гигиен-станция?

— А Преображенка!.. Как же? Как пойдете по Гончарной, и будет улица в конце, к Казачьему плацу, — и тут сейчас на левой руке гигиен-станец. Для очистки воздуха. Вентиляция. Потому Петербург — не деревня... Там, дай бог, в год два-три покойника, а ведь в Петербурге кажинный божий день народу намрет, как снегу в подворотни навьет. Одного нашего брата мужика, мастерового, навалит в сутки тьма-тьмущая. Держать мертвечины долго не годится — вот ее из всех мест — из больниц из всяких — прямо на гигиен-станец, а там в вагон, а там на Преображенку, за город! Гигиен называется все одно, как очистка. Для воздуха. Кабы полиция не делала у нас хорошую гигиену, у нас бы в воспитательном мерло не так, а теперь всё не шибко.

Я находился в недоумении, не умея понять, в какой степени все то, что говорит сторож, относится к разрешению заданной мною себе задачи? Но тот же сторож вывел меня из затруднения.

— Да вот и сегодня уж вывозка была младенцам на гигиен-станец, а часу в девятом их уж по машине отправят. А ежели вам насчет рождаемого, например, так бабы

шляются туда с Мойки... Это уж к Полицейскому мосту надо объезд делать.

— Ну, спасибо! — сказал я, спешно сев опять на того же извозчика, и торопливо сказал ему:

— Поезжай в Гончарную поскорей!

Клячонка ночного извозчика, на которой я ехал, делая второй длинный конец по направлению к тому же Николаевскому вокзалу, с половины дороги пошла чрезвычайно тихо, хотя извозчик ее и стегал довольно исправно. Впрочем, судя по тому, что темнота еще довольно густо лежала на земле, можно было думать, что время еще раннее. Знаменская площадь была совершенно пуста, и только у рельсов конно-железной дороги виднелась капельная фигурка гимназистика с ранцем на спине: он, проживающий с родителями на Песках, ждал конки, чтобы поехать на Васильевский остров в гимназию; крошечный человечек, не доспав, встал в шесть часов утра и воротится домой никак не ранее шести часов вечера и потом еще уроки до одиннадцати. Жутко было как-то среди этой тьмы и холода видеть эту детскую фигурку, изнуряющую свои младенческие годы, наверное, ради куска хлеба в будущем, — и, раздумывая об этом, я не заметил, что лошадь извозчика уже не бежит, не пытается даже бежать, а только постоянно вертит хвостом и дергает сани вперед по вершку. Я видел, что лошадь устала, но не решался понукать извозчика и терпеливо плелся на нем по пустынной Гончарной, хотя крайне опасался, что я не поспею на гигиен-станец до отхода поезда.

Вдруг, равняясь со мною санями, появилась сначала дымящаяся лошадь, потом сани.

— Поскорей, извозчик! Ах, извозчик, опоздаем! — услышал я с левой стороны.

И, обернувшись, я увидел женскую руку в перчатке (довольно ветхой), которая трогала извозчика в спину.

— Поезжай!.. Скоро отойдет поезд! Уж, должно быть, отошел! Ах, боже мой!

— Не беспокойтесь, ничего! — хлопнув дымящуюся лошадь что есть силы, сказал извозчик, и я сразу увидел, что на санях сидит та самая «белошвейная мастерица», которую всякий петербуржец встречает в таком обилии среди уличной толпы. Аккуратно одетая девушка,

а рядом с ней картонка продолговатая, коричневая, с глянцевитой крышкой.

— Пожалуйста!.. — послышалось мне еще раз, когда, после ошеломляющего удара, лошадь извозчика сильно рванула и сразу обогнала нас.

— Поспеем! — едва слышно донеслись слова извозчика, сопровождаемые новым ударом, огласившим, как выстрел, пустынную Гончарную.

Извозчик обогнал нас. Я едва видел белошвейку, но и виденного было достаточно, чтобы знать, что она в величайшем беспокойстве. Она, сидя на одном месте, была в каком-то непрерывном волнении, и рука ее поминутно прикасалась к плечу извозчика.

Извозчик драл свою клячу, высоко замахиваясь кнутом, даже поднимался во весь рост и махал в воздухе концами вожжей.

— Пошел! Поезжай скорей! — закричал и я моему извозчику. — Опоздаем!

Я был вполне уверен, что белошвейка едет на «гигиенстанец», хотя присутствие коробки с каким-нибудь нарядом смущало меня. Может быть, она везет наряд какой-нибудь имениннице и спешит так рано? Но, не спуская с обогнавшей меня девушки глаз, я увидел, что извозчик ее поворачивает с Гончарной направо и именно туда, где должна быть Преображенка, и что девушка даже приподнялась на извозчике, что она, кажется, даже пихает его в спину, что лошадь уже скачет всеми четырьмя ногами сразу, осыпаемая непрерывными ударами.

— Пошел! — закричал я, как только мог. — Прибавлю! Пошел во всю мочь!

Извозчик, чувствуя что-то небывалое, также пришел в возбужденное состояние и также принялся «лупить» свою клячку что было мочи. Но трудно было «разжечь» несчастную, утомленную ночною ездою скотину, и она хотя и начала так же, как лошадь обогнавшего нас извозчика, прыгать всеми четырьмя ногами, но надлежащего успеха от всех этих стараний не получилось, и мы, при повороте с Гончарной к Казачьему плацу, встретили извозчика, который вез белошвейку, уже порожняком. Он ехал медленно, весь в клубах пара, исходившего от лошади.

— Опоздали? — почему-то впопыхах воскликнул мой возница, неустанно нахлестывая клячу.

— Первый звонок был! — не спеша ответил извозчик, собираясь закурить папироску. — Пожалуй, опоздаете...

Это известие заставило моего возницу сделать какое-то невозможное усилие — и руками, и горлом, и кнутом — и мы, наконец-таки, очутились около крыльца «Преображенки».

2

Опрометью вбежал я в этот покойницкий вокзал и сразу натолкнулся на такую сцену: где-то звенел железнодорожный звонок, шла какая-то суета, но помещение было уж пусто, и только у двери столпилось несколько служащих, группой окруживших белошвейку. Тут были жандармы, купец, артельщики в фартуках и какие-то люди, — и все это громко говорило, в то время когда белошвейка, сидя на скамейке рядом со своим коробом, заливалась горючими слезами. Группа народа, толпившаяся около нее, один перед другим старались в чем-то убедить ее, и в тоне разговаривающих была слышна сочувственная нота.

— Ах, боже мой! Ах, боже мой! Неужели я не увижу его? Мальчик мой!. — облитая слезами в три ручья, захлебываясь ими, хрипло шептала «аккуратная» фигурка белошвейки.

— Сударыня! ничего теперь невозможно! — убедительным тоном говорил артельщик.

— У меня есть квитанция! — поднимая мокрое лицо на артельщика и захлебываясь словами, говорила она. — Вот, ведь я говорю... есть!

В руках ее виднелась какая-то бумажка.

— Эта квитанция не может способствовать!..

— Ведь это на моего мальчика!

— Оно точно! Действительно на мальчика вашего — только что не такие нумера...

— Мой мальчик! Но ведь это его нумер?

— Это ихний нумер, верно! Только что это приемная квитанция, значит, живого младенца, а здесь накладные мертвецкие... Этот нумер не может подойтить!

— И напрасно вы изволите беспокоиться! — прибавил другой сочувствовавший горю человек. — Окончательно по

этой квитанции покойника не разыскать. На живого один нумер, а на мертвого другой... Который нумер? Позвольте?

Белошвейка рыдала в платок, но квитанцию дала все-таки.

— Четыреста восемьдесят один. Ну он там и обозначен умершим, а в приемке у него, может, двадцать девятый или какой там... И окончательно оставьте! Господь прибрал — что ж? Кабы ежели в покойницкой были...

— Неужели я не увижу? Господи!.. Дайте мне эту квитанцию! Может быть, я увижу... Там еще поезд, пассажирский.

Раздался третий звонок.

— Ах, милый мой!.. Уедет!.. Нет, я побегу на вокзал!..

Она быстро вскочила с лавки, схватила картонку, уронила ее и, несмотря на самые задушевные доказательства, что ничего она не добьется, быстро побежала, пробиваясь сквозь толпу. Я схватил ее коробку и побежал вслед за ней, а за нами высыпала и вся толпа.

— А ты, коли рожаешь ребенка, так ты его не бросай, как щенка! — вдруг, как обухом по лбу, громко и отчетливо проговорил какой-то из слушателей, видом лавочник.

Бедная белошвейка остановилась, и хотя она и была вся измучена и лицо ее опухло от слез, — в ней проснулась на минуту бойкость «белошвейки», которая иногда вынуждена давать дуракам сдачи.

— Послушайте! — смело сказала она, останавливаясь. — Вы как смеете говорить дерзости?

— Чего бормочешь! — прикрикнули на него некоторые из артельщиков, — нашел время галдеть!

— Да, — настойчиво болтал нравоучитель. — Коли родишь, так не бросай! А то только бы хвостом повертеть? Нет, шалишь! Вот и поплачь, матушка, ничего!

— Перестань, дурак! — закричали сочувствующие бедной женщине люди.

Дурак не перестал бормотать, и это бормотанье как будто приковало ноги девушки к земле: она не трогалась с места и гневно смотрела на удалявшегося дурака.

— Пойдемте! — сказал я. — Может быть, поезд еще не ушел.

Она пошла, но слова нежданного дурака, очевидно, ошеломили ее, и она, сделав два-три шага быстрых и стремительных, вдруг замедлила походку и, продолжая рыдать, говорила гневно и медленно:

— Скверный! Чтоб я бросила ребенка... Что я, собака? Я бросила! Когда мне кормить нечем? Чем я буду кормить?

Опять градом льются ее слезы, и мы быстро идем вперед. И вдруг опять остановка.

— Кабы у меня были родные или кто-нибудь на свете... У меня никого нет! Я сирота! Каждый год у нас родит кухарка, и все ребята живы... Девять рублей получает, платит в деревню... И все живы... А я?

Горькие слезы.

— ...Я еще и в мастерицы не вышла... Скверный какой!.. Я бы его нашла потом! Их в деревню отдают... Бросила ребенка! Подлец этакой! Я бы нашла его...

— Пойдемте, пойдемте, пожалуйста! — говорил я.

Она опять побежала и опять остановилась:

— Я одна кругом. *Он* тоже копейки не имеет... ученик... Меня с шести лет мучают работой... У меня даже своего лоскута нет... Ведь за них казна платит, как же мне быть?.. Я бы уж нашла его!.. У меня у самой молока было ужасть! Двух бы прокормила! дурак эдакой, невежа! Вся рубашка молоком-то... Чем я виновата? Всем можно родить, а мне нельзя? Гадкий какой дурак, бессовестный! Теперь и не найтить моего мальчика!.. Ах, милый мой! Голубчик мой! Пойдемте, ради бога, скорее!

До самого вокзала она неслась, как ветер, и платок поминутно мелькал около ее лица.

— Опоздали? — впопыхах спросили мы у татарина в буфете, сказав, зачем мы пришли.

— Да, — проговорил он, поглядев на круглые часы, — сейчас уйдет!

— Что ж? — сказал я, — теперь уж, право, нечего!..

Она стояла неподвижно. Я взял ее под локоть, привел к скамейке и посадил. Она отвернулась от меня, как-то перевесилась через ручку деревянного дивана и молча, не говоря ни слова, предалась своему безграничному горю. Туго застегнутый, «аккуратный» хозяйский дипломат дрожал под истерическим дрожанием всего ее тела.

— Голубчик! — чуть-чуть шептала она... — Прощай! Прощай, ангельчик мой!

И будто поцелуи слышались тихие...

Я сидел около нее недвижно и боялся дохнуть.

3

Помню, что она ушла с опухшим лицом, но не забыла задернуть его кусочком вуальки и вообще постаралась принять, насколько в ней хватало силы, обычный вид белошвейки, опять тип той самой, которую всякий видит в толпе с коробкой в руках.

— Ой,— сказала она сиплым шопотом, взглянув на часы, — одиннадцатый! Теперь полковница меня съест! Уж давно надо было быть! Ах, боже мой...

Толпа, схлынувшая с почтового поезда, поглотила ее «фигурку», ставшую опять «аккуратной»... Я просидел еще довольно долго, не смел тронуться с места под впечатлением чего-то ужасного. Наконец я встал со скамейки и пошел.

— Господин! — остановил меня сторож с бляхой. — Вот бумажку обронили!

Я взял бумажку: это была квитанция на принятие ребенка белошвейки.

А ведь она как целовала эту квитанцию-то! И теперь у нее ничего не осталось. Она опять должна девяносто девять частей жизни посвятить работе на хозяйку, заботам о полковнице, которая «выходит из себя», если на ней дурно «сидит», огорченью за неуспех этих полковниц из-за туалета, скорби хозяйки о недостатке средств на игру в карты — и только сотую часть своему материнскому делу, чувству, обязанности.

Так вот какие иногда многосложные вещи таятся в статистических дробях! Думаешь, думаешь над этими ноликами, делаешь разные вычисления, а нежданная слеза возьмет да все и запачкает!

III. ДОПОЛНЕНИЕ К РАССКАЗУ «КВИТАНЦИЯ»

1

Квитанция, оставшаяся в моих руках после неожиданной встречи с белошвейкой, в такой степени приковала к себе мое внимание, что я до сих пор не могу еще перейти к оживлению иных статистических цифр и не могу оторваться от размышления об этих крупного и мелкого размера дробях, кишащих в живой жизни кругом меня в несметном множестве. Быть дробью, потерять самое право думать о своем существовании, как о чем-то напоминающем «целое», — удел всякого живого существа в строе современной купонной жизни, и вот почему такая прискорбнейшая дробь, как одна сотая матери, выработанная всем строем этой жизни, сосредоточила мое внимание именно на коренных особенностях этого строя. Строй народной, трудовой жизни тем и отличается от купонного, то есть труженического, батрацкого, изнуряющего личность человеческую, что в нем человек всеми возможными способами добивается права чувствовать себя целым числом, а не дробью, жить на свете, не покупая чужого труда и не продавая своего, то есть жить, сохраняя свою совесть и удовлетворяя полноте ее потребностей.

Отличным примером упорства отстоять трудовую жизнь против «купонной» может служить весьма любопытная статья г-на Рейнгардта, о которой весьма не мешает сказать несколько подробнее потому именно, что в ней рассказывается о крестьянских, привыкших к самостоятельной жизни, женщинах и девушках, не желавших добровольно превращаться в дроби и сотые части.

Статья эта изображает «Девичий бунт на Урале в 1839 году» и объясняет возникшее волнение так: «Промысловые работы (как и вообще фабричные, поденные работы «из-за хлеба») должны были наводить ужас на всех *честных* женщин, пред глазами которых прошли несчастные *опозоренные* жертвы с их навеки загубленной жизнью... *Материальные выгоды* и *веселая жизнь* внушали *глубокое отвращение* этим простым, но честным натурам, которые предпочитали тихую, хотя и бедную жизнь *в своей* семье...»

И во имя этого уважения к своей чести и к своему человеческому достоинству — «женщины в своей энергической оппозиции заводоуправлению действовали вполне самостоятельно, без всякой активной поддержки со стороны мужчин. Право, за которое боролись они, заключалось в охранении нравственной чистоты, в поддерживании достоинств честной женщины, что возможно было для них только в семейной жизни...», то есть в трудовой жизни *своего* хозяйства.

Бунт крестьянских девиц, приписанных к горным заводам, начался вследствие слуха о том, что получен указ, запрещающий женский промысловый труд. Собственно говоря, никакого закона о труде женщин не существовало: заводовладельцы из дворян владели крестьянами на основании крепостного права и распоряжались поэтому своим народом «как им было угодно», то есть одинаково пользовались трудом как мужчин, так и женщин, — а с них, заводовладельцев-дворян, «взяли пример» и владельцы заводов, принадлежавшие к купеческому сословию, имевшие право только на мужской труд приписных крестьян. Эксплуатировать труд женщин они по закону «не имели никакого права» и, чтобы добиться этого права, обратились в тридцатых годах к министру финансов с ходатайством о разрешении употреблять женщин в работы *за надлежащее вознаграждение*. Министр финансов удовлетворил ходатайство, причем установил на этот предмет определенные правила.

Таким образом «вознаграждение», расчет на «нужду» явились соблазнителями женщин и девушек, и «рубль» стал отрывать их от дома и семьи. Но, несмотря на силу рубля, народное хозяйство было еще так прочно, что даже десятилетний опыт развращения и разрушения семьи не принес никакого существенного результата. Едва в 1839 году прошел слух, что существует указ, запрещающий женщинам поденную работу, как мгновенно поднялось все женское население, заявляя громкий протест против «материальных выгод», которыми их хотели оторвать от «невыгодной» жизни и бедности своего дома.

«1-го октября 1839 года девушки должны были собраться на работы в полном составе, то есть 212 человек,

но их явилось только 12, прочие же остались дома, объявив заводским служащим решительным тоном, что они *никогда* не будут работать на приисках».

А ранее этого те же девушки отказались и от полевых работ.

Об этом сопротивлении было донесено хозяевам заводов в таком виде:

«По распоряжению конторы, мы производили высылку на промысла *девок женского пола,* при каковом наряде за одних матери, за других отцы, а другие сами идти на работу отказались, сказывают... что женскому полу в работе находиться не подлежит: отчего довольное количество препятствуют — не идут на работы».

Многие матери и отцы «категорически и громогласно» объявили, что «дочерей своих в работы не пустят». Такое упорство заставило заводское начальство потребовать, откуда следует, «энергических мер». «Желая предупредить, — пишет начальство, — развитие духа неповиновения, главное правление обязанностью своею постановляет покорно просить ваше благородие, по получении сего, по важности обстоятельств, отправиться без промедления в К—ий завод и оказавшийся дух неповиновения строгими и быстрыми мерами пресечь; а для содействия вам теперь же отправляется товарищ управляющего, артиллерии поручик Петров».

«Его благородие» и господин Петров приехали и приняли меры, сначала, конечно, «кротким образом внушив о безусловном повиновении заводскому начальству». Но, увы! «Они же (доносит «его благородие»), бунтовщицы, не давая словам моим вероятия, решительно отозвались, что в работы не пойдут до тех пор, покуда я не объявлю им указа, по которому они наряжаются на работу, и не дам им в том какую-то расписку. На представление мое им, что требование их сумасбродно и обнаруживает одну их дерзость, они оставались в своем упорстве...» «Дабы не подать повода к неповиновению и прочим заводским людям, я, руководствуясь (следуют статьи XIV тома свода законов) о предупреждении и пресечении преступлений, вынужденным нашелся *к приведению в повиновение девок употребить исправительные полицейские меры, для этого намерен был одну из более упорствующих наказать розгами, но толпа девок сделала при этом шум-*

ный крик; однакож, несмотря на это, одна из толпы была взята и подвергнута наказанию двумя ударами розог. Эта мера имела весьма *благоприятное* действие на девок, ибо многие из них тотчас согласились вступить в работу...» «За всем тем, пять девок, а именно: Агафья Гребенщикова, Василиса Быкова, Марья Сосекина, Анна Баранова и Наталья Плотникова, остались в непреклонности и от вступления в работы решительно отказались...» «О таковом неповиновении заводских девок донося вашему высокопревосходительству, осмеливаюсь всепокорнейше просить, не благоугодно ли будет приказать к приведению в повиновение означенных пяти девок употребить надлежащие меры»...

Прошло пятьдесят лет, и то, что не было вполне достигнуто при помощи благоприятных мер, сделалось «само собой» на совершенно других уже основаниях! Теперь заводская жизнь, говорит г-н Рейнгардт, «представляет много удовольствий для усердных поклонников Киприды. На золотых приисках работает много женщин и девушек, между которыми попадаются очень хорошенькие, даже в полном смысле красавицы. Они (уже) неприхотливы, отличаются большой снисходительностью, так что за хорошенький платок, кусок ситцу, даже за фунт кедровых орешек готовы подарить своим благосклонным вниманием первого встречного ловеласа. Вот почему (!) *всякий* (!), отправляющийся на промысла, запасается *предварительно* (!) платочками, ситцами в полной надежде на успех и, конечно, почти никогда не ошибается. Успех очень часто превосходит ожидания!..» «Люди практические, опытные запасаются на этот предмет самыми *разнообразными* материями, потому что брать хотя и много, но все одного и того же качества бывает весьма неудобно; как показал пример некоего N, который с любовию к прекрасному соединял аккуратность и расчетливость. Отправляясь на прииски, он закупил на дешевой распродаже массу ситцу совершенно *одинакового* рисунка... *Чрез три недели* после прибытия его на прииск, в один праздничный день, на местном гулянье явились *около 60* местных работниц, одетых в одинаковые платья, будто по форме. Нетрудно было догадаться, что все эти особы в течение короткого времени пользовались вниманием этого господина, что дало повод

местным шутникам (а не шутники что же?) говорить, что это форма «непременных работниц» (на основании 448 статьи VII тома Горного устава о непременных работницах). Но как ни весела (!) жизнь на промыслах, положение женщин там далеко не приглядно».

Такие успехи растления нравов, повторяю, мы не можем приписать в данном случае исключительно какому-нибудь несправедливому указу или какому-нибудь насильственному мероприятию. Теперешние несчастные женщины идут на свою гибель уж без участия «благоприятных» мер.

2

В дальнем море, на каменной скале, стоит гигантская статуя «Свободы». Франция подарила эту статую Америке. На огромном пьедестале поставлена величественная фигура женщины с поднятым над головою электрическим факелом. Высоко, чуть не в облака, подняла эта женщина свой факел; огромный стеклянный фонарь, в котором пламенеет огромный клубок электрического света, далеко разливает ослепительные лучи, пронизывая их широкими размахами туманы, тучи, нависшие над землей, стелясь прямо белою дорогою по бушующим волнам океана и возносясь в самую глубину неба. Много добра приносит статуя путнику, застигнутому бурей. Издалека, за сотни верст, видит он этот свет и правит на него свой пароход, спасает свой товар! Но ведь надо *знать,* как править, и надо знать, зачем и кто и как *это* светит. А вот бедные птицы не знают! Застигнутые бурей, дождем, снегом, они видят этот благодатный свет, думают, что тут жилье, что тут тепло, массами мчатся сюда и... насмерть разбиваются о гигантский фонарь, воздвигнутый во имя свободы и братства. Пятнадцать тысяч птичьих трупов было найдено у подножия этого гигантского фонаря после одной бурной и черной ночи! Бедные птицы!

Вот и наш крестьянский человек, какого бы пола ни был, «обем рукам» хватается не только за кусок «купона», а, как мы видим, за кусок ситчика и даже за горсть орехов. Мужчина-крестьянин уже думает, что ему будет «потеплее» в трактире, за бутылкой пива, чем

в холодной избе, да и крестьянке кажется также потеплее на фабрике и в пивной, и повеселее от орга́на и от ситчика с веселым рисунком. Но ведь чтобы все это понравилось, стало тянуть к себе, чтобы все это стало казаться светом, теплом, прибежищем, как несчастным птицам казался мертвый свет фонаря, нужно, чтобы дома стало холодно, чтобы негде было укрыться от стужи, чтобы было страшно от бесприютности и одиночества.

До какой степени много одних только женщин отрывают «купонные дела» от собственного дома и семьи — мне, между прочим, пришлось мельком видеть в Ростове, во время поездки по Дону. [1] Здесь одно табачное, папиросное дело отрывает от земледельческих хозяйств буквально тысячи молодых женских сил. Кроме пяти тысяч (никак не менее) папиросниц, работающих на ростовских фабриках, их великое множество работает и на табачных плантациях. Кроме того, в том же Ростове целые тысячи женщин и девиц занимаются мойкою шерсти, и все эти тысячи буквально не имеют *права* быть матерями. Они, конечно, не могут сопротивляться обязанностям, налагаемым на них полом; но они *должны* бросать детей, должны отделываться от них во что бы то ни стало — иначе прекратится шерстяное производство, и у нас не будет папирос Асмолова, Кушнарева, крученых, гвардейских и прочих. Не знаю и не имею под руками никаких точных сведений о количестве детей, которых обязаны бросить здешние рабочие женщины, но мне передавал один из гласных ростовской думы, что последняя уплачивает в Новочеркасский воспитательный дом по 80 рублей в год за каждого брошенного ростовскими фабриками ребенка и препровождает таких детей в Новочеркасск. Существуют будто бы агенты, которые следят за детьми, выбрасываемыми фабриками и заводами, разыскивают и увозят таких, обреченных быть брошенными, детей в Новочеркасск.

Если бы было можно сосчитать все количество детей, которые в данную минуту должны оставаться без материнского питания и ухода, то я не сомневаюсь, что цифра вышла бы весьма внушительная. Чтобы судить хоть приблизительно о громадности этой цифры, я на-

---

[1] «Письма с дороги», IX. *(Прим. автора.)*

стоятельно рекомендую читателю обратить внимание на брошюру Н. Михайлова,[1] касающуюся общей характеристики воспитательных домов *только* Петербурга и Москвы. Оказывается, что *только в двух* воспитательных домах, в Петербурге и Москве, ежегодно поступает *двадцать шесть тысяч детей,* притом на Петербург приходится девять тысяч, а на Москву — *семнадцать тысяч* детей! При этом замечается следующее явление: «вследствие центрального положения Москвы и возможности быстро доставлять детей по железным дорогам, в последние годы замечается все больший прилив детей из провинции». Не надо быть пророком, чтобы с точностью определить все провинциальные местности, откуда прибывает такая масса бросовых детишек: это фабричный подмосковный район.

В доказательство того, что женский фабричный труд ставит работницу в необходимость непременно оставлять, покидать своего ребенка, мы можем привести следующий отрывок из прекрасной статьи г-на Сидорова о «Раменской фабрике», одной из самых образцовых во всем подмосковном районе. Фабрика эта делает для рабочих все, что только может сделать лучшего, — и вот в каком положении находятся там женщины:

«В шести корпусах устроены детские так называемые ясли. Цель их та, чтобы, уходя на работу, матери могли оставлять своих маленьких детей под надлежащим присмотром. Раменская фабрика, кажется, *единственная, в которой* до некоторой степени *постарались улучшить положение беременных женщин и матерей,* кормящих грудью детей. Организованы детские следующим образом: в каждой есть несколько нянек, от двух до шести, сообразно количеству приносимых детей; няньки получают по 6 рублей в месяц. Над няньками есть смотрительница, получающая около 15 рублей в месяц. Приносить детей в детскую, устроенную при корпусе, может каждая работница, живущая в корпусе, не испрашивая на это никакого и ни у кого *особого* разрешения. Для прокорма детей отпускается безвозмездно молоко в доста-

---

[1] «Общая характеристика деятельности наших воспитательных домов». Врача Н. Ф. Михайлова. Москва, 1887 г. (Из Трудов второго съезда русских врачей.) *(Прим. автора.)*

точном количестве. В каждую детскую проведены краны с холодной и горячей водой. Детские снабжены в надлежащем количестве постельным бельем. Но из 211 детей до четырехлетнего возраста приносилось в детские всего 30—35 детей, то есть всего почти четверть только грудных детей, что указывает на некоторое равнодушие со стороны рабочих к устройству детских. Вдумавшись же в их устройство, мы поймем это равнодушие... Первое неудобство матери-работницы отдавать ребенка в детскую то, что там она может держать его только в то время, когда сама занята работой на фабрике. Ясное дело, что няньки для своей свободы все меры принимают к тому, чтобы вверенные их присмотру дети спали: «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», а что же лучше устраняет плач, как не сон? И вот усталая от шестичасовой работы мать приходит домой, а ребенок уже не спит, спать и ей не дает. Возится она с ним, возится все недолгое свободное время, а там опять станки, веретено... а ребенок в это время опять спит, чтобы в следующий промежуток вновь терзать свою усталую мать. Поставьте себя на место этой матери, и вы поймете, что она станет искать исхода другого, кроме детской. Такой исход есть — няньки-девочки или дряхлые старушонки: едят они мало, да и готовы служить почти из-за прокорма». В 57% исследованных г-ном Сидоровым семейств именно и прибегли к этому средству; в некоторых семьях есть свои члены семейства, неспособные к другому труду, кроме нянчанья; несет же своих детей в детскую *только нужда безысходная, голь перекатная.* Вторая причина — прежде ее не было — недостаточно строгий присмотр за детскими.

«На Раменской фабрике беременные женщины отпускаются за некоторое время до родов с работы, если они того желают; кормящие же грудью детей по два раза в смену отпускаются для кормления детей. В недавнем прошлом бабушки-повитухи немало изувечили детей и замучили рожениц; но несколько лет (5) на фабрике устроен родильный приют, куда могут приходить все нуждающиеся в нем. Акушерка получает 30 рублей в месяц, труд у нее громаден: в прошлом году, например, было в приюте 308 рождений! Помещение родильного приюта крайне мизерно — две маленькие комнаты и кухня составляют

и помещение приюта и квартиру акушерки. При такой громадной рождаемости, совершающейся в приюте, на каковую указывает вышепоказанная цифра, ясно, что роженица должна находиться в крайне неудобном положении как во время родов, так в особенности должна вести себя не так, как следует, тотчас же после родов. *Имена рожениц остаются в секрете,* или принимаются во всяком случае довольно энергичные меры сохранять их в секрете. Вследствие такого порядка, в родильный приют привлекаются в значительном количестве женщины, рождающие незаконных детей. Этим средством обеспечивается большинство несчастных женщин, принужденных, скрывая свои физиологические отправления, обращаться с своими родами где-нибудь в закоулке, к какой-либо повитухе. Незаконнорожденные дети в Троице-Раменском приходе не зарегистрировываются, ибо близость Москвы дает возможность *легко сбывать* своих детей в Воспитательный дом. Поэтому, к сожалению, мы, рассматривая метрические данные Раменского прихода, совершенно не имеем этих цифр».

Этот «легкий сбыт» детей в Москву производится самым бесхитростным образом. Недавно в «Русских ведомостях» было напечатано о проезде по железной дороге бабы, которая везла в Москву в двух плетеных корзинках целые кучи «секретных» ребятишек, которые пищали и кричали в этих корзинках как цыплята, отправляемые курятниками в Охотный ряд. Нельзя останавливать «производства»! Да и конкуренции, следовательно, нельзя задерживать! Прямо в корзину, в Москву, в общую ссыпку детей.

Я однажды сам ехал со старухой-крестьянкой, которая везла в мешке под скамейкой в вагоне третьего класса целую кучу мертвых детей. Она ехала к доктору просить свидетельство на погребение. В то лето свирепствовала какая-то эпидемия, и по обыкновению стояла рабочая пора. Бабы заняты были на работе, и им самим нельзя было везти взятых ими и умерших питомцев. Вот они и снарядили старуху, заплатив ей за хлопоты 30 копеек, а она, чтобы начальство дороги не протестовало против ее товара, свалила мертвых детей в мешок, засунула его под лавку и поехала. Вот эта (между прочим) невозможность тратить много денег на перевозку даже по желез-

ной дороге служит также доказательством того, что перевозка детей в столичные воспитательные дома производится из таких пунктов, которые недалеко отстоят от столицы. Привезти ребенка, например, из какой-нибудь деревни Тульской губернии, то есть верст за сто от Москвы, это значит истратить на него столько денег, что на них можно его прокормить дома. И, следовательно, везут только из ближайших и притом фабричных мест. В пользу этого соображения говорит еще и следующее обстоятельство.

В брошюре г-на Н. Михайлова на стр. 4 сказано, что в настоящее время новыми правилами в воспитательных домах дозволяется *самим матерям* вскармливать своих детей *и на дому* до трех лет, с производством такой платы: в первый год 108 рублей, во второй — 72 рубля и в третий — 36 рублей. Как видите, мера чрезвычайно гуманная; но в отчете о количестве детей, взятых собственными их матерями, не показано никакой цифры, а это было бы непременно, если бы матери, отдающие детей в воспитательный дом, *могли* бы, имели бы *право* быть матерями. В том-то и дело, что они бросают детей потому, что им нельзя *«отойтить»* от дела, от станка, от папиросы, что им *нельзя* заниматься ребенком ни дома, ни в воспитательном доме. Этого не дозволит работнице папироса, ситец — словом, товар! Не будь папиросы, будь просто голая бедность — и тогда бы она непременно кормила ребенка. Принимаются же в воспитательные дома дети, и даже законные, таких родителей, которые по бедности не могут кормить, а потерять не желают. И таких бедных родителей, не облагодетельствованных фабричным станком, оказалось в Петербурге (в 1884 году) 544 человека. Очевидно, такие родители имеют надежду когда-нибудь сами продолжать воспитание своих детей. Фабричная женщина, которой нельзя «отойтить» от своего дела, не может рассчитывать на какое-либо иное будущее, кроме той же беспрестанной невозможности «отойтить», оторвать рук своих, и, следовательно, ни временно, ни тем менее даже в течение трех лет ей невозможно и думать пользоваться правами матери.

Итак, фабричная женщина, имея право хоть и *секретно* (!) родить, матерью несекретной быть не может! Ей надобно, если она хочет «пить-есть», свалить ребенка

в корзинку с другими такими же секретными детьми и отправить их в Москву. На этом материнские обязанности ее прекращаются. Она получает из воспитательного дома «квитанцию» и опять становится к станку. Этим исчерпывается все ее материнское дело. Но ребенок, уехавший в Москву по железной дороге, не так просто расстается с фабрикой и начинает шибко мстить всем и всему за свое беспомощное положение.

Он — живой человек и желает жить. Его необходимо кормить «хоть из приличия». И вот для двадцати шести тысяч детей требуется и двадцать шесть тысяч *кормилиц,* точно так же как и на фабрике требовались вместо родных матерей нанятые няньки. Таким образом, для этих брошенных детей надо, чтобы еще и другие двадцать шесть тысяч матерей тоже бросили бы своих собственных двадцать шесть тысяч детей и оставили их также без материнского молока. Но такого огромного количества кормилиц никогда воспитательные дома двух больших городов, Петербурга и Москвы, не имели. В 1882 году, 3 апреля, говорит г-н Михайлов, в московском воспитательном доме недоставало 695 кормилиц, и в среднем выводе было на каждую кормилицу по два ребенка, а у 262 — по три ребенка; круглый год недоставало 192 кормилиц.

1884 год, замечательный неурожаем и *закрытием фабрик*, не привлек, однако, в воспитательный дом кормилиц. «13 апреля было 1395 детей, а кормилиц только 580. Медицинский отчет за это время говорит: «дети хронически голодают», значительная часть кормилиц должна была кормить по трое детей».

Кстати, обратите внимание на этот факт «закрытия фабрик», который, как видите, *убавил* приток кормилиц в воспитательный дом. «Бабье чутье» тех бедных крестьянских женщин, которых гнала бы в кормилицы нужда, подсказало им, что теперь, когда фабрики закрываются, матери волей-неволей, *из совести* будут *сами* кормить своих детей хоть и впроголодь, а секретных будет совсем мало, так как девки будут волей-неволей сидеть дома... «Незачем и идтить в Москву!»

Возвратимся, однако, к кормилицам.

«Ненормальное душевное состояние кормилиц, — говорит г-н Михайлов (стр. 9), — которым нередко прихо-

дится оставлять деревню помимо собственного желания, не может оставаться без влияния на их молоко. Женщина, идущая в воспитательный дом, иногда могла только что потерять своего ребенка и находиться под впечатлением свежего горя. Все эти обстоятельства прямо влияют на здоровье кормилиц и детей, которых они кормят». Кроме истощающего кормилицу душевного гнета, мы видели, что недостаток в них вынуждает начальство воспитательного дома давать иной кормилице по два и даже по три ребенка, то есть истощать ее сверх всяких мер.

Из всего этого выходит следующее: кормилица, идущая в воспитательный дом «из нужды» и, следовательно, материально плохо обеспеченная, дома плохо питавшаяся, да удрученная горем, да вынужденная кормить двух-трех, изнуряется, во-первых, сама, между прочим и вследствие различных искусственных способов развить молоко (селедка, двойные порции пищи и т. д.), и не питает в должной степени ни одного из брошенных детей, находящихся на ее руках. Смертность поэтому в воспитательных домах такая: в Петербурге 31%, в Москве 40%. (Это смертность в воспитательных домах, а не в деревнях.)

Но в то же время и дети кормилиц мрут в деревнях в не меньшем количестве, чем мрут их питомцы в воспитательном доме. «Верейское земство попыталось раз собрать сведения о тех местностях, где принимаются питомцы, относительно смертности как этих последних, так и детей местных жителей». Получились, по словам г-на Михайлова, *поражающие данные.* В приходах, где отсутствуют питомцы, замечается прирост населения, *а где были питомцы,* там не только не оказывается прироста, но даже обнаруживалась значительная убыль населения. Смертность *своих* детей шла прогрессивно с приемом питомцев в семью (стр. 18).

Таким образом, «смерть», «изнурение», «истощение» идут от язвы «купона» во все стороны. 26 тысяч *секретных* матерей, 26 тысяч *брошенных* детей, около той же цифры тысяч матерей, *бросивших* своих детей, и еще такое же количество детей, оставленных матерями для воспитательного дома!

Но это еще не все.

При распространении в фабричном населении проституции и сифилиса, естественно, что в этих десятках тысяч выброшенных им детей немалое количество таких, которые родятся зараженными этой болезнью. И вот от них, этих больных детей, заражаются наемные кормилицы; эти кормилицы, возвращаясь в деревню, заражают собственных детей, и, таким образом, гибельная болезнь широко раздвигает пределы своего владычества в народной среде.

Не все еще и это!

Бедность, которая гонит крестьянку-мать в кормилицы, заставляя ее бросить своего ребенка, чтобы кормить чужого, тоже брошенного, в конце концов надоумила ее извлекать из этих детских смертей и несчастий по крайней мере материальную выгоду. Плату кормилицы-воспитательницы получают за детей от одного до трех рублей в месяц, сообразно возрасту ребенка. До первого года платят 3 рубля, затем плата постепенно уменьшается. Многим кормилицам, с более меркантильным воззрением на дело, конечно, невыгодно иметь ребенка за пониженную плату, поэтому они стараются сбыть подросшего, то есть *рублевого* ребенка и получить взамен его помоложе, то есть *трехрублевого*. То есть сбывают подросшего уже ребенка в такие семьи, бедность которых рада и рублю, а сами берут себе новых питомцев. Таким образом, кроме смерти, сифилиса — пришло с брошенным ребенком в деревню и бесчеловечное барышничество людьми, разврат, которому нет имени.

Наконец, не дремлет в этом царстве смерти и деревенский столп — кулак. И он прочно и твердо держит в этом деле свое кулацкое барышническое знамя.

«При выдаче платы кормилицам существует то неудобство, что они должны *сами* являться в воспитательный дом за получением. Исключения, когда кормилица может получить плату на месте, — весьма редки. Где же бедной женщине, имеющей кучу своих детей и взявшей питомца, пускаться в Петербург или Москву, которые иногда отстоят от деревни, где она живет, на 100 и более верст?» Вот тут-то на помощь бедной женщине и является кулак. «Так как выдаваемые кормилицам на питомцев билеты, по которым они могут получать деньги, представляют известную ценность, то эти билеты и сделались

предметом наживы местных ловких людей, которые, во-первых, получают деньги за кормилиц по сотням билетов, взимая за это хорошие проценты, и, во-вторых, принимают эти билеты в заклад». «Мы знаем, — говорит г-н Михайлов, — один город в Московской губернии, где все почтенное купечество и «уважаемые» кабатчики широко промышляют питомническими билетами, принимая их в залог по 10 копеек за каждый месяц и отпуская под них товар. Не редкость встретить в одних руках таких цапких людей по 300 и по 500 билетов».

Итак, вот какие вещи творят разные «ситчики» и «папироски» с женщиной и вокруг нее, раз поставив ее в невозможность просто быть хозяйкой своего дома. Но все, что здесь сказано на основании брошюры г-на Михайлова, положительно *капля* в море тех ужасов, о которых эта брошюра повествует и на размышление о которых наводит вас. Обильный материал, собранный г-ном Михайловым, захватывает это темное дело нашего строя жизни во всех отношениях, и вы, прочитав его брошюру, будете удивлены, узнав, что все рассказываемое им не только еще *не все*, но что он, «при краткости» срока на рефераты, *не мог нарисовать картину во всей полноте*. Со временем автор обещает сделать это, то есть представить темное дело во всех подробностях. Но для нас, простых читателей, должно быть вполне довольно и того, что и теперь нам мог сообщить г-н Михайлов, чтобы хоть на мгновение задуматься над несомненно видимым нами злом и просто по-человечески опечалиться теми печалями, которые сейчас прошли перед нашими глазами.

Зло это — дело «рук человеческих», но неужели те же руки человеческие не могут быть направлены и на его прекращение?

3

А попытки к этому иногда уже начинают встречаться и в наше трудное время. Около двух лет среди газетных объявлений стала появляться публикация о «саратовской сарпинке». Вот об этой-то сарпинке мне и пришлось услышать нынешним летом, во время поездки по Волге, следующие сведения, которые сообщил мне один из саратовских мануфактурных торговцев.

Немецкие колонисты, «дом» и хозяйство которых устроены, как известно, несравненно устойчивее и прочнее, чем у наших крестьян, и которые вследствие этого, спокойно занимаясь своим хозяйством, не ощущают кругом себя того холода и стужи одиночества, какое ощущает наш расстроенный в хозяйстве мужик, — не пошли на призыв новоявленного купона, не улетели на этот мертвый свет из своих теплых и уютных домов и не отдали своих жен и дочерей на съедение этому владыке нашего века.

Нимало, однако, не брезгая деньгами, которые сулил начавший развиваться фабричный труд, они стали брать фабричную работу на дом, и вместо фабричных станков образовались станки домашние, за которыми и работают колонистские девушки и женщины в свободное от других домашних занятий время. Продукт этих трудов, по словам мануфактурных торговцев, и по качеству и по цене сразу победит не только такой же продукт, производимый московскими фабриками, но и продукт заграничного производства. Саратовская сарпинка оказалась и лучше, и прочнее, и дешевле как заграничной, так и московской. Когда я разговаривал об этом с торговцем мануфактурными товарами, рассказывавшим мне этот новый опыт производства, он, простой человек, может быть никогда не думавший о том, как делается этот ситец и сарпинка, и умевший только торговать им, — сам, очевидно, был удивлен этим блестящим опытом и сам завел речь о том, какая бездна мерзости и неправды, неразлучной с производством фабричным, избегнута этим домашним способом производства. Не только о дешевизне и о прочности говорил он, а о том — и это гораздо больше, чем о дешевизне, — как это все хорошо, справедливо вышло; вышел дешевый товар, и не оказалось ни тени фабричного распутства и греха!

Не человек ушел к станку из своего дома, а станок пришел к нему в дом.

А разве в нашей крестьянской семье есть хоть малейший признак нежелания осложнить домашний труд присоединением к нему новых родов труда? Вся семья, вся духовная жизнь семьи держится силами трудовой жизни, и ничего, кроме удовольствия иметь заработок, могущий дать возможность облегчить тяжеловесные, первобытные

приемы современной крестьянской трудовой жизни, не принесет этому дому никакой станок и никакая машина, добром вошедшая в крестьянский дом. Крестьянская семья *любит работу* и даже самые трудные, тяжкие дела умеет облегчать песнью. [1]

IV. «НОЛЬ — ЦЕЛЫХ!»

1

Я надеюсь, что читатель обратит внимание на некоторые странности, допущенные мною в заголовке этой заметки: совершенно точное определение мнимой величины «ноль целых» вовсе, повидимому, не нуждается в том разъединении двух определяющих слов, какое почему-то допущено мною; это первая странность, а вторая — это знак восклицания, повидимому поставленный также совсем ни к селу, ни к городу.

---

[1] В числе песен, собранных С. М. Пономаревым в Приуралье, напечатанных в 11 и 12 №№ «Северного вестника» 1887 года, есть одна, как нельзя лучше выясняющая взгляд народа, между прочим, и на женский *фабричный труд.* В песне рассказывается о бегстве казаков с Дона на Дунай-реку вследствие того, что на Дону получились такие приказания, которых не могла вынести казацкая душа.

Во кругу-то стоит, вот, раздушечка,
    Вор-Игнашечка.
Он стоит-то улыбается,
Во руках держит указики,
Указики скорописные,
    Необлыжные:
Как старых казаков —
    Казнить — вешати!
Молодых ребят —
    Во солдаты брать!
Молодых их жен —
    На фабричный двор!
Малых детушек —
    Под забор бросать!

«Фабричный двор», как видите, то же, что для молодых ребят солдатчина; то же, что для стариков *казнь*... И как верно намечен неизбежный результат фабрики — необходимость под забор бросать детей!

Если только читатель действительно обратит внимание на эти странности в заголовке, то я надеюсь, что он, уже без всякой с моей стороны помощи, выполнит все то, что я хитроумно задумал, обставив заголовок такими хитросплетениями и загадочными осложнениями. Волей-неволей всматриваясь в эти хитросплетения, читатель, я надеюсь, призадумается, во-первых, над необычайной трудностью предстоящего мне дела — оживить, то есть в живом человеческом образе представить такую мнимую величину, как «ноль», да и не простой ординарный нулишко, ничтожество, а нечто такое, что претендует быть «целым», — это раз; а во-вторых, призадумавшись над моим трудным положением, и сам попытается подумать и определить, что́ бы это такое могло в живой жизни соответствовать этой таинственной математической величине?

Неужели, подумает читатель, эта мнимая величина может быть выражена в человеческом образе? Ведь если *ноль*, так, стало быть, на том самом месте, где он стоит, ровно ничего не может находиться; ноль — это пустопорожнее место, знак для указания, что там, где он находится, нет ничего, ни синь-пороха? Однако вот этот-то пустопорожний знак осмеливается утверждать, что он, это «ничто», стоит на месте целого.

Спрашивается, какое же такое может быть это целое, если оно допускает вместо себя представительство «нуля», который опять-таки ровно ничего не означает и в то же время решительно не покоряется вашим обличениям его в ничтожестве, не хочет признать себя просто нулем, а утверждает, что он какой-то особенный ноль.

Вот, вследствие такого затруднительного, даже прискорбного положения, в которое становится исследователь ни с чем не сообразной комбинации «нуля» и «целого», я и поставил в заголовке восклицательный знак: извольте-ко в самом деле поломать голову над разысканием какого-то человеческого существа, которое бы и существова́ло и не существовало одновременно?

Заручившись помощью восклицательного знака, вызывающего в читателе прискорбное, близкое к состраданию чувство, я без всякой утайки могу сознаться, что положение мое было в высшей степени нелепое. Коренная ошибка

моя состояла в том, что я принялся искать живых нулей в народной среде. Где, как не в той среде, думалось мне, могут быть человеческие существования, определяемые пустопорожним знаком нуля, как не в этой среде наимельчайших десятичных дробей? Разве не здесь на каждом шагу попадаются фигуры, существование которых положительно непостижимо? И я стал самым пристальным образом всматриваться во всякую деревенскую нищету, голытьбу, местную и прохожую, и при всей призрачности существования их, повидимому чрезвычайно близком к несуществованию, в конце концов все они не могли быть выделены из области дробей, хотя бы и в высшей степени микроскопических. И ноль, таким образом, оставался для меня тайной.

Однажды я напал на нечто, казалось мне, вполне отвечающее моей многотрудной задаче. На платформе нашей станции в лютый мороз, на железной, прокаленной холодом скамейке, заприметил я одного человека. Человечек этот, крестьянского звания, был весь какой-то воздушный: он был маленький и тощий до последней степени; худенькое лицо, маленькие бесцветные глаза, маленькая, едва приметная бородка, такая маленькая, что лютый мороз, при всех своих усилиях, мог прицепить к ней самую ничтожную сосульку; тощие, худые, обмотанные тряпками и веревками ноги, самые нищенские лапти и коротенький старый полушубок с огромным воротом (нехватило овчины), открывавшим всю голую шею и даже почти плечи, словом, почти декольте, и, наконец, картузишко — все это было так тоще, воздушно, тонко и притом во всех направлениях проникнуто холодом и лютым морозом.

Картузишко, приплюснутый на лбу, топорщился на затылке каким-то букетом рваного сукна, точно задорный петушиный гребень; очевидно, какой-нибудь добрый человек, желая попробовать новое ружье, сказал воздушному существу:

— Ну-ко, Микитка, швырни шапку! Дай я попробую... Дам папироску!

Микитка швырнул, весело засмеялся, весело надел разбитую шапку и, получив папироску, весело пошел мерзнуть на лютый мороз. Да, было в нем, в этом

воздушном, тощем, маленьком, как воробей, существе, что-то воробьино-веселое...

Заприметил я его воробьиную веселость тогда, когда он хотел своими замерзлыми руками сделать себе цыгарку. Он достал газетную бумагу и, конусообразно свернув ее, держал в руке, приготовляясь наполнить табаком; но другая рука, которая искала в кармане табаку, находилась, должно быть, в таком комическом положении, что и воздушный человек не мог не улыбнуться. Он шумел замерзлой рукой в замерзлом кармане весьма энергично, выпихивал этот карман из-под полы наружу, хотел опрокинуть на руку все в нем содержимое, однако в конце концов ничего не добыл в этом кармане, но все-таки показал вид, что делает цыгарку, и потряс пустой горстью над пустой бумагой. Все это было так смешно, что и сам он не мог не улыбнуться.

— У тебя, — сказал я, — видно, табаку-то совсем нет?

Воздушный человечек поглядел на меня, весело улыбнулся и воробьиным голосом проговорил:

— И даже нисколько нету!..

Что-то беззаботно птичье, воробьиное, и эта худоба, и легкость всего тела, легкость взгляда, улыбка — все это заинтересовало меня с точки зрения поисков за мнимыми величинами.

«Совсем воздушный!..» — подумал я, и мне пришло в голову, что уж не это ли ноль-то целых? Человек живой, а производит впечатление чего-то почти неосязаемого. Необходимо было поближе подойти к нему, и я спросил: кто он? откуда?

Оказалось — идет из острога, куда попал «по ошибке». Служил он у купца при лавке, в чернорабочих мужиках; однажды сын купца послал его куда-то и во время его отсутствия сломал кассу и утащил деньги. Когда воздушный мужик воротился, то застал кассу разломанной и остолбенел от ужаса, а в это время вошел хозяин. Нетрудно было понять, в чем дело и кто вор; но отец, жалеючи сына, повел дело «для виду» против воздушного мужика, чтобы люди не болтали пустого про его родное детище (тоже ведь любишь!), и воздушный человек для «проформы» просидел в остроге три месяца.

— Он, купец-то, знает! — сказал весело воздушный человек. — Это он так! Какой я там вор!

Веселость, слышавшаяся в этих словах, напоминала действительно веселость птицы, находящей возможность чирикать и порхать по веткам обледенелого дерева, лишь бы играло на небе солнце. И чем дальше шел наш разговор, тем явственнее обнаруживалось птичье существование моего собеседника.

Когда я спросил его — куда он теперь идет и зачем? — то воздушное существо отвечало:

— А и сам не знаю!.. Главное — капиталу нет нисколько! да и паспорта нету, подати требуют.

Слова о податях являлись какою-то неожиданностью в общем впечатлении воздушного человека; капиталу у него нет, паспорта нет, куда идет — неизвестно, нет у него ни табаку, ни одёжи, ни шапки — и вдруг какие-то подати!

— За что же ты платишь-то? — спросил я, недоумевая.

— За две души платим!

— Один?

— Вот как есть!

— Стало быть, у тебя земля есть?

Воздушный человек подумал и весело прочирикал по-птичьи:

— Не! Мы платим *с пустá!*

Разговор о податях, готовый было разрушить мое впечатление о воздушности собеседника, благодаря последней фразе «с пустá», вновь прервал всякую связь между ним и действительностью; он опять оказался существом вполне воздушным, что и поспешил подтвердить следующими веселыми словами:

— Нам с пустá платить — самое любезное дело!.. Ежели бы платить не с пустá, так куда бы хуже было... А с пустá-то, слава тебе господи!

Все это он превесело прочирикал по-воробьиному, и если бы в самом деле был воробей, то попрыгал бы и попорхал по веткам обмерзлого дерева; не будучи, однако, воробьем, он выразил свои воробьиные желания развеселившимися глазами и скривившейся от улыбки бороденкой.

— С пуста платить лучше, чем не с пуста? — чувствуя, что я вместе с своим собеседником, после его последних слов, как бы поднялся от земли к небу и нахожусь в воздушном пространстве, — спросил я его с удивлением и с удивлением же услышал еще более веселые слова:

— Бесподобно хорошо *с пуста́-то* платить!..

— Постой! — сказал я, чувствуя как бы головокружение от высоты подъема над земной поверхностью, — ты говоришь, с пуста платить лучше? То есть платить, не получая земли?

— Это самое!

— Почему же так? Ведь землю ты мог бы отдать в аренду?

Воздушный человек засиял радостью:

— Да она болото у нас!..

Этот ответ опять как бы приблизил нас к земле.

— Болото!.. Но почему же все-таки тебе выгодно платить и без болота? Чем оно тебе мешает?..

— Да не дай бог к нему касаться, к болоту-то!

— Ты и не касайся!

— Не касался бы, так оно касается! Возьми-ко я болото — ан уж я общественник стал! С меня уж и на старосту возьмут, и на волость, и по дорожной повинности, и по мостовой, и караул, и — боже мой — чего еще!.. А как я от земли отказался, остается мне моя душа и больше ничего!.. Отдал за две порции — и знать ничего не знаю!..

И опять мы оба очутились в воздушном пространстве. Теперь уж и я видел совершенно ясно, что платить за пустое пространство и даже в двойном количестве — вещь чрезвычайно приятная.

Но потребность возвратиться на землю заставила меня сделать моему собеседнику еще один вопрос:

— А все-таки куда же ты денешься?

Лицо веселого воробья призадумалось. Подумал он и сказал:

— Боровицкие мужики звали в Питер... в балет служить...

— Куда?

— В театр... По балетной части... Машины двигать... Например, рассказывали, ежели море, так под

холстиной сидеть надо, руками ее бить, толкать, чтоб волнами оказывало перед публикой... Работа легкая! адрес одного балетчика у меня при себе... Только вот капиталу нет нисколько!..

Итак, у воздушного существа оказалась возможность карьеры. При помощи начальника станции можно было помочь ему уехать в Петербург с товарным поездом. Но уже одно то, что у этого человека, несмотря на его полную воздушность и отчужденность от всего земного, оказалась возможность какой бы то ни было карьеры, положения — он уже не мог мне служить материалом для разрешения моей задачи. Воздушность, отличавшая это существо вообще от всякой связи с человечеством, конечно, весьма близко напоминала о нуле, о чем-то во всех отношениях неосязаемом и неуловимом; но раз это неуловимое может хотя и в мечтаниях приткнуться куда-нибудь и как-нибудь в ряды человеческого общества, оно уже не целое, а непременно дробь и, следовательно, удовлетворяя одной половине определения мнимой величины, «нулю», вовсе не удовлетворяет другой ее половине и, следовательно, не может быть полезным в моих изысканиях.

И долго я так бился с мучившей меня задачей без всякого успеха. Какие бы воздушные, почти мнимые существования ни встречались мне в деревенской жизни, во всяком случае они оказывались дробями, то есть величинами совершенно определенными. И я решительно не знаю, каким бы образом мог я выбраться из моего затруднительного положения, если бы одно совершенно случайное обстоятельство не выручило меня из беды.

2

Неожиданное обстоятельство это заключалось в том, что я, деревенский обыватель, глаз которого привык видеть только мужика, бабу, деревенскую скотину, соломенные крыши, рваные полушубки, ухо которого привыкло слышать только речи, вращающиеся около слов «никаких способов», и мысль которого привыкла руководствоваться в понимании окружающего единственно упованием на бога, — я, захолустный человек, вдруг, по щучьему веле-

нию, очутился в один скучный зимний вечер в самом высшем обществе, в обществе самых благоухающих человеко-цветов, совершенно не-деревенского строя жизни, там, где «венец творения» имеет полную возможность чувствовать себя действительно венцом, последним словом культуры, любимым ее детищем, холеным и изобильно питаемым во всех отношениях. Словом, из одного мира — нужды, податей, навоза и соломы — я перенесся в мир довольства, богатства, шелка, блеска и всякого рода радости.

Сделалось это, повторяю, совершенно случайно. Мне давно советовали прочитать наделавший шуму «Роман графини», напечатанный в «Неделе» (№ 11 за 1887 г.); говорили, что вообще — «необыкновенно». Пьяный аптекарь в уездном клубе весь вечер неумолчно вопиял: «Превосходно! дьявольски великолепно!» И вообще вся полупьяная уездная братия размякла, разнежилась и, пожалуй, даже раскисла от каких-то неведомых ей ощущений, познакомившись с содержанием этого любопытного произведения. Словом, возбуждение умов по случаю появления в печати этого романа было так велико, что я не раз хотел было приняться за его чтение. Но деревенский недосуг, «то то, то другое», эти невидимые, неслышимые, неосязаемые истребители наших дней, месяцев, годов, десятков лет, а в конце концов и всей нашей жизни — долго не допускали меня до выполнения моего намерения. Наконец тоска в поисках за фактами для объяснения не поддающейся никакому объяснению мнимой величины до того доконала меня, что я, единственно из прямого желания забыть свои бесплодные мысли, схватился за желтенькую книжку и с первых же строк почувствовал, что я уже не в деревне, а как бы на ковре-самолете очутился в неведомой стране.

Положим, что страна эта показалась неведомой мне, быть может, по причине моей деревенской объюроделости — пусть так; но я должен сказать, что кроме объюроделости, ставящей захолустного человека в необходимость разевать рот при виде иной раз самых ничтожных «диковинок», которыми изобилует «высший свет»,— кроме этой совершенно деревенской причины моего восхищения тем, что я прочитал, была еще и другая, самая для меня важная причина — именно статистическая. Читая этот ро-

ман, я совершенно ясно видел, что я нахожусь в обществе подлинно уже «целых чисел», людей, живущих на свете «полною» жизнью, берущих из нее все, что им требуется во всех отношениях, и моему статистическому глазу нельзя было не засиять бриллиантом от радости — подвести счет всему, что «целому» человеку нужно.

Графиня, героиня романа, показалась мне именно замечательнейшим образчиком всестороннего проявления и удовлетворения желаний, стремлений и обязанностей полного, целого человека ее пола в теперешних условиях жизни; немудрено, что я, насмотревшись в жизни на разные человеко-дроби, на всевозможные искалечения человеческого существа, естественно, был рад, читая роман, смотреть на этот широко и разнообразно живущий образ человеческий и... конечно, в конце концов «подсчитать» всю эту «всесторонность», из проявлений которой слагается прекрасный образ человеческого «целого».

Не знаю, можно ли при настоящих условиях жизни найти другой подобный образчик цельного и полного существования, как тот, который выставлен в романе графини. «Любящий меня муж, — пишет она о себе (стр. 65), — близкие родные, некоторые друзья такую мне жизнь устроили, что я сомневаюсь, есть ли на свете еще другая женщина счастливее меня в этом отношении». И точно, господь наградил героиню романа всем, что только было в его божеской власти. «Я румяна и бела» (стр. 59), «молода и хороша...» «Я знаю, что в свете для многих, как женщин, так и мужчин, я — то, что в басне виноград для лисицы» (стр. 64). Довольно, впрочем, и этих двух примеров, чтобы видеть, что, точно, господь наградил ее. И во всем романе, там и сям, неумышленно, сами собой сказываются признания в собственных достоинствах, из которых видно, что они не выдуманы, а точно есть, в подлинном виде. «Моя небольшая, живая фигурка, да еще в моей чудесной комнатке в китайском вкусе, положительно ничего страшного не имеет...» (25). Чего уж страшного? Дай бог всякому! Видно, что человек, который так говорит сам о себе, счастлив уже просто потому, что он так счастливо создан. Но этим счастьем «от бога» счастье героини не исчерпывается. Есть у ней,

также от бога, муж. «Он очень, очень высок, глаза черные, волосы, усы и борода черные с проседью, вообще его представительная фигура невольно бросается в глаза; к тому же он замечательный лингвист, владеет всеми мертвыми и живыми языками» (47). Как видите, и муж тоже такой, что дай бог всякому! «Ура! — пишет счастливая графиня, — мой муж приехал! Если бы вы видели, как этот высокий, высокий, полный, полный мужчина подхватил меня на руки, как перышко, а сам весь дрожит, слезы на глазах. Когда приезжает, верите ли, не наглядится на меня, на детей. Уверяет, что красивее, изящнее меня женщины не знает, что дети — не дети, а амуры» (27). То есть просто поглядеть-то на них на двоих с детьми — душа радуется! Нет такой прихоти, которой бы этот бесподобный муж не исполнил. Любила она, графиня, чтобы у ней под подушкой коробка конфет лежала постоянно, а тетки-старухи постоянно таскали эту коробку из-под подушки, говорят: «зубы портятся». Пожаловалась она мужу, и теперь у нее под подушкой постоянно лежит не одна, а две коробки. «Муж велел, и никакие фрейлины в мире (старухи-тетки) не смеют их брать!» (28). За таким мужем жить — что за каменной стеной, это всякий скажет. И живет графиня с мужем — лучше не надо. «Мы с ним примерные супруги: ссор у нас не бывает, он меня любит, балует, я его слушаюсь, все обстоит благополучно» (11). Обыкновенно день проходит таким образом:

«В 10 часов встаю, вожусь с детьми до 12, в 12 — «luncheon», за которым обязательно ничего не ем. До 3-х — *всевозможные* занятия; в 3 — «luncheon» настоящий. После него — обязательная прогулка с детьми и их «governess» в коляске или карете; иногда я их отвожу и продолжаю сама скитаться или возвращаюсь домой с ними и принимаю посещения; есть некоторые очень интересные, но другие — чистое наказание. В 6 часов — обед с церемониалом; мои тетки, или, вернее, церберы в юбке, выползают на свет божий; обыкновенно еще заходят двое-трое; муж часто отсутствует — в клубе пропадает; детей тоже нет, они обедают наверху в «nursery-room». *После обеда такое разнообразие во времяпрепровождении, что мне и не перечислить всего.* Скоро балы начнутся; теперь их пока нет. Езжу часто в театры, концерты, на симфонические и квартетные вечера, на званые вечера, и у себя принимаю. Тихие вечера мне редко выпадают, а только именно таким доктор приписывает благотворное влияние на мою болезнь... Но где же, где мне раздобыть этих тихих дней и тихих вечеров? Благодаря моей

живости я успела стать вне стеснительной рамки условий моей жизни и опять-таки только сравнительно, да, наконец, мне нравится волноваться. Я усердно занимаюсь делами благотворительности, пою, кормлю, одеваю массу старух».

Это скромное перечисление всего, что требует от человека ординарный, будничный день (балы еще не начинались), уже одно оно заставляет вас подумать, какая масса впечатлений нужна более или менее нормальному человеку, чтобы он мог, не стесняя себя, применить к жизни свою живую силу: тут и хлопоты с детьми, *всевозможные* занятия от 12 до 3-х, и *всевозможные* скитания тоже не без причины и надобности от 3 до 6, а после 6-ти такое разнообразие времяпрепровождения, что и «не перечислить». Остается еще время и желание употребить его на заботу о чужом деле благотворительности. Но этот исполненный, как видите, всевозможными делами день — только будничный. Всего этого мало для нормального человека.

«Встречу я новый год, повидимому, весело. Восемь троек повезут всю нашу компанию в Озерки; там зал уже удержан, и будут цыгане и танцы. Если не будет очень холодно, всю дорогу буду петь: ужасно люблю кататься на тройках и в санках и петь! NN прекрасно вторит, найдутся еще голоса, нам и цыган не нужно. 25 декабря была у меня елка и танцы, разошлись в 7 часов утра — и вот таким образом каждый день» (74).

Каждый божий день этаким-то вот родом — до седьмого часу! Стало быть, уж много дано от бога! Да и это еще не все; иной раз и не то надумают:

«Я пишу в саду, в так называемом «Охотничьем домике». Дождик льет, как из ведра, и знаете ли, куда мы сейчас, всей компанией человек в двенадцать, отправляемся? Раков ловить сетками. У меня есть преинтересное короткое платье, высокие сапожки, настоящие мужские сапоги на мою ногу» (24).

И ведь в проливной дождик — и то ничего! А раз был такой случай:

«При приближении поезда X., желая удержать мою Бетси, поднял руку; лошадь, испугавшись взмаха руки и свистка машины, вдруг поднялась на дыбы и выбила меня из седла; я упала всей тяжестью на левую сторону. X., говорят, стреляться хотел (30)... Муж уверяет, что X. нарочно причинил мне мою болезнь, чтобы

*

я обратила на него внимание. Он состоит безнадежным поклонником третью зиму (38). Меня доктора хвалят, говорят — терпеливая хорошенькая больная» (29).

Полежала немного, и опять все пошло как должно.

«Когда я пою, то вся пою от души, я сама себя слушаю, точно не я пою, а кто-то другой, и глубина и страстность этого, не моего, голоса удивляют меня. Я не люблю этих минут; я чувствую в себе тогда силу, с которой не умею справляться» (36).

Точно, силы много; и то, что мы уже перечислили по этой части, далеко еще не исчерпывает размеров, в которых она проявляется. «Больше всего все-таки люблю чтение» (12), и благодаря этому она узнала «томик» стихов одного поэта и написала ему:

«Я люблю моего мужа и постараюсь всегда быть достойною его любви и веры в меня; но в моем чувстве к вам так много хорошего, искреннего, что никто не смеет и не должен ничего дурного в нем и подозревать. Я так и объявила мужу, и, как всегда, он нашел, что я права» (60).

И действительно, любовь к поэту и к тому, что и о чем он писал, — самая душевная и возвышенная: героиня романа видит в нем «чистое сердце», которое вылилось в покорные звуки любви и утешения «усталому брату».

«Во многих отношениях, — пишет она (54), — судьба благосклоннее ко мне, чем к этим бедным (усталым) людям. Но в часы сомнений, сердечных гроз, душевной борьбы могу ли я причислять себя к тем «братьям», которым посвящены ваши прочувствованные строки, и стать в число тех, для которых льется ваша песнь?»

Вот и еще новая сторона духовной деятельности человека, и деятельность эта сказывается в размерах, говорящих о не маленькой силе души. «Сердечные грозы» и «душевная борьба» переживаются не «как-нибудь», а настоящим образом, глубоко и в самом деле трудно. И тут видно, что и по части совести тоже дано от бога немало всего хорошего.

Совесть совестью, страданье страданьем, а и еще все-таки есть «остача», которую надо куда-нибудь девать. И эта остача также пополняется кой-какими почти детскими средствами:

«Вышепоименованные messieurs — X, Z и NN — три моих самых ярых поклонника, все трое замечательно изящные молодые люди. Моей симпатией пользуется больше всех NN. Высокий, стройный брюнет, прелестный мазурист, бонмотист и флейтист, в высшей степени bon enfant, надоедающий мне только тем, что, где бы я ни была, дома ли, у знакомых ли, он неотступно следует за мной по пятам. Я не могу сделать движения, чтобы NN сломя голову не бросился в мою сторону; недавно, задев шпорой столик с разными куклами, он повалил их и все разбил. В наказание я заставила его на четвереньках собрать все осколки и чуть не умерла от смеху, когда этот большой мальчик ползал у моих ног. Z более сдержан; ему раз навсегда принадлежат все первые мои кадрили, где бы я ни танцевала. X я вам описывала, он меня давно знает, давно любит, и я его давно мучаю, впрочем иногда целует мою руку. Для него двери всегда открыты, он балует моих детей, дразнит моих древних теток и двух левреток, прелестно поет, с мужем на «ты». Когда муж уезжает, то X обыкновенно считается нашим factotum'ом: приносит конфет, ноты, новые книги, читает, когда я разрешаю, ваши стихи...» (69).

Еще есть какой-то моряк, «имеющий дерзость меня любить», который привез героине романа в подарок японское опахало из павлиньих перьев, висящее как раз «над моим диванчиком и устроенное так, что оно плавно и тихо веет хоть без конца, если прижать пружину» (26).

Вот под этим-то опахалом, в комнатке, которая называется «фонариком» и действительно чрезвычайно изящна, в комнатке, где играют «большие мальчики» и левретки и где стоят статуэтки, — здесь любимое место героини; здесь так удобно наблюдать в окно шумную жизнь города, читать, писать и заниматься рукоделием. Да, и на это еще находится время и охота. В течение полугода графиня вышила себе русский костюм: «начиная с первой бусинки кокошника и кончая последним шелковым крестиком рубашки и передника из че-чун-чи, — я все вышила сама». И как вышила-то!.. «Если у вас найдется другое полотенце (она подарила поэту полотенце), то бросьте его в море, а мое оставьте» (53), потому что во всяком случае работа превосходная. Золотые руки бог дал!

Однакож всего не перечтешь. «Роман графини» тем и хорош, что в нем фигура героини и ее нравственная личность очерчены до мельчайших подробностей. Читая эти легкие наброски, маленькие записочки, из которых состоит роман, поражаешься той непомерной массой живых

сил человека, которые этому человеку необходимо проявить в жизни и действии, чтобы жизнь эта не была исполнена прорех и пустых мест. Как художественное произведение «Роман графини» тем и привлекателен, что в нем рисуется пред вашим воображением образ человека, живущего полною жизнью, без прорех, пустых мест, и читателю нельзя не любоваться этим художественным образчиком жизни, ничем не стесненной, не притиснутой, не поставленной малейшим образом в какое-нибудь ложное положение и дающей волю духовной деятельности раскрываться и развиваться во всей полноте.

Образчик такой полной, цельной жизни так приковал к себе мое внимание, что я, вместо того чтобы подвести, наконец, итоги и «подсчитать», что именно нужно человеку, желающему чувствовать себя «целым», а не дробью, — вместо этого я, забыв мои статистические обязанности, продолжал по окончании чтения любоваться художественно изображенным обликом и радовался, что автору удалось так удачно выбрать лицо, поставленное в современном строе жизни в наилучшие условия; радовался, видя, что полно живущий человек — большая приманка любить живую жизнь на земле.

Думал, думал я об этом целом человеке, думал, припоминая подробности романа, думал и так вообще о том же деле и скоро почувствовал, что мои мысли, нисколько не прерываясь в своем течении и не сбиваясь с пути, сосредоточиваются на чем-то уже совсем не подходящем к облику героини романа, облику, который как бы даже затуманился какими-то новыми обликами, ни на волос и ни в чем не подходящими к источнику моих мыслей, к роману и его героине, и в то же время вовсе не нарушающими правильности течения мыслей о «целом человеке».

3

— Эх, беда, Ваське-то года не вышли, женить нельзя! А без бабы не совладеть с домом!

Неведомо как и почему вспомнилась и даже послышалась мне довольно-таки давняя жалоба моего деревенского соседа, крестьянина, у которого захворала жена. Крестьянин этот уже пожилой человек, начинавший рас-

кисать и слабнуть; он со своей старухой успел уже выдать замуж трех дочерей, одного сына сдал в солдаты, другой женился и отошел, а теперь на руках стариков остался сын, которому нехватало полутора года, чтобы жениться, две внучки от одной из умерших дочерей да сам старик со старухой.

Жалоба о том, что Ваське не вышли годы, началась тотчас после того, как Аксинья, жена соседа, стала хворать. Прихворнула она в первый раз года четыре тому назад, но ни на минуту не останавливалась в работе. Она постоянно перемогалась, стала жаловаться соседкам на боль то в боку, то в животе, то в спине, но продолжала делать свое дело без малейшего опущения.

Мало-помалу недомоганье стало одолевать Аксинью все сильнее и сильнее, и бывали дни, когда она по полудню не могла встать на ноги. А по мере того, как шло недомоганье Аксиньи, дом моего соседа как-то омрачался; старику приходилось делать иной раз и бабье дело, а молодому парню случалось и белье полоскать на речке: все это становило мужиков в неловкое положение, затрудняло, нарушало порядок жизни; от всего этого было им и неловко и скучно.

Беда моего соседа и его дома заключалась, между прочим, и в том еще, что и сам он, отец семьи, и его сын, да и вообще вся мужская половина семейства — были не из бойких, не быстрых умом и не расторопных людей. Аксинья чувствовала эти свойства своего мужа, перешедшие потом и в детей, с самого первого дня свадьбы; она знала, что муж ей попался не ахти какого достоинства, хотя и был добр, и тих, и не пьющ. Сама имея добрый характер и непрестанно занятый ум, она не позволяла себе срывать зло на мужнину и детскую «нескладность» — и прожила всю жизнь, вплоть до болезни, почти молча, в беспрерывном труде. Теперь же, когда она стала прихварывать, недальний ум и природные нескладности «мужиков» стали сказываться в обиходе жизни всего дома ежеминутно. По мере того, как в Аксинье замирала энергия труда, в отце и в сыне просыпались ничем не препятствуемые свойства нескладности. Оба они стали больше скучать, жалеть Аксинью, чем работать. Старик в унынии целые дни твердил:

— Эх, Васька-то не дорос!.. Как без бабы можно!

Он убивался, охал, а хозяйство понемногу расстраивалось и шло к упадку.

— Иван Андреич! — скажешь, бывало, охающему соседу. — А ведь забор-то ваш валится... Надо бы вам поправить!

— То-то Васька-то не вышел! Как тут одному сладить? Вестимо, валится!

Подойдет к забору, посмотрит на его разрушение собственными глазами; оказывается, забор, точно, еле жив.

— Ишь, — скажет Иван Андреич, — и то! Эво как его разломило!

Возьмется обеими руками за накренившуюся верхушку столба и «попробует» поставить его прямо. Но от этой пробы подгнивший столб только трещит в корню и еще ниже опускается к земле.

— Ишь, вот!

— Теперь он совсем повалился!

— И есть, что совсем. Ах, баба-то захворала! Эко горе, Васька-то не дорос!

На том дело с забором и оканчивается; а если через несколько времени и продолжается, то непременно в том же самом роде:

— Иван Андреич! Ведь твои свиньи стали ко мне шляться! Сам ты посуди — ведь огород!

— Да ведь конечно! Сам знаю! Ишь, как его повалило!..

— Совсем упал ведь! Надо же подпереть-то!

— Как не надо? вестимо, надо подпереть!

Удрученный тоскою, Иван Андреич опять подходит к столбу, бьет в него ногой, как бы желая убедиться в его гнилости, и, выбив его окончательно, — причем разрушаются и обе примыкавшие к столбу части забора, — с великим унынием говорит:

— Н-но! вон как уж! Ах, баба-то у меня хворает!.. Эх, Васька-то!

А Аксинье становилось все хуже и хуже, и она стала лежать, больная и недвижимая, по целым неделям.

Тем временем Васька, похожий на родителя по характеру и по «нескладности», хотя и добрый парень, не видя

в отце ничего побуждающего к энергическому труду, ничего дисциплинирующего и вообще чувствуя, что при данных обстоятельствах пока «ничего не сообразишь», — также поослаб в труде и предпочитал чего-то ожидать, прежде чем действовать. Полюбил он в это время, от нечего делать, ходить к пастуху в гости и вести с ним разговоры о божественном, о святых, мучениках... Любил и сам рассказывать жития.

Иной раз сидит у развалившихся ворот и повествует между маленькими ребятами о разных чудесах.

Идет мимо какой-нибудь хозяйственный, деловой мужик, остановится, послушает и скажет:

— Эко лень-то в тебе, Васька, разыгралась! Некому вас с батькой приструнить, мать-то хворает... Нашел какое дело — разводы разводить языком!..

— Я про божьих угодников...

— Очень просто скажу, не твое это дело! Поди, поставь свечку, положи поклон и иди к своему делу. Ишь вон ворота-то как разломило, а ты на небо лезешь с разговорами? Нет, брат, возьми топор да вбей гвоздь, — лучше будет... Нам, брат, в угодники с тобой не попасть, а это лень тебя обуяла — вот что скажу! Тебе когда года-то выдут?

— Да уж теперь скоро... Осенью войду в совершенные года.

— Женить тебя надо! Она, жена-то, снимет тебя с небеси-то... Авось ворота поправишь.

Ко времени совершеннолетия Василия Аксинья слегла совершенно.

Маленькое тело ее, скорчившееся под грудой всяких тряпок, тихо и недвижимо лежало на деревянной жесткой кровати и только удушливым кашлем, иногда по целому часу непрерывно «колотившим» ее грудь, давало знать о том, что она еще жива. Нетерпенье Васильева отца относительно его женитьбы возрастало с каждым днем, и когда, наконец, настали для Василия «совершенные года», он, положительно как полоумный, стал сватать за своего сына всех девок без разбора. Сватал он так неискусно, так бессмысленно торопил: «поскореича!», так бестолково упрашивал, бросался от одной невесты к другой, что только перепугал всех девок.

Накинулся было он впопыхах на молодую горничную, жившую в моем доме, и, не разобрав того, что она уже носит «дипломат» и «все такое», видя в ней только ее здоровье и способность к работе, пристал к ней неотступно, приходил к ней в день десять раз вместе с сыном, оба стояли без шапок, просили всячески, доказывали, что надо спешить, что мясоед скоро кончится, что затем косьба. Словом, между ними иногда бывали сцены истинно комические: отчаяние со стороны жаждавшего «бабы» отца и в ответ необычайное издевательство и кокетство петербургской горничной.

— Ополоумели они из-за бабы-то! — говорили в народе.

При «нескладности» как отца, так и сына вообще во всех житейских делах едва ли они оба могли бы сделать что-нибудь путное для своего дома. По обыкновению, в дело вмешались «добрые люди» и стали сватать им невест из других, весьма глухих деревень, вследствие чего отец и сын часто должны были на два и на три дня уезжать из дому. Две внучки, по одиннадцатому и двенадцатому году, да какая-нибудь старуха-соседка, взявшаяся покараулить дом, и умирающая Аксинья оставались дома одни. С каждым днем дом этот близился к полному запустению. Скотина шаталась по дворам, голодная и беспризорная, а на дворе был чистый хаос, и для деятельного крестьянина было даже нечто жуткое: при виде всего этого хлама — колес, жердей, телег, полуразвалившихся, кое-как связанных и сколоченных саней, словом, всего хлама, потерявшего вследствие прекращения в доме жизни всякий смысл и значение, — жутко думалось деятельному мужику: о суете сует начинал думать он, о смерти, о тщете жизни, и ему вообще становилось страшновато за ее бессмыслицу и тяготу. «Поскорей бы уйти в жилое место!» — думалось ему, и он спешил уйти... Смертью веяло от всего двора и от дома Ивана Андреева, и скучно было даже смотреть на этот дом.

Наконец пронеслась весть — «нашли!»

Весть эту привезли отец и сын, промчавшиеся по деревне в каком-то неистовом состоянии, погоняя измученную клячу из всех сил. Дело не откладывалось в дальний ящик; в тот же день сладили со священством, а через день состоялась и свадьба.

Привезли молодую красивую девушку, которая не уживалась с злой мачехой.

На наших глазах в разоренный двор, в развалившиеся ворота, на лошади, у которой в тощей гриве виднелся розовый бант, въехала молодая, красивая, также с цветочком в волосах девушка и не спеша вошла по расшатавшемуся крыльцу в разваливавшийся дом.

И в дом вошла жизнь.

Оживание — что будешь делать? — началось смертью Аксиньи.

Бедная, измучившаяся трудовою жизнью старуха если и дышала еще и глядела на белый свет, то только потому, что в ней жила забота о доме, тоска о разрушении хозяйства; эта печаль не давала прекратиться в ней жизни, двигала в ней последние капли крови, сжимала умиравшее сердце.

Но вот вошла в дом молодая сила, и достаточно было старухе «глянуть» на эту молодость, чтобы без малейшего сомнения дать этой молодости и силе дорогу. Как весенним резвым ветром пахнуло в лишенном жизни доме. Пахнуло им и на старуху, сдуло с ее сердца, как сухой листок, печаль и заботу, то есть все, от чего в ней еще сжималось сердце и двигалась кровь, и Аксинья испустила последнее, едва слышное дыхание.

Маленький дощатый гроб, в который ее уложили, легкий, как перо, и нечувствительный для четырех дюжих плеч, — легко и проворно бежал на кладбище, точно так же легко и проворно, как Аксинья, бывало, работала, ходила и все делала при жизни. Как будто и теперь она не хотела понапрасну тратить времени, зная, что оно дорого в хозяйстве. Она точно спешила теперь к своему новому дому, на кладбище, чтобы не мешать новой хозяйке оживлять ее старого пепелища.

Толстый, пышный, румяный пирог, закрытый плотным, как лубок, и расшитым петухами полотенцем (*«ейное»* рукоделие), принесенный мне на второй день свадьбы молодыми, был первым знаком того, что в отжившем доме началась новая жизнь. Молодая женщина — вся живая сила, скромная и могучая — мгновенно преобразила «нескладных» людей. Они были неузнаваемы; даже лицо старика, начавшее походить на тряпку, сияло, налилось и лоснилось, а Василий держал себя с та-

кой усиленной бодростью, точно солдат во фронте. Он также весь сиял, лоснился, но, видимо, почувствовал бесповоротно, что с миром чудес у него все сношения прерваны.

Со второго же дня свадьбы все соседи, все прохожие почувствовали, что в холодном и пустом доме, как в котле, под которым до сих пор не было дров, начинал разгораться горячий огонь. Из всех сил старик с приятелями хлопотал у ворот, приводя их в порядок; стук молотка, топора стал раздаваться поминутно то в том, то в другом углу двора. И отец и сын поминутно сновали по двору, появлялись на крыше развалившегося сарая или у трубы, которая почти развалилась. Не покладаючи рук, приводили они в порядок и трубу, и крышу, и заборы. Меланхолик Василий не имел минуты свободной для мечтаний и летал на кляче то на реку за водой, то в лес за дровами. Куры, которые в период безвременья бродили где попало, — все собрались в одном месте и открыли начало новой жизни непрерывным кудахтаньем. Всякая тварь радовалась теплу, которое исходило из начинавшего теплеть дома. С появлением молодой бабы весь хлам трудовых приспособлений, бесполезно загромождавший двор, получил смысл и значение и стал исполнять свои обязанности. Все оказалось нужным, необходимым, и до того необходимым, что весь дом начал жалеть, что у людей «рук нехватает» на то, чтобы управиться.

И именно «баба» дала смысл всей многосложности труда, составляющего жизнь крестьянского дома. Всем нужно быть сытыми, одетыми, обутыми; нужно ждать детей, нужно потом ходить за ними, одевать, обувать, нянчить, растить, беречь. Словом, вся перспектива жизни человеческой раскрылась вновь перед всеми живущими в доме, и потому именно раскрылась эта перспектива от появления молодой женской силы, что внесенное ею разнообразие, повидимому только «женских дел», — находилось в действительности в неразрывной связи с разнообразием всех дел мужиков и, только сливаясь воедино, давало смысл и содержание жизни целой семьи. Ездить за дровами и топить печь, чтобы было только тепло, — скучно; но ездить за дровами для того, чтобы и тепло

было, и чтобы молоко оттопить ребенку, и чтобы спечь хлеб, чтобы выстирать белье, чтобы вымыть ребенка,— это дело стоющее, и поэтому «беспременно» надо ехать за дровами, хоть даже воровать.

Вот, кажется, собственно на этом-то пункте, то есть на неразрывности женской и мужской трудовой жизни в народной среде, — я и утратил незаметным для меня образом то чрезвычайно радостное ощущение «полноты» существования, которое получилось от чтения «Романа графини». Конечно, полотенце она, графиня, вышьет такое, что все остальные действительно следует выбросить в бездну моря; но у деревенской женщины даже и такая, повидимому, бабья мелочь, как полотенце, все-таки дело не бабье только, а взаимное; даже и в этом пустяке ее муж должен принимать участие — пахать под лен, сеять и т. д. И если представить себе, что нет такого женского или мужского, большого или малого труда в народной среде, который бы не был неразрывно связан взаимным сотрудничеством, то полнота бабьей и мужской жизни во всех отношениях будет, пожалуй, поразностороннее, чем описано в романе.

Ставши на эту точку зрения, я невольно стал припоминать Марфу, молодую жену Василия, во всевозможных и разнообразнейших положениях ее трудовой жизни. Вот она едет на высоком возу сена и даже песню поет («Рябинушку»): это она помогала мужу сушить и сгребать сено, участвовала в мужицком труде; но, с другой стороны, когда она ставит хлебы и когда у нее заняты руки, муж ее должен взять ребенка, играть с ним, сказки ему сказывать, игрушку делать. Да и не в доме только делают они одно общее дело, а и в обществе. Она, Марфа, не вмешается в сходку, не предъявит своего бабьего мнения всенародно, но уж в стороне «от мужиков» непременно стоять будет и будет слушать в оба уха все, что галдят мужики, а почуяв какую-нибудь прикосновенность разрабатываемого вопроса к своему дому, непременно оттащит мужа за рукав и так «внушит» ему, что он не дастся в обиду и не продаст за стакан вина своего голоса в вопросах, касающихся, положим, деревенского бюджета. Да и непосредственно она не чужда связи с общественным делом, неразрывным с делом домашним: она

вот теперь беременна, а ей надобно сегодня ночью идти молотить; неразрывность трудовой жизни сделает то, что пойдет молотить муж, а она исполнит за него обязанность ночного караульщика. Сидеть у ворот и стучать в колотушку ей легче и по силам.

Однако трудовая жизнь ее не исчерпывается одним только трудом рук; есть у нее и духовные интересы и знания. Она вот твердо знает, что когда захворают овцы, то надобно молиться угоднику *Самоову*, и хотя батюшка говорит ей, что такого угодника нет, а есть господь Саваоф, но она, не желая оставить овец без защиты и помощи, все-таки продолжает быть уверенной, что и угодник *Самоов, самый овечий,* настоящий защитник, — должен быть от бога дан непременно. Конечно, это не настоящее знание, да где же ей взять настоящего-то? И детей она сама лечит, и есть у ней на этот счет также собственные свои знания; знает она, когда и как и при какой болезни что́ надобно шептать, и как заговаривать воду, и какую пить траву. И эти знания, разумеется, совсем не настоящие, но и тут она опять не виновата: ни она до знания, ни, тем печальнее, само знание не дошли друг до друга и когда дойдут — неизвестно! А если бы дошли, то, разумеется, Марфа не стала бы шептать пустяков, а стала бы делать настоящее дело.

Мало-помалу достоинства жизни Марфы стали окончательно преобладать над достоинствами жизни графини. И Марфа умеет петь, и она до седьмого часу отлично отплясывала на вечеринках, а рыбу и раков они теперь с мужем ловят каждое лето и притом даже совсем без «сапожек»; умеет и она приготовить, во-первых, «маленький» ленч в четыре часа утра, потом (в рабочую пору) «настоящий» ленч в девять часов, потом обед, потом полдник, потом ужин; умеет и она привлекать сердца «больших мальчиков», но деревенские большие мальчики худа ей не смеют делать, и когда один хотел было, чтобы она «обратила на него внимание», столкнуть ее с дровней, на которых она ехала с бельем к проруби, — то она сделала такой веселый жест, что «большой мальчик» сразу стал на четвереньки и мог проговорить только — «однако!», чем и заставил Марфу хохотать до упаду. Словом, все, что может проявить в жизни богато одаренная натура ге-

роини романа, все проявляет и Марфа, с тою только разницею, что ее полнота жизни неразрывно и во всех подробностях слита, во-первых, с жизнью мужа, а во-вторых, далеко не отделена от жизни общественной, мирской, в которой она участвует своей мыслью и своей заботой.

Это последнее преимущество — неразрывность интересов семьи с «миром», обществом — окончательно помрачило передо мною очарование того самого фонарика, откуда видна вся кипучая (?) жизнь Петербурга и где веет опахало, привезенное моряком, который имеет смелость и т. д.

Но когда я исчерпал все достоинства Марфы, мне стало как-то жалко утраченного впечатления романа. Впечатление было хорошее, а в деревенской глуши, не часто балующей такими прелестями, и подавно. Мне сильно захотелось опять восстановить это впечатление, опять немного полюбоваться изображенным в романе, и я вновь стал его перелистывать. Но увы!.. Теперь мне стали попадаться такие строчки, которые я проглядел под первым впечатлением и не обратил на них никакого внимания. А теперь именно они-то и выступили с особенной ясностью и окончательно истребили во мне все, что я за полчаса еще считал таким прекрасным и поэтическим.

4

Темным облачком затемнилась сначала одна, час тому назад яркая и светлая страница, а за ней другая и третья. На одной мелькнула мне такая прозаическая фраза:

> «Муж мой состоит при одном из министерств и из двенадцати месяцев в году восемь проводит вне дома. Сперва мне эти разлуки стоили горьких слез, теперь я привыкла...»

А на другой и еще прозаичнее:

> «Когда муж приезжает, не наглядится на меня. А пройдет месяц, другой, смотришь — завязываются чемоданы, приготовляются, чистятся ружья, и — прощай! «Нельзя, мое дитя, долг службы!» (27).

А третья страница так и совсем меня доконала:

«Отъезд мужа может расстроить мои намерения, а он скоро может уехать. *Жалею очень, что мы не миллионеры*; муж бы тогда не служил и не оставлял бы меня» (42).

Прочитал я эти строчки — и сразу все великолепное видение рассыпалось прахом!

Как старик в сказке о рыбаке и рыбке, когда золотая рыбка ушла в море, ничего старику не сказавши, «лишь хвостом по воде плеснула», — так и я очутился теперь в недоумении пред какой-то безотрадной пустотой. Передо мной, как и перед стариком, исчезли все сказочные чудеса, очутилась старая землянка, на пороге землянки не царица, а старуха,

А перед ней разбитое корыто!

Тайна сказочного великолепия стала совершенно ясна. Была золотая рыбка — и великолепие было, а ушла рыбка в «глубокое море» — и осталось от всего только землянка, да старуха, да корыто!

Будет миллион или, проще, купон — будет и ленч; сначала малый, потом настоящий, потом «всевозможные» занятия (от 12 до 3), потом «всевозможные скитания» до 6, потом обед, потом увеселения, которых не перечесть, будет и воспитание детей, и благотворительность, и танцы до семи часов утра, и тройки, и раки, будет любящий муж, и поклонники, и певцы, и поэты, и вышивки, и фонарики, и все — все будет! А не будет купона — ничего не будет!

А вот Марфа...

Но нет! я положительно не смею говорить о Марфе. То, что я сказал бы в пользу полноты ее существования, могло бы показаться умышленным разукрашиванием ничем не разукрашенной «бабьей жизни». Это действительно так, и трудно пожелать кому-нибудь «отведать» на собственном опыте всю эту «полноту» теперешней деревенской нищеты, тяготы и всякой недостачи, одинаково знакомых как мужскому, так и женскому населению деревни.

Но если «действительность» народного строя жизни скудна и не дает возможности фактически подкрепить и

разукрасить пред читателями особенности этого строя жизни — все-таки самая сущность этого строя заслуживает полного внимания. Отделив эту сущность от суровой действительности народной жизни, мы все-таки получим возможность довольно ясно представить себе основания, на которых может держаться более или менее *полное*, действительно цельное существование человека.

Откинув наличность нужды, нищеты и всякой тьмы, мы получим в совершенно ясном виде следующие основные черты народного строя жизни: во-первых, семья, в которой мужчина, как и женщина, необходимы друг для друга потому, что только неразрывная во всех отношениях трудовая жизнь их — и есть основание всего строя жизни. Ни бабе, ни мужику жить друг без друга нельзя, и *своего* дома у них не будет. Смысл существования и вообще *жизни* для них обоих получается только тогда, когда они «вместе» и «вместе во всем». Это первая, отличительная черта народного строя жизни, а другая заключается в том, что жизнь *семьи, дома* неразрывна с мирскою, общественною жизнью; семья имеет на нее непрерывное влияние, точно так же как и сама постоянно чувствует влияние мира на себе.

В этих двух характерных чертах народного строя жизни заключаются все данные для многостороннейшего проявления человеком всего, что в нем есть божеского и человеческого.

Облечь этот «образчик» полноты существования в такие формы, которые бы пленили мысль и взор читателя, не позволяет горькая действительность, и вот почему мы не смеем живописать красоту существования Марфы.

Но раз все-таки этот *«образчик»* так или иначе обозначился в нашем воображении — мы его не будем оставлять без внимания. Облик героини «романа» — образчик купонной полноты жизни — есть редкое исключение. В действительности же стон, плач и стенания идут от купона во всех направлениях, и дело семьи, мужа, жены, как во взаимных их отношениях, так и в отношениях к обществу, до такой степени изуродовано, искажено купоном, что на него давно уже пора обратить серьезное внимание.

Пятьдесят лет тому назад сила купона не развилась еще до таких размеров, до каких она дошла в настоящее время. Пятьдесят лет тому назад мы могли видеть его проделки только на несчастном поденщике, человеке каторжного физического труда. Теперь он уже проел все слои общества от верхнего края до нижнего, и именно там, где должен бы быть виден результат, своей прелестью оправдывающий все понесенные во имя купона жертвы, — там-то его и нет.

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК

I. «ПОКА ЧТО»

1

...Пока неторопливый поезд Волго-Донской железной дороги совершал обычный трехчасовой переезд между Царицыным и Калачом, я, единственный пассажир второго класса, имел полную возможность предаваться всякого рода размышлениям: собеседников и спутников, которые бы развлекали меня своими разговорами, не было, а голая пустыня местности, кое-где только оживленная небольшими хуторами и зелеными лоскутиками арбузных плантаций среди рыжих, сожженных солнцем полей, — как нельзя лучше соответствовала скромнейшему течению моих мыслей, так же, как и эти выжженные поля, лишенных всякой живой яркости и выразившихся примерно в такой окончательной форме: «Коли тебя бог убил — то уж молчи, — даже лучше — лежи и молчи! По Болгариям не суйся и отечества своего не конфузь, а знай, что ежели ты, «пока что», и в ничтожестве и притом не без синяков, то все эти несчастия не суть результаты какой-нибудь враждебной против тебя системы — нет! о тебе, о твоей личности пока никто еще не думал; никто еще не думал ни обижать тебя, ни радовать,— а если ты и получаешь пинки и случайные увечья, так это без всякого определенного направления, как на толкучке или при театральном разъезде... О тебе, о твоей личности, о твоих синяках и о скорбях по поводу разных увечий, получаемых тобою вообще без всякой системы, можно будет *начать* (только начать!) думать, когда, наконец, увенчается здание, — а до тех пор ни о тебе никто не

будет думать, да и тебе самому думать о себе решительно бесполезно; за работой над зданием и его увенчанием — ты сам, как единица, ровно ничего не означаешь, и тебе остается жить кой-как, «пока что», собственными средствами изворачиваясь и ускользая от пинков и случайных увечий, неизбежных в суматохе большого дела, момент окончания которого никому неизвестен, но которое, однако, во что бы то ни стало должно быть совершено и закончено. Таким образом, соваться тебе к людям, которые *уже* живут и которые хотят сами об себе думать и сами для себя делать, — тебе, живущему «пока что», не следует, не к лицу — только осрамишься... Иди поэтому туда, где тебе и быть надлежит, в глубину живущей «пока что» миллионной толпы обывателей собственного твоего отечества и там уже справляйся кое-как, как бог приведет, живи изо дня в день, зная опять-таки, что все это «пока что», — а что в конце концов, «надо быть», из всего этого выйдет же и «увенчание».

Размышления мои о том, что жить приходится единственно в пределах «пока что», были совершенно ясны и определенны. Понимал я также совершенно ясно, что если в конце концов будет же, наконец, и «увенчание», — то претерпеть «кое-какую» жизнь, пожалуй, можно: было бы из-за чего; но неясно было для меня самое это «увенчание», то есть то самое, из-за чего приходится жить «кое-как» и «пока что»... Знал я, что под словами «увенчание здания» надобно понимать ни более, ни менее, как созидание «третьего Рима», и для собственного успокоения на этом решении мне бы и следовало покончить: «дожидайся (каналья!) третьего Рима, а «пока что» молчи и изворачивайся — «как бог приведет»!» Коротко и ясно. Но времени в дороге было так много, что я позволял себе мечтать и о прежних Римах, и вследствие этого невольно задумывался и над третьим: был, думалось мне, один Рим, — но в конце концов от него остались груды камня, ямы с мусором, кажется какие-то судебные уставы да куча маленьких мальчишек, которые пляшут из-за куска хлеба на одной ноге и поют мандолинату... Был и другой Рим, от которого осталась тоже куча всякого старого каменного хлама, а то, что еще держится, рано или поздно непременно должно развалиться и рассыпаться прахом; остались после этого второго Рима не

мальчишки, поющие и пляшущие из-за хлеба, а какие-то странные существа, напоминающие по виду черных тараканов, люди неизвестного типа, жирные, лоснящиеся, неповоротливые, могильно-молчаливые и загипнотизированные копейкою серебром почти в мертвый сон... Кажется бы, довольно и двух великих ям с великими хламами? Ведь живые народы, которые ушли от этих развалин, не идут к ним обратно и не мечтают о реставрировании великого исторического мусора? Истратив себя в течение целых веков в незамиравшем ни на одно мгновение искании познания добра и зла, измученные и истерзанные борьбою, но уже добывшие для человека несметную массу материальных и духовных оборон, — ведь не к «созиданию» мусорных великолепий идут они, а к тому, чтобы успокоить и выпрямить душу современного, измученного труженичеством, человека... Не о третьем Риме, а о каких-то трех акрах земли на человека возникает живая забота среди живых людей, забота, говорящая о праве *жизни*, полной и облегченной знанием для всякого человека, — забота, повидимому, маленькая, но забота «о человеке», забота живая, оживляющая мысль человеческую, а не останавливающая ее развития, не расплющивающая человеческую личность, как расплющивает ее неопределенная, пугающая огромностию и одновременно холодом таинственности идея какого-то третьего Рима, когда и от двух первых осталось так много мусорных ям. Не приятнее ли было бы и нам идти вместе с живыми людьми к живым простым и справедливым для человека целям? Наукой добыто пропасть всякого добра, добыто именно для человека, для того, чтобы ему было лучше жить, — не начать ли и нам нашу жизнь и нашу задачу с искренней и простой заботы о человеке: надо же ведь ему когда-нибудь отдохнуть мало-мальски? И неужели эта забота так неинтересна сравнительно с томительным ожиданием (долго, ужасно долго и так уже ждали!) того счастливого момента, когда чудовские певчие получат даровые билеты в новый Рим на «открытие», хотя бы даже и с угощением?

В былое время я бы, вероятно, очень размечтался на эту тему, но опыт жизни постепенно, «по-малу, по-полсаженки», привел меня к тому, что мечтания мои сами собою, как по команде, стали прекращаться моментально,

дойдя до мысленного вопроса: «Неужели же мы? ..» Теперь, как только я домечтаюсь до этого вопроса, во мне мгновенно прекращается всякая умственная деятельность, и я сразу перехожу к окончательному выводу, воспитанному во мне опытом последних дней, и говорю себе: «Дожидайся (канналья!) третьего Рима, а пока что — лежи и молчи, коли бог убил!» Существеннейшею причиною такой законченности в моих мыслях, помимо вообще продолжительного житейского опыта, была в особенности последняя моя поездка по Дунаю. Едва прикоснувшись к жизни, не имеющей ровно-таки ничего общего с томительными ожиданиями, так долго удручающими чудовских певчих, и в то же время с поразительною ясностию увидев и то, что и сам-то я поставлен судьбою в условия жизни именно той, которая имеет получить свое *начало* только после исполнения желаний чудовского хора, — я уж решительно не смел позволять себе никаких мечтаний по вопросу о том: «неужели же мы?» и т. д. «Не суйся!» стало для меня обязательным и мало-помалу развилось и окрепло в формулу: «живи... пока что! ..» Только под влиянием этой скромнейшей формулы жизни «изо дня в день» я и предпринял другую — в нынешнем году — поездку, не только не имеющую каких-либо определенных целей, но даже (как мне стало казаться в последнее время) и не смеющую иметь их, конечно... «пока что».

Минуя Москву (там, пожалуй, можно разговориться и понапрасну обеспокоить себя), я, «тихим манером», свернул с Бологова на Рыбинск, незаметным образом ускользнул с вокзала на пароходик — и потихонечку, едва-едва прикасаясь бортами парохода к берегам и пристаням, добрался до Царицына, а оттуда, один в пустом вагоне, по пустой степи, приплелся и в Калач, место самое подходящее к моему настроению: ни город, ни деревня, а так что-то не производящее ровно никакого впечатления. Стоят на берегу домики, кое-как сколоченные и кое-как поставленные: то два рядом, то один против другого, то один к другому задом, то просто стоит один домишко, стоит там, где вздумалось... Словом, место никаких впечатлений не возбуждает и ни на какие размышления не наводит, напротив, даже успокаивает и освобождает от всяких впечатлений и размышлений... Не приковало оно к себе моего внимания, и я прямо с вокзала

пошел на пароход... Пароходы здесь стоят в узенькой речке, впадающей в Дон, — это своего рода гавань Дона. Тихо здесь, покойно... Гуси свободно плещутся у пароходного колеса, даже куры, кажется, сидят на нем, как на насесте; оно, колесо это, прямо притиснулось к берегу, и с берега на пароход для ходьбы положена простая тесовая доска... Впрочем, есть и пристань, на которую я и направился, — там парохода не оказалось.

— Ведь сегодня вторник, — сказал я, — а в объявлении сказано, что пароход идет по вторникам и субботам?

— Он ушел ночью с понедельника на вторник.

— Стало быть, ждать до субботы?

— Точно так!

Хотел было я испугаться этой перспективы, — но новое настроение моих мыслей удержало меня от такого малодушия.

«До субботы, так до субботы!» — сказал я себе безропотно и сел на чемодан.

Из-за крутого противоположного берега светил месяц спокойно и ярко. Утка где-то громко крякала... Совершенно спокойно и я сидел на чемодане.

— Да вам бы, пока что, в ресторане побыть покамест? — присоветовал мне добрый человек.

«Что ж? — подумал я. — «Пока что» побуду и в ресторане».

Ресторан оказался прелестным. Он устроен на воде. На барже выстроено несколько комнаток для приезжающих и при них порядочных размеров общее зало с буфетом. Тихо, чисто, опрятно.

«Пока что, — думаю я, — буду сидеть в ресторане».

И сидел я долго, долго смотрел на месяц, слушал, как гуси полощутся в воде около пароходного колеса.

— Да вам бы, господин, — опять советует добрый человек, — чем до субботы-то ждать, — не приятнее ли будет на буксире?

«А что ж? — подумал я. — На буксире, так на буксире».

И спросил:

— А когда буксир придет в Ростов?

— Да суток через шесть. Все одно вам ждать-то четверо суток? Придете почти в одночасье с пассажирским. .

«Все одно!» — эти слова пришлись мне по сердцу.

«Точно! — подумалось мне, — мне все одно: день ли ехать, или четыре дня ехать, или ехать шесть дней, — мне решительно все одно».

Пошли мы на буксир, и здесь меня приняли...

— Только уж извините, — кушанья у нас нет!..

«Что ж? — подумал я. — Нет, так нет. Все одно!..»

И лег на указанное мне место. Но опять явился добрый человек и сказал:

— Вам, ежели что покушать... так можно и у капитана попросить... А пока что... яиц не угодно ли?

Пока что поел я яиц, и в таком роде пошла моя жизнь. Безропотно покоряясь велениям судьбы, я — не помню уж как — спокойно и крепко заснул на узеньком диванчике, отведенном мне капитаном в его каюте, на палубе, — а наутро и поехал... Куда шел пароход, вверх по Дону или вниз к Ростову, я не знал. Я задумался было об этом, пробужденный стуком машины, которая была под самой моей койкой, и хотел было выйти и спросить — но тотчас же вспомнив, что мне все одно, не пошел расспрашивать и продолжал лежать: а пароход тем временем куда-то шел, то есть его куда-то дергало, кружило, и вода в колесах бурлила на разные манеры и разные темпы. Разбирать поступки парохода не дозволяла мне проникавшая меня идея покорности всему, что господь пошлет на пути моей жизни, и я, предоставив машине делать что ей угодно, продолжал лежать на моей койке, курил и, должно быть, куда-то плыл.

2

Не могу, однакоже, сказать, чтобы мое смиренно-мудрое путешествие обошлось вполне благополучно по части полного отсутствия впечатлений, расстраивающих смиренное и неподвижное настроение духа. Напротив, уже давно, то есть лет пять-шесть, на мою долю не выпадало так много искушений по части *общего* разговора, как именно в эту, не имевшую определенной цели, поездку. Пять-шесть последних лет поездка по России — по железным дорогам и на пароходах — была делом самым скучным и томительным: общего разговора, такого разговора, который захватывал бы весь вагон, как это бывало еще на

нашем веку, в последние годы совершенно не существовало; от Петербурга до Одессы, до Севастополя — словом, чрез всю Россию можно было ехать, не сказав ни с кем ни единого слова. Нужно было заглянуть в третий класс, чтобы вспомнить, что есть на свете смех, шутка, беседа, рассказ, — в первом и во втором классах стал ездить удрученный молчанием интеллигентный человек, казалось, совершенно утративший дар слова. Отправляясь в смиренно-мудрое путешествие, я именно рассчитывал на сообщество замолкнувшего интеллигентного человека, надеялся при помощи его благосклонного и деликатного молчания окрепнуть и в своем убеждении по части отстранения своей мысли от всякого живого беспокойства,— а вышло наоборот: общий разговор вдруг, как говорится, «взял» да и ожил, — да ожил-то не только в интеллигентном человеке, а что особенно удивительно — буквально во всех классах общества, не в одном первом и втором классах вагонов и пароходов, а положительно среди всякого звания людей, пассажиров всяких классов и людей всяких сортов умственного развития. Известное всем распоряжение, касающееся школ и детей, кажется, действительно наконец-таки пробрало весь «чудовский хор», задело за живое и заставило заговорить человечьим языком все человекообразные материалы, заготовленные для сооружения третьего Рима, материалы, которые до сего времени долгие годы, несмотря ни на какие потрясения, действительно сохраняли непоколебимое спокойствие подлинных кирпичей. Зацепило это распоряжение словно железным крюком и прямо за живое *мясо*; впился он, этот крюк, в «махонького», в «рабенка», — и кирпичеобразный человек наконец-таки почувствовал боль, боль собственной своей кирпичеобразной шкуры... «Человека» этот римский строительный материал, как известно, не особенно уважает даже и в своем собственном ребенке, раз этот ребенок вырос, осмыслился и задумал не потакать тятенькиным безобразиям; в таких случаях, как известно, римский кирпич не задумывался прямо «представить» своего сына куда следует и объявить его подлежащим искоренению; но «рабенок», плоть от плоти, кровь от крови, который только еще радует родителя и еще ровно ничего не понимает, и его-то зацепить крюком — нет! на это у нас еще сохранилась капля волчьей слезы!.. И если

бы я не был так основательно доведен до убеждения в том, что никаких фантазий для русского человека пока что не полагается, — то непрерывный, оживленный разговор, касающийся участи «ребят» и не дававший мне должного спокойствия в течение всей дороги от Рыбинска, по Волге и Дону, до Ростова и далее, — этот разговор должен бы был привести меня в восхищение: так необыкновенно радостно было видеть подхалима и предателя, которого наконец-таки прошибла же настоящая слеза, слеза сожаления и раскаяния в своем бездушии и бессердечии... Но я сильно вообще поутих в мечтаниях и, несмотря на радостные слезы, которые начинали было журчать где-то под сердцем, я предпочел встряхнуться и освежить в своем сознании новую формулу моей смиренно-мудрой жизни. А разговоры на животрепещущую тему случались иногда весьма любопытные.

Остановился американский пароход Зевеке у пристани какого-то волжского городка или посада. На горе — церкви, каменные дома и городской сад-бульвар, на пристани — носильщики, торговки, публика. На всю эту обычную картину волжских пристаней, при каждой остановке, обыкновенно с верхней галерейки парохода, от нечего делать, глазеет пароходная публика.

Столпилась такая-то кучка разного народа и в этот раз; тут и англичанин с англичанкой, и барин в картузе с красным околышем, и «человечек» по хлебной части в старом пиджаке с оторванным на спине лоскутом, и «батюшка» с матушкой, и купец с седой бородой, типа иконописного, — словом, собралось много людей всякого звания: кто просто стоял у перил, кто стоял облокотившись на них, кто сидел на белом деревянном диванчике. Человечек по хлебной части неустанно ел подсолнухи и плевал скорлупу куда попало. Все ждали отхода парохода, глазели, топтались и переминались и почти не разговаривали.

Но вот на берегу, на бульваре, послышались звуки музыки: скрипки, флейты и кларнеты давали о себе знать отрывочными визгливыми звуками, напоминавшими вопли испуганных и находящихся в каком-то переполохе кур, — но какая-то труба заявляла о себе чрезвычайно решительно и твердо. Короткими, толстыми и тяжелыми, как хорошие березовые дрова, звуками кидала она в средину

воплей раскудахтавшихся кларнетов и флейт, всякий раз совершенно без малейшего, так сказать, остатка, заглушая всю суматоху и все неистовое кудахтание в музыкальном курятнике. Пиэса, исполняемая оркестром, по мере приближения к концу, шла все более и более ускоренным ходом, и труба стала разбрасывать свои полена все чаще и чаще и притом во все стороны: направо и налево, вниз, вверх, по воздуху, по куриному воплю, в пароход, и даже за Волгу — и, наконец, зашвырнув последнее полено, повидимому в крапиву, рядом с собой, — так короток был этот последний звук, — замолкла совершенно неожиданно.

— Ну теперь, надо быть, и стадо начнет собираться! — проговорил человечек по хлебной части в разорванном на спине пиджаке. Проговорил он это, повидимому, сам с собой, ни к кому не обращаясь, глазея на пристань и город и поплевывая подсолнечную скорлупу.

— Какое стадо? Откуда? — вопросил его также простонародный человек, поплевывая ту же подсолнечную шелуху. — Чего говоришь-то?

— Чего говорю? Слышал, в трубу трубили на бульваре?

— Ну?

— Ну — это и есть, что вышел пастух, в трубу заиграл, а теперича и стадо должно на этот самый рожок собираться.. Как скотина-то в деревнях собирается? Знаешь? Ну, так и тут...

— Кака тут скотина?

— Ты чем слушаешь-то? Ухом или брюхом? Я что говорю? Я говорю: в деревне затрубит в трубу, заиграет во рожок пастух, — и начинает собираться скотина... В городе же, как только в семь часов музыкант затрубит в трубу, — так начинает собираться особенное стадо — не скотов бессловесных, — понял ты, что я говорю, или нет? — а высшее образованное общество, господа, чиновники и прочий отборный фельетон. Расчухал теперь? Видишь, вон чиновник выползает из-под горы? Это он на рожок пошел. Не нашему же брату-мужику под музыку слоняться до полночи... Вроде как стадо, — собирается высший свет на выгон, к буфету... Ишь, чиновник-то выгребается в гору, словно муха из банки

с вареньем, слаб, устал, утружден... Эй! Труба! Ну-ка! дерни хорошенько, подбодри его, подшвырни на гору-то!..

Говорилось все это не спеша, якобы совершенно серьезно, но публика третьего класса оценила остроумца, и то там, то здесь слышалось одобрительное гоготанье. Человечек по хлебной части, казалось, разошелся и готов был продолжать свой насмешливый монолог, но его перебил господин в фуражке с красным околышем.

— Что? Что? — чрезвычайно ласково, но с явным гневом в голосе и в лице произнес господин с красным околышем, медленно подходя к «человечку по хлебной части». — Что такое? Скотина... господа... образованное общество... Причем тут господа и скотина?

Человечек, все время стоявший у перил и смотревший на город и пристань, не обращая, повидимому, никакого внимания на соседей, обернулся. Пред ним стоял барин, и хотя барин этот улыбался и спрашивал ласковым голосом, но человечек понял, что ему надобно вывернуться.

— Это я, господин, не своими словами сказал... все больше вычитываю в фельетонах... Люблю чтение-с: очень хорошо иные писатели *на губах играют*... Это я все из фельетона произнес.

— Вот как? — еще ласковей и нежней проговорил (даже пропищал) барин... — Так вы и фельетоны любите? Тоже, должно быть, и вы из какого-нибудь образованного свиного стада? да?

— В наших местах свиней не держут-с!

— Вероятно, в ваших местах все свиньи?

Барин, очевидно, сильно сердился, — но продолжал речь все нежным тоном. Человек же тоже чувствовал себя весьма неловко и хотя, видимо, был обижен, ответил барину на его последнюю дерзость довольно-таки робко:

— Грехом бывает и люди попадаются! Не все свиньи-с...

— Ну да — я знаю!.. Вот вы, например... Вы, вероятно, по коммерческой части?

— Точно так-с!

— Насчет своего брата мужичка-с?.. Едете, вероятно, по части хлебца, то есть за шкурой? да?.. Подкараулите за заставой, выскочите из-за куста, цапнете

за загривок, сдерете с него все, с мясом, — и в карман спрячете? .. да? ..

Человечек был так ядовито отстеган барином, что несколько мгновений не мог проговорить ни слова и делал вид, что его внимание занимают только подсолнухи, которые он продолжал грызть, стоя к барину боком, — но не обидные барские речи. Заметно взволновавшийся барин хотел было уйти, круто повернувшись в сторону, но человечек неожиданно оживился и проворно проговорил:

— А вы, ваше благородие, куда изволите деньги класть, в случае выкупные, или по первой закладной, и затем по второй и по третьей и в окончательном смысле — из дворянского банка? .. в карман или в особенное какое бездонное место? ..

Барин также не ожидал этого вопроса и остановился в недоумении, глядя на явно и непритворно сердитое лицо человечка. Он было хотел что-то сказать, но его перебил совершенно посторонний голос. Во всю глотку кто-то прокричал басом:

— Чего ты? Это мы в карман норовим копейку залучить, а они — всё за галстух прячут! Аль ты не знал? Чудак!

Публика, чуявшая, что начинается неласковый разговор и чувствовавшая себя неловко, вдруг разразилась дружным и громким хохотом. Барин не только не потерялся от этого взрыва смеха, но догадался и сам присоединиться к развеселившейся толпе и тоже громко захохотал:

— Превосходно! Вот это умно! .. Ха-ха-ха! Действительно, брат, не мастера мы с деньгами орудовать! Иной мужик с двугривенным обдерет всю деревню, а мы с сотнями тысяч не сумели нажить рубля и не изловчились содрать ни одной человеческой шкуры. Совершенно, совершенно верно — и как умно!

Повеселел от этой неожиданной выручки и человечек «по хлебной части». Выбросив за борт последнюю горсть остатков от подсолнухов, которые оставались еще в кармане пиджака, он сел на лавочку, стал вертеть папиросу и серьезным тоном заговорил:

— Умно! .. Ишь, как ему удивительно показалось — мужик и может умно говорить! А ты думал (барина, к которому человечек по хлебной части, очевидно, обращал

свою речь, на этот раз не было на площадке) — а ты думал у вас ум-то? Ваш ум какой? Пошел в банк в январе да в июле, нарезал себе мешка два хорошего купону — вот и ум тут весь твой! Кабы нашему брату, бедному человеку, ход был к свету, мы бы оказали свой ум — не беспокойтесь, сделайте одолжение... Извольте-ко почитать про министра Ломоносова, как он достиг высшей степени, — а был простой лапотник... А нониче швейцар какой-нибудь учебный действительно тебе нос сломает дверью, только сунься поучиться... «Пшел, невежа, нищий!» В газетах-то вон какую прокламацию опубликовали: сколько, говорит, у тебя комнат, кучеров, поваров, калош, галстуков и штанов. А у меня одни штаны-то, и в таком случае я всю жизнь должон быть в полной тьме, как свинья не смею поднять головы кверху... Грабите, шкуру дерете, — да! Чего нам делать? Коли одну шкуру чужую предоставляете нашему брату? Чего мне делать? Я слепой щенок, у меня и глаз нету... «Грабитель-невежа!» — вот наш аттестат. А вон мадам в Соболевском переулке в Москве действительно имеет шестнадцать комнат с мезонином — и ей доверие... От полиции на лучшем счету; воспитает сынка, потихоньку от своего здания, может вывесть его на высокую ступень, — нашего же брата будет в тюрьму сажать за кражу... А откуда я пять комнат возьму? Конечно, должон воровать, ежели добром не дают... Нет за нас, темноту, нету защитника! Теперича к ученью не то что мы, деревенщина, — а и прочих сословий люди не могут приткнуться, а уж наш брат так всю жизнь, веки вечные, и оставайся скотом! Вот тебе рубль, иди в кабак, слушай шарманку, пей и помирай, — всё тут! И детям нашим тот же результат, и навсегда! Заступиться за нас некому! Некому, господа, заступиться за нас! Слышите? Некому! Некому за нас, бедных, заступиться, братцы вы мои, — вот в чем! — а башка у нас существует на своем месте — вот она! видишь! пощупай! Ты думаешь, это арбуз или камень?. Голова, ей-богу же, человечья, пред богом уверяю вас!

Хорошо и душевно сказал все это человечек «по хлебной части». Душевность его речи мешала ему справиться с папиросой, которую он принялся делать по уходе барина, — руки у него тряслись. Публика ему, видимо,

сочувствовала, хотя он и не обращался к ней, сосредоточив свое внимание, повидимому, только на папиросе. Наконец она была готова, и он дрожащими руками закурил ее.

— Так-то! — сказал он в заключение. — Живи под полом, в норе, и тем будь доволен!

— Правда, правда!

— Ты-то что скучаешь? Тебе-то что? У тебя все-таки, если ты мужик, у тебя есть лоскут... картошка... А ты посмотри на нашего брата.

Эти слова произнес, подходя к человечку по хлебной части, повидимому отставной полицейский чиновник: желтый кант его фуражки и пальто обличали его служебную специальность, а крайняя поношенность полицейской одежды, отсутствие кое-где пуговиц и вообще унылый и изнуренный вид — говорили о его бедности и, стало быть, об отставке.

— Я семнадцать лет тер лямку становым приставом — и вон видишь, — сын мой стоит? Я его везу обратно, назад, — его отказались принять в гимназию, — он не обеспечен, для него не может быть никакой карьеры, кроме как в сапожники. . Это мне доказали как дважды два... Он отпет навсегда! Понимаешь ли? А он у меня одна надежда, — он последний, единственный мальчик. У меня, кроме его, четыре взрослых дочери... а сам я болен, потерял место, — и вот порадуйся!

— Да чего!.. — сказал человечек, махнув рукой, — говорить не остается.

— Я, — продолжал становой, — и место-то и здоровье-то потерял на службе... Ведь наше дело каторжное! Ведь нашему брату прямо на рожон лезть надо... Не отдает мужик денег — надо вырвать их вот этими руками, прямо из горла выдрать... Ведь имущество описываешь иной раз — сердце разрывается, — а нельзя! Дерешь с него без снисхождения. Надо пить-есть. Семейство! В нашем уезде одних сопротивлений властям — счету нет; откровенно сказать, еще во множестве мест не вручены крестьянам даже владенные записи. Надо бы подождать, поразобрать как должно, да тогда уже и взыскивать.. Но это дело не наше. Пришлют бумагу, надобно исполнять — и лезешь, лезешь прямо на вилы... Сколько раз жизнь на волоске висела... Одна-

жды бабы меня спасли от явной смерти: «Вались в телегу, мы на тебя сядем и вывезем». И навалилось на меня шесть баб! Уселись, песни заиграли, как ни в чем не бывало, вывезли меня за пять верст в лес, — а я уже без чувств! Едва не задохнулся, и все внутренности повреждены от тяжести... Легко ли — шесть тетех! Да и за то спасибо — хоть жив-то остался! Жив-то остался, — а с тех пор и чахну и таю... Неисправности пошли, потом — подвели, а потом, как водится, и упекли... Стал не нужен. Полтора года ищу места — все занято... Всю жизнь бился, совесть свою уничтожал, думал, что по крайней мере семью обеспечу, что дети не будут так себя тиранить, как тиранил отец... Да, наконец, просто думалось, хоть кусок хлеба будет... А вместо того — извольте получить камень, а сыну вашему — нет ходу! вороти назад, в сапожники!.. И это меня, родного отца, при моем же ребенке убеждают ласковыми словами, что он уже пропащий, что ему не видать света, как своих ушей, что ему надо спешить — спешить в сапожники-то попасть, а то и этого не будет! Право, яду бы давали без разговору!.. Ласковыми словами, с экивоками, с рукопожатиями, с соболезнованиями, с вежливостью (прошу садиться! на этот, на мягкий стул... папиросу?) приговаривают малого ребенка к гробу, доказывают ему, что по расписанию для него всего приличнее и выгоднее заблаговременно лечь в могилу! Где же у них бог-то!

— В портмонете, — больше у них никакого бога нет. Это верно...

В средине монолога, который произносил отставной становой пристав, его мальчик, стоявший поодаль спиной к нам, стал оглядываться, потом, поняв, что речь идет о нем, отошел подальше, потом еще подальше и, наконец, горько всхлипывая, убежал на другой конец парохода...

— Громко вы... о могиле-то!.. — сказал вновь появившийся среди речи станового барин... — Это его тронуло...

— Как не тронуть... Мальчик в полном отчаянии... Ведь вы подумайте только: ему, юной душе, доказывают, что он зачислен, по таким-то и таким-то обстоятельствам, в разряд людей, которые обречены на погибель!.. Когда это говорились проповеди на такие темы?

Конечно, я неосторожно... при нем... Но я сам в отчаянии!.. Я служил бесстрашно... Не думал о себе... греха принял много на свою душу... и моему ребенку рекомендуют могилу?..

— Но позвольте! — мягко заговорил барин с явным желанием успокоить взволнованного отца. — Все это так... все верно. Но согласитесь, что должен же быть положен предел развитию чиновничества? Оно съедает восьмисотмиллионный бюджет! Что же будет, если количество людей, стремящихся жить жалованьем, вынудит на постоянное изобретение новых должностей и, стало быть, новых налогов? Ведь правительство...

Со всех сторон послышались протестующие возражения, — но все они были тотчас же прерваны резкими, торопливыми, звонкими словами неожиданно заговорившего старика, по виду напоминавшего иконописные изображения.

— Без должностей проживем, без бога не проживем, господин барин! Это мы понимаем, что правительству трудно! Не надобно нам должностей! Благодарим! Господь нас питает без жалованья! Брюхо у нас не голодно — душа голодна!.. Премудрости божией мы не видим и не постигаем — ее нам давайте! Зачем она от нас сокрыта? Давайте нам ее без правов!.. Вы вот изволили говорить, — и он вот тоже упоминал (старик указал на человечка по хлебной части), — что живем грабежом нуждающегося человека, шкуру дерем? Дерем! Дерем шкуру! Потому во тьме живем, в невежестве и грязи. Я деру шкуру для семейства, не знаю способов жизни. Но я надеюсь, что семейству будет светлей жить, оно добром искупит мои грехи... Учите нас добру! Мы ведь свиньями живем, нам премудрость божия — тайна... Что же я без познания премудрости божией? Труп смердящий, гроб гнилой! Довольно, — напились мы, наелись, наворовались, налгались, надрались, наскандальничали, наразвратничали! Довольно нам трактиров, нумеров, бань, арфисток и всякого пьянства и распутства... Отпустите чего-нибудь побольше! Мала очень порция — на всю-то землю! В ней ведь сотни миллионов людей!.. Я сам, каков я ни на есть, а пойду к высшему начальству, паду в ноги ему и возопию...

— Никто, брат, за тебя не заступится! Сколько ни кричи!

— Самому надо заступаться! Что мне деньги да кабак!.. Пора нам и совесть развязать... Самим надо заступаться!..

— Попробуй, сходи! а так никто, брат, за нас с тобой не заступится... Не ожидай никакой опоры... На господ надежда плоха!..

— Что «на господ»? — переспросил барин.

— Да надежды на вас бедному темному человеку нет. Вот что. Хоть пропади он, — не заступитесь вы за него ни вовеки... Чего вам опасаться? Вам все дадено. У вас восемь комнат, следовательно, вы завсегда правы, а я завсегда виноват, потому у меня угла даже нет. Нет! Нету, нету нам защитника! Нету, ребята, защитника нам! Слышите, что ли? Так и полезай под пол, живи как слепая мышь!

Дальнейшее течение разговора шло поспокойнее и потише. Почти все собеседники согласились на том, что за дело обновления русского народа наукой и знанием должно взяться само общество. Богатства есть в нем огромные, нужно только убедиться в огромности цели народного просвещения — и в России всякий будет учиться, всякому будет открыт путь к знанию. Нужно открывать всевозможные учебные заведения, не стараясь добиться чрез них каких-нибудь привилегий, льгот, карьер... «Человек создан по образу и подобию божию, — говорит старик: — бог же премудр, и, следовательно, человеку обязательно по образу божию усвоить себе и божию премудрость! а не то чтобы из-за прогонов или квартирных хлопотать... С голоду не помрем!» Во всех этих разговорах и рассуждениях по временам слышится попытка оправдаться в недавнем предательстве почти целого русского поколения, пропавшего, как говорится, зря для земли, нуждающейся в искренних и добрых людях и работниках... Тупоумие, холопство, фарисейство и заячья трусость сказываются, к сожалению, и теперь в разговорах по жгучему вопросу, — но все-таки хоть что-то нибудь живое шевельнулось в расплюснутой обывательской совести — и то слава богу!

Рассказ станового долго не выходил у меня из головы и памяти, так же как и образ расплакавшегося мальчика. В самом деле: ребенок приходит в школу, становится на нейтральную почву, на которой он отрешается от домашнего семейного горя, гнета, забот, огорчений, нужды, всех пут и мелочей его частной жизни, его личного положения, лично для него сложившихся обстоятельств и влияний, — и оживает в сознании, что теперь, со школьного порога, начинается жизнь ничем не связанного ума, совести, таланта. С этого порога для него начинается духовная жизнь, жизнь души, не имеющая ни связи, ни зависимости ни с какими материальными невзгодами частной жизни и ни с какими душевными несчастиями, из этих материальных невзгод вытекающими.. Здесь он будет получать общую, одинаковую со всеми товарищами, духовную пищу, никому не достанется больше блюд или блюд более вкусных, чем ему,— все здесь уравнены пред знанием: здесь-то и начало личности человеческой, начало таланта, дарования, оригинальности мысли. Здесь ‹он› первый раз ощущает себя, свои силы, в первый раз он *«сам»*. Здесь сын миллионера, осыпанный всеми благами достатка, может оказаться бездарным, а сын сапожника, исстрадавшийся от нищеты и побоев, — гением: нищета заставляла голодать и от побоев болело тело, — но душа была цела и, очутившись в том воздухе, в котором она единственно и может жить, — стала жить... Так вот, в такую-то минуту жизни, добрые люди нашли возможным, по собственным соображениям, на пороге пробуждения духовной деятельности в человеке, убивать этот зачаток жизни страхом материальных страданий, омрачать светлую душу ужасом пред куском хлеба, лишать мысль всяких перспектив, доказывать неосуществимость каких бы то ни было светлых надежд в будущем, обрекать на неизбежное страдание и доказывать эту неизбежность... Ребенок, у которого в ушах еще звучит песня няньки, обещавшей ему: «вырастешь велик, будешь в золоте ходить», приходит из трущобы, где живет портной, его отец, и где он, однакоже, привык верить в то, что он в трущобе временно, что ему тут скучно, что он будет же ходить в золоте, потому что он хороший мальчик, не хуже других, — этот ребенок приходит в школу, то есть туда, откуда именно

и начинается развитие его духовных сокровищ, вовсе не зависящих от его дырявых сапог, — и здесь-то, на самом пороге рассвета жизни, его сразу, на веки веков, на всю жизнь, жалит на смерть ядовитое жало смерти, жалит прямо в сердце, в мечту, в мысль... Идея о «куске хлеба» придавливает его, как обрушившийся каменный свод, и мышиная нора без света и воздуха — на всю жизнь, на весь век — является единственным прибежищем духовно убитому, ошеломленному страхом и мраком человеческому существу...

Право, немудрено, что и из волчьих глаз наконец капнула слеза... Но я еще не вполне уверен в благих последствиях этой слезы и не могу не задавать себе по временам скептического вопроса:

«Да неужели же в самом деле наконец-таки пробрало?»

II. ВОЛЬНЫЕ КАЗАКИ

1

— Далеко ли же, собственно, едете-то?

— Да пока что хорошенько-то еще и не обдумали... Мало ли местов-то! Новороссийск — вот, говорят, теплое место приготовляется... В Батуме тоже, сказывают, не холодно... Екатеринодар... Ну да и Ростов нашего брата не обижает...

— А по какой же части-то вы?

— Да по какой угодно! Какая часть подвернется под руку, та и наша! Ха, ха, ха!.. Ты не гляди на меня, что я пока что в этаком виде. Это со мной сколько раз бывало, а потом попадешь в струю — и сам себя не узнаешь!

Разговор этот, между множеством всякого рода других разговоров, происходил на галерейке третьего класса одного из пароходов Зевеке, шедшего по Волге к Царицыну, в один из ясных и светлых дней нынешнего лета. Человек «в этаком виде», слова которого мне пришлось услышать, невольно обратил на себя мое внимание. Что-то чрезвычайно знакомое послышалось мне в его

словах, и не столько в самых словах, сколько в манере, в тоне, которым они были сказаны. Не то чтобы я видел где-нибудь именно этого человека, находившегося «в этаком виде», — я только вспомнил, благодаря его манере и тону разговора, что на моем веку мне уже не раз приходилось слышать эту манеру разговора и этот тон и что они почему-то меня интересовали. Не умея дать себе отчета в этом и все-таки интересуясь человеком «в этаком виде», я подошел к нему поближе и постарался рассмотреть повнимательнее.

Человек «в этаком виде» был то, что называется «верзило»; на обертках лубочных изданий Никольского рынка в таком именно виде изображают обыкновенно фигуры «витязей»: шлем, под шлемом таинственные глаза и храбро расправленные усы; нос не всегда виден на этих рисунках, но всегда удачно изображенное истуканство общей фигуры не утруждает внимание зрителя мелочами, и, не замечая носа, вы все-таки видите, судя по усам и истуканству, что это, должно быть, непременно «витязь». С первого же взгляда на человека «в этаком виде» бросалось в глаза именно его истуканство, топорно приделанные под бесформенным носом топорные усы, таинственные бледносерые глаза на широком, ничего не выражающем лице и весьма пространный рот; этот большой, весьма подвижной во время разговора рот, составляя существеннейшую черту всего истуканского облика человека «в этаком виде», делал понятным всю топорность, тяжеловесность и огромность его фигуры и был как бы указателем того, что в фигуре этой прежде всего надобно видеть «пасть», а уж все остальное само собой приходилось к ней. Не было на этом истукане шлема и воинских доспехов; на голове надета была плоская широкополая соломенная шляпа, а на теле — почти воздушная парусинная пара, уже приведенная в нищенское состояние и так же подходившая к этому исполинскому телу, как к волку вместо волчьей шкуры подходила бы нежная шерсть кролика. Во всяком случае это истуканное существо выделялось из общего уровня физических размеров, доступных современному обывателю, и, продолжая напоминать мне что-то уже знакомое, настоятельно требовало ближайшего с ним знакомства.

— Теперь я на что похож? У меня вон всего-навсего и имущества-то осталось: пара галош да зонтик, а я надеюсь на бога! Пойдет струя — и опять пошел в ход!.. Теперь на мне шапка, видишь, какая? А случись струя — хвать, и цилиндр на темя вскочил, а пожалуй, и шапокляк подмышкой зашевелился!.. Моя, брат, жизнь — тайна! Ежели мою жизнь описать, так это будет полный роман... Я уж пробовал писать, только все недосужно...

Истукан, сидевший за чайным столом с компанией попутчиков и собеседников, пивших чай и закусывавших хлебом и арбузами, проворно опустил руку в боковой карман, вытащил оттуда пачку каких-то бумаг и стал в них рыться.

— Всё адреса. Вот письмо князя Махоркина: «Любезный Мартын Петрович! не откажите мне в вашем благосклонном содействии...» Всего бывало! Это вот от пароходного общества «Север» телеграмма: «Прошу покорнейше отправить двести пятьдесят тысяч...» Всего было! Всего не пересмотришь! Это вот купчиха: «Милый мой и неоцѣненный!..»

При этих словах вся компания осклабилась и весело захохотала:

— Хе, хе, хе! Ишь какие там у него!

— У меня, братцы, всего много! Я вот ищу начало романа... Моя биография... А, вот!

Он вынул какой-то лоскут, расправил его рукой, кашлянул и, спотыкаясь на каждом слове, прочитал:

«...Полулежа в третьем классе на моем плече и предавшись утомительному сну...

«Милая жена моя, — говорил я сам себе, — какова судьба наша!.. Сейчас ты выгнана из дому, захватившы прямо из печки мокрое белье в узле, но давно ли я был с тобою грациозен и в коляске парой вороных, по направлению к гостинице «Балканы» в Серпухове, с полутора тысячам рублям в боковом портмоне, и мы устремлялись из храма...»

— Так ты женат, стало быть? — спросили истукана.

— Женат, как же! Моя жена теперь в Москве остается. Жену я свою, можно сказать, вполне обеспечил. Она у меня обеспечена! А сам я, пока что, позволяю себе поискать чего поприятней... И вот как думаю: непре-

менно попаду опять на струю! Это, что я читал, это только прискорбный эпизод. Но оно у меня всегда так... Кажется, вот пропасть, глядь — внезапно оказываешься в полном великолепии!

— Да ты из каких будешь-то? — довольно серьезно спросил истукана один из собеседников; все собеседники были хоть и маленькие, а деловые люди.

— Я-то? Я, братец мой, неизвестного происхождения. Маменька моя была просвирня... И про отца говорят, что будто убили на войне... Но я, по соображениям и постепенному наблюдению, вижу, что так как имение было князей Нагайских и как князь Нагайский захаживал в просвирню и гладил меня по голове, то в виду этого нельзя отрицать кровосмешения высшей степени крови. И я чувствую это и полагаю, что кровь сказывается и действует. От этого самого мне во всяком случае выходит предпочтение! И мне счастье идет с детских времен... Откуда, спрашивается, я имею дар слова? А ведь у меня с детства блестящий слог! Однова я свою мать собственную два месяца, с дозволения сказать, так искусно надувал, что даже она понять не могла, пришла в удивление...

— Эко у тебя ум-то какой! Мать родную надул. Должно быть, что уж умен ты...

— Я тебе говорю к примеру. Маменька мне простила, удивилась... Чего худого? Дело детское, а ты поди попробуй: соври каждый день на новый манер, так и узнаешь, велико ли в тебе дарование... Нет, не соврешь! День соврешь, и два, и три. А ты два месяца ври, так на это надобно особенную кровь!

— Чего же ты врал-то?

— А в училище не ходил. Книги завяжу в узел, все как должно для школы приготовлю, а сам марш в поле, а ворочусь — расскажу, как что было и чему учили... Попробуй!

— Искусно!

— Так искусно, что когда мать-то дозналась да выдрала меня, так все-таки не могла налюбоваться на меня. Сама же мне и гостинцев накупила... «Недаром в тебе грациозная кровь!» И так всегда в моей жизни. Накажут — и сейчас же погладят и превознесут. Когда мать-то дозналась, что я ее обманываю, отдала меня

дьякону — «теперь, говорит, будешь на моих глазах!» Попросила дьякона как можно строже смотреть. И точно: за волосы он меня первым делом отодрал крепко, а потом говорит: «На-ко, подержи ребенка, понянчай, мне некогда». А потом: «На-ко, покорми кашей ребенка!» И вышло так, что нет мне ученья никакого, никто не беспокоит, а сижу я с ребенком и всегда съем у него кашу... Целый горшок съешь и уйдешь. «Учились?» — «Учились, как же!» Ну, маменьке и спокойно, да и мне приятно — каша молочная... Подумаешь, как будто бы надо мной есть перст указующий. Как же: раз только попробовала меня маменька отдать в трактир «мальчиком». Больно мне не хотелось туда идти; плакал, — ну все-таки маменька отвела. Встречаю доброго человека, старого полового; полюбил меня, делает разные указания и говорит: «Когда будешь подавать чай в праздник и народу будет много, так ты, говорит, не все деньги хозяину за буфет отдавай, а понемногу бросай себе за голенище...» Сейчас я понял — и в тот же день набил голенища так, что ноги не двигаются; в одном сапоге на три с четвертью набросал, а в другом — на четыре с лишком. Завязал я эти деньги в платок да ночью, богу помолясь, и упер к маменьке...

Веселым хохотом компания приветствовала повествование верзилы о его юношеских успехах, и, ободренный общим вниманием и интересом к этому повествованию, верзило воодушевился и принялся передавать публике эпизоды своей жизни, один блистательнее другого.

— Это что!.. То ли бывало! А вы вот что разберите: по семнадцатому году являюсь в Москву; иду куда глаза глядят; прихожу к дому — «ткацкая фабрика купца Орехова»; вхожу в контору: сидит за самоваром толстая женщина немолодых лет — хозяйка дома... «Чего тебе, говорит, мальчик?» — «Да вот, говорю, сударыня, ищу места». — «Какого же ты желаешь места?» — «Да какое случится...» А ведь я ни по какой части не происходил еще... Подумала, поглядела на меня прямо в глаза, помолчала, подозвала меня к себе, погладила по головке, еще поглядела прямо так в самое мое лицо — «ну, говорит, поцелуй меня и не беспокойся. Место тебе будет!» Н-ну...

Шумными одобрениями разразилась окружающая рассказчика публика.

— Так я как сыр в масле пять лет пребывал на этом положении — расстаться не может! Денег полны карманы; зайдешь в ресторан, выкинешь рубль серебром, хлопнешь лимонаду с коньяком, — сдачи не надо! Извозчик! Сел на рысака, подкатил куда повеселее, выбросишь рублевку — пожди, провел время на две красных... Это и внимания не составляло!.. И такое мне было райское житье, что, кажется, умри хозяйкин муж (хворый он был), быть бы мне полным хозяином. Да проведали об этих делах сродственники да какие-то попы старообрядческие, да и командировали для ревизии своего попа Гаврилу... Я не плохо скроен, а уж он — так и господь знает, что за монумент... Рыжий, огромный, суровый... Сижу я в конторе перед туалетом; вижу, входит монах этот самый. Вошел, помолился на образа. Молился он долго, на меня не смотрел и ни слова не говорил. Потом сделал земной поклон, встал, подошел ко мне и говорит: «Ты, говорит, состоишь с хозяйкой в таких-то, мол, предметах?» — «Состою!» Не говоря худого слова, хлоп меня по уху со всего размаха. «Вон! Сейчас вон отсюда!» Я очувствовался, говорю: «Хоть вещи... шапку...»—«Вон!» и опять — раз! и в загривок дал таким родом, что и не опамятовался, как уж за воротами очутился... А он за мной ворота на замок — и шабаш!.. Так я, братцы мои, из полного моего великолепия прямо на Хитров рынок свалился, да уж через месяц, никак не раньше, елееле швейцаром в меблированных комнатах местечко получил... Вот какие перевороты происходят!.. А все нет-нет — и вынырнешь!..

— И ничего выныриял-то? Ловко? — спрашивали любители всякого успеха.

— Да вот как выныриял: однова вынырнул я в струю, когда в Петербурге шли огромнейшие постройки... Тысячи домов строились... Тут я приткнулся — и получил высшее значение!.. Вот между этими самыми пальцами (истукан растопырил пятерню) прошли сотни тысяч... Доверия мне было сколько угодно; бывало, у меня в передней поставщики по полусуток ждут... И было бы хорошо, да сплоховал что-то антрепренер-то мой, поспешил он целый домище в пять этажей, — ан, он и ухнул, раз-

валился. А с домом и мы с антрепренером-то развалились... А пожил, уж есть что вспомнить, да и меня помнят за это время во всех теплых местах в Петербурге...

— Как ты опять-то вынырнул?

— А опять я вынырнул по случаю освобождения Болгарии от мусульманского ига! Попал в отряд маркитантом. Было в моем распоряжении три тройки со всякою провизией, вина, сигары, карты — все! Трое кучеров у меня под командой, повара, два лакея, и я сам во главе! Вот это, братцы мои, ст-рр-у-у-й-я! Это вон так настояще выплыл, вынырнул! Первым делом началось еще в Питере. Пропечатал в газетах публикацию насчет желающих ехать на военный театр, то есть насчет поваров, кучеров, лакеев, и повалил ко мне народ... И что ж вы думаете?.. Каждый мне же сует в руки деньги, только возьми! Одна хорошенькая бабенка... «Что угодно! говорит, только увезите моего мужа, повара, на войну; я влюблена в другого!» Подумал, подумал, вижу, дело подходящее — увез ее мужа, сделал ей удовольствие!

— Обоюдно, значит?

— Уж это понимай как знаешь! А как потом пошла «заграница», так это надо два года рассказывать — не расскажешь всего! Золото, как дождь из ведра, в буфет лило!.. Вот карманы какие набухнут за день-то! А что касаемое жизни, как будто бы на облаках пребывал!.. Бывало, остановится отряд в ночь, раскупорим ящики, достанем коньяку, шампанского, закусок — всю ночь!.. Кучера, и те шампанское дули, как воду! Только у меня и расправа была — ой-ой! Один пьяный кучеришко напоил меня однова таким чаем, что я сейчас не отчихался от него.. Зачерпнул спьяна воды из колодца, поставил самовар, стали пить чай с коньяком, пьем как ни в чем не бывало, только что дух какой-то отзывает; подольешь полстакана финшампанского — и хлопнешь, а на утро оказывается — в колодце-то пятеро мертвых турок мокнут!.. Н-ну уж тут была расправа!.. Прямо полевым судом присудил и всю шкуру этому кучеру изодрал!.. Я тогда широко командовал! В Россию воротился, так у меня за пазухой две папиросных коробки из-под сотни были битком набиты золотыми-то!..

— Ловко ты, брат, выплыл!

— Бог даст, и опять выплывем в какую-нибудь хорошую струю... Н-ну, а тогда уж действительно была струя: уж я пошумел на белом свете!.. Поплавал!.. А уж жена, братцы, какая мне попалась!

И затем начался весьма обстоятельный рассказ о романическом знакомстве верзилы с его будущею женой и самая тщательная характеристика этой своего рода замечательной женщины, как бы самою судьбой посланной истукану для еще более широкого и разнообразного продолжения его широкой и разнообразной жизни. Женская фигура, постепенно выяснявшаяся в рассказе человека в «этаком виде», была действительно в такой степени типична для характеристики людей того самого сорта, к которому принадлежал и сам рассказчик, что я, прежде нежели возвращусь к продолжению его рассказа, скажу несколько слов вообще об этом сорте людей, весьма многочисленном в настоящее время на Руси.

Отрывки из автобиографии человека в «этаком виде», которыми он во всеуслышание делился с пароходною публикой, были для меня весьма достаточным основанием, чтобы отвести ему почетное место среди галереи портретов современного нам «вольного казачества», постепенно накопившихся в моих житейских воспоминаниях.

2

Существование в русском обществе «вольного казачества», в последнее время иногда составляющего предмет газетных слухов и толков, возбуждающих в читателе какие-то сказочные мечтания, давно уже не подлежало для меня никакому сомнению, так как типы казацкой вольницы русская жизнь вырабатывала в огромнейшем количестве многие годы подряд и не перестает вырабатывать вплоть до настоящей минуты. Совершенно неправильно поступают те интересующиеся разнообразием русской жизни соотечественники, которые почему-то полагают, что «вольные казаки» существуют где-то в Азии, в камышах Каспийского моря или в Азиатской Турции и вообще в каких-то уединенных, неведомых и глухих местах соседних с нами государств. На наших же глазах самые,

повидимому, достовернейшие путешественники, увлеченные идеей о вольном казачестве, доходили до такого самообмана, что решились публично свидетельствовать в печати, будто бы они сами, «собственными глазами» видели десятки тысяч таких наших «вольных казаков», их деревни, пашни и церкви в разных точно указанных местностях Азии, и затем, остынув от увлечения и проверив свои мечтания документальными данными, должны были также публично сознаваться, что в действительности ничего подобного с ними не бывало и что они никаких поселений и никаких казаков не видали. Не знаю даже, мог ли бы сам славный «добрый молодец», атаман Николай Иванович Ашинов, портрет которого в настоящее время красуется в одной фотографической выставке на Невском проспекте, — не знаю, мог ли бы он по чистой совести и положа руку на сердце указать с точностью те местности, где проживает вольное казачество, атаманом которого он, кажется, себя провозглашает? Едва ли он будет в состоянии указать не только в каспийских камышах, а буквально на всем земном шаре такой пункт, где бы мог сокрыться какой-то вольный человек, да еще российский, если только этот таинственный пункт не простой чердак или погребица, то есть временное прибежище беспаспортного человека, который рано или поздно непременно будет выдворен с чердака городовым и им же водворен в общество, нисколько не напоминающее вольницы.

А между тем самое появление на белый свет какого-то атамана, а главное, легенда о вольности, пущенная в публику при помощи газет, и эти неясные слухи и мечтания о каких-то самовольно образовавшихся общинах вольных русских людей, самовольно вступающих в политические связи с Абиссинией, самовольно воюющих с итальянцами, — все это полуфантастическое, недостоверное на деле, почти неосязаемое и неуловимое, тем не менее несомненно показывает, что в русском обществе еще жив дух «удалых добрых молодцев», еще не замерла мечта о лодочках с вольными людьми-разбойничками и что жажда пожить и погулять на свете вне стеснения какими бы то ни было формами общежития еще довольно сильна в обществе, весьма уже похожем по внешнему виду на европейское.

Очевидно, что в обществе нашем жива еще вольная казацкая фантазия, живо желание достигать своих жизненных целей помощью удалой казацкой уловки: притаиться, притвориться, выждать, подкараулить, броситься, «сцапать» и утащить, а потом уже пересмеять все это, всех и вся и с удовольствием наслаждаться плодами уловки в мирном и тихом уголке, за густыми камышами законных прав и преимуществ. И мне кажется, что не надобно идти ни в Персию, ни в Азию, ни в Абиссинию для того, чтобы с полнейшей ясностью убедиться, что «вольный казак» жив-живехонек и казацкая уловка в житейских делах нашей обыденной жизни не только не дремала или не зевала, но еще и дремать-то не думала.

На наших глазах «вольный казак» (иногда числящийся по весьма солидному рангу) не проморгал, например, той минуты, когда все черноморское побережье опустело после бегства горцев в Турцию, и захватил себе на льготных условиях не одну тысчонку земли за самую ничтожную цену и с десятигодовою рассрочкой. Захватить-то захватил, да потом и раскаялся — земля попалась такая, над которой надобно так же кропотливо работать, как кропотливо работает женщина, вышивая в пяльцах узор, то есть нужно было обрабатывать каждый вершок, а этого вольный казак не любит, и денег на обработку тратить не похотел, во-первых, потому, что у него денег нет никогда; во-вторых, потому, что ему именно деньги-то и нужны. Конечно, он охотно бы продал эти тысячи десятин земли, да не найдешь, с позволения сказать, такого дурака, который бы купил. И вот на столбцах «уважаемой газеты» появляются легки лодочки с «удалыми добрыми молодцами». И говорят «добры молодцы» таковы ласковы слова: «И были мы у царя ефиопского, земельки он нам дал, обласкал и звал на житье... Царь ефиопский добер, ничего, только что черный весь и голый, и бог у яво наш, как быть следовает, и угодники всякие есть также, сказать худова нельзя. И звал нас всех двадцать пять тысяч человек на свою землю...» Прочитав это милое, детски-наивное письмецо, не естественно ли всякому, любящему свое отечество и дорожащему его преуспеянием, поднять и широко поставить вопрос о том, чтобы казна немедленно выкупила землю на побережье, поселила бы там все двадцать пять тысяч наших, «кото-

рых собственными глазами видели» такие-то и такие-то иностранные путешественники? Неужели можно эти тысячи наших сынов выбросить за пределы отечества, отдать какому-то черному и голому ефиопу? Ведь вместо десяти рублей, уплаченных в рассрочку, можно взять сто рублей за десятину! Можно ли давать маху? И вот на поверхность русской жизни выплывают легки лодочки; гребцы на этих лодочках поют удалые молодецкие песенки и, дружно налегая на весла, сквозь всякие административные камыши постепенно пробираются к сундучку.

Очень может быть, что в данном примере казацкие мелодии не увенчаются успехом; но на наших глазах тысячи самых поразительных примеров, как нельзя лучше доказывающих, что мелодии не всегда оставались мелодиями, а напротив, самым широчайшим образом осуществлялись на деле. Что же, прозёвал ли «вольный добрый молодец» башкирские земли? Польские земли? Прозевал ли он и проглядел ли банки, концессии, поставки на армию и подряды? Нет и нет! Он везде совершил предопределенное ему дело по самому широчайшему плану. Расхищение миллионов десятин башкирских земель не подлежит сомнению, и всякий, познакомившийся с этим делом подробно, может только удивляться необычайной живучести «добрых молодцев» и их молодецких идей, планов, целей, а главное, их поистине молодецких приемов, с помощью которых они въявь и воочию сумели совершать дела, исполненные самого образцового беззакония. Ни сенаторская ревизия, ни законнейшие требования генерал-губернаторской власти, ни справедливейшие требования власти губернаторской, ни, наконец, окончательные и бесповоротные решения высших правительственных инстанций, направленные решительнейшим образом против вожделения «добрых молодцев», — ничто не попрепятствовало им совершить колонизацию пустопорожних пространств именно по тому плану, который был ими задуман, и вопреки тем указаниям, приказаниям, категорическим решениям, строжайшим мероприятиям, какие предпринимались против их планов всеми родами законной власти. Несколько лет подряд законная власть не могла восторжествовать над исполнением желания «добрых мо-

лодцев», и только тогда оказалась имеющею значение, когда желания «добрых молодцев» были осуществлены ими.

Не проглядел своего «удалый добрый молодец» и в Польше. Н. И. Пирогов в своих мемуарах весьма ясными чертами рисует нам наиболее распространенный в смутное время Западного края тип обрусителя, в котором нельзя не узнать тех же черт обитателя «легкой лодочки», то есть черты «удалого доброго молодца». Будучи в собственном своем отечестве завзятым крепостником и зачуяв освобождение крестьян, он, этот «добрый молодец», чутьем поняв предстоящее положение дел, всеми способами старался поддержать в своих крестьянах веру в легенду о том, что «земля отойдет мужикам вся», что не надобно бросать наделов и лучше всего от них отказаться, довольствуясь наделом нищенским. Утвердив крестьян в этом убеждении, «удалой добрый молодец», получив в собственность всю свою землю полностью, тотчас же продавал ее и, по обычаю «добрых молодцев», истратив вырученные деньги, прятался со своею легкою лодочкой в камыши, в неизвестность, и выслеживал, откуда дует ветер, доносящий запах съестного. Дует ветер из Западного края; «добрый молодец» выезжает на лодочке из камышей, переезжает Днепр и здесь, являясь в роли обрусителя, формулирует свои молодецкие желания в такой уже форме: «Ребята, — говорил он мужикам, указывая на панский за́мок, — это все ваше!» — и при помощи таких идей сам становился обладателем панской усадьбы, которую, конечно, тотчас же и переуступал в руки жида и, промотав вырученное, опять скрывался в камышах и выжидал.

И выждал он банки, железные дороги, войны и победы — и везде ни разу, ни на одно мгновение не проглядел своего куска. Достаточно самого поверхностного воспоминания о широте на Руси банковых операций и о размерах банковых крахов, чтобы видеть, что все это были не финансовые предприятия, а то самое, что поется в песне: «под Саратовом разбойнички шалят!» Кто из людей, не причастных к компаниям наших «добрых молодцев» и наблюдавших явления русской жизни не из чащи камышей, в которых любят таиться «добрые молодцы», а при свете белого дня, — кто из таких более или менее

беспристрастных людей, читая банковые отчеты, составленные, кажется, по всем правилам финансового благоприличия, не чувствовал и не был убежден, что вместо всех этих цифр, итогов, кредитов, дебетов следовало бы написать только одно: «Сарынь на кичку!» вместо слова: «директора» — «ушкуйники», а вместо подписи коммерции советника Ивана Доримедонтовича Огурцова — славное имя Степана Тимофеевича, по прозванию Стеньки Разина. Конечно, в конце концов наиболее выдающиеся из этих добрых молодцев-атаманушек перебывали почти все «на славной Красной площади», но сущность совершенных ими финансовых операций, если читатель припомнит их во всей полноте, с полным беспристрастием, положительно та же самая, что и сущность предприятий, очерчиваемых песнею в коротких словах: «под Саратовом разбойнички шалят!» Сосчитайте, припомните, какие удивительные подвиги по этой части совершались на наших глазах в последние двадцать пять лет, какое торжество удалого молодецкого ума обнаружено обществом в разработке финансовых операций на Руси, — и вы увидите, что искать вольных людей где-то в Азиатской Турции или в Абиссинии нет никакой надобности и ни малейшего основания. Да и что бы там, в Абиссинии-то, могли сделать наши «добрые молодцы»? Там песок да голый человек, а тут под боком у нас со всех сторон благодать: и банки, и леса, и земли, и «недра» — всё! Разве в Абиссинии или в каспийских камышах найдешь хороший интендантский подряд, и разве там можно устроить так, чтобы по ветру разлетелось триста тысяч пудов сена или пропало бы несметное количество муки, и притом от одной только маленькой мыши, которая была схвачена на месте преступления? Ничего такого в Абиссинии «вольный добрый молодец» не найдет, и ему самое лучшее дело — сидеть дома и выслеживать добычу, что он, как мы видим, и делает поистине неустанно, с беспримерною последовательностью и поистине с художественным совершенством. Сравните любое из больших общественных дел нашей жизни с любым делом «добрых молодцев» и вы непременно отдадите предпочтение «работе» «добрых молодцев» перед работою просто добрых людей; возьмем для примера такие два, близкие друг к другу, дела — переселения и расхищения — и спросим себя: которое из этих дел обделано лучше? Два-

дцать пять лет закон печется о переселенцах и двадцать пять лет он же противодействует «хищному элементу». А на деле выходит, что хищный элемент настроил себе дач, заводов, мукомолен, лесопилок и живет припеваючи, а нехищный элемент — лапотник продолжает шататься по свету как бы в забытьи, толкаясь по ошибке то в Кавказский хребет, то в океан и вообще не находя себе маломальски надежного пристанища. Нет, жив «вольный казак» и жив Степан Тимофеевич, Стенька Разин по прозванию... И «пока что» — право, везде, повсюду, на всех путях его опытов и предприятий — его сопровождал непрерывный успех. Успел он в Азии, в Башкирии, в Западном крае, в банках, в интендантствах; не без успеха проникал и за пределы отечества, объявлялся в Абиссинии, в Сербии, в Болгарии и почти везде, несмотря на кратковременные посещения, сумел оставить о себе самое определенное впечатление. Вот только в Болгарии что-то не вышло, по крайней мере временно, но быль молодцу не укор, надо потерпеть, выждать, а «пока что» — и Россия не клином сошлась, и здесь еще могут быть благоприятные для «добрых молодцев» моменты, когда опять можно будет с веселым сердцем выехать из камышей на легких лодочках и провозгласить: «Сарынь на кичку!» в виде каких-нибудь грандиозных финансовых предприятий, имеющих целью «оживить» мертвые богатства. Много этих мертвых богатств и много живых «добрых молодцев» — словом, есть кому и есть где разгуляться.

Но нельзя не удостоверить того не подлежащего сомнению факта, что первые крупные предприятия «добрых молодцев», предводимых первыми крупными атаманушками, не так часто возможны в настоящее время, как это было несколько лет назад; теперь необходимы некоторые перерывы в деятельности «добрых молодцев», промежутки в несколько бездейственных лет, и вот почему вся та бесчисленная на Руси вольная казатчина, которая в недавние кипучие казацкие времена была при деле, теперь вынуждена маяться, томиться ожиданиями по нескольку лет и прикладывать свои руки из-за куска хлеба ко всякому делу, лишь бы не умереть с голода. Иной будущий атаман скромно сидит в ожидании момента где-нибудь в суфлерской будке или состоит комиссионером при гостинице. Что сулит этой вольнице будущее, я пред-

угадывать не буду, — я только хочу обратить внимание читателя собственно на размеры, в которых этот тип вольного казака распространен в нашем обществе. На скамьях подсудимых, или, как сказано в песне о Разине: «на славной Красной площади», читатель видит только отборных деятелей удалых предприятий, но ведь ими далеко не исчерпывается весь тот контингент второстепенных участников, без которых немыслимы большие операции, оканчивающиеся Красною площадью. Чтобы, например, более или менее успешно похитить, положим, участок башкирской земли, предпринимателю нужно развратить, в видах достижения своих целей, множество народу всякого звания, состояния и положения, начиная с подкупа башкирского старосты, продолжая подкупом волостного писаря и так далее через все инстанции, а ведь это значит заразить идеями удальства бесчисленное множество народу. Развращение идет не на одном только бумажном, канцелярском поприще — нет, в операции участвуют все человеческие страсти; без шампанского, без женщин, без «дам» и без арфисток там нельзя обойтись. А ведь чтобы все это обделать, как должно, надо множество рабочих рук третьего, четвертого и пятого разрядов, и вот эти-то второстепенные деятели хищений, эти случайно полакомившиеся сладким куском, случайно допившие остатки из бутылок с шампанским, — эти-то люди, знающие вкусы в удовольствиях и удачах жизни, — они-то и составляют наше вольное казачество, таящееся не в камышах, а в самом обществе, в толпе. «Вольный казак» такого типа беспрестанно мелькает решительно везде, где хоть мало-мальски пахнет каким-нибудь съестным ароматом. Он пешком пробирается по шоссейным дорогам, то побираясь Христовым именем, то пристраиваясь в обожатели к кабатчице, пока не накладут в загривок, то попадая в кафешантанные певцы, то вдруг превращаясь в хозяина гостиницы в самом бойком приморском или ином торговом городе. На железных дорогах, на пароходах, в особенности летом и в особенности на юге, всегда и в великом множестве встречается этот бродячий тип, ищущий «авось что-нибудь навернется», — человек, говорящий исковерканным языком, приметный нескладным костюмом и замашками, и всегда с особенным, «вольному добру мо-

лодцу» свойственным выражением лица: не то он подсматривает, как бы что-нибудь стащить у вас, не то хочет попросить милостыню.

Но этим типом человека, разлакомленного сладкими объедками и сладкими опивками роскошных пиршеств крупного хищничества, далеко не исчерпываются характеристические черты современного бродячего по Руси «доброго молодца». Не подлежит сомнению, что разлакомленный объедками хищнических пиршеств — самый многочисленный тип в пестрой и рваной толпе вольницы, и что стремление уловить «струю», которая бы привела к сладкому объедку, самое приметное из стремлений вообще всякого «добра молодца». Но надобно принять во внимание, что хорошо обставленное хищническое дело требовало весьма разнообразных способностей со стороны людей, в нем участвовавших; если вот этот человек годен для того, чтобы споить башкира или подкупить писаря, то не его ума было дело спихнуть с места хорошего и добросовестного чиновника, искоренить вредного человека, заткнуть рот обличителю и вообще устранить с пути к достижению хищных целей нравственные препятствия. Нужны были люди с значительными умственными способностями и с таким пониманием господствующих веяний времени, чтобы настрочить хороший, дельный донос, положим, на губернатора, препятствующего хищничеству, и чтобы поставить доброго, честного и совестливого человека в безысходное положение. Здесь надобно много ума и таланта, много тонких знаний в области зла, подвоха и всякого ехидства; для выполнения таких сложных операций требовалось развращение людей умных, требовалось уже развращение не только утробы, падкой до объедков, но и совести; здесь подкупалась и развращалась душа человеческая, и вот, после того как хищнические предприятия позатихли и между ними начались большие антракты и перерывы, то и отражения этих антрактов на людях, развращенных хищническим периодом русской жизни, стали выражаться несколько иначе, чем вообще у «доброго молодца», томящегося только о куске. Временно скомканная, развращенная, исковерканная в горячечные моменты хищничества совесть, пользуясь долгим перерывом и не находя материала для новой кляузной практики, стала вновь просыпаться у некоторых из субъектов, затянутых

в хищническое течение. Стала (чаще всего от какой-нибудь неожиданной случайности, вдруг освещавшей помраченную душу) выпрямляться, приходить в себя и, разумеется, ничего, кроме ужаса, как перед собой, так и перед всем, что сделано, что видано, слышано, ничего иного в результате пробуждения совести быть не могло. Человек, весь погрязший в грехе, вдруг начинал с поразительною ясностью видеть весь ужас своего греха и своего подлого дела, начинал разбирать в себе происхождение этой язвы, переходил к разработке тех общественных влияний и коренных причин, которые воспитали в нем эту язву, окунули его всего, с головой, с душою и телом, в грязь и грех, и вот этот тонкий и умный зверище переполнялся безграничною ненавистью ко всему, что обвиняла его проснувшаяся совесть и пробужденная мысль. Весь грязный, виноватый, подлый, он до глубины души проклинает всю свою грязь, вину, подлость, он знает зло во всевозможных источниках, видах и оттенках, — и проклятие его производит потрясающее впечатление на толпу, куда, конечно, загнала его та же пробудившаяся совесть, просветлевшая мысль. Злой и скверный, грязный знаток всякого зла, греха и всякой своей и чужой подлости, сам же проклинающий эту свою и общую подлость, — вот и еще весьма приметный тип в толпе бродячих по Руси вольных людей, «добрых молодцев», порожденных периодом хищничества на Руси.

3

В моих воспоминаниях до такой степени живо сохранилось впечатление встречи с одним раскаявшимся в собственной греховной мерзости типом, что я решаюсь сделать небольшое отступление и рассказать об этой встрече. На дворе стоял один из тех последних дней осени, в которых уже ясно чувствуется пришествие зимы: холодный ветер несет хоть и редкие, но острые, как иглы, снежинки; довольно плотным слоем прозрачного, как стекло, льда покрылись пруды, озера и еще вчера мокрые лужицы и болотца; кое-где сохранившая еще признаки зелени трава поседела и припала к земле.

В такую пору по большой дороге из Петербурга, которая видна из окон моей комнаты, плетется обыкновенно

масса всякого нищего народа: это большею частью запоздалые рабочие, пропившиеся в Питере и идущие домой без копейки, — люди, которым нет в Питере пристанища или простой возможности где-нибудь приткнуться, так как полиция давно уже гонит их за неимение паспорта; несомненно, что в числе этой рваной толпы есть немало людей, добровольно улепетывающих от полиции или от какого-нибудь темного дела. Все это во всяком случае народ, не имеющий копейки за душою, не имеющий одежды, сапог, — словом, народ, который вынужден идти сотни верст пешком, не имея возможности продать что-нибудь, чтобы доехать до места или даже только проехать две-три станции вперемежку с пешим ходом. «Подайте, Христа ради!» — просьба одежи, сапог, хлеба слышится под окном в эту пору года довольно часто; часто хлопает калитка, и иззябший прохожий проворно мелькает мимо окна, направляясь в кухню.

Вот в такую-то пору прибежал, в буквальном смысле слова, в кухню ко мне и тот прохожий, о котором я хочу рассказать. Это был огромного роста человек, лет под пятьдесят, одетый, конечно, нищенски; седая голова была острижена под гребенку, и щетина могучих усов и бороды давала возможность предполагать, что борода эта когда-то знала бритву. Но во всем этом нищенстве и запустении «человека» особенно останавливало внимание его лицо: разбойничий размах бровей, напряженная, как в сжатом кулаке, сдержанность перекошенных скул и глаза, производившие темное и страшное впечатление темных кружков двухствольного ружья, подкарауливающих удобную минуту убийства, — все это делало лицо «прохожего» необыкновенно страшным. «Разбойник, душегубец!»—так, наверное, с ужасом во всем существе, определила его кухарка в первый момент появления его в кухне, да такое впечатление он, наверное, производил на всякого. Но в этом ужасном лице было еще нечто более ужасное, чем то, что бросалось в глаза с первого взгляда: ужасное, злобное лицо это как бы беспрерывно рыдало, все признаки истерического рыдания, готового разразиться сейчас, сию минуту, были запечатлены на этом лице: от угла разбойничьего глаза по щеке и в углах губ шла едва заметная, но непрестанно-истерическая черта рыдания,

черта неподвижная, точно проведенная резцом скульптора по неживому материалу камня.

— Только щец, щец горяченьких, Христом богом умоляю!.. Погреться-с, а то во всех моих делах — полное великолепие! В великолепнейшем состоянии все дела! Только погреться-с.. Не откажите!

Черта неподвижно застывшего на лице истерического рыдания именно во время этой речи и стала мне вполне ясно видима и ужаснула меня более, чем ужасное разбойничье лицо; когда он говорил о щах, лицо это старалось принять как бы просительное выражение, но неподвижная черта, как железная сетка, сквозь которую видно какое-то другое движущееся лицо, лежала на нем.

— Россия — страна христианская, православная. Сам Христос исходил ее всю, благословляя... В тарелке щей отказу, вероятно, не будет, а во всем прочем я имею полные документальные данные. Щец-с!..

Щи, поставленные на стол, однако, не сразу привлекли его внимание, как это могло казаться ввиду сильного голода, который он, повидимому, испытывал.

— Это я ожидал! Щей в России дадут-с... Велик бог земли русской! — бормотал он хриплым и неприятным голосом. — И защита бедному обиженному — полная! Благословенная богом земля... Полная защита! Никакие враги не одолеют меня с ней! Защита у меня — вот!

Быстро опрокинув назад и набок голову, он поднял к потолку руку и, потрясая «перстом», говорил:

— Там высшая инстанция у принятия прошений, и резолюция положена: «утвердить!» Великолепное дело и неопровержимое!

— Щи-то простынут! — осторожно заметила ему кухарка, разглядев в нем, кроме разбойника, еще и несчастного.

Замечание это подействовало на него, и он стал лихорадочно глотать ложку за ложкой; но это продолжалось недолго, и прохожий скоро заговорил опять:

— Храм Николы Морского, угодника божия, известен вам-с?

— Как же! — ответил я.

— Близ театров и Никольского рынка? Посредине площади?

— Я знаю.

— Так вот-с. Подан ему мною третьего числа полный апелляционный документ по моему делу, с приложением прошений — митрополиту, в комиссию, комитет, министерства, синод, сенат, прокурору, Третьему отделению, господину обер-полицеймейстеру, всем чинам и всему капитулу и храброму воинству. Все переписано в копиях и с приложением гербовых марок. И следовательно, имею полное право возвратиться к моим нищим сиротам, успокоить их словесно впредь до получения решения...

Все это было очень похоже на бормотание сумасшедшего.

— Кому вы подали бумаги? — переспросил я его, пытаясь убедиться, сумасшедший он или нет.

— Николе Морскому-с! Угоднику божию Николаю чудотворцу-с!

Теперь лицо его было жестоко и в самом деле ужасно. Ответив мне, он смотрел на меня неподвижными дулами ружья и молчал.

— Как же ты ему подавал-то? — улыбаясь и в то же время, очевидно, «до смерти» испугавшись нелепых слов прохожего, спросила кухарка.

— Очень просто. Святитель в ризе и имеет вокруг головы сияние... Ну я и возложил ему все документы этак за сияние и поклонился в землю. В храме никого не было...

Мы не знали, что говорить и что спросить, но прохожий мог еще кое-что сообщить нам:

— Следовательно, сторож ли, или священник, но обязаны от угодника божия принять прошение с документами. Они только слуги божии, а он — угодник! При этом случае не может быть упорства, должны принять и дать ход! И вот посмотрим-с!.. Я не подаю больше-с! Не касаюсь! Угодник божий Николай чудотворец входит вместо раба своего сам и говорит... Одним словом, посмотрим-с, как-то они, инстанции-то, закряхтят-с!

Под каким-то предлогом я ушел из кухни — так было нестерпимо и слушать и смотреть на этого человека, находившегося, очевидно, в каком-то ужасном состоянии. Но при всем моем нежелании бесплодно мучить себя, слушая непонятные, кабалистические речи прохожего, я знал и видел, что он страдает, что у него на душе есть что-то

ужасное, — и меня тянуло к нему за этою тайной, и казалось даже, что отпустить его, не дав ему возможности сказать все, что у него на душе, будет делом жестоким. С полчаса отдохнув от первого удручающего впечатления, я не выдержал и опять пошел в кухню, но в сенях мы оба столкнулись с прохожим: он поел и собирался уходить.

— Что такое мучает вас? — как-то неожиданно и резко сорвалось у меня с языка.

Прохожий остановился, вперил в меня свой убийственный взгляд и несколько мгновений стоял молча и неподвижно. Вдруг, как ключ из камня, из его неподвижных темных глаз закапали слезы.

— Я сам мучил людей, — медленно выговорил он. — Я сам душегуб и кровопийца!.. Не меня мучили, я муч-ч-ил люд-дей!..

Последние слова он сопровождал медленными прикосновениями сжатого кулака к сердцу и неожиданно ослабел, не сел, а опустился на лавку, стоявшую в сенях; не будь этой лавки, он непременно бы свалился с ног.

— Я грешник! Я кровопиец!

Прижав к груди сжатый кулак, он замолчал, отвернулся и плакал... Мало-помалу он заговорил и попрежнему, все с теми же странными оборотами речи, никаким образом, повидимому, не желавшими сделаться ясными, определенными, перемешанными к тому же с текстами священного писания, полными кротости и любви, но всегда дающими возможность подразумевать, что они адресуются к какому-нибудь непременно злому человеку, которому эти тексты придутся очень не по нутру, — все это делало речь прохожего нестерпимо-утомительною и запутанною. Мысль отказывалась следить за этою скрытною, постоянно чем-то заволакиваемою речью, и я начинал уже чувствовать боль в висках, когда прохожий прервал свой запутанный монолог, остановился на минуту, кашлянул и довольно тихо произнес:

— Звали ее Франциска Станиславовна... полька!..

Тут только я начал соображать и понимать кабалистические речи моего собеседника. И вот что оказалось.

Нищий-прохожий весьма недавно занимал довольно значительное, по силе и могуществу власти, место в од-

ном из отдаленнейших и глухих уголков Сибири. Дикая, волчья, необузданная натура, подкрепленная правом не ограниченной никакими пределами власти над местным населением, развернулась в этой глуши до последних пределов широты звериных требований. Глушь, отдаленность административных центров, уловка понимать и провести начальство, звериный опыт предшественников, остававшихся безнаказанными целые десятки лет, — все это сделало из грубой и чувственной натуры нашего героя существо во всех отношениях бесцеремонное и бесчувственное. Разврат, пьянство, хищничество, разбойничьи нападения на глухие деревни инородцев для получения контрибуций всякого сорта и качества, и опять разврат, подкуп, интрига против недруга, и опять пьянство, и опять распутство — вот круг жизни этого человека в течение многих лет. И вот такой-то распутный зверь наметил себе, своим звериным глазом, жертву. Это была жена одного поляка, сосланного после 1863 года. Зверь ни перед чем не задумался; два года он убил на то, чтобы слопать лакомый кусок, и, конечно, слопал; муж несчастной женщины был сослан в глубину какой-то непроходимой тундры, а жена, промучившись с тираном полгода, отравилась и умерла... Зверь «замял дело» и притих до новых подвигов, но в один зимний день в его берлогу вошла какая-то женщина и сказала такие слова:

— А как же, господин начальник, с девочками-то быть?

— С какими девочками?

— Да ведь опосля *ее* две девочки остались... Нешто ты не видал их?

Зверь вспомнил, что «видал» девочек тогда, когда «сокрушал», тогда, когда «торжествовал», но не думал о них и при таких обстоятельствах, а тем более после того, как случилась беда и когда пришлось употребить много средств и много ума на то, чтобы замять дело.

— Где же они? — спросил зверь.

— Да где ж им быть? Куда они денутся? Как жили у меня с матерью, так и живут... А воля ваша, мне кормить их нечем!

Женщина, не окончив речи, вышла в сени, но тотчас же воротилась оттуда и привела с собою двух девочек,

десяти и восьми лет, одетых в лохмотья, в опорки, иззябших и робких.

— Едва я взглянул на этих малюток, — пристально глядя в пол и точно стараясь лучше рассмотреть какое-то непонятное и странное явление, говорил прохожий, — на их ноги. . лица. как они рукавом утирают свои обтаявшие лица... я почувствовал себя в полной их власти. Их положение, участь, будущее — все это сразу овладело мною; я увидел, что я обязан, именно я непременно обязан взять их и посвятить им всю жизнь... Когда случилась беда и мне пришлось отписываться от начальства, я также чувствовал всем моим существом, стремившимся к самосохранению, что мне нужно отписываться. Мой распутный ум указывал мне, что делать, как говорить, что писать. И точь-в-точь то же случилось теперь, только совсем, совсем иначе... Я почувствовал, что именно я должен их вырастить, защитить, укрыть и сохранить от зла, от погибели... Как вторглись в меня такие мысли, не знаю. Но я никогда не жил такими обязанностями, и они проснулись во мне сразу. Я слышал какие-то неслышные голоса их мертвой матери, их мертвого отца, я чувствовал, что где-то в могиле, в мерзлой земле дрогнуло чье-то сердце, что оно стало теплое, — и мое сердце тоже пробудилось. . Вот с этой минуты и начинается мое полное разорение, расстройство, моя гибель, мое неумолчное душевное терзание.

Зверь, который целую ночь бьется около овчарни, царапает когтями о ворота, перегрызает плетень, ломает жерди, — делает все это потому, что перед ним овчарня, запах овечьей шерсти, овечьего мяса. Пустой сарай он ломать не будет, его чутью нужен аромат снеди, возбуждающий все его умственные и физические силы. Вот такой-то аромат возбуждал умственные и физические силы и нашего зверя-рассказчика. Но пришли две девочки, с которыми он был связан преступлением, заставили его ощутить некоторую с ними связь, и умственные силы его пробудились в совершенно ином, незнакомом ему направлении. Не подлежащая сомнению связь его с сиротством девочек возбуждала в нем не звериные инстинкты, но чувство сострадания, а потом и сознание виновности, преступности и злодейства, кровопийства и кровопролития. Он пришел в ужас от самого себя. Поло-

жение девочек и лежащая на нем нравственная относительно их обязанность охватили все его существо. Он откопал бумаги, принадлежавшие родителям девочек, и, узнав, что у них был какой-то крошечный фольварк почти на границе Польши, задумал возвратить этот фольварк, попробовал хлопотать, ходатайствовать за детей тех самых людей, которых он погубил, и с каждым мгновением убеждался только в собственном ужасном нравственном падении; он натыкался на собственные свои доносы и понять не мог зверства, которое находил в них. Оно становилось для него невыносимым, и вместе с тем он не мог выносить и тех лиц, с которыми он раньше был в союзе и в дружбе. У него было новое дело, и он отдался ему с тою же зверскою страстью. Грубость, дерзость, обычные ему, перенесены были на другую почву и направлены против того, что было ему опорою. И этот переворот прежде всего отозвался на нем же самом. Прежде его любили, как умного взяточника и плута; теперь стали ненавидеть, как разлюбившего плутовство и взяточничество. Против него сразу было поднято множество замятых дел; вся эта грязь со всех сторон шла на него, расточая его достояние, приводя к нищенству, к полному разорению, грозя судом, тюрьмой, каторгой... Но он уже не мог остановиться: девочки для него с каждой минутой становились единственным лучом света; он с каждым мгновением все больше и больше привязывался к ним; без них вся его жизнь — тьма, разврат, кровь и тюрьма. Нет, ему нельзя расстаться с ними; он спасет их, выхватит их из ужасов жизни, выберется сам с ними на свет, — он найдет!

И вот он со всею энергией устремился к своей цели; он просудил все, что у него было, ожесточился на все прошлое и на все, что помогало ему жить в прошлом такою ужасною жизнью. Страх погибнуть именно за это прошлое доводил его до отчаяния, и в таком состоянии он, распродав все, что у него было, и устроив девочек у той же самой женщины, у которой они жили после смерти матери, уехал в Петербург хлопотать. Здесь он «подавал» во все места, рвался, добивался, выходил из себя и везде только терял от своего грубого, дикого нрава, от своего скверного вида, от своего скверного прошлого, которое раскрывалось, пил с горя, попадал

в участки, был бит, выгоняем в шею, опять смирялся, писал прошения с текстами архиереям, опять ожесточался и, в конце концов, полусумасшедший, голодный, рваный, опять бежал пешком домой, к девочкам, которые давно уже голодают.

— Грабителя, подлеца, зверя, развратника, попирателя божеских и человеческих законов поддерживали, хвалили, руку жали и угощали! .. А когда меня посетил бог, когда во мне бог, сам бог...

Скуластое лицо его все в слезах, и сжатый кулак глухо колотит в измученную грудь.

Не думаю, чтобы девочки могли погибнуть; некоторая доля благотворительности обязательна в настоящее время почти для каждого русского захолустья. Не думаю также, чтобы могли даром пропасть и монологи зверообразного прохожего: он пройдет (если только пройдет) тысячи верст, и все, что он скажет встречным и поперечным о своем прошлом величии и своем прошлом злодействе, будет поучительно.

Таким образом, в бродячей русской толпе, взращенной обилием возможностей не только поддерживать в человеке, а и развивать в нем до громадных размеров хищные инстинкты, слышатся не одни только воспоминания о лакомых кусках, но иной раз и жестокая критика путей, которыми это лакомство достается человеку.

4

Что касается нашего «истукана», с которого началась наша речь и к которому мы теперь на минуту возвратимся, то он, повидимому, совершенно далек от самомалейших попыток сомневаться в доброкачественности тех лакомых кусков, которые он уже отведал и которые с непоколебимою уверенностью предвидит в будущем.

— А уж жена у меня, ребята, попалась, так это, кажется, только во французских романах может быть возможно! Как приволок я из Болгарии с собой деньжонки, то и думаю: как бы мне время провести поприличнее? Нанял себе около Серпухова дачу, мезонин... Купаюсь,

хожу на станцию в буфет, покупаю газеты, букеты, завожу знакомства. Сижу однажды в трактире (около станции большая деревня выросла, пять трактиров), пью портер; садится против меня мастеровой; сел, потребовал пива, вынул из кармана целый пучок писем и давай читать вслух. А уж, надо сказать, пришел он во хмелю, в порядочном заряде. Читает письма и что дальше, то больше, на весь зал: «Ангел мой прекрасный! Я в тебя влюблена! Я вся пламенная женщина! Отчего ты не можешь соответствовать? Я родителей нисколько не боюсь! Не бойся, не будь глуп. Как ты не можешь понять своего счастия?» И таким родом оказывается, что привлекает она его, а он, балбес, упорствует. «Чего же ты, дурак, говорю, ломаешься?» — «Боязно; отец у нее — хозяин здешней гостиницы, вон, говорит, за буфетом стоит... Он узнает, сотрет с лица земли. У него урядник знакомый!» — «Да тебе-то какое дело, когда она сама не опасается?» И стал я его подхрабривать, потому что эти дела я очень обожаю... Постановил я ему коньяку с лимонадом, — дай, говорю, письма почитать. Читаю письма, окончательно прихожу в восхищение! Такая непоколебимая девица, вольная, удалая — в жизнь не видывал! Раззадорили меня ее письма, стал я этого фабричного ругать, трусом его, дураком обзывать, да постепенно его и довел. «Не боюсь, говорит, никого! (Коньячищу он осадил порядочно, пока я чтением-то занимался.) Не боюсь никого! Экая беда, что хозяйская дочь в меня влюблена... Не боюсь и хозяина! Хозяин, а хозяин! вот твоя дочь мне любовные письма пишет, а я тебя, дурака, не боюсь!» Пошел по зале шум; услыхал хозяин, испугался, выскочил из-за буфета, схватил у мастерового письма, позвал людей, проводили его в шею, а там околодочный на улице подхватил... Хозяин как выхватил письма-то да прогнал любовника, так и ушел куда-то. А мальчишка, который порции подает, бегает по трактиру: «Ну, говорит, будет теперь дело!» А меня очень подмывает узнать, что за девица такая хозяйская дочь. Подозвал мальчишку, стал его допытывать и все как есть узнал. Хозяин женат на второй; от первой жены у него две дочери и сын, но они не живут с ним в доме, потому что от мачехи нет житья никому, потому что это сущая ехидна. Длинная, худая, больная, жадная; думаешь, каждую минуту кончится,

умрет, а она все родит, злится и всех поедом ест. Вот отец-то и отделил двух взрослых дочерей, которые тоже очень, вишь, характерные и мачехе спуску не давали. Отец нанял им флигель на другой стороне улицы и поселил их с своею матерью-старухой; обед, чай носят к ним из трактира. А сын-то от первой жены и есть тот самый мальчонка-половой, который мне все это рассказал. «А что, спрашиваю, хороша твоя сестра, которая письма мастеровому писала?» — «Первая, говорит, красавица!» Захватило меня что-то за сердце, говорю: «Сделай милость, устрой знакомство!» Вынул ему две золотенькиx штучки. «Вот, говорю, ей-богу, твои будут!» — «Что ж, говорит, могу!» Уговорились, когда прийти, все честь-честью. Прихожу, как сказано, узнаю от мальчонки, что мастерового и след простыл, что сестра его очень рада и чтобы я сейчас шел мимо их флигеля, а она будет смотреть, а потом пришлет записку с ответом. Пошел... Сидит... Ну, одно сказать... ноги у меня подкосились... Развязная, просторная, в блузе... глаза, коса... Н-ну, окончательно нет слов высказать! Еле приплелся в гостиницу, послал мальчишку за ответом, — в то же мгновение возвращается. «Колька вам объяснит, как поступать, а я очень вам обрадовалась!» Колька мой и отрапортовал. В первом часу ночи прямо в окно. Старухе дадут водки, и дворнику, который в кухне, также водки, другая сестра ляжет в сенях, а я, — братишка-то сам говорит, — дом на замок запру и отцу ключ отдам... Жду, не дождусь ночи. Наконец...

Рассказчик передохнул.

— Н-ну, с этой ночи в аккурат две недели каждый божий день... и все великолепно. Это надобно описать, и то не опишешь всего нашего блаженства. Я свои деньги на водку для матери и дворника давал, не допускал ее до расхода. Все хорошо — и вдруг, братцы мои, скандал! Прямо, ни свет ни заря, накрыли! Отец, мачеха, мать — все!.. Что тут было, не приведи бог, но моя Шанька и тут меня обворожила. Как начали на нее наступать, так она первым делом в одну руку — стул; ногой дала мачехе прямо в грудь, а рукой здоровую оплеуху залепила отцовой матери... «Я, говорит, его люблю, и я в таком положении, и никто не смей!» — «Нет тебе благословения!» — «И пускай, и так обойдемся; а ежели, говорит, моего

жениха тронете, так я всех вас, как клопов, выжму...» Разбросала всю родню, как прах, во все стороны. Ну, этого дела мне не пришлось досмотреть, пришлось убираться подобру-поздорову. Поселился я на другой станции. Пошел орудовать телеграммой; она тоже по телеграфу: «Не тужи, все облажу!» И точно. Не дают ей ни денег, ни приданого. Позовет татарина, наберет на триста целковых: «Приходи, говорит, за расчетом к отцу в воскресенье!» Отца все знали — первый трактир. «Хорошо, приду». А она товар в узел да на станцию, с передачею мне. «Прими букет!» Получаю телеграмму и бегу на станцию. Я уж знаю, какой букет. Получишь, спрячешь, даешь ответ: «Убил зайца» или что-нибудь в этом роде. Так все и оборудовала. Два салопа на лисьем меху заказала, получила и скрыла...

— Ну, а как же отец-то? — в недоумении спросил кто-то из слушателей. — Ведь, чай, догадался, узнал?

— А как же не узнать? Татарин-то ведь скажет, чай.

— Так как же ей-то?

— Ей? Вот ты, следовательно, и не понимаешь, кто она такая. Ей вот что: взяла безмен — и жарь. Подошла мачеха, стала ругаться — она в нее утюгом. Пришел отец, она говорит: «Подожгу весь дом!» Стала реветь и ругаться бабка — она ее скалкой. Она вот какая, братец ты мой! Копье стальное, неустрашимое! Вот у нее какая ко мне любовь! Она теперь вот, пока что, в кафешантане в Нижнем действует, сопраной числится. Погляди-кось, как там за ней стали увиваться, а я уж верно знаю, что она меня не променяет. Она только так, между прочим, струю свою ищет, а забота только обо мне... Вот я и не робею. Знаю, что за моею спиной — стена каменная... Теперь я вот в каком состоянии, и то мне покойно, и я не спешу... Сегодня худо, завтра будет хорошо. А выжду время, замечу где-нибудь хороший кусок, свистнул, ан моя Сашка и тут!

— Да теперь-то ты отчего так ослаб?

— Ну, стоит разговаривать! Сегодня ослаб, а завтра опять шапокляк подмышкой! Чего там? Стоит рассказывать!

И точно, рассказанного, кажется, достаточно для того, чтобы читатель сам мог догадаться о неминуемости успеха в жизни этой любопытной пары, раз только судьба

даст ей возможность «попасть в струю». А в недостатках такого рода «струй» русская жизнь, кажется, обвинена быть не может.

Из этого легкого намека на элемент происхождения «вольных добрых молодцев» можно все-таки видеть, что появление на Невском проспекте фотографий, изображающих каких-то вольных атаманов, имеет несомненное основание в современных условиях русской жизни. Хотя в то же время нельзя не видеть, что кроме газетных выдумщиков ни один настоящий казак, ни один настоящий атаман не пожелает признать подлинности их казачества.

МИМОХОДОМ

1. ПАРОВОЙ ЦЫПЛЕНОК

(Рассказ, пригодный для напечатания только на святках) [1]

Нимало не протестуя против редакционной пометки, вполне точно определяющей значение этой статейки и допускающей появление ее в печати именно только в святочное время, я должен сказать, однако, что наименование «рассказ», данное редакцией этому произведению, почти вовсе не соответствует тому содержанию, которое в этой статейке заключается, и форме, в которой оно будет передано. Никакого последовательного рассказа здесь нет и не было его в действительности. Просто люди разговорились *«о душе»,* и один из собеседников, проезжий курятник, произнес по этому поводу нечто вроде реферата, почерпая весьма любопытные материалы из куриной психологии. Вот и все.

Дело было так.

Наскучив сидеть в ожидании поезда в душной маленькой общей каморке самого микроскопического полустанка N-ской железной дороги, я надумал пойти посидеть и покурить на платформе... Был темный и теплый осенний вечер, и время было довольно позднее, час одиннадцатый. Три керосиновых лампочки, расставленные по платформе на значительных расстояниях друг от друга, почти совершенно не освещали ее, и поэтому я решительно не мог рассмотреть даже при самом пристальном внимании тех темных человеческих силуэтов, группа которых, так же как и я, в ожидании поезда, собралась на платформе в самом близком от меня расстоянии. Видны

[1] Пометка одной редакции.

были какие-то черные тени, а кто они такие и что за народ — разглядеть было почти невозможно. Но разговор, который они вели между собою, был слышен совершенно ясно среди неподвижной тишины темного и теплого вечера.

К несчастью, разговор был весьма печального свойства. Дело шло о необыкновенном несчастии, случившемся на одной из ближних больших станций в тот же день, рано утром, и составлявшем предмет разговора по всей линии дороги: под поезд бросился известный всем имеющим дело с дорогой людям один кабатчик, в последние годы предававшийся сильному пьянству и совершенно обнищавший.

— Под конец-то он, братцы, уж и совсем очумел! — рассказывал один из черных силуэтов, в котором только благодаря блеснувшей при движении бляхе можно было подозревать железнодорожного сторожа. — Он уж разов пять покушался-то на это дело... Да все боязно ему было. Бежит к поезду-то, а сам орет... Поезд гремит, а он с испугу и сам орет, а бежит, руки вверх подымает! У-ух! ух! ух! И все бежит!.. Страшно, а все его несет!.. Ну, завсегда бог его спасал; добрые люди не давали пропасть... Поймают, уведут домой силом... В больницу клали... Ну, а в этот раз, видно, недоглядели...

— А орал? Не слышали?

— Потом-то рассказывали, что, мол, шибко кто-то орал... Слышали, говорят, орал кто-то, ухал все... Ну да время было ночное, глухое... Спали!.. Нет, это уж видно воля божия...

— Чорт тут распоряжается! В таких делах дьявол — хозяин и указчик, а не бог! — послышалось из глубины всей группы силуэтов.

— Это верно! — глухо отвечали в той же группе, и все на некоторое время замолкли...

Разговор был неприятен, предмет разговора мрачен и ужасающ, и поэтому беседа шла очень плохо. Но именно, быть может, потому, что предмет разговора был тяжел и многозначителен, собеседникам почти невозможно было легко отделаться от угнетавшего их мысль события и перейти к обыденной пустопорожней случайной болтовне случайно встретившихся людей. Как ни неприятно было

думать и говорить об этой нехорошей смерти, а разговор возобновлялся только о ней.

— От жены, вишь, сказывают, он так-то ослабел. Спился-то!

— Что ж ему, дураку, жена-то дороже души, что ли?

— Ну да ведь как сказать... Сбежала она от него, — ну, он и заскучал...

— Сбежала! Да чорт с ней! Бегай, куда хошь... Мало ли баб-то?

— Баб-то много, да душа-то одна!

— Надо за душу-то богу на том свете отвечать!..

— Ох, душа, душа!.. — сказал сторож со вздохом, и разговор, вероятно бы, пресекся, если бы в это время около группы неожиданно не оказался молодой помощник смотрителя станции, неслышно очутившийся около группы благодаря резиновым калошам.

Это был молодой, веселый человек; он только что получил место, только что женился, только что оделся в новую форму и чувствовал, что теперь он «похож на человека». Остановился он около группы мимоходом, чтобы закурить папиросу, и, положительно от нечего делать, весело бросил слово:

— Что у вас тут? Какая душа?..

Слово «душа» совершенно случайно коснулось его уха, когда он шел мимо; мысли его были за тридевять земель от возможности быть внимательным к каким-то чужим разговорам: он не шел, а несся к молодой жене, к горячему новому самовару и был вообще рад самому себе...

— Да вот про несчастье про нонишнее... Про кабатчика...

— Так что ж?

Он дернул спичкой о рукав и едва ли слышал, что́ ему говорят.

— Да так... болтаем... Душу, мол, бедняга свою погубил.

— Какую душу?

Быстро зажглась папироса и рассыпала кругом себя искры.

— Какая душа? Что за чепуха!

— Как же, вашкобродие? Душа-с!

— Просто пьяница! Разумеется, чепуха!

— А как же на том-то свете?

— Ну, что вздор молоть!.. Не пьянствуй, и не раздавят... Чорт знает что́! Душа!

Молодая жена и новый кипящий самовар, заполонявшие его мысль, делали его речь веселой, отдававшей запахом «трын-травы». Бросив эти несколько слов развязно и весело, он развязно и весело унесся от группы вдоль платформы и бросил оставшимся на платформе силуэтам еще два слова:

— Конечно, чепуха!..

И скрылся в темноте, подпевая «Стрелочка»...

— Нет, не чепуха! — довольно решительно проговорил какой-то из силуэтов, и темная фигура его вытянулась вверх, поглотив своею тенью все остальные темные силуэты. — И даже очень она не чепуха, душа-то!..

Появление развеселого начальника станции как бы разогнало мрачные мысли собеседников, и поэтому, не найдя сразу легкой темы для разговора, они не поддержали решительного заявления неизвестного оратора. Но это молчание не обескуражило оратора, и он тем же многозначительным тоном продолжал:

— Чепуха! Сфорсил, да и горя мало!.. Это, стало быть, ты в бога не веруешь — нигилист, больше ничего! Коли бы ты верил в бога, так не посмел бы форсить. Я и сам был тоже вроде дубовой колоды, покуда не ударило меня в башку верой... Что мы все-то понимаем? Знаем богу молиться, свечки ставить, а понимать премудрость — не можем... А между тем, как привел мне бог пойтить сначала по рыбьей, а потом по куриной части, да дал мне талант и дозволил вникнуть, так я теперча, братцы, и понял это дело!.. Да! Есть она, братцы, душа-то, есть она!. Вот что я скажу, — а не «чепуха»!

Не сразу публика взяла в толк то, что проговорил курятник; слишком много было в его речи смешано самых неподходящих друг к другу понятий и представлений. Бог, душа, рыбья часть, куриная часть. Всего этого переварить сразу темные силуэты не могли. Кто-то из них попробовал было сказать обычное в затруднительных для российского обывателя случаях: «само собой!», то есть слова, которые, повидимому, и могут быть приняты за ответ, но в сущности ровно ничего не означают (хотя даже в коммерческих делах употребляются постоянно),

но сказал это как-то робко, почти шопотом, и замолк...

Но молчание уже не могло продолжаться; тема для беседы получалась вовсе не мрачная, и разговор оживился.

— Какая же такая, позвольте вас спросить, бывает куриная душа? — очевидно приготовляясь начать продолжительный разговор, произнес не спеша и с расстановкой кто-то из силуэтов. — Позвольте узнать, на каком вы полагаете основании? Душа должна существовать христианская, а какая такая куриная или рыбья — так об этом никаким образом не может быть сказано в Писании...

— В Писании-то, положим, что об этом и действительно ничего нет, а я, вот видишь меня? — курятник Селиверстов — я вот говорю тебе — да! Хочешь ты мне верь, а хочешь не верь, а я тебе утверждаю, что когда вникнул я в рыбье, а главное, в куриное дело, тогда я во всевышнего создателя и уверовал. А то был я, одним словом, дубовый пень! Как хочешь, так и думай! Да!

В тоне голоса курятника слышалось большое одушевление, но очевидно было, что обширность темы, интересовавшей его, ставила его пред публикой в неловкое положение и затрудняла его речь.

— Да! — повторил он опять те же слова, что уже сказал ранее. — На курином деле познал премудрость. Как хочешь, так и разбирай!

Настало молчание.

— И существует куриная душа? — чрезвычайно оживленно и с явной насмешкой в голосе воскликнул один из силуэтов.

Курятник примолк, но тотчас же весь как-то встряхнулся, подбодрил себя и почти гаркнул басом:

— Сссуществует!

— Душа куриная?

— Н-да!

«Очертя голову», казалось, сказаны были эти слова, и курятник, увидев, что ему нет отступления, громко и без остановки проговорил:

— Окончательно могу сказать, хоть побожиться, говорю перед истинным богом: существует куриная душа, — чтоб мне не дожить до завтрева! Вот тебе что!

Все молчали.

— Существует! — вопил курятник.

И опять все молчали.

— Да! Есть она, братцы, есть! ..

— Ну уж, друг любезный... Ты, брат, что-то, кажется... того...

— Ничего не «того»! Чего тут «того»? Тут дело эво какое, а не «того»... Я тебя вот спрашивать буду, можешь ли ты мне отвечать?

— Чего ж мне не отвечать? Коли по-человечьи будешь говорить, так и я тебе отвечу по-человечьи...

— Не лаять же я на тебя буду!

— Ну, коли ты не будешь лаять, так и я не буду «кукуреку» кричать... Спрашивай!

— Ну, коли ты можешь отвечать, так я тебе буду представлять вопросы... Первым долгом, сичас здесь был разговор о душегубстве... Отвечай мне, почему кабатчик под вагон бросился?

— Чортово дело — больше ничего! — опять провозгласил решительный голос из группы силуэтов, не дав ответить тому силуэту, который разговаривал с курятником.

— Чортово-то оно чортово, — сказал курятник, — а главное, требуется знать, под каким предлогом чорт-то его под колесо поволок, вот главное дело в чем! ..

— Ведь сказывали тут, что, мол, из-за жены огорчился! .. — отвечал собеседник курятника. — Из-за бабы огорчился, стал пить, ну, а уж от пьянства чего не выйдет...

— Следовательно, разобравши дело, оказывается, в первоначальном основании было огорчение?

— Надо быть, так...

— Ну, а теперь потрудитесь объяснить: кое место его колесом переехало?

— А уж это вот пущай он скажет... Кое место, Михалыч, кабатчика-то переехало?

— А его, — отвечал сторож, — вот этак, по животу разрезало.

— И, конечно, спину и всё? — как настоящий эксперт, допытывался курятник.

— Уж конечно, все разворочало, что под него попалось...

— Ну, превосходно! Теперь позвольте вас спросить: когда вы утверждаете, что «от огорчения», то в каком

месте оно у него заключалось — в спине, в животе или еще в каких костях?

Вопрос показался публике в такой степени ни с чем несообразным, что после некоторого молчания часть публики разразилась громким хохотом, а собеседник курятника, как бы нехотя и вовсе не желая продолжать пустопорожнего разговора, промолвил:

— Ну, брат, я вижу, с тобой разговаривать, так надо язык суконный привешивать... А так-то, свой-то, только без толку обобьешь... И ветру-то на дворе нету, а вот у тебя в голове что-то как будто сквозняком посвистывает... В брюхе оно у него, огорчение-то, было!..

— Это в брюхе было огорчение от жены?

— Да ну тебя! Перестань молоть!.. — с нетерпением и сердцем сказал собеседник. — Плетет языком незнамо что!..

— Вот то-то и есть, что у вас-то именно и нет соображения.

— И пущай!

— Ежели у солдата отрезывают ногу, следовательно, у него нога болела, а не спина и не живот. И ежели отрезывают у меня руку, то болела, стало быть, рука, а не ухо и не нос... А когда от огорчения человек спину себе под вагоном ломает, так позвольте вас спросить, что у него болело: спина или живот?

Все молчали.

— Вот в том-то и состоит!.. Болело-то у него на совести, в душе, а не в кости, не в ребре... Вот поэтому-то и говорится: «погубил душу», — а не «чепуха!», как болтнул вон тот господин... Душа болела и душа под вагоном погибла...

— Чортова работа, больше ничего! — упорно гудел невидимый в куче силуэтов бас.

— Чортова! Конечно, это его дело! Только он ведет тебя под вагон-то не за ногу, а за совесть, за душу!.. Вот в чем дело-то!.. Нету, братцы, — есть, есть она, душа-то!..

— А куриная-то душа? — вновь заговорил тот самый собеседник, который только что было совсем прервал разговор с курятником.

— И куриная душа существует!.. Куриная-то душа

меня и на ум-то навела... Вон, видишь, плетушка моя стоит с цыплятами?

Вероятно, тут же, на платформе полустанка, где-нибудь стояла эта плетушка с цыплятами, но в темноте не было ее видно.

— Ну, видим; ну, что ж?

— Ну так вот, это я хотел наших баб в последний раз поднадуть паровым цыпленком, — только нет, не надуешь! В последний раз хотел их поморочить, всучить им вместо яиц, — ну нет, навыкли, не берут!

— Отчего же?

— Бездушный он, паровой-то цыпленок! Души в нем нет — и не плодится! Вот в чем дело. Я служу на паровом цыплячьем заводе. Так вот, в прежние времена мы и меняли паровых цыплят на яйца. Дашь бабе курочку и петушка, да и две курицы с петухом нам ничего не стоит дать за десяток, за полтора. Из двух-трех у нас выйдет десять, пятнадцать — всё барыш нам. И сначала брали. Ничего! А нам и любо вместо денег-то! А потом вдруг и не берут... Все бабы в один голос завопили: «не несутся ваши машинные куры!» — и всё тут.. И вот что ты хочешь — не несутся! И рыбье дело тоже: машинная, заводская рыба — теперь вот вырастить ее искусственным манером можно, а потомства нету! Вот ты и думай, какая тут премудрость!.. Температура тут существует — потому что горячей водой, паром действуют. А души нет!

— Да ведь он ходит, цыпленок-то машинный? Ест?

— И ходит и ест, а размышления в нем нет. Не может он подумать о жизни...

— Ну, брат, ты опять никак заплутался!..

— Заплутался или не заплутался, а ваши слова тоже без смысла... Ходит! Что ж такое ходит? Вон железная машина тоже ходит, почище лошади, а скажи-ка ей: «Налево! поверни к кабачку!» — нет, не повернет... Ходит! Это все одно, что лекрицкий свет. Мне один мой земляк, театральный ламповщик, говорит: «Погляди-кось, какой огонь выдумали!» Поглядел я и думаю: «Какой пламень в этом стеклянном пузырьке (цветком сделан) и как не лопнет!» И говорю: «Как это стекло-то не лопнет, какой огонь!» А земляк усмехнулся, говорит: «Очень страшный огонь... Плюнь, погляди, как зашипит». Плюнул я в этот тюльпан, а оно и вовсе не за-

шипело... «Как так!» — «А так, говорит, этот огонь выдумщицкий, безбожный, — он как лед холодный... возьми-ка тюльпан-то в руку»... Взял я, а он и в сам деле как лед. А ведь огонь? Вот и рассуди, где бог, а где фокус-покус... Так и в рыбе машинной и в цыпленке паровом: температура есть, а совести нет! Вот и у кабатчика в совести болело, а ежели он переломил спину, то в спине не может болеть от того, что жена сбежала... а в душе!..

— Ну, брат, ты никак опять вместо ворот на крышу с возом поехал! Почему же паровая курица не несется?

— А потому, что она тварь температурная, машинная выдумка, а не тварь божия... У паровой курицы одна температура, а у настоящей — совесть. Вот от этого она и несется... Потому что у нее существует умственное размышление и забота... В температуре этого нет, а в душе есть...

— Есть?

— Верно есть!

— А ты не лежал в сумасшедшем доме?

— Нет, бог миловал!

— Слава богу! А я думал, что начальство за тобой не доглядело, плохо запирали...

— С вашим братом поговорить по-умному, так иначе, как за сумасшедшего, и не прослывешь. — Сами-то вы что в душе смыслите?

— А ты что в куриной совести понимаешь?

— Да все понимаю!..

— Ну да что?

— Да все понимаю, всю куриную душу вижу! Чего ты гогочешь? Ты ответь мне одно: знаешь, как наседку на яйцы сажают?

— Ну, уж это — не нашего ума дело. Мы дровяники.

— Ну, а не вашего ума дело, так и молчи, и слушай... Курица, братец ты мой, не очень любит на яйцах-то сидеть.. Ей бы только яйцо снести, а потом опять в кафе-ресторан с петухами погулять, песен попеть, побормотать... Бывают такие франтихи, что ее три дня под лукошком на яйцах держат, а она все сбоку их жмется, не садится на них, думает, как иная барыня: «Ежели я сама буду с детями, то, может быть, испорчу свой бюст, и меня не будут любить!..» И жмется в угол,

а яйца так и лежат без внимания... Сними на четвертый день лукошко, а она — порх, и убежала, закудахтала, заорала на весь двор, пожаловалась о своем стеснении, а петух уже тоже как оглашенный бежит ей на защиту; тоже жалостлив! И сейчас в кусты, на Острова, в Аркадию и в маскарад. Иная такая выйдет форсунья — сладу нет! Так бабы вот как с такими форсуньями поступают: возьмет, наделает хлебных шариков, намочит их в водке и даст съесть... Форсунья-то съест и захмелеет. Вот ее хмельную-то и посадят на яйца да лукошком прикроют... Покуда она спит да о маскарадах с танцами не думает,— ан уж у нее с яйцом-то и началось знакомство... И в яйцо идет тепло и из яйца идет в нее... Сними лукошко — уж она не может встать! И сама знает, что хорошо бы ей погулять, слышит, как петух орет, романцы поет, на Острова собирается, а не может — совесть взяла ее за живое! Жалость у нее уж есть! Душа заговорила!.. И просидит свой живот до голого мяса, ни одного пера на нем не останется, просидит до боли, а из-за чего? Из совести! Из совести-то и пойдут в ней всякие мысли: и как она была в девицах (долго ведь ей сидеть-то, есть о чем подумать под лавкой-то!), и как гуляла, и что видела, и каков петух к ней подскочил, и какие перья на нем (каждое перо вспомнит, обдумает сто раз!), и как было дальше, и как она захворала, затяжелела, и как родила, и как кричала во время родов — все это она обдумает под лавкой-то... И все эти мысли-то ее из ейной души в цыплячью душу идут, и цыпленок тоже принимает ейные мысли и заботы... Он еще еле-еле на что-нибудь похож, а уже по душевной части ему наседкой все дадено, все мысли... они, как зерна маленькие, точно булавкой уколоты: то там, то сям, а потом и вырастут в большие, в настоящие куриные... Это, братцы мои, не температура в пятьдесят или сколько там градусов, а душа с душой разговаривает!.. Хоть бабу иную взять, — ходит беременная, пожару испугалась, ударила себя обеими руками об голову, — и у ребенка пятна на тех самых местах, — так и тут... Думала курица и ахала, как она в девицах состояла и как потом все вышло, — и в цыпленке бездушном то же самое в душу входит... Отчего петухов много родится? Оттого, что курица больше всего о петухе мечтает. Каждое перо помнит... Уж ежели

мужик идет к попу, к старшине, к писарю поклониться — всегда петуха несет. Очень много заботы у кур об них. Вот таким-то родом и всякие заботы из куриной души в цыплячью переходят: и о том, что в девицах надо быть, и о том, что петухи явятся, и родить надо... все это туда, в яйцо-то, и идет своим порядком... А в горячей воде ничего этого нет — одна температура... А температура нешто думает о куриной жизни? Думает она о петухах? о том, что скучно сидеть под лавкой, да нельзя, жаль ребенка? Ничего не думает! Вот и выходит цыпленок бездушный, бессовестный, без заботы и без ума!.. И от лектрицкого света также трава не вырастет... Вот что такое бог-то!.. Нет, братцы, не чепуха! Душа — дело одно, а выдумки — дело другое... Нет, не чепуха это... Это надо оченно тонко сообразить!

— Не знаю! — равнодушно сказал собеседник, — не знаю уж... Премудро что-то... По моим мыслям выходит так, что окромя христианской души будто бы никаких прочих и не положено... А чтобы, например, куриная совесть... не знаю!.. Этого мы не можем!..

— То-то и есть, что не можете...

Реферат был, очевидно, кончен и вопрос исчерпан, но так как поезд еще не приходил и время было у всех праздное, то окончить разговор на заключительных словах курятника было бы всей компании как-то не совсем удобно. Нужно было (все это чувствовали, как и в настоящих собраниях ученых обществ) *что-нибудь* возразить или дополнить... И точно, после некоторого молчания один из силуэтов, по голосу, кажется, тот самый, который тайну смерти кабатчика приписывал чорту, вдруг произнес:

— Вот ты говоришь — выдумка, — сказал он курятнику. — Уж и точно, брат, навыдумано невесть чего!.. Иду я намедни по Петербургу, по Исаакиевской площади; вижу, едет господский хороший рысак в самой первейшей запряжке: что рысак, что сани, что сбруя, полость — тысячные. У кучера-то никак позумент какой. И что же ты думаешь? Вделаны, братцы вы мои, этому самому кучеру вот в это... перед богом говорю, не вру... вот это место...

— Куда?

— Вот... Перед богом, не вру!.. Вот что хочешь... вделаны, братцы мои, часы...

— В это самое место?

— Вделаны часы огромные, в пол-ладони... И таким родом барину их видно завсегда... Так кучеру-то совестно даже!

— Это уж даже и распахнуться барин-то не желает?

— Должно быть, что по секундам ездит... Стали, надо быть, уж по секундам ездить. Дорожат!.. Делов, должно быть, полон рот.

— Ну, — сказал презрительно и небрежно курятник, — какие это выдумки. Нешто такие выдумки-то пошли!..

— Да, брат! Пошли выдумки, нечего сказать, ловкие.

Голос, которым были сказаны эти слова, прямо свидетельствовал, что это говорит непременно «неплательщик» и «недоимщик», то есть простой, серый мужичонка.

— Бывало, ездил я в Москве в извозчиках, так с Никольской на Нижегородку два рублика купец-то давывал.. «Поезжай только скорей, мне надо узнать, не пришел ли товар»... а нониче побормотал в дудку через проволоку — вот тебе и все... На Нижегородку, на Смоленскую, куда хошь разговор идет по проволоке, а нашему брату — мат!

— Телефон называется! — сказал курятник.

— Агафон или Фалалей — нашему брату, мужику, всё от выдумок-то хуже да хуже... Давит нас выдумка на всех путях, жмет... А подати — подай...

На этом выводе из всего вышесказанного, сделанном «серым» мужиком, прекратились в публике как мрачные мысли о несчастном событии дня, так и всякие фантастические мечтания, навеянные рефератом курятника. Серый мужик возвратил своим замечанием мысли всех присутствующих к действительности и закончил, таким образом, случайную беседу случайно встретившихся людей самым достойным образом, то есть так, как заканчивается в наши дни всякая беседа, о чем бы она ни началась.

ПРИМЕЧАНИЯ

КОЙ ПРО ЧТО

(Из заметок деревенского обывателя)

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том первый. Третье издание Ф. Павленкова. СПб., 1889.

Цикл «Кой про что», состоящий из пятнадцати рассказов, по важности проблематики и по художественным достоинствам является наиболее крупным и значительным собранием беллетристических произведений Успенского второй половины 80-х годов.

Полностью этот цикл сложился только в Сочинениях (издание второе, 1889). Впервые под заглавием «Кой про что. (Отрывки из памятной книжки)» в журнале «Северный вестник» за 1886—1887 гг. были напечатаны всего десять произведений в следующем порядке: «Последнее средство», «Развеселил господ», «Добрые люди», «Урожай», «Разговоры в дороге», «На бабьем положении», «Петькина карьера», «Два строя жизни. — Монолог Пигасова», «Не быль, да и не сказка», «Заметка».

В Сочинения из этих произведений не вошел очерк «Два строя жизни. — Монолог Пигасова», но Успенский пополнил состав цикла еще шестью рассказами: три из них появились в том же журнале в 1887 году — «Недосуг! (Рассказ деревенского обывателя)» и два рассказа под заглавием «Осенью. (Страницы из деревенского дневника)», которые в Сочинениях получили названия: «После урожая» и «Избушка на курьих ножках»; другие два рассказа — «Про счастливых людей. Святочный рассказ» и «Выпрямила. (Отрывок из записок Тяпушкина)» — были напечатаны впервые в 1885 году; рассказ «Взбрело в башку. (Из записок деревенского обывателя)» появился позже — в «Русской мысли» 1888 года.

Журнал «Северный вестник», где была напечатана бо̀льшая часть рассказов цикла «Кой про что», был подцензурным изданием, поэтому произведения писателей демократического направления часто подвергались здесь исправлениям рукою цензора. Об этом

с горечью рассказывает Успенский в письме от 15 марта 1888 г. к редактору журнала А. М. Евреиновой. Напоминая ей о загубленных цензурой в «Северном вестнике» циклах очерков «Хорошего понемножку» и «Мечтания о трудовой жизни», Успенский говорит: «Только тогда я, скрепя сердце, решился писать очерки под бессмысленным названием «Кой про что». Я всегда писал так, что, начиная первый очерк, знал, какой будет и десятый. Тут, в «Северном вестнике», я впервые перестал знать — что писать, стал постоянно ослаблять работу своей мысли, стал покоряться безобразиям цензуры и положительно махнул рукой, не протестовал ни словом, являясь перед моими читателями в самом изуродованном расплюевском виде. Есть корректуры, на которые страшно смотреть. Пять строк от конца одной главы, столько же от начала другой — соединялись метранпажем «ручным способом», и получалась глава». (т. XIV, стр. 107).[1]

При перепечатке рассказов «Кой про что» в Сочинениях в 1889 году Успенский подверг их правке, в основном стилистического характера. Имея основания опасаться за судьбу издания, писатель не восстановил все цензурные купюры, за исключением частичного восстановления текста в рассказах «Последнее средство» и «Петькина карьера» (см. ниже). Текст рассказов «Кой про что» был искажен также многочисленными мелкими ошибками, вкравшимися по вине наборщика и корректора журнала «Северный вестник», — это устанавливается по сохранившимся наборным рукописям отдельных рассказов. Часть этих ошибок была исправлена автором при подготовке текста своих Сочинений, бо́льшая часть их перешла в последующие издания, не замеченная автором.

Объединяя рассказы в цикл в Сочинениях, Успенский расположил их так, чтобы они были тематически больше связаны между собою; кроме того, он сделал ряд вставок в конце или в начале отдельных рассказов для перехода от одной темы к другой или связал их сюжетно общим именем какого-либо героя.

Все рассказы в целом дают выразительную картину разоренной деревни конца 80-х годов и тяжелого положения крестьян — печальный итог крестьянской «реформы» 1861 года в годовщину ее двадцатипятилетнего «юбилея»; Успенский здесь показывает также растерянное состояние и ренегатство части народнической интеллигенции в эпоху реакции 80-х годов после разгрома «Народной воли».

---

[1] Письма Г И. Успенского везде цитируются по изданию: Полное собрание сочинений Г. И. Успенского, т. XIII и т. XIV, изд. АН СССР, 1951 и 1954 гг.

По своим высоким художественным достоинствам цикл «Кой про что» является одним из наиболее интересных произведений Успенского 80-х годов. Он разнообразен по жанру — Успенский здесь выступает как мастер рассказа на социальные темы и как искусный новеллист, как политически острый сказочник и как превосходный очеркист, как автор злободневной статьи и замечательного эстетического трактата. Успенский, пожалуй, как нигде, предлагает вниманию читателя щедрое изобилие ярких художественных образов, подчас глубоко психологически разработанных. Прекрасное знакомство Успенского с языком, бытом и мировоззрением народа и его уменье передать основную сущность его речи дали здесь поистине блестящие страницы диалогов и целых рассказов, переданных устами персонажей из народа.

1. ПОСЛЕДНЕЕ СРЕДСТВО

Рассказ был напечатан впервые в «Северном вестнике», 1886, III. Рукопись рассказа не сохранилась.

Судя по письмам Успенского к А. М. Евреиновой, рассказ в корректурных гранках, вместе с двумя другими произведениями этого же цикла («Развеселил господ» и «Добрые люди»), подвергся большой авторской правке, причем в рассказе «Последнее средство», из боязни цензурных осложнений, Успенский изменил какие-то две сцены. Несмотря на эти поправки, цензор сделал в журнальном тексте существенные купюры, затуманившие смысл рассказа. За отсутствием наборной рукописи трудно установить все цензурные изъятия; очевидно, только часть из них, особенно искажающих содержание рассказа, Успенскому удалось восстановить в Сочинениях: например, слово «сицилист», которое везде было вычеркнуто цензурой и заменено многоточием; отдельные фразы и слова, намекающие на «земельные процессы», на крестьянские бунты против помещиков, на правительственные «усмирения» крестьян и т. п. Вероятно по требованию цензуры было изменено и первоначальное заглавие рассказа, который самим автором в контрактах его с Сибиряковым по изданию собрания сочинений назывался «Из-за земельки».

В рассказе «Последнее средство» Успенский исторически правдиво показывает тяжелое положение русской деревни середины 80-х годов, создавшееся как следствие «половинчатости» пресловутой реформы 1861 года. Недостаточность земельных наделов, отсутствие сенокоса, леса, пастбищ заставляли крестьян обращаться за арендой на кабальных условиях к помещикам и кулакам типа Ивана Мироныча. Правительство Александра III в земельном

вопросе стремилось поддержать дворянско-помещичье землевладение. Основание в 1882 году Крестьянского банка должно было рассеять надежды крестьян на новый передел земли. Крестьянский банк не облегчил положения среднего и беднейшего крестьянства, так как для получения ссуды требовалось известное имущественное обеспечение. Кроме того, цена земли, покупаемой через Крестьянский банк, была дороже рыночной, что опять-таки было выгодно помещикам. Часто крестьяне не имели возможности выплатить во-время банковые взносы и совсем теряли свою землю. «Нехватка» земли вызвала в конце 70-х и в 80-е годы многочисленные стихийные и неорганизованные крестьянские волнения, выражавшиеся, в основном, в захватах помещичьих земель, бунтах при отрезке крестьянских земель и при взыскании недоимок; эти бунты усмирялись правительством очень жестоко. Успенский всем ходом изложения событий в рассказе оправдывает все «последние средствия» крестьян, доведенных царским правительством до ужаса голодной смерти.

2. РАЗВЕСЕЛИЛ ГОСПОД

Рассказ был напечатан впервые в «Северном вестнике», 1886, III. Сохранилась наборная рукопись второй половины рассказа, мало отличающаяся от журнального текста. При перепечатке в Сочинениях рассказ был стилистически выправлен автором.

По своей тематике этот рассказ продолжает серию произведений Успенского, посвященных силе и значению «власти земли» для крестьянина, даже оторвавшегося от земли и получившего уже новую профессию в городе.

В рассказе показываются и типы рядовой народнической интеллигенции (земец и хроникер), пережившей развитие и крах революционного народничества и находящейся в середине 80-х годов в состоянии общественной депрессии. Успенский иронически рисует и характерный для тех лет тип молодого человека, который в поисках пути служения обществу растрачивает свои силы на увлечения различными теориями «малых дел».

Стр. 20 ...*тащит к Палкину*... — ресторан Палкина на Невском проспекте.

3. ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Рассказ был напечатан впервые в «Северном вестнике», 1886, III. Сохранилась полная наборная рукопись с многочисленными очень мелкими разночтениями сравнительно с журнальным тек-

стом. При перепечатке в Сочинениях Успенский внес в рассказ некоторые изменения стилистического характера.

Любовно изображая «одинокие фигурки» добрых людей, Успенский здесь же утверждает, что они «не имели никакого общественного значения» в деревне, потому что терялись среди деревенских хищников и живорезов, олицетворявших, по мнению писателя, «известный порядок вещей», который довел крестьян до каторжного труда, нищеты и разорения.

Прототипом Ивана Николаевича послужил плотник, крестьянин Вологодской губернии, приезжавший ежегодно на заработки в деревню Сябринцы и бывавший в доме писателя. В архиве Успенского сохранились его письма и «сочинения» из жизни крестьян, содержанием которых Успенский воспользовался в качестве материала для рассказа «После урожая».

4. НА БАБЬЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Рассказ был напечатан впервые в «Северном вестнике», 1886, XII. Сохранилась полная наборная рукопись с мелкими разночтениями сравнительно с журнальным текстом. В рукописном и в журнальном текстах основным персонажем рассказа был плотник Силантий; в Сочинениях Успенский поместил рассказ «На бабьем положении» вслед за рассказом «Добрые люди» и связал их единым героем — плотником Иваном Николаевичем.

Рассказ интересен характеристикой деревенского быта, нравов и обычаев крестьян, особого положения и значения женщины в крестьянском труде.

Стр. 50. *Причт* — все духовенство, служители этой церкви.

5. УРОЖАЙ

Рассказ был напечатан впервые в «Северном вестнике», 1886, IX. Сохранилась первая половина наборной рукописи с небольшими разночтениями сравнительно с журнальным текстом. При перепечатке в Сочинениях Успенский внес в рассказ некоторые изменения стилистического характера.

В рассказе затрагиваются важные вопросы социального положения и экономического состояния крестьянства того времени. Несмотря на заглавие рассказа, об урожае, как «редком» стихийном явлении, Успенский говорит лишь в начале и в конце повествования, причем писатель показывает, как это временное материальное

благополучие раскрывает в измученных и озлобленных людях прекрасные душевные качества русского народа. Однако основная и наиболее сильная по материалу и художественной выразительности часть рассказа посвящена изображению разорения русской деревни, как последствия крестьянской реформы 1861 года. Успенский показывает различного рода «нехватки» в жизни крестьян, и прежде всего «нехватку» земли, вследствие чего начинается бегство крестьян из деревни в город, возникает стихийное переселенческое движение, разрушение крестьянского хозяйства, распад крестьянской семьи. В отличие от многих народников 80-х годов Успенский уловил характерные изменения и в психологии и в мировоззрении крестьян-рабочих, появившиеся в результате их многострадальных странствований за куском хлеба, расширение их кругозора и озлобление против правительственной администрации.

Материалом для начала и конца рассказа послужил действительно имевший место в 1886 году большой урожай в деревнях Новгородской губернии. Содержание второй, третьей и четвертой глав рассказа было подсказано Успенскому воспоминаниями о поездке его на юг в мае — июле 1886 года. В третьей главе рассказывается о бунте на пароходе странствующих «деревенских рабочих», очевидцем которого был сам автор (см. его письма от 7 июля 1886 года к жене и к В. М. Соболевскому).

Стр. 57 *...опись «с сопротивлением»...* — насильственная опись имущества крестьян за недоимки, вызывавшая сопротивление или бунт крестьян, которые обычно жестоко усмирялись правительственными войсками.

Стр. 58. *«На свете счастья нет...»* — из стихотворения Пушкина «Пора, мой друг, пора!», которое как раз в 1886 году было напечатано в «Русском архиве» (кн. 3, вып. 9). В последней строке у Пушкина: «чистых нег».

— *Переселенческое движение...* — Переселение крестьян, стихийно возникшее в результате безземелья, нищеты и голода после реформы 1861 года, особенно развилось в 80-е годы. Крестьяне средних губерний устремлялись на юг России, в Сибирь и на Восток. Правительственная организация переселенческого движения была очень плоха, в ней царили неразбериха, бесправие и злоупотребления, всей тяжестью ложившиеся на плечи крестьян, которые зачастую, потеряв все на родине и не получив ничего на чужбине, возвращались на свои прежние места окончательно разоренными. Успенский много писал о переселенческом движении (см. его «Письма с дороги», «Поездки к переселенцам» и др.).

Стр. 59 и 66. Некоторые из сведений, напр. о 23 000 рабочих и о кровавой драке в Бердянске, взяты Успенским из «Севастопольского листка», 1886, №№ 62 и 80.

Стр. 71. *Ашинов Н. И.* — авантюрист из пензенских мещан. В 1883 и 1886 гг. совершил нашумевшие в России путешествия в Абиссинию, вступил в сношения с негусом Иоанном, а в 1889 году с отрядом «вольных казаков» в 150 человек, при поддержке Победоносцева и Каткова, отправился добывать колонии для России, занял крепость Сагалло (Восточная Африка), принадлежавшую Франции, был оттуда выбит, разоружен и отправлен обратно в Россию. Боясь международного скандала, русское правительство отреклось от Ашинова и распорядилось выслать его в Якутскую область. Успенский неоднократно упоминает о нем в своих очерках конца 80-х гг.

6. ПЕТЬКИНА КАРЬЕРА

Рассказ был напечатан впервые в «Северном вестнике», 1886, XII. Два варианта автографов опубликованы в изд.: Г. И. Успенский. Сочинения и письма в одном томе, ГИЗ, М. — Л., 1929 (в настоящее время эти автографы утрачены). Все тексты рассказа — рукописные, журнальный, в Сочинениях — лишь незначительно расходятся между собою, за исключением конца рассказа, который имел несколько существенно отличающихся друг от друга редакций, отражающих колебания писателя в его размышлениях о роли и значении капитализма в судьбах русского крестьянства.

В первой рукописной редакции конца рассказа кратко говорится о дальнейшем движении Петьки по пути превращения крестьянина в городского «машинного человека», о его страданиях в смрадных подвалах Петербурга и неизбежной скорой гибели. Заканчивается рассказ воплем матери по поводу смерти Петьки: «И зачем я тебя, горемычного, родила?» и вопросом автора: «А как же без спичек-то?», то есть как же без технического прогресса, без фабрики, без капитализма?

Вторая рукописная редакция конца рассказа значительно полнее. Текст расширен введением новых мотивов: неравного «соревнования» Петек со спичечным фабрикантом; возрастающего значения Петьки в его семье; антагонистичности материальных интересов рабочего и фабричной администрации. Описание тяжелой жизни Петек в подвалах петербургских трущоб и их катастрофического вымирания дано более образно и подробнее. В концовке рассказа

круг вопросов расширяется, и тема благодаря этому углубляется. К причитаниям матери над мертвым Петькой прибавляются ее недоуменные и горестные восклицания — из-за чего же мучился Петька на фабрике и как теперь без него она сможет жить. Вопросов автора тоже стало больше — он спрашивает не только о том, как же быть «без спичек-то», но и почему же все-таки должен погибать человек из-за спичек и как же теперь сможет жить мать без помощи и поддержки сына. Рассказ завершается предложением автора не трогать этих вопросов, а просто поблагодарить Петьку.

В журнальный текст не вошел весь конец рассказа, начиная с описания страданий Петек в городе. Этот конец был отброшен, очевидно, не по воле автора, потому что в Сочинениях он его восстановил, но, вероятно также по цензурным соображениям, сократил описания невыносимо тяжелых условий быта Петек в городе и их борьбы с различного рода городскими «администрациями». В концовке рассказа Успенский откинул все вопросы в причитаниях матери и авторские вопросы по поводу того, что же важнее — развитие капитализма или человеческая личность. В Сочинениях остается только благодарность писателя Петьке с пояснением, что в лице Петьки он благодарит рабочего человека за его тяжелый и безрадостный труд «на пользу общества».

В рассказе «Петькина карьера» Успенский, в противоположность народникам, дал выразительную картину нищей семьи безземельного крестьянина, разрушения натурального хозяйства деревни перед развивающейся силой «власти денег» и бегства крестьян из деревни в город за заработком.

По свидетельству сына писателя, Б. Г. Успенского, в основу сюжета рассказа положена подлинная история мальчика из деревни Сябринцы, Чудовского уезда, Новгородской губернии. «Около станции Чудово, — пишет Б. Г. Успенский, — в 80-х годах купец И. И. Лапшин построил спичечную фабрику, которую назвал в честь своей дочери «Ираида». Все дети из бедных крестьянских семей Чудовской округи, начиная с семи-восьми лет, работали на этой фабрике. Приказчики фабрики развозили по деревням лучинки и этикетки спичечных коробок и раздавали их для клейки по крестьянским семьям. Чтобы выработать десять — двенадцать копеек в день, дети до света садились за клейку коробок и кончали работу уже при керосиновом освещении. Коробки сушились в сетках, развешанных тут же, под потолком избы. Воздух в избах был промозглый, кислый от картофельного клея, сырой и тяжелый от обилия влаги. Промысел этот чрезвычайно вредно отражался на здоровье всей семьи, жившей в избе, а в особенности, конечно, на здоровье де-

тей» (Глеб Успенский, Избранные произведения. Изд. «Московский рабочий», 1949, стр. 594—595).

Стр. 87. *Преображенка* — Преображенское кладбище в Петербурге.

7. «НЕДОСУГ»

Рассказ был напечатан впервые в «Северном вестнике», 1887, IX, вне связи с циклом «Кой про что» и с подзаголовком «Рассказ деревенского обывателя». Рукопись не сохранилась; при включении рассказа в Сочинения Успенский внес лишь несколько мелких исправлений.

В стройной и искусной композиции рассказа переплетаются две темы, характерные для всего цикла. Одна из них, на которой основана вся трагическая история маляра Егора, — бедность, «нехватка» во всем и одиночество, «сиротство и беззащитность» крестьянина в условиях полного разложения общины в деревне, когда всем «недосуг» думать о делах и жизни ближнего. Вторая тема, обрамляющая историю Егора, — тема общественного индифферентизма современной интеллигенции 80-х годов, в «недосуге» личных бытовых мелочей не замечающей тяжелого положения крестьянства.

Стр. 89. *Тифин* — Тихвин.

8. ПОСЛЕ УРОЖАЯ

Рассказ был напечатан впервые в «Северном вестнике», 1887, X, вне связи с циклом «Кой про что» и под особым заглавием: «Осенью. (Заметки деревенского обывателя)». В архиве Успенского сохранилась наборная рукопись и три корректуры с многочисленными авторскими поправками. В процессе постепенной работы над произведением Успенский сделал сокращения, а также ряд вставок, поясняющих жизнь и события в деревне Гололобово, углубил и расширил внешнюю и внутреннюю характеристики отдельных персонажей; особенное внимание Успенский уделил разработке психологической характеристики трудовой крестьянской женщины Анны. Успенский много работал и над стилем рассказа и стремился к более живой форме построения диалога. В последних корректурных гранках начала рассказа красными чернилами была сделана большая купюра цензурного характера. В вычеркнутом тексте, в сопоставлении со свободолюбивым Парижем, давалась резкая характеристика чиновничьего царского Петербурга, в канцеляриях которого живое

народное дело превращалось в официальные бумаги с бездушными к нуждам народа решениями. (Эта цензурная купюра напечатана полностью в издании: Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, т. X, кн. I, изд. АН СССР, 1953, стр. 517—518.) Перепечатывая очерк в Сочинениях, Успенский не восстановил эту цензурную купюру, но в очень сокращенной и политически смягченной редакции включил этот отрывок в первую главу цикла «Письма с дороги», заново переработанного Успенским для Сочинений (см. стр. 281—282 настоящего издания).

В рассказе Успенский показывает две крестьянские семьи, образовавшиеся в процессе расслоения деревни под влиянием развивающегося капитализма: жизнь семьи бедняка, наполненную «недостачами» и «тяжким неусыпным трудом», и семью с «прочным складным крестьянским хозяйством», богатство которой было достигнуто уже не крестьянским трудом, а заработками на стороне. Рассказ интересен и замечательными образами крестьянок: Анны — бедной, но независимой, умной труженицы, и невесты Марфы, которая чертами своего характера — мягкостью, весельем, ловкостью и любовью к труду — может создать в деревенской трудовой семье «тепло» и возбудить в муже «силу на крестьянство».

Отрывок из этого рассказа появился в издании для народа под заглавием «Как обманывают темных людей» (изд. В. И<кскуль>, «Правда», 1891) и пользовался в 90—900 годы большим успехом на чтениях в деревне, поражая слушателей-крестьян своей жизненной правдой и верностью действительности.

Стр. 102. ...*даст ему Рубинштейна*... — имеется в виду опера А. Г. Рубинштейна «Демон» (1875).

— *Фельдман О. И.* — врач, дававший публичные сеансы гипноза.

Стр. 104. *Патти* Аделина (1843—1919) — знаменитая итальянская певица, приезжавшая на гастроли в Россию.

9. ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ

Рассказ был напечатан впервые в «Северном вестнике» 1887, XII, как четвертая, с особым заглавием, глава рассказа «Осенью, (Заметки деревенского обывателя)», вне связи с циклом «Кой про что». В архиве Успенского сохранились лишь небольшой отрывок из середины рассказа и гранки второй половины рассказа, незначительно, в отдельных словах и выражениях, отличающиеся от журнального текста и текста Сочинений.

Рассказ (ср. «Развеселил господ») построен на противопоставлении идеализированного представления о крестьянской жизни в труде для себя (хотя и с оговоркой: «если только благополучно утвердиться») — тяжелой жизни оторвавшегося от земли крестьянина, скитающегося на заработках по городам и селениям. Но жизнь Михайлы с женой, осевших опять на землю, и в крестьянстве показана писателем-реалистом без народнической идеализации — в тяжком труде и во всевозможных «недостачах», в «большом горе людей, живущих в маленькой избушке».

10. РАЗГОВОРЫ В ДОРОГЕ

Рассказ был напечатан впервые в «Северном вестнике», 1886, XI. Сохранилось начало ранней, более краткой, редакции и полная наборная рукопись, от которой журнальный текст отличается, в основном, небольшими сокращениями и исправлениями стилистического характера. При перепечатке рассказа в Сочинениях Успенский не внес в него почти никаких изменений и только передвинул его с пятого места в цикле на десятое.

Основная тема рассказа посвящена семье, взаимоотношениям между мужем и женой, положению, правам и обязанностям женщины. Эта тема очень занимала в те годы Успенского — в настоящем томе см. рассказ «Не быль, да и не сказка» и «Заметка» из цикла «Кой про что», а также рассказ «Ноль — целых!» из цикла «Живые цифры».

В первой главе писатель рассказывает об оживлении за последние годы народной мысли и о повсеместных шумных и содержательных «разговорах в дороге» среди народа, в «третьем классе». Успенский противопоставляет им молчаливость «первого и второго классов», русской интеллигенции, ее общественный индифферентизм под угнетающим воздействием правительственной реакции середины 80-х годов и обусловленную этим эволюцию народнической интеллигенции в сторону либерализма; Успенский вспоминает при этом живые и полные глубокого общественного значения «разговоры в дороге» в шестидесятые годы. На эту тему Успенский пишет также не раз в своих очерках и рассказах 1884—1887 годов — в настоящем томе см., например, начало очерка «Пока что».

Рассказ основан на воспоминаниях о путевых впечатлениях, полученных Успенским во время его поездки на юг в мае — июле 1886 года (см. первые четыре главы цикла «Письма с дороги» в настоящем томе).

11. НЕ БЫЛЬ, ДА И НЕ СКАЗКА

Рассказ был напечатан впервые в «Северном вестнике», 1887, II. Рассказ, в котором в не свойственной Успенскому аллегорической форме передавались сложные морально-общественные вопросы, с трудом давался писателю — об этом свидетельствуют сохранившиеся в его архиве четыре наброска начала рассказа. Сперва Успенский думал написать «сказку»: первый набросок назывался «Цветок. Сказка», второй — «Зерно и земля. Сказка»; оба наброска вошли потом в переработанном виде в рассказ цветочной былинки. В третьем и четвертом набросках, уже с окончательным заглавием, сказочность сюжета исчезает, повествование принимает форму путевых заметок, а воображаемый разговор автора с цветком объясняется усталым состоянием путешественника. В наборной рукописи и в гранках были строки, исключенные уже из журнального текста, в которых яснее была выражена основная мысль произведения — сравнение семьи буржуазного, «культурного» общества, в которой жизнь мужа и жены идет «врозь», с семьей в «народном строе» с его «однородностью труда» мужчины и женщины; при этом буржуазная семья олицетворялась образом цветка, в котором стебель с цветком (жена) тянется вверх, а корень (муж) глубоко уходит в землю, а крестьянская семья олицетворялась овощами, у которых и корень и плод (муж и жена) «всё увместях».

В журнальной редакции цикла рассказ «Не быль, да и не сказка» следовал за очерком «Два строя жизни. — Монолог Пигасова» (в Сочинения не вошел), где Успенский устами Пигасова доказывал преимущества семейной жизни в народной среде по сравнению с буржуазной семьей; в последней Успенский подчеркивал нетрудовую, хищническую основу, отсутствие между мужем и женой общности духовных интересов, базирующихся на равном участии в общественной жизни, ненормальное, нетрудовое воспитание детей. См. на эту же тему рассказ «Ноль — целых!» в цикле «Живые цифры».

Стр. 186. «*Джон Ячменное Зерно*» — баллада народного поэта Шотландии Роберта Бернса (1759—1796).

Стр. 190. ...*пишут в газетах*... — Успенский использует здесь статью Н. С. «Гарантии мира. (Военные аэростаты и взрывчатые вещества)», напечатанную в «Русских ведомостях», 1887, № 34, 4 февраля. Автор статьи рассказывает о новых изобретениях и усовершенствованиях в военных аэростатах и взрывчатых веществах, которые, по мнению его, сыграют решающую роль в будущих войнах Западной Европы.

— *Пар муа* (франц.) — ежемесячно.

Стр. 190. *Лежион д'онер* (франц.) — Почетный легион; имеется в виду орден Почетного легиона.

Стр. 191. *Люксембург*—Люксембургский сад, разбитый в XVII в. при Люксембургском дворце в Париже, — любимое место для прогулок парижан.

Стр. 193. *Расхищение башкирских земель* — правительственные переделы (в 1832 и в 1869 гг.) земель, принадлежавших башкирам в Уфимской и Оренбургской губерниях, — предмет сильнейшей спекуляции со стороны правительства и частных лиц. См. об этом у Ленина (Сочинения, т. 3, стр. 218, примеч.) Успенский не раз с возмущением писал об этом — см. его циклы очерков: «Бог грехам терпит», «Письма с дороги», «От Оренбурга до Уфы» и др.

12. ЗАМЕТКА

«Заметка» и в рукописных и в печатных текстах шла дополнением к рассказу «Не быль, да и не сказка». В наборной рукописи она называлась «Заметка «кстати». Очевидно, цензура не допустила к печати в журнальном тексте слова, имеющиеся в рукописи, о том, что досуг обеспеченных людей Персии был куплен «чужими трудами, чужим потом и кровью»; строки о том, что существующие отношения между мужчиной и женщиной в буржуазном обществе, «неизбежные при известном строе жизни», могут стать иными только при его «коренном изменении»; выброшен конец заметки, в котором говорилось, что капиталистический строй должен быть заменен «народным строем» (в Сочинениях вместо этих строк появилась более осторожная концовка: «Мы не беремся...» — см. стр. 202 настоящего издания).

Так же, как и в рассказе «Не быль, да и не сказка», морально и социально разложившейся семье буржуазного общества Успенский противопоставляет трудовую семью «в среднем и особенно низших классах».

Заметка Успенского основана на материале, который он почерпнул из статей: *Д. К.* «Персидский эндерун. Письма из Тегерана» и *П. Д. Боборыкин* «Дюма-сын в новом освещении». Обе статьи были напечатаны в «Вестнике Европы», 1886, октябрь.

Стр. 198. *Хуссейн* (VII в.) — сын калифа Али, которого персияне считали единственным законным наследником Мухаммеда. Представление «тазие» заключалось в торжественном оплакивании судьбы Хуссейна и его потомков, погибших в битве, из-за чего персияне навсегда утратили главенство в мусульманстве.

Стр. 198. *Дюма-сын* Александр (1824—1895) — известный французский драматург и романист, который в своих художественных произведениях и брошюрах («Мужчина и женщина», «Убей ее!» — «Tue-la!» и др.) развивал тему о положении женщины в семье и обществе.

— *Де Рион* — герой пьесы Дюма «Друг женщин» (1864).

Стр. 199. *Бурже* Поль (1852—1935) — французский поэт, романист и критик-импрессионист. Статья П. Д. Боборыкина, которую цитирует Успенский, является изложением критического этюда (essai) Бурже «Александр Дюма-сын», напечатанного в одном из его сборников (в русском переводе в двух томах: «Очерки современной психологии». Пер. Э. Ватсона, СПБ., 1888).

Стр. 200. *Шопенгауэр* Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист. Слова Успенского: «нечто страшное-престрашное» относятся к фразе Шопенгауэра, цитируемой в статье Боборыкина: «Мужчины побуждаются, когда они любят, не безнравственной похотью, не божественным обаянием. Они работают для гения рода; не зная того, они в одно и то же время — его орудия, его маклера и жертвы его обмана» («Вестник Европы», 1886, X, стр. 484).

Стр. 202. ...*во втором томе этого издания*... — Успенский имеет в виду второй том второго издания своих Сочинений, где он поместил цикл очерков «Письма с дороги», в котором и пишет о «мечтаниях и мечтателях», — см. настоящий том, стр. 360—366.

13. «ВЗБРЕЛО В БАШКУ»

Рассказ был напечатан впервые в «Русской мысли», 1888, VI, как самостоятельный рассказ тогда, когда весь цикл «Кой про что» был уже давно закончен. Однако это произведение тесно связано с рядом рассказов цикла — в нем говорится о событиях, происшедших «после урожая» осенью 1887 года в той же деревне Сябринцы, Новгородской губернии. В архиве Успенского сохранились два небольших отрывка рукописи и полная корректура ранней редакции рассказа с многочисленными поправками, рукописными вставками и вычеркнутым текстом, свидетельствующими о коренной переработке рассказа.

Первая редакция рассказа — простое бесстрастное изложение одного из деревенских происшествий; в окончательной редакции Успенский показывает нам сложную психологическую драму, вызванную определенными социальными условиями и истолкованную писателем при помощи его теории «власти земли». Соответственно этому коренной переработке подвергся образ Ивана Алифанова —

вместо рядового крестьянина первой редакции, выбитого из привычной колеи волей «слепого случая», во второй редакции мы встречаемся с умным, независимым, волевым человеком, благородным и совестливым. Сложнее даны и его переживания, связанные с воспоминаниями о его первой любви, освобожденные во второй редакции от всех элементов плотского, чувственного; многообразнее показаны и его взаимоотношения с женой. Муки, страдания и падение Ивана Алифанова во второй редакции объясняются отходом его от «трудовой тяготы» крестьянской жизни, появлением в деревне «не-деревенских» неожиданностей, «не-деревенских» переживаний, городских «сентиментальностей». В первой редакции рассказа Ивана Алифанова бог покарал за грешные мысли и поступки в отношении к Аннушке, во второй редакции грех стал гораздо более серьезным — грех по отношению к «земле-матушке». Мечтания Алифанова «о счастии труда в поле, в лесу, в доме» возбудили в нем жажду жизни и способствовали полному его духовному возрождению как крестьянина.

Рассказ «Взбрело в башку» не раз печатался в «изданиях для народа». Еще при жизни писателя, в 1890 году, в изд. «Пчелка-Правда» В. И. Икскуль этот рассказ, совместно с рассказами «Четверть» лошади» и «Квитанция», вызвал отрицательный отзыв цензора С. И. Коссовича, который обращал внимание цензурного комитета на то, что все три рассказа «написаны на одну и ту же тему о безвыходном положении бедного класса». «В рассказе «Взбрело в башку», — писал цензор, — описываются похождения крестьянина Ивана Алифанова. Долго жил этот крестьянин обстоятельно, некогда было ему думать про «свою жизнь», за постоянною и усиленною работою. На его несчастье наступил урожайный год. Алифанову открылась возможность отдохнуть. Явился досуг, а за ним и думы. Припомнились мужику обиды, перенесенные им безвинно в течение долгой его жизни. Закручинился Алифанов, запил. Пил он без просыпу и чуть не замерз пьяный на улице. В больнице он опомнился и увидел ясно, что от всех бед одно только ему развлечение на земле — каторжный труд». Рассказы были допущены к печати только «в виде исключения для баронессы Икскуль».

В издании для народного чтения рассказ читался в среде фабрично-заводских рабочих, и, судя по отзывам рабочих, это произведение было правильно понято ими: «Один рабочий понял было, что автор хочет сказать, что «все произошло из-за свободного времени». Другие слушатели ему возразили: «Не из-за свободного времени, а потому, что обстановка тяжела вообще, виною всего — «тягость

положения», только по этой причине свободное время отзывается так тяжело».

Сюжет рассказа основан на подлинном происшествии в деревне Сябринцы. В. Г. Короленко в своих воспоминаниях «О Глебе Ивановиче Успенском» рассказывает о прототипе Ивана Алифанова: «Сюжет рассказа разыгрывался у него <Успенского> на глазах в Чудове, и на некоторое время всех нас, своих друзей, он втянул в эту печальную историю, все фазы которой он переживал, как мы переживаем разве опасную болезнь самых близких людей. В этот раз он уговорил меня ехать с ним в Чудово, желая показать этого человека:

— Может, вы ему что-нибудь скажете... Вы не можете себе представить, что это за человек!.. Какая душа! Просто замечательная! И как его всего перевернуло... Вот вы увидите сами... вот увидите!

Человек этот был местный крестьянин, занимавшийся извозом, и, приехав в Чудово, Глеб Иванович тотчас же кинулся к перилам деревянного вокзального перрона, выглядывая своего Герасима (имя я, впрочем, забыл) среди ожидавших на площади извозчиков...

Герасима не оказалось, и вместо него нас повез другой извозчик, мужичонко неприятного вида, болтливый, с фальшивыми нотами в голосе. Глеб Иванович спросил у него о Герасиме, и затем, при разглагольствованиях нашего возницы, какие-то тени внутренней боли проходили по его лицу.

— Вот... вот видите...— сказал он мне при какой-то особенно резнувшей ухо фразе извозчика...— Никогда Герасим не скажет такого. Ник-когда! Просто удивительно деликатный человек...» (В. Г. Короленко. Собр. соч., т. 8, Гослитиздат, М., 1955, стр. 41).

О прототипе Олимпиады Петровны Успенский пишет в своих письмах к жене и к Гольцеву от 8.VI.1888 г.

14. «ВЫПРЯМИЛА»

Очерк был напечатан впервые в «Русской мысли», 1885, V, в цикле «Через пень-колоду». Рукопись не сохранилась. Замысел очерка возник в 1884 году. В письме к М. М. Стасюлевичу от 22 декабря 1884 года Успенский обещает ему написать работу «в совершенно новом роде, без всякого народничества». «Я начал для «Вестника Европы» небольшой очерк «Венера Милосская»,— пишет Успенский,— работа совершенно новая и, я уверен, для многих из моих читателей совершенно неожиданная по теме, хотя ни по со-

держанию, ни по форме не имеющая ни малейших претензий явиться в чужой шкуре или представиться знатоком художественных произведений. Нет, это просто рассказ, так сказать, о личном знакомстве человека улицы с такими неожиданными для него впечатлениями, которых он долго даже понять не может, но от которых и отделаться также не может, критикуя ими ту же самую уличную, низменную действительность, к которой он сам принадлежит. Этот рассказ мне хвалили почтенные люди, — но я решительно не могу взяться за него теперь, я просто утомлен».

Замысел не получил в 1884 году полного осуществления, но в архиве Успенского сохранился черновой набросок первоначального конспекта этого очерка под заглавием «Венера Милосская (Очерк)» и с зачеркнутыми подзаголовками: сначала — «Из деревенского дневника», потом — «Воспоминания несчастливого человека». Конспект очерка остался незаконченным, но в нем уже были намечены все основные темы будущего очерка «Выпрямила».

В «Русской мысли», в цикле «Через пень-колоду», очерк «Выпрямила» был напечатан между двумя очерками того же цикла — «IV. Недописанная глава» и «VI. Окончание недописанной главы». В этих очерках были поставлены те же вопросы, что и в очерке «Выпрямила», но политически более остро и резко. В картинах из деревенской жизни Успенский показывает тех же «скомканных в перчатку» условиями российской действительности бесправных крестьян, несправедливо и оскорбительно для человеческого достоинства подвергающихся различным наказаниям, а также и людей, защищающих законные интересы крестьян и за это преследуемых властями. Успенский в этих очерках декларирует и основные принципы передовой литературы. Выступая против эстетов и любителей «чистого искусства», Успенский характеризует лучшую русскую литературу, начиная с Пушкина, как литературу, выражающую интересы народа, вдохновляемую идеей «выпрямления человеческой души», то есть освобождения крестьян от рабства, и освобождения справедливого, с землей; он отстаивает право и необходимость современного ему демократического писателя «писать вообще о мужике», о его нуждах и добиваться улучшения его жизни. В окружении этих очерков произведение «Выпрямила» ближе связывалось с крестьянской тематикой и, с другой стороны, приобретало большее злободневно-политическое значение. В Сочинения очерки «Неоконченная глава» и «Окончание неоконченной главы» Успенский не включил.

В очерке «Выпрямила» писатель показывает людей, «скомканных» как русской действительностью (крестьяне-новобранцы, народник

Тяпушкин), так и западноевропейским капиталистическим строем, где царствует мнимая «правда», где «всё одно унижение, всё попрание в человеке человека». Но пафос «Выпрямила» — в мечте о лучшем будущем русского народа, о «выпрямленном» человеке, свободно трудящемся на своей земле, освобожденном от несправедливостей правительственных властей и «жестокостей» капитализма. В связи с этим Успенский рисует образы людей «выпрямленных», гармоничных. Писатель находит три таких гармонии: красоту труда в образе крестьянки, живущей полной трудовой жизнью; красоту революционного подвига в образе революционерки, самоотверженно борющейся за права народа; красоту искусства — того искусства, которое тесно связано с жизнью, имеет непреходящее эстетическое и вместе с тем общественно-воспитательное значение.

Таким образом, очерк «Выпрямила» является и замечательным трактатом демократической материалистической эстетики и ярким политическим выступлением против представителей «чистого искусства», поднявших свой голос к середине 80-х годов. Сущность образа статуи Венеры Милосской, воспетой эстетами за красоту линий «божественного тела», была заново открыта русскому обществу 80-х годов с точки зрения писателя-демократа. Развивая в своем очерке основы материалистического учения Чернышевского о «прекрасном», Успенский понимает «прекрасное» в искусстве не только как начало высокоидейное, народное, тесно связанное с жизнью и общественно ценное, но утверждает и действенное начало искусства, которое, по его мнению, не только воспроизводит действительность в ее существенных чертах, но и помогает изменению жизни, вдохновляет на преобразование ее.

В основу очерка «Выпрямила» легли воспоминания Успенского о поездке его за границу в 1872 году. В письме к жене из Парижа от 10 мая 1872 года он с восторгом пишет о Лувре, называя его «великим целителем», и далее: «Тут больше всего и святей всего Венера Милосская... с лицом, полным ума глубокого, скромная, мужественная, мать, словом, идеал женщины, который должен быть в жизни — вот бы защитникам женского вопроса смотреть на нее... это действительно такое лекарство, особенно лицо, от всего гадкого, что есть на душе...» А. И. Иванчин-Писарев рассказывает, с каким трепетным волнением Успенский показывал ему Венеру Милосскую во время своего второго пребывания в Париже в 1875 году. Он сообщает и слова писателя: «Очевидно художник хотел показать не прелести Венерки, а красоту человеческой души, способной проникнуться великим, слиться с ним. С такой душой в гармонии и внеш-

ность, выражение всей фигуры». И далее: «В ней, в этом существе, — только одно человеческое в высшем значении этого слова!» («Заветы», 1914, № 5).

С. М. Киров, прочитав этот очерк в тюрьме в 1912 году, писал оттуда М. Л. Маркус «о неотразимом впечатлении», которое произвел на него этот очерк («Литературная газета», 1939, 1 декабря).

Стр. 232. *Тяпушкин* — герой цикла очерков «Волей-неволей» (1884).

— *...Кажется, в «Дыме» устами Потугина И. С. Тургенев сказал...* — Имеются в виду слова из рассказа И. С. Тургенева «Довольно. (Записки умершего художника)»: «Венера Милосская, пожалуй, несомненнее римского права или принципов 89 года».

— *Венера Милосская* — древнегреческая статуя богини любви, найденная в 1820 году на острове Милосе.

— *«...принципов восемьдесят девятого года».* — Имеется в виду «Декларация прав человека и гражданина», политический манифест французской буржуазной революции, выработанный Национальным собранием 4—27 августа 1789 года.

Стр. 236. *...фигура девушки строгого, почти монашеского типа* — собирательный образ революционерки. Создавая этот образ, Успенский имел в виду, в основном, В. Н. Фигнер, приговоренную в 1884 году к смертной казни, которая была заменена двадцатилетним заключением. Это подтверждается упоминанием имени Фигнер в конспекте очерка «Венера Милосская», указанием на это А. И. Иванчина-Писарева в его воспоминаниях об Успенском («Заветы», 1914, № 5) и словами самой Фигнер в письме ее к А. В. Успенской от 25 ноября 1904 года, уже после смерти писателя: «...в 1884 г., во время суда, Глеб Иванович просил мою сестру передать мне, что он мне завидует... Глеб Иванович видел во мне — в эти минуты — цельного, нераздвоенного человека, шедшего определенной дорогой, без колебаний, без оглядки. видел личность, у которой есть что-то заветное, ради чего отдает всё. Именно этой цельности, я думаю, он и завидовал» (В. Н Фигнер, Собр. соч., т. VI, Письма, изд. политкаторжан, М., 1929).

Стр. 237. *Лувр* — музей в Париже.

Стр. 239. *Только что кончились война и коммуна, и еще действовали версальские суды.* — Речь идет о франко-прусской войне 1870—1871 годов и о Парижской Коммуне, образовавшейся 18 марта 1871 года. Контрреволюционное правительство Тьера обос-

новалось в Версале (город в 17 км от Парижа), отсюда и название — версальские суды, совершавшие в течение нескольких лет кровавую расправу над коммунарами после разгрома Парижской Коммуны в мае 1871 года.

Стр. 239. *Вандомская колонни* — была воздвигнута в честь побед Наполеона при Вандоме в 1805 году. Парижская Коммуна постановила снести колонну, как «символ грубой силы и ложной славы...»

— *Тюильри* — дворец в Париже; до 1871 года был резиденцией французских императоров; в 1871 году, во время Коммуны, пожар уничтожил центральную часть дворца.

— *Саторийский лагерь* — военный лагерь в местечке Сатори, в трех километрах от Версаля, где происходили расстрелы коммунаров.

Стр. 241. *«au nom du peuple français»* — «во имя французского народа».

— *...упекали его в Кайену, Нумею...* — места ссылки и каторги. *Кайена* — город французской Гвианы; *Нумея* — столица Новой Каледонии, колонии Франции на Тихом океане.

— *Гамбетта* Леон (1838—1882) — французский политический деятель, буржуазный республиканец; после падения Парижской Коммуны ознаменовал свою парламентскую деятельность рядом компромиссов с капиталистами и монархистами.

Стр. 242. *Ордевр* (франц.) — закуска.

— *Бедекер* — путеводители по всем странам и городам Европы, выпускавшиеся фирмой Карла Бедекера в Лейпциге на разных языках для туристов всех наций.

Стр. 249. *«Венера Милосская»* — стихотворение А. А. Фета; под первоначальным заглавием «Милосская Киприда» было напечатано в «Современнике» в 1857 году.

15. ПРО СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

Рассказ был напечатан впервые в «Книжках недели», 1885, январь, как самостоятельное произведение, вне цикла «Кой про что». Рукопись рассказа не сохранилась; был включен в цикл «Кой про что» в Сочинениях с очень незначительными разночтениями.

По свидетельству самого Успенского в его письме к В. М. Соболевскому от 3 января 1885 года, материалом для рассказа послужили «аварские сказки». Интерес к ним появился у Успенского, вероятно, во время его путешествия по Кавказу в феврале — марте 1883 года, а источником послужили записи сказок, напечатанные

в «Сборнике сведений о кавказских горцах», вып. II, Тифлис, 1869. В этом собрании, записанном и переведенном на русский язык аварцем Айдемиром Чиркеевским, имеются все три сказки, вошедшие в рассказ Успенского в вольном пересказе. Обрамлением этих сказок служит разговор на злободневно-современные темы трех дорожных спутников — солдата, приказчика и лакея, акцентирующий в сказках те мотивы, которые необходимы писателю для освещения основной темы рассказа.

Наиболее существенная разница между первой аварской сказкой — «Богатырь Назнай» — и рассказом Успенского заключается в концовке. Сказка кончается счастливым избранием на трон труса Назная. В рассказе Успенского Ахметку никто не выбирал, он сам «влез» на престол, как наследник умершего царя, и правил царством «без ума», делая всё «наоборот»: достойных людей «перерубил», а негодяев и дураков «всячески изукрасил»; в результате народ снял Ахметку с престола и выгнал из царства. Счастье, основанное на удаче, оказалось непрочным. В этом рассказе современники могли прочесть политические намеки на Александра III, чего, видимо, боялся и Гайдебуров, редактор «Недели», говоря в письме к Успенскому о том, что рассказ пройдет хорошо, «если цензура не откопает в нем каких-нибудь недозволительных намеков» (Сб. «Глеб Успенский. Материалы и исследования», изд. АН СССР, 1938, стр. 261).

Вторая сказка — «Букучихан» — также отличается от рассказа Успенского концовкой. В аварской сказке лисица, вняв мольбам Абдулки (в сказке — Букуча), прощает его и не выдает тайны; в рассказе лиса его разоблачает, и Абдулка прогоняется народом. Счастье, полученное чужим умом, — тоже не настоящее счастье.

Основное расхождение рассказа Успенского с третьей аварской сказкой — «Охай» — наблюдается в том, что в сказке пастух хочет жениться на дочери хана потому, что ему «надоела бедность»; в рассказе Успенского герой его возмущается социальной несправедливостью в распределении благ земных между богатыми и бедными и отказывается служить богачам.

Рассказ Успенского кончается апофеозом умному, смекалистому крестьянскому сыну, который, разрывая сословные преграды, путем науки и благодаря своей решительности, твердой воле и уму самостоятельно достигает счастия, богатства и власти. Эта концовка является заключением и всего цикла «Кой про что».

Рассказ «Про счастливых людей» переиздавался неоднократно, начиная с 90-х годов, в серии книжек для народа. В 1891 году этот

рассказ вышел в издании «Правды», не раз с большим успехом читался среди малограмотных и был правильно воспринят слушателями. Отзывы об этом имеются в книге «Что читать народу» (т. II и т. III, 1906), а также в статье Е. Волковой («Образование», 1897, № 4).

ПИСЬМА С ДОРОГИ

Печатаются по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова. СПб., 1889.

В своей наиболее полной последней редакции 1889 года «Письма с дороги» представляют собой самый крупный публицистический цикл очерков Успенского второй половины 80-х годов, проблематике которого сам писатель придавал большое значение; над окончательным оформлением этих «Писем» он много работал.

Творческая история цикла «Письма с дороги» очень сложна: в Сочинениях он сложился из ряда ранее написанных циклов очерков, которые целиком не были включены автором в его Сочинения. Новый цикл вобрал в себя отдельные части цикла «Письма с дороги» 1886 года, часть очерков цикла «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле» 1887 года, страницы из первого очерка цикла «Несбыточные мечтания» 1885 года, два очерка из цикла «Очерки русской жизни» 1885 года и отдельный очерк «Трудовая жизнь» и «труженичество» 1887 года. При перепечатке почти все очерки подверглись большой переделке, а некоторые из них были переписаны Успенским заново. О принципе переработки Успенский говорит сам в предисловии ко второму изданию Сочинений (т. I, 1889): «Ввиду того же желания — дать каждому тому более или менее определенное содержание — я и в настоящем издании вместо буквальной перепечатки «Писем с дороги», которые писались мною в течение трех лет и составили бы не менее двух томов объема первого издания, — исключив из них частые повторения об одном и том же вопросе, неизбежные при повторении этих явлений в дорожных встречах разных лет и разных мест, — выбрал из этих писем только то, что казалось мне наиболее заслуживающим внимания, а то, что в письмах этих не могло быть проверено личным наблюдением, дополнил на основании материалов, которые могла дать местная провинциальная пресса».

Именно такой творческой переработке Успенский подверг «Письма с дороги», напечатанные впервые в восьми фельетонах в «Русских ведомостях» 1886 года (№ 110 от 24 апреля, № 113 от

27 апреля, № 122 от 6 мая, № 127 от 11 мая, № 134 от 18 мая, № 147 от 1 июня, № 153 от 7 июня, № 163 от 17 июня).[1] В Сочинениях они составили *первые четыре главы* (*«Веселые минуты»*, *«Дополнения к предыдущей главе»*, *«Люди всякого звания»* и *«Мирошник»*) новой редакции «Писем с дороги». Эти «Письма» появились в результате поездки Успенского на юг, продолжавшейся с марта до середины июля 1886 года. Писатель ездил по Северному Кавказу, был на кавказском побережье, в Крыму, в Одессе, Севастополе; он путешествовал и по железной дороге, и на лошадях по станицам, и на пароходах по Кубани и вдоль берега Черного моря. Причиной этой поездки Успенского было стремление к более широкому и разностороннему изучению русского народа. «Здесь столько выкинуто из России преоригинальнейшего русского народа, что просто глаза разбегаются», — пишет он с дороги 7 апреля 1886 года В. М. Соболевскому (т. XIII, стр. 501). «Письма с дороги» были наполнены непосредственными свежими наблюдениями над природой, экономикой и народонаселением Кавказа. Успенский фиксирует явления проникновения капитализма на Кавказ — и в развитии железнодорожного и промышленного строительства, и в сельском хозяйстве (табачные и пшеничные плантации), и в появлении, с одной стороны, дельцов разного типа, «агентов» капитала, и, с другой стороны, «нарождающегося пролетариата». Вместе с тем он правильно отмечает замедленность промышленного развития Кавказа; на запоздалость экономического «завоевания» Кавказа указывал и Ленин, ссылаясь при этом на Успенского.[2] Свои внимательные наблюдения Успенский подтверждал и дополнял печатными документальными данными, которые он черпал из книг, журналов и газет того времени, с цитатами и ссылками на соответствующую литературу. Кроме того, «Письма с дороги» являлись не просто «путевыми заметками» — они включали в себя и основную проблематику творчества Успенского в те годы, выраженную главным образом в ряде интересных и важных отступлений от основного текста — изложения путевых впечатлений.

Слова Успенского о коренной творческой переработке газетного текста «Писем с дороги» для Сочинений подтверждаются сохранившейся в архиве писателя полной наборной рукописью новой редакции: половина текста написана рукою писателя заново, рукописный текст перемежается столбцами печатного текста из «Русских

---

[1] В этой редакции «Письма с дороги» напечатаны в издании: Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, т. X, часть первая, изд. АН СССР, 1953.

[2] В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 520—521.

ведомостей», наклеенными на листы почтовой бумаги, с большой авторской правкой и вставками на полях. Успенский произвел большую работу по изменению композиции цикла, стремясь к более стройному логическому расположению материала, объединению его вокруг основных тем цикла и устранению всего случайного, злободневного. Весь текст ранней редакции писатель основательно и тщательно выправил стилистически, характеристики «оригиналов», «мечтателей» и «фантазеров» стали острее и получили иронический отпечаток. Успенский внес ряд дополнений: в первую главу «Веселых минут» он включил, во-первых, в сокращенном виде выброшенные цензурой из рассказа «После урожая» страницы, содержащие в себе оценку чиновничьего Петербурга с его бюрократическим отношением к народным нуждам страны, и, во-вторых, заново написанные страницы с характеристикой пустопорожности «внутреннего отдела» петербургской газетной прессы; в главу II «Дополнения к предыдущей главе» Успенский ввел рассуждения о бесправии, социальном неравенстве и угнетении личности, царящих при «купонном» строе, — эти страницы написаны Успенским на основании материалов книги Летурно «Эволюция морали» и сборника «К решению женского вопроса»; сюда же в сокращении был помещен очерк «По-хорошему и по-худому» из цикла «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле», в котором разбирается драма Л. Н. Толстого «Власть тьмы». Однако в связи с иными задачами нового цикла «Писем с дороги» в целом, а отчасти из-за боязни цензурных осложнений Успенский многое исключил в последней редакции и отказался от ряда важных и острых в политическом отношении частей «Писем с дороги» 1886 года. Так, оказались исключенными: замечательная исповедь, имеющая автобиографический характер, интеллигента-шестидесятника, дожившего до эпохи реакции; отступления с воспоминаниями о самоотверженной работе в деревне народников-пропагандистов 70-х годов; намеки на деятелей революционного народничества. Кроме того, в последнюю редакцию не вошли и упоминания о печальных результатах крестьянской «реформы» 1861 года, строки о нищих переселенцах, о рвении приставов по взыскиванию с крестьян долгов, о разговорах среди крестьян по поводу нового размежевания, о лондонских «беспорядках», о рабочих стачках и усмирении рабочих «военными командами»; исчезли и страницы полемики Успенского с правыми народниками, славянофилами и толстовцами, обращение к молодым писателям с призывом отражать в своих произведениях жизнь народа и с резкой критикой дворянской и буржуазной литературы; остались не включенными и ряд строк из дорожных впечатлений описательного характера. Вместе с тем, бла-

годаря всем этим сокращениям и ряду дополнений, ярче выделилась основная тематика этих первых четырех глав нового цикла: с одной стороны, обличение бюрократизма, антинародности и продажности всех государственных институтов царской России; с другой стороны, усиление критики капитализма с противопоставлением ему идеального (утопического) трудового народного строя. Эта новая редакция первых глав «Писем с дороги», прежде чем появиться в Сочинениях, была напечатана в «Русской мысли», 1888, IV, V, VII и VIII.

Главы «V. Человек, природа и бумага», «VIII. Мелкие агенты крупных предприятий» и *«IX. Рабочие руки»* ранее были напечатаны в цикле очерков «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле», появившемся в «Русских ведомостях» 1887 года (в Сочинения целиком не вошел). Этот цикл возник как продолжение очерков «Письма с дороги», недаром сам Успенский позднее называл оба эти цикла «письмами с дороги разных лет» (в предисловии ко второму изданию Сочинений 1889 года). По авторскому замыслу очерки «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле» должны были показать русское общество конца 80-х годов («Мы») во всех его социальных прослойках и на всех поприщах его деятельности — политическом, общественном, культурном. Однако интересный замысел не был осуществлен полностью ввиду цензурного искажения и запрета многих очерков цикла, затрагивающих «опасные», с точки зрения цензуры того времени, темы в области внутренней и внешней политики русского правительства.[1] Из цикла «Мы»...» в Сочинения вошли вновь проредактированные самим автором для цикла «Письма с дороги» только те очерки, в которых затрагивались либо темы, связанные с критикой правительственного бюрократизма, в частности в крестьянском переселенческом движении («Человек, природа и бумага» и «Мечтатель, доверившийся бумаге»), либо с развитием капитализма в России («Мелкие агенты крупных предприятий», «Рабочие руки», часть очерка «По-хорошему и по-худому» — анализ драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы»).

Очерк «V. Человек, природа и бумага» печатался сначала двумя отдельными главами: «Человек, природа и бумага» («Русские ведомости», 1887, № 19 от 20 января и № 22 от 23 января) и «Мечтатель, доверившийся бумаге» (там же, № 50 от 21 февраля); в последний очерк вошла история мещанина Данкова. Сохранились два

---

[1] Цикл «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле» полностью напечатан в издании: Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, т. X, часть вторая, изд. АН СССР, 1954.

рукописных отрывка и два варианта корректурных гранок очерков для «Русской мысли», где они появились ранее (1888, IX), до выхода в свет Сочинений. При перепечатке Успенский существенно изменил первый очерк; это коснулось прежде всего композиции. В газетном тексте тема очерка развивалась в следующем порядке: изложение статьи Ядринцева о вольных переселенцах — алтайцах, разговор приятелей о «бумаге» и изложение статьи Шаврова о заселении черноморского побережья. В Сочинениях разговор о роли и значении «бумаги» в российском государстве, как главную тему, Успенский поставил в начало очерка и затем иллюстрировал эту тему двумя противоположными примерами — вольными переселениями, «без бумаги», крестьян (из статьи Ядринцева) и принудительными правительственными переселениями (из статьи Шаврова). Мало того, Успенский еще значительно расширил очерк, написав вновь начало — о мытарствах русских переселенцев со сравнениями положения переселенца и эмигранта: этот текст является творческой переработкой первого очерка из цикла «Несбыточные мечтания», не вошедшего целиком в Сочинения. Кроме этих основных изменений, Успенский сделал еще ряд сокращений и добавлений в тексте, причем автор стремился к замене отдельных слов и выражений, которые могли бы обратить на себя внимание цензуры, особенно в строках о жестокости правительственных распоряжений, «бумаги», в отношении к «несчастному элементу» — переселенцам. Однако основное содержание очерка, заключающееся в изображении бездарности, антинародности и бездушия царского административного аппарата в осуществлении и организации крестьянского переселенческого движения, от «осторожности» писателя мало пострадало. Весь текст Успенский подверг большой стилистической правке.

Четвертая, заключительная глава очерка «Человек, природа и бумага», в газетной редакции имевшая особое название «Мечтатель, доверившийся бумаге», в рукописи до нас не дошла, а в Сочинениях была перепечатана автором из «Русских ведомостей» почти без изменений, за исключением двух-трех сокращений и изменений цензурного характера, сделанных с разрешения Успенского редактором «Русской мысли» В. А. Гольцевым. В этой главе, уже на материале современности, показано то же равнодушие властей к нуждам крестьян и та же неорганизованность аппарата управления, расхождение между тем, что говорится в «бумаге», и тем, что творится в действительности. Процесс мещанина И. В. Данкова, обвинявшегося в «склонении крестьян к переселению», обмане и вымогательстве у крестьян, слушался 28, 29 и 30 ноября 1883 года на сессии курского окружного суда и подробно излагался во всех га-

зетах за первую половину декабря 1883 года. Успенский в своем очерке воспользовался не только газетными заметками, но и целым рядом документов, которые сохранились в его архиве (свыше семидесяти листов): выписки из судебного дела, копия обвинительного акта, показания Данкова, выступления прокурора и защиты, выписки из показаний крестьян на суде; телеграммы Данкова, Никифораки, курского губернатора, удостоверение начальника Черноморского округа, выданное Данкову; выписки о льготах для переселяющихся крестьян из «Положения о заселении Черноморского округа» 1866 года; «Частная жалоба» от 23 марта 1883 года Е. К. Данковой на имя «обер-прокурора Правительствующего Сената» с изложением дела ее мужа и свидетельствами о бедственном положении его семьи, и т. д.

Из цикла «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле» в «Письма с дороги» при редактировании их для Сочинений вошли еще два очерка: *«Мелкие агенты крупных предприятий»* и *«Рабочие руки»*. Рукописи обоих очерков не сохранились. Очерк «Мелкие агенты крупных предприятий» был сначала напечатан в «Русских ведомостях» 1887 года, № 254 от 15 сентября, с пропущенным по вине редакции общим заглавием цикла «Мы»...»; с неполным заглавием цикла очерк «Мы. Рабочие руки» появился там же, № 259 от 20 сентября. В Сочинения очерки вошли с небольшими изменениями и сокращениями; слово «капитал» Успенский заменил словом «купон», имеющим настолько меткое образно-сатирическое значение, что оно вошло в обиход и не раз употреблялось Лениным в его статьях со ссылкой на Успенского.

Оба очерка построены на материале наблюдений Успенского во время его поездки по Волге и Дону во второй половине июля и первой половине сентября 1887 года. Успенский считал, что эти очерки в какой-то мере открывали новую линию проблематики в его творчестве. В письме к редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому в октябре 1887 года писатель сам сообщает об этом: «. .я теперь поглощен хорошей мыслью, которая во мне хорошо сложилась, — *подобрала и вобрала в себя* множество явлений русской жизни, которые сразу выяснились, улеглись в порядок. Подобно *власти земли* — то есть условий трудовой народной жизни, ее зла и благообразия, — мне теперь хочется до страсти писать ряд очерков «Власть капитала». Два фельетона, которые вы напечатали, это только образчик того, что меня теперь занимает...» С конца 80-х годов явления капитализма настолько занимают Успенского, что становятся основной проблемой его творчества и основным мерилом в освещении вопросов русской жизни. Уже в этих двух очерках

писатель выказывает острую наблюдательность в фиксировании различных сторон явлений капитализма. В очерке «Мелкие агенты крупных предприятий» он искусно нанизывает на острие сатиры различных «агентов» капитала в их многообразных обличиях. В очерке «Рабочие руки» он показывает другую категорию людей эпохи капитализма — «человека-верблюда», жертву развития капиталистических отношений; Успенский уже не верит в возвращение к крестьянской жизни этих «рабочих рук», вместе с тем писатель отмечает и нарастание в рабочих народного гнева, стихийного протеста против эксплуатации, считая его еще только «началом» дальнейшего развития рабочего движения. В рассуждениях о «фазисе» Успенский обнаруживает знакомство с марксистскими работами о капитализме, но его интересует здесь, в основном, морально-этическая сторона — разрушающее действие капитализма на человеческую личность. Полное признание «власти капитала» в России с сознанием всех неизбежных противоречий, которые он с собою несет, далеко уводило Успенского от народников. Несмотря на мрачные выводы о гибельном воздействии на трудящихся «власти капитала», этот очерк замечателен и глубоким оптимизмом в его страницах, посвященных русскому народу, — как в сценке среди моряков на пароходе, где вскрываются обаятельные качества «живой детской души» трудового человека, его жизнерадостность и добродушие, так и в картине работы крестьянских женщин, рисующей жизнеутверждающую красоту труда, поэзию труда. Здесь сказались и эстетические взгляды Успенского, идущие в своей основе от Чернышевского («Прекрасное есть жизнь»), наиболее яркое выражение которых мы находим в очерке «Выпрямила» (см. выше).

Рассказывая в предисловии ко второму изданию Сочинений (т. I, 1889) о новой редакции цикла очерков «Письма с дороги», Успенский писал: ...то, что в письмах этих не могло быть проверено личным наблюдением, дополнил на основании материалов, которые могла дать местная провинциальная пресса. В этих именно видах я и ввел под общую рубрику «Писем с дороги» три компилятивные дополнения (главы VI, VII и X), более подробно уясняющие такие явления жизни, которые пишущему «с дороги» нет возможности пополнить личным наблюдением».

Две из этих «компилятивных» глав — VI. *Обилие «дела»* и VII. *«Скучненько!»* — сначала входили (первая — под названием «Якобы «дела») в цикл «Очерки русской жизни», который Успенский в Сочинениях не сохранил. Весь цикл состоял из трех очерков с подзаголовком «Наблюдения и компиляции» и печатался в «Русской мысли» (1885, VIII, IX и XI); кроме названных выше, в цикл вхо-

дил очерк «Дохнуть некогда», который в Сочинениях был перепечатан в группе еще двух других очерков (в настоящем издании см. т. VI). Задачей цикла «Очерки русской жизни» являлось освещение основных социальных явлений жизни России на основании большого количества провинциальных периодических изданий; главной темой очерков была тема интеллигенции и ее отношения к народу. Очерки «Якобы «дела» и «Скучненько!» вошли в Сочинения, в цикл «Письма с дороги», с небольшими изменениями и сокращениями. По своему содержанию оба очерка органически входят в цикл «Письма с дороги». Очерк *«Обилие «дела»* является продолжением очерка «Человек, природа и бумага», показывая действие «бумаги», как говорит сам Успенский, «не в таких экстренных делах, как колонизация и возрождение жизни на безжизненных местах, а в обыденных условиях нашей жизни». Успенский с горечью говорит здесь о служащей интеллигенции в деревне, которая, соблюдая интересы правительства и буржуазии, завалена «обилием» бумажных «якобы дел» против крестьян, причиной большинства преступлений которых является *«простая невозможность* существовать, невозможность позорнейшая для России, где земельные порядки должны быть на первом плане... (письмо Успенского к В. А. Гольцеву от 29 сентября 1885 года по поводу этого очерка — т. XIII, стр. 479). В очерк *«Скучненько!»* вошел, по словам самого писателя, «материал о пустоте деятельности современной провинциальной интеллигенции» (то же письмо Успенского к В. А. Гольцеву). Бичуя отступничество буржуазной интеллигенции 80-х годов от дела народа, Успенский обращает ее внимание на возникший и в России «всемирный вопрос» — пролетаризацию деревни; вместе с тем очерк заканчивается оптимистическими строками о прекрасных душевных качествах русского народа — бескорыстной доброте, коллегиальности, стремлении к «благообразию и справедливости человеческих отношений».

Третья «компилятивная» глава — *X. «Трудовая» жизнь и жизнь «труженическая»* — была напечатана сначала как отдельный очерк в «Русской мысли», 1887, IX, под заглавием «Трудовая жизнь» и «труженичество». (Литературные и общественные заметки)». Рукопись до нас не дошла, но сохранились два варианта гранок очерка, и первый из них — со значительными расхождениями по сравнению с журнальным текстом. Успенский сначала предполагал (см. его письмо к В. А. Гольцеву от 16 июля 1887 года) написать статью, «касающуюся двух литературных произведений», — именно, «Посмертных записок» Н. И. Пирогова и книги И. Тимощенкова «Борьба с земельным хищничеством. Бытовой очерк юго-востока России»

(Успенский был знаком лишь с частью его книги, впервые напечатанной в «Нови», 1886, №№ 19—21). Однако благодаря большим сокращениям, произведенным Успенским в корректуре, в журнальном тексте о «Записках» Пирогова говорилось очень мало. Кроме того, Успенский и в изложении книги И. Тимощенкова сделал сокращения, наибольшее из них — гиперболические описания необыкновенных способностей слепого Софрона и необычайной силы Игната Ковылы. Кроме этих крупных купюр были сделаны и другие сокращения и добавления в тексте, а также из цензурных соображений были вычеркнуты или заменены отдельные слова и выражения.

Для Сочинений Успенский еще раз заново, коренным образом переработал статью и сделал это, в основном, под влиянием критики, развернувшейся как вокруг его статьи, так и по поводу книги И. Тимощенкова. Дело в том, что Успенский в книге Тимощенкова нашел подтверждение своих «мечтаний» (см. главу «Веселые минуты») о возможности независимого и обеспеченного существования «трудами рук своих», «на всей своей воле», и о возможности устройства ремесленно-земледельческого всесословного училища с большим количеством всевозможных мастерских на артельных началах и с коллективными промышленными предприятиями. Все это заставило Успенского придать книге Тимощенкова положения и выводы, которых она в себе не заключала, помешало писателю усомниться в фактах, приводимых Тимощенковым, и обратить внимание на несообразности, фантастику в изображении явлений природы, в характеристиках и поведении действующих лиц.

Критика заставила Успенского многое пересмотреть в своей оценке книги Тимощенкова. Периодическая печать разных лагерей недоверчиво отнеслась к сведениям, сообщаемым Тимощенковым, с книгой которого критики познакомились либо через статью Успенского, либо в отдельном издании ее в 1888 году. Так, Н. Ладожский в «СПб. ведомостях» (1887, № 313, 13 ноября), говоря в иронических тонах о героях произведения Тимощенкова, заявил, что Тимощенков и Успенский создают в России «какие-то невиданные экономические законы». Рецензент «Недели» (1887) также выразил свое смущение рассказами Тимощенкова об орлах, табунщиках, калмыках, слепых и т. д. Особенно важной для Успенского была полемика между Н. К. Михайловским и А. М. Скабичевским после появления отдельного издания книги Тимощенкова в 1888 году с предисловием Скабичевского, написанным в востор-

женно-панегирических тонах по отношению к книге, в которой он находил и поэзию, и «новую программу деятельности среди народа», и «широкие и вполне практические идеалы». Михайловский («Северный вестник», 1888, I) резко и ядовито отозвался как о вступительной статье Скабичевского, так и о произведении Тимощенкова, наполненном, по его мнению, «чудесами природы» и «чудесами общественного характера». Здесь же Михайловский категорически отделяет от книги Тимощенкова статью Успенского, смысл которой он видит в противопоставлении «трудовой жизни» — «труженичеству», вне зависимости от характера материала, иллюстрирующего эту статью. Скабичевский отвечал Михайловскому (в «Новостях», 1888, № 7, 7 января), упрекая его в том, что он проглядел достоинства книги Тимощенкова, и ссылался, между прочим, на статью Успенского. Михайловский продолжил полемику (в «Северном вестнике», 1888, II), издеваясь над «идеями», заложенными в очерках Тимощенкова, особенно над «идеалами Браги», которых, кстати, Успенский не касался. Не могла не смутить Успенского и рецензия на книгу Тимощенкова в «Русской мысли», 1887, XII (отдел библиографии); автор ее протестует против наукообразной формы подобных произведений, вводящей в заблуждение «легковерных людей», которые отправляются в калмыцкие степи к героям Тимощенкова и никого там не находят, так как в действительности они не существуют.

Статья Успенского заинтересовала и молодого Горького, который написал Успенскому письмо из Нижнего Новгорода (без даты, вероятно 1887 год) со следующей просьбой: «Не можете ли сообщить адрес г. Тимощенкова, автора книги «Борьба с земельным хищничеством». Или — еще лучше, не известно ли вам, как велика доза правды в этой книге, т. е. существуют ли Земля и Брага — и если существуют, то как и где таковых отыскать. Весьма возможно, что таким сообщением вы укажете путь десятку-другому парней, желающих приложить свои силы к честному и полезному делу» (впервые напечатано в «Голосе минувшего», 1915, VII—VIII, стр. 211).

Все эти отзывы и письма не могли не отразиться на характере переработки очерка для Сочинений. В новой редакции очерка писатель уже говорит о произведении Тимощенкова не как о «бытовых очерках», не как о фактах, существующих в действительности, а как о безнадежных, но хороших «мечтаниях» в поисках более справедливого строя общества. В этом направлении и идет переработка всей статьи. Первую главу Успенский пишет заново — она вся

посвящена оправданию его «мечтаний», как протеста против существующих условий буржуазного строя; из нее исчезают и остатки цитат и рассуждений о «Записках» Пирогова. Изменением отдельных фраз и рядом вставок Успенский подчеркивает на протяжении всей статьи, что в книге Тимощенкова говорится не о существующем, а о некоем идеальном бытии, а если и существующем, то случайном, не типичном; Землю и Волгу он называет теперь «оригиналами»; многое сокращается из описаний деяний Волги, в частности страницы о фантастическом наживании им миллионного капитала; вычеркиваются страницы с гиперболизированными образами помощников Земли и Волги — калмыка Эле Сенаторовича, крестьян Хмары и Ковылы. Основная мысль, которую Успенский здесь проводит, — мысль о том, что в книге важны не фантазии Тимощенкова, а «важно указание на то, что в обществе существуют попытки сохранить и укрепить строй жизни, не имеющий с строем жизни купонным ничего общего». Успенский заблуждался и в оценке книги Тимощенкова и был утопичен в своих поисках путей к новому строю общества, но этой прогрессивной гуманной мыслью — противопоставлением своего идеала «справедливого» трудового народного строя жизни существующему несправедливому буржуазному строю с его эксплуатацией, классовыми ограничениями, подавлением личности и нуждой неимущих классов — Успенский сам оправдывает написание и переиздание своей статьи.

Стр. 285. *Кальноки* Сигизмунд, граф (1832—1898) — австро-венгерский дипломат.

— *Гуно* Шарль (1818—1893) — известный французский композитор.

Стр. 308. *...слуга... и хозяин...* — слова из стихотворения А. В. Кольцова «Песня пахаря» (1831).

Стр. 309. *...слова... в газете «Standard»...* — В ранней редакции этого текста Успенский указывает источник, откуда он взял эту цитату, — из «Письма в редакцию» Постороннего (Н. К. Михайловского), напечатанного в «Отечественных записках», 1884, III. Михайловский в свою очередь воспользовался цитатами из отдела «Внешних известий» (корреспонденция из Лондона от 19 ноября), напечатанных в «Новом времени», 1883, № 2783, 26 ноября.

Стр. 310. *Арч Джозеф* (1826—1919) — английский политический деятель, руководитель и организатор сельских рабочих в Англии; с 1885 года — депутат палаты общин. *«Три акра и корова»* — его требование от правительства небольшого земельного надела для всех сельских рабочих.

Стр. 311. *Уличные беспорядки.* — Имеются в виду рабочие волнения в Англии в январе — феврале 1886 года, начавшиеся в Лондоне и охватившие ряд провинций; они были вызваны безработицей и растущей нищетой среди рабочего населения.

— *Чемберлен* Джозеф (1836—1914) — английский политический деятель, консерватор.

Стр. 312. *Летурно* Шарль (1831—1902) — французский этнограф и социолог-популяризатор. Успенский воспользовался изложением содержания книги Летурно «Эволюция морали» в статье «Из области морали. Развитие морали», напечатанной в «Русских ведомостях», 1888, № 63, 4 марта.

Стр. 313. *...разговор мой с раскольником...* — в очерке Успенского «Из путевых заметок» («Северный вестник», 1887, XI); в Сочинениях — очерк «Пока что».

Стр. 321. *Дюма* — см. примечание выше, к очерку «Заметка» (стр. 624).

— *Бурже* — см. там же.

— *Серао* Матильда (1856—1927) — известная итальянская писательница.

Стр. 323. *Селиванов* И. В. (ум. 1882) — писатель, сотрудник «Современника», автор книги в трех частях «Провинциальные воспоминания. Из записок чудака», М., 1856—1861. Успенский, вероятно, имеет в виду его «Записки дворянина — помещика, бывшего в должности предводителя, судьи и председателя», печатавшиеся в «Русской старине», 1880, VI—VIII.

Стр. 326. *«Аскольдова могила»* — опера А. Н. Верстовского (1799—1862), написанная им в 1835 году на либретто из повести М. Н. Загоскина.

Стр. 332. *Маршал Серрано* — герцог Франциско Серрано-и-Домингес (1810—1885) — крупный испанский государственный деятель и маршал, вождь либеральной партии Испании; в 1869—1871 годах был регентом.

Стр. 333. *Прим* — маркиз дон Хуан Прим (1814—1870) — испанский генерал и политический деятель, один из вождей либеральной партии Испании. При регентстве Серрано был назначен министром-президентом.

Стр. 361 *...легенды о вольном казачестве...* — намеки на авантюры Н. И. Ашинова (см. выше примечание к рассказу «Урожай», стр. 617) в Абиссинии, по заселению «вольными казаками» черноморского побережья и на содействие ему в этом реакционера М. Н. Каткова, редактора «Московских ведомостей».

Стр. 368. *Менониты* — религиозная секта, возникшая в XVI в. В Россию менониты были приглашены при Екатерине II в 1789 году для заселения окраин и им были обещаны всяческие льготы.

Стр. 376. *Статья г-на Ядринцева* — Н. Ядринцев. Раскольничьи общины на границе Китая. Земледелец-дипломат и воин. Происхождение раскольничьих общин. — Сибирский сборник. Научно-литературное периодическое издание под ред. Н. М. Ядринцева. Приложение к «Восточному обозрению», кн. I, СПб., 1886.

Стр. 379. *Статья г-на Шаврова* — Н. Шавров. Проекты колонизации восточного берега Черного моря. — «Северный вестник», 1886, VII.

Стр. 386. *Рекамбия* — начисление процентов на проценты при досрочном платеже по обязательствам.

Стр. 391. *Книжка г-на Верещагина* — А. Верещагин. Справочная книжка для переселяющихся и приобретающих земли в Черноморском округе и путешествующих по Черному и Азовскому морям, изд. Мамонтова, М., 1874.

Стр. 395. Передовая статья газеты «Неделя» *«Правда ли, что нет дела?»* («Неделя», 1885, № 32) — призыв столичных безработных специалистов на работу среди «многомиллионной народной массы»; отклик на передовую — статья А. Ж. «Милости просим к нам!» («Неделя», 1885, № 35) — приглашение специалистов приехать на работу в Елисаветградский и Александрийский уезды.

Стр. 396. *...выписку из № 210 «Русских ведомостей» (1885 год)...* — в передовой статье этого номера газеты говорилось о работах Хрулева: «Суды и судебные порядки» и «Суды и судебные палаты, как обвинительные камеры» («Юридический вестник», 1885, т. XVII, кн. III).

Стр. 408. *«В большинстве случаев...»* — цитата из статьи «К статистике сечения (Письмо из Новоладожского уезда Петербургской губернии)» — «Неделя», 1885, № 30.

Стр. 410. *...статью... г-на Лудмера...* — Я. Лудмер «Бабьи стоны» («Юридический вестник», 1884, XI и XII).

Стр. 413. *Ultima ratio* (лат.) — последнее средство.

Стр. 417. *«В 1858 г., — читаем мы в № 5 «Юридического вестника» 1885 г. ...»* — из статьи «Преступления в Северном крае» (в отделе «Разные известия и заметки»).

Стр. 419. А. *Фострем* — известная тогда певица.

— А. *Гиппиус* — пианистка.

Стр. 420. *Bon plaisir* (франц.) — здесь: личное усмотрение, произвол (идиомат.). Намек на концовку королевских указов: «Tel est mon bon plaisir».

Стр. 423. ...*до nec plus ultra* (лат.) — до последней степени.

Стр. 437. *«К богатому магазину...»* — цитата из «Волжско-Донского листка», 1885, № 100, 23 августа.

Стр. 446. *Недавно, например, в петербургском окружном суде...* — «Железнодорожные процессы по «увечным делам». Дела по искам о вознаграждении за увечье и смерть, причиняемые эксплуатацией железных дорог» — «Новости и Биржевая газета», 1887, № 225 от 18 августа, № 229 от 22 августа и № 252 от 14 сентября.

Стр. 461. *Крафт-Эбинг* Рихард (1840—1902) — известный немецкий ученый-психиатр, автор ряда работ по клинической и судебной психиатрии.

Стр. 462. *Энгельгардт А. Н.* (1832—1895) — народник, публицист, известный своей агрономической и общественно-реформаторской деятельностью, автор одиннадцати писем «Из деревни» («Отечественные записки» 1876 — 1882 годов и отд. издания 1882, 1885 и 1897 годов). В своем именье Батищево в Смоленской губернии он создал рациональное хозяйство, куда ездили работать на практику многие из народников.

— *Едимоново* — село Корчевского уезда, Тверской губернии, знаменитое с 1871 года школой молочного хозяйства с научными лабораториями, — также место практики народников.

Стр. 464. *«...Шей, шей, шей!»* — рефрен из стихотворения «Песня о рубашке» английского поэта Томаса Гуда (1799—1845).

Стр. 472. ...*статье о женщинах гр. Л. Н. Толстой...* — статьи Толстого «Женщинам» и «Выдержка из частного письма по поводу возражений на статью «Женщинам». Успенский их читал в издании: «Сочинения гр. Л. Н. Толстого. Часть XII. Произведения последних годов. Изд. III, М., 1886».

ЖИВЫЕ ЦИФРЫ

(Из записок деревенского обывателя)

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова. СПб., 1889. Впервые цикл очерков был напечатан в журнале «Северный вестник», 1888, I, II и III.

«Живые цифры» занимают значительное место в творчестве Успенского второй половины 80-х годов и по своему идейному за-

мыслу и по своеобразию его художественного воплощения. Этот цикл очерков может считаться первым крупным произведением Успенского, целиком посвященным теме *«власть капитала»*, которая «до страсти» увлекла Успенского во второй половине 80-х годов и, по словам писателя, *«подобрала и вобрала в себя* множество явлений русской жизни, которые сразу выяснились, улеглись в порядок». Первыми образцами художественного воплощения новой проблематики Успенский сам считал очерки «Мелкие агенты крупных предприятий» и «Рабочие руки» (см. выше цикл «Письма с дороги»). Об этом писатель сообщал В. М. Соболевскому в октябре 1887 года и писал далее: «с половины декабря непременно два раза в месяц будет *«Власть капитала»*. Это будет не трескучая, но дельная работа... Если «Власть капитала» — название не подойдет, то я назову *«Очерки влияний капитала»*. Влияния эти определенны, неотразимы, ощущаются в жизни неминуемыми явлениями. Теперь эти явления изображаются цифрами, — у меня ж будут цифры и дроби превращены в людей... Я ж теперь возьмусь за такие явления жизни, которые не зависят ни от каких капризов правительства, — а неминуемы и ужасны. Уверен, что ужасность их будет понята читателями, когда статистические дроби придут к ним в виде людей, — изуродованных и искалеченных» (т. XIV, стр. 53—54).

Критика капитализма, его экономики, буржуазной государственности, низких нравственных принципов в буржуазном обществе, его антинародности пронизала все творчество Успенского второй половины 80-х годов, хотя отдельные мотивы этой критики можно проследить в произведениях писателя еще в 70-е годы. В своем обличении капитализма Успенский исходил из интересов трудящихся крестьянских масс, и критика его была глубокой и острой, хотя и не исчерпывающей и в какой-то мере ограниченной мировоззрением Успенского — крестьянского демократа.

Одной из особенностей очерков «Живые цифры» является то, что в художественных образах этого цикла Успенский отправляется от материалов статистических работ. Писатель внимательно изучает сборники статистических сведений, данными которых в 80-е годы усиленно пользовались в своих работах ученые и публицисты различных направлений. О значении цифры при характеристике положения народа Успенский писал не раз в 80-е годы. Однако в ряде своих произведений (см., например, «Горький упрек») он утверждал, что статистические данные сами по себе дают только приблизительное представление о русской социально-экономической действительности, — их надо проверять глубоким знанием подлинной жизни русского общества и уметь видеть за «сухой крупой» цифр образы

страдающих, изувеченных капиталистическим строем людей. Приводя сведения из статистического справочника о том, что в деревне «исчезают» малоземельные хозяйства, Успенский пишет: ...если бы в нас не была умерщвлена потребность почерпать силу своей мысли и поступков из живой действительности, то мы бы содрогнулись, если бы увидели *своими глазами* то, что в статистической работе обозначено одним надоевшим уже словом «исчезают». Ведь это исчезают люди, а не дрова, мужики, бабы, дети, а не щепки и не цифры» («Мечтания», 1884).

Другой отличительной чертой, характерной для цикла очерков «Живые цифры», является то, что тема «власти капитала» раскрывается писателем в картинах из жизни женщин различных социальных групп капиталистического общества — «безлошадной» крестьянки, городской девушки-швеи, фабричной работницы и, наконец, женщины господствующих классов. Талантливое, свойственное своеобразной художественной манере Успенского, соединение в одном произведении элементов публицистики и беллетристики доведено в этих очерках до необычайной силы художественной выразительности.

Очерки «Живые цифры» благодаря яркости художественных образов, правдивости освещения социально-экономического состояния России и своей антинароднической направленности в целом были использованы в трудах русских марксистов о капитализме, а также в их работах, направленных против народничества. Об этих очерках не раз упоминали в своих книгах В. И. Ленин, Г. В. Плеханов.

Очерки «Живые цифры» неоднократно возбуждали внимание цензоров царской России. При первом же напечатании этого цикла в журнале «Северный вестник» из-за вмешательства цензуры Успенский не смог довести до конца свой творческий замысел. Из концовки очерка «Ноль — целых!» по последней авторской корректуре мы узнаем, что Успенский предполагал продолжить цикл «дополнениями» к этому очерку (очевидно, по типу «Дополнений к рассказу «Квитанция»), основанными на материале из европейской действительности (см. примечания к очерку «Ноль — целых!»). Однако цензура этому помешала, о чем говорит сам Успенский в письме от 15 марта 1888 года к редактору журнала «Северный вестник» А. М. Евреиновой. Вспоминая «безобразия», совершенные цензурой над циклами «Хорошего понемножку», «Мечтания о трудовой жизни» и «Кой про что», Успенский пишет: «Теперь вот с «Живыми цифрами». Конец последнего очерка так изуродован, что мне невозможно продолжать, и я должен бросить писать то, что задумано, или переделать и перекалечить все вновь для фельетонов».

Цензурные купюры заметны и в других местах последнего очерка, а также и в тексте очерка «Дополнения к рассказу «Квитанция» (см. ниже).

Книжечка в издании для народа «Пчелка — Правда» с рассказом «Взбрело в башку» и очерками «Четверть» лошади» и «Квитанция» (без публицистических страниц) была в 1890 году запрещена СПб. цензурным комитетом и выпущена только через год. Запрещение последовало после отзыва цензора С. И. Коссовича, который возражал против выпуска книжки. Пересказав содержание очерков, цензор замечает: «Из изложенного содержания рассказов явствует, что они написаны литератором-народником с целью возбудить в интеллигентном читателе сожаление о судьбе меньшого брата. По прочтении такой книжечки крестьянин, конечно, вознегодует на богатых за их безучастие и бессердечность, так ярко отмеченные г. Успенским».

В феврале 1903 года сын писателя, А. Г. Успенский, представил в СПб. цензурный комитет вырезку из Сочинений 1889 года очерков «Четверть» лошади», «Квитанция» и «Дополнение к рассказу «Квитанция» с просьбой о разрешении к печати в качестве отдельного издания, предназначаемого для широкого распространения среди народа. По отзыву цензора Н. В. Лебедева книжка эта также не была разрешена к печати.

Только в советское время цикл очерков «Живые цифры», как одно из значительных художественно-публицистических произведений классической русской литературы, полностью и отдельными очерками много раз издавался и в дешевых изданиях, и в популярных сборниках, и в «Библиотеке школьника», и во всех изданиях однотомников избранных сочинений Успенского.

I. «ЧЕТВЕРТЬ» ЛОШАДИ

Очерк впервые напечатан в «Северном вестнике», 1888, I. Сохранились наборная рукопись и гранки корректуры с большой авторской правкой. Постепенная тщательная работа автора над очерком от наборной рукописи до журнального текста и вплоть до Сочинений заключалась, в основном, в стилистической правке, некоторых сокращениях и добавлениях в тексте, благодаря которым ярче оттенялись основные мысли писателя. В наборной рукописи очерк сначала назывался «Одна шестая крестьянской лошади».

Картина полного расстройства крестьянского хозяйства капитализирующейся деревни, нарисованная в художественном очерке

Успенского, явилась своеобразным ответом на публицистические рассуждения о состоянии деревни народников, также пользовавшихся в своих статьях цифровыми данными статистических трудов. Так, В. В. (народнический публицист Воронцов) в статье «Безлошадные в центральном черноземном районе» («Наблюдатель», 1885, №№ 7 и 9), которую Успенский несомненно знал, указывая на статистические сведения о быстром увеличении безлошадных крестьянских дворов, однако уверял, что «принцип мелкого хозяйства стоит нерушимо и даже прогрессирует» и безлошадные крестьяне в результате выработают «новые формы сельскохозяйственного производства, доступные и им, безлошадным землевладельцам», и приостановят процесс пролетаризации крестьянства. Успенский своим очерком говорит обратное — о безнадежности сохранения мелких крестьянских хозяйств, несмотря на каторжный труд их владельцев. В. И. Ленин в своем труде «Развитие капитализма в России» (в главе «II. Разложение крестьянства»), приводя статистические данные за 1888 и 1891 годы о распределении рабочего скота в деревне, причислял к сельскому пролетариату не только всех безлошадных крестьян, но и одну треть однолошадных, то есть около половины всего числа дворов. «Своим хозяйством, — пишет далее Ленин, — ему никогда не прокормиться, и главным источником средств к жизни являются у него «промыслы» или «заработки», т. е. продажа своей рабочей силы».[1] Говоря о крестьянских бюджетах в той же главе книги и, в частности, об имуществе и инвентаре крестьянского хозяйства различных групп, Ленин пользуется художественным образом Успенского: «Лошадь однолошадного крестьянина, это — настоящая «живая дробь», правда все-таки не «четверть лошади», а целых «двадцать семь пятьдесят вторых» лошади!»[2] Успенский близок Ленину и в иронических отзывах о «среднем выводе», «среднем числе» (см. стр. 484 настоящего издания), которыми намеренно пользовались в своих статьях экономисты-народники, сливавшие в этих «средних» цифрах «вместе и сельскую буржуазию и сельский пролетариат. . .»[3]

Стр. 485. *Ревизская душа* — человек, занесенный в список лиц податного состояния, составляемый при переписи, ревизии.

Стр. 487. . . .*«роман графини Лиды»*. — См. примечание к очерку «Ноль — целых!».

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 116.
[2] Там же, стр. 129.
[3] Там же, стр. 267.

Стр. 488. ...*местных бюджетиков...* — Имеются в виду сборы на местные нужды (на земство, крестьянское самоуправление, дорожные и др.), которые крестьяне должны были оплачивать помимо государственных податей.

Стр. 491. *Жеребьевые участки* — участки, установленные по жребию при переделах земли.

II. КВИТАНЦИЯ

Очерк впервые напечатан в «Северном вестнике», 1888, I. Сохранились рукописный набросок начала ранней редакции очерка, неполная наборная рукопись и корректурные гранки с наборной рукописи. Авторская правка рукописи, корректуры и, позднее, журнального текста для Сочинений носила, в основном, характер художественной отделки произведения. По первоначальному замыслу очерк должен был называться «Сотая часть родной матери».

В этом очерке, как и в следующем — «Дополнение к рассказу «Квитанция», Успенский, уже на материалах городской статистики, показывает еще одну «человеко-дробь» капиталистического строя — трудящуюся женщину-мать, не имеющую возможности создать нормальную семейную жизнь, иметь и воспитывать собственных детей. Проблема материнства в среде пролетариев, судьба подкидышей и детей, отданных в воспитательные дома с их катастрофической смертностью, останавливала внимание Успенского еще с конца 70-х годов (см., например, о «бабьем заработке» на питомцах из воспитательных домов в деревне в очерках «Из деревенского дневника», 1877). Известно, что Успенский не раз предлагал подобные темы женщинам-беллетристам. Так, в 1885 году в письме от 28 февраля к писательнице Л. Х. Симоновой-Хохряковой Успенский дает тему рассказа: «Что если бы Вам взяться за одно большое дело, о котором я давно думаю: описать в беллетристической форме воспитательный дом в Петербурге? Я думаю, что там масса такого материала, от которого у читательской публики мороз бы пошел по коже, а ведь надо же, чтобы кожа эта когда-нибудь и что-нибудь чувствовала». В очерке «Два строя жизни. — Монолог Пигасова» («Северный вестник», 1887, I; в Сочинения не вошел, в ранней редакции назывался «Барыня и баба») Успенский устами героя Пигасова «пробирает женщин-писательниц за то, что круг их тематики замкнут в области «гостиной» и неизбежной «укушетки» и не затрагивает «общественных язв, в которых непосредственно замешивается женщина». «Не знаю, как ты, — продолжает далее рассказ-

чик, — но я ничего, кроме давнишнего рассказа Слепцова «Питомка», не читал, например, о брошенных матерями детях...», «...женское перо молчит об унижении женщины и ребенка обществом, и картина нашей нескладной жизни не полна...» Писательницу М. Цебрикову, написавшую «Рассказы о погибших детях» в двух томах (СПб., 1871—1874), Успенский упрекает в том, что она не указала на социальные причины появления «отверженных» матерей и брошенных детей. О женщинах-кормилицах, вынужденных бросать своих детей, Успенский пишет в очерке «Трудовая» жизнь и жизнь «труженическая», 1887 (см. выше); о смертности среди питомцев воспитательных домов он говорит позднее в очерке «Ответчики» (цикл «Мельком»).

В. Г. Короленко писал в своих воспоминаниях, что очерк «Квитанция» произвел на него такое сильное впечатление, что он от волнения его «не мог дочитать громко до конца» (В. Короленко, Собр. соч., т. V, изд. «Правда», М., 1953, стр. 36).

Стр. 504. *Дипломат* — длинное пальто особого покроя.

III. ДОПОЛНЕНИЕ К РАССКАЗУ «КВИТАНЦИЯ»

Очерк впервые напечатан в «Северном вестнике», 1888, II. Успенский много работал над этим очерком: в его архиве сохранилось несколько рукописных редакций очерка и три комплекта гранок. Замысел написать произведение на эту тему возник еще ранее. В письме к А. С. Посникову в середине декабря 1887 года Успенский сообщал, что он напишет для «Русских ведомостей» очерк с изложением брошюры Михайлова. Очерк в газете не появился, но сохранившуюся в архиве Успенского рукопись с названием «Брошенные дети» (первоначальное зачеркнутое заглавие: «26 000 брошенных детей») можно считать первой редакцией очерка, написанной для «Русских ведомостей». Для текста очерка в «Северном вестнике» Успенский заново написал начало (кончая описанием статуи Свободы), уже с заглавием «Живые цифры. III. Еще двадцать шесть тысяч квитанций», однако со значительными разночтениями в тексте сравнительно с окончательной редакцией. К этому новому началу Успенский, в качестве продолжения, присоединил рукопись «Брошенные дети», зачеркнув заглавие ее. Первый вариант чистых гранок точно воспроизводит в вышеизложенном порядке обе рукописи, за исключением конца, который набирался с отдельной рукописи, написанной позднее. Однако Успенский и эту корректуру, в свою очередь, подверг тщательной и, в некоторых

частях, коренной переделке и правке, — и эти корректурные гранки сохранились в архиве Успенского. Очерк здесь получил свое окончательное заглавие; кроме многочисленных мелких исправлений, Успенский сделал ряд купюр и несколько значительных рукописных вставок; ввел печатные вставки из книги Сидорова о Раменской фабрике и третью главу очерка «Рабочие руки»; эпизод с «саратовской сарпинкой» перенес из середины в конец очерка. В журнале очерк был напечатан уже с незначительными исправлениями по сравнению с этой правленой корректурой; в конце было добавлено примечание с фабричной песней. Подготавливая журнальный текст для Сочинений, помимо небольшого числа исправлений стилистического характера, Успенский выбросил большую вставку из очерка «Рабочие руки», заменив ее подстрочной ссылкой на «Письма с дороги».

Таким образом, от редакции к редакции шла переработка Успенским всего текста очерка. Кроме произведенной им большой стилистической правки, писатель композиционно перестроил весь очерк, значительно расширил его по материалу и углубил темы, поднятые им в первоначальных вариантах. С другой стороны, из ранних редакций в «Северный вестник» и в Сочинения не вошли, вероятно по цензурным соображениям, многие сильные и образные выражения Успенского по поводу существующего строя с всевластным «купоном» в его основе, допускающего в отношении к трудящимся «возмутительные явления»; выпущены слова относительно «наглого душегубства», проявляемого заводским начальством к работницам; исключены заметки об ошибках земельной реформы 1861 года и их последствиях, и др.

О нарушении семейных устоев в деревне во время развития капитализма и о горькой судьбе женщин и детей на фабрике Успенский не раз писал в своих произведениях, начиная с середины 70-х годов (см. особенно очерк «Трудами рук своих», где Успенский использует книгу И. И. Янжула «Фабричный быт Московской губернии», 1884).

В изображении тяжелого положения женщины на капиталистической фабрике Успенский близок описанию жизни английских работниц в труде Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Однако, правильно отмечая отрицательные стороны женского труда при капиталистическом производстве, Успенский, не учитывая исторической роли рабочего класса, не отметил относительно прогрессивного значения в привлечении женщин и подростков к работе на фабрике. Ленин считал, что ..крупная машинная

индустрия толкает вперед их развитие, повышает их самостоятельность, т. е. создает такие условия жизни, которые стоят несравненно выше патриархальной неподвижности докапиталистических отношений». [1]

Успенский в этом очерке допустил и некоторое увлечение мануфактурным способом производства «саратовской сарпинки» немцами-колонистами. Правда, его неверные выводы отчасти оправдываются тем, что немецким колонистам в царской России предоставлялись замечательные условия по сравнению с русскими крестьянами (см. также отзыв Успенского о другой немецкой колонии в очерке «Якобы «дела»). Народнические увлечения кустарной промышленностью и противопоставление ее капиталистической промышленности как самостоятельной, как истинно народной промышленности были раскритикованы Лениным, который называл работу на дому худшей формой эксплуатации крестьянина и считал, что *«...работа на дому нисколько не устраняет понятия капиталистической мануфактуры,* а, напротив, иногда является даже *признаком ее дальнейшего развития».*[2]

Стр. 511. *...во время поездки по Дону.* — Поездка по Дону была совершена писателем в августе 1887 года; впечатления от нее отразились в очерках «Мелкие агенты крупных предприятий», «Рабочие руки» и «Пока что».

Стр. 514. *Я однажды сам ехал со старухой-крестьянкой...* — Успенский об этом же рассказывает в первом очерке «Из деревенского дневника».

IV. «НОЛЬ — ЦЕЛЫХ!»

Очерк впервые напечатан в «Северном вестнике», 1888, III. Сохранились четыре рукописных варианта начала очерка, в котором Успенский разъяснял смысл своеобразного написания заглавия; полная наборная рукопись; гранки с наборной рукописи без авторской правки; гранки третьей и четвертой глав очерка с авторской правкой, в основном стилистического характера, и от руки написанным концом очерка, где говорится о «сущности народного строя» в противопоставлении его со строем «купонным». В недошедшей до нас последней корректуре Успенский продолжил работу над художественной отделкой произведения; однако там же цензурой (это

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 481.
[2] Там же, стр. 361.

утверждает сам Успенский — см. выше, стр. 647) были сделаны значительные купюры в конце очерка, как раз в той части, где давалось теоретическое обобщение системы художественных образов очерка. Оказались вычеркнутыми строки с резкими высказываниями писателя о буржуазном строе общества, в котором «господин купон» создает «мнимые величины» — буржуа, а «настоящие и целые» — народ низводит до состояния «дробей». Так, не вошли в печатный текст строки с убийственной характеристикой жизни буржуазного общества: «Полнота-то жизни, оказывается, таится в миллионе. Благодаря ему можно сотни и тысячи десятичных дробей заставить служить нулю и наполнить его жизнью до того, что он будет походить на нечто целое». И далее, следующая купюра: «И пользуясь всем этим, человек в самом деле похож на «целое». Но для всего этого нужно, чтобы купон изуродовал целые массы людей, превратив их в дроби. Ведь это дроби готовят два ленча — малый и настоящий; ведь они же «воспитывают» детей, они делают японские веера, возят в Озерки, шьют сапожки, делают иголку для вышивания полотенца, делают фотографии, чтобы полюбоваться собой; делают нищих старух, чтобы им благотворить, и заставляют поэтов терзаться жизнью... Купон все может сделать: он пойдет в книжный магазин, отдаст два рубля за том, написанный кровью, — и съест этот том с аппетитом. Он отовсюду берет чужое потому, что у него своего ничего нет. И что бы было, если бы купон вдруг, как золотая рыбка, «лишь хвостом по воде плеснувши», исчез в «глубокое море». Убегут десятичные дроби, и то, что казалось целым и полным, окажется только нулем!». Исключена из печатного текста и концовка очерка с упоминанием о «воплях и стонах раздробленного купоном европейского человека» и обещанием коснуться этой темы в «особом дополнении» к этому очерку. Эта купюра лишила Успенского возможности продолжить цикл очерков, о чем он с горечью пишет А. М. Евреиновой (см. выше, стр. 647). Совершенно очевидно, что из-за строгого запрета цензуры того времени иронически упоминать о религии и служителях духовного культа выброшены насмешливые строки в разговорах крестьянина с Василием на тему об увлечении Василия религией в ущерб крестьянскому хозяйству, — эти купюры в настоящем издании восстанавливаются. Для Сочинений Успенский сделал очень небольшое количество поправок стилистического характера.

В произведениях Успенского второй половины 80-х годов мы много раз встречаемся с резкой критикой основ буржуазной семьи и с противопоставлением ее крестьянской трудовой семье. Успенский подчеркивает при этом, что он прекрасно видит «суровую дей-

ствительность народной жизни» и вовсе не идеализирует тяжкую жизнь крестьянки при капитализме, но он отделяет от этой действительности «сущность народного строя», заключающуюся, по его мнению, прежде всего в трудовой основе жизни *всей* крестьянской семьи и тесной связи ее с общественной, мирской жизнью всего крестьянского общества. Своим очерком Успенский хотел сказать, что трудящийся человек ни при каких обстоятельствах не может быть «нолем».

В эпизоде с «воздушным» человечком Успенский, в противоположность утверждениям народников, показывает обременительность общинного владения землей для крестьянина-бедняка, которому выгоднее уйти из деревни и платить «с пуста̀», чем нести на себе все тяготы мирских поборов.

Основная часть очерка построена на материале цитат из писем незнакомки к С. Я. Надсону, напечатанных в выдержках вскоре после смерти поэта в «Книжках недели», 1887, XI, стр. 1—78, под названием «С. Я. Надсон и графиня Лида». Переписка поэта в последние семь месяцев его жизни (с 22 мая 1886 года по 12 января 1887 года), прерванная его смертью, с женщиной, инкогнито которой Надсон не пытался сам раскрыть и знал ее лишь по присланному ею портрету, возбудила много шуму и толков как в обществе, так и в печати. Друзья поэта даже воспользовались этим успехом для выпуска переписки в полном виде отдельным изданием с целью использовать полученные от продажи этой книги деньги на памятник Надсону. Книга (в 136 стр.) была набрана и сброширована в Петербурге с небольшим предисловием и послесловием, в которых указывалось, что адресат остался неизвестным, но что 24-летняя графиня Лида умерла вскоре после смерти Надсона, горько оплакивая его гибель. Однако прошли слухи, что «графиня Лида» — вовсе не графиня, а здравствующая жена скромного чиновника, мать четырех детей. Эти слухи проникли в печать, в «Новом времени» появились заметка и саркастический фельетон В. П. Буренина, что заставило организатора издания этой переписки, А. Н. Плещеева, отказаться от мысли выпустить ее в свет (А. Евгеньев. Пропавшая книга — «Исторический вестник», 1910, I, стр. 195—202). В ответных письмах Надсона разбросаны важные признания автобиографического характера, высказано много интересных мыслей, в частности дана уничтожающая характеристика светского общества, но внимание читателей было привлечено письмами и обликом самой «графини Лиды». Явная симпатия поэта к не лишенному литературного дара перу его адресатки, с другой стороны, воспевания ее поэтами Андреевским, Мережковским и др., а также скан-

дальные, но бездоказательные разоблачения «графини» в газетной прессе еще более возбудили интерес публики к этому «роману» между аристократкой и поэтом-«плебеем». Успенский постарался разрушить создавшееся поэтическое впечатление от образа «графини». Он проанализировал письма с точки зрения демократа-социолога, сорвал с них блестящую мишуру «красивости» и показал читателям ничтожество и пустоту жизни, дум и стремлений «графини Лиды» — женщины, принадлежащей к верхушке буржуазного общества.

Стр. 530. *Luncheon* (англ.) — завтрак.

— *Governess* (англ.) — гувернантка.

— *Nursery-room* (англ.) — детская комната.

Стр. 532. *Бонмотист* (франц.) — острослов.

— *Bon enfant* (франц.) — добрый малый.

— *Factotum* (лат.) — человек, везде присутствующий и все делающий за кого-либо другого.

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК

I. «ПОКА ЧТО»

Очерк печатается по автографу, впервые напечатанному в издании: «Глеб Успенский. Материалы и исследования», изд. АН СССР, 1938. Успенский написал этот очерк во второй половине августа 1887 года и собирался печатать его в «Русских ведомостях» седьмым по счету очерком в цикле «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле». Однако очерк не появился в печати потому, что тема его — о новом циркуляре в области просвещения — была запрещена цензурой.

Циркуляр министра народного просвещения И. Д. Делянова от 18 июня 1887 года, составленный в интересах дворян и буржуазии, был направлен к ограничению доступа в классические гимназии и прогимназии детям лиц неимущих сословий. При отборе учащихся предписывалось руководствоваться материальным положением родителей, поэтому вместе с прошением о приеме ребенка в гимназию требовались сведения о сословии, образовании, роде занятий, размере жалования, размере квартиры, количестве прислуги и т. д. от родителей поступающего. В случае отказа в приеме ребенка в гимназию требовалось (по циркуляру) объяснить его родителям, что

«поприще высшего государственного и общественного служения, к коему гимназия составляет первую стадию пути, не может быть уделом всех и каждого» (ср. в очерке Успенского речи дворянина и «человечка по хлебной части»).

Несмотря на неоднократные просьбы Успенского, запрещенный очерк не был возвращен автору из редакции «Русских ведомостей» и считался утерянным вплоть до 1934 года, когда он вместе с другими рукописями Успенского из собрания В. М. Соболевского был присоединен к архиву писателя. Намереваясь все же напечатать этот очерк, Успенский по памяти восстановил его, но, учитывая запретность темы, значительно переделал его, а затем в этой новой редакции напечатал в журнале «Северный вестник», 1887, XI, под заглавием «Из путевых заметок». Переделки в угоду цензуре исказили очерк; особенно пострадала центральная часть его, в которой все рассуждения публики по поводу «известного распоряжения о школах и детях» были заменены мимическими сценами и бессмысленными словами вроде «Вот то-то и оно-то!» Вместо рассказа станового пристава Успенский поместил речи священника с цитатами из книг, по которым только современник мог догадаться о намеках на деляновский циркуляр. Из начала очерка Успенский выбросил размышления о Болгарии и о теории «третьего Рима», связывавшие этот очерк с циклом «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле», а также изъял страницы о «разговорах в дороге», которые своей политической остротой могли вызвать цензурные затруднения. Первоначальное заглавие очерка «Пока что» также было заменено по требованию цензуры, о чем свидетельствует письмо цензора С. И. Коссовича от 21 октября 1887 года к редактору «Северного вестника» А. М. Евреиновой: «Не найдете ли возможным дать другое заглавие рассказу Гл. Успенского? Хотя бы, например: «Вот то-то и оно-то» или какое-нибудь другое. Настоящее же заглавие — «Пока что» — придает некоторую тенденциозную окраску рассказу».

В Сочинениях Успенский восстановил только заглавие, в остальном очерк был перепечатан без изменений.

Стр. 550. Теория «Москва — *третий Рим*» возникла в XV веке, когда в связи с разгромом турками Византии пал Константинополь, считавшийся «вторым Римом», в то время как русское государство во внутренней и внешнеполитической жизни быстро мужало. В 80-е годы XIX века эта теория возродилась в реакционно-правительственных кругах России.

Стр. 551 *...трех акрах земли...* — см. примечания к очеркам «Письма с дороги» (стр. 642 настоящего тома).

Стр. 552. *Чудовские певчие* — московский хор Чудова монастыря.

II. ВОЛЬНЫЕ КАЗАКИ

Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том первый. Третье издание Ф. Павленкова. СПб., 1889. Впервые очерк был напечатан в «Русской мысли», 1887, X; при перепечатке в Сочинениях Успенский прибавил только заключительную фразу очерка. Сохранилось начало рукописи ранней редакции, содержащее в себе описание авантюр Н. И. Ашинова.

В основу очерка «Вольные казаки», так же как и очерка «Пока что», легли впечатления Успенского от поездки его по Волге и Дону во второй половине августа 1887 года, которые дали ему возможность показать целую галерею «вольных казаков» — хищников и «живорезов» разных сословий, предприимчивых дельцов капиталистического строя. Общее название для них — «вольные казаки» Успенский заимствовал от авантюриста Н. И. Ашинова, который так называл свой отряд, организованный им для поездки в Абиссинию — см. о нем в комментариях к очерку «Урожай» (стр. 617 настоящего тома).

Стр. 575. *...«уважаемой газеты»...* — Успенский употребляет слово «уважаемая» в ироническом смысле по отношению к реакционной газете «Московские ведомости» М. Н. Каткова, который вместе с К. П. Победоносцевым оказывал поддержку Ашинову в его абиссинской авантюре.

Стр. 577. *Пирогов Н. И.* (1810—1881) — знаменитый русский хирург, ученый, педагог.

МИМОХОДОМ

1. ПАРОВОЙ ЦЫПЛЕНОК

(Рассказ, пригодный для напечатания только на святках)

Очерк печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова. СПб., 1889. Впервые очерк напечатан в «Русских ведомостях», 1888, № 9, 10 января, как самостоятельный рассказ, вне цикла. В Сочинениях он был объединен с очерком «Не все коту масленица» (в настоящем издании не печатается) в серии под названием «Мимоходом». Со-

хранились наброски начала очерка, который сначала назывался «А душа-то, братцы, ведь есть! (Реферат, произнесенный на одном полустанке проезжим курятником)».

Очерк Успенского очень понравился Л. Н. Толстому, о чем мы узнаем из письма П. И. Бирюкова от 14 января 1888 года к Успенскому, в котором он сообщал, что Толстой читал «статью» «Паровой цыпленок» вслух своим гостям. «Л. Н., — пишет далее Бирюков, — расхваливал ее и любовался формой. Особенно ему понравился господин в резиновых галошах и заключение».

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

КОЙ ПРО ЧТО

ПИСЬМА С ДОРОГИ

ЖИВЫЕ ЦИФРЫ

(Из записок деревенского обывателя)

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК

МИМОХОДОМ

Глеб Иванович
УСПЕНСКИЙ

Собрание сочинений, т. 7

Редактор П. П. Быстров
Художник А. Я. Малков
Художественный редактор
А. М. Гайденков
Технический редактор
Л. П. Крючкина
Корректор И. Ф. Кузнецова

Подписано к печати 16/I 1957 г.
Бумага 84×108 1/32—20,75 печ. л.=
=34,03 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 33,7+
+6 вкл.=33,98 л. Тираж 150 000 экз.
Заказ № 1379. Цена 11 р.

Гослитиздат. Ленинградское отделение
Ленинград. Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфи-
ческой промышленности.
4-я тип. им. Евг. Соколовой.
Ленинград, Измайловский пр., 29.

ГОСПОЛИТИЗДАТ
1957